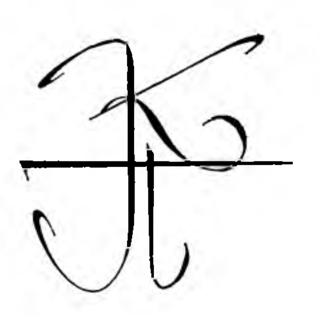
Константин

Паустовский

4

4
Константин Паустовский





СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

В ДЕВЯТИ ТОМАХ



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1982



СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ ЧЕТВЕРТЫЙ

•

ПОВЕСТЬ О ЖИЗНИ

•

КНИГИ ПЕРВАЯ-ТРЕТЬЯ



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1982

Р2
П21

Примечания
Л. Левицкого и Л. Полосиной

Художник
Е. Гольдин

П $\frac{4702010200-208}{028\ (01)-82}$ подписное

НЕСКОЛЬКО СЛОВ

Недавно я перелистывал собрание сочинений Томаса Манна и в одной из его статей о писательском труде прочел такие слова:

«Нам кажется, что мы выражаем только себя, говорим только о себе, и вот оказывается, что из глубокой связи, из инстинктивной общности с окружающим, мы создали нечто сверхличное... Вот это сверхличное и есть лучшее, что содержится в нашем творчестве».

Эти слова следовало бы поставить эпиграфом к большинству автобиографических книг.

Писатель, выражая себя, тем самым выражает и свою эпоху. Это — простой и неопровержимый закон.

В книге помещено шесть автобиографических повестей: «Далекие годы», «Беспокойная юность», «Начало неведомого века», «Время больших ожиданий», «Бросок на юг» и «Книга скитаний». Все они связаны общим героем и общностью времени. Повести эти относятся к последним годам XIX века и к первым десятилетиям века нынешнего.

Для всех книг, в особенности для книг автобиографических, есть одно святое правило — их следует писать только до тех пор, пока автор может говорить правду.

По существу творчество каждого писателя есть вместе с тем и его автобиография, в той или иной мере преображенная воображением. Так бывает почти всегда.

Итак, написано шесть автобиографических книг. Впереди я вижу еще несколько книг такого же рода, но удастся ли их написать — неизвестно.

Я хочу закончить это маленькое введение одной мыслью, которая давно не дает мне покоя.

Кроме подлинной своей биографии, где все послушно действительности, я хочу написать и вторую свою автобиографию, которую можно назвать вымышленной. В этой вымышленной автобиографии я бы изобразил свою жизнь среди тех удивительных событий и людей, о которых я постоянно и безуспешно мечтал.

Но независимо от того, что мне удастся написать в будущем, я бы хотел сейчас, чтобы читатели этих шести повестей испытали бы то же чувство, которое владело мной на протяжении всех прожитых лет,— чувство значительности нашего человеческого существования и глубокого очарования жизни.

К. Паустовский

КНИГА ПЕРВАЯ



Жизнь моя, иль ты
приснилась мне?

Сергей Есенин

СМЕРТЬ ОТЦА

Я был гимназистом последнего класса киевской гимназии, когда пришла телеграмма, что в усадьбе Городище, около Белой Церкви, умирает мой отец.

На следующий день я приехал в Белую Церковь и остановился у старинного приятеля отца, начальника почтовой конторы Феоктистова. Это был длиннобородый близорукий старик в толстых очках, в потертой тужурке почтового ведомства со скрещенными медными рожками и молниями на петлицах.

Кончался март. Моросил дождь. Голые тополя стояли в тумане.

Феоктистов рассказал мне, что ночью пошел лед на бурной реке Рось. Усадьба, где умирал отец, стояла на острове среди этой реки, в двадцати верстах от Белой Церкви. В усадьбу вела через реку каменная плотина — гребля.

Полая вода идет сейчас через греблю валом, и никто, конечно, не согласится переправить меня на остров, даже самый отчаянный балагула — извозчик.

Феоктистов долго соображал, кто же из белоцерковских извозчиков самый отчаянный. В полутемной гостиной дочь Феоктистова, гимназистка Зина, старательно играла на рояле. От музыки дрожали листья фикусов. Я смотрел на бледный, выжатый ломтик лимона на блюдечке и молчал.

— Ну что ж, позовем Брегмана, отпетого старика,— решил наконец Феоктистов.— Ему сам черт не брат.

Вскоре в кабинет Феоктистова, заваленный томами «Нивы» в тисненных золотом переплетах, вошел извозчик

Брегман — «самый отпетый старик» в Белой Церкви. Это был плотный карлик еврей с редкой бородкой и голубыми кошачьими глазами. Обветренные его щечки краснели, как райские яблоки. Он вертел в руке маленький кнут и насмешливо слушал Феоктистова.

— Ой, несчастье! — сказал он наконец фальцетом. — Ой, беда, пане Феоктистов! У меня файтон легкий, а кони слабые. Цыганские кони! Они не перетянут нас через греблю. Утопятся и кони, и файтон, и молодой человек, и старый балагула. И никто даже не напечатает про эту смерть в «Киевской мысли». Вот что мне невыносимо, пане Феоктистов. А поехать, конечно, можно. Отчего не поехать? Вы же сами знаете, что жизнь балагулы стоит всего три карбованца,— я не побожусь, что пять или, положим, десять.

— Спасибо, Брегман,— сказал Феоктистов.— Я знал, что вы согласитесь. Вы же самый храбрый человек в Белой Церкви. За это я вам выпишу «Ниву» до конца года.

— Ну, уж если я такой храбрый,— пропищал, усмехаясь, Брегман,— так вы мне лучше выпишите «Русский инвалид». Там я, по крайности, почитаю про кантонистов и георгиевских кавалеров. Через час кони будут у крыльца, пане.

Брегман ушел.

В телеграмме, полученной мною в Киеве, была странная фраза: «Привези из Белой Церкви священника или ксендза — все равно кого, лишь бы согласился ехать».

Я знал отца, и потому эта фраза тревожила меня и смущала. Отец был атеист. У него происходили вечные столкновения из-за насмешек над ксендзами и священниками с моей бабкой, полькой, фанатичной, как почти все польские женщины.

Я догадался, что на приезде священника настояла сестра моего отца, Феодосия Максимовна, или, как все ее звали, тетушка Дозя.

Она отрицала все церковные обряды, кроме отпущения грехов. Библию ей заменял спрятанный в окованном сундуке «Кобзарь» Шевченко, такой же пожелтевший и закапанный воском, как Библия. Тетушка Дозя доставала его изредка по ночам, читала при свече «Катерину» и поминутно вытирала темным платком глаза.

Она оплакивала судьбу Катерины, похожую на свою собственную. В сырой роще-леваде за хатой зеленела могила ее сына, «малесенького хлопчика», умершего много лет назад, когда тетушка Дозя была еще совсем молодой. Этот хлопчик был, как тогда говорили, «незаконным» ее сыном.

Любимый человек обманул тетушку Дозю. Он бросил ее, но она была ему верна до смерти и все ждала, что он возвратится к ней, почему-то непременно больной, нищий, обиженный жизнью, и она, отругав его как следует, приютит наконец и пригреет.

Никто из священников не согласился ехать в Городище, отговариваясь болезнями и делами. Согласился только молодой ксендз. Он предупредил меня, что мы заедем в костел за святыми дарами для причащения умирающего и что с человеком, который везет святые дары, нельзя разговаривать.

На ксендзе было черное длиннополое пальто с бархатным воротником и странная, тоже черная, круглая шляпа.

В костеле было сумрачно, холодно. Поникнув, висели у подножия распятия очень красные бумажные розы. Без свечей, без звона колокольчиков, без органных раскатов костел напоминал театральные кулисы при скучном дневном освещении.

Сначала мы ехали молча. Только Брегман чмокал и понукал костлявых гнедых лошадей. Он покрикивал на них, как кричат все балагулы: не «но», а «вьё!». Дождь шумел в низких садах. Ксендз держал завернутую в черную саржу дароносицу. Моя серая гимназическая шинель промокла и почернела.

В дыму дождя подымались, казалось — до самого неба, знаменитые Александрийские сады графини Браницкой. Это были обширные сады, равные по величине, как говорил мне Феоктистов, Версалю. В них таял снег, заволакивая холодным паром деревья. Брегман, обернувшись, сказал, что в этих садах водятся дикие олени.

— Эти сады очень любил Мицкевич,— сказал я ксендзу, забыв, что он должен молчать всю дорогу.

Мне хотелось сказать ему что-нибудь приятное в благодарность за то, что он согласился на эту трудную и опасную поездку. Ксендз улыбнулся в ответ.

В раскисших полях стояла дождевая вода. В ней отражались пролетавшие галки. Я поднял воротник шинели и думал об отце, о том, как мало я его знал. Он был статистиком и прослужил почти всю жизнь на разных железных дорогах — Московско-Брестской, Петербургско-Варшавской, Харьковско-Севастопольской и Юго-Западной.

Мы часто переезжали из города в город — из Москвы в Псков, потом в Вильно, потом в Киев. Всюду отец не уживался с начальством. Он был очень самолюбивый, горячий и добрый человек.

Год назад отец уехал из Киева и поступил статистиком на Брянский завод в Орловской губернии. Прослужив недолго, отец неожиданно, без всякой видимой причины, бросил службу и уехал в старую дедовскую усадьбу Городище. Там жили его брат Илько, сельский учитель, и тетушка Дозя.

Необъяснимый поступок отца смутил всех родственников, но больше всего мою мать. Она жила в то время с моим старшим братом в Москве.

Через месяц после приезда в Городище отец заболел и вот теперь умирает.

Дорога пошла вниз по оврагу. В конце его был слышен настойчивый шум воды. Брегман заерзал на козлах.

— Гребля! — сказал он упавшим голосом.— Теперь молитесь богу, пассажиры!

Гребля открылась внезапно за поворотом. Ксендз привстал и схватил Брегмана за красный вылинявший кушак.

Вода легко неслась, зажатая гранитными скалами. В этом месте река Рось прорывалась, беснуясь, через Авратынские горы. Вода шла через каменную плотину прозрачным валом, с грохотом падала вниз и моросила холодной пылью.

За рекой, по ту сторону гребли, как бы взлетали к небу огромные тополя и белел маленький дом. Я узнал усадьбу на острове, где жил в раннем детстве,— ее левады и плетни, коромысла колодцев-журавлей и скалы у берега. Они разрезали речную воду на отдельные могучие потоки. С этих скал мы когда-то с отцом ловили усатых пескарей.

Брегман остановил коней около гребли, слез, поправил кнутовищем сбрую, недоверчиво осмотрел свой экипаж

и покачал головой. Тогда впервые ксендз нарушил обет молчания.

— Езус-Мария! — сказал он тихим голосом.— Как же мы переедем?

— Э-э! — ответил Брегман.— Откуда я знаю как? Сидите спокойно. Потому что кони уже трясутся.

Гнедые лошади, задрав морды, храпя, вошли в стремительную воду. Она ревела и сбивала легкую коляску к негороженному краю гребли. Коляска шла боком, косо, скрежетала железными шинами. Лошади дрожали, упирались, почти ложились на воду, чтобы она не сбила их с ног. Брегман вертел кнутом над головой.

Посередине гребли, где вода шла сильнее всего и даже звенела, лошади остановились. Пенистые водопады бились около их тонких ног. Брегман закричал плачущим голосом и начал немилосердно хлестать лошадей. Они попятились и сдвинули коляску к самому краю гребли.

Тогда я увидел дядю Илько. Он скакал на серой лошади от усадьбы к гребле. Он что-то кричал и размахивал над головой связкой тонкого каната.

Он въехал на греблю и швырнул Брегману канат. Брегман торопливо привязал его где-то под козлами, и трое коней — два гнедых и серый — выволокли наконец коляску на остров.

Ксендз перекрестился широким католическим крестом. Брегман подмигнул дяде Илько и сказал, что долго еще люди будут помнить такого балагулу, как старый Брегман, а я спросил, как отец.

— Еще жив,— ответил Илько и поцеловал меня, исцарапав бородой.— Ждет. А где мама — Мария Григорьевна?

— Я послал ей телеграмму в Москву. Должно быть, приедет завтра.

Дядя Илько посмотрел на реку.

— Прибывает,— сказал он.— Плохо, милый мой Костик. Ну, может быть, пронесет. Пойдемте!

На крыльце нас встретила тетушка Дозя, вся в черном, с сухими, выплаканными глазами.

В душных комнатах пахло мятой. Я не сразу узнал отца в желтом старике, заросшем серой щетиной. Отцу было всего пятьдесят лет. Я всегда помнил его немного сутулым, но стройным, изящным, темноволосым, с необыкновенной его печальной улыбкой и серыми внимательными глазами.

Сейчас он сидел в кресле, трудно дышал, смотрел, не отрываясь, на меня, и по сухой его щеке сползла слеза. Она застряла в бороде, и тетушка Дозя вытерла ее чистым платком.

Отец не мог говорить. Он умирал от рака гортани.

Всю ночь я просидел около отца. Все спали. Дождь кончился. Звезды угрюмо горели за окнами. Все громче шумела река. Вода быстро подымалась. Брегман с ксендзом не смогли переправиться обратно и застряли на острове.

Среди ночи отец зашевелился, открыл глаза. Я наклонился к нему. Он попытался обнять меня за шею, но не смог и сказал свистящим шепотом:

— Боюсь... погубит тебя... бесхарактерность.

— Нет,— тихо возразил я.— Этого не будет.

— Маму увидишь,— прошептал отец.— Я виноват перед ней... Пусть простит...

Он замолчал и слабо стиснул мою руку.

Я не понял тогда его слов, и только гораздо позже, через много лет, мне стало ясно их горькое значение. Также намного позже я понял, что мой отец был по существу совсем не статистиком, а поэтом.

На рассвете он умер, но я не сразу об этом догадался. Мне показалось, что он спокойно уснул.

На острове у нас жил старый дед Нечипор. Его позвали читать над отцом псалтырь.

Нечипор часто прерывал чтение, чтобы выйти в сени покурить махорку. Там он шепотом рассказывал мне незамысловатые истории, потрясшие его воображение: о бутылке вина, выпитой им прошлым летом в Белой Церкви, о том, что он видел под Плевной самого Скобелева так близко, «як до того плетня», и об удивительной американской веялке, работающей от громоотвода. Дед Нечипор был, как говорили на острове, «легкий человек» — враль и болтун.

Он читал псалтырь весь день и всю следующую ночь, отщипывая черными ногтями нагар со свечи, засыпал стоя, всхрапывал и, очнувшись, снова бормотал невнятные молитвы.

Ночью на другом берегу реки кто-то начал махать фонарем и протяжно кричать. Я вышел с дядей Илько на берег. Река ревела. Вода шла через греблю холодным водопадом. Ночь стояла поздняя, глухая, ни единой звезды

не было над головой. В лицо дуло дикой свежестью разлива, оттаявшей земли. И все время кто-то махал на том берегу фонарем и кричал, но слов за шумом реки нельзя было разобрать.

— Должно быть, мама,— сказал я дяде Илько.

Но он мне ничего не ответил.

— Пойдем,— сказал он, помолчав.— Холодно на берегу. Простудишься.

Я не захотел идти в дом. Дядя Илько помолчал еще немного и ушел, а я стоял и смотрел на далекий фонарь. Ветер дул все сильнее, качал тополя, нес откуда-то сладковатый дым соломы.

Утром отца хоронили. Нечипор и дядя Илько выкопали могилу в роще на краю оврага. Оттуда были далеко видны леса за Росью и белесое мартовское небо.

Гроб вынесли из дома на широких вышитых рушниках. Впереди шел ксендз. Он смотрел серыми спокойными глазами прямо перед собой и говорил вполголоса латинские молитвы.

Когда гроб вынесли на крыльцо, я увидел на том берегу реки старую коляску, распряженных и привязанных к ней лошадей и маленькую женщину в черном — маму. Она стояла неподвижно на берегу. Она видела оттуда, как выносили отца. Потом она опустилась на колени и упала головой на песок.

К ней подошел высокий, тощий извозчик, наклонился над ней и что-то говорил, но она все так же лежала неподвижно.

Потом она вскочила и побежала вдоль берега к гребле. Извозчик схватил ее. Она бессильно опустилась на землю и закрыла лицо руками.

Отца несли по дороге в рощу. На повороте я оглянулся. Мать сидела все так же закрыв лицо руками.

Все молчали. Только Брегман похлопывал кнутовищем по сапогу.

Около могилы ксендз поднял серые глаза к холодному небу и внятно и медленно сказал по-латыни:

— Requiem aeternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat eis!

«Вечный покой и вечный свет даруй им, господи!»

Ксендз замолчал, прислушался. Шумела река, и над головой в ветвях старых вязов пересвистывались синицы. Ксендз вздохнул и снова заговорил о вечной тоске по сча-

стью и о долине слез. Слова эти удивительно подходили к жизни отца. У меня от них сжалось сердце. Потом я часто испытывал это стеснение сердца, сталкиваясь с жаждой счастья и с несовершенством человеческих отношений.

Шумела река, осторожно свистели птицы, и гроб, осыпая сырую землю и шурша, медленно опускался на рушниках в могилу.

Мне было тогда семнадцать лет.

ДЕДУШКА МОЙ МАКСИМ ГРИГОРЬЕВИЧ

После похорон отца я прожил еще несколько дней в Городище.

Только на третий день, когда сошла вода, мать смогла переехать через плотину.

Мать осунулась, почернела, но уже не плакала, только часами сидела на отцовской могиле.

Живых цветов еще не было, и могилу убрали бумажными пионами. Их делали девушки из соседней деревни. Они любили вплетать эти пионы в свои косы вместе с шелковыми разноцветными лентами.

Тетушка Дозя старалась утешить меня и развлечь. Она вытащила из чулана — каморы — сундук, полный старинных вещей. Крышка его открывалась с громким звоном.

В сундуке я нашел пожелтевшую, написанную по-латыни гетманскую грамоту — «универсал», медную печать с гербом, Георгиевскую медаль за турецкую войну, «Сонник», несколько обкуренных трубок и черные кружева тончайшей работы.

«Универсал» и печать остались у нас в семье от гетмана Сагайдачного, нашего отдаленного предка. Отец посмеивался над своим «гетманским происхождением» и любил говорить, что наши деды и прадеды пахали землю и были самыми обыкновенными терпеливыми хлеборобами, хотя и считались потомками запорожских казаков.

Когда Запорожская Сечь при Екатерине Второй была разогнана, часть казаков поселили по берегам реки Рось, около Белой Церкви. Казаки неохотно сели на землю. Буйное их прошлое еще долго докипало в крови. Даже я, родившийся в конце девятнадцатого века, слышал от ста-

риков рассказы о кровавых сечах с поляками, походах «на Туретчину», об уманской резне и чигиринских гетманах.

Наслушавшись этих рассказов, я играл с братьями в запорожские битвы. Играли мы в овраге за усадьбой, где густо рос около плетня чертополох — будяк. Красные его цветы и листья с колючками издавали в жару приторный запах. Облака останавливались в небе над оврагом — ленивые и пышные, настоящие украинские облака. И такова сила детских впечатлений, что с тех пор все битвы с поляками и турками были связаны в моем воображении с диким полем, заросшим чертополохом, с пыльным его дурманом. А самые цветы чертополоха были похожи на сгустки казацкой крови.

С годами запорожская буйность потускнела. Во времена моего детства она сказывалась только в многолетних и разорительных тяжбах с графиней Браницкой из-за каждого клочка земли, в упорном браконьерстве и казачьих песнях — думках. Их пел нам, своим внучатам, дед мой Максим Григорьевич.

Маленький, седой, с бесцветными добрыми глазами, он все лето жил на пасеке за левадой — отсиживался там от гневного характера моей бабки — турчанки.

В давние времена дед был чумаком. Он ходил на волах в Перекоп и Армянск за солью и сушеной рыбой. От него я впервые услышал, что где-то за голубыми и золотыми степями «Катеринославщины» и Херсонщины лежит райская крымская земля.

До того как дед стал чумаком, он служил в николаевской армии, был на турецкой войне, попал в плен и привез из плена, из города Казанлыка во Фракии, жену — красавицу турчанку. Звали ее Фатьма. Выйдя за деда, она приняла христианство и новое имя — Гонората.

Бабушку-турчанку мы боялись не меньше, чем дед, и старались не попадаться ей на глаза.

Дед, сидя около шалаша, среди желтых цветов тыквы, напевал дребезжащим тенорком казачьи думки и чумацкие песни или рассказывал всяческие истории.

Я любил чумацкие песни за их заунывность. Такие песни можно было петь часами под скрип колес, валяясь на возу и глядя в небо. Казацкие же песни всегда вызывали непонятную грусть. Они казались мне то плачем невольников, закованных в турецкие цепи — кайданы, то широким походным напевом под топот лошадиных копыт.

Чего только не пел дед! Чаще всего он пел любимую нашу песню:

> Засвистали казаченьки
> В поход с полуночи.
> Заплакала Марусенька
> Свои ясны очи.

А из дедовских рассказов нам больше всего нравилась история лирника Остапа.

Я не знаю, видели ли вы когда-нибудь украинскую лиру. Сейчас, должно быть, ее можно найти только в музее. Но в те времена не только на базарах в маленьких городках, но и на улицах самого Киева часто встречались слепцы-лирники.

Они шли, держась за плечо босоногого маленького поводыря в посконной рубахе. В холщовой торбе у них за спиной были спрятаны хлеб, лук, соль в чистой тряпочке, а на груди висела лира. Она напоминала скрипку, но к ней были приделаны рукоятка и деревянный стержень с колесиком.

Лирник вертел рукоятку, колесико кружилось, терлось о струны, и они жужжали на разные лады, будто вокруг лирника гудели, аккомпанируя ему, добрые ручные шмели.

Лирники почти никогда не пели. Они говорили певучим речитативом свои думки, «псальмы» и песни. Потом замолкали, долго слушали, как жужжит-затихает лира, и, глядя перед собой незрячими глазами, просили милостыню.

Просили они ее совсем не так, как обыкновенные нищие. Я помню одного лирника в городе Черкассах. «Киньте грошик,— говорил он,— слепцу и хлопчику, потому что без того хлопчика слепец заплутается и не найдет дорогу после своей кончины в божий рай».

Я не помню ни одного базара, где бы не было лирника. Он сидел, прислонившись к пыльному тополю. Вокруг него теснились и вздыхали жалостливые бабы, бросали в деревянную миску позеленевшие медяки.

Представление о лирниках навсегда связалось у меня с памятью об украинских базарах — ранних базарах, когда роса еще блестит на траве, холодные тени лежат поперек пыльных дорог и синеватый дым струится над землей, уже освещенной солнцем.

Запотевшие кувшины — глечики — с ледяным молоком, мокрые бархатцы в ведрах с водой, гречишный мед

в макотрах, горячие ватрушки с изюмом, решета с вишнями, запах тарани, ленивый церковный перезвон, стремительные перебранки баб-«покотух», кружевные зонтики молодых провинциальных щеголих и внезапный гром медного котла — его тащил на плечах какой-нибудь румын с дикими глазами. Все «дядьки» считали своей обязанностью постучать по котлу кнутовищем, попробовать, хороша ли румынская медь.

Историю лирника Остапа я знал почти наизусть.

— Случилось то в селе Замошье, под городом Васильковом,— рассказывал дед.— Остап был в том селе ковалем. Кузня его стояла на выезде под черными-пречерными вербами по-над самой рекой. Не знал Остап неудачи — ковал коней, гвозди, ковал оси для чумацких возов.

Как-то к летнему вечеру раздувал Остап угли в кузне, а на дворе прошла в тот час гроза, раскидала по лужам листья, повалила трухлявую вербу. Раздувал Остап угли и вдруг слышит — топают ногами горячие кони, останавливаются около кузни. И чей-то голос — женский, молодой — зовет коваля.

Вышел Остап и замер: у самых дверей кузни пляшет черный конь, а на нем женщина небесной красоты, в длинном бархатном платье, с хлыстом, с вуалькой. Глаза ее смеются из-под вуальки. И зубы смеются. А бархат на платье мягкий, синий и блискавятся на нем капли — падают после дождя с черных верб на ту женщину. И рядом с ней на другом коне — молодой офицер. В ту пору в Василькове стоял полк улан.

«Коваль, голубчик,— говорит женщина,— подкуй мне коня, потеряла подкову. Очень скользкая дорога после грозы».

Женщина сошла с седла, села на колоду, а Остап начал ковать коня. Кует и все поглядывает на женщину, а она вдруг сделалась такая смутная, откинула вуаль и тоже смотрит на Остапа.

«Не встречал я вас до сей поры,— говорит ей Остап.— Не из наших вы, мабудь, мест?»

«Я из Петербурга,— отвечает женщина.— Очень хорошо ты куешь».

«Что подковы! — говорит ей тихо Остап.— Пустое дело! Я для вас могу сковать из железа такую вещь, что нету ее ни у одной царицы на свете».

«Какую же это вещь?» — спрашивает женщина.

«Что хотите. Вот, к примеру, я могу сковать самую тонкую розу с листьями и шипами».

«Хорошо! — так же тихо отвечает женщина.— Спасибо, коваль. Я за ней через неделю приеду».

Остап помог ей сесть в седло. Она подала ему руку в перчатке, чтобы опереться, и Остап не удержался — жарко прильнул к той руке. Но не успела она отдернуть руку, как офицер ударил Остапа паотмашь хлыстом поперек лица и крикнул: «Знай свое место, мужик!»

Кони взвились, поскакали. Остап схватил молот, чтобы кинуть в того офицера. Но не сдужил. Ничего не видит кругом, кровь по лицу льется. Повредил ему офицер один глаз.

Однако перемогся Остап, шесть дней работал и сковал розу. Смотрели ее разные люди, говорили, что такой работы не было, должно быть, даже в итальянской земле.

А на седьмой день ночью кто-то тихо подъехал к кузне, сошел с коня, привязал его к пряслу.

Остап боялся выйти, показать свое лицо — закрыл руками глаза и ждал.

И слышит легкие шаги и дыхание, и чьи-то теплые руки обнимают его, и падает ему на плечо одна-единственная ее слеза.

«Знаю, все знаю,— говорит женщина.— Сердце у меня изболелось за эти дни. Прости, Остап. Из-за меня случилась твоя великая беда. Я прогнала его, моего жениха, и уезжаю теперь в Петербург».

«Зачем?» — спрашивает Остап тихо.

«Милый мой, сердце мое,— говорит женщина,— все равно не дадут нам люди счастья».

«Ваша воля,— отвечает Остап.— Я простой человек, коваль. Мне о вас думать — и то радость».

Взяла женщина розу, поцеловала Остапа и уехала шагом. А Остап вышел на порог, глядел ей вслед, слушал. Два раза останавливала женщина коня. Два раза хотела вернуться. Но не вернулась. Звезды играли над ярами, падали в степь, будто само небо плакало над их любовью. Так-то, хлопчик!

В этом месте дед всегда замолкал. Я сидел, боясь пошевелиться. Потом я спрашивал шепотом:

— Так они и не виделись больше?

— Нет,— отвечал дед.— Это верно, не виделись. Остап начал слепнуть. Надумал он дойти тогда до Петербурга,

чтобы увидеть ту женщину, пока он еще не совсем ослеп. Дошел он до царской столицы и узнал, что она умерла,— мабудь, не выдержала разлуки. Нашел Остап на кладбище ее могилу из белого мрамора-камня, глянул, и сердце у него сорвалось — на камне лежала его железная роза. Завещала та женщина положить розу па ее могилу. Навеки. А Остап начал лирпичать и, мабудь, так и помер на шляху или на базаре под возом. Аминь!

Косматый пес Рябчик с репьями на морде громко зевал, слушая дедовский рассказ. Я толкал его от негодования в бок, а Рябчик пичуть пе обижался и лез ко мпе ласкаться, высунув горячий язык.

В пасти у Рябчика торчали обломки зубов. Прошлой осенью, когда мы уезжали из Городища, он вцепился в колесо — хотел остановить коляску — и поломал зубы.

Ах, дед Максим Григорьевич! Ему я отчасти обязап чрезмерной впечатлительностью и романтизмом. Опи превратили мою молодость в ряд столкновений с действительностью. Я страдал от этого, но все же зпал, что дед прав и что жизнь, созданная из трезвости и благоразумия, может быть, и хороша, но тягостна для меня и бесплодна. «На всякого человека,— как говаривал дед,— другая препорция».

Может быть, поэтому дед и не уживался с бабкой. Вернее, прятался от нее. Ее турецкая кровь не дала ей ни одной привлекательной черты, кроме красивой, но грозной наружности.

Бабка была деспотична, придирчива. Она выкуривала в день не меньше фунта крепчайшего черного табака. Курила она его в коротких раскаленных трубках. Она ведала хозяйством. Ее черный глаз замечал малейший непорядок в доме.

По праздникам она надевала атласное платье, отороченное черными кружевами, выходила из дому, садилась на завалинку, дымила трубкой и смотрела на быструю реку Рось. Изредка она громко смеялась своим мыслям, но никто не решался спросить ее, чему она смеется.

Единственной вещью, которая немного примиряла нас с бабкой, был твердый розовый брусок, похожий на мыло. Он был спрятан у пее в комоде. Она изредка выпимала его и с гордостью давала нам нюхать. Брусок издавал тончайший запах роз.

Отец рассказал мне, что долина вокруг Казанлыка — родного города бабки — называется Долиной роз, что там добывают розовое масло и чудесный брусок — это какой-то состав, пропитанный этим маслом.

Долина роз! Самые эти слова меня волновали. Я не понимал, как в таких поэтических местах мог появиться человек с такой суровой душой, как у моей бабки.

КАРАСИ

Сейчас, задержавшись в Городище после смерти отца, я вспомнил раннее свое детство, то время, когда мы, веселые и счастливые, приезжали сюда на лето из Киева. Тогда отец и мать были еще молоды и еще не умерли дед и турчанка-бабка. Тогда и я был еще совсем маленьким мальчиком и выдумывал всякие небылицы.

Поезд из Киева приходил в Белую Церковь вечером. Отец тотчас нанимал на вокзальной площади крикливых извозчиков.

В Городище мы добирались ночью. Сквозь дремоту я слышал надоедливое дребезжание рессоры, потом шум воды около мельницы, лай собак. Фыркали лошади и скрипели плетни. Ночь сияла незакатными звездами. Из сырой темноты тянуло бурьяном.

Тетушка Дозя вносила меня, сонного, в теплую хату, устланную разноцветными половиками. В хате пахло топленым молоком. Я открывал на минуту глаза и видел около своего лица пышную вышивку на белоснежных рукавах тетушки Дози.

Утром я просыпался от жаркого солнца, бившего в белые стены. Красные и желтые мальвы-монашки покачивались за открытым окном. Вместе с ними заглядывал в комнату цветок настурции; в нем сидела мохнатая пчела. Я, замерев, следил, как она сердито пятится и выбирается из тесного цветка. По потолку без конца бежали светлые струи, легкие волны — отражения реки. Река шумела тут же, рядом.

Потом я слышал, как насмешливый дядя Илько говорил кому-то:

— Ну, конечно, солнце не успело пригреть, а уже появилась процессия! Дозя, ставь на стол вишневку и пироги!

Я вскакивал, подбегал босиком к окну и видел: с того берега по гребле, постукивая суковатыми посохами, медленно надвигались па усадьбу старики в больших соломенных шляпах — брилях. Медали бренчали и поблескивали на их коричневых свитках.

Это шли приветствовать нас и поздравить с благополучным приездом почтенные деды из соседней деревни Пилипчи. Впереди шел щербатый староста Трофим с медной бляхой на шее.

В хате начиналась суета. Тетушка Дозя взмахивала над столом скатертью. Ветер проносился по комнате. Мама торопливо накладывала на блюдо пироги, резала колбасу. Отец откупоривал бутылки с домашней вишневкой, а дядя Илько расставлял граненые стаканчики.

Потом тетушка Дозя и мама убегали переодеваться, а отец и дядя Илько выходили на крыльцо, навстречу старикам, приближавшимся торжественно и неотвратимо, как судьба.

Старики наконец подходили, молча целовались с отцом и дядей, садились на завалинку, все сразу вздыхали, и тогда староста Трофим, предварительно откашлявшись, произносил свою знаменитую фразу:

— Честь имею покорнейше вас поздравить, Георгий Максимович, с приездом до нас, в нашу тихую местность.

— Спасибо! — говорил отец.

— Да-а! — отвечали сразу все старики и облегченно вздыхали.— Оно так, конечно...

— Да-а! — повторял Трофим и поглядывал через окно на стол, где поблескивали бутылки.

— Вот оно, значит, как слагается,— произносил старый николаевский солдат с бугристым носом.

— Понятное дело! — вступал в разговор маленький и очень любопытный старик Недоля, отец двенадцати дочерей.

От старости он позабыл их имена и мог насчитать по пальцам не больше пяти: Ганна, Парася, Горпына, Олеся, Фрося... Потом старик сбивался и начинал счет сначала.

— Так! — говорили старики и надолго замолкали.

В это время из хаты выходил дедушка Максим Григорьевич. Старики вставали, низко кланялись ему. Дедушка кланялся им в ответ, и старики, шумно вздохнув, снова садились на завалинку, крякали, молчали и смотрели в землю. Наконец по каким-то неуловимым признакам

дядя Илько догадывался, что в хате все готово для угощения, и говорил:

— Ну, спасибо вам за разговор, добрые люди. Пожалуйте теперь откушать чем бог послал.

В хате стариков встречала мама в летнем нарядном платье. Старики целовали ей руку, а она в ответ целовала их коричневые руки — таков был обычай. Тетушка Дозя в синем платье и в шали с пунцовыми розами, румяная, красивая, рано поседевшая, кланялась старикам в пояс.

После первого стаканчика липкой вишневки Недоля, мучимый любопытством, приступал к расспросам. Все вещи, привезенные нами из Киева, вызывали его недоумение, и он, показывая на них, спрашивал:

— Що воно, для чого воно и яка в нем словесность?

Отец объяснял ему, что вот это — духовой утюг, а это — мороженица, а там на комоде — складное зеркало. Недоля с восхищением крутил головой:

— На всячину свое средствие!

— Оно так, конечно! — соглашались старики, выпивая.

Лето в Городище вступало в свои права,— жаркое лето с его страшными грозами, шумом деревьев, прохладными струями речной воды, рыбной ловлей, зарослями ежевики, с его сладостным ощущением беззаботных и разнообразных дней.

Остров, на котором стояла дедовская хата, был, конечно, самым таинственным местом на свете.

За домом лежали два огромных глубоких пруда. Там всегда было сумрачно от старых ив и темной воды.

За прудами, вверх по склону, подымалась роща с непролазным орешником. За рощей начинались поляны, заросшие по пояс цветами и такие душистые, что от них в знойный день разбаливалась голова.

За полянами на пасеке курился слабый дымок около дедовского шалаша. А за дедовским шалашом шли неизведанные земли — красные гранитные скалы, покрытые ползучими кустами и сухой земляникой.

В углублениях этих скал стояли маленькие озера дождевой воды. Трясогузки, подрагивая пестрыми хвостами, пили теплую воду из этих озер. Неуклюжие и нахальные шмели, свалившись с размаху в озера, кружились и гудели, тщетно взывая о помощи.

Скалы обрывались отвесной стеной в реку Рось. Туда нам запретили ходить. Но мы изредка подползали к краю

скал и смотрели вниз. Тугим прозрачным потоком, кружа голову, неслась внизу Рось. Под водой, навстречу течению, медленно шли, вздрагивая, узкие рыбы.

На том берегу подымался по скату заповедный лес графини Браницкой. Солнце не могло прорваться сквозь мощную зелень этого леса. Лишь изредка одинокий луч прорезал наискось чащу и открывал перед нами потрясающую силу растительности. Как сверкающие пылинки, влетали в этот луч маленькие птицы. Они с писком гонялись друг за другом и ныряли в листву, будто в зеленую воду.

Но самым любимым моим местом были пруды.

Каждое утро отец ходил туда удить рыбу. Он брал меня с собой.

Мы выходили из дому очень рано и осторожно шагали по тяжелой мокрой траве. Тихими золотеющими пятнами светились среди темной, еще ночной листвы ветки ив, озаренные первым солнцем. В глухой воде плескались караси. Заросли кувшинок, рдеста, стрелолиста и водяной гречихи висели, казалось, над черной бездной.

Таинственный мир воды и растений раскрывался передо мной. Очарование этого мира было так велико, что я мог просиживать на берегу пруда с восхода до захода солнца.

Отец бесшумно закидывал удочки и закуривал. Табачный дым плыл над водой и запутывался среди прибрежных веток.

Я набирал в ведро воды из пруда, бросал в эту воду траву и ждал. Красные поплавки неподвижно стояли в воде. Потом один из них начинал вздрагивать, пускал легкие круги, внезапно нырял или быстро плыл в сторону. Отец подсекал, леска натягивалась, ореховое удилище сгибалось в дугу, и в тумане над прудом начиналось бульканье, плеск, возня. Вода разбегалась, качая кувшинки, торопливо удирали во все стороны жуки-водомеры, и, наконец, в загадочной глубине появлялся бьющийся золотой блеск. Нельзя было разобрать, что это такое, пока отец не выволакивал на примятую траву тяжелого карася. Он лежал на боку, отдувался и шевелил плавниками. От его чешуи шел удивительный запах подводного царства.

Я пускал карася в ведро. Он ворочался там среди травы, неожиданно бил хвостом и обдавал меня брызгами. Я слизывал эти брызги со своих губ, и мне очень хотелось напиться из ведра, но отец не позволял этого.

Мне казалось, что вода в ведре с карасем и травой должна быть такой же душистой и вкусной, как вода грозовых дождей. Мы, мальчишки, жадно пили ее и верили, что от этого человек будет жить до ста двадцати лет. Так, по крайней мере, уверял Нечипор.

ПЛЕВРИТ

Грозы в Городище бывали часто. Они начинались на Ивана Купала и длились весь июль, обкладывали остров разноцветными громадами туч, блистали и гремели, сотрясая наш дом, и пугали до обморока тетушку Дозю.

С этими грозами связано воспоминание о моей первой детской любви. Мне было тогда девять лет.

В день Ивана Купала девушки из Пилипчи приходили нарядной стайкой к нам на остров, чтобы пускать по реке венки. Они плели венки из полевых цветов. Внутри каждого венка они вставляли крестовину из щепочек и прилепляли к ней восковой огарок. В сумерки девушки зажигали огарки и пускали венки по реке.

Девушки гадали,— чья свеча заплывет дальше, та девушка будет счастливее всех. Но самыми счастливыми считались те, чей венок попадал в водоворот и медленно кружился над омутом. Омут был под крутояром. Там всегда стояло затишье, свечи горели на таких венках очень ярко, и даже с берега было слышно, как трещат их фитили.

И взрослые и мы, дети, очень любили эти венки на Ивана Купала. Один Нечипор пренебрежительно крякал и говорил:

— Глупство! Нема в тех венках ниякой рации!

С девушками приходила Ганна, моя троюродная сестра. Ей было шестнадцать лет. В рыжеватые пышные косы она вплетала оранжевые и черные ленты. На шее у нее висело тусклое коралловое монисто. Глаза у Ганны были зеленоватые, блестящие. Каждый раз, когда Ганна улыбалась, она опускала глаза и подымала их уже не скоро, будто ей было тяжело их поднять. Со щек ее не сходил горячий румянец.

Я слышал, как мама и тетушка Дозя жалели Ганну за что-то. Мне хотелось узнать, что они говорят, но они всегда замолкали, как только я подходил.

На Ивана Купала меня отпустили с Ганной на реку к девушкам. По дороге Ганна спросила:

— Кем же ты будешь, Костик, когда вырастешь большой?

— Моряком,— ответил я.

— Не надо,— сказала Ганна.— Моряки тонут в пучине. Кто-нибудь да проплачет по тебе ясные свои очи.

Я не обратил внимания на слова Ганны. Я держал ее за горячую смуглую руку и рассказывал о своей первой поездке к морю.

Ранней весной отец ездил на три дня в командировку в Новороссийск и взял меня с собой. Море появилось вдали, как синяя стена. Я долго не мог понять, что это такое. Потом я увидел зеленую бухту, маяк, услышал шум волн у мола, и море вошло в меня, как входит в память великолепный, но не очень ясный сон.

На рейде стояли черные броненосцы с желтыми трубами — «Двенадцать апостолов» и «Три святителя». Мы ездили с отцом на эти корабли. Меня поразили загорелые офицеры в белых кителях с золотыми кортиками, маслянистое тепло машинных отделений. Но больше всего удивил меня отец. Я таким никогда его не видел. Он смеялся, шутил, оживленно говорил с офицерами. Мы даже зашли в каюту к одному корабельному механику. Отец пил с ним коньяк и курил турецкие папиросы из розовой бумаги с золотыми арабскими буквами.

Ганна слушала, опустив глаза. Мне стало почему-то жаль ее, и я сказал, что когда сделаюсь моряком, то непременно возьму ее к себе на корабль.

— Кем же ты меня возьмешь? — спросила Ганна.— Стряпкой? Или прачкой?

— Нет! — ответил я, загорясь мальчишеским воодушевлением.— Ты будешь моей женой.

Ганна остановилась и строго посмотрела мне в глаза.

— Побожись! — прошептала она.— Поклянись сердцем матери!

— Клянусь! — ответил я, не задумываясь.

Ганна улыбнулась, зрачки ее сделались зелеными, как морская вода, и она крепко поцеловала меня в глаза. Я почувствовал жар ее рдеющих губ. Всю остальную дорогу до реки мы молчали.

Свеча Ганны погасла первой. Из-за леса графини Браницкой подымалась дымная туча. Но мы, увлеченные вен-

ками, ее не заметили, пока не ударил ветер, не засвистели, нагибаясь к земле, ракиты и не хлестнула, взорвавшись ослепительным громом, первая молния.

Девушки с визгом бросились под деревья. Ганна сорвала с плеч платок, обвязала им меня, схватила за руку, и мы побежали.

Она тащила меня, ливень настигал нас, и я знал, что до дому мы добежать все равно не успеем.

Ливень догнал нас невдалеке от дедовского шалаша. До шалаша мы добежали промокшие насквозь. Деда на пасеке не было.

Мы сидели в шалаше, прижавшись друг к другу. Ганна растирала мои руки. От нее пахло мокрым ситцем. Она все время испуганно спрашивала:

— Тебе холодно? Ой, заболеешь ты, что я тогда буду делать!

Я дрожал. Мне было действительно очень холодно. В глазах Ганны сменялись страх, отчаяние, любовь.

Потом она схватилась за горло и закашлялась. Я видел, как билась жилка на ее нежной и чистой шее. Я обнял Ганну и прижался головой к ее мокрому плечу. Мне захотелось, чтобы у меня была такая молодая и добрая мама.

— Что ты? — растерянно спрашивала Ганна, не переставая кашлять, и гладила меня по голове.— Что ты? Ты не бойся... Нас громом не убьет. Я же с тобой. Не бойся.

Потом она слегка оттолкнула меня, прижала ко рту рукав рубахи, вышитый красными дубовыми листьями, и рядом с ними по полотну расползлось маленькое кровавое пятно, похожее на вышитый дубовый листок.

— Не надо мне твоей клятвы! — прошептала Ганна, виновато взглянула на меня исподлобья и усмехнулась.— Это я пошутила.

Гром гремел уже за краем огромной земли. Ливень прошел. Только шумели по деревьям частые капли.

Ночью у меня начался жар. Через день приехал из Белой Церкви на велосипеде молодой доктор Напельбаум, осмотрел меня и нашел, что у меня плеврит.

От нас Напельбаум ходил в Пилипчу к Ганне, вернулся и сказал в соседней комнате моей матери тихим голосом:

— У нее, Мария Григорьевна, скоротечная чахотка. Она не доживет до весны.

Я заплакал, позвал маму, обнял ее и заметил, что у мамы на шее бьется такая же нежная жилка, как и у Ганны. Тогда я заплакал сильнее и долго не мог остановиться, а мама гладила меня по голове и говорила:

— Что ты? Я же с тобой. Не бойся.

Я выздоровел, а Ганна умерла зимой, в феврале.

На следующее лето я пошел с мамой на ее могилу и положил на зеленый маленький холмик цветы ромашки, перевязанные черной лентой. Такие цветы Ганна вплетала в свои косы. И мне было почему-то неловко, что рядом со мной стоит мама с красным зонтиком от солнца и что я пришел к Ганне не один.

ПОЕЗДКА В ЧЕНСТОХОВ

В Черкассах, на Днепре, жила другая моя бабушка — Викентия Ивановна, высокая старуха, полька.

У нее было много дочерей, моих тетушек. Одна из этих тетушек, Евфросиния Григорьевна, была начальницей женской гимназии в Черкассах. Бабушка жила у этой тетушки в большом деревянном доме.

Викентия Ивановна всегда ходила в трауре и черной наколке. Впервые она надела траур после разгрома польского восстания в 1863 году и с тех пор ни разу его не снимала.

Мы были уверены, что во время восстания у бабушки убили жениха — какого-нибудь гордого польского мятежника, совсем не похожего на угрюмого бабушкиного мужа, а моего деда,— бывшего нотариуса в городе Черкассах.

Деда я помню плохо. Он жил в маленьком мезонине и редко оттуда спускался. Бабушка поселила его отдельно от всех из-за невыносимой страсти деда к курению.

Изредка мы пробирались к нему в комнату, горькую и мутную от дыма. На столе горами лежал табак, высыпанный из коробок. Дед, сидя в кресле, набивал трясущимися жилистыми руками папиросу за папиросой.

С нами он не разговаривал, только взъерошивал тяжелой рукой волосы у нас на затылке и дарил лиловую глянцевую бумагу из табачных коробок.

Мы часто приезжали из Киева погостить к Викентии Ивановне. У нее существовал твердый порядок. Каждую

весну великим постом она ездила па богомолье по католическим святым местам в Варшаву, Вильно или Ченстохов.

Но иногда ей приходило в голову посетить православные святыни, и она уезжала в Троице-Сергиевскую лавру или в Почаев.

Все ее дочери и сыновья посмеивались над этим и говорили, что если так пойдет дальше, то Викентия Ивановна начнет навещать знаменитых еврейских цадиков и закончит свои дни паломничеством в Мекку к гробу Магомета.

Самое крупное столкновение между бабушкой и отцом произошло, когда бабушка воспользовалась тем, что отец уехал в Вену на конгресс статистиков, и взяла меня с собой в одно из религиозных путешествий. Я был счастлив этим и не понимал негодования отца. Мне было тогда восемь лет.

Я помню прозрачную виленскую весну и каплицу Острая Брама, куда бабушка ходила к причастию.

Весь город был в зеленоватом и золотистом блеске первых листьев. В полдень на Замковой горе стреляла пушка времен Наполеона.

Бабушка была очень начитанная женщина. Она без конца мне все объясняла.

Религиозность удивительно уживалась в ней с передовыми идеями. Она увлекалась Герценом и одновременно Генрихом Сенкевичем. Портреты Пушкина и Мицкевича всегда висели в ее комнате рядом с иконой Ченстоховской божьей матери. В революцию 1905 года она прятала у себя революционеров-студентов и евреев во время погромов.

Из Вильно мы поехали в Варшаву. Я запомнил только памятник Копернику и кавярни, где бабушка угощала меня «пшевруцоной кавой» — «перевернутым кофе»: в нем было больше молока, чем кофе. Она угощала меня и пирожными — меренгами, таявшими во рту с маслянистой холодной сладостью. Нам подавали вертлявые девушки в гофрированных передниках.

Из Варшавы мы поехали в Ченстохов, в знаменитый католический монастырь Ясна Гура, где хранилась «чудотворная» икона божьей матери.

Впервые я тогда столкнулся с религиозным фанатизмом. Он потряс меня и напугал. С тех пор страх перед фа-

натизмом и отвращение к нему вошли в мое сознание. Я долго не мог избавиться от этого страха.

Поезд пришел в Ченстохов рано утром. От вокзала до монастыря, стоявшего на высоком зеленом холме, было далеко.

Из вагона вышли богомольцы — польские крестьяне и крестьянки. Среди них были и городские обыватели в пыльных котелках. Старый тучный ксендз и мальчики-причетники в кружевных одеяниях ждали богомольцев на вокзале.

Тут же, около вокзала, процессия богомольцев выстроилась на пыльной дороге. Ксендз благословил ее и пробормотал в нос молитву. Толпа рухнула на колени и поползла к монастырю, распевая псалмы.

Толпа ползла на коленях до самого монастырского собора. Впереди ползла седая женщина с белым исступленным лицом. Она держала в руках черное деревянное распятие.

Ксендз медленно и равнодушно шел впереди этой толпы. Было жарко, пыльно, пот катился по лицам. Люди хрипло дышали, гневно оглядываясь на отстающих.

Я схватил бабушку за руку.

— Зачем это? — спросил я шепотом.

— Не бойся,— ответила бабушка по-польски.— Они грешники. Они хотят вымолить прощение у папа бога.

— Уедем отсюда,— сказал я бабушке.

Но она сделала вид, что не расслышала моих слов.

Ченстоховский монастырь оказался средневековым замком. В стенах его торчали ржавые шведские ядра. В крепостных рвах гнила зеленая вода. На валах шумели густые деревья.

Подъемные мосты на железных цепях были опущены. Мы въехали в извозчичьем экипаже по такому мосту в путаницу монастырских дворов, переходов, закоулков и аркад.

Служка-монах, подпоясанный веревкой, провел нас в монастырскую гостиницу. Нам отвели холодную сводчатую комнату. Неизменное распятие висело на стене. На пробитые гвоздями латунные ноги Христа кто-то повесил венок из бумажных цветов.

Монах спросил бабушку, не страдает ли она болезнями, требующими исцеления. Бабушка была очень мнительная и тотчас пожаловалась на боли в сердце. Монах

достал из кармана коричневой рясы горсть маленьких, сделанных из серебра сердец, рук, голов и даже игрушечных младенцев и высыпал их горкой на стол.

— Есть сердца,— сказал он,— на пять рублей, на десять и на двадцать. Они уже освященные. Остается только повесить их с молитвой на икону божьей матери.

Бабушка купила маленькое пухлое сердце за десять рублей.

Бабушка сказала, что ночью мы пойдем в костел на торжественную службу, напоила меня чаем с варшавскими черствыми булочками и прилегла отдохнуть. Она уснула. Я смотрел в низкое окно. Прошел монах в блестящей выгоревшей рясе. Потом два польских крестьянина сели в тени у стены, достали из узелков серый хлеб и чеснок и начали есть. У них были синие глаза и крепкие зубы.

Мне стало скучно, и я осторожно вышел на улицу. Бабушка велела, чтобы в монастыре я не разговаривал по-русски. От этого мне было страшно. По-польски я знал всего несколько слов.

Я заблудился, попал в узкий проход между стенами. Он был вымощен треснувшими плитами. В трещинах цвел подорожник. К стенам были привинчены чугунные фонари. Их, должно быть, давно не зажигали — в одном фонаре я разглядел птичье гнездо.

Узкая калитка в стене была приоткрыта. Я заглянул в нее. Яблоневый сад, весь в солнечных пятнах, спускался по склону холма. Я осторожно вошел. Сад отцветал. Часто падали пожелтевшие лепестки. Жидкий, но мелодичный звон долетал с костельной колокольни.

Под старой яблоней сидела на траве молоденькая польская крестьянка и кормила грудью ребенка. Ребенок морщился и хрипел. Рядом с женщиной стоял бледный, опухший крестьянский парень в новой фетровой шляпе. На шляпе была нашита синяя атласная лента и за нее заткнуто павлинье перо. Парень смотрел себе под ноги круглыми глазами и не шевелился.

Низенький плешивый монах с садовыми ножницами в руке присел на пне против женщины. Он внимательно посмотрел на меня и сказал:

— Нех бендзи похвалёны Езус Христус!

— На веки векув! — ответил я так, как меня учила бабушка.

Сердце у меня остановилось от страха.

Монах отвернулся и снова стал слушать женщину. Пряди белых волос падали ей на лицо. Она отбрасывала их нежной рукой и жалобно говорила:

— Как сыночку пошел пятый месяц, Михась застрелил аиста. Он принес его в нашу халупку. Я заплакала и сказала: «Что ты наделал, глупец! Ты же знаешь, что за каждого убитого аиста бог отнимает у людей по одному ребенку. Зачем же ты его застрелил, Михась?»

Парень в фетровой шляпе все так же безразлично рассматривал землю.

— И с того дня,— продолжала крестьянка,— сыночек наш посинел и болезнь начала его душить за горло. Поможет ему божья матка?

Монах уклончиво смотрел в сторону и ничего не отвечал.

— Ох, тенскнота! — сказала женщина и начала царапать себя рукой по горлу.— Ох, тенскнота! — закричала она и прижала к груди ребенка.

Ребенок таращил глаза и хрипел.

Я вспомнил про игрушечных серебряных младенцев, которых показывал бабушке служка в монастырской гостинице. Мне было жаль эту женщину. Я хотел сказать ей, чтобы она купила за двадцать рублей такого младенца и подвесила его к ченстоховской иконе. Но у меня не хватало польских слов, чтобы дать такой сложный совет. Кроме того, я боялся монаха-садовника. Я ушел из сада.

Когда я вернулся, бабушка еще спала. Я лег, не раздеваясь, на жесткую койку и тотчас уснул.

Бабушка меня разбудила среди ночи. Я умылся холодной водой в большом фаянсовом тазу. Я дрожал от возбуждения. За окнами проплывали ручные фонари, слышалось шарканье ног, перезванивали колокола.

— Сегодня,— сказала бабушка,— будет служить кардинал, папский нунций.

С трудом мы добрались в темноте до костела.

— Держись за меня! — сказала бабушка в неосвещенном притворе.

Мы ощупью вошли в костел. Я ничего не увидел. Не было ни одной свечи, никакого проблеска света среди душного мрака, скованного высокими костельными стенами и наполненного дыханием сотен людей. Кромешная эта темнота сладковато пахла цветами.

Я почувствовал под ногой стертый чугунный пол, сделал шаг и тотчас наткнулся на что-то.

— Стой спокойно! — сказала шепотом бабушка.— Люди лежат крестом на полу. Ты наступишь на них.

Она начала читать молитву, а я ждал, держась за ее локоть. Мне было страшно. Люди, лежавшие крестом на полу, тихо вздыхали. Печальный шелест разносился вокруг.

Внезапно в этом тяжелом мраке раздался, сотрясая стены, рыдающий гром органа. В ту же минуту вспыхнули сотни свечей. Я вскрикнул, ослепленный и испуганный.

Большая золотая завеса, закрывавшая икону Ченстоховской божьей матери, начала медленно раздвигаться. Шесть старых ксендзов в кружевном облачении стояли на коленях перед иконой, спиной к толпе. Их руки были воздеты к небу. Только худой кардинал в пурпурной сутане с широким фиолетовым кушаком, стягивавшим его тонкую талию, стоял во весь рост — тоже спиной к молящимся,— как бы прислушиваясь к затихающей буре органа и всхлипыванью толпы.

Я еще никогда не видал такого театрального и непонятного зрелища.

После ночной службы мы прошли с бабушкой в длинный сводчатый коридор. Светало. Под стенами стояли на коленях молящиеся. Бабушка тоже опустилась на колени и заставила опуститься и меня. Я боялся спросить ее, чего ждут эти люди с безумными глазами.

В конце коридора показался кардинал. Он шел легко и стремительно. Пурпурная его сутана развевалась и задевала молящихся по лицу. Они ловили край сутаны и целовали его страстно и униженно.

— Поцелуй сутану,— сказала мне бабушка быстрым шепотом.

Но я не послушался. Я побледнел от обиды и прямо посмотрел в лицо кардиналу. Должно быть, у меня были слезы на глазах. Он остановился, положил на мгновенье сухую маленькую руку мне на голову и сказал по-польски:

— Слезы ребенка — лучшая молитва господу.

Я смотрел на него. Острое его лицо было стянуто коричневой кожей. Как будто тусклое зарево освещало это лицо. Черные прищуренные глаза смотрели на меня выжидательно.

Я упрямо молчал.

Кардинал резко отвернулся и так же легко, подымая ветер, пошел дальше.

Бабушка схватила меня за руку так сильно, что я чуть не вскрикнул от боли, и вывела из коридора.

— Весь в отца! — сказала она, когда мы вышли во двор.— Весь в отца! Матерь божья ченстоховская! Что же с тобой будет в жизни?!

РОЗОВЫЕ ОЛЕАНДРЫ

На галерее в бабушкином доме в Черкассах стояли в зеленых кадках олеандры. Они цвели розовыми цветами. Мне очень нравились сероватые листья олеандров и бледные их цветы. С ними соединялось почему-то представление о море — далеком, теплом, омывающем цветущие олеандрами страны.

Бабушка хорошо выращивала цветы. Зимой у нее в комнате всегда цвели фуксии. Летом в саду, заросшем около заборов лопухом, распускалось столько цветов, что сад казался сплошным букетом. Запах цветов проникал даже в дедушкин мезонин и вытеснял оттуда табачный перегар. Дедушка сердито захлопывал окна. Он говорил, что от этого запаха у него разыгрывается застарелая астма.

Цветы чудились мне тогда живыми существами. Резеда была бедной девушкой в сером заштопанном платье. Только удивительный запах выдавал ее сказочное происхождение. Желтые чайные розы казались молодыми красавицами, потерявшими румянец от злоупотребления чаем.

Клумба с анютиными глазками походила на маскарад. Это были не цветы, а веселые и лукавые цыганки в черных бархатных масках, пестрые танцовщицы — то синие, то лиловые, то желтые.

Маргаритки я не любил. Они напоминали своими розовыми скучными платьицами девочек бабушкиного соседа учителя Циммера. Девочки были безбровые и белобрысые. При каждой встрече они делали книксен, придерживая кисейные юбочки.

Самым интересным цветком был, конечно, портулак — ползучий, пылающий всеми чистыми красками. Вместо листьев у портулака торчали мягкие и сочные иглы. Стоило чуть нажать их, и в лицо брызгал зеленый сок.

Бабушкин сад и все эти цветы с необыкновенной силой действовали на мое воображение. Должно быть, в этом саду и родилось мое пристрастие к путешествиям. В детстве я представлял себе далекую страну, куда непременно поеду, как холмистую равнину, заросшую до горизонта травой и цветами. В них тонули деревни и города. Когда скорые поезда пересекали эту равнину, на стенках вагонов толстым слоем налипала пыльца.

Я рассказал об этом братьям, сестре и маме, но никто меня не хотел понять. В ответ я впервые услышал от старшего брата презрительную кличку «фантазер».

Понимала меня, пожалуй, одна тетя Надя, самая младшая из бабушкиных дочерей.

Ей было тогда двадцать три года. Она училась пению в Московской консерватории. У нее было прекрасное контральто.

Тетя Надя приезжала на пасху и летом к бабушке в Черкассы. Сразу же в тихом просторном доме делалось шумно и тесно. Она играла с нами и носилась с хохотом по навощенным полам — стройная, тоненькая, с растрепанными белокурыми волосами и чуть приоткрытым свежим ртом.

В серых ее глазах сверкали всегда крупинки золота. Глаза эти смеялись в ответ на все: на любую шутку, веселое слово, даже в ответ на брезгливую морду кота Антона, недовольного нашим весельем.

— Для Нади все трын-трава! — говорила с легким осуждением мама.

Беспечность тети Нади вошла в нашей семье в поговорку. Она часто теряла перчатки, пудру, деньги, но никогда этим не огорчалась.

В день ее приезда мы подымали крышку рояля, и он стоял открытым до тех пор, пока тетя Надя не возвращалась в свою веселую и хлебосольную Москву.

Груды нот валялись на креслах. Дымили свечи. Рокотал рояль, и я иногда просыпался ночью от грудного и нежного голоса, певшего баркаролу.

Плыви, моя гондола,
Озарена луной.
Раздайся, баркарола,
Над сонною волной.

А утром меня будило вкрадчивое пение, почти шепот, около самого уха и щекочущие мои щеки волосы тети

Нади. «Вставай скорей,— пела она,— не стыдно ль спать, закрыв глаза, предавшись грезам? Давно малиновки звенят, и для тебя раскрылись розы!»

Я открывал глаза, она целовала меня, тотчас исчезала, а через минуту я слышал, как она уже кружилась по залу в быстром вальсе со своим братом — юнкером дядей Колей. Он тоже иногда приезжал к бабушке на пасху из Петербурга.

Я вскакивал, предчувствуя бурный, веселый, неожиданный день.

Когда тетя Надя пела, даже дедушка открывал настежь дверь на лестницу из мезонина и говорил потом бабушке:

— Откуда только у Нади эта цыганская кровь?

Бабушка уверяла, что у Нади кровь не цыганская, а польская. Ссылаясь на литературные примеры и историю Речи Посполитой, она доказывала, что среди полек часто бывали такие неудержимо веселые, взбалмошные и беспечные женщины.

— Вот именно! — отвечал язвительно дедушка и плотно затворял за собой дверь.— Вот именно! — громко повторял он за закрытой дверью, садясь набивать папиросы.

Однажды, я помню, была поздняя пасха. В Черкассах уже зацвели сады. Мы приехали из Киева на пароходе. Потом из Москвы приехала тетя Надя.

Я любил пасху, но боялся предпасхальных дней, потому что меня заставляли часами растирать миндальные зерна или взбивать ложкой белки. Я уставал от этого и даже втихомолку плакал.

Кроме того, перед пасхой в бабушкином доме начинался беспорядок. Женщины в подоткнутых юбках мыли фикусы, рододендроны, окна и полы, выбивали ковры и мебель, чистили медные ручки на дверях и окнах. Нас вечно гоняли из комнаты в комнату.

После уборки происходило священнодействие — бабушка делала тесто для куличей, или, как их называли у нас в семье, для «атласных баб». Кадку с желтым пузырчатым тестом укутывали ватными одеялами, и пока тесто не всходило, нельзя было бегать по комнатам, хлопать дверьми и громко разговаривать. Когда по улице проезжал извозчик, бабушка очень пугалась: от малейшего сотрясения тесто могло «сесть», и тогда прощай высокие ноздреватые

куличи, пахнущие шафраном и покрытые сахарной глазурью!

Кроме куличей, бабушка пекла множество разных «мазурок» — сухих пирожных с изюмом и миндалем. Когда противни с горячими мазурками вынимали из печки, дом наполнялся такими запахами, что даже дедушка начинал нервничать в своем мезонине. Он открывал дверь и заглядывал вниз, в гостиную, где был уже накрыт тяжелыми скатертями длинный мраморный стол.

В страстную субботу в доме наконец воцарялись прохладная чистота и тишина. Утром нам давали по стакану жидкого чая с сухарями, и потом уже весь день до разговения после заутрени мы ничего не ели. Этот легкий голод нам нравился. День казался очень длинным, в голове чуть позванивало, а требование бабушки поменьше болтать настраивало нас на торжественный лад.

В полночь мы отправлялись к заутрене. Меня одевали в матросские длинные брюки, в матросскую курточку с золотыми пуговицами и больно причесывали щеткой волосы. Я смотрел на себя в зеркало, видел страшно взволнованного румяного мальчика и был очень доволен.

Из своих комнат выходила тетушка Евфросиния Григорьевна. Она одна не принимала участия в праздничных приготовлениях. Она всегда болела, редко разговаривала и только ласково улыбалась в ответ на нашу веселую болтовню.

Она выходила в глухом синем платье, с золотой цепочкой от часов на шее и красивым бантом, приколотым к плечу. Мама объяснила мне, что этот бант называется «шифром», что это награда за образцовое окончание института, где тетушка Евфросиния Григорьевна когда-то училась.

Мама надевала свое праздничное серое платье, а отец — черный костюм с белым жилетом.

Потом появлялась бабушка — торжественная и красивая, вся в черном шелку, с искусственным цветком гелиотропа, приколотым к корсажу. Ее седые гладкие волосы были видны из-под кружевной наколки. Платье ее шуршало, и двигалась она легко,— бабушка молодела в эту ночь.

Она зажигала лампадки, после этого натягивала черные кружевные перчатки, и отец подавал ей мантилью с широкими завязками из лент.

— Вы, конечно, не пойдете к заутрене? — любезно, но холодно спрашивала его бабушка.

— Нет, Викентия Ивановна,— отвечал отец, улыбаясь.— Я прилягу немного. Меня разбудят, когда вы вернетесь из церкви.

— Ох,— говорила бабушка и вздергивала плечами, поправляя мантилью.— У меня одна надежда, что богу надоели ваши шутки и он махнул на вас рукой.

— Я тоже сильно рассчитываю на это,— учтиво отвечал отец.

Бабушка подымалась на минуту в мезонин попрощаться с дедом. Когда она спускалась от деда, в зал входила тетя Надя. Она всегда опаздывала.

Она не входила — она влетала, как тонкая сверкающая птица, в белом платье из легкого шелка с треном и буфами. Она тяжело дышала, и желтая роза трепетала у нее на груди.

Казалось, весь свет, вся радость мира сияли в ее потемневших глазах.

Бабушка останавливалась на лестнице и подносила платок к глазам. Она не могла сдержать слез при виде красоты своей младшей дочери. Каждый раз бабушка, очевидно, думала о судьбе тети Нади, о том, что будет с ней в суровой этой жизни, и мысли эти невольно заставляли бабушку прослезиться.

На этот раз, когда мы возвратились из церкви, отец не спал. Он открыл настежь окна из гостиной в сад. Было очень тепло.

Мы сели за стол разговляться. Ночь стояла рядом с нами. Звезды мерцали прямо в глаза. Из сада долетало попискиванье бессонной птицы. Все говорили мало и прислушивались к то возникавшему, то затихавшему в темноте колокольному звону.

Тетя Надя сидела бледная, усталая. Я заметил, как отец передал ей в передней, когда помогал снять пелерину, синюю телеграмму.

Тетя Надя вспыхнула и скомкала телеграмму.

После разговения меня тотчас послали спать. Проснулся я поздно, когда в столовой звенели чашки и взрослые уже пили кофе.

За обедом тетя Надя сказала, что получила телеграмму из соседнего городка Смелы от своей подруги Лизы

Яворской. Лиза приглашает тетю Надю приехать погостить на один день к себе в усадьбу около Смелы.

— Я хочу поехать завтра,— сказала тетя Надя, взглянула на бабушку и добавила: — И возьму с собой Костика.

Я покраснел от счастья.

— Бог с тобой,— ответила бабушка,— поезжайте, но смотрите не простудитесь.

— Они вышлют за нами лошадей,— сказала тетя Надя.

От Черкасс до Смелы был час езды поездом. На станции в Смеле нас встретила Лиза Яворская, толстая и смешливая девица. В пароконном экипаже мы проехали через чистый и красивый городок. Под зелеными обрывами тихими омутами разлилась река Тясмин. Только посредине омутов серебрилось ее медленное течение. Было жарко. Над рекой летали стрекозы.

Когда мы въехали в пустынный парк за городом, Лиза Яворская сказала, что здесь любил гулять Пушкин. Я не мог поверить, что Пушкин бывал в этих местах и что я нахожусь там, где бывал он. В то время Пушкин казался мне существом легендарным. Его блестящая жизнь должна была, конечно, проходить в стороне от этих украинских захолустий.

— Рядом Каменка, бывшее имение Раевских,— сказала Лиза Яворская.— Он подолгу гостил у них и написал здесь чудные стихи.

— Какие? — спросила тетя Надя.

— Играй, Адель,
Не знай печали;
Хариты, Лель
Тебя венчали
И колыбель
Твою качали...

Я не знал, что значит «хариты» и «Лель», но певучая сила этих стихов, высокий парк, столетние липы и небо, где плыли облака,— все это настроило меня на сказочный лад. Весь этот день остался у меня в памяти как праздник тихой и пустынной весны.

Лиза Яворская остановила экипаж в широкой аллее. Мы вышли и пошли к дому по боковой дорожке среди густого шиповника.

Неожиданно из-за поворота дорожки вышел загорелый бородатый человек без шапки. Охотничья двустволка висела у него на плече. В руке он нес двух убитых уток.

Куртка его была расстегнута. Виднелась крепкая коричневая шея.

Тетя Надя остановилась, и я заметил, как сильно она побледнела.

Загорелый человек сломал большую ветку шиповника с бутонами, исцарапал в кровь руки и подал эту ветку тете Наде. Она осторожно взяла колючий шиповник, протянула бородатому руку, и он поцеловал ее.

— У вас волосы пахнут порохом,— сказала тетя Надя.— И руки исцарапаны. Надо вынуть колючки.

— Пустое! — сказал он и улыбнулся.

У него были ровные зубы. Сейчас, вблизи, я увидел, что он совсем еще нестарый человек.

Мы пошли к дому. Бородатый говорил очень странно, обо всем сразу — о том, что он приехал из Москвы два дня назад, что здесь чудесно, что послезавтра он должен везти свои картины на выставку в Венецию, что его околдовала цыганка — натурщица художника Врубеля — и что он вообще человек пропащий и спасти его может только голос тети Нади.

Тетя Надя улыбалась. Я смотрел на него. Он очень мне нравился. Я догадался, что это был художник. От него действительно пахло порохом. Руки его были покрыты липкой сосновой смолой. Из черных утиных клювов изредка капала на дорожку яркая кровь.

В густых волосах у художника запуталась паутина, застряла хвоя и даже сухая веточка. Тетя Надя взяла его за локоть, остановила и вынула эту веточку.

— Неисправимый! — сказала она.— Совсем мальчишка,— добавила она и грустно улыбнулась.

— Вы поймите,— умоляющим голосом пробормотал он,— как это замечательно! Я продирался через молодой сосняк, изодрался вконец, но какой запах, какие сухие белые гвоздики, рыжая хвоя, какая паутина! Какая прелесть!

— Вот за это я вас и люблю,— тихо сказала тетя Надя.

Художник вдруг снял ружье с плеча и выстрелил из обоих стволов в воздух. Вырвалась струя синего порохового дыма. Залаяли и понеслись к нам собаки. Где-то вскрикнула и закудахтала испуганная курица.

— Салют жизни! — сказал художник.— Чертовски чудесно жить!

Мы подошли к дому, окруженные взволнованными лающими собаками.

Дом был белый, с колоннами и полосатыми шторами на окнах. К нам вышла маленькая пожилая женщина в бледно-лиловом платье, с лорнетом, вся в седых кудряшках — мать Лизы Яворской. Она щурилась и долго, сжимая руки, восхищалась красотой тети Нади.

В прохладных комнатах дул ветер, туго натягивал шторы, сбрасывал со стола газеты «Русское слово» и «Киевскую мысль». Всюду бродили, принюхиваясь, собаки. Услышав какие-нибудь подозрительные звуки из парка, они сразу срывались и с громким лаем, налетая друг на друга, мчались из комнат наружу.

Солнечные пятна бегали от ветра по комнатам, перебирали всякие вещи — вазы, медные колесики на ножках рояля, золотые рамы, брошенную на столик соломенную шляпку тети Нади и синие стволы ружья: его бородатый положил на подоконник.

Мы пили в столовой густой кофе. Художник рассказывал мне, как он удил рыбу в Париже прямо с набережной напротив собора Богоматери. Тетя Надя смотрела на него и ласково усмехалась. А мать Лизы все повторяла:

— Ах, Саша! Когда же вы будете взрослым! Пора уже наконец!

После кофе художник взял тетю Надю и меня за руки и повел в свою комнату. Там валялись кисти, раздавленные тюбики с краской и вообще царил беспорядок. Он начал торопливо собирать разбросанные рубахи, ботинки, куски холста, сунул все это под тахту, потом набил трубку маслянистым табаком из синей жестянки, закурил и велел, чтобы мы с тетей Надей сели на подоконник.

Мы сели. Солнце сильно грело нам спины. Художник подошел к картине, висевшей на стене и закрытой холстом, и снял холст.

— Ну вот! — пробормотал он растерянным голосом,— Ни черта у меня не вышло.

На картине была изображена тетя Надя. Тогда я еще ничего не понимал в живописи. Я слышал споры отца с дядей Колей о Верещагине и Врубеле. Но я не знал ни одной хорошей картины. Те, что висели у бабушки, изображали угрюмые пейзажи со скучными деревьями и оленями у ручья или висящих вниз головой коричневых уток.

Когда художник открыл портрет, я невольно засмеялся от радости. Портрет был неотделим от сияющей весенней красоты тети Нади, от солнца, что лилось в старый парк золотыми водопадами, от ветра, сквозившего по комнатам, и зеленоватого отблеска листьев.

Тетя Надя долго смотрела на портрет, потом слегка взъерошила художнику волосы и быстро вышла из комнаты, не сказав ни слова.

— Ну, слава богу! — вздохнул художник.— Значит, можно везти этот холст на выставку в Венецию.

Днем мы катались на лодке по Тясмину. Тени от парка лежали на воде зеленой зубчатой стеной. В глубине были видны не успевшие еще дотянуться до поверхности воды круглые листики кувшинок.

Вечером перед отъездом тетя Надя пела в низком зале. Художник аккомпанировал ей и сбивался из-за того, что его пальцы, измазанные смолой, прилипали к клавишам.

Первые встречи, последние встречи,
Милого голоса звуки любимые...

А потом мы снова ехали в пароконном экипаже в Смелу. Художник с Лизой нас провожали. Лошади стучали копытами по твердой дороге. С реки несло сыростью, квакали лягушки. Высоко в небе горела звезда.

На станции Лиза повела меня в буфет купить мороженого, а тетя Надя и художник остались на скамейке в станционном палисаднике. Мороженого в буфете, конечно, не было, и когда мы вернулись, тетя Надя и художник все так же сидели, задумавшись, на скамейке.

Вскоре тетя Надя уехала в Москву, и я ее больше не видел. На следующий год на масленой она ездила на тройке в Петровский парк, пела на морозе, у нее началось воспаление легких, и перед самой пасхой она умерла. На похороны ее ездили бабушка, мама и даже отец.

Я очень тосковал тогда. И до сих пор я не могу забыть тетю Надю. Она навсегда осталась для меня воплощением всей прелести девичества, сердечности и счастья.

ШАРИКИ ИЗ БУЗИНЫ

В коробке перекатывались белые мягкие шарики. Я бросал такой шарик в таз с водой. Шарик начинал набухать, потом раскрывался и превращался то в черного

слопа с красными глазами, то в оранжевого дракона или цветок розы с зелеными листьями.

Эти сказочные китайские шарики из бузины привез мне из Пекина мой дядя и крестный отец Иосиф Григорьевич, или попросту дядя Юзя.

— Авантюрист чистой воды! — говорил о нем мой отец, но не с осуждением, а даже с некоторой завистью.

Он завидовал дяде Юзе потому, что тот изъездил всю Африку, Азию и Европу, но совсем не как благонравный турист, а как завоеватель — с шумом, треском, дерзкими выходками и неистребимой жаждой заводить всякие невероятные дела в любом уголке земли: в Шанхае и Аддис-Абебе, в Харбине и Мешхеде.

Все эти дела кончались крахом.

— Мне бы дорваться до Клондайка,— говаривал дядя Юзя.— Я бы им показал, американцам!

Что именно собирался он показать клондайкским отпетым золотоискателям, оставалось неизвестным. Но было совершенно ясно, что он действительно показал бы им что-нибудь такое, что слава о нем прогремела бы по всему Юкону и Аляске.

Может быть, он был рожден для того, чтобы сделаться знаменитым исследователем и путешественником, равным Николаю Пржевальскому или Ливингстону. Но жизнь в тогдашней России и в то время — его мой отец называл «безвременьем» — исковеркала дядю Юзю. Благородная страсть к путешествиям вылилась у него в беспорядочное и бесплодное скитальчество. Но дяде Юзе я все же обязан тем, что земля после его рассказов стала казаться мне смертельно интересной, и это ощущение я сохранил на всю жизнь.

Бабушка Викентия Ивановна считала дядю Юзю «божьим наказанием», белой вороной в нашей семье. Когда она сердилась на меня за шалости и непослушание, она говорила:

— Смотри, чтобы из тебя не вышел второй дядя Юзя!

Бедная бабушка! Она не подозревала, что жизнь этого дяди казалась мне совершенно великолепной. Я только и мечтал быть «вторым дядей Юзей».

Дядя Юзя всегда появлялся у нас в Киеве или у бабушки в Черкассах внезапно и так же внезапно исчезал, чтобы через год-полтора снова оглушительно позвонить у дверей и наполнить квартиру хрипучим голосом, каш-

лем, клятвами и заразительным смехом. И каждый раз вслед за дядей Юзей извозчик втаскивал по полу тяжелые чемоданы со всякими редкостями.

Дядя Юзя был высокий бородатый человек с продавленным носом, с железными пальцами — ими он гнул серебряные рубли,— с подозрительно спокойными глазами, в глубине которых никогда не исчезало лукавство.

Он, как говорил отец, «не боялся ни бога, ни черта, ни смерти», но жалко терялся и размякал от женских слез и детских капризов.

Первый раз я увидел его после англо-бурской войны.

Дядя Юзя пошел добровольцем к бурам. Этот поступок — героический и бескорыстный — сильно возвысил его в глазах родственников.

Мы, дети, были потрясены этой войной. Мы жалели буров, дравшихся за свою независимость, и ненавидели англичан. Мы знали во всех подробностях каждый бой, происходивший на другом конце земли,— осаду Ледисмита, сражение под Блюмфонтейном и штурм горы Маюбы. Самыми популярными людьми были у нас бурские генералы Деветт, Жубер и Бота. Мы презирали надменного лорда Китченера и издевались над тем, что английские солдаты воюют в красных мундирах. Мы зачитывались книгой «Питер Мариц, молодой бур из Трансвааля».

Но не только мы — весь культурный мир с замиранием сердца следил за трагедией, разыгравшейся в степях между Ваалем и Оранжевой рекой, за неравной схваткой маленького народа с могучей мировой державой. Даже киевские шарманщики, игравшие до тех пор только «Разлуку», начали играть новую песню: «Трансвааль, Трансвааль, страна моя, ты вся горишь в огне». За это мы отдавали им пятаки, припрятанные на мороженое.

Англо-бурская война была для мальчиков вроде меня крушением детской экзотики. Африка оказалась совсем не такой, какой мы воображали ее себе по романам из «Вокруг света» или по дому инженера Городецкого на Банковской улице в Киеве.

В стены этого серого дома, похожего на замок, были вмурованы скульптурные изображения носорогов, жирафов, львов, крокодилов, антилоп и прочих зверей, населявших Африку. Бетонные слоновые хоботы свисали над тротуарами и заменяли водосточные трубы. Из пасти носорогов

капала вода. Серые каменные удавы поднимали головы из темных ниш.

Владелец этого дома, инженер Городецкий, был страстным охотником. Он ездил охотиться даже в Африку. В память этих охот он разукрасил свой дом каменными фигурами зверей. Взрослые говорили, что Городецкий чудак, но мы, мальчишки, любили этот странный дом. Он помогал нашим мечтам об Африке.

Но сейчас, хотя мы и были мальчишками, мы понимали, что страдания и борьба за человеческие права вторглись на огромный черный материк, где до тех пор, по нашим понятиям, только трубили мудрые слоны, дышали миазмами тропические леса и бегемоты сопели в жирной тине великих неисследованных рек. До тех пор Африка существовала как земля путешественников, разных Стенли и Ливингстонов.

Мне, как и другим мальчикам, было жалко расставаться с той Африкой, где мы бродили в мечтах,— расставаться с охотой на львов, с рассветами в песках Сахары, плотами на Нигере, свистом стрел, неистовым гамом обезьян и мраком непроходимых лесов. Там опасности ждали нас на каждом шагу. Мысленно мы уже много раз умирали от лихорадки или от ран за бревенчатыми стенами форта, слушая жужжание одинокой пули, вдыхая запах мокрой ядовитой травы, глядя воспаленными глазами в черное бархатное небо, где догорал Южный Крест.

Сколько раз я так умирал, жалея о своей молодой и короткой жизни, о том, что таинственная Африка не пройдена мной от Алжира до мыса Доброй Надежды и от Конго до Занзибара!

Но все же это представление об Африке нельзя было целиком выбросить из памяти. Оно оказалось живучим. Поэтому трудно передать то ошеломление, тот немой восторг, которые я испытал, когда в нашей скучной квартире в Киеве появился бородатый, сожженный африканским солнцем человек в широкополой бурской шляпе, в рубахе с открытой шеей, с патронташем на поясе — дядя Юзя.

Я ходил за ним следом, я смотрел ему в глаза. Мне не верилось, что вот эти глаза видели Оранжевую реку, зулусские краали, английских кавалеристов и бури Тихого океана.

В то время президент Трансвааля, старый и грузный Крюгер, приезжал в Россию просить о помощи бурам. Дядя Юзя приехал вместе с ним. Он пробыл в Киеве всего один день и уехал в Петербург вслед за Крюгером.

Дядя Юзя был уверен, что Россия поможет бурам. Но из Петербурга он написал отцу: «Высшие государственные соображения вынудили русское правительство сделать подлость — бурам мы помогать не будем. Значит, все кончено, и я опять уезжаю к себе на Дальний Восток».

Дед мой — отец моей матери — был человек небогатый. У него не хватило бы средств дать образование многочисленным детям — пятерым девочкам и троим сыновьям, если бы он не отдал всех сыновей в Киевский кадетский корпус. Обучение в корпусе было бесплатное.

Дядя Юзя учился со своими братьями в этом корпусе. Четыре года прошли благополучно, но на пятый год дядя Юзя был переведен из Киева в штрафной, «каторжный» корпус в город Вольск, на Волге. В Вольск кадет ссылали за «тяжкие преступления». Дядя Юзя совершил такое преступление.

Кухня в Киевском корпусе помещалась в подвале. К одному из праздников в кухне напекли много сдобных булочек. Они остывали на длинном кухонном столе. Дядя Юзя достал шест, привязал к нему гвоздь, натаскал с помощью этого приспособления через открытое окно кухни несколько десятков румяных булочек и устроил пышный пир в своем классе.

В Вольске дядя Юзя пробыл два года. На третий год его исключили из корпуса и разжаловали в солдаты за то, что он ударил офицера: офицер остановил его на улице и грубо изругал за мелкий непорядок в одежде.

На дядю Юзю надели солдатскую шинель, дали ему винтовку и отправили пешим порядком из Вольска в город Кутно, около Варшавы, в артиллерийскую часть.

Он прошел зимой страну с востока на запад, являясь к начальникам гарнизонов, выпрашивая по деревням хлеб, ночуя где попало.

Из Вольска он вышел вспыльчивым мальчиком, а в Кутно пришел озлобленным солдатом.

В Кутно он дослужился до первого офицерского чина. Его произвели в прапорщики.

На военной службе дяде Юзе не везло самым роковым образом. Из артиллерии его перевели в пехоту. Полк дяди Юзи был вызван в Москву нести охрану во время коронации Николая Второго. Рота дяди Юзи охраняла Кремлевскую набережную.

Ранним утром в день коронации дядя увидел, как его солдаты бросились к берегу реки и там началась жестокая свалка. Придерживая шашку, дядя побежал к солдатам.

Он увидел валявшееся в грязи на берегу страшное существо с медной головой, опутанной проводами. Существо это солдаты сбили с ног, навалились на него, а оно неуклюже отбрыкивалось от них огромными свинцовыми бутсами. Один из солдат зажал резиновую ребристую трубку около медной головы этого существа, и оно, захрипев, перестало сопротивляться. Дядя увидел, что это водолаз, крикнул на солдат, быстро отвинтил медный шлем, но водолаз был уже мертв.

Дядю и солдат не предупредили, что в это утро водолазы из Кронштадта осматривали дно Москвы-реки, разыскивая адские машины.

После этого случая дядя Юзя был уволен из армии. Он уехал в Среднюю Азию и служил некоторое время начальником верблюжьих караванов, ходивших из Уральска в Хиву и Бухару. В то время Средняя Азия еще не была связана с Россией железной дорогой, все товары перегружались в Уральске на верблюдов и шли дальше караванным путем.

Во время этих караванных путешествий дядя Юзя сдружился с исследователями Средней Азии братьями Грум-Гржимайло и охотился с ними на тигров. Он прислал в подарок бабушке тигровую шкуру с таким свирепым выражением на морде убитого тигра, что бабушка тотчас спрятала эту шкуру в подвал, предварительно пересыпав ее нафталином.

Дядя Юзя любил рассказывать, как одним своим чихом он убивал на месте шакалов. На бивуаках в пустыне дядя ложился, подкладывал под голову сумку с продуктами и притворялся спящим. Шакалы подползали, поджав хвосты. Когда самый наглый из них начинал осторожно вытаскивать зубами сумку из-под дядиной головы, дядя оглушительно чихал, и трусливый шакал, даже не взвизгнув, тут же на месте умирал от разрыва сердца.

Мы верили этому, потому что хорошо знали, как чихал по утрам дядя Юзя, готовясь к новому дню. В ответ на этот чих звенели стекла в окнах и кошка, обезумев, металась по комнате в поисках спасения.

Рассказы дяди Юзи были для нас интереснее похождений барона Мюнхгаузена. Мюнхгаузена надо было себе представлять, а дядя Юзя был рядом — живой, тонущий в облаках табачного дыма, сотрясающий своим хохотом диван.

Потом в жизни дяди Юзи наступила неясная полоса. Он скитался по Европе, играл, говорят, в рулетку в Монте-Карло, очутился в Абиссинии и вернулся оттуда с огромным золотым орденом, пожалованным ему за что-то негусом Менеликом. Орден был похож на дворницкую бляху.

Дядя Юзя не находил себе места в жизни, пока взоры его не обратились на туманный Дальний Восток, на Маньчжурию и Уссурийский край. Эта страна как будто нарочно существовала для таких людей, как дядя. Там можно было жить широко, шумно, не подчиняясь никаким «дурацким законам»,— во всю силу необузданного характера и своей предприимчивости.

Это была русская Аляска — необжитая, богатая и опасная. Лучшего места на свете нельзя было и придумать для дяди Юзи. Амур, тайга, золото, Тихий океан, Корея, а дальше — Камчатка, Япония, Полинезия. Обширный неизученный мир шумел, как прибой, у берегов Дальнего Востока и тревожил воображение.

Дядя Юзя, захватив с собой молодую жену-подвижницу,— так как никто, кроме подвижницы, по мнению моей мамы, не мог быть женой такого ужасного человека, как дядя Юзя,— уехал на Дальний Восток.

Там он участвовал в обороне Харбина во время китайского восстания, в стычках с хунхузами, в постройке Восточно-Китайской железной дороги. Занятие это он прервал только для того, чтобы поехать в Трансвааль.

После англо-бурской войны он вернулся на Дальний Восток, но уже не в Маньчжурию, а в Порт-Артур. Там он работал агентом Добровольного флота. Дядя Юзя писал, что очень полюбил пароходное дело и жалеет, что в молодости не стал моряком.

К тому времени жена его умерла. На руках у дяди Юзи остались две девочки, его дочери. Он трогательно и

неумело воспитывал их вместе со старым китайцем-слугой, которого называл Сам Пью-чай. Этого преданного ему китайца дядя Юзя любил, пожалуй, не меньше, чем своих дочерей. Вообще он очень любил китайцев и говорил, что это великолепный, добрый и мудрый народ и единственный его недостаток — это боязнь дождей.

В время японской войны дядя Юзя был призван, как старый офицер, в армию. Дочерей вместе с Сам Пью-чаем он отправил в Харбин.

После войны он приезжал в Киев навестить родных. Это был последний раз, когда я его видел.

Он был уже седой, спокойный, но бешеные веселые искорки, хоть и изредка, все еще перебегали в его глазах.

Он рассказывал нам о Пекине, о садах китайских императоров, Шанхае и Желтой реке.

После этих рассказов Китай представлялся мне страной, где вечно стоит теплый и ясный вечер. Может быть, это впечатление объяснялось тем, что дядя Юзя уже ничего не выдумывал, не вращал глазами и не хохотал, а говорил усталым голосом, поминутно стряхивая пепел с папиросы.

Это было в 1905 году. Дядя Юзя плохо разбирался в политике. Он считал себя старым солдатом и действительно был им — честным, верным присяге. Когда мой отец начинал резкие и опасные свои речи, дядя Юзя отмалчивался, уходил в сад, садился на скамейку и там курил в одиночестве. Отца он считал «левее левых».

Осенью пятого года в Киеве восстали саперный батальон и понтонная рота. Саперы прошли с боем через город, отбиваясь от наседавшей на них казачьей сотни.

К саперам присоединились рабочие Южно-Русского машиностроительного завода. Впереди мятежников бежало множество детей. На Галицком базаре Азовский саперный полк открыл по восставшим огонь. Залпами было убито много детей и рабочих. Саперы не могли отвечать на огонь, так как между ними и азовцами были толпы жителей. В этот день дядя Юзя, узнав о событиях, очень нервничал, без конца курил, бродя по саду, и вполголоса бранился.

— Азовцы,— бормотал он.— Дурачье. Позор! А те тоже хороши, саперы,— не стрелки, а куроцапы!

Потом он незаметно исчез из дому и к вечеру не вернулся. Он не вернулся ни ночью, ни на следующий день.

Он вообще не вернулся. Только через полгода пришло от его дочери письмо из Харбина. Она сообщала, что дядя Юзя поселился в Японии и просит его простить за внезапное исчезновение.

Гораздо позже мы узнали, что дядя Юзя пробрался к саперам, увидел убитых детей, пришел в ярость, вместе с руководителем восстания поручиком Жадановским собрал часть сапер и открыл с ними такой огонь по правительственным войскам, что те были вынуждены отойти. Дяде Юзе, естественно, пришлось бежать. Он уехал в Японию, где вскоре и умер в городе Кобе от сердечной астмы и страшной болезни — ностальгии — тоски по родине.

Перед смертью этот огромный и неистовый человек плакал при малейшем напоминании о России. А в последнем, как будто шутливом, письме он просил прислать ему в конверте самый драгоценный для него подарок — засушенный лист киевского каштана.

СВЯТОСЛАВСКАЯ УЛИЦА

Поездки в Черкассы и Городище были в моем детстве праздниками, а будни начинались в Киеве, на Святославской улице, где в сумрачной и неуютной квартире проходили длинные зимы.

Святославская улица, застроенная скучными доходными домами из желтого киевского кирпича, с такими же кирпичными тротуарами, упиралась в огромный пустырь, изрезанный оврагами. Таких пустырей среди города было несколько. Назывались они «ярами».

Весь день мимо нашего дома тянулись к Святославскому яру обозы «каламашек» с глиной. Каламашками в Киеве назывались тележки для перевозки земли. Каламашники засыпали овраги в яру и ровняли его для постройки новых домов.

Земля высыпалась из каламашек, на мостовой всегда было грязно, и потому я не любил Святославскую улицу.

В яр нам строго запретили ходить. Это было страшное место, приют воров и нищих. Но всё же мы, мальчишки, собирались иногда отрядами и шли в яр. Мы брали с собой на всякий случай полицейский свисток. Он казался нам таким же верным оружием, как револьвер.

Сначала мы с опаской смотрели сверху в овраги. Там блестело битое стекло, валялись ржавые тазы и рылись в мусоре собаки. Они не обращали на нас внимания.

Потом мы настолько осмелели, что начали спускаться в овраги, откуда тянуло дрянным желтым дымком. Дымок этот шел от землянок и лачуг. Лачуги были слеплены из чего попало — ломаной фанеры, старой жести, разбитых ящиков, сидений от венских стульев, матрасов, из которых торчали пружины. Вместо дверей висели грязные мешки.

У очагов сидели простоволосые женщины в отрепьях. Они обзывали нас «барчуками» или просили «на монопольку». Только одна из них — седая косматая старуха с львиным лицом — улыбалась нам единственным зубом.

Это была известная в Киеве нищенка-итальянка. Она ходила по дворам и играла на гармонике. За особую плату она играла «Марсельезу». В этих случаях кого-нибудь из мальчишек высылали к воротам, чтобы предупредить, если появится околоточный надзиратель.

Нищенка не только играла «Марсельезу» на гармонике — она кричала ее яростным хриплым голосом. «Марсельеза» в ее исполнении звучала как гневный призыв, как проклятье обитателей Святославского яра.

Среди жильцов этих лачуг мы узнавали старых знакомых. Вот Яшка Падучий — нищий с белыми водочными глазами. Он постоянно сидел на паперти Владимирского собора и выкрикивал одну и ту же фразу: «Господа милосердные, обратите внимание на мое калецство-овецство»!

В яру Яшка Падучий был совсем не таким гнусавым и тихим, как на паперти. Он выпивал одним духом четвертинку водки, с размаху бил себя в грудь и вопил со слезой: «Приидите ко мне все страждущие и обремененные, и аз упокою вы!»

Вот лысый старик, торгующий зубочистками на Фундуклеевской улице около кафе Франсуа, а рядом — шарманщик с попугаем.

Около лачуг дымили глиняные очаги с дырявыми самоварными трубами.

Больше других мне нравилась лачуга шарманщика. Днем шарманщика никогда не было — он ходил по дворам. Около лачуги сидела на земле босая девушка с землистым лицом и красивыми хмурыми глазами. Она чистила картошку. Одна нога у нее была обмотана тряпками.

Это была дочь шарманщика, гимнастка, «человек без костей». Она ходила раньше с отцом по дворам, раскладывала коврик и показывала на нем — худая, в голубом трико — разные акробатические трюки. Сейчас она повредила ноги и не могла «работать».

Иногда она читала все одну и ту же книгу с оторванным переплетом. По картинкам я догадался, что это были «Три мушкетера» Дюма.

Девушка недовольно кричала на нас:

— Чего вы тут ходите! Не видели, что ли, как люди живут?

Но потом она привыкла к нам и перестала кричать. Ее отец, низенький, седой шарманщик, застав нас в яру, сказал:

— Пусть видят, как мается наше общество. Может быть, это им пригодится, когда будут студентами.

Сначала мы ходили в яр целой ватагой. Потом я привык к обитателям яра и начал ходить туда один.

Я долго скрывал это от мамы, но меня выдала дочь шарманщика. Я принес ей почитать «Хижину дяди Тома», но заболел и долго не приходил за книгой. Она забеспокоилась и сама принесла книгу к нам на квартиру. Мама открыла ей дверь, и все обнаружилось. Я понял это по сжатым губам мамы и по ее ледяному молчанию.

Вечером между мамой и отцом происходил в столовой разговор о моем поведении. Я слышал его из-за двери. Мама волновалась и сердилась, но отец сказал, что ничего нет страшного, что меня трудно испортить и что он предпочитает, чтобы я дружил с этими обездоленными людьми, а не с сыновьями киевских купцов и чиновников. Мама возразила, что в моем возрасте меня надо оберегать от тяжелых житейских впечатлений.

— Пойми,— сказал отец,— что эти люди на человеческое отношение отвечают такой преданностью, какую не найдешь в нашем кругу. При чем же тут тяжелые житейские впечатления?

Мама помолчала и ответила:

— Да, может быть, ты прав...

Когда я выздоровел, она принесла мне «Принца и нищего» Марка Твена и сказала:

— Вот... отнеси это сам... дочери шарманщика. Я не знаю, как ее зовут.

— Лиза,— ответил я робко.

— Ну вот, отнеси эту книгу Лизе. В подарок.

С тех пор никто в доме больше не возмущался моими посещениями Святославского яра. Теперь мне не надо было тайком таскать из буфета сахар для моих новых друзей или китайские орешки для подслеповатого попугая Митьки. Я открыто просил все это у мамы. Она мне никогда не отказывала.

Я был благодарен маме за это, и на душе у меня было так легко, как только может быть у мальчика с чистой совестью.

Однажды ранней осенью шарманщик пришел к нам во двор без попугая. Он равнодушно крутил ручку шарманки. Она высвистывала польку «Пойдем, пойдем, ангел милый, пойдем танцевать со мной». Шарманщик обводил глазами балконы и открытые окна, дожидаясь, когда наконец полетит во двор медная монета, завернутая в бумажку.

Я выбежал к шарманщику. Он сказал мне, не переставая вертеть шарманку:

— У Митьки хвороба. Сидит, как еж. Твои орешки и то лущить бросил. Видать, подыхает.

Шарманщик снял черную пыльную шляпу и вытер ею лицо.

— Пропащее существование! — сказал он.— Одной шарманкой, без Митьки, не то что на хлеб — на водку не заработаешь. Кому теперь вытягивать «счастье»?

Попугай за пять копеек вытаскивал желающим зеленые, синие и красные билетики с напечатанными на них предсказаниями. Билетики эти назывались почему-то «счастьем». Они были свернуты в трубочки и уложены, как папиросы, в коробку от гильз. Прежде чем вытащить билетик, Митька долго топтался по жердочке и недовольно кричал.

Предсказания были написаны весьма темным языком.

«Вы родились под знаком Меркурия, и камень ваш есть изумруд, иначе смарагд, что означает нерасположение и окончательное нахождение житейского устройства в годы, убеленные сединой. Бойтесь блондинок и блондинов и предпочитайте не выходить на улицу в день усекновения главы Иоанна Предтечи».

Иногда в билетиках были короткие и зловещие фразы: «Завтра к вечеру» или «Если хочешь остаться живым, никогда не оглядывайся».

Через сутки Митька издох, я похоронил его в яру в картонной коробке от ботинок. Шарманщик напился и исчез.

Я рассказал маме о смерти попугая. Губы у меня дрожали, но я сдерживался.

— Одевайся,— строго сказала мама.— Пойдем к Бурмистрову.

Бурмистров был старичок с зеленой от старости бородой. Он держал темный и тесный магазин на Бессарабке. Там глуховатый этот человек, похожий на гнома, торговал великолепными вещами — удочками, разноцветными поплавками, аквариумами, золотыми рыбками, птицами, муравьиными яйцами и даже переводными картинками.

Мама купила у Бурмистрова пожилого зеленого попугая с оловянным кольцом на ноге. Мы одолжили у Бурмистрова клетку. Я нес в ней попугая. По дороге он изловчился и прокусил мне палец до самой кости. Мы зашли в аптеку. Мне перевязали палец, но я был так взволнован, что почти не почувствовал боли.

Мне очень хотелось поскорее отнести попугая к шарманщику, но мама сказала:

— Я пойду вместе с тобой. Я должна это видеть сама.

Она ушла к себе переодеться. Мне было стыдно, что мама переодевается, чтобы пойти к нищим, оборванным людям, но я не смел ей ничего сказать.

Через несколько минут она вышла. На ней было старенькое платье, заштопанное на локтях. На голову она накинула платок. На этот раз она даже не натянула на руки свои элегантные лайковые перчатки. И туфли она надела со стоптанными каблуками.

Я с благодарностью взглянул на нее, и мы пошли.

Мама мужественно спустилась в овраг, прошла мимо онемевших от изумления растрепанных женщин и даже ни разу не приподняла юбку, чтобы не запачкать ее о кучи мусора и золы.

Лиза, увидев нас с попугаем, вспыхнула, серое ее лицо покрылось жарким румянцем, и она неожиданно сделала маме реверанс. Шарманщика не было дома — он все еще заливал свое горе с приятелями на Демиевке.

Лиза взяла попугая и, все больше краснея, повторяла одни и те же слова:

— Ну, зачем это вы! Зачем это вы!

— Его можно будет выучить вытаскивать «счастье»? — спросила мама.

— Да в два дня! — радостно ответила Лиза.— Но зачем это вы! Господи! Зачем? Это же каких денег стоит!

Дома отец, узнав об этом случае, усмехнулся и сказал:

— Дамская филантропия! Сентиментальное воспитание!

— Ах, господи! — воскликнула с досадой мама.— Не знаю, почему ты обязательно хочешь противоречить самому себе. Удивительный у тебя характер. На моем месте ты бы сделал то же самое.

— Нет,— ответил отец,— я бы сделал большее.

— Большее? — переспросила мама, и в голосе ее послышалась угроза.— Ну, хорошо! Посмотрим!

— Посмотрим!

Я не догадывался, что отец говорил все это нарочно, чтобы раздразнить маму.

На следующий день после этой стычки мама отослала Лизе в Святославский яр черное платье моей сестры и свои коричневые ботинки.

Но отец не остался в долгу перед мамой. Он дождался, когда шарманщик пришел к нам во двор с новым попугаем.

Красный шарф был завязан у шарманщика на шее. Нос его победно блестел от водки. В честь мамы шарманщик проиграл все, что могла насвистывать его шарманка: марш «Тоска по родине», вальс «Дунайские волны», польку «Разлука» и песню «Эх, полным-полна коробушка».

Попугай снова вытягивал «счастье». Медяки в бумажках щедро сыпались из окон. Некоторые из них шарманщик ловко ловил шляпой.

Потом он вскинул шарманку на спину и, как всегда сильно согнувшись, пошел не на улицу, а вверх по парадной лестнице и позвонил у наших дверей.

Сняв шляпу и держа ее в вытянутой руке так, что шляпа касалась пола, он поблагодарил маму и поцеловал ей руку. Отец вышел и пригласил шарманщика к себе в кабинет. Шарманщик прислонил шарманку к стене в передней и, осторожно шагая, пошел за отцом.

Отец угостил шарманщика коньяком, сказал, что знает, какая трудная у него и неверная жизнь, и предложил ему место путевого сторожа на Юго-Западной дороге. Будет свой маленький дом, огород.

— Не обессудьте, Георгий Максимович,— тихо ответил

шарманщик и покраснел.— Загорюю я будочником. Мне, видно, век бедовать с шарманкой.

Он ушел. Мама не могла скрыть своего торжества, хотя и молчала.

Через несколько дней полиция неожиданно выселила из Святославского яра всех его обитателей. Шарманщик с Лизой исчезли,— очевидно, они перекочевали в другой город.

Но до этого я успел еще раз побывать в яру. Шарманщик пригласил меня к себе «повечерять».

На перевернутом ящике стояла тарелка с печеными помидорами и черным хлебом, бутылка вишневой наливки и лежали грязные конфеты — толстые, в розовую и белую полоску, сахарные палочки.

Лиза была в новом платье, с туго заплетенными косами. Она обидчиво следила за тем, чтобы я ел, «как у мамы». Попугай спал, прикрыв глаза кожаной пленкой. Шарманка изредка сама по себе издавала певучий вздох. Шарманщик объяснил, что это из каких-то трубок выходит застоявшийся воздух.

Был уже сентябрь. Приближались сумерки. Кто не видел киевской осени, тот никогда не поймет нежной прелести этих часов.

Первая звезда зажигается в вышине. Осенние пышные сады молча ждут ночи, зная, что звезды обязательно будут падать на землю и сады поймают эти звезды, как в гамак, в гущу своей листвы и опустят на землю так осторожно, что никто в городе даже не проснется и не узнает об этом.

Лиза проводила меня до дому, сунула мне на прощанье розовую липкую конфету и быстро сбежала по лестнице. А я долго не решался позвонить, боясь, что мне попадет за позднее возвращение.

ЗИМНИЕ ЗРЕЛИЩА

На рождество отец подарил мне коньки «галифакс».

Теперешние мальчики долго бы смеялись, увидев эти коньки. Но тогда не было на свете лучших коньков, чем коньки из города Галифакса.

Где этот город? Я расспрашивал всех. Где этот старый город Галифакс, заваленный снегом? Там все мальчики

бегают на таких коньках. Где эта зимняя страна, населенная отставными моряками и шустрыми школьниками? Никто мне не мог ответить.

Старший брат Боря предполагал, что Галифакс — это вовсе не город, а фамилия изобретателя коньков. Отец сказал, что, кажется, Галифакс — это, правда, городок на острове Нью-Фаундленде у северных берегов Америки и знаменит он не только коньками, но и собаками-водолазами.

Коньки лежали у меня на столе. Я смотрел на них и думал о городе Галифаксе. Получив коньки, я тотчас выдумал этот город и уже видел его так ясно, что мог бы нарисовать подробный план его улиц и площадей.

Я мог долго сидеть за столом над задачником Малинина и Буренина — я готовился в эту зиму к экзаменам в гимназию — и думать о Галифаксе.

Это мое свойство пугало маму. Она боялась моих «фантазий» и говорила, что таких мальчиков, как я, ждет нищета и смерть под забором.

Это мрачное предсказание «ты умрешь под забором» было очень распространено в то время. Почему-то смерть под забором считалась особенно позорной.

Я часто слышал это предсказание. Но гораздо чаще мама говорила, что у меня «вывихнутые мозги и все не так, как у людей», и боялась, как бы из меня не вышел неудачник.

Отец очень сердился, когда слышал это, и говорил маме:

— Пусть будет неудачником, нищим, бродягой, кем угодно, но только не проклятым киевским обывателем!

В конце концов я сам начал побаиваться и стесняться своего воображения. Мне казалось, что я занимаюсь чепухой, тогда как вокруг все заняты серьезными делами: братья и сестра ходят в гимназию, зубрят уроки, отец служит в управлении Юго-Западных железных дорог, мама шьет и распоряжается по дому. Только я один живу в оторванном от общих интересов мире и напрасно трачу время.

— Ты бы лучше пошел на каток, чем бессмысленно сидеть и что-то выдумывать,— говорила мама.— Что это за мальчик! На что ты похож!

Я уходил на каток. Зимние дни были короткие. Сумерки заставали меня на катке. Приходил военный оркестр. Зажигались разноцветные лампочки. Гимназистки в шубках катались по кругу, раскачиваясь и пряча руки в ма-

ленькие муфты. Гимназисты ездили задом наперед или «пистолетом» — присев на одну ногу и далеко выставив другую. Это считалось высшим шиком. Я им завидовал.

Домой я возвращался раскрасневшийся и усталый. Но тревога не покидала мое сердце. Потому что и после катания на коньках я чувствовал прежнюю опасную склонность к выдумкам.

На катке я часто встречал подругу моей сестры Гали — Катюшу Весницкую, гимназистку старших классов Фундуклеевской женской гимназии. Она тоже каталась на коньках «галифакс», но сделанных из черной вороненой стали.

Мой старший брат Боря, ученик реального училища и знаток математики, ухаживал за Катюшей. Он танцевал с ней на коньках вальс.

Конькобежцы очищали широкий круг на льду. Уличным мальчишкам, шнырявшим под ногами на самодельных коньках, давали подзатыльники, чтобы они успокоились, и начинался скользящий и медленный танец.

Даже капельмейстер военного оркестра, рыжий чех Коваржик поворачивался лицом к катку, чтобы видеть этот танец. На красном лице капельмейстера (мы называли его «капельдудкиным») бродила сладкая улыбка.

Длинные косы Весницкой разлетались в такт вальсу. Они ей мешали, и она, не переставая танцевать, перекидывала их к себе на грудь. Она надменно смотрела из-под полуопущенных век на восхищенных зрителей.

Я со злорадством следил за Борей. Он танцевал хуже Катюши. Иногда он даже поскальзывался на своих хваленых коньках «яхт-клуб».

Мог ли я думать тогда на катке, что жизнь Весницкой окажется гораздо неожиданнее всех моих фантазий.

В Пажеском корпусе в Петербурге воспитывался один из сыновей сиамского короля Чакрабон. Во время возвращения на родину принц заболел в дороге около Киева воспалением легких. Путешествие было прервано. Принца привезли в Киев, поместили в царский дворец и окружили заботами киевских докторов.

Принц выздоровел. Но прежде чем продолжать путешествие в Сиам, ему надо было отдохнуть и поправиться. Принц прожил в Киеве два месяца. Ему было скучно. Его старались развлекать — возили на балы в Купеческое собрание, на лотереи-аллегри, в цирк и театры.

На одном балу желтолицый принц увидел Весницкую. Она танцевала вальс, так же как на катке, перекинув косы себе на грудь и надменно поглядывая из-под полуопущенных век синими глазами. Принц был очарован. Маленький, раскосый, с блестящими, как вакса, волосами, он влюбился в Катюшу. Он уехал в Сиам, но вскоре вернулся в Киев инкогнито и предложил Катюше стать его женой. Она согласилась.

Смятение охватило киевских гимназисток. Все в один голос говорили, что на ее месте они бы ни за что не могли выйти замуж за азиата, хотя бы и сына короля.

Катюша уехала в Сиам. Сиамский король вскоре умер от какой-то тропической болезни. Вслед за ним умер от той же болезни первый наследный принц.

Муж Катюши был вторым сыном короля. У него было очень мало надежды на сиамский престол. Но после смерти брата он оказался единственным наследником и неожиданно стал королем. Так веселая киевская гимназистка Весницкая сделалась сиамской королевой.

Придворные ненавидели королеву-иностранку. Ее существование нарушало традиции сиамского двора.

В Бангкоке по требованию Катюши провели электрическое освещение. Это переполнило чашу ненависти придворных. Они решили отравить королеву, поправшую древние привычки народа. В пищу королеве начали постепенно подсыпать истертое в тончайший порошок стекло от разбитых электрических лампочек. Через полгода она умерла от кровотечения в кишечнике.

На могиле ее король поставил памятник. Высокий слон из черного мрамора с золотой короной на голове стоял, печально опустив хобот, в густой траве, доходившей ему до колен. Под этой травой лежала Катюша Весницкая — молодая королева Сиама.

С тех пор каждый раз, когда я попадал на каток, я вспоминал Катюшу и капельмейстера, игравшего вальс «Невозвратное лето», и как она стряхивала варежкой снег со своего лба и бровей, и ее коньки из синей стали — коньки из города Галифакса. В нем жили простодушные отставные моряки. Вот рассказать бы этим старикам историю Весницкой. Сначала они открыли бы от изумления рты, потом покраснели бы от гнева на придворных и долго бы качали головами, сокрушаясь над превратностью человеческой судьбы.

Зимой меня водили в театры.

Первая пьеса, которую я увидел, была «Штурм Измаила». Мне она не понравилась, потому что я заметил у кулисы человека в очках и потертых бархатных брюках. Он стоял рядом с Суворовым, потом сильно толкнул Суворова в спину, тот вприпрыжку вылетел на сцену и запел петухом.

Но зато вторая пьеса, «Принцесса Греза» Ростана, меня ошеломила. Там было все, чтобы потрясти мое воображение: палуба корабля, огромные паруса, трубадуры, рыцари, принцесса.

Я полюбил драматический Соловцовский театр, его голубую бархатную обивку и маленькие ложи. После спектакля меня нельзя было увести из театра никакими силами, пока не гасили свет. Темнота театрального зала, запах духов и апельсиновых корок — все это казалось мне настолько заманчивым, что я мечтал спрятаться под креслом и провести всю ночь в пустом театре.

В детстве я не мог отделить театральное зрелище от действительности и по-настоящему мучился и даже болел после каждого спектакля.

Моя страсть к чтению усилилась после театра. Стоило мне посмотреть хотя бы «Мадам Сан-Жен», и я начинал с жадностью перечитывать все книги о Наполеоне. Эпохи и люди, увиденные в театре, оживали чудесным образом и наполнялись необыкновенным интересом и прелестью.

Я полюбил не только самые спектакли. Мне нравились театральные коридоры с зеркалами в тусклых золотых рамах, темные вешалки, где пахло мехом от шуб, перламутровые бинокли, топот застоявшихся лошадей у театрального подъезда.

В антрактах я бегал в конец коридора и смотрел через окно наружу. Там лежала кромешная тьма. Только снег белел на деревьях. Я быстро оборачивался и видел свет нарядного зала, люстры, блеск женских волос, браслетов, серег и бархатный театральный занавес. В антрактах занавес качало теплым ветром. Я повторял это занятие по нескольку раз — то смотрел в окно, то на зал,— и оно мне очень нравилось.

Оперу я не любил. Очевидно, потому, что первой оперой, которую мне показали, был «Демон» Рубинштейна. Жирный, с нахальным и брыластым лицом актер лениво

и как-то вразвалку пел Демона. Он играл почти без грима. Было смешно, что на этого солидного человека с брюшком надели длинную черную рубаху из кисеи, обшитую блестками, и привязали к спине крылья. Актер сильно картавил, и когда он пел «Проклятый мир, презренный мир», я не мог удержаться от смеха. Мама была возмущена и перестала водить меня в оперу.

Каждую зиму к нам приезжала из Городища тетя Дозя. Мама любила водить ее в театр.

Перед этим тетя Дозя плохо спала ночь. За несколько часов до спектакля она уже надевала широкое шумящее платье из коричневого атласа, вытканное желтыми цветами и листьями, накидывала коричневую шаль на шею, зажимала в руке кружевной платочек и потом, помолодевшая на десять лет и немного испуганная, ехала на извозчике с мамой в театр. Голову тетя Дозя повязывала как все украинские бабы, черным платком с маленькими розами.

В театре все смотрели на тетю Дозю, но она так была увлечена спектаклем, что ни на кого не обращала внимания.

Возили ее главным образом на украинские пьесы — «Наталка Полтавка», «Запорожец за Дунаем» и «Шельменко-денщик». Один раз среди действия тетя Дозя вскочила и крикнула по-украински театральному злодею:

— Что же ты делаешь, подлюга, бесстыжие твои глаза!

Публика неистово хохотала. Дали занавес. Тетя Дозя проплакала весь следующий день от стыда, просила у отца прощения, и мы не знали, как ее успокоить.

С тетей Дозей мы впервые ходили в кино. Тогда кино называли «иллюзионом» или «синематографом Люмьера».

Первый сеанс был устроен в Оперном театре. Отец был в восхищении от иллюзиона и приветствовал его как одно из великолепных новшеств двадцатого века.

На сцене натянули серое мокрое полотно. Потом погасили люстры. По полотну замигал зловещий зеленоватый свет и забегали черные пятна. Прямо над нашими головами струился дымный луч света. Он страшно шипел, будто у нас за спиной жарили целого вепря. Тетушка Дозя спросила маму:

— Почему он так скворчит, этот иллюзион? Мы от него не сгорим, как в курятнике?

После долгого мигания на полотне появилась надпись: «Извержение на острове Мартинике. Видовая картина».

Экран задрожал, и на нем, как бы сквозь ливень пыли, возникла огнедышащая гора. Из недр ее лилась горящая лава. Зрительный зал зашумел, потрясенный этим зрелищем.

После видовой показывали комическую картину из жизни французской казармы. Барабанщик бил в барабан, солдаты просыпались, вскакивали, натягивали брюки. Из штанины у одного солдата вываливалась большая крыса. Она бегала по казарме, а солдаты в ужасе, неправдоподобно таращa глаза, лезли на койки, на двери и окна. На этом картина кончалась.

— Балаган! — сказала мама.— Только с той разницей, что на Контрактовой ярмарке балаганы гораздо интереснее.

Отец заметил, что точно так же недальновидные люди смеялись над паровозом Стефенсона, а тетушка Дозя, стараясь примирить отца с мамой, сказала:

— Бог с ним, с иллюзионом! Не нашего это женского ума дело.

На Контрактовой ярмарке балаганы действительно были интересные. Мы любили эту ярмарку и с нетерпением ждали всю зиму, когда она откроется.

Открывалась она в конце зимы в старинном Контрактовом доме на Подоле и в дощатых палатках вокруг этого дома.

Обычно ко дню ее открытия наступала распутица. Острые запахи ярмарочных товаров были слышны издалека. Пахло новыми бочками, кожей, пряниками и коленкором.

Мне нравились на ярмарке карусели, игрушки и паноптикум.

Маслянистые глыбы белой и шоколадной халвы хрустели под ножами продавцов. Прозрачный розовый и лимонный рахат-лукум заклеивал рот. На огромных глиняных блюдах были навалены пирамиды засахаренных груш, слив и вишен — изделия знаменитого киевского кондитера Балабухи.

На разостланных в грязи рогожах стояли рядами грубо вырезанные из дерева и раскрашенные липкой краской солдатики — казаки в папахах и шароварах с малиновыми

лампасами, барабанщики со зверски выпученными глазами и трубачи с пышными кистями на трубах. Кучами были свалены глиняные свистульки.

Веселые старики толкались в толпе, выхваляя «тещины языки» и «морского жителя». Это была заманчивая игрушка. В стеклянной узкой банке нырял и переворачивался в воде черный мохнатый чертик.

Множество звуков оглушало нас — выкрики продавцов, лязг кованых дрог, великопостный звон из Братского монастыря, писк резиновых чертиков, свист свистулек и вопли мальчишек на карусели.

За приплату карусель вертели так быстро, что все превращалось в пеструю смесь оскаленных лошадиных морд из папье-маше, галстуков, сапог, вздувшихся юбок, разноцветных подвязок, кружев, платков. Иногда в лицо зрителям летели, как пули, стеклянные бусы от чьего-нибудь разорванного стремительным вращением мониста.

Паноптикума я побаивался, особенно восковых фигур.

Убитый французский президент Карно лежал, улыбаясь, на полу во фраке со звездой. Неестественно густая кровь, похожая на красный вазелин, стекала у него по пластрону. Казалось, Карно был доволен, что умер так эффектно.

Восковая царица Клеопатра прижимала к твердой зеленоватой груди черную змею.

Русалка с лиловыми глазами лежала в цинковой ванне. В грязной чешуе русалки отражалась тусклая электрическая лампочка. Вода в ванне была мутная.

В открытом сундуке, обтянутом проволочной сеткой, среди ватных одеял спал удав. Он изредка перебирал мускулами, и зрители шарахались.

Чучело гориллы, окруженное листвой из крашеных стружек, уносило в лесную чащу бесчувственную девушку с распущенными золотыми волосами.

Каждый желающий мог за три копейки выстрелить в эту гориллу из монтекристо и спасти девушку. Если он попадал в кружок на груди у обезьяны, она роняла тряпичную девушку на пол. От девушки густо подымалась пыль.

После этого гориллу на минуту задергивали ситцевой занавеской, и потом она опять появлялась, все так же свирепо уволакивая девушку в те же самые выцветшие лесные чащи.

Мы любили Контрактовую ярмарку еще и за то, что она предвещала близкую пасху, поездку к бабушке в Черкассы, а потом — всегда прекрасную и необыкновенную киевскую нашу весну.

ГАРДЕМАРИН

Весна в Киеве начиналась с разлива Днепра. Стоило только выйти из города на Владимирскую горку, и тотчас перед глазами распахивалось голубоватое море.

Но, кроме разлива Днепра, в Киеве начинался и другой разлив — солнечного сияния, свежести, теплого и душистого ветра.

На Бибиковском бульваре распускались клейкие пирамидальные тополя. Они наполняли окрестные улицы запахом ладана. Каштаны выбрасывали первые листья — прозрачные, измятые, покрытые рыжеватым пухом.

Когда на каштанах расцветали желтые и розовые свечи, весна достигала разгара. Из вековых садов вливались в улицы волны прохлады, сыроватое дыхание молодой травы, шум недавно распустившихся листьев.

Гусеницы ползали по тротуарам даже на Крещатике. Ветер сдувал в кучи высохшие лепестки. Майские жуки и бабочки залетали в вагоны трамваев. По ночам в палисадниках пели соловьи. Тополевый пух, как черноморская пена, накатывался прибоем на панели. По краям мостовых желтели одуванчики.

Над открытыми настежь окнами кондитерской и кофеен натягивали полосатые тенты от солнца. Сирень, обрызганная водой, стояла на ресторанных столиках. Молодые киевлянки искали в гроздьях сирени цветы из пяти лепестков. Их лица под соломенными летними шляпками приобретали желтоватый матовый цвет.

Наступало время киевских садов. Весной я все дни напролет пропадал в садах. Я играл там, учил уроки, читал. Домой приходил только обедать и ночевать.

Я знал каждый уголок огромного Ботанического сада с его оврагами, прудом и густой тенью столетних липовых аллей.

Но больше всего я любил Мариинский парк в Липках около дворца. Он нависал над Днепром. Стены лиловой и белой сирени высотой в три человеческих роста звенели

и качались от множества пчел. Среди лужаек били фонтаны.

Широкий пояс садов тянулся над красными глинистыми обрывами Днепра — Мариинский и Дворцовый парки, Царский и Купеческий сады. Из Купеческого сада открывался прославленный вид па Подол. Киевляне очень гордились этим видом. В Купеческом саду все лето играл симфонический оркестр. Ничто не мешало слушать музыку, кроме протяжных пароходных гудков, доносившихся с Днепра.

Последним садом на днепровском берегу была Владимирская горка. Там стоял памятник князю Владимиру с большим бронзовым крестом в руке. В крест ввинтили электрические лампочки. По вечерам их зажигали, и огненный крест висел высоко в небе над киевскими кручами.

Город был так хорош весной, что я не понимал маминого пристрастия к обязательным воскресным поездкам в дачные места — Боярку, Пущу Водицу или Дарницу. Я скучал среди однообразных дачных участков Пущи Водицы, равнодушно смотрел в боярском лесу на чахлую аллею поэта Надсона и не любил Дарницу за вытоптанную землю около сосен и сыпучий песок, перемешанный с окурками.

Однажды весной я сидел в Мариинском парке и читал «Остров сокровищ» Стивенсона. Сестра Галя сидела рядом и тоже читала. Ее летняя шляпа с зелеными лентами лежала на скамейке. Ветер шевелил ленты.

Галя была близорукая, очень доверчивая, и вывести ее из добродушного состояния было почти невозможно.

Утром прошел дождь, но сейчас над нами блистало чистое небо весны. Только с сирени слетали запоздалые капли дождя.

Девочка с бантами в волосах остановилась против нас и начала прыгать через веревочку. Она мне мешала читать. Я потряс сирень. Маленький дождь шумно посыпался на девочку и на Галю. Девочка показала мне язык и убежала, а Галя стряхнула с книги капли дождя и продолжала читать.

И вот в эту минуту я увидел человека, который надолго отравил меня мечтами о несбыточном моем будущем.

По аллее легко шел высокий гардемарин с загорелым спокойным лицом. Прямой черный палаш висел у него на лакированном поясе. Черные ленточки с бронзовыми яко-

рямя развевались от тихого ветра. Он был весь в черном. Только яркое золото нашивок оттеняло его строгую форму.

В сухопутном Киеве, где мы почти не видели моряков, это был пришелец из далекого легендарного мира крылатых кораблей, фрегата «Паллада», из мира всех океанов, морей, всех портовых городов, всех ветров и всех очарований, какие связаны были с живописным трудом мореплавателей. Старинный палаш с черным эфесом как будто появился в Мариинском парке прямо со страниц Стивенсона.

Гардемарин прошел мимо, хрустя по песку. Я поднялся и пошел за ним. Галя по близорукости не заметила моего исчезновения.

Вся моя мечта о море воплотилась в этом человеке. Я часто воображал себе моря, туманные и золотые от вечернего штиля, далекие плаванья, когда весь мир сменяется, как быстрый калейдоскоп, за стеклами иллюминатора. Боже мой, если бы кто-нибудь догадался подарить мне хотя бы кусок окаменелой ржавчины, отбитой от старого якоря! Я бы хранил его, как драгоценность.

Гардемарин оглянулся. На черной ленточке его бескозырки я прочел загадочное слово: «Азимут». Позже я узнал, что так назывался учебный корабль Балтийского флота.

Я шел за ним по Елизаветинской улице, потом по Институтской и Николаевской. Гардемарин изящно и небрежно отдавал честь пехотным офицерам. Мне было стыдно перед ним за этих мешковатых киевских вояк.

Несколько раз гардемарин оглядывался, а на углу Меринговской остановился и подозвал меня.

— Мальчик,— спросил он насмешливо,— почему вы тащитесь за мной на буксире?

Я покраснел и ничего не ответил.

— Все ясно: он мечтает быть моряком,— догадался гардемарин, говоря почему-то обо мне в третьем лице.

— Я близорукий,— ответил я упавшим голосом.

Гардемарин положил мне на плечо худую руку:

— Дойдем до Крещатика.

Мы пошли рядом. Я боялся поднять глаза и видел только начищенные до невероятного блеска крепкие ботинки гардемарина.

На Крещатике гардемарин зашел со мной в кофейную Семадени, заказал две порции фисташкового мороженого

и два стакана воды. Нам подали мороженое на маленький трехногий столик из мрамора. Он был очень холодный и весь исписан цифрами: у Семадени собирались биржевые дельцы и подсчитывали на столиках свои прибыли и убытки.

Мы молча съели мороженое. Гардемарин достал из бумажника фотографию великолепного корвета с парусной оснасткой и широкой трубой и протянул мне:

— Возьмите на память. Это мой корабль. Я ходил на нем в Ливерпуль.

Он крепко пожал мне руку и ушел. Я посидел еще немного, пока на меня не начали оглядываться потные соседи в канотье. Тогда я неловко вышел и побежал в Мариинский парк. Скамейка была пуста. Галя ушла. Я догадался, что гардемарин меня пожалел, и впервые узнал, что жалость оставляет в душе горький осадок.

После этой встречи желание сделаться моряком мучило меня много лет. Я рвался к морю. Первый раз я видел его мельком в Новороссийске, куда ездил на несколько дней с отцом. Но этого было, конечно, недостаточно.

Часами я просиживал над Атласом, рассматривал побережья океанов, выискивал неизвестные приморские городки, мысы, острова, устья рек.

Я придумал сложную игру. Я составил длинный список пароходов со звучными именами: «Полярная звезда», «Вальтер Скотт», «Хинган», «Сириус». Список этот разбухал с каждым днем. Я был владельцем самого большого флота в мире.

Конечно, я сидел у себя в пароходной конторе, в дыму сигар, среди пестрых плакатов и расписаний. Широкие окна выходили, естественно, на набережную. Желтые мачты пароходов торчали около самых окон, а за стенами шумели добродушные вязы. Пароходный дым развязно влетал в окна, смешиваясь с запахом гнилого рассола и новеньких, веселых рогож.

Я придумал для своих пароходов список удивительнейших рейсов. Не было самого забытого уголка земли, куда бы они не заходили. Они посещали даже остров Тристан д'Акунью.

Я снимал пароходы с одного рейса и посылал в другой. Я следил за плаваньем своих кораблей и безошибочно знал, где находится сегодня «Адмирал Истомин», а где — «Летучий голландец»: «Истомин» грузит бананы в Син-

гапуре, а «Летучий голландец» разгружает муку на Фарерских островах.

Для того чтобы руководить таким обширным пароходным предприятием, мне понадобилось много знаний. Я зачитывался путеводителями, судовыми справочниками и всем, что имело хотя бы отдаленное касательство к морю.

Тогда впервые я услышал от мамы слово «менингит».

— Он дойдет бог знает до чего со своими играми,— сказала однажды мама.— Как бы все это не кончилось менингитом.

Я слышал, что менингит — это болезнь мальчиков, которые слишком рано научились читать. Поэтому я только усмехнулся на мамины страхи.

Все окончилось тем, что родители решили поехать всей семьей на лето к морю.

Теперь я догадываюсь, что мама надеялась вылечить меня этой поездкой от чрезмерного увлечения морем. Она думала, что я буду, как это обычно случается, разочарован от непосредственного столкновения с тем, к чему я так страстно стремился в мечтах. И она была права, но только отчасти.

КАК ВЫГЛЯДИТ РАЙ

Однажды мама торжественно объявила, что на днях мы на все лето уезжаем на Черное море, в маленький городок Геленджик, вблизи Новороссийска.

Нельзя было, пожалуй, выбрать лучшего места, чем Геленджик, для того, чтобы разочаровать меня в моем увлечении морем и югом.

Геленджик был тогда очень пыльным и жарким городком без всякой растительности. Вся зелень на много километров вокруг была уничтожена жестокими новороссийскими ветрами — норд-остами. Только колючие кусты держи-дерева и чахлая акация с желтыми сухими цветочками росли в палисадниках. От высоких гор тянуло зноем. В конце бухты дымил цементный завод.

Но геленджикская бухта была очень хороша. В прозрачной и теплой ее воде плавали, как розовые и голубые цветы, большие медузы. На песчаном дне лежали пятнистые камбалы и пучеглазые бычки. Прибой выбрасывал

на берег красные водоросли, гнилые поплавки-балберки от рыбачьих сетей и обкатанные волнами куски темно-зеленых бутылок.

Море после Геленджика не потеряло для меня своей прелести. Оно сделалось только более простым и тем самым более прекрасным, чем в моих нарядных мечтах.

В Геленджике я подружился с пожилым лодочником Анастасом. Он был грек, родом из города Воло. У него была новая парусная шлюпка, белая с красным килем и вымытым до седины решетчатым настилом.

Анастас катал на шлюпке дачников. Он славился ловкостью и хладнокровием, и мама иногда отпускала меня одного с Анастасом.

Однажды Анастас вышел со мной из бухты в открытое море. Я никогда не забуду того ужаса и восторга, какие я испытал, когда парус, надувшись, накренил шлюпку так низко, что вода понеслась на уровне борта. Шумящие огромные валы покатились навстречу, просвечивая зеленью и обдавая лицо соленой пылью.

Я схватился за ванты, мне хотелось обратно на берег, но Анастас, зажав трубку зубами, что-то мурлыкал, а потом спросил:

— Почем твоя мама отдала за эти чувяки? Ай, хороши чувяки!

Он кивнул на мои мягкие кавказские туфли — чувяки. Ноги мои дрожали. Я ничего не ответил. Анастас зевнул и сказал:

— Ничего! Маленький душ, теплый душ. Обедать будешь с аппетитом. Не надо будет просить — скушай за папу-маму!

Он небрежно и уверенно повернул шлюпку. Она зачерпнула воду, и мы помчались в бухту, ныряя и выскакивая на гребни волн. Они уходили из-под кормы с грозным шумом. Сердце у меня падало и обмирало.

Неожиданно Анастас запел. Я перестал дрожать и с недоумением слушал эту песню:

От Батума до Сухума —
Ай-вай-вай!
От Сухума до Батума —
Ай-вай-вай!
Бежал мальчик, тащил ящик —
Ай-вай-вай!
Упал мальчик, разбил ящик —
Ай-вай-вай!

Под эту песню мы спустили парус и с разгона быстро подошли к пристани, где ждала бледная мама. Анастас поднял меня на руки, поставил на пристань и сказал:

— Теперь он у вас соленый, мадам. Уже имеет к морю привычку.

Однажды отец нанял линейку, и мы поехали из Геленджика на Михайловский перевал.

Сначала щебенчатая дорога шла по склону голых и пыльных гор. Мы проезжали мосты через овраги, где не было ни капли воды. На горах весь день лежали, зацепившись за вершины одни и те же облака из серой сухой ваты.

Мне хотелось пить. Рыжий извозчик-казак оборачивался и говорил, чтобы я повременил до перевала,— там я напьюсь вкусной и холодной воды. Но я не верил извозчику. Сухость гор и отсутствие воды пугали меня. Я с тоской смотрел на темную и свежую полоску моря. Из него нельзя было напиться, но, по крайней мере, можно было выкупаться в его прохладной воде.

Дорога подымалась все выше. Вдруг в лицо нам потянуло свежестью.

— Самый перевал! — сказал извозчик, остановил лошадей, слез и подложил под колеса железные тормоза.

С гребня горы мы увидели огромные и густые леса. Они волнами тянулись по горам до горизонта. Кое-где из зелени торчали красные гранитные утесы, а вдали я увидел вершину, горевшую льдом и снегом.

— Норд-ост сюда не достигает,— сказал извозчик.— Тут рай!

Линейка начала спускаться. Тотчас густая тень накрыла нас. Мы услышали в непролазной чаще деревьев журчание воды, свист птиц и шелест листвы, взволнованной полуденным ветром.

Чем ниже мы спускались, тем гуще делался лес и тенистее дорога. Прозрачный ручей уже бежал по ее обочине. Он перемывал разноцветные камни, задевал своей струей лиловые цветы и заставлял их кланяться и дрожать, но не мог оторвать от каменистой земли и унести с собою вниз, в ущелье.

Мама набрала воды из ручья в кружку и дала мне напиться. Вода была такая холодная, что кружка тотчас покрылась потом.

— Пахнет озоном,— сказал отец.

Я глубоко вздохнул. Я не знал, чем пахло вокруг, но мне казалось, что меня завалили ворохом веток, смоченных душистым дождем.

Лианы цеплялись за наши головы. И то тут, то там на откосах дороги высовывался из-за камня какой-нибудь мохнатый цветок и с любопытством смотрел на нашу линейку и на серых лошадей, задравших головы и выступавших торжественно, как на параде, чтобы не сорваться вскачь и не раскатить линейку.

— Вон ящерица! — сказала мама.

— Где?

— Вон там. Видишь орешник? А налево — красный камень в траве. Смотри выше. Видишь желтый венчик? Это азалия. Чуть правее азалии, на поваленном буке, около самого корня. Вон, видишь такой мохнатый рыжий корень в сухой земле и каких-то крошечных синих цветах? Так вот рядом с ним.

Я увидел ящерицу. Но пока я ее нашел, я проделал чудесное путешествие по орешнику, красному камню, цветку азалии и поваленному буку.

«Так вот он какой, Кавказ!» — подумал я.

— Тут рай! — повторил извозчик, сворачивая с шоссе на травянистую узкую просеку в лесу.— Сейчас распряжем коней, будем купаться.

Мы въехали в такую чащу и ветки так били нас по лицу, что пришлось остановить лошадей, слезть с линейки и идти дальше пешком. Линейка медленно ехала следом за нами.

Мы вышли на поляну в зеленом ущелье. Как белые острова, стояли в сочной траве толпы высоких одуванчиков. Под густыми буками мы увидели старый пустой сарай. Он стоял на берегу шумной горной речонки. Она туго переливала через камни прозрачную воду, шипела и уволакивала вместе с водой множество воздушных пузырей.

Пока извозчик распрягал лошадей и ходил с отцом за хворостом для костра, мы умылись в реке. Лица наши после умывания горели жаром.

Мы хотели тотчас идти вверх по реке, но мама расстелила на траве скатерть, достала провизию и сказала, что, пока мы не поедим, она никуда нас не пустит.

Я, давясь, съел бутерброды с ветчиной и холодную рисовую кашу с изюмом, но оказалось, что я совершенно напрасно торопился — упрямый медный чайник никак не хотел закипать на костре. Должно быть, потому, что вода из речушки была совершенно ледяная.

Потом чайник вскипел так неожиданно и бурно, что залил костер. Мы напились крепкого чая и начали торопить отца, чтобы идти в лес. Извозчик сказал, что надо быть настороже, потому что в лесу много диких кабанов. Он объяснил нам, что если мы увидим вырытые в земле маленькие ямы, то это и есть места, где кабаны спят по ночам.

Мама заволновалась — идти с нами она не могла, у нее была одышка,— но извозчик успокоил ее, заметив, что кабана нужно нарочно раздразнить, чтобы он бросился на человека.

Мы ушли вверх по реке. Мы продирались сквозь чащу, поминутно останавливались и звали друг друга, чтобы показать гранитные бассейны, выбитые рекой,— в них синими искрами проносилась форель,— огромных зеленых жуков с длинными усами, пенистые ворчливые водопады, хвощи выше нашего роста, заросли лесной анемоны и полянки с пионами.

Боря наткнулся на маленькую пыльную яму, похожую на детскую ванну. Мы осторожно обошли ее. Очевидно, это было место ночевки дикого кабана.

Отец ушел вперед. Он начал звать нас. Мы пробрались к нему сквозь крушину, обходя огромные мшистые валуны.

Отец стоял около странного сооружения, заросшего ежевикой. Четыре гладко обтесанных исполинских камня были накрыты, как крышей, пятым обтесанным камнем. Получался каменный дом. В одном из боковых камней было пробито отверстие, но такое маленькое, что даже я не мог в него пролезть. Вокруг было несколько таких каменных построек.

— Это дольмены,— сказал отец.— Древние могильники скифов. А может быть, это вовсе и не могильники. До сих пор ученые не могут узнать, кто, для чего и как строил эти дольмены.

Я был уверен, что долмены — это жилища давно вымерших карликовых людей. Но я не сказал об этом отцу, так как с нами был Боря: он поднял бы меня на смех.

В Геленджик мы возвращались совершенно сожженные солнцем, пьяные от усталости и лесного воздуха. Я уснул и сквозь сон почувствовал, как на меня дохнуло жаром, и услышал отдаленный ропот моря.

С тех пор я сделался в своем воображении владельцем еще одной великолепной страны — Кавказа. Началось увлечение Лермонтовым, абреками, Шамилем. Мама опять встревожилась.

Сейчас, в зрелом возрасте, я с благодарностью вспоминаю о детских своих увлечениях. Они научили меня многому.

Но я был совсем не похож на захлебывающихся слюной от волнения шумных и увлекающихся мальчиков, никому не дающих покоя. Наоборот, я был очень застенчивый и со своими увлечениями ни к кому не приставал.

БРЯНСКИЕ ЛЕСА

Осенью 1902 года я должен был поступить в приготовительный класс Первой киевской гимназии. В ней учился мой средний брат, Вадим. После его рассказов я начал бояться гимназии, иногда даже плакал и просил маму оставить меня дома.

— Неужели ты хочешь быть экстерном? — испуганно спрашивала мама.

Экстернами назывались те мальчики, что учились дома и только каждый год сдавали экзамены при гимназии.

Со слов братьев я хорошо представлял себе кошмарную судьбу этих экстернов. Их нарочно проваливали на экзаменах, всячески издевались над ними, требовали от них гораздо больше знаний, чем от обыкновенных гимназистов. Ниоткуда экстернам не было помощи. Им даже не подсказывали.

Я представлял себе этих истощенных от зубрежки, заплаканных мальчиков с красными от волнения, оттопыренными ушами. Зрелище было жалкое. Я сдавался и говорил:

— Ну хорошо, я не буду экстерном.

— Кисейная барышня! — кричал из своей комнаты Боря.— Нюня!

— Не смей его обижать! — вскипала мама.

Она считала Борю бессердечным и все удивлялась, откуда у него такой черствый характер. Очевидно, от бабки-турчанки. Вся остальная наша семья отличалась необыкновенной отзывчивостью, привязчивостью к людям и непрактичностью.

Отец знал о моих страхах, слезах и волнениях и нашел, как всегда, неожиданное лекарство от этих бед. Он решил после легкой стычки с мамой отправить меня одного к моему дяде, мамину брату Николаю Григорьевичу.

Это был тот самый веселый юнкер, дядя Коля, что приезжал к бабушке в Черкассы из Петербурга и любил танцевать вальс с тетей Надей. Сейчас он уже сделался военным инженером, женился и служил в городе Брянске Орловской губернии, на старинном артиллерийском лафетном заводе. Завод этот назывался арсеналом.

На лето дядя Коля снял дачу около Брянска, в старом, запущенном имении Рёвны в Брянских лесах, и звал нас всех приехать туда же. Родители согласились. Но они не могли уехать раньше, чем у сестры и братьев окончатся экзамены. Меня послали вперед одного.

— Пусть привыкает,— сказал отец.— Это полезно для таких стеснительных мальчиков.

Отец написал дяде Коле письмо. Что он в нем писал, я не знаю. Мама, украдкой вытирая слезы, сложила мне маленький чемодан, где ничего не было забыто и лежала записка со всякими наставлениями.

Мне взяли билет во втором классе до станции Синезерки. Дядина дача была в десяти верстах от этой станции.

На вокзал меня провожали все, даже Боря. Отец о чем-то поговорил с седоусым проводником и дал ему денег.

— Довезу, как пушинку,— сказал проводник маме.— Не извольте волноваться, сударыня.

Мама попросила соседей по купе присматривать за мной и не позволять мне выходить на станциях. Соседи охотно согласились. Я очень стеснялся и осторожно тянул маму за рукав.

После второго звонка все расцеловали меня, даже Боря, хотя он тут же, незаметно для остальных, дал мне так называемую «грушу» — больно ковырнул меня большим пальцем по макушке.

Все вышли из вагона на платформу. Но мама все не могла уйти. Она держала меня за руки и говорила:

— Будь хорошим. Слышишь? Будь умным мальчиком. И очень осторожным.

Она смотрела на меня испытующими глазами. Пробил третий звонок. Она обняла меня и быстро, шурша платьем, пошла к выходу. Она соскочила почти на ходу. Отец подхватил ее и покачал головой.

Я стоял у закрытого окна, смотрел, как мама впереди всех быстро шла по платформе, и только сейчас увидел, какая она красивая, маленькая, ласковая. Мои слезы капали на пыльную раму.

Я долго смотрел в окно, хотя уже не видно было ни мамы, ни платформы, а за окном проносились товарные пути, крикливые маневровые паровозы и проплывал, как бы вращаясь, готический новый костел на Васильковской улице. Я боялся оглянуться, чтобы соседи по купе не заметили моих заплаканных глаз. Потом я вспомнил, что дяде Коле послали телеграмму о моем приезде. Легкая гордость от того, что обо мне послали настоящую телеграмму, немного успокоила меня, и я обернулся.

Купе было обито красным бархатом. В нем было тесно и уютно. Пыльные зайчики от солнца все сразу, будто по команде, начинали быстро переползать из одного угла купе в другой, а потом так же быстро ползли обратно — поезд вырывался из путаницы киевских предместий и шел по закруглениям.

Меня устроили в дамское купе. На этом настояла мама. Я осторожно осмотрел своих спутниц. Одна из них, черная, сухая француженка, быстро закивала мне, улыбнулась, показав лошадиные зубы, и протянула коробку с мармеладом. Я не знал, что делать, но поблагодарил и взял мармелад, испачкав руки.

— Клади его скорей в рот! — сказала вторая спутница — гимназистка лет шестнадцати, в коричневом форменном платье, с раскосыми веселыми глазами.— Жуй, не задумывайся!

Француженка, очевидно гувернантка, что-то строго сказала гимназистке по-французски. Гимназистка тотчас сгримасничала, и тогда француженка начала говорить по-французски быстро, сердито и долго. Гимназистка, не дослушав, встала и вышла в коридор.

— Ох, молодежь! — сказала третья моя спутница, ма-

ленькая толстая старушка со ртом, похожим на баранку. За ее спиной в плетеной сумочке висели баранки, посыпанные маком.— Ох, уж эта мне молодежь!

— О-о! — закивала француженка.— Это одно непослушание. Один фиф! Один каприз!

Что значило слово «фиф», я не знал, но догадался, что это что-то плохое, потому что старушка подняла глаза к потолку и так тяжело вздохнула, что даже француженка взглянула на нее с интересом.

Мне хотелось смотреть в окно, и я вышел в коридор. Гимназистка уже стояла у открытого окна.

— А, Витя! — сказала она мне.— Становись рядом, будем смотреть.

— Я не Витя,— ответил я, краснея.

— Все равно, становись.

Я влез на карниз отопления и высунулся в окно. Поезд шел по мосту через Днепр. Я увидел Лавру, далекий Киев и мелкий Днепр, успевший намыть около устоев моста песчаные острова.

— Чертова хрычовка! — сказала гимназистка.— Мадам Демифам! Но, в общем, ты ее не бойся. Она добрая старушенция.

Я очень устал от этой своей первой поездки, потому что всю дорогу, кроме ночей, простоял около открытого окна. Но я был счастлив. Я впервые испытывал ту путевую беззаботность, когда ни о чем не надо думать, а только смотреть за окно на ржаные поля, рощи, маленькие станции, где босые бабы продают молоко, на речонки, стрелочников, начальников станций в пыльных красных фуражках, гусей, деревенских ребят, что бегут за поездом и кричат: «Дяденька, кинь копейку!»

Дорога на Брянск была тогда круговая и длинная — через Львов и Навлю. Только на третий день поезд пришел в Синезерки.

Он шел не торопясь, подолгу стоял на станциях, отдувался около водокачек. Пассажиры выскакивали, бежали за кипятком и в буфет, покупали у баб землянику и жареных цыплят. Потом все успокаивались. Давно было пора ехать, на станции воцарялась сонная тишина, жгло солнце, плыли облака, волоча по земле синюю тень, пассажиры дремали, а поезд все стоял и стоял. Только паровоз громко вздыхал, и из него капала на песок горячая масленистая вода.

Наконец из станции выходил толстый обер-кондуктор в парусиновом сюртуке, вытирал усы, прикладывал ко рту свисток и заливисто свистел. Паровоз не отвечал, все так же отдуваясь. Тогда обер-кондуктор лениво шел к паровозу и снова свистел. Паровоз не откликался. Только на третий или четвертый свисток он наконец огрызался коротким недовольным гудком и медленно трогался.

Я высовывался из окна, потому что знал — сейчас же за семафором пойдут откосы, заросшие клевером и колокольчиками, а потом сосновый лес. Когда поезд входил в него, стук колес делался гораздо громче, его подхватывало эхо, будто по всему лесу начинали стучать молотками веселые кузнецы.

Я впервые видел Среднюю Россию. Она мне нравилась больше Украины. Она была пустыннее, просторнее и глуше. Мне нравились ее леса, заросшие дороги, разговоры крестьян.

Старушка соседка все время спала. Француженка успокоилась и вязала кружево, а гимназистка пела, высунувшись из окна, и ловко срывала листья с деревьев, пролетавших около поезда.

Через каждые два часа она доставала корзину с едой, долго ела и заставляла есть и меня. Мы ели крутые яйца, жареную курицу, пирожки с рисом и пили чай.

Потом мы снова висели в окне, дурея от запаха цветущей гречихи. Тень от поезда бежала, постукивая, по полям, а вагон был залит таким оранжевым заходящим солнцем, что в нашем купе, как в огненном тумане, ничего нельзя было разобрать.

В Синезерки поезд пришел в сумерки. Проводник вынес мой чемодан на платформу. Я ждал, что меня встретит дядя Коля или его жена, тетя Маруся. Но на платформе никого не было. Мои соседки встревожились.

Поезд стоял в Синезерках одну минуту. Он ушел, а я остался около своего чемодана. Я был уверен, что дядя Коля опоздал и сейчас приедет.

Ко мне подошел, ковыляя, бородатый крестьянин в пиджаке, в черном картузе, с кнутом, засунутым за голенище. От него пахло лошадиным потом и сеном.

— Это ты и есть Костик? — спросил он меня.— А я тебя дожидаюсь. Дядя-капитан приказали тебя встретить и доставить в сохранности. Давай сундучок, пойдем.

Это было последнее испытание, приготовленное мне

отцом. Он написал дяде Коле, чтобы никто меня не встречал в Синезерках.

Возница,— его звали Никитой,— что-то бормоча о дяде моем, капитане, усадил меня в телегу, в мягкое сено, покрытое рядном, отвязал торбу с овсом, сел на облучок, и мы поехали.

Сначала мы долго ехали по вечереющему полю. Потом дорога пошла по взгорью среди лесов. Иногда телега скатывалась па деревянный мост, и под ним блестела черная болотная вода. Тянуло сыростью, запахом осоки. За лесами и низкими чащами поднялась багровая мертвая луна, прогудела выпь, и Никита сказал:

— Наша сторона лесистая, безлюдная. Здесь корья и воды много. Самая это духовитая местность во всей Орловской губернии.

Мы въехали в сосновый бор, стали спускаться по крутому изволоку к какой-то реке. Сосны закрыли луну, совсем стемнело. На дороге послышались голоса. Мне стало немного страшно.

— Ты, Никита? — крикнул из темноты знакомый дядин голос.

— Тпру-у! — отчаянно закричал Никита, сдерживая лошадей.— Известно, мы! Тпру, леший тебя раздери!

Кто-то схватил меня, снял с телеги, и я увидел в неясном свете заката смеющиеся глаза дяди Коли и белые его зубы. Он поцеловал меня и тотчас передал тете Марусе.

Она тормошила меня, смеялась своим грудным смехом, и от нее пахло ванилью,— должно быть, она недавно возилась со сладким тестом.

Мы сели на телегу, а Никита пошел рядом.

Мы проехали старый черный мост через чистую, глубокую реку, всю в зарослях, потом второй мост. Под ним тяжело ударила рыба. Наконец телега въехала, зацепившись за каменный столб у ворот, в такой темный и высокий парк, что казалось, деревья запутались своими вершинами среди звезд.

В самой гуще парка, под шатрами непроглядных лип, телега остановилась около маленького деревянного дома с освещенными окнами. Две собаки, белая и черная — Мордан и Четвертак,— начали лаять на меня и прыгать, стараясь лизнуть в лицо.

Все лето я прожил в Рёвнах, в бывшем потемкинском поместье, среди дремучих Брянских лесов, рек, кротких

орловских крестьян, в старинном и таком обширном парке, что никто не знал, где он кончается и переходит в лес.

Это было последнее лето моего настоящего детства. Потом началась гимназия. Семья наша распалась. Я рано остался один и в последних классах гимназии уже сам зарабатывал на жизнь и чувствовал себя совершенно взрослым.

С этого лета я навсегда и всем сердцем привязался к Средней России. Я не знаю страны, обладающей такой огромной лирической силой и такой трогательно живописной — со всей своей грустью, спокойствием и простором,— как средняя полоса России. Величину этой любви трудно измерить. Каждый знает это по себе. Любишь каждую травинку, поникшую от росы или согретую солнцем, каждую кружку воды из лесного колодца, каждое деревцо над озером, трепещущее в безветрии листьями, каждый крик петуха и каждое облако, плывущее по бледному и высокому небу.

И если мне хочется иногда жить до ста двадцати лет, как предсказывал дед Нечипор, то только потому, что мало одной жизни, чтобы испытать до конца все очарование и всю исцеляющую силу нашей русской природы.

Детство кончалось. Очень жаль, что всю прелесть детства мы начинаем понимать, когда делаемся взрослыми. В детстве все было другим. Светлыми и чистыми глазами мы смотрели на мир, и все нам казалось гораздо более ярким.

Ярче было солнце, сильнее пахли поля, громче был гром, обильнее дожди и выше трава. И шире было человеческое сердце, острее горе и в тысячу раз загадочнее была земля, родная земля — самое великолепное, что нам дано для жизни. Ее мы должны возделывать, беречь и охранять всеми силами своего существа.

КИШАТА

Я не завидовал, как другие мальчики, тому, что киевские кадеты носили белые погоны с желтыми вензелями и становились во фронт перед генералами. Не завидовал я и гимназистам, хотя их шинели из серого офицерского

сукна, с серебряными пуговицами считались очень красивыми. С детства я был равнодушен ко всякой форменной одежде, кроме морской.

Когда осенью 1902 года я впервые надел длинные брюки и гимназическую курточку, мне было неловко, неудобно, и я на время перестал чувствовать себя самим собой. Я стал для себя чужим мальчиком с тяжелой фуражкой на голове. Я невзлюбил эти твердые синие фуражки с огромным гербом, потому что у всех моих товарищей — учеников приготовительного класса — всегда торчали из-под фуражек оттопыренные уши. Когда они снимали фуражку, уши у них делались обыкновенными. Но стоило им надеть фуражку, как уши тотчас оттопыривались. Будто нарочно для того, чтобы инспектор Бодянский, взяв приготовишку за ухо, мог сказать страшным своим голосом:

— Опять опоздал, мизерабль! Становись в угол и думай о своей горькой судьбе!

Поэтому, как только мама купила мне фуражку, я, подражая старшим братьям, вытащил из нее маленький железный обруч и вырвал атласную подкладку. Такова была традиция — чем больше потрепана фуражка, тем выше гимназическая доблесть. «Только зубрилы и подлизы ходят в новых фуражках»,— говорили братья.

На фуражке полагалось сидеть, носить ее в кармане и сбивать ею созревшие каштаны. После этого она приобретала тот боевой вид, который был гордостью настоящего гимназиста.

Мне купили еще ранец с шелковистой спинкой из оленьей шкурки, пенал, тетради в клетку, тонкие учебники для приготовительного класса, и мама повела меня в гимназию.

Бабушка Викентия Ивановна в это время гостила у нас в Киеве. Она перекрестила меня и повесила мне на шею крестик на холодной цепочке. Трясущимися руками она расстегнула ворот моей черной курточки, засунула крестик мне под рубаху, отвернулась и прижала платок к глазам.

— Ну, иди! — сказала она глухим голосом и слегка оттолкнула меня.— Будь умным. Трудись!

Я ушел с мамой. Все время я оглядывался на наш дом, будто меня уводили из него навсегда.

Мы жили тогда на тенистой и тихой Никольско-Бота-

нической улице. Вокруг нашего дома стояли, задумавшись, огромные каштаны. С них уже начали падать сухие пятипалые листья. День был солнечный, очень синий, теплый, но с прохладной тенью — обыкновенный день киевской осени. Бабушка стояла у окна и все время кивала мне, пока мы не повернули на Тарасовскую улицу. Мама шла молча.

Когда мы дошли до Николаевского сквера и я увидел сквозь его зелень желтое здание гимназии, я заплакал. Я, должно быть, понял, что окончено детство, что теперь я должен трудиться и что труд мой будет горек и долог и совсем не будет похож на те спокойные дни, какие я проводил у себя дома...

Я остановился, прижался к маме головой и плакал так сильно, что в ранце за моей спиной подпрыгивал и постукивал пенал, как бы спрашивая, что случилось с его маленьким хозяином. Мама сняла с меня фуражку и вытерла слезы душистым платком.

— Перестань,— сказала она.— Ты думаешь, мне самой легко? Но так надо.

Так надо! Никакие слова не входили до тех пор в мое сознание с такой силой, как эти два слова, сказанные мамой: «Так надо».

Чем старше я становился, тем чаще я слышал от взрослых, что следует жить «так, как надо, а не так, как тебе хочется или нравится». Я долго не мог примириться с этим и спрашивал взрослых: неужели человек не имеет права жить так, как он хочет, а должен жить только так, как хотят другие? Но в ответ мне говорили, чтобы я не рассуждал о том, чего не понимаю. А мама однажды сказала отцу: «Это все твое анархическое воспитание!» Отец притянул меня к себе, прижал мою голову к своему белому жилету и шутливо сказал:

— Не понимают нас с тобой, Костик, в этом доме.

Когда я успокоился и перестал плакать, мы вошли с мамой в здание гимназии. Широкая чугунная лестница, стертая каблуками до свинцового блеска, вела вверх, где был слышен грозный гул, похожий на жужжание пчелиного роя.

— Не пугайся,— сказала мне мама.— Это большая перемена.

Мы поднялись по лестнице. Впервые мама не держала меня за руку. Сверху быстро спускались два старшеклас-

сника. Они уступили нам дорогу. Один из них сказал мне в спину:

— Привели еще одного несчастного кишонка!

Так я вступил в беспокойное и беспомощное общество приготовишек, или, как их презрительно звали старые гимназисты, в общество кишат. Кишатами нас прозвали за то, что мы, маленькие и юркие, кишели и путались на переменах у взрослых под ногами.

Мы прошли с мамой через белый актовый зал с портретами императоров. Особенно запомнился мне Александр Первый. Он прижимал к бедру зеленую треуголку. Рыжеватые баки торчали по сторонам его кошачьего лица. Он мне не понравился, хотя за его спиной скакали по холмам кавалеристы с плюмажами.

Мы прошли через зал в кабинет к инспектору Бодянскому — тучному человеку в просторном, как дамский капот, форменном сюртуке.

Бодянский положил мне на голову пухлую руку, долго думал, потом сказал:

— Учись хорошо, а то съем!

Мама принужденно улыбнулась, Бодянский позвал сторожа Казимира и приказал ему отвести меня в приготовительный класс.

Мама кивнула мне, а Казимир взял меня за плечо и повел по длинным коридорам. Казимир так крепко стискивал мое плечо, будто боялся, что я вырвусь и убегу к маме.

В классах шли уроки. В коридоре было пусто и тихо. Тишина казалась особенно удивительной после неистового гама большой перемены. От перемены осталась пыль. Она плавала в лучах солнца, падавших из сада. Это был знаменитый сад киевской Первой гимназии — столетний парк, занимавший среди города целый квартал.

Я взглянул за окно в сад, и мне опять захотелось заплакать. В саду, просвеченные насквозь солнцем, стояли каштаны. Подсыхающие бледно-лиловые листочки тополей шевелились от ветра.

Уже тогда, мальчиком, я любил сады, деревья. Я не ломал веток и не разорял птичьих гнезд. Может быть, потому, что бабушка Викентия Ивановна всегда говорила мне, что «мир чудо как хорош и человек должен жить в нем и трудиться, как в большом саду».

Казимир заметил, что я собираюсь заплакать, достал из заднего кармана старого, но чистенького сюртука

липкую конфету «зубровку» и сказал с польским акцентом:

— Съешь этот цукерок на следующей перемене.

Я поблагодарил его шепотом и взял конфету.

Первые дни в гимназии я вообще говорил шепотом и боялся поднять голову. Все подавляло меня: бородатые преподаватели в синих сюртуках, старинные своды, эхо в бесконечных коридорах и, наконец, директор Бессмертный — пожилой красавец с золотой бородкой, в новеньком форменном фраке.

Он был мягкий, просвещенный человек, но его почему-то полагалось бояться. Может быть, потому, что он сидел в высоком кабинете с портретом хирурга Пирогова, лепными потолками и красным ковром. Директор редко выходил оттуда. Ему мы кланялись по всем правилам, остановившись, тогда как с учителями мы здоровались на ходу.

Казимир вел меня по гулким коридорам. По ним бродили, заглядывая в классы через застекленный верх дверей, надзиратели «Дыня», «Шпонька», «Нюхательный табак» и единственный надзиратель, которого гимназисты любили,— Платон Федорович. Тот коридор, где был приготовительный класс, находился под властью Платона Федоровича. Это спасло меня на первое время от многих неприятностей.

Надзирателям полагалось следить за поведением гимназистов и сообщать инспектору о всяческих их проступках. За этим следовали кары — оставление на час или два «без обеда» (иначе говоря, томительное сидение в пустом классе после конца уроков), четверка по поведению и, наконец, вызов родителей к директору. Мы больше всего боялись этой последней кары.

В старших классах существовали и другие наказания: временное исключение из гимназии, исключение с правом дальнейшего обучения и самое страшное — исключение с «волчьим билетом», без права поступить потом в какую бы то ни было среднюю школу.

Я видел только одного гимназиста-старшеклассника, исключенного с «волчьим билетом». Это было, когда я учился уже в первом классе. Рассказывали, что он дал пощечину преподавателю немецкого языка Ягорскому, грубому человеку с зеленым лицом. Ягорский обозвал его при всем классе болваном. Гимназист потребовал, чтобы Ягор-

ский извинился. Ягорский отказался. Тогда гимназист ударил его. За это он и был исключен с «волчьим билетом».

На следующий день после исключения гимназист пришел в гимназию. Никто из надзирателей не решился его остановить. Он открыл дверь класса, достал из кармана браунинг и направил его на Ягорского.

Ягорский вскочил из-за стола и, закрывшись журналом, побежал между партами, стараясь спрятаться за спинами гимназистов. «Трус!» — крикнул гимназист, повернулся, вышел на площадку лестницы и выстрелил себе в сердце.

Дверь нашего класса выходила на площадку. Мы услышали сухой треск и звон стекла. Что-то упало и покатилось по лестнице. Классный наставник бросился к двери. Мы выбежали вслед за ним.

На лестнице лежал веснушчатый гимназист. Он поднял руку, схватился за лестничную балясину, потом рука разжалась, и он затих. Глаза его смотрели на нас с удивленной улыбкой.

Около гимназиста засуетились надзиратели. Потом быстро вошел директор Бессмертный. Он стал на колени перед гимназистом, расстегнул его куртку, и тогда мы увидели кровь на рубахе. По лестнице уже подымались санитары скорой помощи, в коричневой форме, с французскими кепи на головах. Они быстро положили гимназиста на носилки.

— Уведите сейчас же детей! — сказал директор нашему классному наставнику.

Но тот, должно быть, не расслышал, и мы остались.

Из класса вышел Ягорский и, сгорбившись, пошел в учительскую комнату.

— Прочь! — вдруг сказал ему в спину директор.

Ягорский обернулся.

— Прочь из моей гимназии! — тихо сказал директор.

И Ягорский вдруг побежал, приседая, по коридору.

На следующий день мама не хотела пускать меня в гимназию, но потом раздумала, и я пошел. В гимназии нас распустили после второго урока. Нам сказали, что те из нас, кто хочет, могут пойти на похороны гимназиста.

И мы пошли все — маленькие, испуганные, в длиннополых шинелях, таща за плечами твердые ранцы.

Стоял холодный, туманный день. За гробом шла вся гимназия. Было много цветов в гробу. Директор вел под

руку седую, плохо одетую женщину — мать этого гимназиста.

Тогда я еще плохо разбирался в таких житейских случаях, но все же понял, что жизнь дала нам первый урок товарищества. Мы по очереди подходили к могиле и бросали в нее по горсти земли, будто клялись, что всегда будем доброжелательны и справедливы друг к другу.

Но это было гораздо позже, а сейчас Казимир ввел меня в приготовительный класс.

За столом сидел классный наставник Назаренко — громогласный человек с волнистой синей бородой, как у ассирийского царя. Старшеклассники прозвали Назаренко «Науходоносором». Они уверяли, что он служил в охранке.

Весь год, до перехода в первый класс, Назаренко мучил нас, малышей, зычным голосом, насмешками, двойками и рассказами, как ему вырезали на ноге ногти, вросшие в мясо. Я боялся его и ненавидел. Больше всего я ненавидел его за рассказы об этой операции.

Я сел на низенькую парту, изрезанную перочинным ножом. Мне было трудно дышать. Кисло пахло чернилами. Назаренко диктовал: «Однажды лебедь, рак да щука...» За открытым окном на ветке сидел воробей и держал в клюве сухой лист клена. Мне хотелось поменяться с воробьем судьбой. Воробей посмотрел через окно в класс, жалобно пискнул и уронил лист клена.

— Новичок,— прогремел Назаренко,— достань тетрадь, пиши и не засматривайся по сторонам, если не хочешь остаться без обеда!

Я достал тетрадку и начал писать. Слеза капнула на промокашку. Тогда мой сосед, черный мальчик с веселыми глазами, Эмма Шмуклер, шепнул:

— Проглоти слюну, тогда пройдет.

Я проглотил слюну, но ничего не прошло. Я долго еще не мог вздохнуть всей грудью.

Так начался первый гимназический год. Пыль, беготня на переменах, постоянный страх, что тебя вызовут к доске, пальцы в чернилах, тяжелый ранец и, как отзвуки потерянной жизни, мелодичные звонки киевских трамваев за окнами, отдаленный свист шарманки и гудки паровозов, долетавшие с вокзала. Оттуда отходили тяже-

лые поезда и неслись, попыхивая паром, через рощи и скошенные поля, в то время как мы, согнувшись над партами, задыхались от меловой пыли, стертой сухой губкой с классной доски.

Против приготовительного класса был физический кабинет. В него вела узкая дверь. Мы часто заглядывали на переменах в этот кабинет. Там скамьи подымались амфитеатром к потолку.

В физический кабинет водили на уроки старшеклассников. Мы, конечно, кишели в коридоре у них под ногами, и это им, должно быть, надоело. Однажды один из старшеклассников, высокий бледный гимназист, протяжно свистнул. Старшеклассники тотчас начали хватать нас, кишат, и затаскивать в физический кабинет. Они рассаживались на скамьях и держали нас, зажав коленями.

Вначале нам это понравилось. Мы с любопытством рассматривали таинственные приборы на полках — черные диски, колбы и медные шары. Потом в коридоре затрещал первый звонок. Мы начали вырываться. Старшеклассники нас не пускали. Они крепко держали нас, а самым буйным давали так называемые «груши». Для этого надо было винтообразно и сильно ковырнуть большим пальцем по темени. Это было очень больно.

Зловеще затрещал второй звонок. Мы начали рваться изо всех сил, просить и плакать. Но старшеклассники были неумолимы. Бледный гимназист стал около двери.

— Смотри,— кричали ему старшеклассники,— рассчитай точно!

Мы ничего не понимали. Мы выли от ужаса. Сейчас будет третий звонок. Назаренко ворвется в пустой приготовительный класс. Гнев его будет страшен. Реки наших слез не смогут смягчить этот гнев.

Затрещал третий звонок. Мы ревели на разные голоса. Бледный гимназист поднял руку. Это значило, что в конце коридора появился физик. Он шел неторопливо, с опаской прислушиваясь к воплям из физического кабинета.

Физик был очень толстый. Он протискивался в узкую дверь боком. На этом и был построен расчет старшеклассников. Когда физик заклинился в дверях, бледный гимназист махнул рукой. Нас отпустили, и мы, обезумевшие, помчались, ничего не видя, не понимая и оглашая

рыданиями физический кабинет, к себе в класс. Мы с размаху налетели на испуганного физика. На мгновение у двери закипел водоворот из стриженых детских голов. Потом мы вытолкнули физика, как пробку, из дверей в коридор, прорвались у него между ногами и помчались к себе. К счастью, Назаренко задержался в учительской комнате и ничего не заметил.

Старшеклассникам удалось всего раз проделать над нами эту предательскую штуку. Потом мы были настороже. Когда старшеклассники появлялись в коридоре, мы тотчас прятались к себе в класс, закрывали двери и загораживали их партами.

Развлечение это, стоившее нам стольких слез, придумал бледный гимназист. Его звали Багров. Несколько лет спустя он стрелял из револьвера в Киевском оперном театре в царского министра Столыпина, убил его и был повешен.

На суде Багров держался лениво и спокойно. Когда ему прочли приговор, он сказал:

— Мне совершенно все равно, съем ли я еще две тысячи котлет в своей жизни или не съем.

Взрослые много говорили о Багрове и гадали, был ли он действительно революционером или агентом охранки, устроившей убийство Столыпина в угоду царю (Николай ненавидел Столыпина за то, что не мог сопротивляться его воле). Мой отец утверждал, что человек, произнесший перед смертью такие циничные слова, какие сказал Багров, не мог быть революционером.

ВОДА ИЗ РЕКИ ЛИМПОПО

На столе в классе стояли залитые сургучом бутылки с желтоватой водой. На каждой бутылке была наклейка. На наклейках неровным старческим почерком было написано: «Вода из Нила», «Вода из реки Лимпопо», «Вода из Средиземного моря».

Бутылок было много. В них была вода из Волги, Рейна, Темзы, озера Мичиган, Мертвого моря и Амазонки. Но сколько мы ни разглядывали эту воду, во всех бутылках она была одинаково желтая и скучная на вид.

Мы приставали к учителю географии Черпунову, чтобы он разрешил нам попробовать воду из Мертвого моря. Нам

хотелось узнать, действительно ли она такая соленая. Но пробовать воду Черпунов не позволял.

Низенький, с длинной, почти до колен, серой бородой и узкими глазами, Черпунов напоминал колдуна. Недаром и прозвище у него было «Черномор».

Черпунов всегда притаскивал на уроки всяческие редкости. Больше всего он любил приносить бутылки с водой. Он рассказывал, как сам набирал нильскую воду около Каира.

— Смотрите,— он взбалтывал бутылку,— сколько в ней ила. Нильский ил богаче алмазов. На нем расцвела культура Египта. Марковский, объясни классу, что такое культура.

Марковский вставал и говорил, что культура — это выращивание хлебных злаков, изюма и риса.

— Глупо, но похоже на правду! — замечал Черпунов и начинал показывать нам разные бутылки.

Он очень гордился водой из реки Лимпопо. Ее прислал Черпунову в подарок бывший его ученик.

Чтобы мы лучше запоминали всякие географические вещи, Черпунов придумывал разные наглядные способы. Так, он рисовал на классной доске большую букву А. В правом углу он вписывал в эту букву второе А, поменьше, в него — третье, а в третье — четвертое. Потом он говорил:

— Запомните: это — Азия, в Азии — Аравия, в Аравии — город Аден, а в Адене сидит англичанин.

Мы запоминали это сразу и на всю жизнь.

Старшеклассники рассказывали, что на квартире у Черпунова устроен небольшой географический музей, но старик к себе никого не пускает. Там были будто бы чучела колибри, коллекция бабочек, телескоп и даже самородок золота.

Наслушавшись об этом музее, я начал собирать свой музей. Он был, конечно, небогатый, но расцветал в моем воображении, как царство удивительных вещей. Разнообразные истории были связаны с каждой вещью — будь то пуговица румынского солдата или засушенный жук-богомол.

Однажды я встретил Черпунова в Ботаническом саду. Он сидел на мокрой от дождя скамейке и ковырял тростью землю. Я снял фуражку и поклонился.

— Пойди сюда! — подозвал меня Черпунов и протя-

нул мне толстую руку.— Садись, рассказывай. Ты, говорят, собрал маленький музей. Что же у тебя есть?

Я робко перечислил свои незамысловатые ценности. Черпунов усмехнулся.

— Похвально! — сказал он.— Приходи ко мне в воскресенье утром. Посмотришь мой музей. Допускаю, что коль скоро ты этим увлекаешься, то из тебя выйдет географ или путешественник.

— С мамой? — спросил я.

— Что с мамой?

— Прийти к вам с мамой?

— Нет, зачем же, приходи один. Мамы не понимают в географии.

В воскресенье я надел новенький гимназический костюм и пошел к Черпунову. Он жил на Печерске, в низеньком флигеле во дворе. Флигель так густо оброс сиренью, что в комнатах было темно.

Была поздняя осень, но сирень еще не пожелтела. С листьев стекал туман. Внизу на Днепре трубили пароходы. Они уходили зимовать в затоны и прощались с Киевом.

Я поднялся на крыльцо и увидел вделанную в стену медную чашечку с круглой рукояткой от звонка. Я потянул рукоятку. Внутри флигеля пропел колокольчик.

Открыл мне сам Черпунов. На нем была серая теплая куртка и войлочные туфли.

Чудеса начались тут же в передней. В овальном зеркале отражался красный от смущения маленький гимназист, пытавшийся расстегнуть озябшими пальцами шинель. Я не сразу понял, что этот гимназист — я сам. Я долго не мог справиться с пуговицами. Я расстегивал их и смотрел на раму от зеркала.

Это была не рама, а венок из стеклянных, бледно окрашенных листьев, цветов и гроздьев винограда.

— Венецианское стекло,— сказал Черпунов, помог мне расстегнуть шинель, снял ее и повесил на вешалку.— Посмотри поближе. Можешь даже потрогать.

Я осторожно прикоснулся к стеклянной розе. Стекло было матовое, будто присыпанное пудрой. В полоске света, падавшей из соседней комнаты, оно просвечивало красноватым огнем.

— Совсем как рахат-лукум,— заметил я.

— Глупо, но похоже на правду,— пробормотал Черпунов.

Я покраснел так, что у меня зажгло в глазах. Черпунов похлопал меня по плечу:

— Не обижайся. Это у меня такая поговорка, Ну, пойдем. Выпьешь с нами чаю.

Я начал отказываться, но Черпунов взял меня за локоть и повел в столовую. Мы вошли в комнату, похожую на сад. Нужно было осторожно отводить листья филодендрона и свисавшие с потолка ветки с красными пахучими шишками, чтобы добраться до своего места за столом. Веерная пальма нависала над белой скатертью. На подоконниках теснились вазоны с розовыми, желтыми и белыми цветами.

Я сел за стол, но тотчас вскочил. В столовую быстро вошла, шурша платьем, невысокая молодая женщина с блестящими серыми глазами.

— Вот, Маша,— кивнул на меня Черпунов,— это тот гимназистик, про которого я рассказывал. Сын Георгия Максимовича. Конфузится, конечно.

Женщина протянула мне руку. Зазвенел браслет.

— Неужели вы ему будете все объяснять, Петр Петрович? — спросила она, разглядывая меня и усмехаясь.

— Да, после чая.

— Тогда я схожу на это время в город. В кондитерскую. К Кирхгейму. Мне надо кое-что купить.

— Как хочешь.

Женщина налила мне чаю с лимоном и пододвинула вазу с венскими булочками:

— Набирайтесь сил перед лекцией.

После чая Черпунов закурил папиросу. Пепел он стряхивал в раковину, покрытую окаменелой пеной нежнейшего розового цвета. Вторая такая же раковина стояла рядом.

— Это раковина из Новой Гвинеи,— заметил Черпунов.

— Ну, прощайте! — громко сказала молодая женщина, встала и вышла.

— Итак,— промолвил Черпунов, проводил ее глазами, а потом показал мне на портрет на стене. Он изображал бородатого человека с изможденным лицом.— Ты знаешь, кто это? Один из лучших русских людей. Путешественник Миклухо-Маклай. Он был великим гуманистом. Ты, долж-

но быть, не понимаешь, что означает это слово. Не важно. Поймешь потом. Он был великий ученый и верил в добрую волю людей. Он жил один среди людоедов на Новой Гвинее. Безоружный, умирающий от лихорадки. Но он сумел сделать столько добра дикарям и проявить столько терпения, что когда за ним пришел наш корвет «Изумруд», чтобы увезти его в Россию, толпы дикарей плакали на берегу, протягивали к корвету руки и кричали: «Маклай, Маклай!» Так вот, запомни: добротой можно добиться всего.

Женщина вошла в столовую и остановилась в дверях. На ней была черная маленькая шляпка. Она натягивала на левую руку перчатку.

— Между прочим, что такое поэзия? — неожиданно спросил Черпунов.— Пожалуйста, не собирайся мне отвечать. Это определить нельзя. Вот раковина с острова, где жил Маклай. Если ты долго будешь смотреть на нее, то вдруг тебе придет в голову, что как-то утром солнечный свет упал на эту раковину и так на ней и остался на вечные времена.

Женщина села на стул около двери и начала стаскивать с руки перчатку.

Я уставился на раковину. На минуту мне показалось, что я на самом деле уснул и вижу медленный восход солнца над прозрачными массами океанской воды и вспышки розовых лучей.

— Если ты прижмешь раковину к уху,— говорил где-то далеко Черпунов,— то услышишь гул. Я не могу тебе объяснить, почему это происходит. И никто тебе этого не объяснит. Это тайна. Все, что человек не может понять, называется тайной.

Женщина сняла шляпку и положила ее себе на колени.

— Возьми, послушай,— предложил Черпунов.

Я прижал раковину к уху и услышал сонный шум — будто далеко-далеко набегали на берег равномерные волны. Женщина протянула руку:

— Дайте и мне. Я уже давно не слушала.

Я отдал ей раковину. Она прижала ее к уху, улыбнулась и приоткрыла рот так, что стали видны ее маленькие, очень белые и влажные зубы.

— Что же ты, Маша, не идешь к Кирхгейму? — неожиданно спросил Черпунов.

Женщина встала.

— Я раздумала. Мне скучно одной идти к Кирхгейму. Извините, если я помешала.

Она вышла из столовой.

— Ну, что же,— сказал Черпунов,— продолжим нашу беседу, молодой человек. Вон там в углу стоят черные ящики. Принеси-ка сюда верхний ящик. Только неси осторожно.

Я взял ящик и поставил его на стол перед Черпуновым. Ящик оказался совсем легким.

Черпунов не торопясь открыл крышку. Я заглянул через его плечо и невольно вскрикнул. Огромная бабочка, больше, чем лист клена, лежала в ящике на темном шелку и переливалась, как радуга.

— Не так смотришь! — рассердился Черпунов.— Надо вот так!

Он взял меня за макушку и начал поворачивать мою голову то вправо, то влево. Каждый раз бабочка вспыхивала разными цветами — то белым, то золотым, то пурпурным, то синим. Казалось, что крылья ее горели чудесным огнем, но никак не сгорали.

— Редчайшая бабочка с острова Борнео! — с гордостью произнес Черпунов и закрыл крышку ящика.

Потом Черпунов показал мне звездный глобус, старые карты с «розой ветров», чучела колибри с длинными, как маленькие шила, клювами.

— Ну, на сегодня довольно,— сказал Черпунов.— Ты устал. Можешь приходить ко мне по воскресеньям.

— Вы всегда дома?

— Да. Я уже стар, чтобы бродить и путешествовать, мой друг. Вот я и странствую по стенам и столам.— Он показал на книжные полки и на мертвых колибри.

— А вы много путешествовали? — спросил я робко.

— Не меньше, чем Миклухо-Маклай.

Когда, торопясь и не попадая в рукава, я натягивал в передней шинель, вошла молодая женщина. Она была в коротком узком жакете, в шляпе и перчатках. Маленькая темная вуаль была опущена у нее на глаза. От этого они казались совсем синими.

— Вы где живете? — спросила она.

Я ответил.

— Значит, до Крещатика нам по пути. Пойдемте вместе.

Мы вышли. Черпунов стоял в дверях и смотрел нам вслед. Потом он громко сказал:

— Маша, прошу тебя, будь осторожна. И возвращайся скорей.

— Я слышу,— ответила женщина, но не оглянулась.

Мы миновали Никольский форт с бронзовыми мордами львов на крепостных воротах, прошли через Мариинский парк, где я встретил когда-то гардемарина, и повернули на Институтскую улицу. Женщина молчала. Я тоже молчал. Я боялся, что она о чем-нибудь спросит и мне придется отвечать.

На Институтской она наконец спросила:

— Что вам больше всего понравилось в нашем музее?

— Бабочка,— ответил я, помолчав, и добавил: — Только жалко эту бабочку.

— Да? — удивилась женщина.— Почему же вам ее жалко?

Мне в то время никто не говорил «вы», и от этого я еще больше смущался.

— Она очень красивая,— ответил я,— а ее почти никто не видит.

— А еще что вам понравилось?

На Крещатике мы остановились около кондитерской Кирхгейма. Женщина спросила:

— Вам позволяют пить какао в кондитерской? И есть пирожные?

Я не знал, позволяют ли мне это или нет, но вспомнил, что один раз я был с мамой и сестрой Галей у Кирхгейма и мы действительно пили какао. Поэтому я ответил, что, конечно, мне позволяют бывать у Кирхгейма.

— Вот и хорошо! Тогда пойдемте.

Мы сели в глубине кондитерской. Женщина отодвинула на край столика вазон с гортензией и заказала две чашки какао и маленький торт.

— Вы в каком классе? — спросила она, когда нам подали какао.

— Во втором.

— А сколько вам лет?

— Двенадцать.

— А мне двадцать восемь. В двенадцать лет, конечно, можно верить всему.

— Что? — переспросил я.

— У вас есть какие-нибудь любимые игры и выдумки?

— Да, есть.

— И у Петра Петровича есть. А у меня нет. Вот вы бы и приняли меня в свои игры. Мы бы хорошо играли.

— А во что? — полюбопытствовал я. Разговор становился интересным.

— Во что? Ну хотя бы в Золушку или в бегство от злого короля. Или мы придумали бы новую игру. Она называлась бы «Бабочка с острова Борнео».

— Да! — сказал я, загораясь.— Мы бы разыскали в заколдованном лесу колодец с живой водой.

— С опасностью для жизни, конечно?

— Ну да, с опасностью для жизни!

— Мы бы несли эту воду,— сказал она и подняла на лоб вуаль,— в ладонях. Когда один уставал бы нести, он осторожно переливал бы воду в ладонь к другому.

— Когда мы будем переливать воду,— заметил я,— одна или две капли обязательно упадут на землю, и в тех местах...

— В тех местах,— перебила она,— вырастут кусты с большими белыми цветами. А что случится потом, как вы думаете?

— Мы побрызгаем бабочку этой водой, и она оживет.

— И превратится в прекрасную девушку? — спросила женщина и засмеялась.— Ну, пора идти. Вас, наверное, ждут дома.

Мы вышли. Она проводила меня до угла Фундуклеевской, а оттуда пошла обратно. Я оглянулся. Она переходила Крещатик, тоже оглянулась, улыбнулась и помахала мне маленькой рукой в черной перчатке.

Дома я не рассказал никому, даже маме, что был в кондитерской Кирхгейма. Мама все удивлялась, почему я ничего не ем за обедом. Я упорно молчал. Я думал об этой женщине, но ничего не понимал.

На следующий день я спросил у одного из старшеклассников, кто эта женщина.

— А ты разве был у Черпунова? — спросил старшеклассник.

— Был.

— И видел музей?

— Видел.

— Повезло,— сказал старшеклассник.— Это его жена. Он старше ее на тридцать пять лет.

В следующее воскресенье я не пошел к Черпунову,

потому что среди недели он заболел и перестал ходить в гимназию. А через несколько дней мама вдруг спросила меня за вечерним чаем, не видел ли я у Черпунова молодую женщину.

— Видел,— сказал я и покраснел.

— Ну, значит, правда,— обернулась мама к отцу.— А он был с ней, говорят, так добр! Она жила, как принцесса в золотой клетке.

Отец ничего не ответил.

— Костик,— сказала мама,— ты уже выпил чай. Иди к себе, скоро пора ложиться.

Она услала меня, чтобы поговорить с отцом о Черпунове. Но я не стал подслушивать, хотя мне очень хотелось знать, что случилось.

Вскоре я узнал об этом в гимназии. Жена ушла от Черпунова, уехала в Петербург. Старик заболел от горя и никого к себе не пускал.

— Так и надо Черномору,— сказал гимназист Литтауэр.— Не женись на молодой!

Мы возмутились этими словами. Мы любили старика Черпунова. Поэтому на следующем же уроке, когда француз Сэрму влетел в класс, мы отомстили Литтауэру.

— Литтауэр! — громовым хором крикнул весь класс.— Иттауэр! Тауэр! Ауэр! Эр!

Потом сразу наступила тишина.

Сэрму вспылил и, как всегда, не разобрав, в чем дело, крикнул:

— Литтауэр, вон из класса!

И поставил Литтауэру четверку по поведению.

Больше мы не видели Черпунова. Он не вернулся в гимназию.

Через год я встретил его на улице. Он едва брел — желтый, опухший, опираясь на толстую трость. Он остановил меня, расспросил, как я учусь, и сказал:

— Бабочку помнишь? С острова Борнео? Так вот, нет у меня уже этой бабочки.

Я молчал. Черпунов внимательно посмотрел на меня.

— Я подарил ее университету. И ее и всю свою коллекцию бабочек. Ну, будь здоров. Рад был встретить тебя.

Черпунов вскоре умер. Я долго помнил о нем и о молодой женщине. Непонятная тоска охватывала меня, когда я вспоминал ее вуаль и то, как она, переходя Крещатик, улыбнулась и помахала рукой.

Когда я был уже в старшем классе, преподаватель психологии, говоря нам о плодотворной силе воображения, неожиданно спросил:

— Вы помните Черпунова с его водой из разных рек и морей?

— Ну как же! — ответили мы.— Великолепно помним.

— Так вот, могу вам сообщить, что в бутылках была самая обыкновенная водопроводная вода. Вы спросите, зачем Черпунов вас обманывал? Он справедливо полагал, что таким путем дает толчок развитию вашего воображения. Черпунов очень ценил его. Несколько раз он упоминал при мне, что человек отличается от животного способностью к воображению. Воображение создало искусство. Оно раздвинуло границы мира и сознания и сообщило жизни то свойство, что мы называем поэзией.

ПЕРВАЯ ЗАПОВЕДЬ

На каждый день недели у нашего законоучителя, соборного протоиерея Трегубова, были рясы разного цвета. Серая, синяя, лиловая, черная, коричневая, зеленая и, наконец, кремовая, чесучовая. По цвету рясы можно было определить, какой сегодня день — вторник или суббота.

Как только Трегубов появился у нас в третьем классе, он тотчас уничтожил вековые традиции в преподавании «закона божьего». Обыкновенно по этому предмету гимназисты во всех гимназиях получали пятерки. Объяснялось это, очевидно, тем, что законоучители по обязанности своей должны были проявлять человеколюбие и старались не огорчать гимназистов. А может быть, и тем, что и законоучители и гимназисты не относились к этому предмету всерьез.

Трегубов одним ударом разрушил наше пренебрежение к «закону божьему».

— Алтухов,— сказал он,— прочти первую заповедь.

— «Аз есмь господь бог твой да не будет тебе бози иний разве мене!» — выпалил Алтухов и усмехнулся. Придраться к этому ответу было невозможно.

— Садись! — сказал Трегубов и поставил Алтухову единицу.— Боримович, теперь ты прочти первую заповедь.

Боримович, бледнея, прочел первую заповедь так же правильно, как Алтухов, и тоже получил единицу.

Трегубов вызывал всех по алфавиту. Все читали первую заповедь правильно, и всем Трегубов, злорадно улыбаясь, ставил единицы. Мы ничего не понимали. Весь журнал от А до Щ украсился единицами. Это грозило великими бедами.

Окончив ставить единицы, Трегубов разгладил надушенными руками бороду и произнес:

— Пренебрежительно относитесь к знакам препинания. За это и понесли заслуженную кару. Невнимательны к божественным текстам и легкомысленны, как ягнята. После речения «Аз есмь господь бог твой» стоит запятая. Что это означает? Это означает, что в месте сем следует сделать короткую остановку, иначе говоря, паузу, дабы выделить значительность последующего утверждения. А вы сыплете священные слова одним духом, как горох об стенку. Срам!

Он говорил тихо, глядя на нас узкими презрительными глазами. Золотой значок академика поблескивал на его шелковой рясе.

До Трегубова законоучителем у нас был протоиерей Златоверховников, дряхлый, шепелявый и глухой. С тем было проще. Можно было нести любую галиматью, но требовалось только говорить быстро и монотонно. От этого Златоверховников на второй-третьей минуте начинал дремать, а потом и совсем засыпал. Тогда мы могли заниматься чем угодно, лишь бы не разбудить престарелого иерея.

На задних партах играли в железку и жарили на спичках копченых маленьких рыбок. На передних зачитывались «Приключениями знаменитого американского сыщика Ника Картера».

Иерей посапывал, а класс тихо веселился, пока наконец, минуты за две до звонка, не надо было будить Златоверховникова. Для этого роняли на пол связку книг или весь класс по команде чихал.

После Златоверховникова Трегубов явился к нам, как карающий бог Саваоф. Он и вправду был похож на бога Саваофа с церковного купола — огромный, с широкой бородой и гневными бровями.

Трегубова боялись не только гимназисты, но и учителя. Он был монархистом, членом Государственного совета

и гонителем свободомыслия. Он стоял на равной ноге с киевским митрополитом и приводил в полное безгласие захудалых сельских батюшек, когда они являлись к нему получать разнос за недостойные поступки.

Трегубов любил выступать на модных в то время религиозно-философских диспутах. Он говорил гладко и сладко, распространяя запах одеколона.

Мы ненавидели его так же холодно, как он ненавидел нас. Но церковные тексты мы заучивали на всю жизнь.

Мы пользовались любым поводом, чтобы удрать с «закона божьего». Надежным убежищем в этих случаях были уроки католического «закона». Они шли одновременно с нашими, но в другом классе. Мы пробирались туда и только там чувствовали себя в безопасности. То уже была территория, как бы подчиненная апостолической церкви и римскому папе Льву XIII. Трегубов терял всякую власть на пороге этого обыкновенного пыльного класса. В нем властвовал ксендз-каноник Олендский.

Высокий, тучный, с белой головой, с черными четками на руке, он нисколько не удивлялся, когда в дверях его класса показывался смущенный «российский» гимназист.

— Сбежал? — сурово спрашивал Олендский.

— Нет, пан каноник, я только хотел немного посидеть у вас на уроке.

— Немного посидеть? Ах, лайдак, лайдак! — Олендский начинал трястись от смеха.— Подойди сюда!

Гимназист подходил к Олендскому. Ксендз громко хлопал его табакеркой по голове. Этот жест обозначал отпущение грехов.

— Садись! — говорил после этого Олендский.— Вон туда, в угол, за спину Хоржевского (Хоржевский был очень высокий гимназист, поляк), чтобы тебя не увидели из коридора и не повлекли в геенну огненную. Сиди и читай газету. На!

Олендский вытаскивал из кармана сутаны сложенную вчетверо «Киевскую мысль» и протягивал беглецу.

— Спасибо, пан каноник! — говорил беглец.

— Благодари не меня, а бога,— отвечал Олендский.— Я только жалкое орудие его рук. Он вывел тебя из дома неволи, как евреев из египетской земли.

Трегубов, конечно, знал, что Олендский прячет нас у себя на уроках. Но перед Олендским даже Трегубов терялся. Добродушный ксендз при встречах с Трегубовым ста-

новился изысканно вежлив и ядовит. Достоинство перея православной церкви не позволяло Трегубову вступать в пререкания с Олендским. Мы же пользовались этим, сколько могли. В конце концов мы так понаторели в католическом «законе божьем», что знали его лучше многих поляков.

— Станишевский Тадеуш,— говорил ксендз-каноник,— скажи мне «Магнификат».

Станишевский Тадеуш вставал, поправлял кушак, откашливался, громко глотал слюну, смотрел сначала за окно, потом на потолок и, наконец, признавался:

— Забыл, пан каноник.

— Забыл? Однако ты не забываешь приходить в костел каждый раз, когда там бывает панна Гжибовская. Садись! Кто знает «Магнификат»? Ну? Кто? О, святая дева над девами, королева апостолов! Что же это такое? Все молчат! Кто знает «Магнификат», пусть подымет руку.

Поляки рук не подымали. Но случалось иногда так, что поднимал руку кто-нибудь из православных, какой-нибудь несчастный беглец от Трегубова.

— Ну,— говорил в изнеможении Олендский,— скажи хоть ты «Магнификат»! И если после этого бог не покарает их,— ксендз показывал на поляков,— то только из-за своего великого милосердия.

Тогда беглец вставал и говорил без запинки «Магнификат».

— Подойди сюда! — говорил Олендский.

Беглец подходил. Олендский доставал из кармана сутаны горсть конфет, похожих на кофейные зерна, и щедро высыпал их на ладонь беглецу. Потом Олендский нюхал табак, быстро успокаивался и начинал рассказывать любимую свою историю, как он служил в Варшаве панихиду над сердцем Шопена, запаянным в серебряную урну.

После уроков Олендский шел из школы к себе в костельный дом. Он останавливал на улице детей и щелкал их пальцем по лбу. Его хорошо знали в Киеве — высокого ксендза со смеющимися глазами.

Обучение «закону божьему» и соприкосновение с церковными делами было для нас постоянным мучением. Единственное, что мы любили,— это великопостные каникулы. Нас распускали на неделю, чтобы мы могли говеть — исповедоваться и причащаться. Мы выбирали для

говения окраинные церкви — священники этих церквей не очень следили за тем, чтобы говеющий гимназист посещал все великопостные службы.

Почти всегда великопостные каникулы приходились на март, сырой и туманный месяц. Снег уже начинал темнеть. И все чаще можно было увидеть в разрывах туч синее небо недалекой весны.

На голых тополях кричали галки. На Днепре сизыми пятнами проступала на льду талая вода, а на базарах уже продавали веточки вербы с пушистыми «зайчиками».

Мы мечтали каким-нибудь способом насолить Трегубову. Но Трегубов был неуязвим.

Отомстить ему за все мучения и страхи нам удалось только один раз. Но месть эта была безжалостной.

Когда мы были уже в четвертом классе, мы узнали от старых гимназистов, что Трегубов боится крыс. Мы принесли на урок Трегубова рыжую крысу — пасюка— и выпустили из-под парты в то время, когда Трегубов рассказывал какую-то историю из Нового завета.

Гимназист Жданович взвизгнул и вскочил на парту.

— Что такое? — грозно спросил Трегубов.

— Крыса, батюшка! — ответил, трясясь, Жданович.

Мы повскакивали с мест. Испуганная крыса метнулась под ноги Трегубову. Тогда отец Трегубов с необыкновенной легкостью вскочил на стул и подобрал до колен рясу. Из-под нее появились полосатые штаны и мягкие башмаки с ушками.

Мы начали бросать в крысу книгами. Она завизжала и забегала около классной доски. Отец Трегубов поспешно переступил со стула на стол.

— Двери отомкните! — ревел он со стола протодиаконским басом.— Двери! Выпустите ее в коридор!

Мы делали вид, что боимся крысы, и не хотели открывать дверей. Тогда отец Трегубов закричал так, что звякнули стекла в рамах:

— Платон Федорович! Сюда!

И он с размаху бросил в крысу классным журналом.

Испуганный надзиратель Платон Федорович распахнул дверь. Из-за его спины выглядывал сторож Казимир. Потом появился инспектор Бодянский. Нахмурившись и сдерживая улыбку, он начал командовать изгнанием крысы.

Отец Трегубов не слезал со стола. Он только опустил рясу. Он стоял перед нами, как собственный памятник в два человеческих роста.

Когда крыса была изгнана, Трегубов при помощи Бодянского слез со стола. Дежурный услужливо подал ему журнал, и отец Трегубов, приняв обычный величественный вид, удалился из класса.

Задним числом Трегубов сообразил, что крыса появилась в классе неспроста. Он потребовал дознания. Оно не привело ни к чему. Гимназия ликовала, а инспектор Бодянский говорил:

— Не радуйтесь слабости человеческой! Смотрите лучше за собой. А то я опять замечаю у некоторых господ гимназистов гербы с выломанным вензелем гимназии. Буду за это беспощадно сажать «без обеда».

Мне придется нарушить правильный ход повествования и забежать вперед, чтобы рассказать, как мы наконец избавились от Трегубова.

Это было в восьмом классе. Я жил тогда уже один, без семьи, и снимал комнату в Диком переулке, у пехотного поручика Ромуальда Козловского. Он жил вместе с молчаливой и доброй своей матерью, старушкой пани Козловской.

Была осень 1910 года — промозглая, тусклая, с обледенелыми ветками, оловянным небом и шелестом не успевшей облететь, но уже подмерзшей листвы. В такие дни у меня часто бывали головные боли. Тогда я не ходил в гимназию, оставался у себя в каморке в Диком переулке, лежал, закутав голову, и старался не стопать, чтобы не беспокоить пани Козловскую.

Я согревался, и боль постепенно утихала. Тогда я начинал читать, не вставая, желтые книжки «Универсальной библиотеки». Трещал огонь в печах. В маленькой квартире было тихо. Изредка за окном пролетал робкий снежок. После недавней боли голова была очень свежей, и все казалось мне хорошим: и цвет сизого неба, и дымок поленьев, и снег, прилипший к стеклу.

Вот в такой день пани Козловская открыла дверь на звонок почтальона, взяла газету, охнула и засеменила ко мне в комнату.

— Костик,— сказала она,— несчастье с графом Толстым!

Я вскочил, выхватил у нее газету, пахнувшую кероси-

ном, и начал читать первые телеграммы об уходе Толстого.

Пани Козловская с испугом смотрела на меня и повторяла:

— Боже, спаси его! Боже, спаси его!

Я тотчас оделся, натянул шинель и вышел на улицу. Мне казалось, что все в городе должно было сразу перемениться с той минуты, когда пришло ошеломляющее известие. Но все было по-старому. Ехали ломовики с дровами, дребезжал вагон старой киевской конки, гуляли с гувернантками дети.

Я не выдержал и пошел в гимназию. На всех партах валялись газеты. Наш классный наставник — латинист Субоч — опоздал на урок. Этого с ним никогда не бывало. Он вошел, опустился на стул, снял пенсне и долго сидел, сгорбившись, глядя за окно подслеповатыми выпуклыми глазами. Он как будто чего-то ждал. Потом он сказал мне:

— Сходите, голубчик, к редакции «Киевской мысли». Там вывешиваются последние телеграммы. Узнайте. Мы будем ждать.

Это было неслыханно в истории нашего класса. Но сейчас все отнеслись к этому, как к естественному явлению. Я встал и вышел. В коридоре меня поймал Платон Федорович.

— Вы куда? — грозно спросил он и загородил мне дорогу.

Я ответил. Платон Федорович наклонил голову и быстро отступил к стене, чтобы дать мне пройти.

Когда я вернулся, то, прежде чем войти в класс, я заглянул в него через верхнее стекло двери. Субоч читал вслух. Все сидели неподвижно, будто оцепенев. Я тихо открыл дверь и услышал знакомые слова:

— «Стало темнеть, ясная серебряная Венера низко на западе уже сияла из-за березок своим нежным блеском, и высоко на востоке уже переливался своими красными огнями мрачный Артур. Над головой у себя Левин ловил и терял звезды Медведицы. Вальдшнепы уже перестали летать...»

Два или три дня занятия в гимназии шли кое-как. Потом таким же промозглым утром я увидел экстренные выпуски газет с траурной каймой, растерянных людей на улицах, толпы студентов около университета. Они стояли

молча. На рукавах шинелей у всех студентов были креповые черные повязки. Незнакомый студент приколол и мне на мою серую шинель черную повязку.

Я пошел в гимназию. Казачьи разъезды медленно проезжали вдоль тротуаров. Во дворах стояли кучками городовые. По дороге я догнал своих товарищей по классу — у всех, как и у меня, были траурные повязки. В раздевалке мы откололи эти повязки от шинелей и надели на рукава курток. В гимназии было особенно тихо. Даже малыши не шумели.

Как раз в этот день первым уроком в нашем классе был «закон божий». Трегубов вошел слишком быстро, не так, как всегда, перекрестился на икону и сел к столу.

Дежурный Матусевич вышел и остановился рядом с Трегубовым. Трегубов тяжело смотрел на него и молчал.

— Вчера, в шесть часов утра, на станции Астапово,— сказал Матусевич, стараясь не волноваться и говорить громко,— умер величайший писатель нашей страны, а может быть и всего мира, Лев Николаевич Толстой.

Громыхнули крышки парт. Весь класс встал. В глубочайшей тишине был слышен цокот копыт — по улице проезжали патрули.

Трегубов наклонился над столом, сжал его края толстыми пальцами и сидел неподвижно.

— Встаньте, отец протоиерей! — очень тихо сказал ему Матусевич.

Трегубов медленно и грузно встал. Шея его налилась кровью. Он стоял, опустив глаза. Прошло несколько минут. Нам они показались часами. Потом все сели бесшумно и медленно. Трегубов взял журнал и пошел из класса. В дверях он остановился и сказал:

— Вы заставили меня почтить память вероотступника, отлученного от церкви. Не будем говорить о том, что он был великим писателем. Я совершил преступление против своего сана и понесу ответ перед богом и высшими церковными властями. Но с этого дня я уже не преподаватель в вашем классе. Прощайте. И да вразумит вас господь.

Мы молчали. Трегубов вышел.

На следующий урок «закона божьего» к нам пришел вместо Трегубова молодой священник с лицом поэта

Надсона, любитель философии и литературы. Мы сразу же полюбили его за деликатность и молодость, и дружба эта не прерывалась до окончания гимназии.

ЛИПОВЫЙ ЦВЕТ

Никогда я еще не видел таких старых лип. Ночью их вершины терялись в небе. Если начинался ветер, то звезды перелетали среди веток, как светляки. Днем под липами было темно, а наверху, в свежей зелени, шумел, дрался, пересвистывался и перепархивал пестрый птичий народ.

— Вот погодите,— говорил дядя Коля,— скоро все эти липы зацветут, тогда...

Он никогда не договаривал, что будет, когда зацветут липы. Но мы и сами знали, что тогда старый парк в Рёвнах превратится в место таких чудес, какие бывают только в сказках.

Уже второй год после конца занятий в гимназии мы всей семьей приезжали на лето в Брянские леса, в Рёвны. Туда же приезжал на время отпуска и отец.

Разорившийся хозяин поместья сдавал на лето две-три деревянные дачи в парке. Поместье было удалено от городов и железной дороги. Никто почти не приезжал туда на лето, кроме дяди Коли и нас.

Чтобы представить себе прелесть этих мест, надо описать их с топографической точностью.

Запущеный липовый парк с непролазной гущей орешника и крушины. Мшистые скамейки среди кустов сирени. Заглохшие аллеи. У них были названия: «Храм Дианы», «Аллея вздохов», «Соловьиный овраг».

Солнечные поляны с одинокими соснами и полевыми цветами, и снова сень могучих и, как нам казалось, тысячелетних лип.

Парк спускался к реке Рёвне. За ней поднимались по взгорью дремучие леса. Туда вела единственная песчаная дорога. По этой дороге можно было дойти до ветхой часовни с иконой Тихона Задонского. За часовней дорога терялась в сухой траве.

Ходить дальше часовни в одиночку никто не решался, даже самый смелый из обитателей поместья — студент Петербургского лесного института Володя Румянцев.

Лесная чаща вплотную подступала к бревенчатой часовне. Из чащи тянуло прелью и папоротником. В сумерки оттуда прилетали совы.

Как-то ночью мы слышали далекий крик, долетевший из леса. Это заблудился ярмарочный торговец — офеня. Он шел пешком из Свенского монастыря на ярмарку в Трубчевск. Лесной объездчик нашел его и привел в Рёвны. Торговец, худой мужичок с синими глазами, плакал и крестился.

Однажды мы, мальчишки, вместе с Володей Румянцевым отправились в лес и взяли с собой компас.

Мы видели бездонные овраги, заросшие до краев ежевикой и хмелем. В глубине оврагов бормотала вода, но до нее нельзя было добраться. Мы открыли в лесах неизвестную речку с такой прозрачной водой, что она казалась стеклянной. С крутого берега были видны тучи мальков, шнырявших по дну этой речки.

Наконец мы видели сгнивший крест около родника. На перекладине креста висела жестяная кружка. Вокруг кружки обвился вьюнок и крепко держал ее. Мы оторвали вьюнок и зачерпнули кружкой воды из родника. Вода отдавала ржавчиной.

Курлыкали журавли, свистели иволги, парили ястребы. Облака с синими днищами проходили над нами. Мы поглядывали на них — оттуда, сверху, хорошо был виден весь этот загадочный лесной край. Дятлы деловито долбили сухие стволы, и то тут, то там падали нам на голову шишки.

Володя Румянцев уверял, что в лесах есть заброшенный раскольничий скит. В скиту водились дикие пчелы, и можно было набрать меду.

Но скит мы не нашли. Мы влезали на сосны, чтобы осмотреться и увидеть среди разлива зелени тесовую крышу с кривым восьмиконечным крестом. Вверху на соснах продувал теплый ветерок, руки прилипали к смолистым веткам. Прыгали черноглазые белки. Пахло скипидаром от молодых зеленых шишек. Но сколько мы ни смотрели с сосен, как с маяков, прикрыв глаза рукой от солнца, мы ничего не видели, кроме леса да плывущих облаков. От них кружилась голова.

С высоких сосен облака казались гораздо ближе, чем с земли. Хотелось дотронуться до их белоснежных громад.

Выше этих облаков пересекала небо светлая рябь. От нее расходились прозрачные перья. Володя Румянцев говорил, что это тоже облака, но такие высокие, что они уже состоят не из водяных паров, а из кристаллов льда. Перья неподвижно висели в холодной и недостижимой вышине.

Кроме лесов, в Рёвнах было еще одно таинственное место — река. Она струилась под нависшими ивами, разбивалась на два рукава, обтекала остров и во многих местах от берега до берега заросла кувшинкой и плавающими цветами водокраса.

У острова реку перегораживали деревянные плотины. На острове стоял заброшенный стружечный завод. Горы опилок были навалены около пустых амбаров. В жаркие дни на заводе до одури пахло древесной трухой.

Завод когда-то работал от мельничного колеса. Сейчас все это обрушилось, затянулось косматой паутиной — и колесо, и деревянные зубчатые передачи. На них уже выросли желтые, как сера, грибы.

За плотинами были водяные ямы — жилища огромных щук. Ямы назывались спадами. В спадах вода была черная и медленно вращалась.

В этих ямах мы с дядей Колей засадили десятки крючков и блесен. Кроме щук, там жили большие, почти синие окуни. Мы удили их с мокрых бревен плотины. Бывало, окуни вырывали у нас из рук удочки и утаскивали под воду. Бамбуковое удилище, как золотая стрела, быстро скользило в глубину. Потом обычно оно всплывало ниже спада, и мы доставали его с лодки вместе с окунем.

Что было еще в Рёвнах? Старинный дом с колоннами, построенный, по преданию, Растрелли. На его фронтоне вили гнезда ласточки. Пустые залы, лестницы и переходы заливал радужный свет. Он проникал сквозь выпуклые стекла. Когда кто-нибудь проходил по залам, трещала мебель. Жидко звенели люстры.

В доме никто не жил. Только по семейным праздникам, на именины Марии (Марий в семье было две — моя мама и тетя Маруся, жена дяди Коли), открывали зал с хорами для музыкантов, проветривали его и устраивали бал.

Мы развешивали на балконе круглые фонарики, а поздним вечером пускали в парке ракеты. Они прорывались сквозь гущу деревьев и выбрасывали разноцветные огненные шары. Шары медленно слетали сверху и освещали

красноватым пламенем старый дом. Когда ракеты гасли, в парк возвращалась летняя ночь с ее отдаленным криком лягушек, блеском звезд и запахом цветущих лип.

На именины приезжали из Брянска товарищи дяди Коли — артиллерийские офицеры. Однажды приехал даже московский певец — тенор Аскоченский. Он устроил концерт в старинном зале.

«О, если б ты ко мне вернулась снова,— пел Аскоченский,— где были мы так счастливы с тобой! В густых ветвях услышала б ты шепот,— знай, это стон души больной».

Мне казалось, что слова этого романса относятся к нашему парку. Он слышал много признаний, видел бледные лица влюбленных, слезы расставания.

«Когда твой сон тревожит звук печальный,— пел Аскоченский, опираясь на рояль, а тетя Маруся, быстро поправляя волосы, аккомпанировала ему,— иль в непогоду слышен бури вой,— знай, это я рыдаю безутешно...»

После бала на даче у дяди Коли устраивался ужин. Свечи в круглых абажурах трещали от сгоравших ночных мотыльков.

Нам, гимназистам, наравне со взрослыми наливали вина. Мы начинали храбриться.

Однажды, выпив вина, мы решили, что каждый из нас поодиночке обежит ночью парк. Чтобы не было обмана, каждый должен был положить что-нибудь на скамейку в Соловьином овраге. Утром дядя Коля обещал проверить, честно ли мы выполним это условие.

Первым бежал брат тети Маруси, студент Медико-хирургической академии Павел Теппов. Все его звали Павлей. Он был долговяз, курнос, носил курчавую бородку и смахивал на Чехова. Павля отличался доверчивостью и добротой. Поэтому с ним всегда разыгрывали разные штуки.

Павля должен был оставить на скамейке в Соловьином овраге пустую бутылку от вина.

После Павли была моя очередь. Я помчался в глубину аллей. Росистые ветки колотили меня по лицу. Мне чудилось, что кто-то догоняет меня скачками.

Я остановился и прислушался. Кто-то крался в кустах. Я помчался дальше и выбежал на поляну. В глубине ее всходила луна. Впереди был Соловьиный овраг. Непроглядная темнота лежала там, и я с размаху бросился в нее,

как в черную воду. Блеснула река. За рекой заунывно кричала выпь.

Около скамейки я остановился. Пахло липовым цветом. Вся ночь до звезд была наполнена этим запахом. Было тихо, и не верилось, что недалеко отсюда, на ярко освещенной веранде, шумят веселые гости.

Мы заранее сговорились разыграть Павлю. Я схватил бутылку, оставленную Павлей на скамейке, и швырнул ее в реку. Бутылка перевернулась и блеснула под луной. Лунные круги разошлись к берегам.

Я побежал дальше, над обрывом. Оттуда сильно тянуло сыростью и дягилем. Задыхаясь, я выбежал на большую липовую аллею. Впереди заблестели огни.

— Костик! — услышал я встревоженный голос тети Маруси.— Ты?

— Да! — ответил я, подбегая.

— Какие глупости приходят вам всем в голову! — сказала тетя Маруся. Она стояла в аллее и куталась в легкий шерстяной платок.— Мама очень волнуется. Кто это выдумал? Глеб, наверное?

— Нет, не Глеб,— соврал я.— Это мы вместе.

Тетя Маруся угадала. Ночной бег по парку придумал воспитанник дяди Коли, гимназист брянской гимназии Глеб Афанасьев, вихрастый мальчик, неистощимый на выдумки. В его серых глазах постоянно поблескивали лукавые огоньки. Не проходило дня, чтобы Глеб чего-нибудь не придумал. Поэтому, что бы ни случилось, во всем обвиняли Глеба.

Наутро дядя Коля проверил вещи на скамейке. Там не оказалось бутылки, оставленной Павлей. Все начали издеваться над Павлей и говорить, что он струсил, не добежал до оврага, вернулся, а бутылку выбросил по дороге. Но Павля сразу догадался, в чем дело, и пригрозил:

— Ну погоди, Глеб, ты у меня поплачешь!

Глеб промолчал, но меня не выдал.

В тот же день Павля поймал Глеба в купальне, несколько раз окунул с головой, потом связал в тугой узел глебовские брюки и намочил их в воде. Глеб долго развязывал брюки зубами. В жеваных брюках Глеб выглядел жалко. Это было обидно, потому что на даче в Рёвнах жили с матерью две сестры-гимназистки Карелины из Орла. Старшая сестра, Люба, все время читала, прячась в глухих углах парка. Щеки у нее горели. Светлые волосы

всегда были растрепаны. Около скамеек, где она сидела, мы постоянно находили черные ленты, которые Люба теряла из своих кос.

Младшая сестра, Саша, капризная и насмешливая, нравилась Глебу. Сейчас ему немыслимо было появиться перед ней в измятых брюках. Я чувствовал себя виноватым перед Глебом и упросил маму разгладить глебовские брюки. В разглаженных брюках Глеб тотчас приобрел прежний легкомысленный вид.

Не было ничего особенного в ночной беготне по парку, но я долго помнил об этом. Я вспоминал волны липового цвета, хлынувшие в лицо, крик выпи, всю эту ночь, роящуюся звездами и полную отзвуков веселья.

Мне иногда казалось в то лето, что на земле почти не осталось места для человеческого горя.

Но вскоре после именин я поколебался в этом.

Около нашей дачи я увидел босого мальчика в рваном армячке. Мальчик принес продавать землянику. От него пахло ягодами и дымом. Он попросил за кувшин земляники гривенник, но мама дала ему двадцать копеек и кусок пирога.

Мальчик стоял потупясь и чесал одной босой ногой другую. Он сунул пирог за пазуху и молчал.

— Ты чей? — спросила его мама.

— Аниськин,— ответил он неуверенно.

— Чего же ты не ешь пирог?

— Это мамке,— сказал он сипло, не подымая глаз.— Она недужная. Возила лес, брюхо надорвала.

— А отец где?

— Помер.

Мальчик шмыгнул носом, отступил и бросился бежать. Он испуганно оглядывался и зажимал рукой пазуху, чтобы не потерять пирог.

Я долго не мог забыть этого белоголового мальчика и втайне осуждал маму. Она откупилась от укоров совести пирогом и двугривенным. Я хорошо понимал это. Понимал, что горькая несправедливость требует иных поступков, чем жалкие подачки. Но как ее уничтожить, эту несправедливость,— а она все чаще и чаще встречалась мне в жизни,— я еще не знал.

Мы часто слышали споры за чайным столом между отцом и дядей Колей. Они спорили о будущем русского народа. Дядя Коля доказывал, что счастье народа зависит

от просвещения. Отец считал, что счастье принесет революция. В споры вмешался Павля. Он называл себя народником. Однажды его даже чуть не исключили из академии за речь на студенческой сходке. Володя Румянцев помалкивал, но потом говорил нам, мальчикам, что ни отец, ни дядя Коля, ни Павля совершенно ничего не понимают.

— А вы понимаете? — спрашивали мы его.

— Ни черта! — с удовольствием отвечал Володя.— И не желаю понимать. Люблю Россию — и баста!

Володя Румянцев был братом любимого товарища дяди Коли по брянскому арсеналу, капитана Румянцева.

Володя был глуховат. В рыжей его бороде торчало сено — он ночевал на сеновале. Он презирал всякие жизненные удобства. Под голову вместо подушки Володя подкладывал свернутую студенческую тужурку. Ходил он загребая ногами, говорил невнятно. Под тужуркой носил линялую синюю косоворотку и подпоясывал ее черным шелковым шнурком с кистями.

Руки у Володи всегда были сожжены проявителями и фиксажами — Володя занимался фотографией. Человек он был предприимчивый. Он заключил соглашение с московской литографией Шерера и Набгольца — ездил летом по разным глухим городкам, снимал достопримечательности, а литография издавала открытки с видами городов по этим Володиным снимкам. Открытки эти продавались в книжных киосках на вокзалах.

Нам нравилось это Володино занятие. Он часто исчезал из Рёвен на несколько дней, а потом возвращался и рассказывал, что был то в Ефремове, то в Ельце, то в Липецке.

— Вот это житуха, господа гимназисты! — говорил он, сидя в купальне и намыливая рыжую голову.— Третьего дня я переплывал Оку, вчера — Мокшу, а сегодня — Рёвну.

Он заразил нас любовью к провинциальной России. Он превосходно знал ее — знал ярмарки, монастыри, исторические усадьбы, обычаи. Он ездил в Тарханы, на родину Лермонтова, в усадьбу Фета около Курска, в Лебедянь на конскую ярмарку, на остров Валаам и на поле Куликовской битвы.

Всюду у него были какие-то приятельницы-старушки, бывшие учительницы и чиновницы. Он останавливался у них. Они кормили его щами и пирогами с рыбой, а Во-

лодя в благодарность учил старушечьих канареек насвистывать польку или дарил старушкам суперфосфат — подсыпать в вазоны с геранью, чтобы вырастить на диво соседям огромные шарлаховые цветы.

Он не участвовал в спорах о судьбах России, но вмешивался в тех случаях, когда разговор заходил о тамбовской ветчине, рязанских мороженых яблоках или волжской стерляди. В знании этих вещей никто не мог тягаться с Володей. Дядя Коля насмешливо говорил, что один только Володя Румянцев знает, почем лапти в Кинешме и сколько стоит фунт куриного пуха в Калязине.

Однажды Володя Румянцев ездил в Орел и привез нам печальное известие.

Мы играли в крокет около дачи. Увлечение крокетом было всеобщее. Часто игра затягивалась до темноты. Тогда на крокетную площадку выносили лампы.

Нигде так не ссорились, как на крокете. Особенно со старшим моим братом Борей. Он играл хорошо и быстро становился «разбойником». Тогда он крокировал наши шары и загонял их так далеко, что подчас мы их вовсе не находили. Мы злились и, когда Боря целился, бормотали: «Черт под руку, жаба в рот!» Это заклинание иногда помогало, и Боря промахивался.

Ссорились мы и с Глебом. Когда Глеб играл против Саши, он всегда мазал и нарочно проигрывал, чтобы доставить удовольствие этой девчонке. А играя с Сашей против нас, показывал чудеса ловкости и нахальства и всегда выигрывал. Обычно на крокете собиралось все дачное общество. Даже обе собаки дяди Коли, Мордан и Четвертак, прибегали посмотреть на крокет, но предусмотрительно ложились за соснами, чтобы не подвертываться под шары.

В это утро на крокетной площадке было, как всегда, очень шумно. Потом послышался стук колес. К даче дяди Коли подкатил тарантас. Кто-то крикнул: «Володя Румянцев приехал!» Никто не обратил на это внимания: все привыкли к частым отъездам и возвращениям Володи.

Через минуту появился Володя. Он шел к нам в пыльном балахоне, в сапогах. Лицо у него было сморщено, будто он собирался заплакать. В руке он держал газету.

— Что такое? — испуганно спросил его дядя Коля.

— Чехов умер.

Володя повернулся и пошел обратно на дачу.

Мы побежали за ним. Дядя Коля отобрал у Володи газету, прочел ее, бросил на стол и ушел к себе в комнату. Встревоженная тетя Маруся ушла вслед за ним. Павля снял пенсне и долго протирал его носовым платком.

— Костик,— сказала мне мама,— пойди на реку, позови папу. Пусть хоть сейчас он бросит эту свою рыбную ловлю.

Она сказала это так, будто отец уже мог знать о смерти Чехова, но по легкомыслию своему не придавал этому значения и не огорчался.

Я обиделся за отца, но все же пошел на реку. Со мной пошел и Глеб Афанасьев. Он неожиданно стал очень серьезным.

— Да, Костик!..— сказал он мне по дороге и тяжело вздохнул.

Я сказал отцу, что умер Чехов. Отец сразу осунулся и сгорбился.

— Ну вот,— сказал он растерянно,— как же это так... Не думал я, что переживу Чехова...

Мы возвращались мимо крокетной площадки. На ней валялись брошенные молотки и шары. В липах шумели птицы, сквозило солнце, падало зелеными пятнами на траву.

Я уже читал Чехова и очень его любил. Я шел и думал, что такие люди, как Чехов, никогда не должны умирать.

Через два дня Володя Румянцев уехал в Москву на похороны Чехова. Мы провожали его до станции Синезерки. Володя вез корзину с цветами, чтобы положить их на чеховскую могилу. Это были обыкновенные полевые цветы. Мы собрали их в лугах и в лесу. Мама упаковала их, переложила сырым мхом и прикрыла мокрой холстиной. Мы старались нарвать побольше деревенских цветов, потому что были уверены, что их любил Чехов. Мы собрали много купены, гвоздики, золотосячника и ромашки. Только тетя Маруся нарезала в парке немного жасмина.

Поезд отошел вечером. Из Синезерок мы возвращались в Рёвны пешком и пришли домой только па рассвете. Молодой месяц низко висел над лесом, и нежный его свет блестел в дождевых лужах. Недавно прошел дождь. Пахло мокрой травой. В парке куковала запоздалая кукуш-

ка. Потом луна зашла, загорелись звезды, но их скоро закрыл рассветный туман. Он долго шуршал, стекая с кустов, пока не взошло и не пригрело землю спокойное солнце.

Я БЫЛ, КОНЕЧНО, МАЛЬЧИШКОЙ

Инспектор Бодянский быстро вошел к нам в третий класс. Бодянский был в новом форменном сюртуке. Глаза инспектора хитро блестели. Мы встали.

— По случаю высочайшего манифеста о даровании нашему народу гражданских свобод,— сказал Бодянский,— занятия в гимназии прекращаются на три дня. Поздравляю! Складывайте книги и ступайте домой. Но советую не путаться в эти дни у взрослых под ногами.

Мы выбежали из гимназии. В тот год стояла необыкновенная осень. В октябре еще жарко грело солнце. Сады, убранные сухим золотом, почти не роняли его на дорожки и горели во всей красоте. Мы ходили в летних шинелях.

Мы высыпали на улицу и увидели около длинного здания университета толпы с красными флагами. Под колоннами университета говорили речи. Кричали «ура». Вверх летели шапки.

Мы влезли на ограду Николаевского сквера, тоже кричали «ура» и бросали в воздух фуражки. Падая, они застревали в каштанах. Мы трясли каштаны, листья сыпались на нас трескучим дождем. Мы хохотали и были в восторге. У нас на шинелях были уже приколоты красные банты. Черный бронзовый Николай Первый стоял, выставив ногу, на постаменте среди сквера и надменно смотрел на этот беспорядок.

Толпа затихла, красные флаги склонились, и мы услышали торжественное пение:

Вы жертвою пали в борьбе роковой...

Все начали опускаться на колени. Мы тоже сняли фуражки и пели похоронный марш, хотя и не знали всех слов. Потом толпа поднялась с колен и двинулась мимо ограды Николаевского сквера. Я увидел в толпе старшего брата Борю и нашего жильца, студента-черногорца Марковича.

— Иди сейчас же домой! — сказал мне Боря.— И не смей один выходить на улицу.

— Я хочу с тобой,— робко сказал я.

— Тебя задавят. Ступай домой. Завтра все увидишь.

Мне очень хотелось идти вместе с этой счастливой и торжественной толпой. Но Боря уже исчез.

Где-то далеко впереди загремел оркестр, и я узнал крылатые, звенящие звуки «Марсельезы»:

Отречемся от старого мира,
Отряхнем его прах с наших ног!

Я перелез через ограду и смешался с толпой. Девушка в каракулевой шапочке, должно быть курсистка, протянула мне руку, и мы пошли. Я ничего не видел перед собой, кроме спин. На крышах стояли люди и махали нам шапками.

Когда мы проходили мимо Оперного театра, я услышал топот копыт. Я влез на тумбу и увидел цепь конных городовых. Они пятились, давая толпе дорогу. Вместе с городовыми пятился и толстый полицмейстер. Он держал руку под козырек и снисходительно улыбался.

Я слез с тумбы и опять уже ничего не видел. Только по вывескам магазинов я узнавал, куда мы идем. Вот мы спускаемся по Фундуклеевской мимо театра Бергонье, вот поворачиваем на Крещатик и идем мимо кондитерской Кирхгейма. Мы миновали Лютеранскую улицу и книжный магазин Идзиковского.

— Куда мы идем? — спросил я девушку в каракулевой шапочке.

— К городской думе. Там будет митинг. Мы теперь свободные, как птицы. Вы понимаете?

— Понимаю,— ответил я.

— Где вы живете? — неожиданно спросила она.

— На Никольско-Ботанической.

— Родители знают, что вы на демонстрации?

— Все сейчас на демонстрации,— ответил я, стараясь обойти разговор о родителях.

Мы прошли магазин сухих фруктов Балабухи и Николаевскую улицу и остановились. Дальше идти было нельзя. До самой думы стояла густая толпа. На крыше думы блестел позолоченный архистратиг Михаил — герб города Киева. Был виден широкий думский балкон. На нем стояли люди без шапок. Один из них начал говорить, но ничего

не было слышно. Я видел только, как ветер шевелил его седые волосы.

Кто-то схватил меня за плечо. Я оглянулся. Сзади стоял латинист Субоч.

— Паустовский Константин,— сказал он строго, но глаза его смеялись,— и ты здесь! Немедленно отправляйся домой.

— Не беспокойтесь, он со мной,— сказала девушка.

— Извините, мадемуазель, я не знал,— вежливо ответил Субоч.

Толпа подалась назад и отделила нас от Субоча. Девушка взяла меня за руку, и мы начали пробираться к тротуару.

— Спокойно, граждане! — крикнул рядом хриплый голос.

Стало очень тихо. Девушка выбралась со мной на тротуар. Она тащила меня к стене желтого дома со сводчатыми воротами. Я узнал здание почтамта.

Я не понимал, почему она так крепко держит меня и тащит в подворотню. Я ничего не видел, кроме человеческих спин и голубей — они носились над толпой, поблескивая на солнце, как листы бумаги. Где-то далеко пропела труба: ти-ти-та-та! ти-ти-та-та! Потом опять стихло.

— Товарищи солдаты! — снова крикнул надорванный голос, и сейчас же после этого сильно треснуло, будто рванули коленкор. На нас посыпалась штукатурка.

Голуби метнулись в сторону, и небо оказалось совершенно пустым. Раздался второй треск, и толпа бросилась к стенам.

Девушка втащила меня во двор, и последнее, что я видел на Крещатике, был маленький студент в расстегнутой шинели. Он вскочил на подоконник магазина Балабухи и поднял черный браунинг.

— Что это? — спросил я девушку.

— Стреляют! Войска стреляют.

— Зачем?

Она не ответила. Мы бежали с ней через узкие и запутанные дворы. Сзади были слышны крики, выстрелы, топот ног. День сразу потемнел и затянулся желтым дымом. Мне было трудно бежать из-за ранца. В нем гремели книги.

Мы выбежали дворами на Прорезную улицу и поднялись к Золотым Воротам. Мимо нас промчались две лаки-

рованные кареты скорой помощи. Нас обгоняли, задыхаясь, бледные люди. На Прорезной проскакал отряд казаков. Впереди скакал офицер с обнаженной шашкой. Кто-то пронзительно свистнул вслед казакам, но они не остановились.

— Боже, какая подлость! — повторяла девушка.— Какая западня! Одной рукой дать свободу, а другой — расстреливать!

Мы сделали большой круг и мимо Владимирского собора вышли к Николаевскому скверу — как раз к тому месту, где недавно я висел на ограде, кричал «ура» и махал фуражкой.

— Спасибо,— сказал я девушке.— Отсюда близко. Я дойду сам.

Девушка ушла. Я прислонился к ограде сквера и снял фуражку — она мне давила голову. Голова сильно болела. Мне было страшно. Около меня остановился старик в котелке и спросил, что со мной. Я не мог ничего ответить. Старик покачал головой и ушел.

Я натянул фуражку и пошел к себе на Никольско-Ботаническую. Уже темнело. Багровый закат светился в окнах. В это время обыкновенно загорались фонари. Но сейчас их почему-то не зажигали.

На углу нашей улицы я увидел маму. Она быстро шла мне навстречу. Она схватила меня за плечи, потом вдруг крикнула:

— Где Боря? Ты не видел Борю?

— Там! — показал я в сторону Крещатика.

— Иди домой! — сказала мама и побежала вверх по улице.

Я постоял, посмотрел ей вслед и побрел домой. На нашей улице было, как всегда, пустынно. В окнах уже горел свет. Я увидел лампу с зеленым абажуром на столе в папином кабинете. У открытой калитки стояла горничная Лиза. Она сняла с меня ранец, вытерла мне лицо своим платком и сказала:

— Гулена! С ума сойти из-за вас! Идем, умоешься.

Дома я застал только Галю и Диму. Галя ходила по комнатам, натыкалась на стулья и повторяла: «Где же все? Где же все?» Дима сидел на подоконнике и прислушивался. Он не попал на демонстрацию. Ему хотелось услышать ружейную стрельбу. Он надеялся, что услышит ее, сидя на подоконнике.

Я умылся. Лиза дала мне горячего молока. Я все время всхлипывал.

— Ты видел убитых? — спросил меня Дима.

— Ага! — промычал я, ничего не соображая.

— Не лезь к нему! — сердито сказала Галя.— Видишь, на кого он похож!

Потом наконец пришла мама вместе с Борей. Боря был в пыли и без фуражки. Он странно улыбался, будто его оглушили. Вскоре после мамы вернулся студент Маркович. Он рассказал, что видел много убитых и раненых.

Мама опустила шторы на окнах и приказала Лизе никому не открывать дверей, не разузнав, кто звонит. Потом мама услала меня спать. Перед тем как лечь, я поднял штору и посмотрел на улицу. Фонари до сих пор не горели. Непонятный серый свет падал на крыши. Было так тихо, будто город вымер. По соседней улице проскакал всадник, и снова все смолкло.

Я опустил штору, разделся и лег. Я смотрел на толстые стены и думал, что этот двухэтажный дом похож на крепость. Никакие пули его не пробьют. Потрескивал зеленый язычок лампадки. Я начал дремать. Сквозь дремоту я услышал звонок, торопливые шаги, потом голос отца. Он ходил по столовой из угла в угол и все время говорил.

Утром мама сказала, чтобы я никуда не смел уходить дальше нашего двора. Я огорчился и решил совсем не выходить из дому. Я накинул шинель, уселся на балконе и начал учить заданные нам стихи Некрасова. Но я успел выучить всего две строчки: «Поздняя осень. Грачи улетели. Лес обнажился, поля опустели». Меня все отвлекало. Проехала пожарная команда. Потом из флигеля вышел штабс-капитан Задорожный, черносотенец и грубиян. На нем была серая шинель, портупея, а на боку, кроме шашки, висел в кобуре револьвер. За ним на крыльцо вышла его жена — тощая, как гладильная доска, растрепанная женщина с синими подтеками под глазами. На ней качался японский черный халат, вышитый павлинами.

Задорожный недавно вернулся с японской войны с двумя огромными сундуками. В сундуках были куски чесучи, халаты, веера и даже кривой китайский меч. «Герой Мукдена!» — насмешливо называл Задорожного отец.

— Жорж,— жеманно пропищала Задорожная,— имейте в виду, что я беспокоюсь.

— Пустое, мой друг! — браво ответил Задорожный и поцеловал ей руку.— Мы только прикончим весь этот гевалт.

И он ушел, не оглядываясь.

Только что окончилась японская война, и мы, дети, наравне со взрослыми огорчались и негодовали.

Мы слышали разговоры взрослых о бездарном командовании, о «тюфяке» Куропаткине, предательстве Стесселя, сдаче Порт-Артура и казнокрадах-интендантах. Самодержавная Россия расползалась в клочья, как прелое рядно.

Но вместе с тем мы слышали и разговоры взрослых о мужестве и великой выносливости русского солдата, о том, что так дальше продолжаться не может и что пришли сроки народному долготерпению.

Самым страшным ударом для нас была гибель русского флота под Цусимой. Как-то Боря показал мне листок бумаги. На нем были отпечатаны на гектографе бледные лиловые строчки. Их едва можно было прочесть.

— Это прокламация?— спросил я. Мне пришлось уже несколько раз читать прокламации, расклеенные на стенах нашей гимназии.

— Нет,— ответил Боря,— это стихи.

Я с трудом разобрал их начало:

> Довольно, довольно, герои Цусимы!
> Вы жертвой последней легли.
> Она уже близко, она у порога,
> Свобода родимой земли!

Свобода! Я тогда еще смутно представлял себе, что это такое. Я представлял ее такой, как на аллегорической картине, висевшей в папином кабинете. Там молодая женщина с гневным и сияющим лицом, с обнаженной крепкой грудью стояла на баррикаде. В одной руке она высоко держала красное знамя, а другой рукой прикладывала к орудию дымящийся фитиль. Это и была Свобода. За ней теснились люди в синих блузах с ружьями в руках, измученные, но радостные женщины, мальчишки и даже молодой поэт в рваном цилиндре. Все люди вдохновенно пели, должно быть, «Марсельезу»: «К оружью, граждане! Час славы настал!»

Били барабаны, пели трубы, Свобода победно шла по стране, и бурные народные клики приветствовали ее появление.

Позади Свободы шел человек, очень похожий на студента Марковича, такой же смуглый, с горящими глазами. Он держал в руке пистолет.

Однажды я заглянул в комнату Марковича через окно, выходившее на наш балкон, и увидел, как Маркович, напевая, чистит стальной черный браунинг. Медные маленькие пули лежали на столе на раскрытом медицинском учебнике.

Маркович заметил меня и тотчас прикрыл браунинг газетой.

На следующее утро Лиза сняла со стен иконы и поставила их на окна. На воротах нашего дома дворник Игнатий нарисовал мелом большой крест. Потом он запер ворота и калитку, и мы очутились как в крепости.

Мама сказала, что в городе начался еврейский погром. «По приказу из Петербурга»,— добавила она. А Лиза шепотом сообщила, что уже громят дома на Васильковской улице и погром приближается к нам.

Маркович ушел вместе с Борей. Маркович надел сапоги, а студенческую тужурку стянул ремнем. Мама не хотела пускать Борю, но отец прикрикнул на нее. Тогда она перекрестила Борю, поцеловала и отпустила. Все время, пока Боря спускался с Марковичем по лестнице, она просила Марковича, чтобы он смотрел за Борей.

— Куда они ушли? — спросил я отца.

— В студенческую боевую дружину. Защищать евреев.

Вслед за Борей и Марковичем ушел и отец. Мы с Димой весь день слонялись по двору. В полдень мы услышали выстрелы. Потом выстрелы стали чаще. На Васильковской начался пожар. У нас во дворе падали хлопья сгоревшей бумаги.

Днем отец привел растерянную старушку еврейку со сползшим с седой головы платком. Она вела за руку безмолвного мальчика. Это была мать знакомого доктора.

Мама позвала Игнатия, вышла к нему на кухню и дала ему десять рублей. Но Игнатий отдал маме деньги и сказал:

— У меня самого в дворницкой сидит портной Мендель со всем семейством. Поглядывайте лучше, чтобы Задорожная не заметила.

Перед вечером к нашим воротам подошел низенький парень в черном картузе. Мокрый кок торчал из-под его картуза. Весь подбородок был облеплен шелухой от семечек.

За парнем осторожно шагал высокий бритый старик в коротких брючках и капотье, за ним — вертлявый человек без шапки, с заплывшими глазками и тучная старуха в теплой шали, а за ней — несколько вороватого вида молодых людей. Торговку эту мы часто видели раньше на Галицком базаре. Сейчас она несла пустой новый мешок.

— Отчиняй! — крикнул парень и стукнул в калитку ломом.

Из дворницкой вышел Игнатий.

— Жиды есть? — спросил его парень.

— Такие, как ты,— лениво ответил Игнатий.

— Жидов ховаете? — крикнул парень и затряс калитку.— Мы в полной известности. Отчиняй.

— Вот попрошу сюда полковника Задорожного,— пригрозил Игнатий,— он с тобой поговорит по-своему.

— Плевал я на иерусалимских полковников! Мы из твоего полковника сделаем юшку!

Тогда мадам Задорожная, подслушивавшая этот разговор из флигеля, не выдержала. Она промчалась, как разъяренная курица, через двор. Рукава ее черного халата развевались и хлопали.

— Хам! — крикнула она и плюнула через решетчатую калитку в лицо парню.— Как ты смеешь оскорблять офицера императорской армии? Босяк! Василий! — завизжала она.— Иди сюда, маруда!

Из флигеля выскочил оторопевший денщик. Он подхватил у сарая топор и побежал к калитке. Парень отскочил и побежал вдоль улицы, оглядываясь на денщика. Спутники его засеменили за ним. Денщик пригрозил парню топором.

— Новости! — сказала мадам Задорожная, запахивая халат и возвращаясь во флигель.— Каждый хам будет выдавать себя за истинно русского! Нет, извините! Имейте в виду, что этот номер никому не пройдет!

Так неожиданно жена черносотенца отвела от нашего дома громил. Взрослые потом долго посмеивались над этим.

Парень остановился у соседнего дома и тоже начал колотить в ворота. Тогда Дима потащил меня на чердак над

нашей квартирой. Там давно висела без всякого употребления огромная рогатка. Мы звали ее «катапультой».

Толстая резиновая полоса была наглухо прибита гвоздями к раме выбитого слухового окна. Рогатка эта осталась в наследство от мальчишки, жившего до нас в этом доме.

Я подобрал на чердаке кусок твердого желтого кирпича. Дима заложил его в рогатку и зажал. Мы вдвоем изо всей силы натянули рогатку, прицелились в парня и выстрелили.

Кирпич, сбивая листья и свистя, пронесся через двор, с грохотом ударил у ног высокого старика, проходившего по тротуару, и взорвался — рассыпался на десятки осколков. Мы промахнулись.

Старик присел от неожиданности, потом вскочил и кинулся бежать. За ним, громыхая сапогами, помчался парень.

— Давай второй кирпич! — крикнул мне Дима.

Но я опоздал — парень уже скрылся за угловым домом.

— Ты не так тянул,— сказал Дима,— поэтому мы и промазали. Ты тянул вкось.

Дима всегда любил сваливать ошибки на других и потом долго спорить.

Хотя мы промахнулись, но все же гордились этим выстрелом из «катапульты».

Вечером Лиза понесла в дворницкую к Игнатию пшенную кашу, чтобы накормить семью портного Менделя Я увязался за Лизой.

Окна в дворницкой были завешены. Игнатий сидел на табурете, тихонько наигрывал на гармонике и напевал вальс «На сопках Маньчжурии» — память о японской войне:

Страшная ночь, только ветер на сопках рыдает...

Семья Менделя спала, а он сам сидел при керосиновой лампочке и наметывал белыми нитками новый пиджак.

— За тобой гоняются,— сказал он,— чтобы убить, а ты шей и шей. Иначе не с чего жить.

Лиза стояла у дверей и, пригорюнившись, слушала пение Игнатия.

В вышине одиноко томится луна
И могилы солдат озаряет...

КРАСНЫЙ ФОНАРИК

Я зажег фонарик с красным стеклом. Внутри фонарика была вставлена керосиновая лампочка.

Фонарик осветил багровым светом тесный чулан и пыльную рухлядь, сваленную на полках.

Я начал проявлять пленки, снятые отцом. У отца был маленький «кодак». Отец любил снимать, но снятые катушки с пленкой валялись потом месяцами в ящике отцовского письменного стола. Перед большими праздниками в доме начиналась уборка. Мама вытаскивала эти катушки, отдавала мне, и я их проявлял.

Это было увлекательное занятие, потому что я никогда не мог угадать, что появится на пленках. Кроме того, мне нравилось, что в чулан, пока я проявлял, никто не смел входить, даже мама. Я был отрезан от мира. Привычные звуки — стук тарелок, бой часов, пронзительный голос горничной Лизы — почти не проникали в чулан.

На стене чулана висела маска из папье-маше. Она изображала курносого клоуна с выпуклыми, как шишки, красными щечками. Из-под маленького белого цилиндра, надетого набекрень, торчал рыжий клок пакли.

В свете красного фонарика маска оживала. Клоун заглядывал в черную ванночку, где лежала в проявителе пленка. Он даже подмигивал мне. От него пахло клейстером. Иногда в квартире все затихало — так случается даже в самых шумных семьях. Тогда мне становилось не по себе с глазу на глаз с этим клоуном.

Постепенно я изучил его характер. Я знал, что клоун человек насмешливый, что у него нет ничего святого на свете и что в конце концов он отомстит нам за то, что мы всю жизнь держим его в чулане. Мне даже мерещилось, что клоун, наскучив молчанием, что-то бормотал иногда или напевал песенку:

> На заборе чепуха
> Жарила варенье.
> Куры съели петуха
> В это воскресенье.

Но стоило мне открыть дверь чулана и впустить синеватый дневной свет, как клоун тотчас умирал и покрывался пылью.

На этот раз отец сам принес мне несколько катушек с пленкой и попросил проявить.

Отец только что возвратился из поездки в Москву. Было начало января 1906 года. В Москву отец попал в последние дни Декабрьского восстания. Он рассказывал о баррикадах на Пресне, дружинниках, артиллерийском огне. Несмотря на неудачу восстания, отец приехал возбужденный, прохваченный московским морозом. Он был твердо уверен, что не за горами всеобщее восстание в России и долгожданная свобода.

— Прояви получше,— сказал отец.— Там есть исторические московские снимки. Только я не помню, на каких катушках.

Все катушки были совершенно одинаковые. Отец не делал на них пометок. Пришлось проявлять наугад.

На первой катушке московских снимков не оказалось. Там было только несколько снимков худого маленького человека в коротком пиджаке, с галстуком, завязанным бантом. Человек этот стоял около стены. На ней висела длинная узкая картина.

Долго я ничего не мог разобрать на этой картине. Потом я наконец увидел худое горбоносое лицо с огромными, печальными глазами. Лицо это было завалено птичьими перьями.

Отец подошел к чулану и спросил:

— Ну как? Есть московские снимки?

— Пока нет. Есть какой-то старичок около картины на стене.

— Это же Врубель! Разве ты его не помнишь? Смотри не передержи.

— На картине ничего не проявилось. Только лицо и какие-то перья.

— Так и нужно,— ответил отец.— Это «Демон».

Отец ушел. Тогда я вспомнил, как однажды отец за утренним чаем сказал маме, что в Киев приехал на несколько дней Михаил Александрович Врубель и просил отца зайти к нему в гостиницу.

— Не понимаю я твоего увлечения Врубелем,— недовольно ответила мама.— Декадентщина какая-то! Боюсь я этих одержимых художников.

Но отец все же пошел к Врубелю и взял меня с собой. Мы вошли в гостиницу около Золотых Ворот и поднялись на пятый этаж. В коридоре пахло гостиничным утром — одеколоном и кофе. Отец постучал в низкую дверь. Нам открыл худенький человечек в поношенном пиджа-

ке. Лицо, волосы и глаза у него были такого же цвета, как и пиджак,— серые с желтоватыми пятнами. Это и был художник Врубель.

— Это что за юный субъект? — спросил он и крепко взял меня за подбородок.— Ваш сын? Совершенно акварельный мальчик.

Он схватил отца за руку и повел к столу.

Я боязливо осматривал комнату. Это была мансарда. Несколько рисунков, написанных акварелью, были приколоты булавками к темным обоям.

Врубель налил отцу и себе коньяку, быстро выпил свой коньяк и начал ходить по комнате. Он громко постукивал каблуками. Я заметил, что каблуки у него были очень высокие.

Отец сказал что-то похвальное о пришпиленных к обоям рисунках.

— Тряпье! — отмахнулся Врубель.

Он перестал метаться по комнате и сел к столу.

— Что-то я все время верчусь, как белка,— сказал он.— Самому надоело. Не поехать ли нам на Лукьяновку, Георгий Максимович?

— В Кирилловскую церковь?

— Да. Хочу посмотреть свою работу. Совсем ее позабыл.

Отец согласился. Мы втроем поехали на извозчике на Лукьяновку. Извозчик долго вез нас по бесконечной Львовской улице, потом по такой же бесконечной Дорогожицкой. Врубель и отец курили.

Я смотрел на Врубеля, и мне было его жалко. Он дергался, перебегал глазами, непонятно говорил, закуривал и тотчас бросал папиросу. Отец разговаривал с ним ласково, как с ребенком.

Мы отпустили извозчика около Федоровской церкви и пошли пешком по улицам Лукьяновки, среди садов. Мы вышли к обрыву. Дорога петлями пошла вниз. Там, внизу, виднелся маленький купол Кирилловской церкви.

— Посидим немного,— предложил Врубель.

Мы сели на землю на обочине дороги. Пыльная трава росла вокруг. Над Днепром синело вялое небо.

— Плохо, Георгий Максимович,— сказал Врубель, ударил себя по дряблой щеке и засмеялся.— Мне надоело таскать эту противную свою оболочку.

Я, конечно, плохо понимал слова Врубеля, да и не запомнил бы весь этот разговор, если бы отец не рассказывал о нем маме, а потом дяде Коле и некоторым знакомым и если бы все они не жалели Врубеля.

В Кирилловской церкви Врубель молча рассматривал собственные фрески. Они казались вылепленными из синей, красной и желтой глины. Мне не верилось, что такие большие картины на стене мог нарисовать этот худенький человек.

— Вот это живопись! — воскликнул Врубель, когда мы вышли из церкви.

Я удивился, что отец отнесся к этим словам спокойно и даже согласился с Врубелем, тогда как ни мне, ни моим братьям он не позволял сказать ни одного хвастливого слова. Поэтому, когда мы расстались с Врубелем на Рейтарской улице, я сказал отцу, что Врубель мне не понравился.

— Почему? — спросил отец.

— Он хвастун.

— Дурачок! — отец похлопал меня по спине.— Не горбься!

— Почему дурачок? — спросил я обиженно.

— Прежде всего надо знать,— ответил отец,— что Врубель замечательный художник. Когда-нибудь ты сам это поймешь. А потом, еще надо знать, что он больной человек. Он душевно неуравновешенный. И еще надо знать один золотой закон: никого не осуждать сгоряча. Иначе ты всегда попадешь в глупое положение. Перестань же, наконец, горбиться! Я ничего не сказал тебе обидного.

На картине за спиной Врубеля, хотя пленка уже проявилась, трудно было что-нибудь разобрать. Я только знал, что это «Демон».

Увидел я эту картину впервые гораздо позже, зимой 1911 года, в Третьяковской галерее.

Москва дымилась от стужи. Пар вырывался из набухших дверей трактиров. Среди уютного московского снега, заиндевелых бульваров, заросших льдом окон и зеленоватых газовых фонарей сверкала, как синий алмаз, как драгоценность, найденная на сияющих вершинах Кавказа, эта картина Врубеля. Она жила в зале галереи холодом прекрасного, величием человеческой тоски.

Я долго стоял перед «Демоном». Впервые я понял, что созерцание таких картин не только дает зрительное на-

слаждение, но вызывает из глубины сознания такие мысли, о каких человек раньше и не подозревал.

Я вспоминал Лермонтова. Мне представлялось, как он, осторожно позванивая шпорами, входит в Третьяковскую галерею. Входит, ловко скинув внизу, в вестибюле, серую шинель на руки сторожу, и потом долго стоит перед «Демоном» и разглядывает его сумрачными глазами.

Это он написал о себе горькие слова: «Как в ночь звезды падучей пламень, не нужен в мире я». Но боже мой, как он ошибался! И как нужен миру этот мгновенный пламень падучих звезд! Потому что не единым хлебом жив человек.

Он считал себя пленником земли. Он растратил жар души в пустыне. Но пустыня расцвела после этого и наполнилась его поэтической силой, его гневом, тоской, его постижением счастья. Ведь это он застенчиво признался: «Из-под куста мне ландыш серебристый приветливо кивает головой». И кто знает, может быть, острый и режущий воздух горных вершин, забрызганных кровью демона, наполнен очень слабым, очень отдаленным запахом этого приветливого лесного цветка. А он, Лермонтов, как и этот поверженный демон,— просто ребенок, не получивший от жизни того, к чему он страстно стремился: свободы, справедливости и любви.

— Ну что,— снова спросил меня из-за двери отец.— есть уже московские снимки?

Голос отца вывел меня из оцепенения. Я начал проявлять следующую катушку и позабыл о Врубеле. На пленке появились заваленные снегом московские улицы с низкими домами. Поперек улицы были построены из бочек, досок, камней и вывесок невысокие баррикады. Около баррикад стояли штатские люди, но с винтовками и револьверами в руках.

Потом появились высокие дома, пробитые снарядами, Горбатый мост, Зоологический сад, весь в дыму пожара, простреленные вывески трактиров, опрокинутые трамваи.

Все это было затянуто зимней мутью, и тут уже я ничем не мог помочь. Никакой проявитель не мог разъесть эту муть и сообщить ясность снимкам.

Эта муть хорошо передавала самую обстановку восстания. Казалось, что от снимков тянет пороховым дымком.

Восстание! Это слово звучало необычно в тогдашней, как будто патриархальной России. Я читал повести о восстании индусов, знал о восстании коммунаров в Париже, о мятеже декабристов, но Московское восстание казалось мне самым сильным и романтичным.

Я достал карту Москвы. Отец показал мне на ней все места, где были бои и баррикады,— Чистые пруды, Самотеку, Кудринскую площадь, Грузины, Пресню и Горбатый мост. С тех пор самые эти названия были овеяны для меня особой прелестью мест, ставших историческими на моей памяти.

Все, что окружало это восстание, приобрело для меня значительность: московская лохматая зима, чайные, где собирались дружинники, смешение древних московских черт с новой эпохой, связанной с восстанием.

Извозчики в рваных армяках, крендели над булочными, торговки с горячими пирогами, а рядом — свист пуль, перебежки, сталь револьверов, красные флаги, пение «Варшавянки»: «Вихри враждебные веют над нами, темные силы нас злобно гнетут».

В этом была поэзия борьбы, дыхание недалекой свободы, еще туманной, как чуть забрезживший зимний рассвет. Были бодрость, вера, надежда.

Вся огромная российская равнина следила за заревами, полыхавшими на Пресне, ждала победы дружинников. Это восстание было подобно зимней грозе — предвестнице новых гроз и новых освежающих потрясений.

Сейчас я могу передать то приподнятое состояние, что овладело мною тогда. В то время я все это чувствовал, но не мог объяснить.

На следующий день я отпечатал все снимки и отнес отцу. Уже смеркалось. В кабинете горела лампа. Она освещала на письменном столе знакомые вещи: стальную модель паровоза, статуэтку Пушкина с курчавыми баками и груды сатирических революционных журналов — их много выходило в то время. На самом видном месте стояла открытка с портретом лейтенанта Шмидта в черном плаще с застежками в виде львиных голов.

Отец лежал на диване и читал газету. Он просмотрел все снимки и сказал:

— Невероятная страна! Врубель и восстание! Все уживается вместе, и все ведет к одному.

— К чему к одному?

— Все ведет к лучшему. Ты еще много увидишь интересного, Костик. Если сам, конечно, будешь интересным человеком.

ПУСТЫННАЯ ТАВРИДА

Через два года, когда мне было уже четырнадцать лет, мама настояла, чтобы мы на этот раз поехали на лето не в Рёвны, а в Крым. Она выбрала самый тихий из крымских городков — Алушту.

Ехали мы через Одессу. Гостиницы в Одессе были переполнены. Пришлось остановиться в подворье Афонского монастыря, около вокзала. Монастырские послушники — бледные юноши в рясах и черных лакированных поясах — угощали нас щами из крапивы и сушеной камсы.

Я был в восторге от этих щей, от нарядного белого города, шипучей сельтерской воды и от порта. Над ним сизыми тучами носились голуби и перемешивались с белыми тучами чаек.

Опять я встретился с морем. У этих степных берегов оно было ласковее, чем у берегов Кавказа.

Старый пароход «Пушкин» шел в Ялту. Над морем стоял штиль. Дубовые планширы нагревались так сильно, что на них нельзя было положить руку. В салоне все подрагивало и звенело от вращения пароходного винта. Солнце проникало через световой люк, иллюминаторы и открытые двери. Меня поражало обилие южного света. От него сверкало все, что только могло сверкать. Даже грубые парусиновые занавески на иллюминаторах вспыхивали ярким огнем.

Крым поднялся из морской голубизны, как остров сокровищ. Облака лежали на вершинах его сиреневых гор. Белый Севастополь медленно плыл нам навстречу. Он встретил наш старый пароход полуденным пушечным выстрелом и голубыми крестами андреевских флагов.

«Пушкин» долго бурлил, разворачиваясь в бухте. Со дна взлетали фонтаны пузырей. Вода шипела. Мы носились с борта на борт, чтобы ничего не пропустить. Вот Малахов курган и Братское кладбище, Графская при-

стапь, Константиновский форт, выдвинутый в самые морские буруны, и мятежный крейсер «Очаков», окруженный понтонами. Катера с военных кораблей проносились мимо, отбрасывая на корму малахитовую воду.

Я смотрел как зачарованный на все вокруг. Значит, на самом деле, а не только в книгах существует этот город, где умер Нахимов, где рвались на бастионах круглые ядра, где сражался артиллерист Лев Толстой, где клялся в верности народу лейтенант Шмидт. Вот он здесь, этот город,— в горячем дне, в перистой тени акаций.

До Ялты «Пушкин» добрался вечером. Он медленно вплывал в ялтинскую гавань, как в садовую беседку, убранную огнями.

Мы спустились на каменный мол. Первое, что я увидел, была тележка черномазого торговца. Над ней висел на шесте фонарь. Он освещал пушистые персики и большие сливы, покрытые сизым налетом.

Мы купили персиков и пошли в гостиницу «Джалита». Веселые носильщики тащили наши вещи.

Я так устал, что в гостинице тотчас уснул, едва заметив сороконожку, притаившуюся в углу, и черные кипарисы за окнами. Несколько мгновений я еще слышал, как тоненьким голосом напевал фонтан среди двора. Потом сон поднял меня и понес, покачивая, как в каюте, куда-то далеко, в чудесную страну — сестру таинственного Крыма.

После Ялты с ее пышной набережной Алушта показалась мне скучной. Мы поселились на окраине, за Стахеевской набережной.

Каменистая земля, пахучие заросли туи, пустое море и далекие Судакские горы — вот все, что окружало нас в Алуште. Больше в Алуште ничего не было. Но и этого было достаточно, чтобы я постепенно примирился с Алуштой и полюбил ее.

Мы часто ходили с Галей на соседний виноградник и покупали там сладкую шашлу, крупный холодный чауш и розоватый мускат. На винограднике пели цикады. На земле цвели маленькие, с булавочную головку, желтые цветы.

Из белого низкого дома выходила пожилая женщина Анна Петровна, с таким загорелым лицом, что серые ее глаза казались совершенно белыми. Она нарéзала нам виноград. Иногда она высылала к нам свою дочь Лену, босоногую семнадцатилетнюю девушку с выгоревшими коса-

ми, заложенными венком вокруг головы, и такими же серыми глазами, как у матери.

Эту девушку взрослые прозвали «русалкой». В сумерки Лена часто проходила мимо нашей дачи, спускалась к морю, купалась и долго плавала, а потом возвращалась с полотенцем на плече и пела:

Там, в голубом просторе,
В лазоревой дали,
Забудем мы и горе,
И бедствия земли.

Галя подружилась с Леной и выпытала у нее все. Галя вообще любила подробно расспрашивать людей обо всех обстоятельствах жизни. Она делала это с упорством близорукого и любопытного человека.

Оказалось, что Анна Петровна — вдова, бывшая библиотекарша из Чернигова, что Лена заболела туберкулезом и доктора посоветовали увезти ее в Крым. Анна Петровна приехала в Алушту. В Алуште она вышла замуж за старого украинца, владельца виноградника. Старик вскоре умер, и теперь Анна Петровна и Лена остались единственными хозяевами этого виноградника. Зимой Лена жила в Ялте, училась в ялтинской гимназии, но по воскресеньям приезжала в Алушту к матери. Болезнь Лены совершенно прошла.

Лена собиралась после окончания гимназии стать певицей. Галя отговаривала ее от этого. По мнению Гали, единственным достойным занятием для женщины было преподавание. Сама Галя хотела быть сельской учительницей. Мне все эти Галины мысли давно наскучили, тем более что она говорила о своем будущем призвании слишком много и доказывала всем, хотя с ней никто и не спорил, что нет лучшего занятия на свете, чем быть педагогом.

Меня почему-то злило, что Галя отговаривает Лену сделаться певицей. Я любил театр. Назло Гале я восторженно рассказывал Лене обо всех пьесах, какие видел в театре: «Синей птице», «Дворянском гнезде», «Мадам Сан-Жен» и «Горе от ума».

Я многое преувеличивал. Я предсказывал Лене заманчивое будущее. Мне нравилось думать, что загорелая и худенькая эта девушка, плававшая в море лучше любого матроса, когда-нибудь выйдет на сцену в тонком платье с треном, на груди у нее будет вздрагивать от дыхания

темный цветок, и даже сквозь пудру будет проступать на ее лице морской загар.

Я окружил Лену своими безудержными мечтами. Она слушала меня, откинув голову, будто косы оттягивали ее назад, и едва заметно краснела. Иногда она спрашивала:

— Ну, сознайтесь, вы все это выдумываете? Правда? Я не буду сердиться.

Она говорила мне «вы», хотя была на три года старше меня. В то время «ты» говорили друг другу только очень близкие люди.

Я не мог сознаться в этом, потому что искренне верил всему, что выдумывал. Это свойство стало причиной многих моих несчастий. Удивительнее всего было то, что за всю жизнь я не встретил ни одного человека, который захотел бы понять или хотя бы оправдать это свойство.

Но Лена мне верила. Ей хотелось верить всему, что я выдумывал. Если два-три дня я не приходил с Галей на виноградник, она сама приносила нам виноград, говорила, смущаясь, маме: «Это Анна Петровна прислала вам в подарок»,— и, улучив минуту, быстро шептала мне:

— Ей-богу, это свинство! Почему не приходите?

Отец вскоре уехал из Алушты. Ему нужно было по делам в Петербург. Потом уехал Боря — держать экзамен в Киевский политехнический институт.

Мама была почему-то встревожена отъездом отца и не обращала на нас внимания. Она даже была рада, когда мы целыми днями пропадали у моря и ее не тревожили.

Я все время бродил по пояс в воде и ловил под камнями крабов. Кончилось это тем, что как-то, выкупавшись вечером в море, я простудился и схватил воспаление легких. Вдобавок в первую же ночь, когда я лежал в жару, меня укусила сколопендра.

Шел август. Скоро начинались занятия в гимназии. Надо было возвращаться в Киев. Моя болезнь спутала все карты. В конце концов мама отправила Галю с Димой, а сама осталась со мной.

Я болел тяжело и долго. Все ночи я почти не спал. Было больно дышать. Я старался дышать осторожно и с тоской смотрел на белые стены. Из трещин в стенах выползали сороконожки. Лампа горела на столе. Тени от склянок с лекарствами казались доисторическими чудовищами — они обнюхивали потолок, вытянув длинные шеи.

Я поворачивал голову и смотрел на черное окно. В нем отражалась лампа. За этим отражением гудело море.

Ночная бабочка билась в стекло. Ей хотелось улететь из лекарственной комнатной духоты.

Мама спала в соседней комнате. Я звал ее, просил пить и выпустить бабочку. Мама выпускала ее, и я успокаивался.

Но потом, не знаю как, я видел, что бабочка садилась па сухую траву тут же, за окном, и, немного посидев, возвращалась и опять влетала в комнату, большая, будто сова. Она опускалась мне на грудь. Я чувствовал, что бабочка тяжелая, как камень, и что вот сейчас она раздавит мне сердце.

Я снова звал маму и просил, чтобы она прогнала бабочку. Мама, сжав губы, снимала с меня тугой горячий компресс и укутывала меня одеялами.

Я потерял счет ночам, наполненным непонятным гулом и сухим жаром простынь.

Однажды днем пришла Лена. Я не сразу сообразил, что это она. На ней было коричневое форменное платье, черный передник и маленькие черные туфли. Светлые ее косы были тщательно заплетены и висели, перекинутые на грудь, по сторонам загорелого лица.

Лена пришла попрощаться перед отъездом в Ялту. Когда мама вышла из комнаты, Лена положила мне руку на лоб. Рука была холодная, как льдинка. Конец косы упал мне на лицо. Я чувствовал теплый и свежий запах волос.

Вошла мама. Лена быстро убрала руку, а мама сказала, что Лена принесла для меня замечательный виноград.

— Лучшего у пас, к сожалению, нет,— ответила Лена.

Отвечая, она смотрела не на маму, а па меня, будто хотела сказать мне что-то важное.

Потом она ушла. Я слышал, как она сбежала по лестнице. В доме, кроме нас, никто уже не жил, все разъехались, и потому каждый звук был хорошо слышен.

С этого дня я начал поправляться. Доктор сказал, что после того, как я встану, мне надо будет прожить в Алуште не меньше двух месяцев, до самого ноября. Надо окрепнуть и отдохнуть. Тогда мама решила выписать из Киева Лизу, чтобы она присматривала за мной и меня кормила. Сама же мама торопилась в Киев — не знаю почему.

Лиза приехала через неделю, и на следующий же день мама уехала на лошадях в Симферополь.

Лиза все время ахала. Она ни разу не видела моря, кипарисов, виноградников — мама вывезла Лизу в Киев из Брянских лесов, из Рёвен.

Я остался с Лизой. Я уже начинал вставать. Но выходить мне еще не позволяли. Весь день я сидел на застекленной террасе под осенним и не очень жарким солнцем и читал. Я нашел в комоде «Тристана и Изольду». Я несколько раз прочел эту удивительную легенду, и каждый раз после того, как я ее перечитывал, мне становилось все грустнее.

Потом я решил сам написать что-нибудь вроде «Тристана и Изольды» и несколько дней сочинял повесть. Но дальше описания морской бури у скалистого берега я не пошел.

В конце сентября доктор позволил мне наконец выходить. Я бродил один по безлюдной Алуште. Я любил ходить на пристань во время прибоев. Волны катились под дырявым настилом. Через щели взлетали струи воды.

Однажды я зашел к Анне Петровне. Она напоила меня кофе и сказала, чтобы я непременно приходил в воскресенье, так как в этот день должна приехать из Ялты Лена. Все время после этого я думал, как я встречусь с Леной.

Это воскресенье я помню ясно, будто оно было вчера, потому что в этот день случилось два события.

Я знал, что Лена приедет из Ялты утренним катером. Я пошел на пристань. Но как только катер показался из-за мыса, я спрятался за дощатый киоск. В нем продавали открытки с видами Крыма. Я сел на камень и просидел там все время, пока катер не подошел к пристани. С него сошла Лена и, поискав кого-то на пристани, медленно пошла домой.

Я боялся, что она меня заметит. Это было бы совсем глупо. Она несколько раз оглянулась, потом возвратилась к пристани и немного постояла у деревянной тумбы с афишами. Она делала вид, что читает афиши, хотя все они уже были оборваны и висели клочьями.

Украдкой я смотрел на нее. На голову она накинула теплый белый платок. Она побледнела и похудела в Ялте. Она стояла около тумбы, опустив глаза, хотя ей надо было поднять их, если она действительно читала афиши. Потом она ушла, уже совсем.

Я подождал немного и вернулся домой. Мне было стыдно своей трусости.

Я не знал, идти мне теперь к Лене или нет. За обедом я ничего не ел. Лиза пригрозила мне, что пошлет об этом телеграмму маме. Лиза была малограмотная, и я только усмехнулся на ее угрозу.

После обеда я наконец решился, надел шинель и вышел. Лиза крикнула мне вслед, чтобы я застегнул шинель, но я не послушался.

Я подошел к винограднику. Он уже был совсем багровый. Я открыл калитку. Тотчас хлопнула дверь в белом доме, и я увидел Лену. Она бежала мне навстречу в одном платье.

Это был хороший день. Я перестал стесняться и рассказывал о Рёвнах, учителе географии Черпунове и тете Наде. Лена незаметно подкладывала мне на тарелку то виноград, то сливы — ренклоды. Потом она сказала:

— Почему вы пришли в расстегнутой шинели в такой холод? Перед кем вы франтите?

— Вы же сами выбежали в одном платье,— ответил я.

— Потому что...— сказала она и замолкла.— Потому что у меня не было воспаления легких.

Румянец проступил у нее под загаром. Анна Петровна посмотрела на Лену из-под очков и покачала головой:

— Лена, не забывай, что тебе уже семнадцать лет.

Она сказала это таким тоном, будто Лена была совершенно взрослой женщиной, а между тем делает глупости.

Анна Петровна и Лена проводили меня до дому и зашли ко мне, чтобы посмотреть, как я живу. Лиза покраснела, как свекла, но быстро успокоилась и пожаловалась Анне Петровне, что я не слушаюсь и хожу в расстегнутой шинели. Анна Петровна сказала, чтобы Лиза, если ей что-нибудь нужно, всегда приходила к ней. Лиза обрадовалась. У нее в Алуште не было знакомых. Изредка она гуляла со мной, собирала полынь и развешивала ее в комнате. Все свободное время она гадала на картах.

Лиза была краснощекая, с заплывшими добрыми глазками и очень доверчивая. Она верила любой чепухе, которую ей рассказывали.

Анна Петровна с Леной ушли. Мне стало скучно. Впереди был длинный вечер. Мне хотелось опять пойти на виноградник, но я знал, что этого нельзя делать.

Я вновь решил писать свою повесть, зажег лампу и сел к столу. Но вместо повести я написал первые сти-

хи. Я их забыл сейчас. В памяти осталась только одна строчка:

О, срывайте цветы на поникших стеблях...

Мне нравились эти стихи. Я собирался писать еще долго, но вошла Лиза, сказала: «Ишь чего выдумал — портить глаза! Давно спать пора»,— и задула лампу. Я рассердился, сказал, что я уже взрослый, и обозвал ее дурехой. Лиза ушла к себе, заплакала от обиды и сказала хриплым голосом:

— Вот уйду завтра пешком в Киев,— делай тут один чего хочешь.

Я молчал. Тогда Лиза сказала, что завтра же пошлет маме телеграмму о моем поведении. Она долго что-то ворчала в своей комнате, потом вздохнула:

— Ну, бог с тобой. Спи. Ишь ветер какой забушевал на дворе!

Над головой у меня висели круглые стенные часы. Каждый раз, когда они били два часа ночи, я просыпался. На этот раз я тоже проснулся и долго не мог понять, что случилось. На стене мигал багровый свет. Окно выходило на море. За ним однообразно гудел ветер. Я сел на кровати и выглянул в окно. Над морем качалось зарево. Оно освещало низкие тучи и взволнованную воду.

Я начал торопливо одеваться.

— Лиза! — крикнул я.— Пожар на море!

Лиза зашевелилась, вскочила и тоже начала одеваться.

— Что же это может гореть на воде? — спросила она.

— Не знаю.

— Зачем же ты встал? — спросила Лиза.

Спросонок она плохо соображала.

— Пойду на берег.

— Я тоже.

Мы вышли. Ветер рванул из-за угла дома и охватил меня тугим холодом. Зарево подымалось к небу. Около ворот стоял дворник-татарин.

— Пароход горит,— сказал он.— Что сделаешь, а!

Мы сбежали к берегу. Около пристани, очевидно на спасательной станции, звонил колокол. На берегу стояли кучками люди. Я сразу же потерял в темноте Лизу.

Рыбаки в высоких сапогах и штормовых плащах стаскивали по гальке в море бот. Слышны были торопливые

голоса: «Пассажирский», «Мили две от берега», «Корму задерживай, слышь, не давай раскатываться». Мокрые рыбаки полезли в бот, разобрали весла. Бот подняло на волну, и он пошел в море.

Кто-то взял меня за локоть. Я обернулся. Рядом стояла Лена. Зарево слабо освещало ее. Я смотрел на Лену, на ее строгое лицо.

Мы молча стояли у края набережной. В море поднялась белая ракета. За ней поднялась вторая.

— Помощь подходит,— сказала Лена.— Если бы не мама, я пошла бы с рыбаками на боте. Непременно пошла бы.

Она помолчала и спросила:

— Когда ты уезжаешь?

У меня заколотилось сердце — так неожиданно она сказала мне «ты».

— Должно быть, через неделю.

— Значит, я увижу тебя. Я постараюсь приехать пораньше.

— Я буду очень ждать,— ответил я, и мне показалось, что после этих страшных слов я сорвался в пропасть.

Лена слегка оттащила меня от края набережной.

— Что же делать? — спросила она тихо.— Мама напугана. Она где-то здесь, около пристани. Ты не сердишься на меня?

— За что?

Она не ответила.

— Лена! — позвала из темноты Анна Петровна.— Где же ты? Идем домой!

— Я завтра уеду утренним дилижансом,— прошептала Лена.— Смотри не вздумай провожать. Прощай.

Она пожала мне руку и ушла. Я смотрел ей вслед. Несколько мгновений — не больше — был виден ее белый платок, накинутый на голову.

Зарево на море тускнело. Над водой лег зеленый луч прожектора. Это подходил на помощь горящему пароходу миноносец «Стремительный». Я разыскал Лизу, и мы вернулись домой.

Мне хотелось скорее лечь и уснуть, чтобы не думать о том удивительном и хорошем, что произошло только что между мной и Леной.

Утром, когда на месте зарева курился слабый дымок, я пошел на пристань и узнал, что в море горел пароход.

Говорили, что в трюме парохода взорвалась адская машина, но капитану удалось посадить пароход на прибрежные скалы.

Узнав эти новости, я ушел далеко по шоссе в сторону Ялты. Всего час назад здесь проезжала на дилижансе Лена. Я сел на парапет над морем и долго просидел, засунув руки в рукава шинели.

Я думал о Лене, и у меня тяжело билось сердце. Я вспоминал запах ее волос, теплоту ее свежего дыхания, встревоженные серые глаза и чуть взлетающие тонкие брови. Я не понимал, что со мной. Страшная тоска сжала мне грудь, и я заплакал.

Мне хотелось только одного — видеть ее все время, слышать только ее голос, быть около нее.

Я было совсем уже решил идти сейчас же пешком в Ялту, но в это время за поворотом шоссе заскрипела мажара. Я быстро вытер глаза, отвернулся и начал смотреть на море. Но опять набежали слезы, и я ничего не увидел, кроме синего режущего блеска.

Я сильно озяб и никак не мог унять дрожь во всем теле.

Проезжавший на мажаре старик в соломенной шляпе остановил лошадей и сказал:

— Садись, друг, подвезу до Алушты.

Я влез в мажару. Старик оглянулся и спросил:

— Ты, часом, не из сиротского дома?

— Нет, я гимназист,— ответил я.

Последние дни в Алуште были необыкновенно грустные и хорошие. Такими всегда бывают последние дни в тех местах, с которыми жаль расставаться.

С моря нахлынул туман. От него отсырела трава перед нашей дачей. Сквозь туман просвечивало солнце. Лиза топила печку желтыми акациевыми дровами.

Падали листья. Но они были не золотые, как у нас в Киеве, а сероватые, с лиловыми жилками.

Волны бесшумно выходили из тумана, набегали на берег и бесшумно уходили в туман. Мертвые морские коньки валялись на прибрежной гальке.

Чатыр-Даг и Бабуган-Яйла закутались в облака. С гор спускались отары овец. Одичалые овчарки бежали позади отар, подозрительно поглядывая по сторонам.

Стало так тихо от тумана и осени, что со своего балкона я слышал голоса внизу, в городке. В чебуречной на ба-

заре жарко горели мангалы, пахло пригорелым жиром и жареной кефалью.

Мы должны были уезжать с Лизой в понедельник утром. Лиза уже наняла извозчика до Симферополя.

Я ждал Лену в субботу, но она не приехала. Я несколько раз проходил мимо виноградника, но никого не заметил. И в воскресенье утром ее тоже не было. Я пошел к станции дилижансов. Там было пусто.

Обеспокоенный, я вернулся домой. Лиза подала мне конверт.

— Какой-то парнишка принес,— сказала она.— Должно быть, от Анны Петровны. Чтобы ты пришел попрощаться. Ты пойди. Они хорошие люди.

Я ушел в сад, разорвал конверт и вынул полоску бумаги. На ней было написано: «Приходи в шесть часов к трем платанам. Лена».

Я пришел к трем платанам не к шести, а к пяти часам. Это было пустынное место. В каменистом овраге около русла высохшего ручья росли три платана. Все поблекло вокруг. Только кое-где доцветали тюльпаны. Должно быть, па этом месте был когда-то сад. Деревянный мостик был переброшен через ручей. Под одним из платанов стояла ветхая скамья на заржавленных чугунных лапах.

Я пришел раньше назначенного времени, но уже застал Лену. Она сидела на скамье под платаном, зажав руки между коленями. Платок упал у нее с головы на плечи.

Лена обернулась, когда я подошел к самой скамье.

— Ты не поймешь,— сказала она и взяла меня за руку.— Нет, ты не обращай внимания... Я всегда говорю ерунду.

Лена встала и виновато улыбнулась. Она опустила голову и смотрела на меня исподлобья.

— Мама говорит, что я сумасшедшая. Ну что ж! Прощай!

Она притянула меня за плечи и поцеловала в губы, потом отстранила и сказала:

— А теперь иди! И не оглядывайся! Я прошу. Иди!

Слезы появились у нее на глазах, но только одна сползла по щеке, оставив узенький мокрый след.

И я ушел. Но я не выдержал и оглянулся. Лена стояла, прислонившись к стволу платана, закинув голову, будто косы оттягивали ее назад, и смотрела мне вслед.

— Иди! — крикнула она, и голос ее странно изменился.— Все это глупости!

Я ушел. Небо уже померкло. Солнце закатилось за гору Кастель. С Яйлы дул ветер, шумел жесткими листьями.

Я не соображал, что все кончено, совсем все. Гораздо позже я понял, что жизнь по непонятной причине отняла тогда у меня то, что могло бы быть счастьем.

На следующее утро мы с Лизой уехали в Симферополь.

В лесах за Чатыр-Дагом лил дождь. Всю дорогу до Киева дождь хлестал по вагонным окнам.

Дома моего приезда как будто не заметили. Что-то плохое случилось в нашей семье. Но я еще не знал, что именно.

Я был даже рад, что на меня не обращают внимания. Я все время думал о Лене, но не решался ей написать.

После этой осени я попал в Крым только в 1921 году, когда все, что случилось между мною и Леной, стало воспоминанием, не причиняло боли, а вызывало только раздумья. Но у кого их нет, этих раздумий? Стоит ли о них говорить?

КРУШЕНИЕ

После Крыма все сразу переменилось. У отца произошло столкновение с начальником Юго-Западной железной дороги. Отец бросил службу. Благополучие окончилось сразу.

Мы переехали с Никольско-Ботанической улицы на Подвальную. Как будто по насмешке, мы поселились на этой улице в подвальном этаже.

Мы жили только тем, что мама распродавала вещи. В холодноватой и темной квартире все чаще появлялись безмолвные люди в барашковых шапках. Они шныряли острыми глазками по мебели, картинам, по выставленной на столе посуде, потом тихо и убедительно беседовали с мамой и уходили. А через час-два во двор въезжали дроги и увозили то шкаф, то стол, то трюмо и ковер.

На кухне мы заставали по утрам татарина в черной стеганой тюбетейке. Мы звали его «шурум-бурум». Он сидел на корточках и разглядывал на свет отцовские брюки, пиджаки и простыни.

«Шурум-бурум» долго торговался, уходил, опять приходил, мама сердилась, пока наконец «шурум-бурум» не бил по рукам, не вытаскивал из кармана толстый бумажник и не отсчитывал, деликатно поплевывая на пальцы, рваные деньги.

Отца почти никогда не было дома. Он уходил утром и возвращался поздно, когда мы спали. Где он проводил все дни, никто из нас не знал. Очевидно, он искал службу.

Мама сразу постарела. Седая прядь волос все чаще падала у нее со лба на лицо,— мама начала причесываться очень небрежно.

Боря ушел от нас и поселился в меблированных комнатах «Прогресс», около вокзала, якобы потому, что оттуда ближе до Политехнического института. На самом деле он ушел потому, что не ладил с отцом, считал его виновником несчастий в нашей семье и не хотел жить в угрюмой обстановке Подвальной улицы. Боря зарабатывал на себя уроками, но помогать нам не мог. Дима тоже давал уроки, или, как говорили тогда, был репетитором.

Только я был еще молод, чтобы учить других, а Галя так близорука, что не могла ничем заниматься, кроме помощи маме по дому. Лизу пришлось отпустить.

Однажды утром к нам пришел вместе с дворником сухопарый скрипучий старик, судебный пристав, и описал за какие-то отцовские долги почти всю оставшуюся обстановку. Отец скрыл от мамы эти долги. Теперь все обнаружилось. После этого отец взял первое попавшееся и очень плохое место на сахарном заводе вблизи Киева и уехал.

Мы остались одни. Несчастье вошло в семью. Она умирала. Я это понимал. Это было особенно трудно после Крыма, после короткой и грустной любви моей к Лене, после легкого моего детства.

Раз в месяц дядя Коля присылал маме деньги из Брянска. Мама, получив эти деньги, каждый раз плакала от стыда.

Однажды я увидел маму в приемной директора гимназии. Я бросился к ней, но она отвернулась, и я понял, что она не хочет, чтобы я ее заметил.

Я не мог догадаться, зачем мама приходила к директору, но ни о чем ее не спрашивал. Через несколько дней новый наш директор, Терещенко, назначенный вместо Бессмертного, лысый, низенький и круглый, с головой

будто смазанной маслом (за это ему дали прозвище «Маслобой»), остановил меня в коридоре и сказал:

— Передайте вашей мамаше, что педагогический совет уважил ее просьбу и освободил вашего брата и вас от платы за учепье. Но имейте в виду, что освобождаются только хорошие ученики. Поэтому советую подтянуться.

Это было первое унижение, какое я испытал. Дома я сказал маме:

— Диму и меня освободили от платы. Зачем ты ходила к директору?

— Что же я могла сделать другое? — тихо спросила мама.— Взять вас из гимназии?

— Я сам бы заработал на себя.

Тогда впервые я увидел на мамином лице испуг, как будто ее ударили.

— Не сердись,— сказала мама и опустила голову. Она сидела и шила у стола.— Разве я могу заставлять тебя работать?

Опа заплакала.

— Если бы ты знал, как мне тяжело за всех и особенно за тебя! Как он смел, ваш отец, так необдуманно поступать и быть таким легкомысленным! Как он мог!

С некоторых пор мама называла отца «он» или «ваш отец». Она плакала, склонившись над старым платьем Обрезки материи и белые нитки валялись на полу.

Мама распродала почти все вещи. В квартире стало сыро и пусто. Промозглый свет проникал из окон. За ними были видны шаркающие сапоги, боты, глубокие калоши. Мелькание ног, забрызганных грязью зимней распутицы, мешало сосредоточиться и раздражало. Будто все эти чужие люди ходили по самой квартире, наносили холод и даже не считали нужным взглянуть на нас.

Среди зимы мама получила письмо от дяди Коли. Письмо очень ее взволновало.

Вечером, когда все мы сидели за круглым столом, где горела единственная лампа, и каждый занимался своим делом, мама сказала, что дядя Коля настаивает, чтобы я переехал на время к нему в Брянск, что он устроит меня в брянскую гимназию и что это совершенно необходимо, пока отец не получит хорошее место и не вернется в семью.

Галя с испугом посмотрела на маму. Дима молчал.

— Отец к нам не вернется,— твердо сказала мама.— У него есть другие привязанности. Ради них он сделал долги и оставил нас нищими. И я не хочу, чтобы он возвращался. Я не хочу об этом слышать ничего, ни одного слова.

Мама долго молчала. Губы у нее были крепко сжаты.

— Ну, хорошо,— сказала она наконец.— Не стоит говорить об этом. Как же быть с Костиком?

— Очень просто,— сказал Дима, не глядя на маму. Для Димы все было просто.— Я в этом году кончаю гимназию и поступлю в Московский технологический институт. Мы продадим всё. Ты, мама, с Галей переедешь в Москву и будешь жить со мной. Мы продержимся. А Костик пусть пока поживет у дяди Коли.

— Но как же так! — встревожилась Галя.— Как же он там будет жить? Зачем же нам разлучаться?

Я сидел, опустив голову, и судорожно рисовал на бумаге цветы и завитушки. С некоторых пор каждый раз, когда мне было тяжело, я начинал бессмысленно рисовать на чем попало эти замысловатые завитушки.

— Перестань рисовать! — сказала мама.— Я не понимаю, чему ты улыбаешься! И что ты об этом думаешь?

— Я не улыбаюсь,— пробормотал я, но почувствовал у себя на лице напряженную улыбку.— Это так...

Я замолчал и продолжал рисовать. Я не мог остановиться.

— Костик, милый,— неожиданно сказала мама глухим голосом,— что же ты молчишь?

— Хорошо...— ответил я.— Я поеду... если надо...

— Так будет лучше всего,— сказал Дима.

— Да... будет хорошо... конечно,— согласился я, чтобы не молчать.

Все рушилось в эту минуту. Впереди я видел только жгучее одиночество и свою ненужность.

Я хотел сказать маме, что не надо отправлять меня в Брянск, что я могу давать уроки не хуже, чем Дима, и даже помогать ей, что мне очень горько и я никак не могу избавиться от мысли, что меня выбрасывают из семьи. Но у меня так болело горло и так сводило челюсти, что я не мог говорить и молчал.

На мгновение у меня мелькнула мысль завтра же уехать к отцу. Но мысль эта тотчас ушла и снова сменилась мыслью о том, что я уже совершенно один.

С трудом я наконец собрал все силы и повторил, запинаясь, что согласен и даже рад поехать в Брянск, но что у меня болит голова и я пойду лягу.

Я ушел в свою холодную комнату, где мы жили вместе с Димой, быстро разделся, лег, натянул на голову одеяло, стиснул зубы и так пролежал почти всю ночь. Мама пришла, окликнула меня, но я притворился спящим. Она укрыла меня поверх одеяла еще моей гимназической шинелью и вышла.

Сборы в Брянск затянулись до декабря. Мне трудно было бросать гимназию, товарищей, начинать новую и, как я знал, невеселую жизнь.

Я написал отцу, что уезжаю в Брянск, но долго не получал ответа. Получил я его за два дня до отъезда.

Обыкновенно, возвращаясь домой из гимназии, я проходил через пустынную площадь за Оперным театром. Возвращался я всегда с товарищами-попутчиками Станишевским и Матусевичем.

Однажды нам встретилась на площади за театром молодая женщина — невысокая, в густой вуали. Она прошла мимо, остановилась и посмотрела нам вслед.

На следующий день на том же месте мы опять встретили эту женщину на том же месте. Она прямо пошла навстречу нам и спросила меня:

— Извините, вы не сын Георгия Максимовича?

— Да. Я его сын.

— Мне надо поговорить с вами.

— Пожалуйста,— ответил я и покраснел.

Станишевский и Матусевич ушли. Они сделали вид, что их совершенно не интересует этот случай, и даже не оглянулись.

— Георгий Максимович,— торопливо сказала женщина, роясь в маленькой сумочке,— просил меня передать вам письмо. Вы понимаете, он хотел, чтобы оно попало непосредственно к вам... Извините, что я это говорю... Я не могла ему отказать. Я вас сразу узнала. Вы похожи на отца. Вот письмо.

Она протянула конверт.

— Вы уезжаете? — спросила она.

— Да. На днях.

— Что ж... Жаль. Могло бы быть все по-другому.

— Вы увидите папу?

Она молча кивнула головой.

— Поцелуйте его за меня,— сказал я неожиданно.— Он очень хороший.

Я хотел сказать, чтобы она очень любила и жалела отца, но сказал только эти три слова: «Он очень хороший».

— Да? — сказала она и вдруг засмеялась, слегка приоткрыв рот. Я увидел ее маленькие, очень белые и влажные зубы.— Спасибо!

Она пожала мне руку и быстро ушла. На руке у нее зазвенел браслет.

До сих пор я не знаю, как звали эту женщину. Мне не удалось это узнать. Знала одна только мама, но тайну этого имени она унесла с собой в могилу.

Мне эта женщина и голосом, и смехом, и браслетом напомнила ту, что я видел у старика Черпунова. Может быть, если бы не густая вуаль, я бы и узнал ее, бабочку с острова Борнео. До сих пор меня иногда мучит мысль, что это была именно та молодая женщина, что угощала меня какао в кондитерской Кирхгейма.

Письмо отца было короткое. Он писал, чтобы я перенес свои испытания мужественно и с достоинством.

«Может быть,— писал он,— жизнь обернется к нам светлой стороной, и тогда я смогу помочь тебе. Я верю твердо, что ты добьешься в жизни того, чего не мог добиться я, и будешь настоящим. Помни один мой совет (я тебе своими советами никогда не надоедал): не осуждай сгоряча никого, в том числе и меня, пока ты не узнаешь всех обстоятельств и пока не приобретешь достаточный опыт, чтобы понять многое, чего ты сейчас, естественно, не понимаешь. Будь здоров, пиши мне и не волнуйся».

На вокзал меня провожали мама и Галя. Поезд отходил утром. Дима не мог пропускать уроки в гимназии. Уходя в гимназию, он поцеловал меня, но ничего не сказал. Мама и Галя тоже молчали.

Маме было холодно, и она не вынимала рук из муфты. Галя цеплялась за маму. У нее за последний год усилилась близорукость. Она терялась в толпе и пугалась паровозных гудков. Мама перекрестила меня, поцеловала холодными тонкими губами, взяла за рукав, отвела в сторону и сказала:

— Я знаю, тебе трудно и ты сердишься. Но пойми,

что хоть тебя одного из нас всех я хочу уберечь от нищеты и от этих мучений. Только ради этого я настояла, чтобы ты поехал к дяде Коле.

Я ответил, что хорошо все понимаю и ничуть не сержусь. Я говорил хорошие слова, но на сердце у меня был холод, и я хотел только, чтобы поезд поскорее отошел и окончилось мучительное прощание.

Должно быть, настоящее прощание с мамой случилось раньше, в ту ночь, когда она в последний раз укрыла меня шинелью. Поезд отошел, но я не видел из окна ни мамы, ни Гали, потому что густой пар от паровоза закрыл платформу и всех провожающих.

На сердце у меня был холод — такой же, как и в вагоне, освещенном жидким светом зимы. В окна пронзительно дуло. Снежные равнины наводили уныние. Ночью шуршала поземка. Мне хотелось уснуть, но сон не приходил. Я смотрел на язычок свечи в фонаре. Ветер отгибал его в сторону и старался задуть. Я загадал, что если свеча не погаснет, то у меня в жизни еще будет что-то хорошее. Свеча упорно боролась с ветром и не погасла до утра. От этого мне стало легче.

Когда я сошел утром в Брянске, был такой мороз, что весь воздух выл от скрипа полозьев. Стужа лежала цепким дымом на земле. В небе пылало багровым огнем обледенелое солнце.

За мною выслали лошадей. В санях лежали тулуп, башлык и рукавицы. Я закутался. Лошади с места взяли вскачь. Мы неслись среди блесткой снеговой пыли — сначала по дамбе, потом по Десне. Неистово колотились под дугой колокольчики. Вдали на горах мерцал, как игрушка из фольги, старый город в мохнатых узорах из инея и сосулек.

Сани остановились около деревянного дома на склоне горы. Я поднялся на крыльцо. Дверь распахнулась. Тетя Маруся схватила меня за рукав, втащила в столовую, где прыгали по потолку солнечные зайчики, и насильно заставила выпить полстакана красного вина. От мороза у меня свело губы. Я не мог говорить.

Все было звонко и весело в доме у дяди Коли. Гудел самовар, лаял Мордан, смеялась тетя Маруся, из печей с треском вылетали искры.

Вскоре пришел из арсенала дядя Коля. Он расцеловал меня и встряхнул за плечи:

— Главное — не скисай! Тогда мы наделаем таких дел, что небу будет жарко.

В доме у дяди Коли я начал постепенно оттаивать. Как всегда в таких случаях, память отодвинула в сторону все неприятное. Она как будто вырезала из ткани плохой кусок и соединила только хорошие — осень в Крыму и эту звонкоголосую русскую зиму.

Я старался не думать о том, что было недавно в Киеве. Я предпочитал вспоминать об Алуште, о трех платанах, о Лене. Я даже написал ей письмо в Ялту, но так и не решился отправить. Оно казалось мне очень глупым. А более умного письма я написать не мог, сколько я над ним ни бился.

АРТИЛЛЕРИСТЫ

Офицеры-артиллеристы из брянского арсенала прозвали дядю Колю «полковником Вершининым». Дядя Коля напоминал Вершинина из чеховских «Трех сестер» даже внешне — черной бородкой и темными живыми глазами. Таким мы все, по крайней мере, представляли себе Вершинина.

Так же как Вершинин, дядя Коля любил говорить о хорошем будущем и верил в него, был мягок и жизнерадостен, но от Вершинина отличался тем, что был хорошим металлургом, автором многочисленных статей о свойствах разных металлов. Статьи эти он сам переводил на французский язык — им он владел в совершенстве — и печатал в парижском журнале «Ревю де металлуржи». Печатались эти статьи и в России, но гораздо реже, чем во Франции. Когда я приехал в Брянск, дядя Коля с увлечением работал над изготовлением булатной стали.

Жадность дяди Коли к жизни была удивительной. Казалось, не было таких вещей, которые его не интересовали. Он выписывал почти все литературные журналы, прекрасно играл на рояле, знал астрономию и философию, был неистощимым и остроумным собеседником.

Самым преданным другом дяди Коли был бородатый капитан Румянцев. Наружностью он напоминал Фета, но только был совершенно рыжий, подслеповатый и добродушный. Все офицерское сидело на нем криво и косо. Даже брянские гимназисты дразнили его «штафиркой».

Рассмотреть Румянцева с первого взгляда было не очень легко. Его всегда окутывали облака табачного дыма, а по застенчивости своей он выбирал в гостиной самые темные углы. Там он сидел за шахматной доской, углубившись в решение задач. Если ему удавалось решить шахматную задачу, он заливался смехом и потирал руки.

Румянцев редко участвовал в общих разговорах. Он только покашливал и посматривал прищуренными глазками. Но как только разговор заходил о политике — Государственной думе или забастовках,— он оживлялся и высказывал самые крайние взгляды.

Румянцев был не женат. С ним жили три его сестры — все одинаково маленькие, стриженые и в пенсне. Все они курили, носили твердые черные юбки, серые кофточки и, будто сговорившись, прикалывали часики английскими булавками к груди на одном и том же месте.

Сестры постоянно прятали на квартире у Румянцева каких-то студентов, стариков в крылатках и таких же строгих женщин, какими были сами. Дядя Коля предупредил меня, чтобы я никому не говорил ни слова, кто живет у Румянцева.

Кроме Румянцева и его сестер, к дяде Коле приходил штабс-капитан Иванов — чистенький, белорукий, с тщательно заостренной светлой бородкой и тонким голосом.

Как большинство холостяков, Иванов прижился в чужой семье у дяди Коли. Он не мог провести ни одного вечера, чтобы не прийти посидеть и поболтать. Всякий раз, снимая в передней шинель и отстегивая шашку, он краснел и говорил, что зашел «на огонек» или для того, чтобы посоветоваться с дядей Колей по делу. Потом он, конечно, засиживался до полночи.

Я был благодарен Иванову за то, что он отучил меня от привычки стесняться простых вещей.

Как-то я встретил Иванова на базаре. Он покупал картошку и капусту.

— Помогите мне дотащить все это до извозчика,— попросил он меня.— Мой Петр (Петр был денщиком Иванова) захворал. Приходится все делать самому.

Когда я тащил вместе с ним к извозчику тяжелую кошелку с капустой, нам встретилась молоденькая учительница немецкого языка из брянской гимназии. В ответ на мой поклон она фыркнула и отвернулась. Я покраснел.

— Напрасно смущаетесь,— сказал Иванов.— Вы же не делаете ничего дурного. Чтобы избавиться от насмешливых взглядов, у меня есть прием — смотреть людям прямо в глаза. Очень хорошо действует.

Мы сели на извозчика, заваленного овощами, и поехали по главной Московской улице. Нам встречалось много знакомых. Встретился даже ехавший в пароконном экипаже начальник арсенала генерал Сарандинаки.

Завидев нас, знакомые усмехались, но Иванов прямо смотрел им в глаза. Под этим взглядом они смущались, переставали усмехаться и в конце концов даже приветливо нам кивали. А Сарандинаки остановил экипаж и предложил Иванову прислать к нему своего денщика. Но Иванов вежливо отказался, заметив, что он прекрасно справляется с этой несложной работой. Генерал поднял брови, слегка толкнул кучера в спину шашкой в черных ножнах, и серые генеральские лошади с места пошли рысью.

— Вот видите,— сказал мне Иванов,— никогда не следует пасовать перед предрассудками.

Я знал, конечно, что Иванов прав, но все же мне было неприятно под обстрелом насмешливых глаз. Сказывалась дурная привычка.

Иногда я ловил себя на том, что боялся поступить не так, как все, стеснялся своей бедности, пытался скрыть ее от товарищей.

Мама относилась к перемене в нашей жизни, как к величайшему несчастью. Изо всех сил она скрывала это от знакомых. Все знали, что отец оставил семью, но мама на вопросы знакомых всегда отвечала, что отец уехал ненадолго и у нас все благополучно. Ночи напролет она штопала и переделывала нашу одежду, боясь, чтобы «люди не заметили» признаков обнищания. Мужество изменило маме. Ее робость передалась и нам.

Когда извозчик подымался на гору к дому Иванова, рассыпалась капуста. Кочаны, подпрыгивая и перегоняя друг друга, покатились по мостовой. Засвистели мальчишки. Извозчик остановился. Мы слезли и начали подбирать кочаны.

Я был, должно быть, совершенно красный от стыда, потому что Иванов, взглянув на меня, предложил:

— Давайте я подберу сам. А вы уж идите лучше домой.

Если раньше мне было стыдно подбирать кочаны на глазах у прохожих, то после этих слов я покраснел до слез от стыда за себя. Я с остервенением подобрал последние кочаны и мимоходом дал оглушительную затрещину мальчишке Самохину, сыну брянского купца. Он приплясывал на тротуаре и дразнился:

Ехал, ехал гимназист,
Потерял капустный лист!

Юный Самохин, ревя и размазывая слезы, скрылся в своем дворе.

Я был уверен, судя по хитрым глазам Иванова, что он рассыпал капусту нарочно.

С этого времени я начал даже бравировать. Каждый день я выходил на улицу с деревянной лопатой и разгребал снег, колол дрова, топил печи и не только не уклонялся от грубой работы, но всячески на нее напрашивался. А мальчишка Самохин еще долго, завидев меня, прятался за калитку и кричал оттуда:

— Синяя говядина!

«Синей говядиной» звали гимназистов за их синие фуражки. Но эти выпады Самохина уже не производили на меня впечатления.

Жизненные уроки Иванова подкрепил подполковник Кузьмин-Караваев, узкогрудый человек с серыми твердыми глазами.

Он основал в Брянске первое потребительское общество и открыл на Болховской улице потребительскую лавку. Он сам доставал товары и торговал ими в тесном амбаре.

Эта затея Караваева вызвала смятение среди брянских купцов. Старшина купеческого сословия посылал на Караваева доносы в Петербург, в Главное артиллерийское управление. Но за Караваева стеной стояли интеллигенция и рабочие арсенала. Доносы не помогли. Потребительская лавка с каждым днем богатела и расцветала.

Все по очереди помогали Караваеву торговать в лавке, меня же он взял к себе постоянным помощником.

Почти все свободное время я проводил в лавке, откупоривал пахучие ящики с бакалейным товаром, развешивал соль, муку и сахар. Караваев, в грубом фартуке, какие носят кузнецы, надетом поверх щегольской тужурки, работал быстро, шутил с покупателями и рассказывал мне много интересных вещей о происхождении товаров.

В лавке у Караваева были собраны товары со всей страны — табаки из Феодосии, грузинские вина, астраханская икра, вологодские кружева, стеклянная мальцевская посуда, сарептская горчица и сарпинка из Иваново-Вознесенска. В лавке пахло селедочным рассолом, мылом, но все заглушал чудесный запах свежих рогож, сваленных в задней комнате.

Вечером Караваев закрывал амбар на железный засов, и мы пили с ним крепкий чай. Чайник подпрыгивал на чугунной печурке. Караваев колол японским плоским штыком сахар. От сахара летели синие искры. Я доставал из деревянного ларя медовые пряники — жамки.

К чаепитию в лавку всегда приходил кто-нибудь из знакомых посидеть и поболтать — то Иванов, то сестры Румянцевы, то тетя Маруся.

Иванов садился на пустой ящик, не снимая шинели и даже перчаток, и начинал доказывать Караваеву, что Россия еще не доросла до потребительских лавок. Караваев удушливо кашлял и отмахивался от Иванова.

Тетя Маруся всегда приносила к чаю домашние коржики или пирожки.

Сестры Румянцевы пили чай из блюдечек, поблескивая пенсне. Они называли Караваева Дон-Кихотом и говорили, что его возня с лавкой — проповедь малых дел и что России нужны не потребительские лавки, а великие потрясения.

Тогда Иванов начинал позванивать шпорой и напевать «Мальбрук в поход собрался». Сестры Румянцевы обзывали Иванова ретроградом и уходили.

Ранней весной потребительская лавка сгорела. Поджог был сделан грубо и откровенно — дверь в лавку взломали, а товары облили керосином.

Весь город знал, что поджог — дело брянских купцов, но следствие тянулось долго и окончилось ничем. Караваев осунулся, начал кашлять еще сильнее и, отмахиваясь от собственного кашля, говорил:

— Finita la comedia! [1] Нашу страну может перекроить только потрясение. Вздернуть на дыбы всю Россию, тогда получится толк.

Убытки от пожара были большие. Их с трудом покрыли пайщики потребительского общества — рабочие брянского

[1] Комедия окончена! *(лат.)*

арсенала и товарищи Караваева, артиллеристы. Удивительнее всего было то, что львиную долю убытков взял на себя штабс-капитан Иванов. Он был бережлив и за годы службы в арсенале скопил несколько тысяч рублей. Почти все эти деньги он отдал Караваеву.

Я провел зиму и лето в дружной семье арсенальцев. Но горечь пережитого в Киеве не проходила. Я постоянно вспоминал о маме, об отце, и мне было временами стыдно, что я живу в теплом и гостеприимном доме, где всегда было ровное и веселое настроение. Я представлял себе холодный киевский подвал, пустой стол с хлебными крошками, озабоченное лицо мамы, усталого от репетиторства Диму.

Мама писала мне редко, а Галя и Дима не писали совсем. Иногда мне казалось, что мама не пишет потому, что у нее нет денег даже на марки. Надо было что-то делать, чтобы ей помочь, но я не знал что.

Я не мог привыкнуть к брянской гимназии. Все гимназисты в моем классе были гораздо старше меня. Я все чаще с сожалением вспоминал киевскую гимназию и задумывался над тем, чтобы вернуться в Киев. В конце концов я написал письмо своему классному наставнику, латинисту Субочу. Я откровенно рассказал ему все, что со мной случилось, и спрашивал, могу ли я вернуться. Вскоре я получил ответ.

«С нового учебного года, то есть с осени,— писал Субоч,— вы уже зачислены обратно в Первую гимназию, в мой класс, и будете освобождены от платы. Что касается материальной стороны дела, то я смогу предложить вам несколько приличных уроков. Это даст возможность существовать хотя и скромно, но самостоятельно и ни для кого не являться обузой. А пережитыми передрягами не огорчайтесь — tempora mutantur et nos mutamur in illis,— надо надеяться, что меняемся мы в лучшую сторону».

Я прочел это как будто деловое письмо, и спазма сжала мне горло. Я понял ласковость письма и еще понял, что с этой минуты я уже сам, ни на кого не надеясь, начинаю строить свою жизнь.

От этого сознания стало страшно, хотя в то время мне было уже почти шестнадцать лет.

ВЕЛИКИЙ ТРАГИК КИН

На заборах в Брянске были расклеены желтые афиши о гастролях актера Орленева.

Афиши были напечатаны на шершавой и тонкой бумаге. Она насквозь промокала от клейстера. Козы срывали и сжевывали эти афиши. Изо рта у жующих коз торчали обрывки желтой бумаги с черными словами: «Гений... беспутство». Только на немногих уцелевших афишах можно было прочесть, что Орленев выступит в Брянске в роли английского трагика Кина в пьесе «Кин, или Гений и беспутство».

Дядя Коля заранее взял билеты на спектакли Орленева. Несколько дней в доме у дяди Коли говорили только об Орленеве.

Спектакли были назначены в летнем театре в городском саду. Театр был деревянный, старый, покрытый облупившейся розовой краской. На стенах его годами клеили афиши. Выцветшая от дождей бумага висела толстыми клочьями.

Театр был всегда заколочен. В сумерки из-под крыши театра вылетали летучие мыши и шныряли над глухими аллеями. Девицы в белых платьях визжали от страха — существовало поверье, что летучие мыши вцепляются во все белое и потом их нельзя оторвать.

Заброшенный театр казался таинственным. Я был уверен, что в пустом его зале и актерских уборных до сих пор валяются засохшие цветы, коробочки с гримом, ленты, пожелтевшие ноты. Валяются еще с тех времен, когда в этом театре, по городскому преданию, играла заезжая оперетта.

Нарумяненные юные женщины с подведенными синькой глазами пробегали из уборных по скрипучим доскам на сцену, волоча бархатные шлейфы. Обольстительно звенели гитары под пальцами нагловатых первых любовников, и слова жестоких романсов щемили простодушные сердца горожан:

> Мне снился день, который не вернется,
> И человек, который не придет...

Этот театр видел все: молодых цыганок с надрывающим сердце голосом, разорившихся помещиков, пахнувших лошадиным потом,— они скакали сто верст, чтобы

попасть на концерт какой-нибудь Нины Загорной,— корнетов с черными баками, купцов в коричневых котелках, невест, трепещущих от испуга, в пышных, как пена, розовых платьях.

Мои мысли об этом театре были связаны с июльскими ночами, когда над шапками лип мигали зарницы, кровь шумела в голове, ничего не было страшно и ничего не было жаль ради забубенной женской песни и мимолетной любви. Когда всё — трын-трава, и все счастье — в одном только взгляде из-под милых ресниц. Взгляде под звон бубенцов, под гиканье захмелевшего ямщика. Один только взгляд, как взмах черной зарницы в этих душных ночах, что настоялись на запахе лип и были полны далеким гулом Брянских лесов — бездорожных, непроходимых, врачующих сердце от хандры и измены.

Стены театра хранили в себе отзвуки умолкнувших голосов, память о жизни напропалую, похищениях, дуэлях, заглушенных рыданиях и горячих сердцах.

Казалось, что театр давно умер, затянулся паутиной и никто никогда в нем больше не будет играть.

Но его открыли, прибрали, проветрили, постелили ковровые дорожки, смахнули пыль с бархатной обивки лож, и она из серой снова сделалась вишнево-красной.

Под потолком загорелась люстра. Старенький ее хрусталь сначала поблескивал неуверенно и тускло, но потом, вздрогнув от первых пассажей оркестра, смело засверкал десятками разноцветных позванивающих звезд.

У дверей появились старые капельдинеры в нитяных белых перчатках. Пахну́ло духами, свежестью сада, запахом конфет. Послышался приглушенный гул голосов, бренчанье шпор, скрип кресел, смех, шуршание узких программок — на них была напечатана лира в венке из дубовых листьев.

— Орленев, Орленев, Орленев! — слышалось во всех концах театрального зала.

Дядя Коля сидел в ложе в изящном своем форменном сюртуке с черным бархатным воротом. Тетю Марусю окружал пепельный блеск. Он исходил от ее серого, похожего на дым, нового платья, от ее волос и возбужденных серых глаз — она давно уже не была в театре.

Штабс-капитан Иванов спокойно прошел по ковровым дорожкам. На его остроносых ботинках журчали маленькие шпоры.

Даже капитан Румянцев расчесал рыжую бороду-лопату и пришел в сюртуке. Он поминутно вынимал из заднего кармана носовой платок и вытирал красное лицо.

Сестры Румянцевы сидели тесно рядом, и щеки у них нестерпимо пылали.

На спектакль пришли и мои старые знакомые по Рёвнам — Володя Румянцев и Павля Теннов.

Володя Румянцев забрался на галерку, хотя у него было место в ложе,— он был в ссоре с сестрами.

Павля Теннов сидел со снисходительным видом, далеко вытянув перед собой скрещенные ноги. Ему ли, старому петербургскому студенту, было волноваться перед этим спектаклем!

В ложе тетя Маруся притянула меня за руку, сняла пушинку с ворота моей куртки, внимательно посмотрела на мои волосы и пригладила их.

— Ну вот, теперь хорошо.

Я взглянул на себя в тусклое зеркало в аванложе. Я был очень бледен и так еще по-детски худ, что, казалось, вот-вот сломаюсь.

Запавес поднялся, и начался спектакль.

Я видел в Киеве хороших актеров, но сейчас невысокий человек с печальным и резким лицом совершал на сцене великое чудо. Каждый звук его голоса раскрывал больную и прекрасную душу великого Кина. «Оленя ранили стрелой!» — крикнул он звенящим голосом, и в этом возгласе прорвалась вся безысходная тоска по милосердию.

Я весь дрожал, когда в зрительном зале начался разыгранный актерами театральный скандал. Я не мог сдержать слез, когда опустился занавес, на авансцену вышел заплаканный старый режиссер-англичанин и сказал дрожащим голосом, что спектакль не может продолжаться, потому что «солнце Англии — великий трагик Кин сошел с ума».

Тетя Маруся обернулась ко мне, похлопала меня по руке и что-то хотела сказать, должно быть шутливое, но вместо этого изумленно вскрикнула и встала. Дядя Коля тоже обернулся и встал.

Весь зал сотрясался от аплодисментов.

Я тоже обернулся. За моей спиной стоял отец, все такой же усталый, с ласковой и печальной улыбкой, но совершенно седой. У меня все завертелось в глазах, потом

сразу оборвалось и стало тихо и темно. Отец подхватил меня.

Я плохо помню, вернее — совсем не помню, что было дальше. Я очнулся на маленьком диване в аванложе. Ворот моей куртки был расстегнут. По подбородку стекала вода, а тетя Маруся смачивала мне виски одеколоном. Отец поднял меня за плечи, посадил и поцеловал.

— Посиди немного, не двигайся,— сказал он.— Сейчас все пройдет. Неужели вы не получили моей телеграммы?

Пока усталый Орленев выходил кланяться и подбирал цветы, летевшие на сцену, отец наскоро рассказал, что он получил место на вагоностроительном заводе в Бежице. Поселок Бежица был всего в восьми километрах от Брянска.

Отец только что приехал, никого не застал в доме у дяди Коли и пришел за нами в театр.

— А как же мама? — спросил я.

— Мама? — переспросил отец.— Кстати, я привез тебе письмо от нее. Мама не хочет жить в Бежице. Она поедет с Димой в Москву и думает поселиться там навсегда. Конечно, возьмет с собой и Галю.

— А обо мне она что-нибудь говорила?

Отец подумал.

— Кажется, нет. Я ее очень мало видел. Она, должно быть, все тебе написала. Ты прочти.

Он протянул мне письмо. Все еще гремели аплодисменты. Я быстро прочел письмо. Оно было короткое и сухое.

Мама писала, что я должен еще побыть у дяди Коли, пока жизнь не наладится. Сейчас мама ничего мне не может сказать утешительного. В Москву она собирается переезжать через месяц, в июле. Лето я должен прожить в Брянске, но если хочу, то могу прожить и в Бежице с отцом. Но все же было бы лучше и спокойнее, если бы я провел его в Брянске. «На пути из Киева в Москву,— писала мама,— мы, к сожалению, не сможем остановиться в Брянске, но я пришлю телеграмму, ты приедешь на вокзал, мы увидимся и обо всем поговорим».

Когда я кончил читать письмо, тетя Маруся, смеясь, сказала отцу:

— Мы его теперь никому не отдадим. Даже вам, Георгий Максимович.

— Ни за что не отдадим,— сказал дядя Коля.— Но, в общем, мы с тобой об этом поговорим, Георгий.

— Поговорим,— согласился отец.

Мы пошли через городской сад к экипажу. Калильные фонари шипели среди деревьев. Военный оркестр на эстраде играл бравурный марш, будто радовался тому, что спектакль окончился и снова можно греметь во всю силу фанфар и тромбонов.

Мы сели в экипаж. Лошади, перебирая ногами, спускались с крутой горы.

Я был обескуражен маминым письмом. После него все оставалось таким же неясным, как и было. Очевидно, мама, так и не помирилась с отцом. Я не мог понять, почему мама пишет мне так холодно. Неужели она начала забывать обо мне? Неужели я уже никому не нужен?

Отец оживленно говорил с дядей Колей. Почему он не расспросил меня ни о чем? Я мог бы ему рассказать много печального. Может быть, я выплакался бы и мне стало бы легче.

Все любили меня в доме дяди Коли — и он, и тетя Маруся, и даже все товарищи дяди Коли, но все же в груди у меня постоянно стоял тяжелый комок. Я должен был скрывать свою грусть, чтобы не обидеть ею дядю Колю и тетю Марусю.

Я вспомнил слова Субоча, что скоро я уже смогу ни для кого не быть обузой. Я весь сжался. Все стало понятно. Значит, я обуза для всех. У отца своя жизнь. Кто знает, может быть, в Бежице он будет жить не один.

А мама? Почему же мама так легко отказалась от меня? Должно быть, из-за Гали. Галя слепла, врачи ничем не могли ей помочь. Мама была в отчаянии от этого. Страшная судьба Гали поглощала все ее мысли. Должно быть, у мамы ничего уже не оставалось в душе, кроме неистовой жалости к Гале.

Пыльная луна висела над городом. Железные крыши, залитые лунным светом, казались мокрыми. Тетя Маруся наклонилась ко мне:

— Дай мне, если можно, письмо.

Я протянул ей письмо.

Она сложила его узкой полоской, засунула в прорез лайковой перчатки и застегнула прорез на перламутровую пуговку.

У меня разболелась голова. Она болела так сильно, что на глазах даже выступили слезы.

— Что с тобой? — спросила тетя Маруся.

— Очень болит голова.

— Бедный, все на тебя сразу свалилось!

Дома меня уложили в постель. Я лежал и прислушивался к разговору в столовой и к голосу отца. Я все ждал, когда же он придет ко мне проститься на ночь.

Свежий воздух лился в окно и туманил голову. Засыпая, я слышал, как Орлепев крикнул в соседней комнате измученным голосом: «Оленя ранили стрелой!» Тотчас далеко, на самом краю ночи, заиграла нежная музыка. Она уходила вдаль, затихала, как будто оглядывалась и кивала мне головой.

Потом тетя Маруся сказала: «Он слабый у вас. Слишком большое для него волнение».— «У кого это — у вас?» — спросил я. «Спи,— сказал голос тети Маруси.— Я от тебя не уйду. Вы уж сами налейте себе чаю». Чайные ложечки начали вертеться в стаканах все скорей и скорей. От этого у меня закружилась голова, и я начал падать. Я падал долго и, пока падал, все забыл.

Несколько дней я пролежал в жару, с головной болью. За это время отец уехал в Бежицу.

Как только я поправился, мы с дядей Колей поехали к отцу.

Бежица оказалась сырым и скучным поселком. Земля здесь была перемешана с ноздреватым шлаком из заводских печей. В палисадниках росли кривые березы. Дымил завод.

В бревенчатом доме, в квартире отца, тоже пахло угольным дымом. Обстановка была скудная. Кроме отца, в квартире никто не жил.

Мы застали отца за чтением энциклопедического словаря.

Отец очень обрадовался нам.

— Я понимаю,— сказал он дяде Коле,— что Костику здесь совсем нельзя жить: и скучно, и неустроенно, и одиноко. Да я и сам здесь долго не протяну.

— А что же ты думаешь делать? — строго спросил дядя Коля.

— Уеду куда-нибудь. Жизнь, в общем, не задалась. Теперь мне все равно. Сам виноват.

Я смотрел на отца. Сейчас он был совсем не таким,

как был в пятом году или давным-давно — в Городище, Геленджике или в комнате художника Врубеля. Как будто там был действительно он, а здесь его двойник — неудачник.

ОДИН НА БОЛЬШОЙ ДОРОГЕ

И вот они пришли наконец, эти дни с первыми признаками увядания.

За домом дяди Коли тянулся по крутому склону оврага старый яблоневый сад. Дуплистые стволы яблонь и кривой забор были покрыты лишаями.

В саду, кроме меня, почти никто не бывал.

Я приходил в сад с тетрадкой, ложился на землю и писал стихи. Насколько я теперь понимаю, это были плохие стихи. В них все тонуло в расплывчатой грусти.

По стихотворным строчкам суетливо бегали муравьи, перетаскивали сухую осу. Гнилые веточки падали на тетрадку с деревьев.

Небо, прозрачное, несмотря на свою густоту, сверкало над садом. По небу тянул ветер, сваливал за Десну облака. Я как-то начал их считать, насчитал двести и бросил. У меня зарябило в глазах.

Осень предупреждала о своем приходе то сухим листком, невзначай забытым на скамейке, то маленькой зеленой гусеницей, спускавшейся по паутине прямо мне на голову.

Было жалко уходящего лета. Дядя Коля провел его в Брянске. Летом я часто приходил к дяде Коле в арсенал, в его лабораторию или в кузнечную мастерскую.

Я любил смотреть, как работал паровой молот. Около этого молота я услышал от штабс-капитана Иванова рассказ о знаменитом кузнеце Обуховского завода. Он мог так осторожно расколоть стопудовым паровым молотом грецкий орех на донышке перевернутого стакана, что стакан оставался целым.

Мне нравился арсенал, его низкие здания, построенные еще при Екатерине, дворы, заросшие муравой и заваленные чугунными отливками, сирень у стен мастерских, цилиндры старых паровых машин, блестевших маслянистой медью, запах спирта в лабораториях, бородатые кузнецы и литейщики и фонтан голубоватой артезианской воды, бившей из-под земли около стены арсенала.

Надо было прощаться со всем этим, с Брянском, с уютным домом дяди Коли, и, может быть, прощаться надолго.

Осенью я уезжал обратно в Киев. Так было решено на коротком семейном совете на Брянском вокзале, когда мама с Галей и Димой проезжала в Москву. Я приехал на вокзал с дядей Колей и тетей Марусей, чтобы повидать маму.

Мама постарела и разговаривала с дядей Колей виноватым голосом, будто хотела перед ним оправдаться.

Галя почти совсем ослепла. Кроме того, она начала плохо слышать. Она носила толстые двойные очки. Когда к ней обращались, она долго озиралась, стараясь догадаться, кто с ней разговаривает, и отвечала невпопад. Дима был угрюм и спокоен.

Мама обняла меня, потом осмотрела с ног до головы и заметила, что я выгляжу гораздо лучше, чем в Киеве. В голосе ее послышалась обида.

Я сказал, что хочу вернуться в Киев и что меня приняли обратно в Первую гимназию. Я буду жить с Борей и зарабатывать уроками.

Мама отвернулась и ответила, что она очень хотела бы взять меня в Москву, но сейчас это невозможно. Она сама не знает, как сложится ее жизнь в Москве.

Галя все говорила:

— Костик, ты где? Ах, ты здесь! А я тебя совсем не вижу.

Тетя Маруся быстро начала говорить, что отпускать меня в Киев безумие, что она, может быть, ничего не понимает и не имеет права вмешиваться в наши семейные дела, но...

Она замолчала, заметив предостерегающий взгляд дяди Коли. Мама ничего не ответила. Она смотрела за окно вагона на платформу. Глаза ее потемнели от гнева.

— Наконец-то! — сказала мама.— Лучше поздно, чем никогда.

По платформе шел отец. Он только что приехал рабочим поездом из Бежицы. На отце был черный, лоснившийся от старости пиджак.

Отец вошел в вагон. Тотчас вокзальный колокол ударил два раза.

Мы начали прощаться. Отец поцеловал у мамы руку и сказал:

— Маруся, Костика я беру на себя. Я буду каждый месяц посылать ему на жизнь и на все необходимое.

— Дай-то бог! Хоть этот пустяк ты не забывай делать. Прошу тебя.

Дима холодно попрощался с отцом, а Галя, совсем как слепая, протянула к отцу руку и старалась дотронуться до его лица. Отец так побледнел, что даже глаза у него сделались белыми.

Пробил третий звонок.

Мы вышли на платформу. Мама сказала из окна, что обязательно приедет ко мне зимой в Киев.

Поезд тронулся.

Отец стоял, сняв шляпу, и смотрел на пробегавшие колеса вагона. Он не захотел поехать в город к дяде Коле, сославшись на то, что ему нужно первым же поездом возвращаться в Бежицу, где его ждет срочная работа.

Мы возвращались в экипаже домой. В дороге дядя Коля и тетя Маруся молчали. Тетя Маруся покусывала маленький платок. Потом она посмотрела на дядю Колю и сказала:

— Нет, я все-таки не понимаю. Как же так можно!

Дядя Коля нахмурился и показал ей глазами на меня. Тетя Маруся замолчала.

Мне было стыдно за всю нашу семейную неурядицу, портившую жизнь не одним только нам. Я мечтал о том, чтобы поскорее уехать в Киев и забыть эти беды и неприятности. Лучше одиночество, чем жизнь в клубке взаимных обид, утомительных и непонятных.

Я ждал августа, когда уеду в Киев. Он пришел наконец, с палыми листьями и пасмурными дождями.

В день моего отъезда сеялся дождь, задувал ветер. Вагоны поезда Москва — Киев были исхлестаны дождем. Отец не приехал проводить меня, хотя и обещал.

На вокзале дядя Коля пытался односложно шутить. Тетя Маруся засунула мне в карман шинели конверт и сказала: «Прочтешь в дороге».

Когда поезд тронулся, она отвернулась. Дядя Коля взял ее за локоть и повернул лицом к поезду. Тетя Маруся улыбнулась мне и опять отвернулась.

Дождевые капли бежали по оконному стеклу. Из-за них ничего не было видно. Я опустил окно и высунулся.

Дядя Коля и тетя Маруся стояли на платформе и смотрели вслед поезду. Пар падал на землю. Далеко позади

поезда я увидел полосу чистого неба. Там уже светило солнце.

Мне это показалось хорошим предзнаменованием. Я достал из кармана конверт. В нем были деньги и записка:

«Береги себя. Ты выходишь один на большую дорогу, а потому не забывай, что у тебя есть провинциальные дядя и тетя. Они тебя крепко любят и всегда готовы помочь».

ДИКИЙ ПЕРЕУЛОК

Боря жил в меблированных комнатах «Прогресс» на грязной Жилянской улице, около вокзала.

Он встретил меня приветливо и покровительственно.

— Молодец,— сказал он,— что решил быть самостоятельным! Поживи пока у меня. Потом мы найдем тебе место получше. Здесь тебе жить не стоит.

— Почему?

— Увидишь.

Увидел я это довольно скоро. Как только Боря ушел в Политехнический институт, в комнате немедленно появился одутловатый человек с лицом, похожим на кочан кислой капусты. На одутловатом висела пыльная студенческая тужурка и болтались зеленые брюки с пузырями на коленях. Выпуклые и пустые его глаза медленно вращались, разглядывая комнату, полку с продуктами и меня.

— Граф Потоцкий! — представился одутловатый.— Ближайший друг вашего брата. Бывший студент Политехничесокго института. Выбыл из него по неизлечимой болезни.

— Чем же вы больны? — спросил я участливо.

— Болезнь моя не поддается описанию,— ответил граф Потоцкий и зачерпнул из коробки на столе горсть Бориных папирос.— Страдаю невыразимо. Благодаря болезни три года подряд проваливался на экзамене у профессора Патона. Вы знаете Патона?

— Нет.

— Зверь! — заметил граф Потоцкий, взял со стола колбасу, повертел ее и сунул в карман.— Гонитель всех, кто жаждет успеха. Лекарство от моей болезни — обыкновенный креозот. Но родители задержали высылку денег, и, натурально, иссякла наличность, чтобы сбегать в ап-

теку за вышеупомянутым креозотом. Нельзя ли у вас сообразить до завтра?

— Что сообразить? — спросил я, не понимая.

— Ну ладно! — Граф Потоцкий добродушно улыбнулся.— Надоело паясничать! Хотел попросить у Бори три рубля, да вот опоздал. Может быть, у вас найдется зелененькая?

— Да, конечно! — Я поспешно достал из кармана деньги.— Вам три рубля?

— Ах, юноша! — воскликнул с огорчением Потоцкий.— Если просит взаймы нахал, то он преувеличивает, а если порядочный, то преуменьшает. Если бы я был, избави бог, нахалом, я попросил бы двадцать рублей. Я же прошу всего три! Вы спросите, где же истина? Истина, как всегда, посередине. Двадцать минус три равно семнадцати. Мы делим семнадцать на два и получаем восемь с полтиной. Некоторое закругление дает цифру в девять рублей. Удобно и просто.

Я протянул ему вместо девяти десять рублей. Он взял их очень странно. Я даже не заметил, как он их взял. Деньги как бы растаяли в воздухе.

Пока мы разговаривали с графом Потоцким, дверь в номер все время поскрипывала. Но как только деньги растаяли в воздухе, дверь решительно распахнулась и в комнату влетела коротенькая женщина в пеньюаре. При каждом шаге у нее на ногах щелкали туфли. Они были ей велики.

— Зачем?! — закричала она страстным голосом.— Зачем давать этому изуверу деньги? Отдай! — прошипела она сквозь зубы и схватила графа Потоцкого за тужурку.

Рукав тужурки затрещал.

Граф вырвался и метнулся в коридор. Женщина бросилась за ним. Туфли ее стреляли, как пистолеты.

— Отдай! — кричала она.— Хоть три рубля! Хоть два!

Но граф с непостижимой быстротой скатился по лестнице на улицу и исчез. Женщина в пеньюаре прислонилась к стене и зарыдала ненатуральным, противным голосом. Изо всех комнат начали выглядывать жильцы. Это помогло мне увидеть их всех сразу. Первым выглянул прыщавый юноша в лиловой рубахе. Он пристегивал к ней розовый целлулоидовый воротничок.

— Мадам Гуменюк,— сказал он повелительно,— примите меры!

В коридоре показалась владелица меблированных комнат «Прогресс» мадам Гуменюк — полная дама с ласковыми томными глазами. Она подошла к женщине в пеньюаре и сказала неожиданно очень ясным и злым голосом:

— Марш к себе! Без скандала! Вы дождетесь полиции! Даю честное слово женщины!

Женщина в пеньюаре спокойно пошла к себе в комнату. Коридор еще долго шумел, обсуждая происшествие с графом Потоцким.

Когда пришел Боря, я рассказал ему обо всем. Боря заметил, что я дешево отделался, и сказал, чтобы впредь я не поддавался ни на какие уловки. Граф Потоцкий вовсе не граф и не бывший студент, а судейский чиновник, выгнанный со службы за пьянство.

— Меня они боятся,— заметил Боря.— Но с твоим характером лучше их избегать. Здесь собрались одни подонки.

— Зачем же ты здесь живешь?

— Я привык. Мне они не мешают.

Через месяц Боря нашел мне комнату «на всем готовом» у маминой знакомой старушки, пани Козловской, в Диком переулке.

Я получил деньги от отца и рассчитал, что если даже он больше ничего мне не пришлет, то три месяца я смогу прожить, не занимаясь уроками.

В квартире у пани Козловской, кроме нее и ее сына, пехотного поручика Ромуальда, никто не жил. Это была тесная квартирка с липкими от плохой краски полами. Окна выходили в вырубленный сад. В нем осталось всего два-три дерева. Зимой в этом саду устраивали каток. В кучи снега по краям катка втыкали елочки. Они быстро желтели. Каток был дешевый, для мальчишек с Глубочицы и Львовской улицы. На нем даже не было оркестра, а играл граммофон с огромной лиловой трубой.

Дикий переулок был действительно диким. Он никуда не вел. Он терялся в пустырях, заваленных снегом и кучами золы. Зола курилась сизым дымком. С пустырей всегда несло угаром.

Я украсил свою каморку портретами Байрона, Лермонтова и Гюго. По вечерам я зажигал кухонную лампочку. Она освещала только стол и портрет Гюго. Бородатый писатель сидел, грустно подперев голову рукой в круглой

крахмальной манжете, и смотрел на меня. У него было такое выражение, будто он говорил: «Ну-ну, молодой человек, что же вы будете делать дальше?»

Я увлекался в то время «Отверженными» Гюго. Пожалуй, больше, чем самое содержание романа, я любил бурные вылазки старика Гюго в историю.

В ту зиму я вообще много читал. Я никак не мог привыкнуть к одиночеству. Книги помогали мне избавляться от него. Я часто вспоминал нашу жизнь на Никольско-Ботанической, Лену, веселых артиллеристов, фейерверки в старом парке в Рёвнах, Брянск. Всюду я был окружен разнообразными и доброжелательными людьми.

Сейчас я ощущал вокруг себя безлюдье. В лампе что-то гудело. Этот звук усиливал одиночество.

Но прошел месяц, второй, и произошел перелом. Я начал замечать, что чем неприглядиее выглядела действительность, тем сильнее я чувствовал все хорошее, что было в ней скрыто.

Я догадывался, что в жизни хорошее и плохое лежат рядом. Часто хорошее просвечивает через толщу лжи, нищеты и страданий. Так иногда в конце ненастного дня серые тучи вдруг насквозь просветятся огнем заходящего солнца.

Я старался находить черты хорошего всюду. И часто, находил их, конечно. Они могли блеснуть неожиданно, как хрустальная туфелька Золушки из-под ее серого рваного платья, как мог блеснуть где-нибудь на улице внимательный и ласковый взгляд ее глаз. «Это я,— говорил этот взгляд.— Разве ты не узнал меня? Сейчас я обернулась нищенкой, но стоит мне сбросить лохмотья, и я превращусь в принцессу. Жизнь полна неожиданного. Не бойся. Верь в это».

Смутные эти мысли одолевали меня в ту зиму.

Я был в начале жизненного пути, но мне казалось, что я уже знаю этот путь целиком. Я вычитал у Фета стихи. Они, по-моему, подходили к тому, что ожидало меня:

> Из царства вьюг, из царства льдов и снега
> Как свеж и чист твой вылетает май!

Я читал вслух эти стихи. Пани Козловская слушала из-за стены. Поручик Ромуальд приходил поздно, а иногда и совсем не ночевал дома. Пани Козловской было скучно, и она радовалась звукам любого человеческого голоса.

ОСЕННИЕ БОИ

В гимназии учителя и товарищи встретили меня после Брянска так же приветливо, как и Боря. Даже протоиерей Трегубов произнес несколько подходящих к случаю назидательных слов о блудном сыне.

Субоч придирчиво расспросил меня, как я устроился, и пообещал через месяц достать мне уроки. Инспектор Бодянский издал страшный звук носом, похожий на храп,— этим звуком он привык пугать кишат,— и сказал:

— Виновны, но заслуживаете снисхождения. Ступайте в класс и больше не грешите!

Но согрешить мне все же пришлось.

В нашей гимназии в каждом классе было по два отделения — первое и второе. Первое отделение считалось аристократическим, второе — демократическим.

В первом отделении учились преимущественно оболтусы — сыновья генералов, помещиков, крупных чиновников и финансистов. В нашем же, втором отделении учились дети интеллигентов, разночинцев, евреи и поляки.

Разделение это производилось, очевидно, сознательно, в силу предписания свыше.

Вражда между первым и вторым отделениями никогда не затихала. Она выражалась во взаимном презрении. Но раз в год, осенью, происходила традиционная драка между первыми и вторыми отделениями во всех классах. В ней не участвовали только кишата и гимназисты последнего класса. Они уже считались взрослыми, почти студентами, и драться им было не к лицу. Случались и пустые осени, когда драк не бывало.

День драки менялся из года в год. Делалось это, чтобы обмануть бдительное наше начальство. Но начальство по некоторым признакам догадывалось о приближении знаменательного дня, начинало нервничать и шло на хитрости, чтобы предотвратить сражение: то неожиданно распускало после первого же урока подозрительный класс, который мог быть зачинщиком боя, то уводило два-три класса на экскурсию в художественный музей, то внезапно закрывало выходы в сад, где обычно происходила драка.

Но никакие ухищрения не помогали. Бой начинался в назначенный день и всегда на большой перемене.

Некоторых гимназистов класс «освобождал» от драки. Освобождали больных, слабосильных или тех мальчиков, которые чувствовали отвращение не только к драке, но даже к обыкновенной возне друг с другом. Их освобождали охотно: никакого толку от них все равно не было. Меня освобождали по последней причине.

Освобожденные во время боя должны были быть без кушаков. В этом случае, по железным законам гимназической войны, их никто не трогал.

Освобожденные предпочитали все же не выходить в сад и наблюдали бой из окон классов — оттуда было лучше видно.

Бой начинался с внезапной и зловещей тишины в здании гимназии. Коридоры мгновенно пустели. Все гимназисты устремлялись в сад.

Потом раздавался глухой и грозный рев. От него бледнел и крестился инспектор Бодянский. В облаках пыли, поднятой наступающими друг на друга рядами, проносились, свистя, как картечь, сотни каштанов.

Все сторожа — Казимир, Максим Холодная Вода и еще несколько других — бежали рысью в сад. За ними мчались, обгоняя друг друга, испуганные надзиратели. Хлопали двери. В коридорах раздавались встревоженные голоса учителей.

Инспектор Бодянский, натягивая на ходу форменное пальто и нахлобучивая фуражку с кокардой, сбегáл по лестнице, торопясь на место боя.

Однажды вслед за Бодянским в сад поспешно спустился и ксендз-каноник Олендский. Мы полезли на подоконники. Нам хотелось увидеть, как Олендский подымет над головой крест и будет призывать враждующих к примирению.

Но вместо этого Олендский, засучив рукава сутаны, начал разнимать дерущихся и расшвыривать их в стороны. Он делал это с необыкновенной ловкостью. Гимназисты отлетали от него, как мячи. Должно быть, Олендский вспомнил свое детство.

Ксендз, отдуваясь, вернулся из сада в учительскую. Судя по его разгоряченному и сияющему лицу, участие в этом бою, даже в качестве примирителя, доставило ему большое удовольствие.

Как только вспыхивал бой, все запасные выходы в сад немедленно открывались. Это было военной хитростью. Выходы открывались для того, чтобы сторожа и надзиратели, разъединяя дерущихся, могли оттеснять их по частям в эти запасные выходы.

— В Первой гимназии началось! — орали на улице мальчишки.

Из окон трудно было разобрать, что происходит и что началось. Летела пыль, трещали ветки деревьев. Были слышны крики и глухой топот, будто в саду наступали друг на друга, отдавливая ноги, стада слонов.

Потом, все сметая, раскатываясь по гулким коридорам, возникал, рос, превращался в громоподобный рев ликующий победный крик — это значило, что второе отделение победило, а первое обращается в бегство.

На моей памяти не было случая, чтобы первое отделение одержало победу.

Почти всегда в первых рядах победителей был гимназист с задорным вздернутым носом — будущий писатель Михаил Булгаков. Он врезался в бой в самые опасные места. Победа носилась следом за ним и венчала его золотым венком из его собственных растрепанных волос.

Оболтусы из первого отделения боялись Булгакова и пытались опорочить его. После боя они распускали слухи, что Булгаков дрался незаконным приемом — металлической пряжкой от пояса. Но никто не верил этой злой клевете, даже инспектор Бодянский.

Но этот раз я участвовал в бою, потому что мне надо было посчитаться с гимназистом Хавиным, сыном биржевого маклера.

Этот высокий развинченный гимназист почти в каждую фразу ухитрялся вставлять слово «сакраментально», несмотря на то что сильно картавил. Сидя в театре, он посылал томные воздушные поцелуи знакомым девушкам. Он приезжал в гимназию в собственном экипаже и был налит презрением к нам, разночинцам.

Все вышло из-за пани Козловской. Старушка плохо видела и боялась одна выходить в город. Почти каждое воскресенье я провожал ее в костел. Пани Козловская смущалась тем, что затрудняет меня, без устали извинялась и от стеснения краснела, как девушка.

Обыкновенно я вел ее под руку, иначе она натыкалась на встречных. Иногда меня сменял в роли поводыря пору-

чик Ромуальд. Но это бывало редко. Я подозревал, что поручик стыдился старушки матери, ее старомодного пальто и ее беспомощности. Во всяком случае, по утрам в воскресенье поручик почти всегда бывал «чертовски занят».

В одно из воскресений я вел пани Козловскую в костел по Михайловской улице. Нам встретился Хавин. Он поднял брови и, прищурившись, посмотрел на меня. Лицо его изобразило презрительное недоумение. Потом он медленно с ног до головы осмотрел пани Козловскую, усмехнулся, громко щелкнул пальцами, свистнул и прошел.

Когда начался бой, я вышел в сад. Хавин стоял в стороне. Кушака на нем не было. Он был «освобожденный». Я тоже был «освобожденный» и тоже был без кушака. Но я подошел к Хавину и дал ему оплеуху.

Хавин странно пискнул. Меня схватил за руку надзиратель «Шпонька».

На следующий день инспектор Бодянский вызвал меня к себе.

— Это что ж такое? — сказал Бодянский.— Я еще понимаю, если бы вы дрались в обязательном порядке, как все наши готтентоты. А то извольте — дать человеку пощечину! За что?

— Было за что. Я никогда в жизни не дрался, Павел Петрович. Вы же знаете.

— Так, так! Рискуете все-таки, что во втором полугодии вам не дадут освобождения от платы. За что вы его ударили?

Я уперся и не хотел сказать, за что я ударил Хавина.

— Стоило. Можете мне верить или нет, Павел Петрович, но больше я ничего не скажу.

— Верю,— сказал Бодянский.— Идите! И пусть этот случай поглотит медленная Лета.

После каждого боя у директора и Бодянского были неприятные объяснения с попечителем учебного округа и с родителями потрепанных оболтусов.

— Вот что значит, если у людей нет царя в голове,— говорил нам с горечью Бодянский.— А еще читаете всяких Ибсенов и Леонидов Андреевых! Просвещенные юноши! Будущие столпы общества! Зулусы и троглодиты!

«ЖИВЫЕ» ЯЗЫКИ

Из «мертвых» языков мы изучали в гимназии только латынь. Она была главным предметом. Преподавал нам латынь наш классный наставник Владимир Фаддеевич Субоч, похожий на высокого, худого кота с оттопыренными светлыми усами. Он был добрый человек, и мы его любили, хотя он и позволял себе иногда неожиданные и стремительные разгромы по латинскому языку всего нашего класса.

Бодянский тоже строго следил за нашими познаниями в латыни и любил повторять:

— Латинская речь есть величайший феномен языкосложения!

Греческий язык был необязателен. Изучали его немногие. Преподавал этот язык старый, обсыпанный табачным пеплом чех Поспешиль. Он медленно продвигался по коридорам на больных, опухших ногах и всегда опаздывал на уроки. За это мы переименовали его из Поспешиля в Опоздаль.

Из «живых» языков мы изучали французский и немецкий. Это были скучные уроки.

Француз Сэрму, сухорукий, с рыжей острой бородкой времен короля Генриха IV, приносил под мышкой большие олеографии и развешивал их на стене.

На олеографиях была изображена счастливая жизнь поселян неизвестной национальности в разные времена года. Весной эти поселяне в соломенных шляпах с разноцветными лентами пахали землю, в то время как их румяные жены, затянутые в корсажи, кормили желтых цыплят. Летом поселяне косили сено и плясали вокруг стогов, помахивая ветками розанов. Осенью они молотили хлеб около игрушечных хижин, а зимой, очевидно за неимением других дел, катались на коньках по замерзшей реке.

Но все же картинки с поселянами были гораздо интереснее других картинок, изображавших скучные геометрические комнаты со скудной мебелью и котенком, играющим клубком шерсти.

Сэрму развешивал олеографии, брал в здоровую руку указку, показывал на поселян, танцующих с серпами, или на котенка и спрашивал громовым голосом по-французски.

— Что видим мы на этой интересной картинке?

Мы хором отвечали по-французски, что на этой картинке мы ясно видим добрых пейзан или совсем маленькую кошку, играющую нитками достопочтенной бабушки.

Эта канитель с картинками длилась два года, пока однажды вместо Сэрму инспектор не привел к нам на урок нового учителя, мосье Говаса.

Мосье Говас только что приехал в Россию. Он не знал ни слова по-русски. Первый его урок в этой загадочной стране выпал как раз на наш класс.

Мосье Говас происходил из Бретани. Это был низенький толстый человечек, настолько равнодушный, что он даже не давал себе труда на нас сердиться.

Инспектор представил нам мосье Говаса и ушел. Тогда встал гимназист-француз Регамэ и на великолепном парижском диалекте учтиво сообщил мосье Говасу, что в России перед уроком принято читать молитву. Мосье Говас снисходительно улыбнулся, очевидно подумав, что каждая страна имеет свои странности.

Тогда наступила очередь гимназиста Литтауэра. Он был еврей, но хорошо знал православное богослужение.

Литтауэр вышел, остановился против иконы, широко перекрестился и начал «молитву перед учением»: «Преблагий господи, ниспошли нам благодать духа твоего святаго, дарствующего и укрепляющего душевные наши силы».

Он прочел эту молитву пять раз, потом прочел «Великую ектению». После этого Литтауэр огласил «Символ веры», «Отче наш» и начал читать молитву Ефрема Сирина.

Мосье Говас стоял, вежливо склонив голову и недоумевая.

— Господи, владыко живота моего! — взывал Литтауэр.— Дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не даждь ми!

Мы хором повторяли слова молитвы и поглядывали на часы. До конца урока оставалось десять минут. Мы боялись, что у Литтауэра не хватит богослужебных познаний, чтобы дотянуть эти десять минут. Но Литтауэр нас не подвел. Он второй раз прочел «Символ веры» и закончил урок торжественным чтением молитвы «Спаси, господи, люди твоя».

Затрещал звонок, и мосье Говас, слегка пожав плечами, ушел в учительскую. Черный его сюртук блеснул в солнечном луче и поплыл, лоснясь, по коридору.

Мы хохотали, прячась за поднятыми крышками парт, но через минуту в класс вкатился, задыхаясь, инспектор Бодянский и крикнул:

— Фигли-мигли! Кощунствовать изволите, лоботрясы! Кто тут устроил молебствие? Наверное, ты, Литтауэр?

— Что вы! — воскликнул, вставая, Литтауэр.— Я же еврей, Павел Петрович.

— Ой-ой-ой! — сказал Бодянский.— Еврей! Интересный резон! Будто я поверю, что если ты перекрестишься, то у тебя отсохнет рука! Собери книги и ступай домой. По дороге можешь обдумывать то печальное обстоятельство, что отныне ты уже имеешь вторую четверку по поведению.

При мосье Говасе мы погрузились в дебри неправильных глаголов и спряжений. Великолепный язык оборачивался тяжелой схемой. Мы путались среди загадочных ударений, между всеми этими «аксант эгю», «аксан грав» и «аксан сирконфлекс». Постепенно случилось так, что живой язык Флобера и Гюго начал существовать для нас как нечто совершенно оторванное от того, что преподавал нам мосье Говас.

Чем старше мы становились, тем больше любили французскую литературу, стремились читать французов в подлинниках. Для этого мы изучали язык сами или с помощью частных преподавателей, махнув рукой на флегматичного бретонца. А он все спрягал и склонял, поглядывая за окно, где падал с русского неба холодный белый снег. И в глазах у мосье Говаса ничего нельзя было прочесть, кроме тоски по огню камелька.

Мы пытались заговаривать с ним о Бальзаке и Дюма, о Гюго и Доде, но мосье Говас или отмалчивался, или замечал, что это литература для взрослых, а не для русских мальчиков, которые до сих пор не знают разницы между «фютюром» и «кондисионелем».

С течением времени выяснилось, что у мосье Говаса есть в Бретани, в маленьком городке, каменный домик и старуха мать и что мосье Говас приехал в Россию только для того, чтобы, заработав за несколько лет кругленькую сумму, вернуться в свой дом, где мать его разводила кро-

ликов, а мосье Говас собирался выращивать шампиньоны и сбывать их в Париж — это было выгодно. Поэтому мосье Говаса совершенно не интересовали ни Россия, ни французская литература.

Один только раз мосье Говас разговорился с нами. Это было весной. Мосье Говас готовился поехать на летние каникулы в Бретань. Этим объяснялось его хорошее настроение.

Он угрюмо шутил и сообщил нам, что человек создан, чтобы жить без всяких волнений. А для этого нужно подчиняться законам и довольствоваться малым.

Потом он рассказал нам, как ловил мальчиком омаров со своим дедом, вздохнул и задумался. За окнами цвели каштаны. Весна бродила вместе с легким сквозным ветром по коридорам, дышала в лицо девичьим своим дыханием. Мосье Говас смотрел на весну и печально покачивал головой — жизнь выбросила его в мир, как ветер сдувает с зеленого листика толстую божью коровку. А все потому, что он был небогат и должен был скучным своим трудом сколачивать тихое будущее.

— Да,— сказал мосье Говас,— такова жизнь! Будем же терпеливы. Не станем роптать на судьбу и на бога. Терпенье вознаграждается. Не так ли?

Никто ему не ответил, потому что в то время мы были уверены в том, что терпение сродни идиотизму.

Много лет спустя я рассказал своему другу, писателю Аркадию Гайдару, как мосье Сэрму обучал нас французскому языку по олеографиям.

Гайдар обрадовался, потому что и он учился этим же способом. Воспоминания начали одолевать Гайдара. Несколько дней подряд он разговаривал со мной только по методу Сэрму.

Мы жили тогда под Рязанью, много бродили, ловили рыбу в озерах.

— Что мы видим на этой картинке? — спрашивал по-французски Гайдар во время наших скитаний и тут же сам себе отвечал: — Мы видим негостеприимную деревню, покидаемую бедными путниками. Мы видим поселян, не пожелавших обменять путникам три яйца на горсть табаку.

Когда мы возвращались в Москву по пустынной железнодорожной ветке от станции Тума до Владимира, Гайдар разбудил меня ночью и спросил:

— Что мы видим на этой интересной картинке?

Я ничего не видел, потому что свеча в фонаре сильно мигала и по вагону бегали тени.

— Мы видим,— объяснил Гайдар,— одного железнодорожного вора, который вытаскивает из корзинки у почтенной старушки пару теплых русских сапог, называемых валенками.

Сказав это, Гайдар — огромный и добродушный — соскочил со второй полки, схватил за шиворот юркого человека в клетчатой кепке, отобрал у него валенки и сказал:

— Выйди вон! И чтобы я тебя больше не встречал в жизни!

Испуганный вор выскочил на площадку и спрыгнул на ходу с поезда. Это было, пожалуй, единственное практическое применение метода господина Сэрму.

Уроки немецкого языка были интереснее французских. Не потому, что Оскар Федорович Иогансон был образцовым преподавателем, а потому, что на этих уроках мы иногда занимались вещами, далекими от немецкого языка. Чаще всего Оскар Федорович давал нам переписывать партитуру своей оперы «Дух токайского вина».

Иогансон был венец, пожилой и нервный. В класс он приходил с деревянной ножкой, отпиленной от стула. Когда беспорядок достигал недопустимых размеров, Иогансон хватал ножку от стула и начинал изо всей силы колотить по столу. Мы сразу приходили в себя.

Иогансон был знатоком и любителем музыки. Он собирался быть композитором, но какая-то несчастная история в его жизни помешала ему в этом, и он с отвращением занялся преподаванием.

От нас он требовал самых ничтожных познаний в немецком языке. Если кто-нибудь из нас проваливался, Иогансон долго смотрел на него поверх пенсне, вздыхал и медленно ставил тройку с минусом.

Однажды, когда я был уже в шестом классе, Иогансон потерял в трамвае рукопись своей оперы. Это был единственный экземпляр. Он напечатал об этом объявление в газетах. Но никто оперу не возвращал. Целую неделю

Иогансон не приходил в гимназию, а когда пришел, мы его почти не узнали — он посерел, и желтая его шея была замотана рваным шарфом. В этот день на уроке у Иогансона стояла глубокая тишина.

— Ну вот, юноши,— заговорил Иогансон,— все кончено! Эта опера была делом всей моей жизни. Я становился молодым, когда писал ее. С каждой страницей с меня слетало по нескольку лет. Да! Это было так! То была музыка счастья. Я писал о нем. Где оно? Всюду! В том, как шумит лес. В листьях дуба, в запахе винных бочек. В голосах женщин и птиц. Везде и всюду. Я мечтал быть бродячим певцом, а не таскать этот форменный сюртук. Я завидовал цыганам. Я пел бы на деревенских свадьбах и в доме лесника. Пел бы для влюбленных и одиноких, для героев и поэтов, для обманутых и не потерявших веры в добро. Все это было в моей опере. Все! Я надеялся, что умру спокойно, если увижу ее на сцене венского театра. Может быть, думал я, мой друг, старый поэт Альтенберг, придет и сядет, как медведь, в бархатное кресло, и слеза появится у него на глазах. Это было бы для меня лучшей наградой. А может быть, эту музыку услышала бы та, что никогда не верила в мои силы...

Иогансон говорил, рассматривая свои худые пальцы. Он будто опьянел от горя. Он всегда говорил немного пышно и театрально, но сейчас мы этого не замечали. Мы сидели потупясь.

После урока на перемене к нам пришел Субоч.

— Я хотел предупредить вас,— сказал он, когда мы его окружили,— чтобы вы особенно деликатно вели себя теперь на уроках Оскара Федоровича. Но я подумал, что вы догадаетесь об этом и без моих указаний.

В тот же день по всем классам гимназии пронесся призыв: «Найти оперу! Найти ее во что бы то ни стало!»

Кто бросил этот призыв, я не знаю. Он передавался из уст в уста. Мы собирались кучками и обсуждали пути поисков. Мы ходили, как заговорщики. В душе у каждого бушевало нетерпение.

Поиски начались. Мы опрашивали кондукторов трамваев, обходили базары. Мы рылись у торговцев в оберточной бумаге. Наконец на Лукьяновском базаре опера была найдена.

Увидел ее один гимназист восьмого класса у торговки

салом. Торговка жаловалась, что бумага не годится для обертки — чернильные строчки отпечатываются на сале, и покупатели сердятся. Поэтому в рукописи не хватало всего трех страниц.

Рукопись вернули Иогансону на уроке в восьмом классе. Мы не видели, как это произошло. Мы только видели, как Иогансон шел после урока по коридору, окруженный восьмиклассниками. Он был без пенсне. Он шел нетвердо, пошатываясь. Восьмиклассники поддерживали его. В дверях учительской комнаты стоял инспектор Бодянский, улыбался и кивал головой. Он обнял Иогансона, и они поцеловались.

В гимназии несколько дней длилось нотное безумие. Иогансон приносил партитуру оперы и чистую нотную бумагу. Он раздавал нам эту бумагу, и мы переписывали оперу в нескольких экземплярах.

Это было в конце зимы, а весной я получил по почте кусочек картона. На нем было написано, что Оскар Федорович Иогансон просит меня «почтить своим присутствием» исполнение отрывков из его оперы, которое произойдет на квартире у одного из моих товарищей по классу.

Вечером я пошел в назначенное место, на Бибиковский бульвар. Широкая лестница в доме моего товарища была ярко освещена. Два больших зала были полны народа. Больше всего было гимназистов, но были и гимназистки из Мариинской гимназии, и седовласые музыканты, и актеры.

Иогансона еще не было. Я стоял у входа в зал и видел освещенную лестницу. На ней появился Оскар Федорович. Он взбежал по лестнице — тонкий, помолодевший, в черном элегантном сюртуке. Он быстро вошел в зал. Все зааплодировали.

Тотчас началась музыка. Играл квартет в сопровождении рояля. Это была действительно музыка о счастье, о страданиях любящих, равных мучениям Тристана и Изольды. Я не могу передать певучесть этой музыки, ее струнную силу.

Когда музыка окончилась и большинство гостей, поздравив Иогансона, разошлось, нас, оставшихся, пригласили к столу.

Поздней ночью мы проводили Иогансона до дому. По дороге он зашел на телеграф и послал телеграмму в

Вену. Он вышел из телеграфной конторы погрустневший и сказал, что слишком долго ждал этого дня. А когда слишком долго ждешь, то радость превращается в некоторую печаль.

«ГОСПОДА ГИМНАЗИСТЫ»

Кто мог знать, что получится из нас, «господ гимназистов», как называл нас Бодянский? Что получится из этих юношей в выгоревших фуражках, всегда готовых ко всяческим выходкам, насмешкам и спорам? Что, например, получится из Булгакова? Никто этого не мог знать.

Булгаков был старше меня, но я хорошо помню стремительную его живость, беспощадный язык, которого боялись все, и ощущение определенности и силы — оно чувствовалось в каждом его, даже незначительном, слове.

Булгаков был полон выдумок, шуток, мистификаций. Он превращал изученный нами до косточки гимназический обиход в мир невероятных случаев и персонажей.

Какой-нибудь выцветший надзиратель «Шпонька», попадая в круг булгаковских выдумок и «розыгрышей», вырастал до размеров Собакевича или Тартарена. Он начинал жить второй, таинственной жизнью уже не как «Шпонька» с опухшим, пропитым носом, а как герой смехотворных и чудовищных событий.

Своими выдумками Булгаков чуть смещал окружающее из мира вполне реального на самый краешек мира преувеличенного, почти фантастического.

Мы встретились с Булгаковым после гимназии только в 1924 году, когда он был уже писателем. Он не изменил Киеву. В пьесе его «Дни Турбиных» я узнал вестибюль нашей гимназии и сторожа Максима Холодная Вода — честного и прилипчивого старика. За кулисами театра зашелестели наши осенние киевские каштаны.

Почти в одно время со мной в гимназии учились несколько юношей, ставших потом известными литераторами, актерами и драматургами. Киев всегда был городом театральных увлечений.

Было ли случайностью, что эта гимназия за короткое время воспитала стольких людей, причастных к литературе и искусству? Я думаю, нет. (Недаром Субоч говорил нам, когда мы «случайно» опаздывали на уроки: «Нет в

жизни ничего случайного, кроме смерти». Высказав эту сентенцию, Субоч ставил опоздавшему пять с минусом по поведению.)

Это не было, конечно, случайностью. Причины этого явления так многочисленны и трудно уловимы, что мы, по лености своей, не хотим в них углубляться и предпочитаем думать, что все произошло по счастливой случайности.

Мы забываем об учителях, которые внушили нам любовь к культуре, о великолепных киевских театрах, о повальном нашем увлечении философией и поэзией, о том, что во времена нашей юности были еще живы Чехов и Толстой, Серов и Левитан, Скрябин и Комиссаржевская.

Мы забываем о революции Пятого года, о студенческих сходках, куда мы, гимназисты, ухитрялись пробираться, о спорах взрослых, о том, что Киев всегда был городом с большим революционным накалом.

Мы забываем, что запоем читали Плеханова, Чернышевского и революционные брошюры, отпечатанные на рыхлой серой бумаге с лозунгами «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» и «Земля и воля». Читали Герцена и Кропоткина, «Коммунистический манифест» и романы революционера Кравчинского.

Но и это беспорядочное чтение давало свои плоды.

Мы забываем о знаменитой библиотеке Идзиковского на Крещатике, о симфонических концертах, о киевских садах, о сияющей и хрустящей от листвы киевской осени, о том, что торжественная и благородная латынь сопутствовала нам на всем протяжении гимназических лет. Забываем о Днепре, мягких туманных зимах, богатой и ласковой Украине, окружавшей город кольцом своих гречишных полей, соломенных крыш и пасек.

Трудно уловить влияние этих вещей, разнообразных и подчас далеких друг от друга, на наше юношеское сознание. Но оно было. Оно давало особый поэтический строй нашим мыслями и ощущениям.

Мы увлекались поэзией и литературой. Но понимание русской литературы, всей ее классической ясности и глубины, пришло к нам позже, чем понимание более легкой литературы Запада.

Мы были молоды, и западная литература привлекала нас изяществом, спокойствием и совершенством рисунка. Холодный и прозрачный Мериме был легче для нас, чем

мучительный Достоевский. У Мериме или у Флобера все было ясно, как в летнее утро, а Достоевский надвигался, как гроза с ее тревогой и желанием спрятаться под надежную крышу. И Диккенс не знал сомнений. И Гюго. И Бальзак.

А может быть, в увлечении нашем западной литературой повинны и дешевые желтенькие книжки «Универсальной библиотеки». Они наводняли тогда книжные магазины. За двадцать копеек можно было прочесть «Монт Ориоль», «Евгению Гранде», «Дикую утку» и «Пармский монастырь». Мы читали все это запоем.

Одно время мы особенно увлекались французской поэзией — Верленом, Леконтом де Лилем и Теофилем Готье. Мы читали их в подлинниках и в переводах. Легкий, временами почти неуловимый, как отдаленный запах, а временами твердый, как металл, французский язык звучал у этих поэтов колдовством.

Эта поэзия привлекала нас не только певучестью и туманным содержанием, похожим на весеннюю дымку, но и тем, что она вызывала представление о самих поэтах, о Париже. Поэзия эта существовала как одна из заманчивых вещей в ряду многих заманчивых вещей, связанных с Парижем. Аспидные крыши, кольцо бульваров, дождь, огни, Пантеон, розовая ночь над Сеной и, наконец, стихи. Так возникал в нашем наивном представлении Париж. Он был немыслим без стихов, как без баррикад и поцелуев.

Но очень скоро я, увлекавшийся французской поэзией, понял, что это — холодный блеск, тогда как рядом сверкают россыпи живой и чистой поэзии русской.

> Роняет лес багряный свой убор,
> Сребрит мороз увянувшее поле...

Мы росли, и постепенно могучая и, быть может, величайшая в мире русская литература овладевала нашими сердцами и вытесняла на второй, хотя и почетный, план литературу Запада.

Кроме литературы, мы увлекались еще и живописью.

На мраморной доске в актовом зале гимназии золотыми буквами были написаны имена медалистов и знаменитых людей, окончивших нашу гимназию. В числе этих

людей был художник Ге. Этого художника, хотя он и был нашим старшим товарищем, мы всё же не признавали за черный тон и правоучительность его картин. В наше время начиналось запоздалое увлечение импрессионизмом.

Мой товарищ по классу Эмма Шмуклер готовился быть художником. Он учился живописи у киевского импрессиониста Маневича. Мне правились картины Маневича — местечковые домишки и дворы, написанные жирно, почти малярным мазком.

Я часто бывал в доме у Эммы. Это был, как говорили, артистический дом.

Отец Эммы, широко известный в городе врач-бессребреник, в юности мечтал стать оперным актером. Почему-то это не удалось ему. Но все же страсть к опере преобладала у доктора Шмуклера над всем.

Все в его доме было оперное — не только сам хозяин, крупный, бритый и громогласный, но и рояль, ноты, написанные от руки, жардиньерки для цветочных подношений, афиши, портреты знаменитых певцов и перламутровые бинокли.

Даже шум, не затихавший в квартире у доктора, был совершенно оперный. Окрики на детей, горячие ссоры — все это походило на рулады, речитативы, модерато, аллегро и форте, на дуэты и трио, на перебивающие друг друга мужские, женские и детские арии. Во всем этом шуме был скрытый напев. Голоса из квартиры Шмуклера звучали звонко и свободно, как «бельканто», и разносились по всей парадной лестнице.

Я часто бывал у Эммы Шмуклера, но все же предпочитал этому семейному дому каморку другого моего товарища по гимназии, поляка Фицовского. Так же как и я, он жил один.

Фицовский, коренастый, с русой прядью на лбу, был всегда невозмутимо спокоен и относился ко всему как к глупой суете.

У него были свои чудачества, раздражавшие учителей. Например, он разговаривал со своим соседом по парте, весельчаком Станишевским, на чистейшем русском языке, но так, что порой нельзя было понять ни слова. Достигалось это простым способом. Все ударения в словах Фицовский делал неправильно и говорил очень быстро.

Фицовский заставил меня изучить международный языко «эсперанто». У этого языка, выдуманного варшав-

ским зубным врачом Заменгофом, было только то достоинство, что он был легок. На этом языке печаталось в разных странах много газет. В этих газетах меня интересовали столбцы адресов тех людей, которые хотели переписываться на эсперанто.

По примеру Фицовского я начал переписываться с несколькими эсперантистами в Англии, Франции, Канаде и даже Уругвае. Я посылал им открытки с видами Киева, а взамен получал открытки с видами Глазго, Эдинбурга, Парижа, Монтевидео и Квебека. Постепенно я начал разнообразить свою переписку. Я просил присылать мне портреты писателей и иллюстрированные журналы. Так у меня появился прекрасный портрет Байрона, присланный молодым английским врачом из города Манчестера, и портрет Виктора Гюго. Его мне прислала молоденькая француженка из Орлеана. Она была очень любопытна и задавала много вопросов — правда ли, что русские священники носят одежды из листового золота и что все русские офицеры говорят по-французски.

Каждую неделю мы устраивали в каморке у Фицовского пирушки. На этих пирушках мы меньше всего пили (денег хватало только на бутылку наливки), но больше всего разыгрывали из себя лермонтовских гусар, читали стихи, спорили, произносили речи и пели.

Засиживались мы до утра. Рассвет, проникавший в прокуренную каморку, казался нам рассветом удивительной жизни. Она ждала нас за порогом. Особенно хороши были рассветы весной. В чистом утреннем воздухе звенели птицы, и голова была полна романтических историй.

Эта удивительная жизнь, что ждала нас за порогом, была неуловимым образом связана с театром.

В тот год мы увлекались русской драмой и актрисой Полевицкой. Она играла Лизу в «Дворянском гнезде» и Настасью Филипповну в «Идиоте».

Ходить в театр мы могли только с разрешения инспектора Бодянского. Он не давал нам больше одного разрешения в неделю. Тогда мы начали подделывать разрешения. Я подписывал их за Бодянского и так набил руку, что Бодянский только качал головой, когда надзиратели показывали ему отобранные у гимназистов разрешения. Он не мог отличить фальшивые от настоящих и говорил:

— Я этих театралов скручу в бараний рог! Латинский язык надо учить, а не шляться по галеркам! Фальшивомонетчики вы, а не сыновья почтенных родителей!

Мы поджидали Полевицкую после спектаклей около актерского подъезда. Она выходила — высокая, светлоглазая. Она улыбалась нам и садилась в сани. Встряхивались бубенцы. Их звон уносился вниз по Николаевской улице, исчезал в снежной ее глубине.

Мы расходились по домам, а снег все падал и падал. Пылали щеки. Молодое и пылкое наше счастье бежало наперегонки с нами по скользким тротуарам, провожало нас, долго не давало заснуть.

Оно мигало на стенах моей комнаты светом ночного фонаря. Оно сыпалось на землю ворохами снега. Оно пело всю ночь сквозь теплый сон свою вечную песню о любви и печали.

За окном свистели полозья. Горячие лошади скакали мимо. Кого они уносили в эту ночь?

В комнате поручика Ромуальда сама по себе звучала струна на гитаре. Звук струны долго дрожал. Он делался все тоньше, пока не становился сначала как серебряный волосок, потом как серебряная паутина. Тогда он затихал.

Так, в радостном возбуждении, в сумятице дней, где жизнь переплеталась со строчками стихов так крепко, что их нельзя было оторвать друг от друга, тянулась зима.

Я тогда жил уже совершенно один и зарабатывал дешевыми уроками. Денег мне хватало на еду и на библиотеку, но я в то время совершенно не ощущал, должно быть по молодости, никакой тяжести и тревоги.

ГОРБОНОСЫЙ КОРОЛЬ

Когда в Киев приезжало какое-нибудь сановное лицо, ему непременно показывали нашу гимназию. Она была одной из старейших в России.

Начальство гордилось не только историей этой гимназии, но и ее зданием — величественным и неуютным. Единственным украшением этого здания был беломраморный зал в два света. В этом зале всегда было холодно, даже летом.

Мы любили сановные посещения, потому что каждая высокая особа просила директора освободить в память

своего посещения гимназистов от занятий на один или па два дня.

Директор благодарил за честь и соглашался. Мы торопливо связывали ремешками книги и вываливались буйными толпами на улицу.

Но не все посещения высоких особ сходили так гладко. Бывали и неприятности. Одна такая неприятность случилась с королем Сербии Петром Карагеоргием. Мы знали, что он вступил на престол после кровавого дворцового переворота.

За неделю до его приезда Платон Федорович начал обучать нас сербскому гимну «Боже правды, ты, что спасе от напасти досад нас». Кроме того, нам было приказано, приветствуя короля, кричать не «ура», а «живио».

Директор Терещенко, «Маслобой», должен был сказать королю несколько приветственных слов по-французски. Текст приветствия написал мосье Говас. Он гордился этим. Впервые ему выпала на долю высокая честь писать приветствие его величеству королю.

Директор выучил приветствие наизусть. В этом он сравнялся с нами. Но «Маслобой» отличался слабой памятью. Он боялся забыть приветствие перед лицом Петра Карагеоргия.

Директор первничал. Он потребовал от нового нашего инспектора Варсонофия Николаевича (Бодянский был в то время назначен директором Третьей гимназии), чтобы тот дал ему в помощь лучшего подсказчика-гимназиста.

Мы не любили «Маслобоя» и отказались назвать лучшего подсказчика. Пусть «Маслобой» справляется сам.

Лучший подсказчик в гимназии — к тому же француз — Регамэ учился в нашем классе. Вместе с нами он невозмутимо выслушивал просьбы инспектора и вежливо улыбался.

Наконец мы сдались. Мы обещали дать подсказчика, но только в том случае, если будет исправлена несправедливая двойка по математике безответному гимназисту Боримовичу. Иванов обещал переделать двойку на тройку.

Соглашение было достигнуто. Регамэ получил текст приветствия и переписал его на шпаргалку. Приветствие начиналось словами: «Sir, permettez à nous» и так далее. По-русски это звучало примерно так: «Сир, позвольте

нам приветствовать вас в седых степах пашей славной гимназии».

Мы все выучили это приветствие наизусть. Когда директор проходил по коридору, мы хором, подражая его пискливому голосу, говорили из класса ему в спину: «Сир, позвольте нам приветствовать вас в седых степах нашей славной гимназии!»

Нас особенно веселили «седые стены». «Маслобой» делал вид, что ничего не слышит.

В день приезда короля гимназия светилась праздничной чистотой. Широкую лестницу устлали красными коврами. День был солнечный, но, несмотря на это, в актовом зале зажгли люстры.

Мы пришли в парадных мундирах. Наш класс выстроили в две шеренги в вестибюле. Сбоку стоял Субоч с маленькой шпагой, засунутой в карман вицмундира. Над карманом блестел только тонкий золотой эфес. От Субоча пахло духами. Его пенсне так сверкало, будто стеклышки его были сделаны из пластинок алмаза.

У мраморной колонны стоял «Маслобой». По нашей гимназической терминологии, «Маслобой» «выпустил пар». Он был бледен. Ордена дребезжали на его тугом сюртуке.

С улицы послышалось «ура». Это кричали войска, расставленные шпалерами.

«Ура» приближалось к гимназии. Грянул оркестр. Двери распахнулись. «Маслобой» беспомощно оглянулся на Регамэ и двинулся рысцой навстречу королю.

Низенький горбоносый король с седыми усами, в голубой шинели с серебряным набором, быстро вошел, припрыгивая, в вестибюль. За его спиной все голубело от шинелей и лоснилось от цилиндров.

Швейцар Василий, бывший цирковой борец, должен был снять с короля шинель. Но Василий растерялся и, вместо того чтобы снимать шинель, начал натягивать ее на короля.

Король сопротивлялся. Он даже покраснел. Наконец он вырвался из могучих лап Василия. К королю подскочил адъютант и, отстранив Василия рукой в белой лайковой перчатке, услужливо снял королевскую шинель. Глаза у Василия помутнели, как у пьяного. Василий стоял вытянувшись и отдувался — он не мог сообразить, что случилось.

— Сир! — сказал «Маслобой», склонившись перед королем, и отчаянно замахал засунутой за спину левой рукой. Это значило, что он забыл речь.

Рагамэ тотчас начал «подавать». Он делал это виртуозно.

Король недовольно смотрел на красную директорскую лысину. Он еще тяжело дышал после борьбы с Василием. Потом король услышал подсказку и усмехнулся.

Директор кое-как окончил приветствие и показал королю на узкий проход между шеренгами гимназистов, приглашая «его величество» проследовать в актовый зал.

Король двинулся. За ним, гремя саблями, небрежно волоча их по чугунным полам вестибюля, хлынула свита. Аксельбанты замелькали в наших глазах.

На шаг позади короля шел воинственный генерал Иванов, командующий Киевским военным округом.

За свитой шли, сняв цилиндры и слащаво улыбаясь, сербские министры.

Мы заранее обо всем договорились. Как только король вошел в проход между синими гимназическими мундирами, мы дружно и во весь голос грянули: «Жулье!» Это было похоже на «живио».

Мы повторили этот крик несколько раз. Он гремел в «седых стенах» гимназии.

Король, ничего не подозревая, медленно шел, позванивая шпорами, кивал нам и улыбался.

Субоч побледнел. Командующий Киевским военным округом генерал Иванов незаметно показывал нам за спиной кулак. В нем была зажата перчатка. Перчатка тряслась от негодования. «Маслобой», приседая от испуга, семенил за королем.

Король прошел, и мы услышали, как гимназический хор торжественными и постными голосами запел наверху: «Боже правды, ты, что спасе...»

Субоч пристально осмотрел всех нас. Но мы стояли стройно и безмолвно. На наших лицах не отражалось ничего, кроме умиления перед этой торжественной минутой. Субоч пожал плечами и отвернулся.

Но история с королем еще не была окончена. Когда король шел обратно, мы дружно и оглушительно прокричали: «Держи его!» Это опять было похоже на «живио». И король опять ничего не понял. Он милостиво улыбался,

а министры все так же изящно несли перед собой цилиндры с атласной белой подкладкой.

Но когда мимо нас проходил седобородый премьер-министр Пашич, считавшийся либералом, мы впервые прокричали понятно и правильно: «Живио, Пашич!»

Мы, конечно, перестарались. Матусевичу, обладавшему могучим басом (впоследствии Матусевич был певцом Киевской оперы), поручили прокричать «Держи его!» прямо в ухо королю. Король пошатнулся, но быстро овладел собой и любезно кивнул Матусевичу.

После этого случая с королем двенадцать гимназистов из нашего класса, в том числе и я, получили разнос от директора. После разноса нам запретили три дня посещать гимназию. Начальство явно старалось замять всю эту историю с королем, боясь огласки.

До сих пор я не понимаю смысла нашего исключения. Это были три дня безмятежного отдыха, чтения, прогулок по Днепру и посещения театров.

Скрыть случай с сербским королем, конечно, не удалось. Нам неистово завидовала вся наша гимназия. И не только наша, но и Вторая, и Третья, и реальное училище, куда никогда не возили никаких королей.

ИЗ ПУСТОГО В ПОРОЖНЕЕ

До сих пор я подозрительно отношусь к людям с черными, как маслины, круглыми глазами. Такие глазки были у моей ученицы Маруси Казанской.

Они бессмысленно озирали мир и вспыхивали любопытством только при виде бравого юнкера или лицеиста в шинели с бобровым воротником. Стоило за окном прошагать юнкеру, и все вызубренное наизусть — хронология, география и правила синтаксиса — мгновенно вылетало из Марусиной головы.

Я был репетитором у Маруси Казанской. Она мне дорого обошлась, щебечущая и остроносая Маруся с булавочными глазками! Урок этот мне устроил Субоч. «Семейство почтенное,— сказал мне Субоч, — но предупреждаю, что девица не блещет талантом».

Почтенное семейство Маруси состояло из Маруси, ее отца — отставного генерала и матери — тощей француженки.

Генерал был ростом с карлика, но носил окладистую бороду. Он был так мал, что не мог дотянуться до вешалки, чтобы повесить шинель.

Это был очень чистенький, вымытый генерал с пухлыми ручками и водянистыми глазами. Но глаза эти загорались яростью, когда он вспоминал своих врагов — генералов, обогнавших его по службе: Сухомлинова, Драгомирова, Куропаткина и Ренненкампфа.

Казанский дослужился до чина генерал-адъютанта, командовал разными военными округами и обучал Николая Второго стратегии.

— В стратегии сей молодой человек был форменным дубиной,— говаривал Казанский о Николае Втором.

Он считал, что последним настоящим царем был Александр Третий.

У Казанского была богатая военная библиотека. Но я ни разу не видел, чтобы он достал из запертых шкафов хотя бы одну книгу. Весь день он проводил за чтением «Нового времени» и раскладыванием пасьянсов. На коленях у генерала лежал, свернувшись, маленький шпиц с такими же черными глазками, как у Маруси. Шпиц был глупый и злой.

После каждого урока Казанский провожал меня до Галицкого базара. Он любил эти ежедневные прогулки. На улице генерал начал тотчас резвиться — хихикать и рассказывать армейские анекдоты.

Он толкал тростью в живот солдат и юнкеров, становившихся перед ним во фронт, и говорил:

— Очертело, братец! Только и видишь, что ваши животы.

Мадам Казанская звала мужа «дусиком», а он называл ее «муфточкой».

Я видел много скучных людей. Но более скучного существа, чем мадам Казанская, я не встречал.

Весь день она, моргая заплаканными, как у болонки, глазками, шила фартучки для Маруси или рисовала масляными красками на атласных лентах лиловые ирисы.

Эти розовые ленты она дарила знакомым в дни семейных праздников. Назначение этих лент было непонятно. Их нельзя было ни к чему пристроить. Иные знакомые вешали их на стены или клали на столики в гостиной. Другие пытались использовать их как закладки для

книг. Но ленты были широкие и в книги не лезли. Наиболее взыскательные прятали эти ленты подальше от глаз.

Но мадам Казанская с идиотическим упорством рисовала все новые ленты и дарила их одним и тем же знакомым во второй и третий раз.

Вся квартира Казанских была в этих лентах. Они цеплялись за пальцы, скрипели и могли довести нервного человека до крапивницы.

Квартира у Казанских была очень высокая и светлая, но свет этот казался холодным и серым. Солнечные лучи, попав в эту квартиру, теряли яркость и жар и лежали на полах, как листы выцветшей бумаги.

Я не мог сразу разгадать, чем жили Казанские. Они верили в бога и в то, что мир устроен богом именно так, как выгодно для семьи Казанских. Бог, в их представлении, был вроде генерал-губернатора, но только во всемирном масштабе. Он наводил порядок во вселенной и покровительствовал добропорядочным семьям.

Кроме бога у Казанских была Маруся. Они ее любили болезненной любовью стариков, родивших ребенка в старости.

Капризы Маруси считались не только милыми, но даже священными. Стоило ей надуть губы, и папа-генерал тотчас отстегивал шпоры, ходил на цыпочках и вздыхал, а мама судорожно готовила на кухне любимое Марусино лакомство — воздушный пирог.

Главной темой бесед между стариками было замужество Маруси. Выискивание женихов шло исподволь. Оно превратилось в манию, в страсть. Память мадам Казанской походила на пухлую бухгалтерскую книгу, где были пронумерованы и подшиты к делу все достойные женихи Киева и Юго-Западного края.

Маруся училась в частной гимназии Дучинской. Это была буржуазная гимназия, где отметки ставились в зависимости от богатства и чина родителей.

Но Маруся была так глупа, что даже высокий чин папы Казанского не спасал ее от двоек. Когда Марусю вызывали к доске, она злобно молчала, крепко стиснув губы, и теребила край черного передника.

Каждая двойка вызывала переполох в генеральской семье. Маруся запиралась у себя в комнате и объявляла голодовку. Мадам Казанская плакала, сотрясаясь.

Генерал бегал из угла в угол и кричал, что завтра же поедет к губернатору и разгонит всю эту «еврейскую лавочку».

На следующий день генерал надевал парадный сюртук и все ордена и ехал объясняться к начальнице гимназии Дучинской, величественной даме, хорошо знавшей толк в служебном положении родителей своих учениц.

Дело кончалось тем, что Марусе переправляли двойку на тройку с минусом. Дучинская не хотела терять ученицу из сановной семьи. Это могло бы бросить тень на ее безупречное заведение. А семейство Казанских успокаивалось до новой двойки.

После первого же урока я убедился, что объяснять Марусе что бы то ни было совершенно бессмысленно. Она ничего не могла понять. Тогда я пошел на рискованный шаг. Я заставлял ее вызубривать учебники наизусть. С этим она кое-как справлялась. Она выучивала страницу за страницей, как дети запоминают абракадабру вроде «считалки»: «Эна, бена, рес, квинтер, мунтер, жес!»

С таким же успехом, как Марусю, я мог бы обучать истории, географии и русскому языку попугая. Это была адская работа. Я очень от нее уставал.

Но вскоре я был вознагражден: Маруся получила первую тройку с плюсом.

Когда вечером я позвонил у дверей Казанских, мне открыл сам генерал. Он приплясывал и потирал руки. На шее у него подпрыгивал орден святого Владимира. Он помог мне снять мою старенькую гимназическую шинель.

Маруся в новом платье и с огромными бантами в волосах вальсировала со стулом под звуки пианино среди гостиной. На пианино играла мадемуазель Мартен, учительница французского языка. Она тоже давала Марусе уроки. Шпиц носился по комнатам и беспорядочно лаял.

Распахнулась дверь из столовой, и вошла мадам Казанская в платье со шлейфом. За ее спиной я заметил празднично сервированный стол.

По случаю первой тройки с плюсом был дан изысканный ужин.

В конце ужина генерал ловко откупорил бутылку шампанского. Мадам Казанская пристально следила, чтобы генерал не пролил шампанское на скатерть.

Генерал начал пить шампанское, как воду. Он мгновенно покраснел, взмахнул руками, и из рукавов его тужурки вылетели круглые блестящие манжеты.

— Да-с! — сказал генерал и горестно покачал головой.— Каждый мужчина должен нести свой крест в этой чертовой жизни. И мы несем его, не гуляем! Женщины, господин гимназист, нас не поймут. У них цыплячьи мозги.

— Дусик,— испуганно воскликнула мадам Казанская,— что это ты такое говоришь! Я совсем не понимаю.

— Наплевать! — сказал решительно генерал.— Трижды наплевать! Выпьем, господин гимназист. Как сказал наш гениальный поэт: «Что за штуковина, создатель, быть взрослой дочери отцом!»

— Дусик! — вскричала мадам Казанская, и у нее под глазами задрожали сизые мешки.

— Муфточка,— произнес генерал слащаво, но грозно,— ты не забыла, что я генерал-адъютант русской армии?

Он стукнул кулаком по столу и закричал надтреснутым голосом:

— Попрошу слушать, когда вам говорят! Я обучал государя императора и не желаю, чтобы мне делали замечания безмозглые дуры! Встать!

Кончилось все это тем, что генерал вскочил, схватил со стола салфетку, притопнул и начал плясать русскую. Потом он упал в кресло, и его отпаивали валерьянкой. Он стонал и отбрыкивался короткими ножками.

Мы вышли с этого пиршества вместе с мадемуазель Мартен. Едва светили фонари. Был туманный мартовский вечер.

— Ох! — сказала мадемуазель Мартен.— Как я утомилась! Я больше не могу заниматься с этой дурой. И бывать в этом глупом доме. Я откажусь.

Я позавидовал мадемуазель Мартен — она могла отказаться от уроков с Марусей, но я не мог этого сделать: Казанские платили мне тридцать рублей в месяц. Это была неслыханно высокая плата для репетитора.

К тому времени отец неожиданно бросил службу на Брянском заводе и уехал из Бежицы в Городище, в дедовскую усадьбу. Он больше не мог мне помогать. А маме

я соврал. Я написал ей, что зарабатываю пятьдесят рублей в месяц и мне присылать ничего не надо. Да и что она могла мне прислать!

Мадемуазель Мартен попрощалась со мной на углу Безаковской улицы. Повалил густой снег. Калильный фонарь жужжал над входом в аптекарский магазин.

Мадемуазель Мартен быстро пошла к Бибиковскому бульвару своей скользящей походкой, будто она бежала короткими шагами на роликах. Она наклонила голову и прикрыла ее муфтой от снега.

Я стоял и смотрел ей вслед. После шампанского я испытывал странное состояние. Голова то затуманивалась — и все казалось мне полным чудесного смысла, то туманная волна исчезала — и я с полной ясностью понимал, что ничего особенного в моей жизни не произошло. Завтра, так же как и сегодня, я буду идти по этим же изученным до последней вывески улицам мимо палисадников, извозчиков, афишных тумб и городовых к дому Казанских, подымусь по лестнице, облицованной желтым кафелем, позвоню у выкрашенных под дуб дверей, в ответ на звонок залает шпиц, и я войду все в ту же переднюю с зеркалом и вешалкой, и на ней все на том же самом крючке будет висеть застегнутая на все пуговицы генеральская шинель с красными отворотами.

Но когда набегала туманная волна, я думал о родстве одиноких людей, таких, как мадемуазель Мартен, Фицовский и я. Мне казалось, что мы должны сдружиться и оберегать друг друга, чтобы сообща преодолевать эту тугую жизнь.

Но откуда я взял, что мадемуазель Мартен одинокая? Я ее совсем не знал. Я слышал только, что она родом из города Гренобля, и видел, что у нее темные, немного хмурые глаза. Вот и все.

Я постоял на углу и пошел к Фицовскому. Его не было дома. Я достал в условленном месте ключ и отпер дверь.

В комнате было холодно. Я зажег лампу, растопил чугунную печурку, взял со стола книгу, лег на клеенчатый диван, укрылся шинелью и открыл книгу. Это были стихи.

Снова нахлынула туманная волна. «Медлительной чредой нисходит день осенний»,— читал я. Между строчками стихов появился теплый свет. Он разрастался и согревал

мне лицо. «Медлительно кружится желтый лист, и день прозрачно свеж, и воздух дивно чист — душа не избежит невидимого тленья».

Я отложил книгу. Я лежал и думал, что впереди меня ждет жизнь, полная очарований, то радостных, то печальных.

Жизнь была, как эта ночь с ее слабым светом сугробов, молчанием садов, заревом фонарей. Ночь скрывала в своей темноте тех милых людей, что когда-нибудь будут мне близки, тот тихий рассвет, что непременно забрезжит над этой землей. Ночь скрывала все тайны, все встречи, все радости будущего. Как хорошо!

Нет, мы, молодые, не были несчастны. Мы верили и любили. Мы не зарывали талант свой в землю. Наша душа, конечно, избежит «невидимого тленья». Нет и нет! Мы будем до самой смерти пробиваться к удивительным временам.

Так я думал, лежа на клеенчатом диване. Будь же прокляты все эти тошнотворные Казанские, весь этот злой и добропорядочный муравейник.

Когда я пришел от Фицовского к себе в Дикий переулок, пани Козловская подала мне телеграмму. В ней было сказано, что в усадьбе Городище, около Белой Церкви, умирает мой отец.

На следующее утро я уехал из Киева в Белую Церковь.

Смерть отца порвала первую нить, которая связывала меня с семьей. А потом начали рваться и все остальные нити.

КОРЧМА НА БРАГИНКЕ

Старый пароход, шлепая колесами, полз вверх по Днепру. Была поздняя ночь. Я не мог уснуть в душной каюте и вышел на палубу.

Из непроглядной темноты задувал ветер, наносил капли дождя. Старик в заплатанной свитке стоял около капитанского мостика. Тусклый фонарь освещал его щетинистое лицо.

— Капитан,— говорил старик,— неужли не можете сделать снисхождение престарелому человеку! Скиньте меня на берег. Отсюда до моего села версты не будет.

— Ты что, смеешься? — спросил капитан.— Своего носа не видать, а я буду притыкаться к берегу, бить из-за тебя пароход!

— Нету мне смысла смеяться,— ответил старик.— Вот туточки за горой и мое село,— он показал в темноту.— Скиньте! Будьте ласковы!

— Терентий,— спросил капитан рулевого, делая вид, что не слушает старика,— ты что-нибудь видишь?

— Своего рукава не вижу,— мрачно проворчал рулевой.— Темнотюга проклятая! На слух веду.

— Покалечим пароход! — вздохнул капитан.

— Ничего с вашей чертопхайкой не сделается! — сердито пробормотал старик.— Тоже мне капитаны! Вам в Лоеве грушами торговать, а не пароходы водить по Днепру! Ну? Скинете или нет?

— Поговори у меня!

— И поговорю! — сварливо ответил старик.— Где это слыхано, чтобы завозить пассажиров до самых Теремцов!

— Да пойми ты,— жалобно закричал капитан,— что ни черта же не видно! Где я пристану? Ну где?

— Да ось тут, против яра! — Старик снова показал в кромешную темноту.— Ось тут! Давайте я стану коло лоцмана и буду ему указывать.

— Знаешь что? — сказал капитан.— Катись ты на кутью к чертовой бабушке!

— Ага! — воскликнул старик с торжеством.— Значит, отказываете? Так?

— Да! Отказываю!

— Значит, вам безынтересно, что я поспешаю на свадьбу до своей дочки? Вам это безынтересно. Вы старого человека угнетаете!

— Какое мне дело до твоей дочки!

— А до Андрея Гона вам есть дело? — вдруг тихо и грозно спросил старик.— С Андреем Гоном вы еще не здоровкались? Так будьте известны, что сам Андрей Гон гуляет на той свадьбе.

Капитан молчал.

— Смолкли? — злорадно спросил старик.— Чертопхайку вашу зовут «Надеждой». Так нема у вас никакой надежды воротиться в добром благополучии, если не скинете меня на берег. Гон мне удружит. Мы с ним свояки. Гон этого не оставит.

— А ты не грозись! — пробормотал капитан.

— Сидор Петрович,— прохрипел рулевой,— сами видите, до чего упорный дед. Давайте скинем его на берег. С Гоном нет смысла связываться.

— Ну, шут с тобой! — сказал капитан старику.— Становись с лоцманом, показывай. Только смотри не побей пароход.

— Господи! Да я Днепро знаю, как свою клуню! Пароход — это же вещь государственная!

Старик стал к штурвалу и начал командовать:

— На правую руку забирай! Круче! А то занесет в черторой. Так. Еще круче!

Ветки лозняка начали хлестать по бортам. Пароход ткнулся в дно и остановился. Внизу на крытой палубе зашумели разбуженные толчком пассажиры.

Матрос посветил с носа фонарем. Пароход стоял в затопленных зарослях. До берега было шагов тридцать. Черная вода бежала среди кустов.

— Ну вот,— сказал капитан старику,— вылезай. Приехали.

— Да куда же я слезу? — удивился старик.— Тут мне будет с головой. Я же могу утопиться!

— А мне что? Сам напросился. Ну! — крикнул капитан.— Вытряхивайся, а то прикажу матросам скинуть тебя в воду!

— Интересное дело! — пробормотал старик и пошел на нос парохода.

Он перекрестился, перелез через борт и прыгнул в воду. Вода была ему по плечи.

Чертыхаясь, старик начал шумно выбираться на берег. Пароход медленно сработал назад и вышел из зарослей.

— Ну как, живой? — крикнул капитан.

— Чего гавкаешь! — ответил с берега старик.— Все одно, не миновать тебе здоровкаться с Андреем Гоном.

Пароход отошел.

В то лето по Черниговской губернии и по всему Полесью бродили неуловимые разбойничьи шайки. Они налетали на фольварки, на поместья, грабили почту, нападали на поезда.

Самым смелым и быстрым из всех атаманов был Андрей Гон. Отряды драгун и стражников обкладывали его в лесах, загоняли в непроходимые полесские топи, но Андрей Гон всегда вырывался на волю, и зарева пожаров снова шли следом за ним в темные ночи.

Вокруг Андрея Гона уже плела свою сеть легенда. Говорили, что Андрей Гон — защитник бедняков, всех обездоленных и сирых, что нападает он только на помещиков, что сам он не то черниговский гимназист, не то сельский кузнец. Имя его стало символом народного мщения.

Я ехал на лето как раз в те места, где хозяйничал Андрей Гон, к дальним моим родственникам Севрюкам. У них в Полесье была небогатая маленькая усадьба Иолча. Поездку эту мне устроил Боря. Севрюков я совершенно не знал.

— Ты отдохнешь в Иолче,— сказал он.— Севрюки люди со странностями, но очень простые. Они будут рады.

Я согласился поехать в Иолчу, потому что другого выхода у меня не было. Я перешел в восьмой класс гимназии. Только что я сдал экзамены, и мне предстояло томительное лето в Киеве. Дядя Коля уехал с тетей Марусей в Кисловодск. Мама оставалась в Москве. А в Городище я не хотел ехать, потому что из писем дяди Илько догадывался, что у него начались нелады с тетушкой Дозей. Всякие семейные неурядицы меня пугали. Я не хотел больше быть их свидетелем и невольным участником.

На второй день к вечеру пароход подвалил к низкому полесскому берегу Днепра. Тучи комаров зудели в вышине. Багровое солнце опускалось в беловатый пар над рекой. Из зарослей тянуло холодом. Горел костер. Около костра стояли поджарые верховые лошади.

На берегу меня ждали Севрюки: худой человек в сапогах и чесучовом пиджаке — хозяин поместья, невысокая молодая женщина — его жена и студент — ее брат.

Меня усадили на телегу. Севрюки вскочили на верховых лошадей и, гикая, помчались вперед размашистой рысью.

Они быстро скрылись, и я остался один с молчаливым возницей. Я соскочил с телеги и пошел рядом по песчаной дороге. Трава по обочинам стояла в темной болотной воде. В этой воде тлел, не потухая, слабый закат. Равномерно посвистывая тяжелыми крыльями, пролетали дикие утки. Из кустов серыми лохмотьями, припадая к земле, выползал туман.

Потом сразу закричали сотни лягушек, и телега загрохотала по бревенчатой гати. Показалась усадьба, окру-

женная частоколом. На поляне в лесу стоял странный восьмиугольный деревянный дом со множеством веранд и пристроек.

Вечером, когда мы сидели за скромным ужином, в столовую вошел сутулый старик в постолах и картузе с оторванным козырьком. Он снял с плеча длинное охотничье ружье и прислонил к стенке. За стариком, кляцая когтями по полу, вошел пегий пойнтер, сел у порога и начал колотить по полу хвостом. Хвост стучал так сильно, что старик сказал:

— Тихо, Галас! Понимай, где находишься!

Галас перестал бить хвостом, зевнул и лег.

— Ну, что слышно, Трофим? — спросил Севрюк и, обернувшись ко мне, сказал: — Это наш лесник, обходчик.

— А что слышно? — вздохнул Трофим, садясь к столу.— Все то же. В Лядах подпалили фольварк, а за Старой Гутой вбылы до смерти пана Капуцинского, царствие ему небесное. Тоже, правду сказать, был вредный и подлый старик. Кругом всех убивают и рушат, только вас одних милуют. Странное дело! И чего он вас не трогает, тот Андрей Гоп? Неизвестно. Может, прослышал, что вы к простому люду доверчивые. А может, еще не дошли до вас руки.

Жена Севрюка, Марина Павловна, засмеялась.

— Вот так он все время, Трофим,— заметила она.— Все удивляется, что мы еще живы.

— И живите себе на здоровье,— сказал Трофим.— Я не против. А за поводыря слыхали?

— Нет,— живо ответила Марина Павловна.— А что?

— Да что? Завтра его ховать будут. В Погонном. Поехать бы следовало.

— Мы поедем,— сказала Марина Павловна.— Непременно.

— За то вам бог много прегрешений отпустит,— вздохнул Трофим.— И меня с собой прихватите. Мне туда идти через силу.

Трофим оглянулся на окно и спросил вполголоса:

— Никого лишнего нету?

— Все свои,— ответил Севрюк.— Говори.

— Так вот,— таинственно сказал Трофим,— в корчме у Лейзера на Брагинке собрались майстры.

— Кто? — спросил студент.

— Ну, майстры, могилевские деды.

— Погоди, Трофим,— сказал Севрюк.— Дай людям объяснить. Они про могилевских дедов ничего не знают.

Тогда я впервые услыхал удивительный рассказ о знаменитых могилевских дедах. После этого рассказа время сдвинулось и перенесло меня на сто лет назад, а может быть, и еще дальше — в средние века.

Издавна, еще со времен польского владычества, в Могилеве на Днепре начала складываться община нищих и слепцов. У этих нищих — их звали в народе «могилевскими дедами» — были свои старшины и учителя — майстры.

Они обучали вновь принятых в общину сложному своему ремеслу— пению духовных стихов, умению просить милостыню — и внушали им твердые правила нищенского общежития.

Нищие расходились по всему Полесью, Белоруссии и Украине, но майстры собирались каждый год в тайных местах — в корчмах на болотах или в покинутых лесных сторожках — для суда и приема в общину новых нищих.

У могилевских дедов был свой язык, непонятный для окружающих.

В неспокойные времена, в годы народных волнений, эти нищие представляли грозную силу. Они не давали погаснуть народному гневу. Они поддерживали его своими песнями о несправедливости панской власти, о тяжкой доле замордованного сельского люда.

После этого рассказа Полесье, куда я сейчас попал, представилось мне совершенно иным, чем раньше. Оказалось, что в этом краю болот, чахлых лесов, туманов и безлюдья тлеет, не погасая, подобно длинным здешним закатам, огонь мести и обиды. С тех пор мне казалось, что сермяги нищих пахнут не хлебом и пылью дорог, а порохом и гарью.

Я начал присматриваться к слепцам, к убогим и понял, что это особое племя не только несчастных, но талантливых и суровых волей людей.

— Зачем они собрались в корчме на Брагинке? — спросил Севрюк.

— Их дело,— неохотно ответил Трофим.— Что ни год, то они собираются. Стражники тут шныряли?

— Нет,— ответил Севрюк.— Говорят, были вчера в Комарине.

— Ну так! — Трофим встал.— Спасибо. Пойду на сеновал, отдохну.

Трофим ушел, но не на сеновал, а в лес и появился только на следующий день утром.

Марина Павловна рассказала мне историю мальчика-поводыря.

Два дня назад слепец с поводырем забрел в усадьбу богатого помещика Любомирского. Его погнали со двора. Когда слепец вышел за ворота, сторож-ингуш (тогда многие богатые помещики держали у себя в имениях наемную стражу из ингушей) спустил на слепца цепного пса-волкодава.

Слепец остановился, а поводырь испугался и бросился бежать. Волкодав догнал его и задушил. Слепец спасся только тем, что стоял неподвижно. Волкодав обнюхал его, порычал и ушел.

Крестьяне подобрали мертвого мальчика и принесли в село Погонное. Завтра мальчика будут хоронить.

Мне нравились Севрюки. Марина Павловна была великолепной наездницей и охотницей. Маленькая, очень сильная, с протяжным голосом, она ходила быстро и легко, судила обо всем резко, по-мужски, и любила читать длинные исторические романы вроде «Беглые в Новороссии» Данилевского.

Севрюк казался человеком больным. Он был очень худой, насмешливый. Он не дружил ни с кем из соседей, предпочитал общество крестьян-полещуков и занимался своим небольшим хозяйством. А брат Марины, студент, все дни пропадал на охоте. В свободные часы он набивал патроны, отливал дробь и чистил свою бельгийскую двустволку.

На следующий день мы поехали в село Погонное. Мы переправились на пароме через глубокую и холодную Брагинку. Ивовые берега шумели от ветра.

За рекой песчаная дорога пошла по опушке соснового леса. По другую сторону дороги тянулось болото. Оно терялось за горизонтом в тускловатом воздухе, светилось окнами воды, желтело островами цветов, шумело сероватой осокой.

Я никогда еще не видел таких огромных болот. Вдали от дороги среди зеленых и пышных трясин чернел покосившийся крест — там много лет назад утонул в болоте охотник.

Потом мы услышали похоронный звон, долетавший из Погонного. Линейка въехала в пустынное село с низкими хатами, крытыми гнилой соломой. Куры, вскрикивая, вылетали из-под лошадиных копыт.

Около деревянной церкви толпился народ. Через открытые двери были видны язычки свечей. Огни освещали гирлянды из бумажных роз, висевшие около икон.

Мы вошли в церковь. Толпа молча раздалась, чтобы дать нам дорогу.

В узком сосновом гробу лежал мальчик с льняными, тщательно расчесанными волосами. В сложенных на груди бескровных руках он держал высокую и тонкую свечу. Она согнулась и горела, потрескивая. Воск капал на желтые пальцы мальчика. Косматый священник в черной ризе торопливо махал кадилом и читал молитвы.

Я смотрел на мальчика. Казалось, что он старается что-то припомнить, но никак не может.

Севрюк тронул меня за руку. Я оглянулся. Он показал мне глазами в сторону от гроба. Я посмотрел. Там шеренгой стояли старые нищие.

Все они были в одинаковых коричневых свитках, с блестящими от старости деревянными посохами в руках. Седые их головы были подняты. Нищие смотрели вверх на царские врата. Там был образ седобородого бога Саваофа. Он странно походил на этих нищих. У него были такие же впалые и грозные глаза на сухом темном лице.

— Майстры! — шепотом сказал мне Севрюк.

Нищие стояли неподвижно, не крестясь и не кланяясь. Вокруг них было пусто. Позади нищих я увидел двух мальчиков-поводырей с холщовыми сумками за спиной. Один из них тихонько плакал и вытирал нос рукавом свитки. Другой стоял, опустив глаза, и усмехался.

Вздыхали женщины. Иногда с паперти доносился глухой гул мужских голосов. Тогда священник подымал голову и начинал громче читать молитву. Гул стихал.

Потом нищие сразу двинулись к гробу, молча подняли его на руки и понесли из церкви. Сзади поводыри вели слепцов.

На кладбище с поваленными крестами гроб опустили в могилу. На дно ее уже натекла вода. Священник прочел последнюю молитву, снял ризу, свернул ее и ушел, хромая, с кладбища.

Двое пожилых полещуков, поплевав на ладони, взялись за лопаты. Тогда к могиле подошел слепец с ястребиным лицом и сказал:

— Погодите, люди!

Толпа затихла. Слепец, щупая палкой землю, поклонился гробу, потом выпрямился и, глядя перед собой белыми глазами, заговорил нараспев:

Под сухою вербой коло мелкой криницы
Сел господь отдохнуть от тяжелой дороги.
И подходят ко господу всякие люди
И приносят ему всё, что только имеют...

Толпа придвинулась к слепцу.

Бабы — пряжу и мед, а невесты — монисто,
Старики — черный хлеб, а старухи — иконы.
А одна молодица пришла с барвинками
И поклала у ног, а сама убежала
И сховалась за клуней. А бог усмехнулся
И спросил: «Кто же мне принесет свое сердце?
Кто мне сердце свое подарить не жалеет?»

Молодая женщина в белом платке тихо вскрикнула. Слепец замолчал, обернулся в сторону женщины и сказал:

И тогда положил ему на руки хлопчик
Свое сердце — трепещет оно, как голубка,
Глянул бог, а то сердце пробито и кровью
Запеклось и совсем, как земля, почернело.
Почернело от слез и от вечной обиды,
Оттого, что тот хлопчик по свету бродяжил
Со слепцами и счастья не видел ни разу.

Нищий протянул перед собой руки.

Встал господь и поднял это слабое сердце.
Встал всесильный и проклял неправду людскую.
И на землю упали пречерные тучи,
Раскололись леса от великого грома.
И раздался господний всеслышимый голос.

Слепец вдруг радостно улыбнулся.

«Это сердце снесу я к престолу на небе,
Тот богатый подарок от рода людского,
Чтобы добрые души ему поклонялись».

Слепец замолчал, подумал и запел глухим и сильным голосом:

> То сиротское сердце — богаче алмазов,
> И пышнее цветков, и светлее сиянки,
> Потому что отдал его хлопчик прелестный
> Всемогущему богу как дар небогатый.

Женщины в толпе вытирали глаза концами темных платков.

— Пожертвуйте, люди,— сказал слепец,— за упокой души невинно убиенного отрока Василия.

Он протянул старый картуз. В него посыпались медяки. Могилу начали забрасывать землей.

Мы медленно пошли к церкви, где нас ждали лошади. Марина Павловна ушла вперед. Всю обратную дорогу мы молчали. Только Трофим сказал:

— Тысячи лет живут люди, а до добра не докумекались. Странное дело!

После похорон поводыря в усадьбу Севрюков вселилась тревога. Вечером двери запирали на железные засовы. Каждую ночь Севрюк со студентом вставали и обходили усадьбу. Они брали с собой заряженные ружья.

Однажды ночью в лесу загорелся костер. Он горел до рассвета. Утром Трофим рассказал, что у костра ночевал неизвестный человек.

— Надо думать, гоновец,— добавил он.— Ходят кругом, как волки.

Днем после этого в усадьбу зашел босой парень в солдатских черных штанах с выгоревшим красным кантом. Сапоги висели у него за спиной. У парня было облупленное от загара лицо. Глаза его смотрели хмуро и цепко.

Парень попросил напиться. Марина Павловна вынесла ему кувшин молока и краюху хлеба. Парень жадно выпил молоко и сказал:

— Смелые господа. Не страшитесь жить в таком месте.

— Нас никто не тронет,— ответила Марина Павловна.

— Это почему? — усмехнулся парень.

— Мы никому не делаем плохого.

— Со стороны виднее,— загадочно ответил парень и ушел.

Поэтому Марина Павловна с неохотой отпустила на следующий день Севрюка в соседнее местечко, где надо

было купить продукты и порох. Севрюк взял с собой меня. Мы должны были вернуться в тот же день к вечеру.

Мне понравилась эта поездка по безлюдному краю. Дорога шла среди болот, по песчаным буграм, поросшим низким сосновым лесом. Песок все время сыпался тонкими струйками с колес. Через дорогу переползали ужи.

Было знойно и потому хорошо видно, как над болотами мреет нагретый воздух.

В местечке по заросшим мхом крышам еврейских домов ходили козы. Деревянная звезда Давида была приколочена над входом в синагогу.

На площади, засыпанной трухой от сена, дремали расседланные драгунские лошади. Около них лежали на земле красные от жары драгуны. Мундиры их были расстегнуты. Драгуны лениво пели:

> Солдатушки, бравы ребятушки,
> Где же ваши жены?
> Наши жены — пушки заряжены,
> Вот где наши жены!

Драгунский офицер сидел на крылечке постоялого двора и пил мутный хлебный квас.

Мы ходили по магазинам — «склепам». В них было темно и прохладно. Голуби склевывали зерна с десятичных весов. Евреи-торговцы в черных лоснящихся картузах жаловались, что торговать нет резона, потому что весь барыш идет на угощение исправника. Они рассказали, что третьего дня Андрей Гон налетел на соседний фольварк и угнал четверку хороших лошадей.

В одном из «склепов» нас напоили чаем. Он попахивал керосином. К чаю подали розовый постный сахар.

Мы запоздали. Когда мы выехали из местечка, Севрюк начал гнать лошадей. Но лошади выбились из сил на песках и могли идти только шагом.

Тучи слепней висели над конскими крупами. Непрерывно свистели жидкие конские хвосты.

С юга заходила гроза. Болота почернели. Начал налетать ветер. Он трепал листву и нес запах воды. Мигали молнии. Земля вдалеке громыхала.

— Придется свернуть в корчму на Брагинке,— сказал Севрюк.— Там заночуем. Завозились мы в местечке.

Мы свернули на едва заметную лесную дорогу. Телегу било по корням.

Начало быстро темнеть. Лес поредел. В лицо дохнуло сыростью, и мы подъехали к черной корчме.

Она стояла на самом берегу Брагинки, под ивами. Позади корчмы берег зарос крапивой и высокими зонтичными цветами болиголова. Из этих пахучих зарослей слышался тревожный писк — там, очевидно, прятались испуганные грозой цыплята.

На кривое крылечко вышел пожилой тучный еврей — хозяин корчмы Лейзер. Он был в сапогах. Его широкие, как у цыгана, штаны были подпоясаны красным кушаком.

Лейзер сладко улыбнулся и закрыл глаза.

— Какой гость! — воскликнул он и покачал головой.— Легче найти в лесу бриллиант, чем заманить до себя такого приятного гостя. Сделайте любезность, заходите прямо в чистое помещение.

Несмотря на сладкую улыбку, Лейзер осторожно поглядывал на нас из-под набрякших красных век.

— Я знаю, Лейзер,— сказал ему Севрюк,— что у вас в корчме живут майстры. Не беспокойтесь. Нам до этого нет никакого дела. Мало ли кто ночует в корчме!

— Что я могу! — тяжело вздохнул Лейзер.— Кругом лес, болото. Разве я выбираю себе постояльцев? Я сам их иногда опасаюсь, пане Севрюк.

Мы вошли в чистую половину. Скрипели выскобленные полы. Комната перекосилась, и все в ней стояло криво. На кровати сидела распухшая седая женщина, обложенная розовыми подушками.

— Моя мамаша,— объяснил Лейзер.— У нее водянка. Двойра! — крикнул он.— Становь самовар!

Из-за занавески выглянула и поздоровалась с нами маленькая женщина с тоскливым лицом — жена Лейзера.

Окна из-за грозы были закрыты. О стекла бились мухи. Засиженный мухами портрет генерала Куропаткина висел на стене.

Лейзер принес сена и постелил нам на полу. Сено он накрыл толстым рядном.

Мы сели к столу и начали пить чай. Тотчас ударил такой гром, что на столе подпрыгнула голубая тарелка. С тяжелым ровным шумом налетел на корчму ливень. Серая тьма лилась потоками за окном. Ее непрерывно разрывали мутные молнии.

Ливень заглушал писк самовара. Мы пили чай с баранками. Давно уже чай не казался мне таким вкусным.

Мне нравилась эта корчма, вся эта глушь, шум дождя, грохот грома в лесах. Из-за стены едва слышно доносились голоса нищих.

Я устал от тряски в телеге и длинного жаркого дня и тотчас после чая уснул на полу, на сене. Проснулся я ночью весь в испарине. Керосиновая духота висела слоями. Мигал ночник. Стонала старуха. Севрюк сидел на сене рядом со мной.

— Ляжем лучше в телеге,— сказал он.— У меня будет разрыв сердца от этой духоты.

Мы осторожно вышли. Телега стояла под навесом. Мы разворошили сено, легли на него и укрылись рядном.

Гроза прошла. Над лесом светились влажные звезды. С крыши еще текли, постукивая, капли дождя. Запах мокрого бурьяна проникал под навес.

Скрипнула дверь. Из корчмы кто-то вышел. Севрюк сказал мне шепотом:

— Не шумите. Это, должно быть, майстры.

Кто-то сел на колоду около навеса и начал высекать кремнем огонь. Запахло махоркой.

— Как заполыхает, мы разом и помандруем,— сказал скрипучий голос.— А то еще засунут нас в торбу.

— Просто,— ответил хриплый голос.— Зажились у Лейзера. Архангелы рыщут.

— Доси ничего не видно,— тревожно произнес третий голос, совсем еще молодой.— Может, от дождя все намокло.

— Для гоповцев нет ни мокроты, ни беды,— ответил скрипучий.

— Сбудется,— сказал хриплый.— Они нашу обиду замстят. Увидим божью кару. Пока очи еще не померкли.

Нищие замолчали.

— Петро,— спросил скрипучий,— а все люди готовые?

— Все,— ответил молодой.

— Так пусть выйдут с корчмы. И чтобы Лейзер не торкался. Его дело стороннее. Гроши свои он взял. Проезжие сплять?

— Сплять. Чего им делается?

Голоса снова затихли. Я зашевелился. Севрюк тронул меня за руку. Из корчмы вышли еще несколько человек.

— Я на Чернобыль да на Овруч буду с Кузьмой подаваться,— сказал знакомый голос.— Может, знайду под Чорнобылем поводыря. Там народ голодует.

Это говорил тот слепец, что пел в Погонном над могилой поводыря. Снова стало тихо. У меня колотилось сердце.

Мне казалось, что прошло очень много времени, прежде чем я услышал тихий возглас:

— Занялось!

Нищие зашевелились.

— Ну, братья,— сказал хриплый,— помолимся господу, да и в дорогу.

— «Отче наш, иже еси на небесех,— вполголоса запели нищие.— Да святится имя твое, да приидет царствие твое...»

Нищие поднялись и пошли.

— О чем они говорили? — спросил я Севрюка.

— Не знаю,— ответил он.— Пойду покурю подальше от сена.

Он встал и вышел из-под навеса.

— Что такое! — сказал он удивленно из темноты.— Идите-ка сюда.

Я вскочил. За черной Брагинкой, за зарослями верболоза, дымилось и розовело небо. Высокие снопы искр вылетали как будто из-за соседних кустов. Зарево тускло отражалось в реке.

— Что же это горит? — спросил Севрюк.

— Любомирский горит,— ответил из темноты Лейзер. Мы не заметили, как он к нам подошел.

— Пане Севрюк,— сказал он умоляющим голосом,— пожалейте себя и бедного корчмаря. Я вам запрягу коней, и поезжайте себе с богом. Неудобно вам тут оставаться.

— А что?

— Могут наскочить из местечка драгуны. Или стражники. С корчмаря им нечего взять. Корчмарь ничего не бачил и ничего не чул.

— Мы тоже ничего не видели,— сказал Севрюк.

— Пане! — воскликнул Лейзер.— Заклинаю вас богом вашим православным! Уезжайте. Не надо мне ваших денег. Мне спокой дороже. Видите, что делается кругом!

— Ну ладно, ладно,— согласился Севрюк.— Слабонервный вы человек, Лейзер. Запрягайте коней.

Лейзер быстро запряг лошадей. Мы уехали.

Дорога шла вдоль берега Брагинки. Севрюк не правил. Он отпустил вожжи, и лошади шли сами. Зарево разгоралось. По лицу хлестали мокрые ветки.

— Теперь понятно,— вполголоса сказал Севрюк.— Подожгли Любомирского.

— Кто?

— Не знаю. Должно быть, за поводыря. Но мы с вами в корчме не ночевали и ничего не видели. Ладно?

— Ладно,— согласился я.

За Брагинкой раздался тихий, но внятный свист. Севрюк придержал лошадей. Свист повторился. Телега стояла среди густых кустов. Нас ниоткуда не было видно.

— Эй, корчмарь! — негромко крикнул с того берега человек.— Давай перевоз!

Никто не ответил. Мы прислушивались.

Раздался плеск. Человек, очевидно, бросился в воду и поплыл. Вскоре мы увидели его из-за кустов. Он плыл посередине реки, слабо освещённой заревом. Его сильно сносило.

Невдалеке от нас человек вылез на берег. Было слышно, как с него с журчанием стекает вода.

— Ну, погоди, Лейзер! — сказал человек и пошел в лес.— Ты за этот перевоз мне заплатишь.

Когда шаги человека затихли, мы медленно поехали дальше.

— Узнали? — едва слышно спросил Севрюк.

— Что? — не понял я.

— Человека узнали?

— Нет.

— Парень к нам приходил. Пил молоко. Как будто его голос. Теперь ясно. Майстры пожаловались Гону. А это его человек, гоновец. Он и поджег. Так я думаю. Лейзер его перевез на тот берег. Но помните, что мы с вами ничего не видели и не знаем.

Севрюк осторожно закурил, прикрыв спичку полой дождевого плаща.

Зарево качалось в небе. Шумела в затопленных кустах река, скрипели оси. Потом из болот нанесло холодный туман.

Только на рассвете мы, мокрые и озябшие, добрались до усадьбы.

После этого случая потянулись неспокойные дни. Мне они нравились. Мне нравилось постоянное ожидание опасностей, разговоры вполголоса и слухи, что приносил Трофим о внезапном появлении Андрея Гона то тут, то там.

Мне нравилась холодная Брагинка, разбойничьи заросли, загадочные следы подков на дороге, которых не было вчера. Мне, признаться, даже хотелось, чтобы Андрей Гон налетел на усадьбу Севрюка, но без поджога и убийства.

Но вместо Андрея Гона как-то в сумерки в усадьбе появились драгуны. Они спешились около ворот. Офицер в пыльных сапогах подошел к веранде, где мы пили чай, извинился и спросил:

— Вы господин Севрюк?

— Да, я,— ответил Севрюк.— Чем могу служить?

Офицер обернулся к солдатам.

— Эй, Марченко! — крикнул он.— Подведи-ка его сюда!

Из-за лошади двое драгун вывели босого человека. Руки его были скручены за спиной. На человеке были черные солдатские штаны с выгоревшими красными кантами.

Человека подвели к веранде. Он смотрел на Марину Павловну пристально, будто хотел что-то ей сказать.

— Вы знаете этого парня? — спросил офицер.

Все молчали.

— Приглядитесь получше.

— Нет,— сказала Марина Павловна и побледнела.— Я никогда не видела этого человека.

Человек вздрогнул и опустил глаза.

— А вы? — спросил офицер Севрюка.

— Нет. Я его не знаю.

— Что ж ты, братец,— офицер обернулся к человеку,— все врешь, что ты здешний и что ты у господ Севрюков работал в усадьбе? Теперь твое дело табак!

— Ладно уж! — сказал человек.— Ведите! Ваша сила, только не ваша правда.

Марина Павловна вскочила и ушла в комнату.

— Без разговоров! — сказал офицер.— Марш за ворота!

Драгуны уехали. Марина Павловна долго плакала.

— Он же так смотрел на меня,— говорила она сквозь слезы.— Как же я не догадалась! Надо было сказать, что я его знаю и что он работал у нас.

— Где там догадаться! — сокрушался Трофим.— Хоть бы он знак какой дал. А Любомирского тот человек спалил до последней косточки. Знаменито спалил. За убиенного хлопчика.

Вскоре я уехал в Киев.

Полесье сохранилось у меня в памяти как печальная и немного загадочная страна. Она цвела лютиками и аиром, шумела ольхой и густыми ветлами, и тихий звон ее колоколов, казалось, никогда не возвестит молчаливым полещукам о кануне светлого народного праздника. Так мне думалось тогда. Но так, к счастью, не случилось.

СОН В БАБУШКИНОМ САДУ

Бабушка моя Викентия Ивановна жила в Черкассах вместе с моей тетушкой Евфросинией Григорьевной. Дед давно умер, а в то лето, когда я ездил в Полесье, умерла от порока сердца и тетушка Евфросиния Григорьевна.

Бабушка переехала в Киев к одной из своих дочерей — тете Вере, вышедшей замуж за крупного киевского дельца.

У тети Веры был свой дом на окраине города — Лукьяновке. Бабушку поселили в маленьком флигеле, в саду около этого дома.

После независимой жизни в Черкассах бабушка чувствовала себя нахлебницей в чопорном доме тети Веры. Бабушка втихомолку плакала от этого и радовалась только тому, что живет отдельно, во флигеле, сама себе готовит и хоть в этом самостоятельна и не должна одолжаться перед богатой своей дочерью.

Бабушке было скучно одной, и она уговорила меня переехать от пани Козловской к ней во флигель. Во флигеле было четыре маленькие комнаты. В одной жила бабушка, во второй — старый виолончелист Гаттенбергер, третью комнату бабушка отвела мне, а четвертая была холодная, но называлась теплицей. Весь пол в ней был уставлен вазонами с цветами.

Когда я возвратился из Полесья в половине лета, в городе было пусто. Все разъехались на дачу. Боря уехал на практику в Екатеринослав. На Лукьяновке жили только бабушка Викентия Ивановна и Гаттенбергер.

Бабушка очень одряхлела, согнулась, былая ее строгость исчезла, но все же бабушка не изменила своих привычек. Она вставала на рассвете и тотчас открывала настежь окна. Потом она готовила на спиртовке кофе.

Выпив кофе, она выходила в сад и читала, сидя в плетеном кресле, любимые свои книги — бесконечные рома-

ны Крашевского или рассказы Короленко и Элизы Ожешко. Часто она засыпала за чтением,— седая, вся в черном, положив худые руки на подлокотники кресла.

Мотыльки садились ей на руки и на черный чепец. С деревьев гулко падали перезревшие сливы. Теплый ветер пролетал по саду, гонял по дорожкам тени от листьев.

Высоко в небе сияло над бабушкой солнце — очень чистое и жаркое солнце киевского лета. И я думал, что вот так когда-нибудь бабушка и уснет навсегда в теплоте и свежести этого сада.

Я дружил с бабушкой. Я любил ее больше, чем всех своих родных. Она мне платила тем же. Бабушка воспитала пятерых дочерей и трех сыновей, а в старости жила совершенно одна. У нее тоже, по существу, никого не было. Из этого нашего одиночества и родилась взаимная привязанность.

Бабушка вся светилась лаской и грустью. Несмотря на разницу лет, у нас было много общего. Бабушка любила стихи, книги, деревья, небо и собственные размышления. Она никогда меня ни к чему не принуждала.

Единственная ее слабость заключалась в том, что при малейшей простуде она лечила меня своим испытанным лекарством. Она называла его «спиритус».

Это было зверское лекарство. Бабушка смешивала все известные ей спирты — винный, древесный, нашатырный — и добавляла в эту смесь скипидара. Получалась багровая жидкость, едкая, как азотная кислота.

Этим «спиритусом» бабушка натирала мне грудь и спину. Она глубоко верила в его целебную силу. По флигелю распространялся щиплющий горло запах. Гаттенбергер тотчас закуривал толстую сигару. Голубоватый дым застилал его комнату приятным туманом.

Чаще всего бабушка засыпала в саду, когда в комнате Гаттенбергера начинала петь виолончель.

Гаттенбергер был красивый старик с волнистой седой бородой и серыми яростными глазами.

Он играл пьесу собственного сочинения. Она называлась «Смерть Гамлета».

Виолончель рыдала. Чередование звуков, таких гулких, будто они разносились под сводами Эльсинора, складывалось в торжественные слова:

Пусть Гамлета на катафалк несут,
Как короля, четыре капитана!

Слушая музыку, я представлял себе зал в Эльсиноре, узкие, готические лучи солнца, крик фанфар и огромные — высокие и легкие — знамена над телом Гамлета. Они склонялись до земли и шелестели. Букет Офелии ручей давно уже унес в море. Волны качали вдали от берегов венчики розмарина, троицына цвета и руты — последних свидетелей ее горькой любви. Об этом тоже пела виолончель.

Бабушка просыпалась и говорила:

— Боже мой, неужели нельзя сыграть что-нибудь веселое!

Тогда Гаттенбергер, чтобы угодить бабушке, играл любимую ее пастораль из «Пиковой дамы»: «Мой миленький дружок, любезный пастушок...»

Бабушка уставала от музыки. Она отдыхала от нее по вечерам, когда Гаттенбергер уезжал со своею виолончелью на концерты в Купеческий сад.

Я часто бывал на этих концертах. Оркестр играл в деревянной белой раковине, а слушатели сидели под открытым небом.

Большие клумбы с левкоями и табаком пахли в сумерках сильно и сладко. Перед каждым концертом их поливали.

Оркестранты были освещены яркими лампами. Слушатели сидели в темноте. Смутно белели платья женщин, шелестели деревья, иногда над головой мерцали зарницы.

Но особенно я любил пасмурные сырые вечера, когда в саду почти не было посетителей. Тогда мне казалось, что оркестр играет для меня одного и для молоденькой женщины с опущенными полями шляпы.

Я встречал эту женщину почти на всех концертах. Она внимательно поглядывала на меня. Я украдкой следил за ней. Один только раз я встретил ее взгляд, и мне показалось, что глаза ее блеснули лукавым огнем.

Скучное киевское лето наполнилось мечтами об этой незнакомке. Оно тотчас перестало быть скучным. Оно зашумело звонкоголосыми дождями. Они лились с высокого неба, хлопотали в зелени садов. Стеклянные капли, слетая с туч, будто били по клавишам,— частый звон наполнял мою комнату. Мне казалось подлинным чудом, что так может петь обыкновенная вода, льющаяся с крыши в зеленую кадку.

— Все лето слепые дожди! — говорила бабушка.— Это к урожаю.

За легким дымом этих «слепых дождей» и сиянием радуг где-то рядом жила незнакомка. Я был благодарен ей, что она появилась и сразу же изменила все вокруг.

Даже тротуары из желтого кирпича, покрытые маленькими лужами, казались мне теперь милыми и сказочными, как у Андерсена.

Между кирпичами пробивалась трава. В лужицах барахтались муравьи.

Когда на меня находила полоса выдумок или, как говорила по-польски бабушка, полоса «маженья», мне все казалось удивительным, даже киевские тротуары.

До сих пор я не знаю, как назвать это состояние. Оно возникало от незаметных причин. В нем не было ни капли восторженности. Наоборот, оно приносило покой и отдых. Но стоило появиться самой пустой заботе — и оно исчезало.

Состояние это требовало выражения. И вот в то жаркое лето с его «слепыми дождями» я впервые начал писать.

Я скрывал это от бабушки. Я говорил ей, удивленной тем, что я часами сижу в своей комнате и пишу, что готовлюсь к гимназическим занятиям по литературе и составляю конспекты.

В те дни, когда в Купеческом саду не было концертов, я уезжал на Днепр или на окраину города, в заброшенный парк «Кинь грусть». Он принадлежал киевскому меценату Кульженко.

За две-три папиросы сторож впускал меня в этот парк — совершенно пустынный и заросший бурьяном. Пруды затянуло ряской. На деревьях орали галки. Гнилые скамейки шатались, когда я на них садился.

В парке я встречал только старого художника. Он сидел под большим полотняным зонтиком и писал этюды. Художник уже издали так сердито поглядывал на меня, что я ни разу не решился к нему подойти.

Я забирался в самую глушь, где стоял заброшенный дом, садился на ступеньки террасы и читал.

Воробьи возились у меня за спиной. Я часто отрывался от книги и смотрел в глубину парка. Дымный свет падал среди деревьев. Я ждал. Я был уверен, что именно здесь, в этом парке, встречу свою незнакомку.

Но она не приходила, и я возвращался домой самым длинным путем — на трамвае через Приорку и Подол, потом через Крещатик и Прорезную улицу.

По дороге я заходил в библиотеку Идзиковского на Крещатике. Летом там было пусто. Бледные от духоты молодые люди с мокрыми усиками — приказчики Идзиковского — меняли мне книги. Я брал книги для себя и для бабушки. При тогдашнем моем состоянии мне хотелось читать только стихи. А бабушке я приносил романы Шпильгагена и Болеслава Пруса.

Я возвращался домой на Лукьяновку усталый и счастливый.

Лицо горело от солнца и свежего воздуха.

Бабушка ждала меня. Маленький круглый стол в ее комнате был накрыт скатертью. На нем стоял ужин.

Я рассказывал бабушке о «Кинь грусть». Она кивала мне. Иногда она говорила, что соскучилась одна за весь этот длинный день. Но она никогда не бранила меня за то, что я пропадал так долго.

— Молодость,— говорила бабушка,— имеет свои законы. Не мое дело в них вмешиваться.

Потом я уходил к себе, раздевался и ложился на узкую койку. Лампа освещала корявые ветки яблони за окном.

Сквозь первый непрочный сон я чувствовал ночь, ее мрак и необъятную тишину. Я любил ночи, хотя мне было страшно от мысли, что в вышине проходят, над Лукьяновкой, над крышей нашего флигеля, Стрелец и Водолей, Близнецы, Орион и Дева.

Я написал рассказ, в котором было все это киевское лето: виолончелист Гаттенбергер, незнакомка в Купеческом саду, «Кинь грусть», ночи и мечтательный, немного смешной гимназист.

Я долго мучился над этим рассказом. Слова теряли твердость, делались ватными. Нагромождение красивостей утомляло меня самого. Временами я приходил в отчаяние.

В Киеве в то время издавался журнал со странным названием «Рыцарь». Редактировал его известный киевский литератор и любитель искусств Евгений Кузьмин.

Я долго колебался, но все же отнес рассказ в редакцию «Рыцаря».

Редакция была на квартире у Кузьмина. Мне открыл маленький вежливый гимназист и провел в кабинет Кузь-

мина. Пятнистый бульдог сидел на ковре и, пуская слюни, смотрел на меня больными глазами.

Было душно. Пахло дымом ароматических свечей. Белые маски греческих богов и богинь висели на черных обоях. Повсюду высокими грудами лежали книги в пересохших кожаных переплетах.

Я ждал. Потрескивали книги. Потом вошел Кузьмин — очень высокий, очень худой, с белыми пальцами. На них блестели серебряные перстни.

Он разговаривал со мной, почтительно склонив голову. Я краснел и не знал, как поскорее уйти. Рассказ уже казался мне бездарным, а я сам — косноязычным дураком.

Кузьмин перелистал рукопись вялыми пальцами и отчеркнул что-то острым ногтем.

— Мой журнал,— сказал он,— является трибуной молодых талантов. Очень рад, если мы найдем еще одного собрата. Я прочту рассказ и пришлю вам открытку.

— Если нетрудно, то, пожалуйста, пришлите мне ответ в закрытом письме.

Кузьмин понимающе улыбнулся и наклонил голову.

Я ушел. Задыхаясь, я сбежал по лестнице и выскочил на улицу. Дворники поливали мостовые. Трещала в шлангах вода. Мелкие брызги оседали на лице. Мне стало легче.

Я вскочил на ходу в вагон трамвая, чтобы поскорее бежать от этих мест. Пассажиры насмешливо посматривали на меня. Я выскочил из трамвая и пошел пешком.

Пыль дымилась над Сенным базаром. Над скучной Львовской улицей плыли одинаковые круглые облака. Едко пахло конским навозом. Седая лошаденка тащила телегу с мешками угля. Измазанный углем человек шел рядом и уныло кричал:

— Уголля надо?

Я вспомнил, что в душном кабинете Кузьмина лежит на столе мой рассказ, переполненный красотами и неясными мыслями о жизни.

Мне стало стыдно. Я поклялся не писать больше никаких рассказов.

— Все это не то, не то! — повторял я.— А может быть, хоть и плохо, а все-таки то?

Я ничего не знал. Я совершенно запутался.

Я свернул по Глубочице на Подол. Холодные сапожники стучали молотками по старым подошвам. Молотки высекали из кожи струйки пыли. Мальчишки били из рогаток по воробьям. На дрогах везли муку. Она сыпалась на мостовую из дырявых мешков. Во дворах женщины развешивали цветное белье.

День был ветреный. Ветер вздувал над Подолом мусор. Высоко на холме подымался над городом Андреевский собор с серебряными куполами — нарядное творение Растрелли. Красные картуши колонн могуче изгибались.

Я зашел в харчевню и выпил кислого вина. Но от этого не стало легче.

К вечеру я возвратился домой с головной болью. Бабушка тотчас натерла меня «спиритусом» и уложила в постель.

Я был уверен, что сделал непоправимую ошибку — написал отвратительный рассказ и этим на всю жизнь отрезал себе возможность писать. Не было вокруг никого, кто бы мог мне сказать, что делать дальше. Неужели возможно всей душой тянуться к любимому делу и знать, что это бесплодно?

Гаттенбергер заиграл в своей комнате под сурдинку. Он играл теперь не «Смерть Гамлета», а отрывки из своей новой пьесы «Пир во время чумы». Гаттенбергер много работал над этой пьесой и часто проигрывал бабушке и мне отдельные куски.

Бабушка по-прежнему удивлялась мрачной фантазии Гаттенбергера.

— То смерть, то чума! — жаловалась она.— Не понимаю я этого. По-моему, музыка должна веселить людей.

Сейчас Гаттенбергер играл свое любимое место:

И раздавались жалкие стенанья
По берегам потоков и ручьев,
Бегущих ныне весело и мирно
Сквозь дикий рай твоей земли родной!

— Вот! Вот настоящее! — бормотал я.— «Сквозь дикий рай твоей земли родной».

Дикий рай! Как целебный ветер, эти слова ударили в грудь. Надо добиваться, надо работать, надо жить поэзией, словом. Я догадывался, как долог и как труден будет этот путь. Но почему-то это меня успокоило.

Через два дня пришла открытка от Кузьмина. Он не исполнил моей просьбы и не прислал мне ответа в закрытом письме.

Кузьмин писал, что он прочел рассказ и напечатает его в ближайшем номере журнала.

Бабушка, конечно, прочла эту открытку. Она даже всплакнула.

— Твой отец, Георгий Максимович,— сказала она,— смеялся надо мной. Но он был добрый человек. Мне жалко, что он не дожил до этого времени.

Бабушка перекрестила меня и поцеловала.

— Ну, трудись и будь счастлив. Видно, бог сжалился надо мной и принес мне напоследок эту радость.

Она радовалась моему первому рассказу больше, чем я.

Когда вышел номер «Рыцаря» с этим рассказом, бабушка даже спекла «мазурки» и устроила праздничный завтрак.

К завтраку бабушка надела черное шелковое платье. Раньше она надевала его только на пасху. Искусственный букетик гелиотропа был приколот у нее на груди. Но сейчас бабушка не помолодела от этого платья, как молодела раньше. Только черные ее глаза смеялись, когда она смотрела на меня.

Осы садились на вазу с вареньем. А Гаттенбергер, как бы догадавшись о том, что происходит у нас, играл мазурку Венявского и притопывал в такт ногой.

«ЗОЛОТАЯ ЛАТЫНЬ»

Латинист Субоч смотрел на меня круглыми глазами. Усы его топорщились.

— А еще восьмиклассник! — сказал Субоч.— Черт знает чем занимаетесь! Следовало бы влепить вам четверку по поведению. Тогда бы вы у меня запели!

Субоч был прав. Тот трюк, или, как мы его называли, «психологический опыт», который мы проделали на уроке латинского языка, можно было только и определить словами «черт знает что».

В нашем классе когда-то висели картины. Их давно сняли, но в стенах осталось шесть больших железных костылей.

Эти костыли вызвали у нас одну «удачную мысль». Наш класс осуществил ее с блеском и ловкостью.

Субоч был человек стремительный. Он влетал в класс как метеор. Фалды его сюртука разлетались. Пенсне сверкало. Журнал, со свистом рассекая воздух, летел по траектории и падал на стол. Пыль завивалась вихрями за спиной латиниста. Класс вскакивал, гремя крышками парт, и с таким же грохотом садился. Застекленные двери звенели. Воробьи за окнами срывались с тополей и с треском уносились в глубину сада.

Таков был обычный приход Субоча.

Субоч останавливался, вынимал из кармана крошечную записную книжку, подносил ее к близоруким глазам и замирал, подняв в руке карандаш. Вихрь сменялся грозной тишиной. Субоч искал в книжке очередную жертву.

Шестерых самых легких и маленьких ростом гимназистов, в том числе и меня, подвесили за туго затянутые кушаки к костылям. Костыли больно давили на поясницу. Спирало дыхание.

В класс влетел Субоч. В это время все остальные гимназисты сделали между партами «стойку» — стали вниз головой, вытянув вверх ноги и опираясь руками на парты.

Субоч разогнался и не мог остановиться. Он швырнул на стол журнал, и в ту же минуту весь класс с грохотом перешел в «исходное положение» — стал на ноги и сел на места. А мы, шестеро, отстегнули кушаки, упали на пол и тоже сели за парты.

Наступила звенящая зловещая тишина. Все было в полном порядке. Мы сидели с невинным видом, как будто ничего не случилось.

Субоч начал бушевать. Но мы отрицали всё начисто. Мы упрямо доказывали, что ничего не было, никто не висел на стенах и класс не делал никакой «стойки». Мы даже осмелились намекнуть, что Субоч страдает галлюцинациями.

Латинист растерялся. Он вызвал к себе шестерых гимназистов, висевших на костылях, и подозрительно осмотрел их со всех сторон. На куртках не было следов мела со стены. Субоч пожал плечами. Он посмотрел на костыли, заглянул на пол — нет ли там осыпавшейся штукатурки. Выражение тревоги появилось у него на лице: Субоч был очень мнительный.

— Дежурный,— сказал Субоч,— позовите ко мне Платона Федоровича.

Дежурный вышел и возвратился с надзирателем Платоном Федоровичем.

— Вы ничего не заметили в начале моего урока? — спросил его Субоч.

— Нет,— ответил Платон Федорович.

— Никакого шума, грохота?

— Класс встает и садится всегда с некоторым шумом,— осторожно ответил Платон Федорович и с недоумением посмотрел на Субоча.

— Благодарю вас,— сказал Субоч.— Мне показалось, что в классе произошли несколько странные явления.

Платон Федорович выжидательно смотрел на Субоча.

— А что именно? — спросил он вкрадчиво.

— Ничего! — вдруг рассердясь, отрезал Субоч.— Извините, что я вас побеспокоил.

Платон Федорович развел руками и вышел.

— Сидите тихо,— сказал нам Субоч и взял журнал.— Я сейчас вернусь.

Он ушел и через несколько минут возвратился с инспектором Варсонофием Николаевичем, носившим прозвище «Варсапонт».

Варсапонт внимательно осмотрел нас, потом подошел к стене, влез на парту и потянул за костыль. Костыль вылез из стены почти без сопротивления.

— Тэк-с! — загадочно сказал Варсапонт и засунул костыль обратно.

Класс следил за Варсапонтом.

— Тэк-с! — повторил Варсапонт.— Что сей сон означает?

— Тэк-с! — повторил он в третий раз, покачал головой и ушел.

Субоч сел к столу и долго сидел, уставившись в журнал и размышляя. Потом он сорвался с места и вылетел из класса. Зазвенели двери. Сорвались с тополей воробьи. Ветер пронесся между партами, шевеля страницы учебников.

До конца урока мы просидели одни, стараясь не шуметь. Мы были встревожены удачей «психологического опыта» и боялись, что после этого Субоч действительно повредится в уме.

Но все окончилось проще. Слух о «психологическом

опыте» разнесся по гимназии и вызвал завистливое восхищение.

Гимназисты младшего класса решили повторить этот опыт с одним из своих учителей. Но, как известно, гениальное удается только раз. Дело окончилось провалом.

Субоч все узнал и пришел в ярость. Он произнес обличительную речь. Она была не хуже знаменитой речи Цицерона «Доколе, Катилина, ты будешь злоупотреблять нашим терпением!»

Субоч сделал из этой речи неожиданный поворот. Он стыдил нас не за то, что мы ввели в обман его, Субоча, а за то, что мы осмелились вести себя так недостойно на уроке «золотой латыни», на уроке самого великолепного из всех языков мира.

— Латинский язык! — восклицал он. — Язык Овидия и Горация! Тита Ливия и Лукреция! Марка Аврелия и Цезаря! Перед ним благоговели Пушкин и Данте, Гете и Шекспир! И не только благоговели, но и знали его, кстати, гораздо лучше, чем вы. Золотая латынь! Каждое ее слово можно отлить из золота. Люди не потеряют на этом ни одного золотника драгоценного металла, потому что в латинском языке нет словесного мусора. Он весь литой. А вы? Что делаете вы? Вы издеваетесь над ним! Вы позволяете себе превращать занятия этим языком в балаган. Ваши головы начинены дешевыми мыслями! Мусором! Анекдотами! Футболом! Бильярдом! Курением! Зубоскальством! Кинематографом! Всякой белибердой! Стыдитесь!

Субоч гремел. Мы были подавлены тяжестью этих обвинений и картиной собственного ничтожества. Но, кроме того, мы были обижены. Большинство из нас прекрасно знало латынь.

Примирение вскоре было достигнуто. А потом наступил и величайший триумф «золотой латыни».

Стараясь загладить свою вину перед Субочем, мы яростно засели за латынь. Мы сжились с Субочем и очень его любили.

И вот пришел наконец тот памятный день, когда Субоч вынужден был поставить всем, кого он вызвал, по пятерке.

— Счастливое стечение обстоятельств! — сказал Субоч и усмехнулся в усы.

И на следующем уроке, как Субоч ни придирался к нам и ни гонял нас по «темному тексту», он снова должен был поставить всем по пятерке.

Субоч сиял. Но радость его все же была отравлена некоторой тревогой. Происходило явление, небывалое в его практике. Творилось попросту чудо.

После третьего урока, когда опять все получили пятерки, Субоч помрачнел. Он был, видимо, испуган. Блистательное знание латыни приобретало характер скандала. Об этом заговорила вся гимназия. Поползли вздорные слухи. Злые языки обвиняли Субоча в потворстве гимназистам, в том, что он создает себе славу лучшего латиниста.

— Придется,— сказал как-то Субоч нерешительным голосом,— поставить хотя бы трем-четырем из вас по четверке. Как вы думаете?

Мы обиженно промолчали. Нам казалось, что теперь Субоч был бы доволен, если бы кто-нибудь из нас заработал двойку. Может быть, теперь он даже жалел, что произнес свою вдохновенную речь о «золотой латыни».

Но мы не могли уже знать латынь хуже, чем мы ее знали. Никто из нас не соглашался нарочно провалиться по латыни, чтобы заткнуть рты клеветникам. Мы вошли с головой в эту игру. Она нам нравилась.

Все это кончилось тем, что Субоч не выдержал общего недоверия и устроил нам общественный экзамен.

Он пригласил на один из уроков помощника попечителя учебного округа, директора, инспектора Варсанонта и знатока латыни ксендза Олендского.

Субоч придирался к нам неслыханно и лукаво. Он всячески старался запутать нас и ошеломить. Но мы мужественно встречали его удары, и экзамен прошел блестяще.

Директор похохатывал и потирал руки. Варсанонт ерошил волосы. Помощник попечителя снисходительно улыбался. А ксендз Олендский только качал седой головой:

— Ой, полиглоты! Ой, лайдаки! Ой, хитрецы!

После экзамена мы, конечно, раскисли. Мы не могли выдержать такого напряжения. Снова появились четверки и тройки. Но слава лучшего латиниста осталась за Субочем. Ничто уже не могло ее поколебать.

ПРЕПОДАВАТЕЛИ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК

Изящный старичок с белой вымытой бородой и синими глазами, учитель русской словесности Шульгин отличался одним необыкновенным свойством: он не выносил бессмысленных слов.

Стоило ему услышать бессмыслицу, как он тотчас приходил в сокрушительную ярость. Он багровел, хватал учебники и рвал их в клочки или, сцепив руки, тряс ими перед испуганными гимназистами с такой силой, что круглые его манжеты громко стучали друг о друга. При этом Шульгин кричал:

— Вас! Именно вас! Попрошу! Вон! Вас! Вон!

Припадки эти кончались глубоким изнеможением. То была, конечно, болезнь. Знали это и мы, и все учителя, и надзиратели. Если припадок затягивался, в класс на цыпочках входил Платон Федорович и, обняв Шульгина за плечи, уводил в учительскую комнату. Там он отпаивал его валерьянкой.

Вообще же Шульгин был кроткий и безответный старик. Русская литература в его передаче представлялась примитивной и безоблачной. Отметки он ставил наугад. В младших классах плаксивые и прилипчивые гимназисты легко добивались, чтобы Шульгин переделывал им двойки на тройки, а тройки — на четверки.

Однажды мы писали на уроке Шульгина сочинение на избитую тему «Женские типы в произведениях Тургенева».

Гимназист Гудим, измазанный чернилами, кривляющийся и наглый, неожиданно крикнул:

— Попугаи на бульвар прилетели!

Это была одна из тех бессмыслиц, от которых Шульгин приходил в ярость. Припадок начался сразу.

Шульгин схватил Гудима за плечи и начал трясти с такой силой, что голова Гудима стучала об стенку. Потом Шульгин рванул на груди свой форменный сюртук. Отлетели и покатились по полу золотые пуговицы.

Матусевич схватил его за руки. Один из нас выскочил в коридор за Платоном Федоровичем.

Шульгин сел на парту, схватился за голову и глухо зарыдал.

Многие из нас, не выдержав этого зрелища, спрятались за поднятыми крышками парт.

Появились испуганный инспектор и Платон Федорович. Они увели Шульгина.

В классе стояла тишина. Со своего места встал Станишевский. Он был очень бледен. Он медленно подошел к Гудиму и сказал:

— Пащенок! Вон сейчас же из нашего класса! А иначе — тебе не жить! Ну!

Гудим криво усмехнулся и не двинулся с места. Станишевский схватил его за грудь, рванул к себе и швырнул на пол. Гудим вскочил. Класс молчал.

— Ну! — повторил Станишевский.

Гудим, пошатываясь, пошел к двери. На пороге он остановился. Он хотел что-то сказать, но все мы холодно и враждебно смотрели на него. Гудим вобрал голову в плечи и вышел.

Больше он в классе не появлялся. Да он и не мог появиться — законы гимназической морали были беспощадными законами. От них не было отступлений.

Родители Гудима взяли его из нашей гимназии и перевели в реальное училище Валькера, пристанище хулиганов и неучей.

После этого случая Шульгин слег. Он долго болел, но, выздоровев, не вернулся. Врачи запретили ему заниматься преподаванием.

Иногда мы встречали его в Николаевском сквере. Он сидел, опираясь подбородком на костыль, и грелся на солнце. Дети играли у его ног на песке. Мы кланялись Шульгину, но он только испуганно взглядывал на нас и не отвечал на поклоны.

Нам вначале не везло на учителей русской литературы. После Шульгина появился Тростянский — высокий, чванный, с бледным и постным лицом.

По его мнению, все русские писатели делились на благонамеренных, заслуживающих изучения, и крамольников и сбившихся с пути разночинцев. О последних он говорил с сожалением, как о погибших талантах.

Тростянский нас раздражал. В классных сочинениях мы ниспровергали его богов и превозносили крамольников. Тростянский, вежливо улыбаясь, доказывал нам тихим голосом, что мы ошибаемся, и ставил двойки.

Тростянского сменил преподаватель психологии и русской литературы Селиханович, похожий на поэта Брюсова.

Он ходил в черном, застегнутом наглухо штатском сюртуке.

Это был человек мягкий и талантливый. Он «промыл» перед нами русскую литературу, как опытные мастера-реставраторы промывают картины. Он снял с нее пыль и грязь неправильных и мелких оценок, равнодушия, казенных слов и скучной зубрежки. И она заиграла перед нами таким великолепием красок, глубиной мысли и такой великой правдой, что многие из нас, уже взрослые юноши, были поражены.

От Селихановича мы узнали многое. Он открыл нам не только русскую литературу. Он открыл нам эпоху Возрождения и европейскую философию XIX века, сказки Андерсена и поэзию «Слова о полку Игореве». До тех пор мы бессмысленно вызубривали наизусть его древнеславянский текст.

У Селихановича был редкий дар живописного изложения. Самые сложные философские построения в его пересказе становились понятными, стройными и вызывали восхищение широтой человеческого разума.

Философы, писатели, ученые, поэты, чьи имена до тех пор воскрешали в памяти только мертвые даты и сухой перечень из «заслуг перед человечеством», превращались в ощутимых людей. В изображении Селихановича они никогда не существовали сами по себе, вне своей эпохи.

На уроках о Гоголе Селиханович воскрешал перед нами Рим гоголевских времен — его карту, его холмы и руины, его художников, карнавалы, самый воздух римской земли и синеву римского неба. Вереницы замечательных людей, связанных с Римом, проходили перед нами, вызванные к жизни магической силой.

Эта магическая сила была проста и доступна каждому. Называлась она знанием, одухотворенным любовью и воображением.

Мы переходили из одной эпохи в другую, из одних интереснейших мест в другие, не менее интересные. Изучая литературу, мы побывали с Селихановичем всюду — среди оружейников Тулы, в казачьих станицах на границе Дагестана, под моросящим дождем «Болдинской осени», в сиротских домах и долговых тюрьмах диккенсовской Англии, на рынках Парижа, в заброшенном монастыре на острове Майорке, где болел Шопен, и в безлюдной Тамани, где морской ветер шуршит стеблями сухой кукурузы.

Мы пристально проследили жизнь тех людей, кому были обязаны познанием своей страны и мира и чувством прекрасного,— жизнь Пушкина, Лермонтова, Толстого, Герцена, Рылеева, Чехова, Диккенса, Бальзака и еще многих лучших людей человечества. Это наполняло нас гордостью, сознанием силы человеческого духа и искусства.

Попутно Селиханович учил нас и неожиданным вещам — вежливости и даже деликатности. Иногда он задавал нам загадки.

— Несколько человек сидят в комнате,— говорил он.— Все кресла заняты. Входит женщина. Глаза у нее заплаканы. Что должен сделать вежливый человек?

Мы отвечали, что вежливый человек должен, конечно, тотчас уступить женщине кресло.

— А что должен сделать не только человек вежливый, но и деликатный? — спрашивал Селиханович.

Мы не могли догадаться.

— Уступить ей место спиной к свету,— отвечал Селиханович,— чтобы заплаканные ее глаза не были заметны.

Меня Селиханович удивил тем, что, заговорив о моем желании стать писателем, он спросил:

— А у вас хватит выносливости?

Я не подозревал, что эта черта необходима для занятия литературой. Впоследствии я убедился, что Селиханович был прав.

Однажды он остановил меня в коридоре и сказал:

— Приходите завтра на лекцию Бальмонта. Обязательно: вы хотите быть прозаиком — значит, вам нужно хорошо знать поэзию.

Я пошел на лекцию Бальмонта. Она называлась «Поэзия как волшебство».

В зале Купеческого собрания было тесно и жарко. На маленьком столе, покрытом зеленой бархатной скатертью, горели два бронзовых канделябра.

Вошел Бальмонт. Он был в сюртуке, с пышным шелковым галстуком. Скромная ромашка была воткнута в петлицу. Редкие желтоватые волосы падали на воротник. Серые глаза смотрели поверх голов загадочно и даже высокомерно. Бальмонт был уже не молод.

Он заговорил тягучим голосом. После каждой фразы он замолкал и прислушивался к ней, как прислушивается человек к звуку рояльной струны, когда взята педаль.

После перерыва Бальмонт читал свои стихи. Мне казалось, что вся певучесть русского языка заключена в этих стихах.

Кукушки нежный плач в глуши лесной
Звучит мольбой, тоскующей и странной.
Как весело, как горестно весной,—
Как мир хорош в своей красе нежданной!

Он читал, высоко подняв рыжеватую бородку. Стихи расплывались волнами над зрительным залом.

И, как тихий дальний топот, за окном я слышу ропот,
Непонятный странный шепот — шепот капель дождевых.

Бальмонт кончил. Затряслись от аплодисментов подвески на люстрах. Бальмонт поднял руку. Все стихли.

— Я прочту вам «Ворона» Эдгара По,— сказал Бальмонт.— Но перед этим я хочу рассказать, как судьба все же бывает милостива к нам, поэтам. Когда Эдгар По умер и его хоронили в Балтиморе, родственники поэта положили на его могилу каменную плиту необыкновенной тяжести. Эти набожные квакеры, очевидно, боялись, чтобы мятежный дух поэта не вырвался из могильных оков и не начал снова смущать покой деловых американцев. И вот, когда плиту опускали на могилу Эдгара, она раскололась. Эта расколотая плита лежит над ним до сих пор, и в трещинах ее каждую весну распускается троицын цвет. Этим именем, между прочим, Эдгар По звал свою рано умершую прелестную жену Вирджинию.

Бальмонт начал читать «Ворона». Мрачная и великолепная поэзия дохнула в зал

За окнами не было уже ни Киева, ни огней на Крещатике, висевших голубоватыми цепями,— не было ничего. Только ветер уныло гудел над черной, присыпанной снегом равниной. И железное слово «невермор» тяжело падало в пустоту этой ночи, как бой башенных часов.

«Невермор!» «Никогда!» С этим никак не мирилось сознание. Неужели никогда? Никогда не вернется на землю Вирджиния и никогда уже не постучит она шаловливо и осторожно в тяжелую дверь? Никогда не вернутся молодость, любовь и счастье? «Да, никогда!» — каркал ворон, и человек сжимался от одиночества в потертом кресле и смотрел больными детскими глазами в холодную пустоту. И этот маленький, брошенный всеми человек был Эдгар По, великий поэт Америки.

Я на всю жизнь остался благодарен Селихановичу за то, что он вызвал у меня любовь к поэзии. Она открыла передо мной богатства языка. В стихах слова обновлялись, приобретали полную силу. Огромный образный мир поэтов вошел в сознание, будто с глаз сняли повязку.

Селиханович открыл нам литературу и философию, а старик Клячин — историю Западной Европы.

Худой, в расстегнутом сюртуке, всегда небритый, с большим кадыком, с прищуренными и ничего не видящими глазами, Клячин говорил хрипло, резко, обрывками фраз.

Он бросал слова, как комья глины. Он лепил ими живые статуи Дантона, Бабёфа, Марата, Бонапарта, Луи-Филиппа, Гамбетты.

Негодование клокотало у него в горле, когда он говорил о девятом термидора или о предательстве Тьера. Он забывался до того, что закуривал папиросу, но, опомнившись, тотчас гасил ее о ближайшую парту.

Клячин был знаток французской революции. Существование этого учителя в тогдашней гимназии было загадкой. Иногда его речь подымалась до такого пафоса, будто он говорил не в классе, а с трибуны Конвента.

Он был живым анахронизмом и вместе с тем самым передовым человеком из наших учителей.

Временами казалось, что это последний старый монтаньяр, чудом проживший сто лет и очутившийся в Киеве. Он избежал гильотины и смерти в болотах Гвианы и не потерял ни капли своего сурового энтузиазма.

Изредка Клячин уставал. Тогда он рассказывал нам о Париже времен революции — о его улицах и домах, о том, какие горели тогда на площадях фонари, как одевались женщины, какие песни пел народ, как выглядели газеты.

Многим из нас после уроков Клячина хотелось перенестись на столетие назад, чтобы быть свидетелями великих событий, о которых он нам рассказывал.

ВЫСТРЕЛ В ТЕАТРЕ

Паркет в актовом зале был так навощен, что в нем, как в озере, отражались синие ряды гимназистов в мундирах со светлыми пуговицами и зажженные среди дня люстры.

В зале стоял легкий гул. Он сразу оборвался.

Позванивая шпорами, в зал вошел невысокий полковник со светлыми выпуклыми глазами. Он остановился и в упор посмотрел на нас. Медными голосами закричали трубы.

Мы стояли не шевелясь.

За полковником, Николаем Вторым, вошла, кивая, очень высокая сухая женщина в белом твердом платье, с огромной шляпой на голове. Страусовые перья свешивались с полей ее шляпы. Лицо у женщины было мертвое, красивое и злое. Это была императрица.

За ней гуськом шли девочки с тонкими бескровными губами, в таких же твердых белых платьях. Платья эти не гнулись. На них не было складок, и казалось, что они сделаны из белого ребристого картона.

За девочками — великими княжнами — плыла, громко шурша, огромная дама в лиловом платье с черными кружевами, в золотом пенсне и с атласной лентой через плечо — воспитательница царских дочерей фрейлина Нарышкина. Жир переливался под ее тугими шелками. Она обмахивала лицо кружевным платочком.

Так началось торжественное празднование столетия нашей гимназии.

Свита закрыла от нас Николая. Мы видели только тщательно примазанные волоски на лысинах министров, алые ленты, белые брюки с золотыми лампасами и штрипками на лакированных ботинках, генеральские шаровары, серебряные кушаки.

Лучший декламатор в гимназии Недельский читал царю приветственные стихи собственного сочинения. Он старательно выкрикивал их деревянным голосом. Он обращался к царю на «ты».

Потом свита раздалась, и по широкому проходу к нам подошел Николай. Он остановился, потрогал русые усы и медленно сказал, картавя:

— Здравствуйте, господа.

Мы ответили, как нас учили,— негромко, но внятно:

— Здравия желаем, ваше императорское величество!

Я стоял последним в шеренге, потому что был самым маленьким по росту в нашем выпускном классе. Николай подошел ко мне. Легкий тик передергивал его щеку. Он рассеянно посмотрел на меня, привычно улыбнулся одними глазами и спросил:

— Как ваша фамилия?

Я ответил.

— Вы малоросс? — спросил Николай.

— Да, ваше в личество,— ответил я.

Николай скользнул по мне скучным взглядом и подошел к моему соседу.

Он обошел всех. У каждого он спрашивал, как его фамилия.

После обхода начался концерт. Николай слушал его стоя. Поэтому стояли и все.

Всем видом своим Николай как бы хотел показать, что ему наскучили торжества и что он не намерен тратить время на гимназические концерты. Он нетерпеливо теребил снятую с правой руки перчатку.

Концерт скомкали. Гимназический оркестр сыграл «Славься, славься, наш русский царь». Потом кто-то прочел «Вещего Олега», а хор спел кантату.

Все это было скучно и никому не нужно. Министры позевывали за спиной царя На участников концерта было тяжело смотреть — они дрожали от страха

Пока шел концерт, мы разглядывали министров и свиту.

Нас удивила разница между царем и его свитой.

Николай, невзрачный и даже мешковатый, терялся среди обширной свиты. Она звенела и сверкала золотом и серебром, лакированными голенищами сапог, лядунками, аксельбантами, темляками, саблями, шпорами, ментиками и орденами. Даже когда свитские стояли неподвижно, и то мы слышали неясный звон, исходивший от их регалий и оружия.

Николай прослушал концерт с каменным лицом и уехал из гимназии. Он был недоволен. У него были свои счеты с нашей гимназией. За два дня до этого торжества бывший гимназист нашей гимназии Багров стрелял в Оперном театре в министра Столыпина и смертельно его ранил. Но об этом я расскажу дальше.

По случаю столетия гимназии ее решили преобразовать в лицей. Указ об этом был заготовлен. Но после выстрела в театре это сочли неудобным — как можно давать права лицея гимназии, воспитывающей государственных преступников!

Поэтому гимназию только переименовали в «Императорскую Александровскую» — в честь Александра Перво-

го, а у гимназистов вместо обыкновенных гербов появились гербы с вензелем «А» и с короной.

Новые буквы на этом гербе — «ИАГ» — дали гимназистам остальных киевских гимназий богатую пищу для зубоскальства. На этой почве происходили драки.

Мы же, гимназисты последнего класса, решили донашивать старые гербы. Начальство негодовало, но мы ссылались на то, что у нас нет денег на покупку новых гербов и пряжек. В конце концов начальство махнуло рукой. Не было смысла ссориться с выпускным классом.

По случаю приезда Николая в Киеве были разнообразные торжества. Открыли бронзовый уродливый памятник Александру Второму и еще более уродливые гипсовые памятники святым Ольге, Кириллу и Мефодию. В окрестностях Киева происходили маневры. Что-то освещали, открывали, устраивали крестные ходы и торжественные спектакли. Целую неделю на домах висели флаги.

На скаковом поле после рысистых бегов происходил парад всех киевских гимназий.

Мы прошли, подымая пыль, перед Николаем. Закатное солнце било в глаза. Мы ничего не видели и «завалили равнение». Из последних сил рявкали военные оркестры.

Наша гимназия отличилась тем, что забыла ответить на приветствие царя. К нам подскакал на лошади полный генерал, долго ругал нас и дергал в сердцах поводья. Рыжий конь прижимал уши и пятился.

В Оперном театре был торжественный спектакль в присутствии Николая. На этот спектакль повели гимназисток и гимназистов последних классов всех гимназий.

Повели и наш класс.

Служебными темными лестницами нас провели на галерку. Галерка была заперта. Спуститься в нижние ярусы мы не могли. У дверей стояли любезные, но наглые жандармские офицеры. Они перемигивались, пропуская хорошеньких гимназисток.

Я сидел в заднем ряду и ничего не видел. Было очень жарко. Потолок театрального зала нависал над самой головой.

Только в антракте я выбрался со своего места и подошел к барьеру. Я облокотился и смотрел на зрительный зал. Он был затянут легким туманом. В тумане этом заго-

рались разноцветные огоньки бриллиантов. Императорская ложа была пуста. Николай со своим семейством ушел в аванложу.

Около барьера, отделявшего зрительный зал от оркестра, стояли министры и свитские.

Я смотрел на зрительный зал, прислушиваясь к слитному шуму голосов. Оркестранты в черных фраках сидели у своих пюпитров и, вопреки обычаю, не настраивали инструментов.

Вдруг раздался резкий треск. Оркестранты вскочили с мест. Треск повторился. Я не сообразил, что это выстрелы. Гимназистка, стоявшая рядом со мной, крикнула:

— Смотрите! Он сел прямо на пол!

— Кто?

— Столыпин. Вон! Около барьера в оркестре!

Я посмотрел туда. В театре было необыкновенно тихо. Около барьера сидел на полу высокий человек с черной круглой бородой и лентой через плечо. Он шарил по барьеру руками, будто хотел схватиться за него и встать.

Вокруг Столыпина было пусто.

По проходу шел от Столыпина к выходным дверям молодой человек во фраке. Я не видел на таком расстоянии его лица. Я только заметил, что он шел совсем спокойно, не торопясь.

Кто-то протяжно закричал. Раздался грохот. Из ложи бенуара спрыгнул вниз офицер и схватил молодого человека за руку. Тотчас вокруг них сгрудилась толпа.

— Очистить галерку! — сказал у меня за спиной жандармский офицер.

Нас быстро прогнали в коридор. Двери в зрительный зал закрыли.

Мы стояли, ничего не понимая. Из зрительного зала долетал глухой шум. Потом он стих, и оркестр заиграл «Боже царя храни».

— Он убил Столыпина,— сказал мне шепотом Фицовский.

— Не разговаривать! Выходить немедленно из театра! — крикнул жандармский офицер.

Теми же темными лестницами мы вышли на площадь, ярко освещенную фонарями.

Площадь была пуста. Цепи конных городовых оттеснили толпы, стоявшие около театра, в боковые улицы и продолжали теснить все дальше. Лошади, пятясь, нервно

перебирали ногами. По всей площади слышался дробный звон подков.

Пропел рожок. К театру размашистой рысью подкатила карета скорой помощи. Из нее выскочили санитары с носилками и бегом бросились в театр.

Мы уходили с площади медленно. Мы хотели увидеть, что будет дальше. Городовые торопили нас, но у них был такой растерянный вид, что мы их не слушались.

Мы видели, как Столыпина вынесли на носилках. Их задвинули в карету, и она помчалась по Владимирской улице. По сторонам кареты скакали конные жандармы.

Я вернулся домой на Лукьяновку и рассказал бабушке и Гаттенбергеру об убийстве Столыпина.

Бабушка сказала, что нельзя стрелять в театре, так как могут пострадать невинные люди. А Гаттенбергер взволновался, надымил сигарой, заметил, что этого прохвоста Столыпина должны же были когда-нибудь убить, и тотчас уехал в город разузнавать новости.

Он вернулся после полуночи и рассказал, что Малая Владимирская улица, где лежит в лечебнице Столыпин, застлана соломой, а черносотенцы призывают к еврейскому погрому.

— Этого еще не хватало! — воскликнула разгневанная бабушка.

Но Гаттенбергер сказал, что пока царь в Киеве, погрома не будет.

На следующее утро бабушка спросила меня:

— Ты опять поедешь в город?

— Да. В гимназию.

— Зачем?

— Будет репетиция встречи царя.

— Заболей лучше и не ходи,— посоветовала бабушка.— Придумали глупство! Неужели у царя нет другого дела, чем красоваться перед людьми?

Я сказал, что, очевидно, это так.

— Ну и не ходи! — сказала бабушка.— Все из-за этого Николая мечутся по городу и ничего не соображают. Тратят время на богатэли, на пустяки, как будто бог прибавит им за это жизни. Оставайся. Может же у тебя разболеться голова! Посиди в саду, почитай, а я спеку для тебя струцель (так бабушка называла по-польски яблочный пирог). Я не понимаю, как можно терять время без всякого сенсу, без смысла, когда такие дни стоят на дворе!

Я послушался бабушку и не пошел на репетицию.

Дни действительно стояли прекрасные. Листья на яблонях порозовели и начали засыхать. Некоторые листья были свернуты в трубки и обмотаны паутиной. По краям дорожек цвели красные и белые астры.

Желтые бабочки летали между деревьями. Они садились маленькими толпами на все прогретое солнцем — каменные ступеньки веранды и забытую в саду жестяную лейку.

Будто уменьшившееся от осени, солнце долго шло над головой, приближаясь к вершинам ореховых деревьев.

Я читал в саду, сидя в бабушкином плетеном кресле. По временам я слышал отдаленную музыку, долетавшую из города. Потом я отложил книгу и начал присматриваться к дорожке. Она была прорезана в густой траве. По крутым ее откосам темнел мелкий мох, похожий на зеленый бархат. Среди этого мха что-то нежно белело. Это был неизвестно откуда попавший в наш сад и расцветший второй раз цветок лесной анемоны.

Со двора пришла белая утка. Увидев меня, она остановилась, недовольно покрякала и ушла, переваливаясь, обратно. Очевидно, я ей помешал. Воробьи сидели на крыше, чистились и, вытянув головы, заглядывали вниз — нет ли там чего-нибудь интересного. Воробьи ждали.

Бабушка вышла на веранду в теплом платке и бросила на дорожку горсть хлебных крошек. Воробьи слетели с крыши и запрыгали, как серые мячики, по земле.

— Костик,— позвала бабушка,— иди обедать.

Она стояла на ступеньках веранды. Я встал и пошел к ней. Из комнаты пахло яблочным пирогом.

— Разве же это не настоящий царский праздник! — сказала бабушка, глядя на сад.— Выдумывают же себе люди всякие глупости с этим Николаем Вторым!

В саду действительно был праздник света и чистого, теплого воздуха.

РАЗГУЛЯЙ

Я ехал на рождественские каникулы к маме в Москву. Когда поезд проходил мимо Брянска, шел такой густой снег, что ничего нельзя было разобрать за окнами. Я толь-

ко угадывал вдалеке за падающим снегом знакомый городок, блеск снежных ковров на его улицах и дом дяди Коли с застекленным крылечком.

В Москву я ехал впервые. Я волновался оттого, что увижу маму, и от сознания, что еду в северную столицу из нашего южного провинциального Киева.

С каждым часом поезд уходил все дальше в белые равнины, медленно взбирался к краю сизого неба. Там стлалась мгла. Мне представлялось, что впереди на горизонте день сливается с вечной полярной ночью.

Я побаивался московской зимы. У меня не было теплой шинели. Были только варежки и башлык.

На станциях ясно раздавались звонки. Скрипели по снегу валенки. Мой сосед угощал меня медвежьим окороком. Медвежатина пахла сосновой смолой.

Ночью за Сухиничами поезд застрял в заносах. Ветер визжал в жестяных вентиляторах. Через вагон пробегали кондуктора с фонарями, белые и мохнатые от снега, как лесовики из берлоги. Каждый из них изо всей силы захлопывал за собой дверь. Я всякий раз просыпался.

Утром я вышел на площадку. Зернистый воздух покалывал лицо. На полу около щелей ветер надул маленькие сыпучие сугробы.

Я с трудом открыл дверь. Метель стихла. Вагоны по буфера стояли в великолепном снегу. В нем можно было утонуть с головой. На крыше вагона сидела маленькая синяя птица и попискивала, вертя головой. Нельзя было отличить, где белое небо сливается с белой землей. Было так тихо, что я слышал, как льется из паровоза вода.

В Москве на Брянском вокзале меня встретил Дима. Черные упрямые усики пробивались у него над губой. На Диме была форма студента Технического училища.

Я очень озяб, и мы пошли в буфет выпить чаю.

Меня удивил московский вокзал — деревянный, низенький, похожий на огромный трактир.

Оранжевое солнце освещало стойку с мельхиоровыми крышками, столы с синими пальмами, пар из чайников, кисейные занавески. За стрельчатыми листьями изморози на стеклах шумели извозчики

Мы пили чай с колотым сахаром. Нам подали хрустящие калачи, обсыпанные мукой.

Потом мы вышли на крыльцо. Пар подымался над мохнатыми лошадьми. Заплатанные извозчичьи армяки с жестяными номерами зарябили в глазах. Голуби опускались на унавоженный снег.

— Прикажите, ваше сиятельство! — закричали извозчики, зачмокали, задергали вожжами.

Один из них вырвался вперед. Он откинул потертую волчью полсть, и мы сели в узкие сани. В ногах было подстелено сено. Я с изумлением смотрел по сторонам. Неужели это Москва?

— На Разгуляй! — сказал Дима извозчику.— Только вези через Кремль.

— Эхма! — крякнул извозчик.— Нам все равно. Что тут, что в Кремле — зипун не греет.

Сейчас же около вокзала, в Дорогомилове, мы попали в путаницу розвальней, могучих дуг, расписанных цветами, бубенцов, пара, бившего в лицо из задранных лошадиных морд, трактирных вывесок, городовых с обледенелыми усами и качающего воздух звона церковных колоколов.

Мы въехали на Бородинский мост. Мрачным заревом догорали за рекой окна домов. В них отражалось заходящее солнце. На круглых уличных часах на перекрестке было всего два часа дня. Все это было странно, оглушительно и хорошо.

— Ну как,— спросил Дима,— нравится тебе Москва?

— Очень.

— Погоди, еще насмотришься разных чудес.

За Арбатской площадью мы свернули в неширокую улицу. В конце этой улицы я увидел на холме крепостные стены и башни, зеленые кровли дворцов и серые громады соборов. Все это было окутано красноватым вечерним дымом.

— Что это? — спросил я Диму, ничего не соображая.

— Неужели не узнаешь? Это Кремль.

Я судорожно вздохнул. Я не был готов к этой встрече с Кремлем. Он подымался среди огромного города, как крепость, построенная из розового камня, старого золота и тишины.

Это был Кремль. Россия, история моего народа. «Шапку кто, гордец, не снимет у Кремля святых ворот...»

Слезы навернулись у меня на глаза.

Мы въехали в Кремль через Боровицкие ворота. Я увидел Царь-колокол, Царь-пушку и колокольню Ивана Великого, уходящую в вечернее небо.

Извозчик стащил с головы шапку. Мы с Димой сняли фуражки, и сани проехали под Спасской башней. В темном проезде мигала лампада. Равнодушно и величественно заиграли над головой куранты.

— А это что? — спросил я Диму и схватил его за руку, когда мы выехали из Спасских ворот.

На спуске к реке подымались, как разноцветные головки репейника, замысловатые купола.

— Неужели не узнал? — ответил Дима и усмехнулся.— Храм Василия Блаженного.

На Красной площади горели костры. Около них грелись прохожие и извозчики. Дым лежал на площади. Тут же, рядом, на стенах я увидел афиши Художественного театра с летящей чайкой и другие афиши с крупной черной надписью: «Эмиль Верхарн».

— Что это? — снова спросил я Диму.

— Верхарн сейчас в Москве,— ответил он и засмеялся, взглянув на меня. Должно быть, у меня было совершенно растерянное лицо.— Погоди, ты еще насмотришься разных чудес.

Пока мы доехали до Разгуляя, уже стемнело. Сани остановились около двухэтажного дома с толстыми стенами.

Мы поднялись по крутой лестнице. Дима позвонил, и мама тотчас открыла дверь. Позади мамы стояла Галя и, вытянув голову, старалась рассмотреть меня в темной передней.

Мама обняла меня и заплакала. Она совсем поседела за то время, что мы не виделись.

— Боже мой,— говорила мама,— ты уже совсем взрослый! И как ты похож на отца! Боже, как похож!

Галя почти ослепла. Она подвела меня к лампе в комнате и долго рассматривала. По ее напряженному лицу можно было догадаться, что она совсем меня не видит, хотя она и говорила, что я нисколько не изменился.

Обстановка в комнате была чужая и скудная. Но все же я заметил несколько знакомых с детства вещей — мамину шкатулку, старинный бронзовый будильник и фотографию отца, снятую еще в молодости. Фотография висела на стене над маминой кроватью.

Мама заволновалась из-за того, что до сих пор не готов обед, и ушла на кухню. Галя, по своему обыкновению, начала расспрашивать меня о пустяках — какая погода в Киеве, почему опоздал поезд и пьет ли по-прежнему по утрам кофе бабушка Викентия Ивановна. Дима молчал.

Мне казалось, что в жизни у нас за эти годы случилось так много трудного и значительного, что неизвестно, о чем говорить. Потом я сообразил, что ни о чем трудном и важном говорить сейчас не нужно.

За эти два года наши жизни разошлись под разными углами. Десяти дней, на которые я приехал в Москву, не хватит, чтобы все рассказать.

Поэтому я ничего не сказал о первом рассказе. Я скрыл это и от мамы и от Димы с Галей.

С легкой тоской я подумал о бабушке, о своей комнате на Лукьяновке. Там, должно быть, осталась моя настоящая жизнь. А здесь было что-то чужое — и Димин институт, и сумрачная старая квартира из двух комнат, и Галины неинтересные расспросы. Только глаза у мамы были еще прежние. Но мама волновалась теперь из-за таких пустяков, на которые раньше не обращала внимания.

Я ждал, что мама заговорит со мной о моем будущем, но она молчала об этом. Только за обедом она спросила вскользь:

— Ну, куда ты думаешь поступить после гимназии?

— В университет,— ответил я.

После обеда мама достала из шкатулки серые театральные билеты с рисунком чайки и протянула мне:

— Это тебе.

Это были билеты в Художественный театр на «Живой труп» и «Три сестры».

Оказалось, что мама, чтобы достать эти билеты, стояла в очереди к театральной кассе всю холодную зимнюю ночь. Я страшно обрадовался и поцеловал маму, а она, улыбаясь, сказала, что ей было очень интересно стоять всю ночь в толпе студентов и курсисток и что уже давно она так весело не проводила время.

«Три сестры» шли в день моего приезда. Тотчас после обеда мы с Димой начали собираться в театр. Мы доехали до Театральной площади в холодном трамвае. Синие электрические искры трещали на проводах.

Театральная площадь была наполнена тонкими блестками снега. Они висели в воздухе и были хорошо видны

около фонарей. Магазин Мюра и Мерилиза бросал на мостовую полосы света. За стеклянными стенами магазина горела елка. Цепи из золотой и серебряной бумаги свешивались до полу.

Мы прошли через Театральную площадь в Камергерский переулок и вошли в невзрачный снаружи театр.

Полы были затянуты серым сукном. Зрители двигались бесшумно. Из калориферов несло жарким ветром. Чуть колыхался коричневый занавес с чайкой. Все было строго и вместе с тем празднично.

У меня так горели щеки и, должно быть, так блестели глаза, что соседи по креслам поглядывали на меня улыбаясь. Дима сказал:

— Возьми себя в руки. Иначе ты ничего не услышишь и не увидишь.

Мне было больно за людей, мучившихся в чеховской пьесе. Но вместе с тем меня не оставляло ощущение свежести и праздничности. Эта праздничность и эта свежесть шли от искусства.

Все неприглядное и невеселое, что я увидел на Разгуляе, показалось мне временным и не очень серьезным. Пусть будут бедность, обиды, неудачи, но никто не сможет погасить тот свет, что пришел сейчас из таинственной страны искусства. Никто не сможет отнять у меня это богатство. И никто не властен над ним, кроме меня самого.

В таком состоянии я прожил все десять дней в Москве. Мама посматривала на меня и все повторяла, что я стал удивительно похож на отца.

— Для меня ясно,— сказала она однажды,— что ты вряд ли сделаешься положительным человеком.

Она помолчала и добавила:

— Нет, конечно, ты не будешь опорой в жизни. Даже для себя. С твоими увлечениями! С твоими фантазиями! С твоим легким отношением к вещам!

Я молчал. Мама притянула меня к себе и поцеловала.

— Ну, бог с тобой! Мне хочется, чтобы ты был счастлив. А остальное не важно

— Я и так счастлив,— ответил я.— Пожалуйста, обо мне не думай. Прожил же я два года один. И еще проживу.

Мама носила в то время очки. Оправа их была сломана. Очки держались на тесемке. Мама долго разматывала

эту тесемку, сняла очки и внимательно посмотрела на меня.

— Неласковая стала наша семья! — вздохнула мама.— И скрытная. Это от бедности. Вот ты приехал и даже ничего не рассказал о себе. И я все молчу, все откладываю. А нам надо поговорить.

— Ну, хорошо. Но только ты не волнуйся.

— Галя слепая! — сказала мама и долго молчала.— А сейчас она начала глохнуть. Без меня она не проживет и недели. Ты не понимаешь, как о ней надо заботиться. У меня сил осталось только на Галю. Один бог видит, как я вас люблю — и тебя, и Диму, и Борю,— но я не могу разорваться.

Я ответил, что все отлично понимаю и что очень скоро я смогу помогать ей и Гале. Как только окончу гимназию.

Я уже не думал, как раньше, о возвращении к маме. Но я ее жалел и любил и хотел, чтобы она не терзалась мыслями обо мне.

Я успокоил ее и с легким сердцем начал собираться в Третьяковскую галерею.

Я чувствовал себя гостем в родной семье. Слишком был велик контраст между морозной, сверкающей снегами и зимним небом Москвой, с ее театрами, музеями, колокольным звоном, и унылой и стиснутой жизнью в двух холодных комнатах на Разгуляе.

Я с недоумением видел, что Дима совершенно доволен своей жизнью — институтом, выбранной профессией, которая была мне совершенно чужда. С таким же недоумением я заметил, что в комнате у Димы почти нет книг, кроме учебников и литографированных лекций.

У Гали, по слепоте ее, весь день уходил на осторожную возню с разными небольшими делами. Она все делала на ощупь. Время для нее остановилось три года назад, когда она начала слепнуть. Галя жила только воспоминаниями — мелкими и однообразными. Круг этих воспоминаний делался все меньше — Галя многое начала забывать.

Иногда она молча сидела, положив руки на колени.

Изредка по вечерам мама урывала время и читала что-нибудь Гале, обыкновенно Гончарова или Тургенева. После чтения Галя подробно расспрашивала маму о только что прочитанном, стараясь восстановить в памяти мель-

чайшую последовательность событий в романах. Мама терпеливо ей отвечала.

Я ушел в Третьяковскую галерею. Посетителей почти не было. Тихая зима как бы перенесла галерею из столицы в Подмосковье — не было слышно никаких городских звуков. На стульях дремали старушки — хранительницы знаменитых картин.

Я долго стоял около картины Нестерова «Видение отроку Варфоломею». Тоненькие девочки-березы белели, как свечи. Каждая травинка доверчиво тянулась к небу. Щемило сердце от этой трогательной и ничего не требующей красоты.

На диване против картины сидела седая полная дама в черном. Она смотрела на картину в лорнет. Рядом с ней сидела молодая женщина с русыми косами.

Я остановился сбоку, чтобы не мешать им смотреть на картину. Седая дама обернулась ко мне и спросила:

— Как ты находишь, Костик, это похоже на холмы в Рёвнах за парком или нет?

Я вздрогнул, смутился. Седая дама, улыбаясь, смотрела на меня.

— Ненаблюдательная нынче молодежь! — сказала она.— Неужели ты забыл Карелиных? В Рёвнах? И меня, и Любу, и Сашу? Правда, прошло уже несколько лет.

Я покраснел, поздоровался. Теперь я узнал седую даму — Марию Трофимовну Карелину. Но Любу я узнал не сразу. Она выросла, и в косах у нее уже не было прежних черных лент.

— Садись,— сказала Мария Трофимовна.— Как вырос! Даже неловко говорить тебе «ты». Рассказывай, как ты сюда попал. И вспомним вместе Рёвны. Ах, какие места, какие места! Этим летом мы непременно туда поедем.

Я рассказал о себе. А Мария Трофимовна сообщила, что она по-прежнему живет с Сашей в Орле. А вот Люба кончила гимназию и поступила в Московское училище живописи и ваяния. Сейчас Мария Трофимовна с Сашей приехали на зимние каникулы в Москву навестить Любу.

— А где же Саша? — спросил я.

— Осталась в гостинице. У нее горло болит.

Люба искоса поглядывала на меня, наклонив голову. Мы вышли вместе. Я проводил Карелиных до Лоскутной гостиницы. Они затащили меня к себе, чтобы согреться и выпить кофе.

В большом двойном номере было темно от тяжелых занавесей и ковров.

Саша встретила меня, как старого приятеля, и тотчас спросила про Глеба Афанасьева. Глеб, насколько я знал, учился в брянской гимназии.

Горло у Саши было завязано бантом, как у кошки. Саша взяла меня за руку:

— Пойдем! Я покажу тебе Любины картины.

Она потащила меня в соседнюю комнату. Но Люба схватила меня за другую руку и остановила.

— Глупости! — сказала она и покраснела.— Потом посмотрите. Мы же еще увидимся?

— Не знаю,— нерешительно ответил я.

— Он будет встречать с нами Новый год! — крикнула Саша.— У Любы. В ее мастерской на Кисловке. Ой, какая там сходится богема, если бы ты знал, Костик! Рыцари холста и палитры. Одна художница — прямо из французского романа. Ты обязательно в нее влюбишься. Она ходит в черном атласном платье. Фу-шу! Фу-шу! А духи! Какие духи! «Грусть тубероз»!

— О господи! — сказала Люба.— Что это за несносная болтушка! Теперь понятно, почему у тебя всегда болит горло.

— У меня соловьиное горло,— Саша сделала томное лицо.— Оно не выносит русской зимы

— Нет, правда, вы придете? — спросила меня Люба.— На Новый год?

— Я буду встречать дома У нас это семейный обычай.

— А ты встреть дома,— решительно посоветовала Мария Трофимовна,— а потом приходи к Любе. Они будут дурачиться до утра.

Я согласился. Потом мы пили кофе. Саша положила мне в стакан четыре куска сахару. Такой кофе пить, конечно, было нельзя. Мария Трофимовна рассердилась. Люба сидела, опустив глаза.

— Что ты сидишь, как Василиса Прекрасная? — спросила Саша.— Костик, правда, Люба стала красавицей? Посмотри на нее. Не то что ее младшая сестра — чумичка и гадкий утенок.

Люба вспыхнула, встала и отодвинула свою чашку.

— Перестанешь ли ты наконец! Сорока!

Я посмотрел на Любу. Синий огонь блеснул у нее в глазах. Она действительно была очень красивая.

Я ушел. Дома я сказал маме, что встретил Карелиных и они пригласили меня прийти к ним в новогоднюю ночь Мама обрадовалась:

— Пойди, конечно! А то тебе, должно быть, скучно в Москве. Они очень милые и вполне интеллигентные люди.

Для мамы мерилом человека была его интеллигентность. Если мама кого-нибудь уважала, то говорила: «Это вполне интеллигентный человек!»

До Нового года оставалось два дня. Это были чудесные дни — заиндевелые и седые от тумана.

Я ходил один на каток в Зоологический сад и бегал там на коньках. Лед был крепкий и черный, не то что у нас в Киеве. Дворники разметали каток огромными метлами.

Я бегал наперегонки с бородатым человеком в черной каракулевой шапочке. Я обогнал его. Этот человек напомнил мне художника, которого я видел в усадьбе около Смелы, когда ездил туда с тетей Надей.

Мама собиралась поехать со мной на могилу тети Нади на Ваганьково кладбище, но так и не собралась. Она рассказала, что на могиле до сих пор лежат фарфоровые розы. Они выцвели, но не разбились.

Я был на «Живом трупе» в Художественном театре. «Живой труп» мне понравился больше, чем «Три сестры». На сцене я видел настоящую Москву, суд, слышал песни цыганок.

В снежной декабрьской Москве я почему-то вспомнил далекое время — Алушту, Лену и то, как она крикнула мне: «Иди! Все это глупости!»

Все эти годы я собирался написать ей, но так и не написал. Теперь я уже был уверен, что она забыла меня.

Я вспомнил о Лене, и меня поразила мысль, как много людей уходит из жизни и уже никогда не вернется. Так ушли Лена, и тетя Надя, и дед мой пасечник, и отец, и дядя Юзя, и много других людей.

Это было странно, грустно, и, несмотря на свои восемнадцать лет, мне казалось, что я уже много пережил. Я любил этих людей. Каждый из них, уходя, взял с собой кусочек моей любви. Я стал от этого, должно быть, беднее.

Так я думал тогда, но эти мысли не вязались с удивительной любовью к жизни, что росла во мне из года в год.

Много людей уходило совсем или надолго, и потому

встреча с Карелиными — я совсем о них позабыл — показалась мне значительной, как будто она была неспроста.

Новый год я встретил дома. Мама напекла печенья. Дима купил закусок, вина и пирожных. В одиннадцать часов Дима куда-то ушел. Мама сказала мне, что он пошел за своей невестой. Звали ее Маргаритой.

Мама уверяла, что она замечательная девушка и лучшей жены для Димы она никогда бы не желала.

Чтобы не огорчать маму, я радостно удивился, хотя мне не понравилось имя Диминой невесты и то, что она происходит из чиновничьей семьи.

Я помог маме накрыть новогодний стол. В комнате пахло палеными волосами: Галя, завиваясь на ощупь, сожгла длинную прядь. Она огорчилась. Я всячески старался развеселить ее.

Зажгли свечи. Мама поставила на стол бронзовый будильник. Я завел его на двенадцать часов.

Я достал подарки, которые привез из Киева: маме — серую материю на платье, Гале — туфли, а Диме — большую готовальню. Я выпросил ее у Бори. Готовальня была замечательная. Мама обрадовалась подаркам. Она даже раскраснелась.

За несколько минут до Нового года пришел Дима с высокой бледной девушкой. У девушки было длинное унылое лицо. Сиреневое платье с желтым пояском сидело на ней нескладно. Кружевной платочек был приколот к груди. Она все время краснела, а пирожные из вазы брала вилкой.

Галя тотчас завела с ней разговор о воспитании детей. Девушка отвечала неохотно, поглядывая на Диму. Дима сдержанно улыбался.

Бронзовый будильник отчаянно затрещал и прекратил Галины рассуждения. Мы выпили по бокалу вина и поздравили друг друга с Новым годом.

Мама, видимо, очень старалась, чтобы Маргарите у нас понравилось. Но она ревниво следила за тем, как Маргарита смотрит на Диму, как бы прикидывая, достаточно ли любви в ее взгляде.

Я болтал и старался всячески показать, что мне очень весело, но украдкой поглядывал на часы.

Мама выпила вина, повеселела и начала рассказывать Маргарите о пасхе у бабушки в Черкассах и о том, как мы легко и весело жили когда-то в Киеве. Она будто сама не

верила, что все это было. «Правда, Костик?» — спрашивала она меня. Я каждый раз говорил, что да, это правда.

В половине второго я извинился и ушел. Мама вышла проводить меня в переднюю. Она спросила заговорщицким голосом, нравится ли мне Маргарита. Я понимал, что бесполезно говорить правду. Ничего, кроме лишних огорчений, это бы не принесло. Потому я сказал, что Маргарита прелестная девушка и я очень рад за Диму.

— Ну, дай бог, дай бог! — прошептала мама.— Мне кажется, что Маргарита хорошо относится к Гале.

Я вышел на Басманную, остановился и вдохнул холодный воздух. В домах горели огни. Я нанял извозчика и поехал на Кисловку. Извозчик всю дорогу бранился с лошадью.

На Кисловке мне открыла Саша. Новый пышный бант был завязан у нее на шее. В переднюю выбежали девушки и вышел красивый старик в студенческой тужурке. Любы почему-то не было.

Девушки, смеясь, начали разматывать мой башлык и стаскивать с меня шинель, а старик запел молодым голосом:

Вот три богини спорить стали
На горе в вечерний час.

— Глаза! Глаза! — закричали девушки.

Саша закрыла мне ладонями глаза. Я задыхался от запаха девичьих волос, духов, от твердых маленьких пальцев Саши, нажимавших мне на глаза.

Меня взяли под руки и повели. Я почувствовал, как распахнулись двери — в лицо ударило жаром. Шум стих, и женский голос сказал повелительно:

— Клянитесь!

— В чем? — спросил я.

— В том, что в эту ночь вы забудете обо всем, кроме веселья.

Саша больно нажала мне пальцами на глаза.

— Клянусь! — ответил я.

— А теперь присягайте!

— Кому?

— Той, что избрана королевой нашего праздника.

— Присягай! — шепнула мне на ухо Саша.

Я вздрогнул от щекотки.

— Присягаю.

— В знак покорности вы поцелуете у королевы руку, таков рыцарский обычай,— сказал голос, сдерживая смех.— Саша, убери лапы!

Саша отняла ладони. Я увидел ярко освещенную комнату со множеством картин. На рояле в позе врубелевского демона лежал худой человек, в бархатной куртке. Руки его были заломлены над головой Он смотрел на меня печальными глазами.

Курносый юноша ударил по клавишам. Девушки расступились, и я увидел Любу. Она сидела в кресле на круглом столе. Белое шелковое платье легко обхватывало ее и спадало на стол. Обнаженные руки были опущены. В правой руке Люба держала веер из черных страусовых перьев

Люба смотрела на меня, стараясь не улыбаться.

Я подошел и поцеловал опущенную Любину руку. Старик в студенческой тужурке подал мне бокал шампанского. Оно было совершенно ледяное. Я выпил его залпом.

Люба встала. Я помог ей спуститься со стола. Она подхватила край длинного платья, наклонилась ко мне и спросила:

— Мы вас не напугали своими глупостями? Зачем он вам дал ледяного шампанского? Выпейте чего-нибудь теплого. Кажется, остался глинтвейн.

Меня потащили к столу, начали угощать, но тут же забыли об этом и с хохотом сдвинули меня вместе со столом в угол комнаты, очищая место для танцев. Юноша заиграл вальс.

«Врубелевский демон» соскочил с рояля и начал танцевать с Любой. Люба проносилась по комнате, сильно откинувшись назад, прикрывая лицо черным веером. Каждый раз, пролетая мимо меня, она улыбалась из-за веера. Она придерживала шлейф своего платья.

Старик в студенческой тужурке танцевал с той женщиной, которую Саша звала героиней французского романа. Героиня зловеще хохотала.

Саша вытащила меня из-за стола. Я танцевал с ней. Она была такая тоненькая, что, казалось, вот-вот поникнет.

— Только не танцуй с Любой,— сказала Саша.

— Почему?

— Она гордячка!

После танцев «врубелевский демон» начал допивать вино из всех бутылок и опьянел.

— Я жажду лета! — закричал он.— Долой сосульки! Дайте мне дождь!

На него никто не обращал внимания, и он исчез. Старик в студенческой тужурке сел к роялю и хватающим за душу голосом запел:

Далекий друг, пойми мои рыданья!

Когда он окончил, мы вдруг услышали шум дождя. Он лился где-то рядом обильно и свежо. Все испуганно замолчали, потом бросились в коридор и в ванную комнату. «Врубелевский демон» стоял в ванне в пальто и в калошах, под черным зонтиком, и сильный душ, треща по зонтику, лился на него с потолка.

— Золото! Золото падает с неба! — кричал «врубелевский демон».

Душ закрыли, а «врубелевского демона» вытащили из ванны.

Я тоже что-то говорил, читал стихи, хохотал среди всеобщего сумбура. Я пришел в себя, когда Люба погасила люстру и комната наполнилась синей мглой рассвета.

Все стихли. Синева смешивалась с огнем настольной лампы. Лица казались матовыми и красивыми.

— Самое милое время после ералашных ночей,— сказал старик в студенческой тужурке.— Теперь можно спокойно потягивать вино. И говорить о разных разностях. Люблю рассвет. Он прополаскивает душу.

«Врубелевский демон» еще не протрезвел.

— Никаких полосканий! — крикнул он.— Я не желаю слышать, как кто бы то ни было полощет свою душу. Достоевщина! Свет состоит из семи красок. Я преклоняюсь перед ними. А на остальное мне наплевать!

Потом все долго молчали, оцепенев от легкой дремоты. Люба сидела рядом со мной.

— Все плывет перед глазами,— сказала она.— И все такое синее. . И мне совсем не хочется спать.

— Катарзис! -- важно произнес старик в студенческой тужурке.— Очищение души после трагедии.

— Не знаю,— ответила Люба.

Она задумалась. В ее глазах отражалась утренняя синева.

— Вы устали,— сказал я.

— Нет. Мне просто хорошо.

— Этим летом вы правда будете в Рёвнах?

— Да,— ответила Люба.— А вы приедете?

— Приеду. Если там будет дядя Коля.

— А зачем «если»? — лукаво спросила Люба.

Вскоре все встали и начали прощаться. Я ушел последним. Мне надо было проводить до Лоскутной гостиницы Сашу, а она напилась горячего чая и ждала, пока у нее остынет горло.

На улице нарядные женщины и молодые мужчины, должно быть актеры, играли в снежки. Разноцветное конфетти валялось на снегу. Вставало солнце, разрывая косматым огнем ночной туман.

После шумной этой ночи мне было стыдно возвращаться на Разгуляй, в бедную нашу квартиру, пропахшую керосином. Но я только на минуту подумал об этом. Потом опять все зазвенело на душе,— будто снег, и солнечный свет, и небо, и рука Любы, на мгновение задержавшаяся в моей во время прощания, будто вся эта жизнь незаметно превращалась в тихое звучание оркестра.

Через день я уехал из Москвы. Мама, сгорбленная, в теплом платке, провожала меня на вокзал. Дима пошел в тот вечер с Маргаритой в театр. А Галя все беспокоилась, чтобы я не опоздал на поезд.

На перроне мама сказала:

— Ты не сердись. Я, кажется, говорила, что ты похож на отца. Я-то знаю, что ты хороший.

Поезд отошел. Был вечер. Я долго смотрел на огни Москвы. Может быть, один из них светил в эту ночь из комнаты Любы.

РАССКАЗ НИ О ЧЕМ

С февраля пошли оттепели. Киев начало заносить туманом. Его часто разгонял теплый ветер. У нас на Лукьяновке пахло талым снегом и корой — ветер приносил этот запах из-за Днепра, из потемневших к весне черниговских лесов.

Капало с крыш, играли сосульки, и только по ночам, да и то редко, ветер срывал тучи, лужи подмерзали и на небе поблескивали звезды. Их можно было увидеть только у нас на окраине. В городе было так много света из окон и от уличных фонарей, что никто, очевидно, даже не подозревал о присутствии звезд.

В сырые февральские вечера в бабушкином флигеле было тепло и уютно. Горели электрические лампы. Пустые сады начинали иногда шуметь от ветра за ставнями.

Я писал новый рассказ — о Полесье и «могилевских дедах». Я возился с ним, и чем дольше возился, тем больше рассказ «уставал» — делался вялым и выпотрошенным. Но все же я окончил его и отнес в редакцию журнала «Огни».

Редакция помещалась на Фундуклеевской улице, во дворе, в маленькой комнате. Веселый кругленький человек резал колбасу на ворохах гранок, готовясь пить чай. Его совершенно не удивило появление в редакции гимназиста с рассказом.

Он взял рассказ, мельком заглянул в конец и сказал, что рассказ ему нравится, но надо подождать редактора.

— Вы подписали рассказ настоящей фамилией? — спросил кругленький.

— Да.

— Напрасно! Наш журнал левый. А вы гимназист. Могут быть неприятности. Придумайте псевдоним.

Я покорно согласился, зачеркнул свою фамилию и написал вместо нее «Балагин».

— Сойдет! — одобрил кругленький.

В комнату вошел с улицы худой человек с землистым лицом, спутанной бородой и впалыми пронзительными глазами. Он долго, чертыхаясь, снимал глубокие калоши, разматывал длинный шарф и кашлял.

— Вот редактор,— сказал кругленький и перестал сдирать с колбасы кожуру и показал на вошедшего перочинным ножом.

Редактор, даже не взглянув на меня, подошел к столу, сел, протянул перед собой в пространство руку и сказал глухим, страшным голосом:

— Давайте!

Я вложил рукопись в его протянутую руку.

— Вам известно,— спросил редактор,— что непринятые рукописи не возвращаются?

— Известно.

— Великолепно! — проворчал редактор.— Приходите через час. Будет ответ.

Кругленький подмигнул мне и усмехнулся.

Я ушел обескураженный, долго ходил по Крещатику, зашел в библиотеку и встретил там Фицовского. Он толь-

ко что взял томик Ибсена. Он начал ругать меня за то, что я мало читаю Ибсена, и сказал, что самое великое произведение в мире — это «Привидения».

Мы вместе вышли из библиотеки. Мне было еще рано возвращаться в редакцию. Мы зашли в темный двор и покурили: на улице мы могли попасться кому-нибудь из учителей или надзирателей. Курить нам запрещалось.

Фицовский проводил меня до редакции и решил подождать под воротами. Ему было интересно узнать, чем все окончится. Но я упросил его уйти. Мне было страшно. Что, если рассказ не возьмут,— какими глазами посмотрит на меня Фицовский.

Я вошел в редакцию. Редактор некоторое время проницательно смотрел на меня и молчал. Я тоже молчал и чувствовал, как от моего лица пышет жаром. Очевидно, я страшно покраснел.

— Разрешите мне взять рукопись,— сказал я.

— Рукопись? — спросил редактор и закашлялся от смеха.— Прошу вас. Умоляю. Можете взять ее и бросить в печку. Но дело в том, что я хочу напечатать этот рассказ. Представьте, он мне понравился.

— Извините, я не знал,— пробормотал я.

— Горячий юноша! Раз попали на писательскую стезю, так будьте добры, запаситесь терпением. За гонораром — в среду! — произнес он ледяным тоном, меняя голос.— А все, что напишете, приносите нам.

Я выскочил из редакции. В подворотне стоял Фицовский. Он не ушел.

— Ну что? — спросил он испуганно.— Взяли?

— Взяли

— Пойдем ко мне! — воскликнул Фицовский.— Есть бутылка муската и моченые яблоки. Ознаменуем!

Мы выпили вдвоем с Фицовским бутылку муската. Я вернулся домой очень поздно. Трамваев уже не было

Я шел по пустым улицам. Фонари не горели. Если бы мне встретился нищий, я, должно быть, отдал бы ему свою шинель или сделал что-нибудь безрассудное в этом же роде.

Но я никого не встретил, кроме белой мокрой собаки. Она сидела, поджав лапу, около забора. Я пошарил в карманах, но ничего не нашел. Тогда я погладил ее. Собака тотчас увязалась за мной.

Я разговаривал с ней всю дорогу. В ответ она подпрыгивала и хватала меня зубами за рукав шинели.

— Послушаем! — говорил я и останавливался.

Собака подымала уши. Из садов долетал шорох, будто там ворошили прошлогоднюю листву.

— Ты понимаешь, что это значит? — спрашивал я собаку.— Это весна. А потом будет лето. И я уеду отсюда. И, может быть, увижу женщину — самую хорошую на свете.

Собака подпрыгивала, хватала меня зубами за рукав шинели, и мы шли дальше.

В домах не светилось ни одного окна. Город спал. Помоему, все жители должны были сейчас же проснуться и высыпать на улицы, чтобы увидеть этот мрачный перелет облаков и услышать, как тает и похрустывает снег и как из-под осевших сугробов медленно каплет вода. Нельзя было спать в такую удивительную ночь.

Я не помню, как добрался до дома. Бабушка спала. Собака вежливо прошла за мной в комнату. Холодный ужин стоял на столе. Я накормил собаку хлебом и мясом и уложил в углу около печки. Собака тотчас уснула. Иногда она, не просыпаясь, благодарно помахивала хвостом.

Утром бабушка увидела собаку, но не рассердилась. Она пожалела ее, назвала Кадо, начала кормить, и собака так и прижилась у бабушки.

Весна с каждым днем подходила все ближе. Вместе с весной надвигались на нас выпускные экзамены Чтобы выдержать их, надо было повторить весь гимназический курс наук. Это было трудно, особенно весной.

Наступила пасха. В конце пасхальных каникул приехал на несколько дней из Брянска дядя Коля. Он приехал навестить бабушку.

Дядя Коля поселился у меня в комнате во флигеле. Тетя Вера, жившая со своей семьей в большом доме на улицу, обиделась на дядю Колю за то, что он остановился у меня. Но дяде Коле удалось отшутиться.

По вечерам мы с дядей Колей, лежа на койках, болтали и смеялись. Бабушка, услышав нашу болтовню, вставала, одевалась, приходила к нам и засиживалась до поздней ночи.

Однажды мы были с дядей Колей на обязательном чопорном ужине у тети Веры. В доме у нее собирались, по словам бабушки, разные «монстры и креатуры».

Из них особенно возмущал меня известный в Киеве глазной врач Думитрашко, очень низенький, с пискливым голоском, курчавой бородкой и золотыми кудряшками, лежавшими по вороту его черного сюртука.

Как только появлялся Думитрашко, воздух пропитывался ядом. Потирая пухлые ручки, Думитрашко начинал говорить гадости об интеллигенции. Муж тети Веры, угреватый делец, похожий на молдаванина, ему поддакивал.

Потом неизменно появлялся отставной генерал Пиотух с тремя старыми девами — своими дочерьми. Генерал говорил преимущественно о ценах на дрова — он понемногу подторговывал дровами.

Тетя Вера старалась вести светский разговор, но это ей плохо удавалось. Почти каждую фразу она начинала излюбленными словами: «Имейте в виду».

«Имейте в виду,— говорила она,— что мадам Башинская носит только лиловые платья». «Имейте в виду, что этот пирог из собственных яблок».

Чтобы развлечь гостей, тетя Вера заставляла свою дочь Надю играть на пианино и петь. Надя боялась сверлящих глаз генеральских старых дев. Она неуверенно наигрывала на пианино и пела тонким, дрожащим и потому жалким голосом модного в то время «Лебедя»:

Заводь спит, молчит вода зеркальная...

Учительница музыки — немка, безмолвная участница этих вечеров,— зорко следила за Надей. У немки был большой и необыкновенно тонкий нос. Он просвечивал насквозь, когда попадал под яркий свет лампы. Над этим носом вздымалась скирда волос, уложенных фестонами.

Мы вернулись с дядей Колей после ужина в бабушкин флигель.

— Фу-у! — сказал дядя Коля, отдуваясь.— До чего противно!

Чтобы забыть об этом вечере и рассеяться, дядя Коля зазвал к бабушке Гаттенбергера и устроил домашний концерт. Он пел для бабушки под аккомпанемент виолончели польские крестьянские песни.

Ой ты, Висла голубая,
Как цветок.
Ты бежишь в чужие земли —
Путь далек!

Бабушка слушала, сжав руки на коленях. Голова ее тихо тряслась, и тусклые слезы набегали на глаза. Польша была далеко-далеко! Бабушка знала, что никогда больше не увидит ни Немана, ни Вислы, ни Варшавы. Бабушка уже двигалась с трудом и даже перестала ездить в костел.

В день отъезда дядя Коля сказал мне, что будущим летом он снова поедет в Рёвны, и взял с меня слово, что я тоже туда приеду. Меня не надо было об этом особенно просить. Я с радостью согласился.

С той минуты, как я узнал, что поеду в Рёвны, все преобразилось. Я даже поверил, что хорошо выдержу выпускные экзамены. Оставалось только ждать, а ожидание счастливых дней бывает иногда гораздо лучше этих самых дней. Но в этом я убедился позже. Тогда я еще не подозревал об этом странном свойстве человеческой жизни.

АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ

Выпускные экзамены начались в конце мая и тянулись целый месяц. Все классы были уже распущены на летние каникулы. Только мы приходили в пустую прохладную гимназию. Она будто отдыхала от зимней сутолоки. Шум наших шагов разносился по всем этажам.

В актовом зале, где шли экзамены, окна были распахнуты. Семена одуванчиков летали в свете солнца по залу, как белые мерцающие огоньки.

На экзамены полагалось приходить в мундирах. Жесткий ворот мундира с серебряным галуном натирал шею. Мы сидели в саду под каштанами в расстегнутых мундирах и ждали своей очереди.

Нас пугали экзамены. И нам было грустно покидать гимназию. Мы свыклись с ней. Будущее рисовалось неясным и трудным, главным образом потому, что мы неизбежно растеряем друг друга. Разрушится наша верная и веселая гимназическая семья.

Перед экзаменами в саду была устроена сходка. На нее созвали всех гимназистов нашего класса, кроме евреев. Евреи об этой сходке ничего не должны были знать.

На сходке было решено, что лучшие ученики из русских и поляков должны на экзаменах хотя бы по одному

предмету схватить четверку, чтобы не получить золотой медали. Мы решили отдать все золотые медали евреям. Без этих медалей их не принимали в университет.

Мы поклялись сохранить это решение в тайне. К чести нашего класса, мы не проговорились об этом ни тогда, ни после, когда были уже студентами университета. Сейчас я нарушаю эту клятву, потому что почти никого из моих товарищей по гимназии не осталось в живых. Большинство из них погибло во время больших войн, пережитых моим поколением. Уцелело всего несколько человек.

Была еще вторая сходка. На ней мы условились, кто из нас должен помочь писать сочинения некоторым гимназисткам Мариинской женской гимназии. Не знаю почему, но письменный экзамен по русской словесности они держали вместе с нами.

Переговоры с гимназистками вел Станишевский. Он принес список гимназисток, нуждавшихся в помощи. В списке было шесть имен.

Мне поручили помочь гимназистке Богушевич. Я ее не знал и никогда не видел.

Сочинение мы писали в актовом зале. Каждый сидел за отдельным столиком — гимназисты слева, а гимназистки справа. По широкому проходу между гимназистками и нами прогуливались надзиратели. Они поглядывали, чтобы мы не передавали друг другу записок, промокашек и других подозрительных предметов.

Все шесть гимназисток из списка Станишевского сели около прохода. Я старался угадать, которая из них Богушевич. Фамилия «Богушевич» вызывала представление о полной украинке. Одна из гимназисток была полная, с толстыми косами. Я решил, что это и есть Богушевич.

Вошел директор. Мы встали. Директор с треском распечатал плотный конверт, вынул из него бумагу с темой сочинения, посланной из учебного округа, взял мел и тщательно написал на доске: «Истинное просвещение соединяет нравственное развитие с умственным».

Тревожный гул прошел по залу — тема была гробовая.

Мне нельзя было терять времени. Я тотчас начал писать конспект сочинения для Богушевич на узкой полоске бумаги.

Во время выпускных экзаменов нам разрешалось курить. Для этого мы поодиночке отпрашивались в курительную комнату в конце коридора. Там дежурил одряхлевший сторож Казимир — тот самый, что привел меня в приготовительный класс.

По дороге в курилку я свернул в тонкую трубку конспект и засунул его в мундштук папиросы. Я выкурил папиросу, а окурок положил на подоконник, на условленное место. Казимир ничего не заметил. Он сидел на стуле и жевал бутерброд.

Моя задача была окончена. После меня в курилку пошел Литтауэр. Он бросил на окно свой окурок с конспектом, а из моего достал шпаргалку и, возвращаясь на место по проходу, подбросил ее на стол гимназистке Богушевич. После Литтауэра это же проделали Станишевский, Регамэ и еще двое гимназистов. Их работа требовала ловкости и верного глаза.

Я уже начал писать свое сочинение, когда в зал возвратился Литтауэр. Я следил за ним. Мне хотелось посмотреть, как и кому он подбросит шпаргалку. Но он сделал это так быстро, что я ничего не заметил. Только по тому, как одна из гимназисток начала судорожно писать, я понял, что дело сделано и Богушевич спасена.

Но писать начала не гимназистка с толстыми косами, а совсем другая. Я видел только ее худенькую спину, перекрещенную полосками от парадного белого передника, и рыжеватые локоны на шее.

На сочинение дали четыре часа. Большинство из нас окончило его раньше. Только гимназистки еще сидели, мучаясь, за столами.

Мы вышли в сад. В нем в этот день пело такое множество птиц, будто они собирались здесь со всего Киева.

В саду чуть не вспыхнула ссора между Литтауэром и Станишевским. Литтауэр сказал, что Станишевский бездарно устроил всю эту помощь гимназисткам. Станишевский вскипел. Он сиял от успеха своего предприятия и ожидал славы, а не критики.

— В чем дело? — спросил он Литтауэра задиристым тоном, не предвещавшим ничего хорошего.

— А в том, что нам ни на какого черта не надо было знать фамилии гимназисток, которым мы пишем. Шесть гимназисток — шесть шпаргалок. Любую шпаргалку получает любая гимназистка. Зачем мне знать, что я пишу

для Богушевич или Яворской? Не все ли мне равно! Это только осложнило дело, когда мы подбрасывали шпаргалки.

— Боже мой! — Станишевский горестно покачал головой.— Ты форменный кретин! У тебя нет никакого полета фантазии. Так знай, что я сделал это нарочно.

— Зачем?

— Мне это показалось ин-те-рес-нее! — веско ответил Станишевский.— Может быть, на этой почве вспыхнет между спасителем и спасенной жгучая любовь! Ты об этом подумал?

— Нет.

— Ну и балда! — отрезал Станишевский.— А теперь — к Франсуа. Есть мороженое.

После каждого экзамена мы кутили на свои скромные деньги — ходили в кондитерскую Франсуа и съедали там по пяти порций мороженого.

Самым трудным для меня был экзамен по тригонометрии. Я все-таки выдержал его. Экзамен затянулся до вечера.

После экзамена мы подождали, пока инспектор объявил отметки, и, обрадованные тем, что никто не провалился, шумно вырвались на улицу.

Станишевский изо всей силы швырнул вверх растрепанный учебник. С неба на мостовую, качаясь и разлетаясь по сторонам, посыпались страницы. Нам это понравилось. Мы все по команде метнули свои учебники в небо. Через минуту мостовая побелела от шелестящей бумаги. В спину нам засвистал городовой.

Мы свернули на Фундуклеевскую, потом на узкую Нестеровскую. Постепенно все разбрелись, и нас осталось всего пятеро: Станишевский, Фицовский, Шмуклер, Хорожевский и я.

Мы пошли к Галицкому базару, где было много маленьких закусочных и пивных. Мы решили напиться, потому что считали, что экзамены уже окончены. Оставалась только латынь, но этого экзамена никто не боялся.

Мы острили и хохотали. В нас, по старомодному выражению, вселился бес. Прохожие оглядывались на нас.

На Галицком базаре мы зашли в пивную. От полов пахло пивом. Вдоль стены были устроены дощатые загоны, обклеенные розовыми обоями. Они назывались «от-

дельными кабинетами». Мы заняли такой «кабинет» и заказали водку и бефстроганов.

Хозяин предусмотрительно задернул липкую занавеску. Но мы так шумели, что время от времени кто-нибудь из посетителей приоткрывал занавеску и заглядывал к нам в «кабинет». Всех заглядывающих мы угощали водкой. Они охотно пили и поздравляли нас с «благополучным окончанием».

Был уже поздний вечер, когда хозяин вошел в наш «кабинет» и, скосив на занавеску глаза, сказал вполголоса:

— Сипатый торчит за дверьми.

— Какой еще сипатый? — спросил Станишевский.

— Из сыскного. Надо вам аккуратненько выбираться во двор через задний ход. А со двора есть проход на Бульварно-Кудрявскую улицу.

Мы не придали особой важности словам хозяина, но все же вышли через задний ход в зловонный темный двор. Мимо мусорных ящиков и дровяных сараев, нагибаясь, чтобы не задеть головой за протянутые бельевые веревки, мы выбрались на Бульварно-Кудрявскую. Никто за нами не шел.

Мы вышли из подворотни на тускло освещенный тротуар. Там стоял, поджидая нас, сутулый человек в котелке.

— Добрый вечер! — просипел он зловещим голосом и приподнял котелок.— Хорошо ли погуляли, господа гимназисты?

Мы ничего не ответили и пошли вверх по Бульварно-Кудрявской. Человек в котелке пошел за нами.

— Молоко на губах не обсохло,— сказал он со злобой,— а тоже лезут в проходные дворы!

Станишевский остановился. Человек в котелке тоже остановился и засунул руку в карман длинного пиджака.

— Что вам нужно? — спросил Станишевский.— Убирайтесь немедленно к черту!

— По кабакам ныряете,— заговорил человек в котелке.— А еще воспитанники императорской гимназии! За посещение кабаков полагается волчий билет. Это вам известно?

— Пойдем! — сказал нам Станишевский.— Скучно слушать дурака.

Мы пошли. Человек в котелке двинулся за нами.

— Я-то не дурак,— сказал он.— Это вы дураки. Я сам учился в гимназии.

— Оно и видно,— заметил Шмуклер.

— Что видно? — истерически закричал человек.— Меня за пьянку из гимназии выкинули с волчьим билетом. А я вам вашу выпивку так и прощу? Нет! Я своего добьюсь. Не будет мне покоя, пока не дадут вам по волчьему билету. Плакали ваши экзамены. Рукава от жилетки вы получите, а не университет. Вели в кабаке разговоры против правительства? Вели! Над царским семейством надсмехались? Надсмехались! Мне вас прибрать — это раз плюнуть. Со мной не рекомендую шутковать. Я вас все равно представлю в охранку.

Мы свернули по пустынным улицам к Святославскому яру. Мы думали, что сыщик побоится идти за нами в глухой этот яр. Но он упорно шел следом

— Неужели мы впятером с ним не справимся? — тихо спросил Станишевский.

Мы остановились. Сыщик вынул из кармана револьвер. Он показал его нам и глухо засмеялся.

Мы долго водили его по улицам, избегая перекрестков, где стояли городовые. Фицовский предложил отделяться по одному и исчезать. В этом случае сыщик всегда будет идти следом не за одним, а за несколькими — сначала за четырьмя, потом за тремя, за двумя и, наконец, за одним. Вместо пятерых он сможет задержать только одного.

Но никто из нас не согласился с Фицовским Это было бы не по-товарищески.

Мы издевались над сыщиком. Каждый из нас громко рассказывал вымышленную его биографию. Биографии были чудовищные и оскорбительные. Сыщик хрипел от ярости. Он, видимо, устал, но с упрямством помешанного плелся сзади.

На востоке начало синеть. Пора было действовать. Мы сговорились и, кружа по переулкам, подошли к дому, где жил Станишевский.

На улицу выходила каменная ограда в полтора человеческих роста. Внизу на ней был выступ. Мы по команде вскочили на этот выступ и перемахнули через ограду. Уроки гимнастики нам пригодились.

Куча битого кирпича лежала в палисаднике за оградой. Град кирпичей посыпался на сыщика, оставшегося

за стеной. Он вскрикнул, отскочил на середину улицы и выстрелил. Нудно провыла в воздухе пуля.

Мы бросились через палисадник и подворотню во второй двор, взбежали на четвертый этаж, в квартиру Станишевского, и через несколько минут уже лежали все, раздевшись, на диванах и тахтах и прислушивались к тому, что происходит на улице.

Отец Станишевского, седой щетинистый адвокат, ходил по комнатам в халате. Он был настроен так же воинственно, как и мы, но умолял нас лежать спокойно, не вскакивать и не подходить к окнам.

Сначала было слышно, как кто-то бешено тряс ворота и ругался с дворником. Потом во дворе послышались голоса сипатого и городовых. На наше счастье, двор того дома, где жил Станишевский, был проходным. Дворник уверял, что гимназисты, должно быть, удрали через проходной двор. Пошумев, сыщик и городовые ушли.

Мы уснули мертвым сном и проснулись только в полдень. Мы выслали на улицу разведчиц — сестер Станишевского. Ничего подозрительного не было, и мы разошлись по домам.

Как это ни покажется странным сейчас, но мы избавились от большой опасности. неизбежного исключения и волчьего билета за два дня до окончания гимназии. Это было бы равносильно гражданской смерти.

Наконец настал удивительный день, когда в актовом зале у большого стола, покрытого зеленым сукном, директор роздал нам аттестаты и поздравил каждого с окончанием гимназии.

На следующий день в гимназии был традиционный выпускной бал. На него пригласили гимназисток, державших вместе с нами экзамен по русской словесности.

Гимназия была ярко освещена. В саду висели разноцветные фонарики. Играл оркестр.

Перед балом Субоч сказал нам речь:

— В четвертом классе я вас только терпел. В пятом я начал вас воспитывать, хотя было мало шансов сделать из вас настоящих людей. В шестом классе я с вами подружился. В седьмом — я вас полюбил, а в восьмом я начал даже вами гордиться. Я несчастный отец. У меня слишком много детей, не меньше сорока человек. К тому же через каждые несколько лет мои дети меняются. Одни уходят, другие приходят. Отсюда вывод — на мою долю

выпадает в сорок раз больше огорчений, чем на долю обыкновенных родителей. И в сорок раз больше возни. Поэтому я, может быть, не всегда был одинаково внимателен ко всем. Мне грустно расставаться с вами. Я стремился сделать из вас хороших людей. Вы, в свою очередь, давали смысл моей жизни. Я молодел с вами. Я прощаю отныне и навеки все ваши глупые выходки и даже драки с первым отделением. Прощаю все. В этом нет, конечно, никакого великодушия. Но вас я призываю к великодушию. Гейне сказал, что на земле больше дураков, чем людей. Он, конечно, преувеличил. Но что это все-таки значит? Это значит, что ежедневно мы встречаем людей, чье существование не приносит ни им, ни окружающим никакой радости и пользы. Бойтесь быть бесполезными. Кем бы вы ни стали, помните мудрый совет: «Ни одного дня без написанной строчки». Трудитесь! Что такое талант? Трижды и четырежды труд. Любите труд, и пусть вам всегда будет жаль с ним расставаться. Счастливой дороги! Не поминайте лихом своих наставников, поседевших в боях с вами!

Мы бросились к нему, и он расцеловался с каждым из нас.

— А теперь,— сказал Субоч,— несколько слов по-латыни!

Он взмахнул руками и запел:

Gaudeamus igitur juvenes dum sumus!

Мы подхватили нашу первую студенческую песню.

Потом начался бал. Распорядителем был Станишевский. Он приказал гимназистам-спасителям пригласить на вальс спасенных ими гимназисток. Он познакомил меня с худенькой девушкой с радостными глазами — Олей Богушевич. Она была в белом платье. Опустив глаза, она поблагодарила меня за помощь и побледнела от смущения. Я ответил, что это сущие пустяки. Мы танцевали с ней. Потом я принес ей из буфета мороженого.

После бала мы провожали гимназисток домой. Оля Богушевич жила в Липках. Я шел с ней ночью под теплой листвой деревьев. Ее белое платье казалось слишком нарядным даже для этой июньской ночи. Мы расстались с ней друзьями.

Я пошел к Фицовскому, где наш кружок проводил остаток ночи. Мы устроили в складчину ужин с вином

и пригласили на него Субоча, Селихановича и Иогансона. Иогансон пел песенки Шуберта. Субоч виртуозно аккомпанировал ему на бутылках.

Мы много шумели и разошлись, когда поднялось солнце, но на улицах еще лежала холодная длинная тень. Мы крепко обняли друг друга на прощанье и пошли каждый своей дорогой со странным чувством грусти и веселья.

ВОРОБЬИНАЯ НОЧЬ

И вот опять за окном знакомые листья орешника. В них блестят капли дождя. Опять солнце в промокшем до нитки парке и шум воды на плотине. Опять Рёвны, но Любы нет.

Дача Карелиных стояла заколоченная и пустая. На ее веранде поселился бродячий черный пес. Когда кто-нибудь подходил к даче, он с визгом выскакивал и, поджав хвост, прятался в кустах. Там он долго лежал, пережидая опасность.

Саша заболела дифтеритом, и Карелины приедут, может быть, в конце лета, а может быть, и совсем не приедут. Никто этого не знает.

А лето выдалось бурное и непостоянное — оттого, что на солнце, по словам дяди Коли, было много пятен.

После обложных дождей наступила засуха. Но тихие дни часто комкал жаркий ветер, заносил сухой мглой. Вода в реке чернела. Сосны начинали мотать вершинами и неспокойно шуметь.

Пыль подымалась над дорогами, бежала по ним до края земли, преследовала путников.

— Суходольное лето,— говорили крестьяне.

На липах появились сухие листья. Река мелела с каждым днем. По утрам все меньше выпадало росы. А днем было слышно, как в траве потрескивали сухие коробочки с семенами.

Горячие поля были засыпаны белыми хлопьями репейника.

— Ну и гроза же будет после такой жары! — говорили все.

И гроза наконец пришла. Она приближалась медленно, и мы с Глебом Афанасьевым следили за ней с самого утра. В купальне па реке стояла такая духота, что тем-

нело в глазах. Мы долго не вылезали из тепловатой воды.

Небо затянулось дымом. За ним проступали огромные клубы черной, будто окаменелой ваты. Это просвечивала сквозь дым грозовая туча.

Мертвая тишина стояла вокруг. Замолчали лягушки и птицы, перестала плескать рыба. Даже листья не шевелились, испуганные грозой. Мордан залез под дачу, тихонько повизгивал там и не хотел выходить. Только люди шумели и перекликались, но и людям было не по себе.

К сумеркам дым разошелся, и туча, глухая, как ночь, заняла половину неба. Ее передергивали молнии. Грома не было. На востоке поднялся мутный месяц. Он вышел навстречу туче совершенно один, брошенный всеми,— ни одной звезды не было видно за его спиной. Месяц бледнел при каждой вспышке молнии.

Потом, наконец, свежо и протяжно вздохнула земля. Первый гром прокатился через леса и ушел далеко на юг по зашумевшим от ветра хлебам. Он уходил, ворча, а вслед ему возникал новый гром и катился туда же, на юг, встряхивая землю.

— Илья-пророк,— говорил Глеб Афанасьев,— раскатывается в небесах.

В туче стало заметно движение желтых вихрей. Край тучи начал загибаться к земле. Молнии взрывались и перебегали в черных пещерах неба.

На сельской колокольне несколько раз торопливо ударили в колокол двойным ударом. Это был сигнал к тому, чтобы в избах заливали огонь в печах.

Мы закрыли все окна и двери, вьюшки в печах и ставни, сели на веранде и начали ждать.

Далеко за парком возник широкий — во всю ширину земли — зловещий гул. Тетя Маруся не выдержала и ушла в дом. Гул приближался, будто на нас, все смывая, катился океан. Это шел ветер.

Потом все завыло и засвистело. Заскрипели столетние липы. Желтая мгла помчалась над самой землей. Посыпались стекла. Невиданный белый свет зажегся в этой мгле, и раздался такой треск, будто дачу вбило в землю по самую крышу. По шумящим вершинам прокатился желтый огненный шар. Он трещал и дымился, а потом взорвался с сухим грохотом, как дальнобойный снаряд.

— Скорей бы дождь! — повторяла тетя Маруся.— Скорей бы дождь!

Наконец обрушился ливень. Серые потоки лились на взлохмаченный парк.

Ливень гудел, набирая силу. Под его успокоительный шум мы разошлись по своим комнатам и крепко уснули.

Ночью я проснулся от лая собак, фырканья лошадей, торопливых шагов внизу, смеха, звона посуды. Глеб тоже не спал.

Ливень прошел, но молнии мигали беспрерывно.

— Костик,— сказал Глеб,— мое вещее сердце подсказывает, что кто-то приехал. Но кто? Давай послушаем.

Мы полежали несколько минут молча. Глеб вскочил и начал в темноте одеваться.

— Есть! — сказал он.— Слышу умолкнувший звук божественной Сашиной речи. Это Карелины! Вставай!

Я тоже начал одеваться. Я слышал, как тетя Маруся сказала внизу:

— Да, Костик здесь. Уже давно. И Глеб здесь. Надо их разбудить.

— Пусть спят,— ответила Мария Трофимовна.— Завтра успеют наболтаться. Как мы добрались, сама не пойму. В Рябчевке два часа пережидали грозу. Хорошо, что дорога песчаная.

— Ну, пойдем! — сказал Глеб.

— Иди ты первый.

— Ага! — воскликнул Глеб.— Значит, вы волнуетесь, молодой человек!

— Зачем мне волноваться?

— Тогда пошли вместе!

Мы спустились вниз. В комнате горели лампы. Тетя Маруся собирала на стол чай. Под стенами стояли мокрые чемоданы.

Мария Трофимовна сидела за столом. Саша бросилась к нам навстречу и расцеловалась с Глебом и со мной. Она была страшно худая, но глаза ее блестели по-прежнему.

Мы почтительно поцеловали руку у Марии Трофимовны.

— Ого, как загорел! — сказала Мария Трофимовна и потрепала меня по щеке.

Люба стояла на коленях спиной к нам и рылась в корзинке. Она не оглянулась и продолжала что-то искать.

— Люба,— позвала Мария Трофимовна,— ты что же, не замечаешь? Костик здесь. И Глеб.

— Сейчас,— ответила Люба и медленно встала.— Я не могу найти лимон, мама.

— Ну и бог с ним, с лимоном.

Люба обернулась, поправила волосы и протянула мне руку. Она мельком взглянула на меня и отвела глаза.

— Садитесь,— сказала тетя Маруся.— Чай стынет.

Мы сели к столу. Дяди Коли в комнате не было. Я слышал, как он кому-то на веранде сливал на руки, а тот, кому он сливал, фыркал, мылся и говорил, картавя:

— Ради бога, не утруждайте себя. Благодарю вас.

— Кто это? — спросил я Сашу.

Она взяла меня за плечо и зашептала на ухо:

— Ленька Михельсон. Товарищ Любы по школе. Художник. Вундеркинд. Лошак!

— Кто? — переспросил я.

— Сам увидишь. Я его ненавижу.

— Саша! — прикрикнула Мария Трофимовна.— Перестань шептаться!

Люба недовольно взглянула на Сашу и потупилась.

С веранды вошел дядя Коля. За ним шел, вытирая руки, высокий юноша в очках, с длинным лицом и большими зубами. Добродушно глядя в лицо, он поздоровался со мной и Глебом. Несмотря на подслеповатость и неуклюжесть, сразу было видно, что он, как любила выражаться мама, из «хорошей семьи». Он держал себя вежливо и непринужденно, но, конечно, был явный горожанин.

Он сел к столу, взяв у тети Маруси стакан чаю, поблагодарил и сказал:

— Пасторальная жизнь!

Глеб фыркнул. Тетя Маруся тревожно посмотрела на меня и Глеба, а Саша сказала:

— Леня, ей-богу, возьмите лучше варенья. Это земляничное.

Дядя Коля тоже строго посмотрел на Глеба, но тут же улыбнулся.

После чая мы помогли Карелиным перетащить вещи на их дачу. Парк отряхивался от дождя и шуршал. В деревне на разные голоса орали петухи. Рассвет проступал над вершинами.

Карелины тотчас же начали прибираться и устраиваться.

Взошло солнце, позолотило перила веранды и открыло вокруг необыкновенную чистоту и свежесть. Леня Михельсон что-то чертил палкой на песчаной дорожке около дачи Карелиных.

— Какое утро! — сказал мне Глеб, когда мы притащили к ним последний чемодан и Мария Трофимовна велела больше ни с чем не возиться.— Пойдем купаться.

Мы захватили мохнатые полотенца и пошли в купальню. На песчаной дорожке около дачи Карелиных была нарисована очень похожая Любина голова в профиль, солнце над ней, и было написано: «О солнечность светотканая»!

Глеб рассердился:

— Декадент! Телячий восторг!

Глеб шел, размахивая полотенцем. Потом, не глядя на меня, он сказал:

— А ты, Костик, брось, не думай. Серьезно, брось! Не стоит из-за этого портить себе лето. Ну, кто скорей?

Он побежал. Я побежал за ним. Лягушки прыгали, спасаясь от нас, в мокрую траву. Белый шар солнца подымался все выше. Промытое начисто легкое небо становилось все ярче и ярче.

Пока я добежал до купальни, мне показалось, что горечь у меня на душе почти прошла. Я запыхался, раскраснелся, сердце у меня колотилось, и я подумал: неужели я буду мучиться из-за Любы, из-за высокомерной девушки, когда вокруг разгорается такое утро и впереди ждет длинный летний день!

В купальню пришел дядя Коля. Мы плавали, ныряли и так раскачали реку, что было видно, как далеко у плотины маленькие волны то подымают, то опускают цветы кувшинок. И я почти позабыл о том, что пережил первую измену. Мне только хотелось показать Любе, что я ничуть этим не огорчен и моя жизнь заполнена такими интересными вещами, что мне попросту смешно страдать от какой-то дачной любви с ее вздохами и неясными признаниями.

«И в конце концов, разве это не так? — думал я.— Чем мое увлечение Любой лучше этого солнца? — Оно уже падало сквозь зелень на темную воду.— Чем оно лучше этого удивительного запаха некошеных лугов? И чем оно лучше даже вот этого зеленого жучка, торопливо ползущего по дощатой стене купальни?»

Утешиться мне было легко. Очевидно, потому, что все окружающее было полно необыкновенной прелести.

Глеб влез на крышу купальни, протянул к солнцу руки, торжественно и гнусаво прокричал: «О солнечность светотканая!» — и с воплем сорвался в воду.

— Эй вы, архаровцы! — сказал дядя Коля.— Вылезайте. После чая пойдем на разведку.

— Куда? — спросил я.

— Вниз по реке, за Меловую горку.

Я вылез из воды. Было приятно ходить по сухим, теплым доскам и оставлять на них мокрые следы. Следы эти высыхали на глазах. От мохнатого полотенца пахло соленым морем. Солнце грело грудь и влажную голову, и хотелось только хохотать и болтать об интересных вещах или бежать наперегонки с Глебом обратно до самой дачи.

Так мы и сделали. Мордан и Четвертак неслись за нами с исступленным лаем, прыгали и пытались на ходу вырвать у нас из рук полотенца.

Мы промчались со смехом и лаем мимо дачи Карелиных и ворвались к себе на веранду, напугав тетю Марусю.

После чая мы с дядей Колей ушли вниз по реке. Мы с Глебом наносили реку на самодельную карту и придумывали названия для всяких излучин, заводей, обрывов и замечательных мест.

Мы были исхлестаны ветками и высокой травой. Рубахи наши пожелтели от цветочной пыльцы. Берега реки пахли теплой травой и песком. Глеб глубокомысленно сказал:

— Терпеть не могу меланхолии!

Так мы жили все лето.

Вскоре жаркие дни сменились другими. Буря хлестала над парком. Она валила тучи на вершины деревьев. Тучи запутывались в них, потом вырывались, оставляя на ветвях сырые клочья, и мчались в испуге куда глядят глаза.

Парк качался и стонал. Листья кувшинок на реке становились дыбом. Дождь грохотал по крыше. В мезонине стоял такой шум, будто мы жили внутри барабана.

Все проклинали ненастные дни, кроме дяди Коли, Глеба и меня. Мы натягивали дождевые плащи и шли на плотину, чтобы проверить жерлицы, поставленные вчера. На самом деле мы шли не за этим, а для того, чтобы на-

дышаться до боли в легких сырой бурей. Ветер бил с такой силой, что накрепко припечатывал к щеке сорванный с дерева мокрый лист. Наши плащи деревенели. Мы попадали в самую гущу бури, задыхались, поворачивались к ней спиной.

— Хорошо! — кричал дядя Коля.— Очень хорошо! Смотри, унесет!

— Пасторальная жизнь! — кричал Глеб, картавя.

Он все еще издевался над Леней Михельсоном.

Мы обходили наши владения. Старые ивы неистово гудели всей шапкой вытянутых в струнку и серых с изнанки листьев. Из последних сил они боролись с ветром. Трещали и рушились гнилые ветви. Неслись по ветру взъерошенные галки. Они кричали, но ничего не было слышно. Мы видели только их разинутые клювы.

За высокой плотиной было одно место, куда не проникал ветер. Мы спускались туда, среди бурьяна. Крапива била по лицу, но не жгла. Здесь, за бревном, у дяди Коли были спрятаны удочки. Мы доставали их, как воры. Руки наши дрожали. Что, если бы тетя Маруся знала об этом! Она и так считала нас психопатами.

Мы закидывали удочки. Буря гудела над головой на расстоянии вытянутой руки. Но внизу было тихо.

— Ни черта не будет клевать,— говорил Глеб.— Рыба не такая полоумная, как мы!

Он говорил это нарочно, чтобы успокоить рыбу. Ему смертельно хотелось, чтобы рыба клевала. И действительно, происходило чудо — поплавки медленно окунались в холодную воду.

— Подусты! — кричал нам дядя Коля.

Мы начинали вытаскивать крепких оловянных рыб. Буря сатанела. Со страшной скоростью проносились по воде дожди.

Но мы уже ничего не замечали.

— Вы не озябли? — кричал нам дядя Коля.

— Нет! Чудесно!

— Значит, еще?

— Конечно!

Буря длилась пять дней. Она окончилась ночью; и никто этого не заметил.

Утром я проснулся под щелканье птиц. Парк тонул в тумане. Сквозь него пробивалось солнце. Очевидно, над туманом простиралось чистое небо — туман был голубой.

Дядя Коля ставил около веранды самовар. Дым из самоварной трубы подымался вверх. У нас в мезонпне попахивало горелыми сосновыми шишками.

Я лежал и смотрел за окно. В кроне старой липы происходили чудеса. Солнечный луч пробил листву и зажег, копошась внутри липы, много зеленых и золотых огоньков. Это зрелище не мог бы передать нпкакой художник, не говоря уж, конечно, о Леньке Михельсоне.

На его картинах небо было оранжевое, деревья — синие, а лица людей — зеленоватые, как незрелые дыни. Все это было выдумано, должно быть, так же, как и мое увлечение Любой. Сейчас я совершенно избавился от него.

Пожалуй, больше всего помогла моему избавлению затяжная летняя буря.

Я смотрел, как солнечный луч все глубже проникал в листву. Вот он осветил единственный пожелтевший листок, потом синицу, сидевшую на ветке боком к земле, потом дождевую каплю. Она дрожала и вот-вот готова была упасть.

— Костик, Глеб, вы слышите? — спросил снизу дядя Коля.

— А что?

— Журавли!

Мы прислушались. В туманной синеве слышались странные звуки, будто в небе переливалась вода.

МАЛЕНЬКАЯ ПОРЦИЯ ЯДА

Иногда к дяде Коле приходил в гости сельский аптекарь. Звали его Лазарем Борисовичем.

Это был довольно странный, на наш взгляд, аптекарь. Он носил студенческую тужурку. На широком его носу едва держалось кривое пенсне на черной тесемочке. Аптекарь был низенький, коренастый, заросший до глаз бородой и очень язвительный.

Лазарь Борисович был родом из Витебска, учился когда-то в Харьковском университете, но курса пе окончил. Сейчас он жил в сельской аптеке с сестрой-горбуньей. По пашим догадкам, аптекарь был причастен к революционному движению.

Он носил с собой брошюры Плеханова со множеством мест, жирно подчеркнутых красным и синим карандашом,

с восклицательными и вопросительными знаками на полях.

По воскресеньям аптекарь забирался с этими брошюрами в глубину парка, расстилал на траве тужурку, ложился и читал, закинув ногу на ногу и покачивая толстым ботинком.

Как-то я пошел к Лазарю Борисовичу в аптеку за порошками для тети Маруси. У нее началась мигрень.

Мне нравилась аптека — чистенькая старая изба с половиками и геранью, фаянсовыми склянками на полках и запахом трав. Лазарь Борисович сам собирал их, сушил и делал из них настои.

Никогда я не встречал такого скрипучего дома, как аптека. Каждая половица скрипела на свой лад. Кроме того, пищали и скрипели все вещи: стулья, деревянный диван, полки и конторка, за которой Лазарь Борисович писал рецепты. Каждое движение аптекаря вызывало столько разнообразного скрипа, что казалось, в аптеке несколько скрипачей трут смычками по сухим перетянутым струнам.

Лазарь Борисович отлично разбирался в этих скрипах и улавливал самые тонкие их оттенки.

— Маня! — кричал он сестре.— Ты что же, не слышишь? Васька пошел на кухню. Там же рыба!

Васька был черный облезлый аптекарский кот.

Иногда аптекарь говорил нам, посетителям:

— Очень прошу вас, не садитесь на этот диван, иначе начнется такая музыка, что только останется сойти с ума.

Лазарь Борисович рассказывал, растирая в ступке порошки, что, слава богу, в сырую погоду аптека скрипит не так сильно, как в засуху. Ступка внезапно взвизгивала. Посетитель вздрагивал, а Лазарь Борисович говорил с торжеством:

— Ага! И у вас нервы! Поздравляю!

Сейчас, растирая порошки для тети Маруси, Лазарь Борисович издавал множество скрипов и говорил:

— Греческий мудрец Сократ был отравлен цикутой. Так! А этой цикуты здесь, на болоте около мельницы, целый лес. Предупреждаю — белые зонтичные цветы. Яд в корнях. Так! Но, между прочим, в маленьких дозах этот яд полезен. Я думаю, что каждому человеку следует иногда подсыпать в пищу маленькую порцию яда, чтобы его пробрало как следует и он пришел в себя.

— Вы верите в гомеопатию? — спросил я.

— В области психики — да! — решительно заявил Лазарь Борисович.— Не понимаете? Ну, давайте проверим на вас. Сделаем пробу.

Я согласился. Мне было интересно, что это за проба.

— Я тоже знаю,— сказал Лазарь Борисович,— что молодость имеет свои права, особенно когда юноша окончил гимназию и поступает в университет. Тогда в голове карусель. Но все-таки надо задуматься!

— Над чем?

— Как будто бы и думать вам не о чем! — сердито воскликнул Лазарь Борисович.— Вот вы начинаете жить. Так? Кем же вы будете, позвольте полюбопытствовать? И как вы предполагаете существовать? Неужели вам удастся все время веселиться, шутить и отмахиваться от трудных вопросов? Жизнь — это не каникулы, молодой человек. Нет! Я предсказываю вам — мы накануне больших событий. Да! Уверяю вас в этом. Хотя Николай Григорьевич насмешничает надо мной, но мы еще посмотрим, кто прав. Так вот, я интересуюсь: кем же вы будете?

— Я хочу...— начал я.

— Бросьте! — крикнул Лазарь Борисович.— Что вы мне скажете? Что вы хотите быть инженером, врачом, ученым или еще кем-нибудь. Это совершенно не важно.

— А это же важно?

— Спра-вед-ливость! — крикнул он.— Надо быть с народом. И за народ. Будьте кем хотите, хоть дантистом, но боритесь за хорошую жизнь для людей. Так?

— Но почему же вы это мне говорите?

— Почему? Вообще! Без всякой причины! Вы приятный юноша, но вы не любите размышлять. Я это давно заметил. Так вот, будьте любезнее — поразмышляйте!

— Я буду писателем,— сказал я и покраснел.

— Писателем? — Лазарь Борисович поправил пенсне и посмотрел на меня с грозным удивлением.— Хо-хо! Мало ли кто хочет быть писателем! Может быть, я тоже хочу быть Львом Николаевичем Толстым.

— Но я уже писал... и печатался.

— Тогда,— решительно сказал Лазарь Борисович,— будьте любезны подождать! Я отвешу порошки, провожу вас, и мы это выясним.

Он был, видимо, взволнован и, пока отвешивал порошки, два раза уронил пенсне.

Мы вышли и пошли через поле к реке, а оттуда к парку. Солнце опускалось к лесам по ту сторону реки. Лазарь Борисович срывал верхушки полыни, растирал их, нюхал пальцы и говорил:

— Это большое дело, но оно требует настоящего знания жизни. Так? А у вас его очень мало, чтобы не сказать, что его нет совершенно. Писатель! Он должен так много знать, что даже страшно подумать. Он должен все понимать! Он должен работать как вол и не гнаться за славой! Да! Вот! Одно могу вам сказать — идите в хаты, на ярмарки, на фабрики, в ночлежки. Кругом, всюду — в театры, в больницы, в шахты и тюрьмы. Так! Всюду. Чтобы жизнь пропитала вас, как спирт валерьянку! Чтобы получился настоящий настой. Тогда вы сможете отпускать его людям, как чудодейственный бальзам! Но тоже в известных дозах. Да!

Он еще долго говорил о призвании писателя. Мы попрощались около парка.

— Напрасно вы думаете, что я лоботряс,— сказал я.

— Ой нет! — воскликнул Лазарь Борисович и схватил меня за руку.— Я же рад. Вы видите. Но согласитесь, что я был немножко прав и теперь вы кое о чем подумаете. После моей маленькой порции яда. А?

Он заглядывал мне в глаза, не отпуская моей руки. Потом он вздохнул и ушел. Он шел по полям, низенький и косматый, и все так же срывал верхушки полыни. Потом он достал из кармана большой перочинный нож, присел на корточки и начал выкапывать из земли какую-то целебную траву.

Проба аптекаря удалась. Я понял, что почти ничего не знаю и еще не думал о многих важных вещах. Я принял совет этого смешного человека и вскоре ушел в люди, в ту житейскую школу, которую не заменят никакие книги и отвлеченные размышления.

Это было трудное и настоящее дело.

Молодость брала свое. Я не задумывался над тем, хватит ли у меня сил пройти эту школу. Я был уверен, что хватит.

Вечером мы все пошли на Меловую горку — крутой обрыв над рекой, заросший молодыми соснами. С Меловой горки открылась огромная осенняя теплая ночь.

Мы сели на краю обрыва. Шумела у плотины вода. Птицы возились в ветвях, устраивались на ночлег. Над

лесом загорались зарницы. Тогда были видны тонкпе, как дым, облака.

— Ты о чем думаешь, Костик? — спросил Глеб.

— Так... вообще...

Я думал, что никогда и пикому не поверю, кто бы мне ни сказал, что эта жизнь, с ее любовью, стремлением к правде и счастью, с ее зарницами и далеким шумом воды среди ночи, лишепа смысла и разума. Каждый из нас должен бороться за утверждение этой жизни всюду и всегда — до конца своих дней.

1946

КНИГА ВТОРАЯ

Беспокойная юность

«ЗДЕСЬ ЖИВЕТ НИКТО»

На дверях у профессора Гилярова была прибита медная дощечка с надписью: «Здесь живет никто».

Гиляров читал студентам Киевского университета лекции по истории философии. Седой, небритый, в мешковатом люстриновом пиджаке, обсыпанном табачным пеплом, он торопливо подымался па кафедру, сжимал ее края жилистыми руками и начинал говорить — глухо, неразборчиво, будто нехотя.

За окнами аудитории горели позолотой и никак не могли догореть киевские сады.

Осень в Киеве всегда была затяжная. Южное лето накапливало в городских садах столько солнечного жара, зелени и запаха цветов, что ему было жаль расставаться с этим богатством и уступать место осени. Почти каждый год лето вмешивалось в распорядок дней и оттягивало свой уход.

Как только Гиляров начинал говорить, мы, студенты, уже ничего не замечали вокруг. Мы следили за неясным бормотаньем профессора, завороженные чудом человеческой мысли. Гиляров раскрывал ее перед нами неторопливо, почти сердясь. Великие эпохи перекликались одна с другой. Нас не оставляло ощущение, что поток человеческой мысли нельзя разъять на части, что почти невозможно проследить, где кончается философия и начинается поэзия, а где поэзия переходит в обыкновенную жизнь.

Иногда Гиляров вынимал из оттопыренного кармана пиджака томик стихов с оттиснутым на переплете фили-

ном — птицей мудрости — и отрывисто прочитывал несколько строк, скрепляя ими свои речи философа:

> ...Если б нынче свой путь
> Совершить наше солнце забыло,—
> Завтра целый бы мир озарила
> Мысль безумца какого-нибудь.

Изредка щетина на щеках у Гилярова топорщилась и прищуренные глаза смеялись. Так было, когда Гиляров произнес перед нами речь о познании самого себя. После этой речи у меня появилась вера в безграничную силу человеческого сознания.

Гиляров просто кричал на нас. Он приказывал нам не зарывать наших возможностей в землю. Надо чертовски трудиться над собой, извлекать из себя все, что в тебе заложено. Так опытный дирижер открывает в оркестре все звуки и заставляет самого упрямого оркестранта довести до полного выражения любой инструмент.

«Человек,— говорил Гиляров,— должен осмыслить, обогатить и украсить жизнь».

Идеализм Гилярова был окрашен горечью и постоянным сожалением об его постепенном закате. Среди многих выражений Гилярова мне запомнились слова «о последней вечерней заре идеализма и его предсмертных мыслях».

В этом старом профессоре, похожем внешне на Эмиля Золя, было много презрения к благополучному обывателю и либеральной интеллигенции того времени.

Это вязалось с медной дощечкой на его дверях о ничтожестве человека. Мы понимали, конечно, что дощечку эту Гиляров повесил назло своим благопристойным соседям.

Гиляров говорил об обогащении жизни человеком. Но мы не знали, каким образом добиться этого. Вскоре я пришел к выводу, что для этого нужно с наибольшей полнотой выразить себя в своей кровной связи с народом. Но как? В чем? Самым верным путем казалось мне писательство. Так родилась мысль о нем, как об единственной моей жизненной дороге.

С тех пор началась моя взрослая жизнь,— часто трудная, реже — радостная, но всегда беспокойная и настолько разнообразная, что можно легко запутаться, вспоминая о ней.

Моя юность началась в последних классах гимназии и окончилась вместе с первой мировой войной. Она окончилась, может быть, раньше, чем следовало. Но на долю моего поколения выпало столько войн, переворотов, испытаний, надежд, труда и радости, что всего этого хватило бы на несколько поколений наших предков.

За время, равное обращению Юпитера вокруг Солнца, мы пережили так много, что от одного воспоминания об этом сжимается сердце. Наши потомки будут, конечно, завидовать нам, участникам и свидетелям великих переломов в судьбе человечества.

Университет был средоточием передовой мысли в городе. Поначалу я, как и большинство новичков, дичился в университете и приходил в замешательство от встреч со старыми, особенно с «вечными студентами». Эти бородатые люди в потертых расстегнутых тужурках смотрели на нас, первокурсников, как на бессмысленных щенят.

Кроме того, после гимназии я долго не мог привыкнуть, что слушать лекции вовсе не обязательно и в часы университетских занятий можно безнаказанно сидеть дома над книгами или бродить по городу.

Постепенно я привык к университету и полюбил его. Но полюбил не лекции и профессоров (талантливых профессоров было немного), а самый характер студенческой жизни.

Лекции шли своим порядком в аудиториях, а студенческая — очень бурная и шумная — жизнь шла тоже своим порядком, независимо от лекций, в длинных и темных университетских коридорах.

В этих коридорах весь день кипели споры, шумели сходки, собирались землячества и фракции. Коридоры тонули в табачном дыму.

Впервые я узнал о резких неистовых противоречиях между большевиками и эсерами и меньшевиками, о бундовцах, дашнаках, «щирых» украинцах и партии «Паолей Цион». Но случалось, что представители всех этих партий объединялись против одного общего врага — студентов-«белоподкладочников», членов черносотенного Академического союза. Схватки с «белоподкладочниками» сплошь и рядом доходили до рукопашной, особенно когда в дело вмешивалось «Кавказское землячество».

В кипении этих страстей уже чувствовалось приближение каких-то новых времен. И странным казалось, что

тут же, в нескольких шагах, за дверями аудиторий, почтенные и седовласые профессора читают в скучноватой тишине лекции о торговых обычаях в ганзейских городах или сравнительном языкознании.

В те годы, перед первой мировой войной, многие предчувствовали приближение грозы, но не могли предвидеть, с какой силой она обрушится на землю. Как перед грозой, было душно в России и в мире. Но гром еще не докатывался, и это успокаивало недальновидных людей.

Тревожные гудки в утренней мгле на окраинах Киева, когда бастовали заводы, аресты и ссылки, сотни прокламаций — все это были зарницы далекой грозы. Только чуткий слух мог уловить за ними ворчание грома. И потому первый его оглушительный удар летом 1914 года, когда началась мировая война, ошеломил всех.

Мы, гимназисты, когда вышли из гимназии, тотчас растеряли друг друга, хотя и поклялись никогда не делать этого. Накатилась война, потом пришла революция, и с тех пор я больше не встречал почти никого из своих одноклассников. Где-то пропали весельчак Станишевский, доморощенный философ Фицовский, сдержанный Шмуклер, медлительный Матусевич и быстрый, как птица, Булгаков.

Я жил в Киеве один. Мама с сестрой Галей и братом Димой, студентом Технологического института, были в Москве. А старший брат Боря хотя и жил в Киеве, но мы с ним почти не встречались.

Боря женился на низкорослой пухлой женщине. Она носила фиолетовые японские кимоно с вышитыми журавлями. Все дни Боря просиживал над чертежами бетонных мостов. В его темной комнате, оклеенной обоями под дубовое дерево, пахло фиксатуаром. Ноги прилипали к крашеным полам. Фотографии всемирной красавицы Лины Кавальери были приколоты заржавленными кнопками к стене.

Боря не одобрял моего увлечения философией и литературой. «Надо пробивать дорогу в жизни,— говорил он.— Ты фантазер. Такой же, как папа. Развлекать людей — это не дело».

Он считал, что литература существует для развлечения людей. Я не хотел с ним спорить. Свою привязанность к литературе я оберегал от недоброго глаза. Поэтому я перестал ходить к Боре.

Я жил у бабушки на зеленой окраине Киева, Лукьяновке, во флигеле в глубине сада. Моя комната была заставлена вазонами с фуксией. Я занимался только тем, что читал до изнеможения. Чтобы отдышаться, я выходил по вечерам в сад. Там стоял резкий осенний воздух и горело над облетелыми ветками звездное небо.

Бабушка сначала сердилась и зазывала меня домой, но потом привыкла и оставила меня в покое. Она только говорила, что я провожу время без всякого «сенсу», иначе говоря — без смысла, и все это окончится скоротечной чахоткой.

Но что могла поделать бабушка с моими новыми друзьями? Что бабушка могла возразить Пушкину или Гейне, Фету или Леконту де Лилю, Диккенсу или Лермонтову?

В конце концов бабушка махнула на меня рукой. Она зажигала у себя в комнате лампу с розовым стеклянным абажуром в виде большого тюльпана и погружалась в чтение бесконечных польских романов Крашевского. А я вспоминал стихи о том, что «в небе, как зов задушевный, мерцают звезд золотые ресницы». И земля казалась мне хранилищем многих драгоценностей, таких, как эти золотые ресницы звезд. Я верил, что жизнь готовит мне много очарований, встреч, любви и печали, радости и потрясений, и в этом предчувствии было великое счастье моей юности. Сбылось ли это, покажет будущее.

А сейчас, как говорили в старинных театрах актеры, выходя к зрителям перед спектаклем: «Мы представим вам разные житейские случаи и постараемся заставить вас поразмышлять над ними, поплакать и посмеяться».

НЕБЫВАЛАЯ ОСЕНЬ

Я ехал из Киева в Москву в тесной каморке вагонного отопления. Нас было трое пассажиров — пожилой землемер, молодая женщина в белом оренбургском платке и я.

Женщина сидела на холодной чугунной печурке, а мы с землемером по очереди отсиживались на полу — вдвоем поместиться там было нельзя.

Мелкий уголь хрустел под ногами. От него белый платок женщины вскоре сделался серым. За наглухо забитым окном — тоже серым, в высохших потеках от дождевых

капель — ничего нельзя было разобрать. Только где-то под Сухиничами я увидел и запомнил огромный, во все небо, кровавый закат.

Землемер посмотрел на закат и сказал, что там, на границах, уже, должно быть, дерутся с немцами. Женщина прижала платок к лицу и заплакала: она ехала в Тверь к мужу и не знала, застанет ли мужа там или его уже отправили на передовые позиции.

Я ехал попрощаться с братом Димой в Москву, его тоже призвали в армию. Меня в армию не взяли из-за сильной близорукости. Кроме того, я был младшим сыном в семье и студентом, а по тогдашним законам младшие сыновья, равно как и студенты, освобождались от военной службы.

Выйти из отопления на площадку вагона было почти невозможно. Мобилизованные вповалку лежали на крышах, висели на буферах и ступеньках. Станции встречали нас протяжным воем женщин, ревом гармошек, свистом и песнями. Поезд останавливался и тотчас прирастал к рельсам. Только два паровоза могли стронуть его, и то — тяжелым рывком.

Россия сдвинулась с места. Война, как подземный толчок, сорвала ее с оснований. По тысячам сел тревожно били колокола, возвещая мобилизацию. Тысячи крестьянских лошаденок везли к железным дорогам призывников из самых глухих углов страны. Враг вторгся в страну с запада, но мощный людской вал покатился навстречу ему с востока.

Вся страна превратилась в военный лагерь. Жизнь смешалась. Все привычное и устоявшееся мгновенно исчезло.

За долгую дорогу до Москвы мы втроем съели только одну окаменелую булку с изюмом и выпили бутылку мутной воды.

Поэтому, должно быть, воздух Москвы, когда я утром вышел из вагона на сырую платформу Брянского вокзала, показался мне душистым и легким. Кончалось лето 1914 года — грозное и тревожное лето войны, и в московском воздухе уже пробивались сладковатые и прохладные запахи осени — вялых листьев и застоялых прудов.

Мама жила в то время в Москве, как раз вблизи такого пруда на Большой Пресне. Окна квартиры выходили в Зоологический сад. Были видны красные кирпичные

брандмауэры пресненских домов, избитые снарядами еще во времена декабрьского восстания пятого года, пустые дорожки Зоологического сада и большой пруд с черной водой. В полосах солнца прудовая вода отливала зеленоватым цветом тины.

Я никогда еще не видел квартиры, которая так вязалась бы с характером людей и с их жизнью, как мамина квартира на Пресне. Она была пустая, почти без мебели, если не считать кухонных столов и нескольких скрипучих венских стульев. В комнаты падала тень от старых почерневших деревьев, и потому в квартире всегда было сумрачно и холодно. Серые и липкие клеенки на столах были тоже холодные.

У мамы появилось пристрастие к клеенкам. Они заменяли прежние скатерти и настойчиво напоминали о бедности, о том, что мама бьется изо всех сил, чтобы хоть как-нибудь поддержать порядок и чистоту. Иначе она не могла бы жить.

Дома я застал только маму и Галю. Дима уехал в Граворново на полигон обучать стрельбе запасных солдат.

Лицо у мамы за те два года, что я ее не видел, сморщилось, пожелтело, но тонкие губы были по-прежнему крепко сжаты, будто мама давала понять окружающим, что она никогда не сдастся перед жизнью, перед происками мелких недоброжелателей и выйдет из всех передряг победительницей.

А Галя, как всегда, бесцельно бродила по комнатам, натыкалась по близорукости на стулья и расспрашивала меня о всяких пустяках — сколько теперь стоит билет от Киева до Москвы и остались ли еще на вокзалах носильщики, или их всех угнали на войну.

В этот приезд мама показалась мне спокойнее, чем раньше. Этого я не ожидал. Я не мог понять, откуда взялось это спокойствие в дни войны, когда Диму со дня на день могут отправить на фронт. Но мама сама выдала свои мысли.

— Сейчас нам, Костик,— сказала она,— гораздо легче. Дима прапорщик, офицер. Получает хорошее жалованье. Теперь я не боюсь, что завтра будет нечем заплатить за квартиру.

Она беспокойно посмотрела на меня и добавила:

— На войне тоже не всех убивают. Я уверена, что Диму оставят в тылу. Он на хорошем счету у начальства.

Я согласился, что действительно на войне не всех убивают. Нельзя было отнимать у нее это шаткое утешение.

Глядя на маму, я понял, что значит тягость повседневного беззащитного существования и как нужен человеку надежный кров и кусок хлеба. Но мне стало не по себе от мысли, что она счастлива этим жалким благополучием, возникшим в семье за счет опасности для ее сына. Не может быть, чтобы она не сознавала этой опасности. Она просто старалась не думать о ней.

Вернулся Дима — загорелый, очень уверенный в себе. Он отстегнул и повесил в передней свою новенькую шашку с золоченым эфесом. Вечером, когда в передней зажгли электрическую лампочку, эфес заблестел, как единственная нарядная вещь в маминой убогой квартире.

Мама успела мне рассказать, что женитьба Димы на Маргарите расстроилась, так как Маргарита оказалась, по маминому выражению, «весьма неприятной особой». Я промолчал.

Через несколько дней Дима получил назначение в Навагинский пехотный полк. Дима собрался и уехал так быстро, что мама не успела опомниться. Только на второй день после его отъезда она впервые заплакала.

Димин эшелон грузился на запасных путях Брестского вокзала. Был ветреный день, нагоняющий скуку,— обыденный день с желтой пылью и низким небом. Всегда кажется, что в такие дни не может случиться ничего особенного.

Прощание с Димой было под стать этому дню. Дима распоряжался погрузкой эшелона. Он разговаривал с нами урывками и попрощался наспех, когда эшелон уже тронулся. Он догнал свой вагон, вскочил на ходу на подножку, но тотчас его закрыл встречный поезд. Когда поезда разошлись, Диму уже не было видно.

После отъезда Димы я перевелся из Киевского в Московский университет. Димину комнату мама сдала инженеру московского трамвая Захарову. До сих пор я не понимаю, что могло понравиться Захарову в нашей квартире.

Захаров учился в Бельгии, много лет прожил в Брюсселе и незадолго до первой мировой войны вернулся в Россию. Это был веселый холостяк с седеющей подстриженной бородкой. Он носил просторные заграничные ко-

стюмы и пронзительные очки. Весь стол в своей комнате Захаров завалил книгами. Но среди них я не нашел почти ни одной технической. Больше всего было мемуаров, романов и сборников «Знания».

У Захарова я впервые увидал на столе французские издания Верхарна, Метерлинка и Роденбаха.

В то лето все восхищались Бельгией — маленькой страной, принявшей первый удар немецких армий. Всюду пели песню о защитниках осажденного Льежа.

Бельгия была разбита вдребезги в два-три дня. Над ней сиял ореол мученичества. Готические кружева ее ратуш и соборов обрушились и перетерлись в пыль под сапогами немецких солдат и коваными колесами пушек.

Я читал Верхарна, Метерлинка, Роденбаха, стараясь найти в книгах этих бельгийцев разгадку мужества их соотечественников. Но я не находил этой разгадки ни в сложных верхарновских стихах, отрицавших старый мир, как великое зло, ни в мертвых и хрупких, как цветы подо льдом, романах Роденбаха, ни в пьесах Метерлинка, написанных как бы во сне.

Однажды я встретил Захарова на Тверском бульваре. Он взял меня под руку и начал говорить о войне, о потрясенной культуре, о Бельгии. Говорил он с легким французским акцентом.

Великолепная осень стояла в те дни над Москвой. Деревья роняли золоченую листву на стволы орудий. Орудия и зарядные ящики стояли серыми шеренгами вдоль московских бульваров, дожидаясь отправки на фронт.

Прозрачное, небывало густое и синее небо — дорога перелетных стай — простиралось над городом в сиянии тускнеющего солнца. И все сыпалась и сыпалась листва, заваливала крыши, тротуары, мостовые, шуршала под метлами дворников, под ногами прохожих, как бы стараясь напомнить людям, что вокруг них все еще существует забытая ими земля, что, может быть, ради этой земли, ради слабого блеска сентябрьской паутины, ради ясности сухих и прохладных горизонтов, ради затишливых вод, вздрагивающих от упавшего с дерева кусочка коры, ради запаха желтеющей ракиты, ради всей этой шелестящей, необыкновенно прекрасной России, ради ее деревень, ее изб, курящихся молочным дымом соломы, синеватых речных туманов, ее прошлого и будущего,— ради всего этого

все честные люди всего мира огромным совместным усилием остановят эту войну.

Я понимал, конечно, что надеяться на это нельзя, что все эти мысли, как любил говорить Боря, «сплошное донкихотство» и что поднявший меч на наш народ и его культуру, может быть, от этого меча и погибнет, но никогда добровольно не вложит его в ножны.

Война накатывалась все ближе своим неотвратимым ходом. Казалось, дым ее пожаров уже заволакивал небо Москвы. Потом мы узнали, что это был действительно дым пожаров, но только лесных,— под Тверью горели леса и сухие болота.

Утром я просыпался у себя в комнате — я спал на полу — и смотрел за окно. В небе пролетали листья и, качаясь, опускались на землю. Рама окна скрывала их от меня, и мне не удавалось проследить, куда они падают.

Я не мог избавиться от мысли, что этот медленный и долгий — изо дня в день — полет листьев, может быть, последний в моей жизни. И все казалось, что листья летят с запада на восток, спасаясь от войны.

Мне не стыдно сейчас сознаться в этих мыслях,— я был очень молод. Все окружающее было наводнено до краев лирической силой, исходившей, вероятно, от меня самого. Я же думал тогда, что такова сущность жизни.

— Так вот, мой друг,— сказал мне Захаров,— не пора ли вам бросить слоняться по окрестностям Москвы в вашем туманном состоянии. За эту неделю, как передавала мне Мария Григорьевна, вы уже успели смотаться в Архангельское и Останкино.

Слово «смотаться» Захаров сказал с особенным вкусом. Так он произносил все непривычные еще для него русские слова.

— Да, я был и в Архангельском и в Останкине,— сознался я.— О каком таком туманном состоянии вы говорите?

Захаров усмехнулся:

— Вы ведете тебя так, будто мир существует только для того, чтобы наполнять нас интересными мыслями.

— Ну и что ж? — спросил я резко. Я начинал сердиться. Почему все, будто сговорившись, обвиняют меня в несерьезном, в мальчишеском отношении к жизни?

— Просто вы начитались до отрыжки современных поэтов,— сказал примирительно Захаров и с удовольствием повторил: — До отрыжки.

— Если судить по вашим книгам, вы тоже предпочитаете художественную литературу трамваю.

— Дело в том,— объяснил Захаров,— что Бельгия — классическая страна трамваев. И мистической поэзии. Меня выслали за границу еще гимназистом. Я попал в Бельгию, прижился там и окончил инженерный институт в Льеже. Но дело не в этом. Дело в войне. Вот, извольте!

Со стороны Страстной площади долетала музыка походного марша и гремело заглушенное протяжное «ура». Там выстроились перед отправкой на фронт запасные батальоны.

— Я только что был там, на площади,— добавил Захаров.— Я очень забыл Россию. Не по своей вине. Так вот, я протискался в первые ряды, чтобы посмотреть на солдат. От них сильно пахло хлебом. Удивительный запах! Услышишь его — и почему-то веришь, что русскому народу никто не сломит шею.

— А Бельгия? — спросил я.

— Что Бельгия? Я вас не понимаю.

Я усмехнулся и сказал первое, что пришло мне в голову:

— Почему бельгийцы так отчаянно дрались с немцами?

— О-ля-ля! — пропел Захаров.— Маленький народ живет памятью о прошлом величии. За это я его уважаю. Вот Метерлинк. Мистический поэт с туманными зрачками и туманными мыслями. Старый католический бог его раздражает. Он просто груб для такой утонченной натуры, как Метерлинк. Поэтому он заменяет бога потусторонним миром,— это, конечно, несколько современнее и поэтичнее. Это более сильная отрава, чем религия. Все это так. Но, кроме того, Метерлинк — гражданин. Таково воспитание. Таковы традиции. Как гражданин, он берет своими мистическими пальцами винтовку и стреляет из нее так же хорошо, как любой королевский стрелок. Никому нет дела до расплывчатых мыслей Метерлинка-поэта. Но всем есть дело до Метерлинка-гражданина. Поэтому никто не вмешивается в его поэзию. Такова Бельгия. Да что говорить! Страна хорошая. Морской ветер продувает ее на-

сквозь, и она полна веселых людей. Умеющих, кстати, работать. Что вы еще хотите знать о Бельгии? Пока ничего. Ну что ж, покончим с Бельгией и поговорим о более существенных для вас вещах.

Более существенной вещью для меня оказалось следующее: Захаров предложил устроить меня вожатым на московский трамвай. Дело в том, объяснил он, что почти всех вожатых и кондукторов взяли в армию. Нельзя оставлять огромный город во время войны без трамвая. Сейчас как раз идет наем новых вожатых и кондукторов.

Я опешил. Слишком резок был переход от Метерлинка к вожатому трамвая.

С гимназических лет я настойчиво думал о писательстве. Все перемены в жизни казались мне подготовительной школой для этого. Надо входить в жизнь, не брезгать ничем,— только так может накопиться жизненный опыт, создаться та кладовая, откуда я буду брать пригоршнями мысли, сюжеты, образы и слова.

К тому же я понимал, что сейчас нельзя уезжать от мамы. Надо побыть с ней и помочь ей. А здесь заработок сам шел в руки. И я согласился.

Когда я сказал маме и Гале, что поступаю вожатым на трамвай, мама только вздохнула и заметила, что она никогда не стыдилась никакой работы и приучила к этому и нас. А Галя начала волноваться — не убьет ли меня током.

— Я где-то читала,— испуганно сказала она,— про слона из цирка. Его сожгло трамвайным током. Может это быть или нет?

Я ответил, что все это чепуха.

Мне не сиделось дома, и я пошел в трактир на Кудринской улице. Он курился чайным паром.

Развязно, позванивая литаврами и бубенцами, гремел механический орган — трактирная «машина»:

Вот мчится тройка удалая
По Волге-матушке зимой...

За соседним столиком старый человек с поднятым воротником пиджака что-то писал, беспрерывно макая перо в чернильницу и снимая с него волоски.

Мне захотелось написать кому-нибудь из близких, из друзей о себе, о том, что жизнь переломилась и я буду

работать вожатым на трамвае, но я тут же вспомнил, что писать мне совершенно некому.

Ямщик умолк, и кнут ременный
Повис в опущенной руке,—

гремела «машина», и в ответ ей звенели пустые стаканы.

МЕДНАЯ ЛИНИЯ

Меня приняли вожатым в Миусский трамвайный парк. Но вожатым я работал недолго. Меня вскоре перевели в кондукторы.

Миусский парк помещался на Лесной улице, в красных почерневших от копоти кирпичных корпусах. Со времен моего кондукторства я не люблю Лесную улицу. До сих пор она мне кажется самой пыльной и бестолковой улицей в Москве.

Воспоминание о ней связано со скрежетом трамваев, выползающих на рассвете из железных ворот парка, с тяжелой кондукторской сумкой, натиравшей плечо, и с кислым запахом меди. Руки у нас, кондукторов, всегда были зелеными от медных денег. Особенно если мы работали на «медной линии».

«Медной линией» называлась линия «Б», проходившая по Садовому кольцу. Кондукторы не любили эту линию, хотя москвичи и называли ее с умилением «Букашкой». Мы предпочитали работать на «серебряной» линии «А» — на Бульварном кольце. Эту линию москвичи называли тоже ласково «Аннушкой». Против этого ничего возразить было нельзя, но называть «Букашкой» линию «Б» было просто нелепо.

Проходила она около многолюдных вокзальных площадей, по пыльным обочинам Москвы. Вагоны на линии «Б» были с прицепами. В прицепы разрешалось садиться с тяжелыми вещами. Пассажир на этой линии был больше с окраин — ремесленники, огородники, молочницы. Расплачивался этот пассажир медяками, серебро же припрятывал и не очень охотно вытаскивал его из своих кошелей и карманов. Поэтому эта линия и называлась «медной».

Линия же «А» была нарядная, театральная и магазинная. По ней ходили только моторные вагоны, и пассажир был иной, чем на линии «Б»,— интеллигентный и чинов-

ный. Расплачивался такой пассажир обыкновенно серебром и бумажками.

За открытыми окнами вагона линии «А» шумели листвой бульвары. Вагон медленно кружился по Москве — мимо усталого Гоголя, спокойного Пушкина, мимо Трубного рынка, где никогда не умолкал птичий свист, мимо кремлевских башен, златоглавой громады храма Христа Спасителя и горбатых мостов через обмелевшую Москву-реку.

Мы выводили вагоны па линию ранним утром, а возвращались в парк в час ночи, а то и позже. В парке надо было сдать выручку артельщику. Только после этого я мог уйти домой и медленно брел по ночной Москве, по Грузинам с пустой сумкой на плече. Никелированная бляха с кондукторским номером поблескивала на моей куртке в зеленом свете газовых фонарей. В то время электрические фонари горели только на главных улицах.

Вначале я долго возился ночью с подсчетом мелочи, но потом старый кондуктор Бабаев — мой наставник — научил меня, как избавляться от нее. С тех пор я начал привозить в парк только крупные бумажные деньги и немного серебра.

Прием был простой. Часа за два до возвращения в парк мы начинали безбожно спускать мелочь — сдавали сдачу с рубля одними медяками, а с трех рублей — одним серебром. Пассажиры иногда начинали ругаться. В этом случае мы тотчас уступали, чтобы не было лишней трамвайной распри. Такова была житейская мудрость Бабаева.

— Нынче пассажир,— говорил Бабаев,— слабонервный. Приходится делать ему послабление. Надо иметь благорасположение к пассажиру, а кой-кого даже и провезти бесплатно. Я, к примеру, по тому, как человек лезет в вагон, уже знаю, что он хочет проехать без билета. По выражению лица. Видишь, что человеку надо ехать, а он от тебя по вагону прячется,— значит, у него в кармане шиш. Так ты к такому пассажиру с билетом не приставай. Делай вид, будто ты ему билет уже выдал и даже с соответствующим надрывом. На каждом поприще надо проявлять снисхождение к людям, а в нашей кондукторской службе — особенно. Мы имеем дело со всей Москвой. А в Москве горя людского, как песка морского.

Бабаев обучил меня всем нехитрым тонкостям кондукторской службы — как надрывать билеты, какого цвета

билеты соответствуют каждому дню недели (чтобы пассажиры не ездили со вчерашними билетами вместо сегодняшних), как сдавать вагон смотрителю парка, в каких местах города пассажиры чаще всего вскакивают на ходу и потому надо быть настороже, чтобы остановить вагон в случае какого-либо несчастья.

Бабаев обучал меня десять дней. После этого я держал экзамен на кондуктора. Самым трудным был экзамен на знание Москвы. Нужно было знать все площади города, улицы и переулки, все театры, вокзалы, церкви и рынки. И не только знать их по названиям, но и рассказать, как к ним проехать. В этом отношении тягаться с кондукторами могли только московские извозчики.

Трамвайной своей службе я обязан тем, что хорошо изучил Москву, этот беспорядочный и многоликий город со всеми его Зацепами, Стромынками, трактирами, Ножевыми линиями, Божедомками, больницами, Ленивками, Анненгофскими рощами, Яузами, вдовьими домами, слободами и Крестовскими башнями.

Экзаменовал нас на знание Москвы едкий старичок в длиннополом пиджаке. Он прихлебывал из стакана холодный чай и ласково спрашивал:

— Как бы покороче, батенька мой, проехать мне из Марьиной рощи в Хамовники? А? Не знаете? Кстати, откуда это взялось название такое пренеприятное — Хамовники?! Хамством Москва не славилась. За что же ей, первопрестольной, такой срам?!

Старичок свирепо придирался к нам. Половина кондукторов на его экзамене провалилась.

Провалившиеся ходили жаловаться главному инженеру трамвая Поливанову, великолепно выбритому, подчеркнуто учтивому человеку. Поливанов, склонив голову с седым пробором, ответил, что знание Москвы — одна из основ кондукторской службы.

— Кондуктор,— сказал он,— не только одушевленный прибор для выдачи билетов, но и проводник по Москве. Город велик. Ни один старожил не знает его во всех частях. Представьте, какая путаница произойдет с пассажирами трамвая, особенно с провинциалами, если никто не сможет помочь им разобраться в этом хитросплетении тупиков, застав и церквей.

Вскоре я убедился, что Поливанов был прав.

Меня назначили на линию № 8 — проклятую вок-

зальную линию, считавшуюся еще хуже, чем «Б». Линия эта соединяла Брестский вокзал с Каланчевской площадью, с ее тремя вокзалами — Николаевским, Ярославским и Казанским. Проходила восьмая липия через Сухаревскую площадь и по обеим Божедомкам.

Часто случалось, что у Ярославского вокзала вагон, как говорили кондукторы, «попадал под поезд» из Троице-Сергиевской лавры. В трамвай набивались богомолки-салопницы. Пробирались они в разные московские церкви, города не знали, были бестолковы, как куры, и всего боялись.

И вот изо дня в день происходила одна и та же канитель: одной салопнице надо было к «Николе на курьих ножках», другой — к Троице-Капелькам, третьей — к Георгию на Всполье. Нужно было терпеливо объяснять им, как проехать к этим церквам, после чего старухи вытаскивали из карманов в нижних юбках платки с завязанными по уголкам деньгами. В одном уголке были копейки, в другом — семишники, в третьем — пятикопеечные монеты.

Салопницы долго развязывали зубами тугие узелки и скупо отсчитывали деньги. Впопыхах салопницы часто ошибались и развязывали не тот узелок. Тогда они снова затягивали его зубами и начинали развязывать другой.

Для нас, кондукторов, это было несчастьем. До Красных ворот мы должны были раздать все билеты. Старухи нас задерживали, билеты выдавать мы не успевали, а у Красных ворот нас подкарауливал сутяга-контролер и штрафовал за медленную работу.

Однажды Бабаев затащил меня к себе. Жил он с дочерью в покосившемся домишке у Павелецкого вокзала. Дочь его работала белошвейкой.

— Вот, Саня,— бодро крикнул с порога Бабаев,— привел тебе жениха!

Саня зашумела за перегородкой коленкором, но не вышла.

В низкой комнате висело несколько клеток, закрытых газетами. Бабаев снял газеты. В клетках тотчас запрыгали и запели канарейки.

— Я с канарейками отдыхаю от людского племени,— объяснил Бабаев.— Нас, кондукторов, пассажир не стесняется. Выказывает себя перед нами в наихудшем виде. Отсюда, понятно, и точка зрения у нас на человека подозрительная.

Бабаев был прав. Непонятно почему, но нигде человек не вел себя так грубо, как в трамвае. Даже учтивые люди, попав в трамвай, заражались сварливостью.

Сначала это удивляло, потом начало раздражать, но в конце концов стало так угнетающе действовать, что я ждал только случая, чтобы бросить трамвайную работу и вернуть себе прежнее расположение к людям.

Вошла Саня, костлявая девица, молча поздоровалась, поставила на стол граммофон с красной трубой, завела его, ушла и больше не появлялась. Граммофон запел арию из «Риголетто»: «Если красавица в любви клянется, кто ей поверит, тот ошибется». Канарейки тотчас замолкли и начали прислушиваться.

— Граммофон я держу для канареек,— объяснил Бабаев.— Обучаю их пению. Очень переимчивая птица.

Бабаев рассказал, что у канареечников есть в Москве свой трактир, куда они приносят по воскресеньям канареек и устраивают соревнования. Собираются послушать эти канареечные концерты большие любители. Были однажды даже Шаляпин и миллионер Мамонтов. Люди, конечно, видные, знаменитые, но в канареечном пении они не разбирались, можно сказать, ни черта не понимали и цены канарейкам не знали. Хотели купить двух канареек за большие деньги. Но канареечники, хоть и с извинениями, продать отказались,— нет смысла отдавать птицу в неопытные руки. Испортить ее ничего не стоит, а труд на нее положен большой. И канарейка к тому же не игрушка, она требует правильного обращения. Так Шаляпин с Мамонтовым и ушли ни с чем. Шаляпин напоследок как грянул басом, со зла должно быть, «Как король шел на войну», так все канареечники кинулись птичек своих уносить из трактира,— канарейка существо нервное, ее напугаешь — она петь совершенно бросит, и тогда грош ей цена.

Сухая осень сменилась обложными дождями. Это было, пожалуй, самое трудное время для кондукторов. Сквозняки в вагонах, липкая грязь на полах, засыпанных обрывками билетов, прелый запах мокрой одежды и слезящиеся окна,— за ними ползли вереницы темных деревянных домишек и исхлестанные дождем вывески оптовых складов.

В такие дни кондукторов раздражало все, в особенности дурацкая привычка пассажиров налеплять на окна

старые раскисшие билеты и рисовать пальцем на потном стекле носатые рожи.

Вагон трамвая становился похожим на измызганное общежитие, где переругиваются случайные жильцы — пассажиры. Москва как бы съеживалась, пряталась под черные зонты и поднятые воротники пальто. Улицы пустели. Одна только Сухаревка шумела и ходила, как море, тусклыми человеческими волнами.

Трамвай с трудом продирался сквозь крикливые толпы покупателей, перекупщиков и продавцов. У самых колес зловеще шипели граммофоны, и Вяльцева зазывно пела: «Гайда, тройка, снег пушистый, ночь морозная кругом!» Голос ее заглушали примусы. Они нетерпеливо рвались в небо синим свистящим пламенем. Победный их рев перекрывал все звуки.

Звенели отсыревшие мандолины. Резиновые чертенята с пунцовыми анилиновыми щеками умирали с пронзительным воплем: «Уйди, уйди!» Ворчали на огромных сковородах оладьи. Пахло навозом, бараниной, сеном, щепным товаром. Охрипшие люди с наигранной яростью били друг друга по рукам.

Гремели дроги. Лошадиные потные морды лезли на площадку вагона, дышали густым паром.

Фокусники-китайцы, сидя на корточках на мостовой, покрикивали фальцетом: «Фу-фу, чуди-чудеса!» Надтреснуто звонили в церквах, а из-под черных ворот Сухаревой башни рыдающий женский голос кричал: «Положи свою бледную руку на мою исхудалую грудь».

Карманные воры с перекинутыми через руку брюками, вынесенными якобы для продажи, шныряли повсюду. Глаз у них был быстрый, уклончивый. Соловьями заливались полицейские свистки. Тяжело хлопая крыльями, взлетали в мутное небо облезлые голуби, выпущенные из-за пазухи мальчишками.

Невозможно рассказать об этом исполинском московском торжище, раскинувшемся почти от Самотеки до Красных ворот. Там можно было купить все — от трехколесного велосипеда и иконы до сиамского петуха и от тамбовской ветчины до моченой морошки. Но все это было с червоточиной, с изъяном, со ржавчиной или с душком.

Это было всероссийское скопище нищих, бродяг, жуликов, воров, маклаков — людей скудной и увертливой жизни. Воздух Сухаревки, казалось, был полон только

одним — мечтой о легкой наживе и куске студня из телячьих ножек.

То было немыслимое смешение людей всех времен и состояний — от юродивого с запавшими глазами, гремящего ржавыми веригами, который ловчится проехать на трамвае без билета, до поэта с козлиной бородкой в зеленой велюровой шляпе, от толстовцев, сердито месивших красными босыми ногами сухаревскую грязь, до затянутых в корсеты дам, что пробирались по этой же грязи, пирподымая тяжелые юбки.

Однажды в дождливый темный день в мой вагон вошел на Екатерининской площади пассажир в черной шляпе, наглухо застегнутом пальто и коричневых лайковых перчатках. Длинное, выхоленное его лицо выражало каменное равнодушие к московской слякоти, трамвайным перебранкам, ко мне и ко всему на свете. Но он был очень учтив, этот человек,— получив билет, он даже приподнял шляпу и поблагодарил меня. Пассажиры тотчас онемели и с враждебным любопытством начали рассматривать этого странного человека. Когда он сошел у Красных ворот, весь вагон начал изощряться в насмешках над ним. Его обзывали «актером погорелого театра» и «фон-бароном». Меня тоже заинтересовал этот пассажир, его надменный и вместе с тем застенчивый взгляд, явное смешение в нем подчеркнутой изысканности с провинциальной напыщенностью.

Через несколько дней я освободился вечером от работы и пошел в Политехнический музей на поэзо-концерт Игоря Северянина.

«Каково же было мое удивление», как писали старомодные литераторы, когда на эстраду вышел мой пассажир в черном сюртуке, прислонился к стене и, опустив глаза, долго ждал, пока не затихнут восторженные выкрики и аплодисменты.

К его ногам бросали цветы — темные розы. Но он стоял все так же неподвижно и не поднял ни одного цветка. Потом он сделал шаг вперед, зал затих, и я услышал чуть картавое пение очень салонных и музыкальных стихов:

Шампанское — в лилию, в шампанское — лилию!
Ее целомудрием святеет оно!
Миньон с Эскамильо, Миньон с Эскамильо!
Шампанское в лилии — святое вино!

В этом была своя магия, в этом пении стихов, где мелодия извлекалась из слов, не имевших смысла. Язык существовал только как музыка. Больше от него ничего не требовалось. Человеческая мысль превращалась в поблескивание стекляруса, шуршание надушенного шелка, в страусовые перья вееров и пену шампанского.

Было дико и странно слышать эти слова в те дни, когда тысячи русских крестьян лежали в залитых дождями окопах и отбивали сосредоточенным винтовочным огнем продвижение немецкой армии. А в это время бывший реалист из Череповца, Лотарев, он же «гений» Игорь Северянин, выпевал, грассируя, стихи о будуаре тоскующей Нелли.

Потом он спохватился и начал петь жеманные стихи о войне, о том, что, если погибнет последний русский полководец, придет очередь и для него, Северянина, и тогда, «ваш нежный, ваш единственный, я поведу вас на Берлин».

Сила жизни такова, что переламывает самых фальшивых людей, если в них живет хотя бы капля поэзии. А в Северянине был ее непочатый край. С годами он начал сбрасывать с себя мишуру, голос его зазвучал человечнее. В стихи его вошел чистый воздух наших полей, «ветер над раздольем нив», и изысканность сменилась лирической простотой: «Какою нежностью неизъяснимою, какой сердечностью осветозарено и олазорено лицо твое».

Мне редко удавалось освободиться по вечерам. Все дни и часть ночи проходили в изнурительной работе, всегда на ногах, в скрежете, спешке, и я, так же как и все кондукторы, очень уставал от этого. Когда мы слишком уж изматывались, то просили у нашего трамвайного начальства перевести нас на несколько дней на «паровичок» — паровой трамвай. Он ходил от Савеловского вокзала в Петровско-Разумовскую сельскохозяйственную академию. Это была самая легкая, а на кондукторском языке — самая «дачная» линия в Москве.

Маленький паровоз, похожий на самовар, был вместе с трубой запрятан в коробку из железа. Он выдавал себя только детским свистом и клубами пара. Паровоз тащил четыре дачных вагона. Они освещались по вечерам свечами, электричества на «паровичке» не было.

Я работал на этой линии осенью. Быстро раздав биле-

ты, я садился на открытой площадке и погружался без всяких мыслей в шелест осени, мчавшейся по сторонам «паровичка». Березовые и осиновые рощи хлестали в лицо сыростью перестоявшегося листа.

Потом рощи кончались, и впереди вспыхивал всеми красками увядания великолепный парк академии. Золотое молчание стояло в нем. Громады лип и кленов, переплетаясь с лимонной бледностью осин, открывались перед глазами, как преддверие пышного и тихого края. Там осень по разнообразию и обдуманности раскраски была подчинена воле и таланту человека. Этот парк был насажен знаменитыми нашими ботаниками, мастерами садового искусства.

С детских лет одна страсть завладела мной — любовь к природе. Временами она приобретала такую остроту, что пугала моих близких. Когда я возвращался осенью в гимназию из Брянских лесов или из Крыма, у меня начиналась жестокая тоска по прожитому лету. Я худел на глазах и не спал по ночам. Я скрывал это свое состояние от окружающих. Уже давно я убедился, что, кроме недоумения, оно ничего не вызывает. Это было как раз то «несерьезное», что, по мнению близких, коренилось во мне и мешало мне жить.

Как я мог объяснить им, что в этом моем ощущении природы было нечто большее, чем удивление перед ее совершенством, что это было не бесцельное любование, а сознание среды, без которой человеку нельзя работать в полную меру сил. Люди обычно уходят в природу, как в отдых. Я же думал, что жизнь в природе должна быть постоянным состоянием человека.

Я вспомнил об этом сейчас потому, что осенью 1914 года я с особой остротой испытывал чувство содружества с природой. Она тоже была поставлена под удар войны, но не здесь, в Москве, а там, на западе, в Польше, и от этого любовь к ней становилась сильнее и все больше щемила сердце.

Я смотрел, как дым из трубы «паровичка» обволакивал желтеющие рощи. По вечерам за ними слабо горело голубоватое зарево Москвы. Видение этих подмосковных рощ вызывало множество мыслей о России, Чехове, Левитане, о свойствах русского духа, о живописной силе, таившейся в народе, его прошлом и будущем, которое должно быть и, конечно, будет совершенно удивительным.

МИМО ВОЙНЫ

Сейчас, когда со времени первой мировой войны прошло почти полвека, я вспоминаю об этом совсем еще близком времени, как о чем-то очень давнем, топущем в тумане прошлого.

Как будто гремящее и бурное столетие легло между двумя полосами жизни. Все переместилось. Все сдвинулось, как от внезапного удара. Теперь мы усмехаемся над тем, что раньше казалось нам важным. Мы прощаем себе былое легкомыслие и неумение разбираться в хитросплетениях жизни, в общественных отношениях, в самих себе. Сейчас мы относимся ко всему, что было до семнадцатого года, как к детству, хотя людям моего поколения было в то время уже больше двадцати лет.

Война 1914 года не завладела сознанием так окончательно, как все, что случилось после нее. В России в то время существовала жизнь, которая шла мимо войны. Аудитории Политехнического музея ломились от публики, когда выступали футуристы или Игорь Северянин. Рабиндранат Тагор владел умами. Художественный театр в жестоких муках искал нового Гамлета. В Москве продолжались литературные «среды» в доме писателя Телешова, но писатели на этих «средах» мало говорили о войне. Религиозная философия, богоискательство, символизм, призыв к возрождению эллинской философии — все это существовало рядом с передовой революционной мыслью и пыталось завладеть умами.

Я вышел из среды средней интеллигенции. Мой отец был статистиком. Как большинство статистиков в те времена, отец был либералом.

С ранего детства я слышал от отца и его друзей слова о свободе, неизбежности революции и обездоленном народе.

Все эти речи произносились главным образом в столовой за чаем, причем каждый раз мама предостерегающе показывала глазами на нас, детей, и говорила отцу:

— Георгий, ты, как всегда, увлекаешься.

Народом — многомиллионным, страдающим, обездоленным — было в моем представлении крестьянство. О рабочих я слышал мало. Слово «пролетариат» редко произносилось в нашей среде. Иногда говорили о «мастеровых», о «фабричных», и с этими понятиями были

связаны для меня киевские окраины, тесные бараки и забастовки.

Всякий раз, когда я слышал эти слова — «пролетариат» и «рабочий класс», я почему-то думал, что весь пролетариат сосредоточен у нас в России только в дымном Петрограде, на огромных заводах, таких, как Путиловский и Обуховский.

Эти наивные детские представления и страстное увлечение мое литературой привели к тому, что примерно до Февральской революции я ничего толком не знал о революционном движении.

В то время под словом революционер я понимал и видел нечто отчаянно смелое, непреклонное и самоотверженное.

Но нельзя сказать, что революционное движение совсем прошло мимо моей молодости. Я был свидетелем событий 1905 года, хорошо знал весь внешний ход декабрьского восстания в Москве, события на Казанской дороге, восстание «Потемкина» и «Очакова», преклонялся перед лейтенантом Шмидтом. Но меня прежде всего захватывала романтическая сторона революционных событий — подкопы, подпольные типографии, динамит, адские машины, бегство из ссылки, пламенные речи.

Внутренняя же сущность событий долгое время сводилась к очень расплывчатому понятию, которое можно определить как «борьбу за свободу».

С такими представлениями я дожил до войны 1914 года. Только с начала войны я начал осознавать те общественные события, какие шли в России.

В 1914 году Москва была глубоким тылом. Только обилие раненых, бродивших по городу в коричневых халатах, да траурные платья женщин напоминали о войне.

Однажды я пробрался на одну из литературных «сред». Писатели собирались в старом особняке в переулке около Грузин.

Я сел в заднем ряду и просидел, не вставая, до конца вечера. Я боялся, что меня заметят и попросят уйти, и чувствовал себя как безбилетный пассажир, хотя вокруг меня сидело несколько таких же юношей, как и я. Юноши эти держались свободно, и от этого я еще больше смущался.

Лицо у меня горело — впервые я видел так близко писателей. Я не мог избавиться от мысли, что хотя они и

одеты в обыкновенные пиджаки и произносят те же самые слова, что и мы, простые смертные, но все же нас отделяет от них огромное расстояние. Имя этому расстоянию — талант, свободное владение мыслью, образом и словом,— все то, что казалось мне в ту пору почти колдовством. На каждого писателя я смотрел, как на прямого наследника Тургенева, Чехова, Толстого, как на хранителя традиций русской поэзии и прозы.

Тогда я никак не мог согласиться с пушкинскими словами, что по временам и писатели и поэты бывают ничтожнее всех «меж людей ничтожных мира». Я не мог отделить писателя от всего, им написанного.

Поэтому я с одинаковым волнением смотрел на остриженного по-кучерски Алексея Толстого, на взъерошенного Ивана Шмелева, похожего на землемера, на тишайшего Зайцева и на ледяного Бунина, читавшего глуховатым голосом рассказ «Псальма».

Я надеялся увидеть на «среде» Максима Горького. Но его не было.

Рядом со мной сидел пожилой, как будто весь сделанный из морщин и, должно быть, чахоточный человек. Он кашлял в темный платок, глаза его блестели,— у него, очевидно, был жар. Он следил за каждым словом, долетавшим с возвышения, где сидели писатели, потом обернулся ко мне и сказал:

— Ох, и хороша Россия! Ох, и хороша!

Мы вышли вместе с этим человеком. Он жил за Пресненской заставой, и нам было по пути.

Поседевшая луна висела среди голых ветвей. Подмерзшие листья хрустели под ногами. Свет из окон падал на каракулевую шапку-пирожок моего спутника. Он оказался наборщиком из типографии Сытина. Звали его Елисеем Сверчковым.

— Я вырос в провинции,— говорил он мне, поминутно останавливаясь, чтобы откашляться.— В граде Кашине. С юных лет пристал всей душой к письменности, но чувствую слабость свою в этом деле. Слово мне не дается. Понимаю я слово правильно, можно сказать, на ощупь, на вкус, все его качества знаю, а распоряжаться им не умею. В каждом слове заложены многие смыслы, и дело писателя поместить это слово рядом с другим таким манером, чтобы оно, молодой человек, дало нужный отзыв в сердце читателя. Вот тут-то и приходит на выручку талант. Оза-

рение! Писатель не ищет, не выбирает,— он сразу берет нужное слово, как наборщик, не глядя, берет из кассы нужную литеру. И раз он его поставил на место, так уж, черта с два, нипочем его не отдаст. Иначе рухнет его чудесное построение.

— А вы пробовали писать? — спросил я наборщика.

— Пробовать-то я пробовал. И до сей поры пробую. Да что толку! Я такое завел обыкновение — по праздникам иду в Третьяковскую галерею. Или в Румянцевку. Выберу одну наиболее приятную мне картину и смотрю на нее, представляю себя вроде как участником того, что на этой картине написано. Возьмем, к примеру, «Грачи прилетели» Саврасова. Или «Март» Левитана. У Саврасова воплощено в картине все мое детство. Российская слякотная весна, вся в лужах, с холодным ветерком, с низенькими небесами, с мокрыми заборами и тучами. А «Март» Левитана — это уже другая весна, но тоже очень наша, очень российская — с капелью, с синим небом над рощицей, когда, знаете, талая вода с сосулек все кап да кап, а в каждом таком капе солнечный свет падает с крыши. Это я хорошо вижу. Посмотрю я этак на картины, приду домой и стараюсь изобразить все виденное в тетради с таким расчетом, чтобы одними словами живописать, как, скажем, художник живописует умброй, сиенной или кобальтом. Чтобы человек, сроду этой картины не видевший, мог представить себе все на ней изображенное с полной ясностью. Чтобы он, извините, услышал запах весеннего навозца и грачиный грай. Я таких описаний составил больше сотни. Показал их недавно одному писателю — не буду его вам называть. Трясусь, даже самого себя жалко. Он прочел, говорит: «Все это, конечно, литературно сделано и вполне грамотно, только совершенно ни к чему. Я, говорит, лучше картины в натуре посмотрю, чем через ваши писания их буду воспринимать. Что это вы, говорит, батенька, вздумали тягаться с Саврасовым, Левитаном или Коровиным. Они-то небось были не лыком шиты». Я ему возражаю. «У меня есть, говорю, идея довести слово до того, чтобы оно действовало на человека зрительным образом, подобно краске на полотне художника».— «А это,— говорит он,— уже полное черт знает что!» Так я от него и ушел с этим «черт знает что». Одно я сообразил: слово мне не дается! А жаль! Я бы мог большие дела сотворить, это я за собой чувствую.

Я проводил наборщика до дому. Жил он в глубине узкого двора, заставленного поломанными и заржавленными железными кроватями: в этом же дворе помещалась кроватная фабрика.

Сверчков пригласил меня приходить к нему и напоследок сказал:

— Живу среди кроватей, а у самого — дощатый топчан. Кровати эти все старые, пожертвованные. Их чинят для солдатских госпиталей. По случаю войны. Войны этой я не понимаю. Существует она от отсутствия дружности. Была бы у нас, людей обыкновенной жизни, согласованность желаний, мы бы сказали одно слово «нет!» — и всей этой кровавой петрушке пришел бы конец. Вот я и мечтаю — кто бы научил нас дружности. Неужто не найдется такой личности на свете?

Сверчков постучал в низенькое оконце. Из-за оконца его никто не окликнул, но тотчас раздался злой женский плач.

— Не понимает! — вздохнул Сверчков.— Слабый пол. Мне, может, жить остался год. Так нет, не понимает. Вы уж извините, молодой человек.

Я попрощался и ушел. На Большой Пресне стояла такая тишина, что было слышно, как зевают ночные сторожа. Белым и синим кафелем мертво поблескивали под фонарями молочные магазины Чичкина и Бландова. Если на одном углу был облицованный белым кафелем магазин Чичкина, то на другом углу обязательно поселялся синий Бландов, чтобы перебить торговлю своему соседу.

Дома уже все спали. Даже в комнате Захарова было темно. Я лег у себя на полу. Слабый фонарный свет падал в комнату.

Я лежал и думал о больном наборщике из Кашина. Мысли эти не вызывали у меня горечи, а, наоборот, спокойствие. По стране и таланты! Сколько их, этих талантливых людей, по городам и селам России — кто знает! Десятки или сотни тысяч? Сколько ума, выдумки, «золотых рук» они приложили к тому, чтобы обрядить, обогатить, воспеть и прославить свою страну.

Наборщик, конечно, прав. С русским языком можно творить чудеса. Нет ничего такого в жизни и в нашем сознании, что нельзя было бы передать русским словом. Звучание музыки, спектральный блеск красок, игру света, шум и тень садов, неясность сна, тяжкое громыханье

грозы, детский шепот и шорох морского гравия. Нет таких звуков, красок, образов и мыслей — сложных и простых,— для которых не нашлось бы в нашем языке точного выражения.

Легко думать по городским ночам, когда с товарных станций, с запасных путей и вокзалов доносятся гудки паровозов да изредка прогремит по булыжной мостовой извозчичья пролетка.

Я встал, подошел к окну и долго смотрел на Зоологический сад. Глухой и тихий, он чернел огромным островом среди слабо освещенных кварталов Москвы.

Я обернулся и заметил, что на столе что-то белеет. Должно быть, записка от мамы. Я взял ее, зажег спичку и прочел косые строчки телеграммы из Киева:

«Назначен саперную часть выезжаю запад фронтовой адрес сообщу дополнительно буду возможности писать не волнуйся целую тебя Галю Костика *Боря*».

Так! Значит, и Боря! И мне вдруг стало невыносимо стыдно. Чем я перед ним кичился? Своим туманным тяготением к искусству? Не написав еще ни одной путной строчки, я уже причислил себя к избранным. Я насмехался над его комнатой, его бетонными мостами, его житейской философией. А что в ней было смешного? Во всяком случае, он был честен. Он работал как вол, никогда не лгал и не увиливал от своих обязательств. И если он предпочитал Генриха Сенкевича Чехову, то какой в этом смертный грех? Я, жестоко враждовавший с предрассудками, попал под власть самого мелочного предрассудка.

Я зажег вторую спичку, снова прочел телеграмму и подумал: почему мама не дождалась меня, а положила мне эту телеграмму на стол? Зачем? Может быть, потому, что она знала, как я отношусь к Боре, и ей было бы тяжело увидеть подтверждение этого на моем лице сейчас, в такую трудную минуту.

Я оделся и пошел к маме. Она не спала. Мы сидели рядом, я гладил ее седые сухие волосы и не знал, как утешить ее. Она плакала тихо, чтобы не разбудить Галю.

Тогда я понял, как жестока и несправедлива подчас бывает молодость, хотя бы и наполненная высокими мыслями.

Мама уснула только перед рассветом. Я прошел к себе,

надел кондукторскую форму, взял пустую сумку и осторожно вышел из дому.

Серый свет сочился на лестницу из немытых окон. Старые коты, раздувшись, всхрапывали на ступеньках.

По Грузинам к товарной станции Брестской дороги шли, погромыхивая, санитарные двуколки с красным крестом на зеленых брезентовых полотнищах. Из Зоологического сада летели на мостовую сухие, покоробленные листья сирени. По этим пыльным лиловым листьям и по брезентовым верхам двуколок громко били капли крупного утреннего дождя.

СТАРИК СО СТОРУБЛЕВЫМ БИЛЕТОМ

Давно замечено, что люди, чья жизнь проходит в постоянном движении — машинисты, моряки, летчики, шоферы,— бывают несколько суеверны. Суеверны были и мы, кондукторы московского трамвая.

Больше всего мы боялись старика со сторублевым кредитным билетом, так называемой «катеринкой». На билете этом был выгравирован пышный портрет Екатерины Второй с тугим атласным бюстом.

Если говорить без предвзятостей, то старик был даже довольно приятный — умытый, ласковый и культурный. Из кармана его пальто всегда торчала аккуратно сложенная профессорская либеральная газета «Русские ведомости».

Старик всегда садился в трамвай ранним утром, как только мы выходили из парка и в сумке у нас позванивало шестьдесят копеек мелочи, выданной нам на сдачу. Больше мелочи нам не давали.

Старик влезал в трамвай и с предупредительной улыбкой протягивал кондуктору сторублевую бумажку. Сдачи, конечно, не было. Но старик ее и не требовал. Он покорно сходил на первой же остановке и дожидался следующего трамвая.

Там повторялась та же история.

Так, пересаживаясь из вагона в вагон, старик бесплатно ездил на службу изо дня в день и из месяца в месяц. Придраться к нему было нельзя.

Сторублевая бумажка была всегда одна и та же. Мы, кондукторы линии 8, давно знали на память ее номер —

123715. Мы мстили старику тем, что иногда язвительно говорили:

— Предъявите вашу «катеринку» номер 123715 и выметайтесь из вагона.

Старик никогда не обижался. Он охотно протягивал нам пресловутую ассигнацию и так же охотно и даже торопливо, стараясь никого не затруднить, выходил из вагона.

Это был неслыханно упорный безбилетный пассажир. Против него были бессильны самые свирепые контролеры.

Но мы не любили старика не за эту ассигнацию 123715, а за то, что он, как утверждали старые кондукторы, знавшие его несколько лет, всегда приносил неприятности.

У меня за трамвайную службу было четыре неприятности.

Вначале я работал вожатым. Я водил вагоны по внутреннему кольцу «Б». Это была дьявольская работа. Вагоны ходили с прицепами. Сцепления были разболтаны, и потому было почти невозможно стронуть вагон с места без того, чтобы не дернуть прицеп и не услышать в ответ крикливые проклятья пассажиров.

Однажды у Смоленского бульвара на рельсы въехал белый автомобиль с молоком фирмы Чичкина. Шофер едва плелся. Он боялся, очевидно, расплескать свое молоко. Я поневоле плелся за ним и опаздывал. На остановках мой вагон встречали густые и раздраженные толпы пассажиров.

Вскоре меня нагнал один вагон линии «Б», потом — второй, потом — третий, наконец — четвертый. Все вагоны оглушительно и нетерпеливо трещали. В то время у моторных вагонов были не звонки, а электрические трещотки.

На линии создавался тяжелый затвор. А шофер все так же трусил по рельсам впереди меня и никуда не сворачивал.

Так мы проехали с ним всю Садовую-Кудринскую, миновали Тверскую, Малую Дмитровку, Каретный ряд. Я неистово трещал, высовывался, ругался, но шофер только попыхивал в ответ табачным дымом из кабины.

Сзади уже, сколько хватал глаз, ползли, оглушая Садовые улицы трещотками, переполненные пассажирами «Букашки». Ругань вожатых сотрясала воздух. Она дока-

тывалась от самого заднего вагона ко мне и снова мощной волной катилась назад.

Я пришел в отчаяние и решил действовать. На спуске к Самотеке я выключил мотор и с оглушительным треском, делая вид, что у меня отказали тормоза, ударил сзади чичкинский автомобиль с его пахалом шофером.

Что-то выстрелило. Автомобиль осел на один бок. Из него повалил белый дым. Усатый шофер выскочил на мостовую, вытащил из кармана полицейский свисток и заливисто засвистел. Это было для меня полной неожиданностью. Я увидел, как с Самотечной площади бегут к вагону, придерживая шашки, околоточный надзиратель и городовой.

В общем, на следующий день меня разжаловали из вожатых в кондукторы.

Но на этом мои злоключения не кончились. Вскоре меня оштрафовали за то, что я сидел на задней площадке, когда мой вагон проходил по Театральной площади. На Театральной площади кондукторам полагалось стоять, так как это было самое оживленное место в Москве, где пассажиры беспрерывно вскакивали и выскакивали на ходу.

Потом мы, молодые кондукторы, придумали очень удачный, как нам сгоряча показалось, способ, чтобы немного передохнуть среди суматошного дня. Мы сговаривались с вожатым и уходили с конечной станции минуты на две, на три раньше, чем полагалось по расписанию или, как говорили трамвайщики, «не выдерживали интервала».

Вожатый давал полный ход, мы быстро догоняли передний вагон той же линии и веселились. Передний вагон подбирал всех пассажиров, а мы шли порожняком. В вагоне было пусто и тихо, можно было даже почитать газету.

Способ этот казался нам безукоризненным. Но мы, конечно, как это часто бывает, «поскользнулись на апельсиновой корке», начали пересаливать и носиться порожняком по Москве по три-четыре рейса подряд. Выручка у нас стала меньше, чем у остальных кондукторов. Начальство тотчас заподозрило неладное. В конце концов нас накрыли на этой хитрости и жестоко оштрафовали.

Эти неприятности обошлись без вмешательства старика со сторублевым билетом. Но однажды старик сел в мой

вагон, и самый вид его показался мне более подозрительным и зловещим, чем всегда,— старик весь сиял от расположения ко мне, кондуктору. Может быть, потому, что я проглядел и старику удалось проехать бесплатно не одну, а две остановки. Когда старик сошел, вожатый — человек молчаливый и мрачный — с треском отодвинул переднюю дверь и крикнул мне через весь вагон:

— Теперь гляди, кондуктор! Как бы не случилось беды!

И он с таким же треском захлопнул дверь.

Я ждал неприятностей весь день, но их не было. Я успокоился. В полночь мы отошли от Ярославского вокзала последним рейсом.

В вагоне было несколько пассажиров, и ничто не предвещало беды. Я даже беспечно напевал про себя очень распространенную в то время песенку:

Ах вы, пташки-канашки мои!
Разменяйте бумажки мои...

У Орликова переулка в вагон вошел плотный господин в пальто с воротником «шалью» и элегантном котелке. Все в нем изобличало барство — слегка припухшие веки, запах сигары, белое заграничное кашне и трость с серебряным набалдашником.

Он прошел через весь вагон походкой подагрика, опираясь на трость, и тяжело сел у выхода. Я подошел к нему.

— Бесплатный! — отрывисто сказал господин, глядя не на меня, а за окно, где бежали, отражаясь в стеклах вагона, ночные огни.

— Предъявите! — так же отрывисто сказал я.

Господин поднял набрякшие веки и с тяжелым пренебрежением посмотрел на меня.

— Надо бы знать меня, милейший,— сказал он раздраженно.— Я городской голова Брянский.

— У вас, к сожалению, на лбу не написано,— ответил я резко,— что вы городской голова. Предъявите билет!

Городской голова вскипел. Он наотрез отказался показать свой бесплатный билет. Я остановил вагон и попросил его выйти. Городской голова упирался. Тогда, как водится, дружно вмешались пассажиры.

— Какой он городской голова! — сказал из глубины вагона насмешливый голос.— Городскому голове полагает-

ся на своих рысаках ездить. Уж что-что, а это мы хорошо знаем. Видали мы таких голов!

— Не ваше дело! — крикнул господин в котелке.

— Батюшки! — испугалась старуха с кошелкой яблок.— Зычный какой! Богатые, они всегда скупятся. Пять копеек на билет им жалко. Так вот и капиталы себе набивают — по полушке да по копейке.

— А может, у него в кармане шиш с маслом,— засмеялся парень в картузе.— Тогда я за него заплачу. Бери, кондуктор! Сдачу отдай ему на пропитание.

Кончилось все это тем, что взбешенный городской голова вышел из вагона и так хлопнул дверью, что зазвенели все стекла. За это он получил от вожатого несколько замечаний в спину по поводу его нахальства, котелка и сытой рожи.

Через два дня меня вызвал начальник Миусского парка, очень бородатый, очень рыжий и очень насмешливый человек, и сказал громовым голосом:

— Кондуктор номер двести семнадцать! Получай вторичный выговор с предупреждением. Распишись вот здесь! Так! И поставь свечку Иверской божьей матери, что все так обошлось. Виданное ли дело — выкинуть из вагона городского голову, да еще ночью, да еще на Третьей Мещанской, где и днем-то тебя каждый облает да толкнет.

Начальник парка потребовал, чтобы я рассказал ему историю с городским головой во всех подробностях. Я рассказал и упомянул, между прочим, о старике со сторублевым билетом и о том, что, по мнению кондукторов, этот старик приносит несчастье.

— Слышал я об этом старикашке проклятом,— сказал начальник парка.— Как бы его подкузьмить, такого артиста?

Кондукторы линии 8 давно мечтали подкузьмить этого старика. У каждого был свой план. Был свой план и у меня. Я рассказал о нем начальнику парка. Он только усмехнулся.

Наутро мне были выданы под расписку сто рублей бумажной мелочью.

Я ждал старика три дня. На четвертый день старик наконец попался.

Ничего не подозревая, радушно и спокойно, он влез в вагон и протянул мне свою «катеринку». Я взял ее, по-

вертел, посмотрел на свет и засунул в сумку. У старика от изумления отвалилась челюсть.

Я неторопливо отсчитал девяносто девять рублей девяносто пять копеек, два раза пересчитал сдачу и протянул старику. На него было страшно смотреть. Лицо его почернело. В глазах было столько желтой злости, что я бы не хотел встретиться с этим стариком в пустом переулке.

Старик молча взял сдачу, молча сунул ее, не считая, в карман пальто и пошел к выходу.

— Куда вы? — сказал я ему вежливо.— У вас же есть наконец билет. Можете кататься сколько угодно.

— Зараза! — хриплым голосом произнес старик, открыл дверь на переднюю площадку и сошел на первой же остановке. Сделал он это, должно быть, по застарелой привычке.

Когда вагон тронулся, старик изо всей силы ударил толстой тростью по стенке вагона и еще раз крикнул:

— Зараза! Жулик! Я тебе покажу!

С тех пор я его больше не встречал. Передавали, что кое-кто из кондукторов видел его после этого случая. Старик бодро шагал пешком из дому на службу. В кармане его пальто все так же торчала аккуратно сложенная газета «Русские ведомости».

Сторублевая бумажка 123715 была выставлена, как трофей, в Миусском парке на доске за проволочной сеткой, где вывешивались приказы. Она провисела там несколько дней. Перед ней толпились кондукторы, узнавали ее «в лицо» и смеялись. А я заслужил сомнительную славу находчивого человека. Только это обстоятельство и спасло меня от увольнения, когда я сознательно провез без билетов двадцать вооруженных человек и нарвался на контролера.

Это было ночью. У Ярославского вокзала в вагон сели солдаты, одетые по-походному — с патронными сумками, винтовками, туго затянутые по новеньким шинелям кожаными поясами. Это были запасные — бородатые, обветренные люди, оробевшие в незнакомой и непонятной Москве. Ехали они с Ярославского вокзала на Брестский, а оттуда — в Действующую армию. Трех солдат провожали жены, закутанные по самые глаза теплыми платками. Они крепко держали мужей за рукава шинелей и молчали. Молчали и солдаты.

Я совершил два служебных преступления — провез солдат с женами бесплатно и, кроме того, пустил в вагон трамвая вооруженных людей, что строжайше воспрещалось.

На Екатерининской площади в вагон вошел контролер.

— Не трудитесь,— сказал я ему.— Билетов у солдат все равно нету.

— За счет датского короля везете? — спокойно спросил контролер.

— Да. За счет датского короля.

— Веселое дело! — промолвил контролер, записал мой номер и соскочил на ходу из вагона.

Вскоре после этого меня снова вызвал рыжебородый начальник парка. Он долго смотрел на меня, поводил бровями, что-то соображал, потом сказал на «вы»:

— С пассажирами вы работать не можете. Это ясно! У вас уже, слава те господи, три выговора.

— Ну что ж! Увольте меня.

— Уволить недолго. Только зачем? Я переведу вас на ночную работу в санитарных вагонах. Будете развозить раненых с вокзалов по госпиталям. Вы ведь студент?

Я согласился. Эта работа казалась мне гораздо благороднее, чем утомительная возня с пассажирами, билетами, со сдачей.

С облегчением я сдал свою сумку артельщику и пошел домой.

Я шел по Грузинам. Ветер трепал язычки газовых фонарей. Ночной воздух с легким привкусом газа, казалось, сулил мне перемены в жизни, путешествия, новизну.

ЛЕФОРТОВСКИЕ НОЧИ

Сверкающий дуговыми фонарями, как бы расплавленный от их мелового шипящего света, Брестский вокзал был в то время главным военным вокзалом Москвы. С него отправлялись эшелоны на фронт. По ночам к полутемным перронам крадучись подходили длинные, пахнущие йодоформом санитарные поезда, и начиналась выгрузка раненых.

Каждую ночь, часам к двум, когда жизнь в городе замирала, мы, трамвайщики, подавали к Брестскому вокза-

лу белые санитарные вагоны. Внутри вагонов были устроены подвесные пружинные койки.

Ждать приходилось долго. Мы курили около вагонов. Каждый раз к нам подходили женщины в теплых платках и робко спрашивали, скоро ли будут грузить раненых. Самые эти слова — «грузить раненых»,— то есть втаскивать в вагоны, как мертвый груз, живых, изодранных осколками людей, были одной из нелепостей, порожденных войной.

— Ждите! — отвечали мы.

Женщины, вздохнув, отходили на тротуар, останавливались в тени и молча следили за тяжелой вокзальной дверью.

Женщины эти приходили к вокзалу на всякий случай: может быть, среди раненых найдется муж, брат, сын или однополчанин родного человека и расскажет об его судьбе.

Все мы, кондукторы, люди разных возрастов, характеров и взглядов, больше всего боялись, чтобы какая-нибудь из этих женщин не нашла при нас родного искалеченного человека.

Когда в вокзальных дверях появлялись санитары с носилками, женщины бросались к ним, исступленно всматривались в почернелые лица раненых и совали им в руки связки баранок, яблоки, пачки дешевых рассыпных папирос. Иные из женщин плакали от жалости. Раненые, сдерживая стоны, успокаивали женщин доходчивыми словами. Эти слова простой русский человек носит в себе про черный день и поверяет только такому же простому своему человеку.

Раненых вносили в вагоны, и начинался томительный рейс через ночную Москву. Вожатые вели вагоны медленно и осторожно.

Чаще всего мы возили раненых в главный военный госпиталь в Лефортово. С тех пор воспоминание о Лефортове связано у меня с осенними холодными ночами. Прошло уже много лет, а мне все чудится, что в Лефортове всегда стоит такая ночь и в ней светятся скучными рядами окна военного госпиталя. Я не могу отделаться от этого впечатления потому, что с той поры я ни разу не был в Лефортове и не видел военный госпиталь и обширный плац перед ним при дневном свете.

В Лефортове мы помогали санитарам переносить тяжело раненных в палаты и бараки, разбросанные в саду

вдалеке от главного корпуса. Там по дну оврага шумел пахнувший хлором ручей. Переносили раненых мы медленно и потому зачастую простаивали в Лефортове до рассвета.

Иногда мы возили раненых австрийцев. В то время Австрию насмешливо называли «лоскутной империей», а австрийскую армию — «цыганским базаром». Разноплеменная эта армия производила на первый взгляд впечатление скопища чернявых и невероятно худых людей в синих шинелях и выгоревших кепи с оловянной кокардой и насквозь пробитыми на ней буквами «Ф» и «И». Это были инициалы впавшего в детство австрийского императора Франца-Иосифа.

Мы расспрашивали пленных и удивлялись: кого только не было в этой армии! Там были чехи, немцы, итальянцы, тирольцы, поляки, босняки, сербы, хорваты, черногорцы, венгры, цыгане, герцеговинцы, гуцулы и словаки... О существовании некоторых из этих народов я и не подозревал, хотя окончил гимназию с пятеркой по географии.

Однажды вместе с нашими ранеными ко мне в вагон внесли длинного, как жердь, австрийца в серых обмотках. Он был ранен в горло и лежал, хрипя и поводя желтыми глазами. Когда я проходил мимо, он пошевелил смуглой рукой. Я думал, что он просит пить, нагнулся к его небритому, обтянутому пересохшей кожей лицу и услышал клекочущий шепот. Мне показалось, что австриец говорит по-русски, и я даже отшатнулся. Тогда он с трудом повторил:

— Есмь славянин! Полоненный у велика-велика битва... брат мой.

Он закрыл глаза. Очевидно, он вкладывал в эти слова очень важный для него и непонятный мне смысл. Очевидно, он долго ждал случая, чтобы сказать эти слова. Потом я долго раздумывал над тем, что хотел сказать этот умирающий человек с запекшимся от крови бинтом на горле. Почему он не пожаловался, не попросил пить, не вытащил из-за пазухи за стальную цепочку полковой значок с адресом родных, как это делали все раненые австрийцы? Очевидно, он хотел сказать, что сила ломит и солому и не его вина, что он поднял оружие против братьев. Эта мысль соединилась в горячечном его сознании с памятью о кровавом сражении, куда он попал по воле «швабов»

прямо из своей деревни. Из той деревни, где растут вековые ореховые деревья, бросая широкую тень, и по праздникам пляшет на базаре под шарманку ручной динарский медведь.

Когда в Лефортове мы начали выносить раненых и подошли к рыжему вологодскому ополченцу, он сказал:

— Берите австрияка. Видите, мается. А мы обождем.

Мы подняли австрийца. Он был тяжелый и по дороге начал тихо стонать. «Ой-ой-ой,— протяжно говорил он,— матка моя Мария! Ой-ой-ой, матка моя Мария!»

В барак, в глубине затоптанного сада, мы принесли его уже мертвым.

Военный фельдшер приказал нам нести австрийца в покойницкую. Это был сарай с широкими, как ворота, открытыми настежь дверями. Мы внесли туда австрийца, сняли с носилок и положили на примятую многими телами соломенную труху. Никого вокруг не было. Под потолком горела пожелтевшая электрическая лампочка.

Стараясь не глядеть по сторонам, я вытащил у австрийца из-под расстегнутого ворота куртки полковой значок — маленькую книжку из двух листков белого оксидированного металла. На ней было выгравировано имя солдата, его номер и адрес родных.

Я прочел его и списал: «Иованн Петрич, 38719, Веселый Дубняк (Босния)».

Дома я написал (почему-то печатными буквами) открытку о смерти Иованна Петрича и послал в Боснию, в селение Веселый Дубняк на имя семьи Петричей.

Когда я писал эту открытку, я видел в своем воображении белый низкий дом,— такой низкий, что окна его были на локоть от земли. Я видел заросли пожухлых лопухов под окнами и ястреба, висевшего над домом в жарком небе. И видел женщину, отнявшую от смуглой груди ребенка и глядевшую сумрачными глазами за околицу, где ветер завивает пыль. Может быть, этот ветер прилетел с поля, где лежит ее Иованн, но ветер не умеет говорить и никогда ничего не расскажет. А писем нет.

«Полоненный у велика-велика битва... брат мой»,— вспоминал я тяжелый шепот. Кто виноват, что «швабы» в зеленых тесных мундирах оторвали его, Иованна, от родных садов? Он был покорный и добрый, Иованн,— это было видно по его серым круглым глазам, глазам мальчика на лице пожилого мужчины.

Лефортовские ночи! Ночи войны, страданий и размышлений о путях человека по извилистой жизни. Это были ночи моей возмужалости. С каждым днем ссыхалась и отлетала некогда блестящая мишура моих представлений о действительности. Жизнь входила в сознание как нечто суровое и требующее постоянной работы для того, чтобы очистить ее от грязи, сукровицы и обмана и увидеть во всем ее великолепии и простоте.

САНИТАР

В октябре 1914 года я уволился с московского трамвая и поступил санитаром на тыловой военно-санитарный поезд Союза городов.

Сидеть в Москве было невмоготу. Всеми мыслями я был на западе, в сырых полях Польши, где решалась судьба России. Я искал возможности быть ближе к войне и вырваться наконец из уныния давно уже развалившейся семьи.

Почти все санитары тылового поезда были добровольцы-студенты. Мы носили солдатскую форму. Нам только разрешили оставить студенческие фуражки. Это обстоятельство много раз спасало нас от грубости и «цуканья» военных комендантов.

У каждого из нас, санитаров, был свой пассажирский вагон на сорок раненых. Делом чести считалось «надраить» свой вагон до корабельного блеска, до такой чистоты, чтобы старший врач, член Государственной думы Покровский, осматривая поезд перед очередным рейсом, только ухмыльнулся бы в свою русую эспаньолку и ничего не сказал. А Покровский был строг и насмешлив.

Я боялся первого рейса. Я не знал, справлюсь ли с тем, чтобы обслужить сорок человек лежачих раненых. Сестер на поезде было мало. Поэтому мы, простые санитары, должны были не только обмыть, напоить и накормить всех раненых, но и проследить за их температурой, за состоянием перевязок и вовремя дать всем лекарства.

Первый же рейс показал, что самое трудное дело — это кормление раненых. Вагон-кухня был от меня далеко. Приходилось тащить два полных ведра с горячими

щами или с кипятком через сорок восемь дверей. Тем санитарам, вагоны которых были около кухни, приходилось отворять и захлопывать за собой всего каких-нибудь десять — пятнадцать дверей. Мы их считали счастливчиками, завидовали им и испытывали некоторое злорадное удовлетворение лишь от того, что множество раз в день протаскивали через их вагон свои ведра с едой и при этом, конечно, кое-что поневоле расплескивали. А «счастливчик» елозил по полу с тряпкой и, чертыхаясь, непрерывно за нами подтирал.

Первое время эти сорок восемь дверей приводили меня в отчаяние. Были двери обыкновенные, открывавшиеся внутрь, и были двери выдвижные — в вагонных тамбурах. Каждую дверь нужно было открыть и закрыть, а для этого поставить на пол полные ведра и стараться ничего не разлить. Поезд шел быстро. Его качало и заносило на стрелках, и, может быть, поэтому переходы по стрелкам, когда вагоны вдруг шарахаются в сторону, я не люблю до сих пор.

Кроме того, надо было торопиться, чтобы не остыли щи или чай, особенно зимой, когда на обледенелых открытых переходах из вагона в вагон выл, издеваясь над нами, режущий ветер и ничего не стоило поскользнуться и полететь под колеса.

Если к этому прибавить, что ходить в кухню нужно было не меньше двенадцати раз в день (за хлебом и посудой, за чаем, за щами, за кашей, потом с грязной посудой и ведрами и так далее), то станет понятно, как мы проклинали того, давно уже мирно почившего изобретателя, который придумал в каждом вагоне не меньше шести, а то и все восемь дверей.

Мы благодарили небо, когда время кормления раненых совпадало со стоянкой. Тогда мы выскакивали со своими ведрами из вагонов и мчались вдоль поезда по твердой земле, а не по виляющим вагонным полам.

Многие раненые не могли есть сами. Их приходилось кормить и поить. Утром мы обмывали раненых, а после этого мыли в вагоне полы раствором карболки.

Только вечером, после ужина, можно было немного передохнуть, да и то начиналась вечная возня со свечами в жестяных вагонных фонарях. Свечи или гасли, или кривились, или вдруг начинали пылать пышными факелами. А на площадках свечи у нас постоянно воровал сцепщик

из поездной бригады — носастый и коротконогий дядя Вася, получивший за эту свою особенность прозвище «Свечное рыло».

Пожалуй, никому из нас не удавалось бы справиться целиком со своим делом, если бы в каждом вагоне тотчас не отыскивался добровольный помощник из легко раненых.

Но в конце концов все это было пустяки. Я боялся первого рейса не из-за этих обычных трудностей. Была одна трудность более сложная,— о ней втайне думали все санитары. Тяжело было остаться с глазу на глаз с сорока искалеченными людьми, особенно нам, студентам, освобожденным от солдатской службы. Мы боялись насмешек, справедливого возмущения людей, принявших на свои плечи всю тягость и опасность войны, тогда как мы, молодые и в большинстве здоровые люди, жили в безопасности, не терпя никаких лишений.

Во время первого рейса мне было поначалу просто некогда разговаривать с ранеными и прислушиваться к их словам. К ночи наконец все затихло. Я немного посидел у себя в отделении, покурил, поглядел за окно. Там пронеслась, переворачивая по вагону полосы света от фонарей, какая-то станция. Потом снова за окнами под стук колес потянулась ночь и дрожащие огни затерянных деревень.

— Санитар! — крикнул из вагона хрипловатый, требовательный голос.— А санитар!

Я вскочил и пошел по вагону. Звал меня раненый с коричневым, одутловатым лицом.

— Спишь, клистирник? — спросил он меня спокойно, без насмешки.— Тебе спать не полагается по должности. Дай попить. А то маешься тут всю ночь с пересохшим горлом.

— Спать всем полагается,— примирительно сказал с соседней койки раненый с реденькой бородкой и сухим лицом. Говорил он высоким мальчишеским голосом.— Иному вечным сном, а иному недолговременным.

— Ты что ж, монашествующий, что ли? — насмешливо спросил его одутловатый.

— Э-э-э, земляк,— усмехнулся сухолицый.— Нет еще такого монастыря, куда бы я пошел монахом. Мне монастырь нужен особый, приличный моему пониманию жизни.

— Фу-ты ну-ты, какой тюльпан! — сердито заметил третий раненый с забинтованным лицом. Среди белых бинтов остро блестели, как у хорька, его маленькие глаза.

— Вот смеемся мы друг над другом,— промолвил сухолицый,— а основы жизни не разумеем. В чем она заключается.

— А ты расскажи, не скупись,— грубо потребовал одутловатый.— Про основу да про утóк.

— Это можно,— охотно согласился сухолицый и помолчал.— Жил на русской земле один старичок довольно знаменитый. Граф Толстой. Столько книг написал, что, говорят, даже правая рука у него несколько высохла. Болела у него, значит, рука, и держал он ее завсегда засунутой за кушак. Так ему было вроде легче, вроде будто отходила у него рука.

— Это верно,— сказал забинтованный раненый.— Я сам видел на портрете.

— Уж как замлеет что — иль рука, иль нога, так нет хуже,— согласился одутловатый, с трудом подвинулся на койке и сказал мне: — Да ты садись, санитар. Разбудил я тебя, так хоть посиди с нами, послухай.

— Бесперечь будить человека тоже нельзя,— заметил из глубины вагона сонный голос.— От этого кровь киспет.

— А ты помолчи! — прикрикнул одутловатый.— Дай людям поговорить.

— Да-а,— сказал сухолицый и облизнул тонкие губы.— Старик был подсохший, и звали его Лев. И, надо быть, правильно звали. Потому сила в нем, передают, была прямо львиная. В мыслях, конечно, в разумении. А в теле у него ничего не было, даже росточку был незаметного. Да, так вот, значит, жил у нас в посаде один маляр по прозвищу Колер. Произошло у него с тем графом Толстым случайное столкновение. Не то чтобы столкновение, а простой разговор. Сидит это однажды Колер на пересадочной станции бог весть где, одним словом, где-то пониже Москвы, сидит цельные сутки, дожидается поезда, а кругом лето, пыль и станция безлюдная, вялая. И появляется на той станции граф Толстой и тоже дожидается поезда.

Ну, понятно, разговорились, кто куда едет. Колер говорит: «Я, говорит, пробираюсь в южный город Одессу, потому что малярничать в здешних местах мне надое-

ло».— «Это почему же?» — спрашивает его Толстой. «А потому,— отвечает Колер,— что здесь дома в темные колера красят, а там — в светлые. А это не в пример веселей. Там дом покрасишь, скажем, обыкновенным мелом,— крейдой его зовут в тех местах,— только чистым и хорошо протертым, так он стоит, тот дом, промеж неба и моря как белоцветный игристый камень. И такой становится легкий, будто строили его воздушными перстами райские жители».— «Никакого рая нет»,— говорит Толстой Колеру и смеется, но смеется этак сердито. «Да я и сам знаю, что нету,— отвечает Колер.— Это я к слову для нашей беседы. А вы куда изволите ехать, ежели не секрет?» — «А ежели это секрет?» — спрашивает его Толстой. «Ежели секрет, тогда прошу прощения. Я человек сиволапый». Обнял его старик за плечи, потрепал и говорит: «Вот то-то и видно, что сиволапый. Ишь, говорит, гордыня какая! Да ты, говорит, художник жизни, и сам это отлично понимаешь. Вот так, как жил, говорит, так и живи для благорасположения людей. В этом правда. А что до меня, то я ищу по России самый что ни на есть тишайший скит, убежище, чтобы там пожить и свою остатнюю книгу написать без уводящих забот».— «Про что же может быть такая ваша книга? — спрашивает Колер.— Простите мне еще раз мое невежество».— «Про все, что есть хорошего на свете и что мне на этом свете удалось повидать»,— отвечает ему старичок. «Затруднительная работа,— замечает в ответ Колер.— Поскольку выбор большой. Одних колеров хороших — и то десятки. Так как же вы про все хорошее в жизни напишете?» — «Что успею, то и напишу. Сначала про то, как живет старик в избе у реки, каждое утро выходит на порожек и видит, как в росе купаются овсянки. И думает: «Схожу-ка я нынче в лес за брусникой, и, может, наберу полное лукошко, а может, и не наберу, а лягу под сосной и упокоюсь вечным сном. По преклонному возрасту своему. И все равно — и так и этак, как бы ни случилось, как ни кинь, а все благо — и жить остаться еще несколько на этой земле, и, с другой стороны, уступить место молодым. Сам я много пожил и порадовался, так теперь пусть и другие заместо меня поживут и порадуются».— «Ну нет! — говорит Колер.— Этого я не понимаю, такого разговора. Радость бывает, когда щепа из-под фуганка летит или, скажем, краска ложится ровно, как водяная гладь. Я, гово-

рит, в работе главную радость ощущаю. И ваши слова, Лев Николаевич, мне ни к чему».

— Верно! — радостно сказал раненый с забинтованным лицом.— Работой весь мир стоит. И человек рабочий — миру основа. Ты вот свое отработай, тогда и любуйся. Росой там или овсянкой. Чем желательно.

— Толстой свое отработал боле всех,— сказал из глубины вагона сонный голос.— Я его порядочно почитал.

— Правильно!—неожиданно закричал одутловатый.— Я, к примеру, возьму комок земли перед посевом, разотру, понюхаю и понимаю, как семя себя в этой земле будет держать, какая в ней сырость и хватит ли той сырости, чтобы колос сполна напоить.

— Чего шуметь,— снова сказал из глубины вагона тот же сонный голос.— Колер-то твой, может, все набрехал. Маляры — трепачи известные. Одно жалко, что не написал Лев Толстой ту книгу про все хорошее на свете. Мы бы почитали!

— Санитар! — неожиданно прикрикнул прежним требовательным голосом одутловатый.— Сыми занавеску! Утро уже на дворе. Хоть поглядеть, что там за окошком. Скоро наши костромские края.

Раненые замолчали. Я поднял суровую полотняную занавеску и увидел за окном осеннюю северную Россию. Она туманно золотилась до самого горизонта березовыми рощами, пажитями, безыменными извилистыми реками. Поезд мчался, обволакивая паром сторожевые будки.

Я никогда еще не видел такой осени, такой ясности небес, ломкости воздуха, серебристого блеска от волокон паутины, оврагов, поросших красным щавелем, прудов, где просвечивает сквозь воду песчаное дно, сияния мглистых далей, нежной гряды облаков, застывших во влажной поутру небесной голубизне...

Я так засмотрелся, что не сразу почувствовал тяжесть у себя на спине. Одутловатый положил мне на плечо будто налитую чугуном руку, приподнялся и пристально смотрел за окно.

— Эх, браток ты мой мила-а-ай! — сказал он нараспев.— Исходил бы я эту землю босиком, попил бы чайку в каждой избе. Так вот незадача. Не на чем мне нынче ходить.

Я оглянулся и увидел под халатом у одутловатого туго забинтованную культю ампутированной ноги.

Поезд плавно несся среди росистых холмов. Паровоз вдруг закричал так радостно, будто он был глашатаем счастливой долгожданной вести.

— Эх,— добавил одутловатый.— Мчимся мы прямо к жениным и материнским слезам. Хоть не возвращайся! Так и то нельзя. Никак нельзя, браток!

РОССИЯ В СНЕГАХ

На тыловом санитарном поезде мы сделали несколько рейсов из Москвы в разные города Средней России. Мы были в Ярославле, Иваново-Вознесенске, Самаре, Арзамасе, Казани, Симбирске, Саратове, Тамбове и в других.

Города эти мне почему-то плохо запомнились. Гораздо лучше я помню небольшие станции вроде какого-нибудь Базарного Сызгана, отдельные деревни, особенно одну занесенную снегом избу на выселках. Я даже толком не знаю, в какой это было губернии — Казанской ли, Тамбовской или Пензенской.

Я до сих пор помню эту избу и высокого старика в нагольном тулупе, накинутом на костлявые плечи. Он вышел из низкой дверцы и, придерживая ее рукой, долго смотрел на длинный поезд с красными крестами на стенках вагонов. Со стрехи на косматую голову старика пылила снегом метель.

Была зима. Россия лежала в снегах.

Когда мы везли раненых, я ничего не замечал вокруг,— было не до этого. Но во время обратного рейса каждый санитар оставался один в своем вымытом и пустом вагоне, и времени для того, чтобы смотреть за окна, читать и отсыпаться, было сколько угодно.

От этих обратных рейсов осталось воспоминание, как о сплошных снегах, их белизне, заливавшей своим светом вагон, и сизом, голубиного цвета, низко нависшем небе. На память все время приходили где-то прочитанные стихи: «Страна, которая молчит, вся в белом-белом, как новобрачная, одетая в покров». И странно вязались с этими снегами и стихами белоснежные косынки и халаты сестер, когда они по утрам обходили поезд.

Базарный Сызган. Я запомнил эту станцию из-за одного пустого случая. Мы простояли на запасных путях в Сызгане всю ночь. Была вьюга. К утру поезд сплошь за-

лепило снегом. Я пошел со своим соседом по вагону, добродушным увальнем Николашей Рудневым, студентом Петровской сельскохозяйственной академии, в вокзальный буфет купить баранок.

Как всегда после вьюги, воздух был пронзительно чист и крепок. В буфете было пусто. Пожелтевшие от холода цветы гортензии стояли на длинном столе, покрытом клеенкой. Около двери висел плакат, изображавший горного козла на снеговых вершинах Кавказа. Под козлом было написано: «Пейте коньяк Сараджева». Пахло горелым луком и кофе.

Курносая девушка в фартуке поверх кацавейки сидела, пригорюнившись, за столиком и смотрела на мальчика с землистым лицом. Шея у мальчика была длинная, прозрачная и истертая до крови воротом армяка. Редкие льняные волосы падали на лоб.

Мальчик, поджав под стол ноги в оттаявших опорках, пил чай из глиняной кружки. Он отламывал от ломтя ржаного хлеба большие куски, потом собирал со стола крошки и высыпал их себе в рот.

Мы купили баранок, сели к столику и заказали чай. За дощатой перегородкой булькал закипавший самовар.

Курносая девушка принесла нам чай с вялыми ломтиками лимона, кивнула на мальчика в армяке и сказала:

— Я его всегда кормлю. От себя, а не от буфета. Он милостыней питается. По поездам, по вагонам.

Мальчик выпил чай, перевернул кружку, встал, перекрестился на рекламу сараджевского коньяка, неестественно вытянулся и, глядя остановившимися глазами за широкое вокзальное окно, запел. Пел он, очевидно, чтобы отблагодарить сердобольную девушку. Пел высоким, скорбным голосом, и в ту пору песня этого мальчика показалась мне лучшим выражением сирой деревенской России. Из слов его песни я запомнил очень немного.

...Схоронил ее
во сыром бору,
во сыром бору
под колодою,
под колодою,
под дубовою...

Я невольно перевел взгляд туда, куда смотрел мальчик. Снеговая дорога сбегала в овраг между заиндевелыми кустами орешника. За оврагом, за соломенными крышами

овинов вился струйками к серенькому, застенчивому небу дым из печей. Тоска была в глазах у мальчика,— тоска по такой вот косой избе, которой у него нет, по широким лавкам вдоль стен, по треснувшему и склеенному бумагой окошку, по запаху горячего ржаного хлеба с пригоревшими к донцу угольками.

Я подумал: как мало в конце концов нужно человеку для счастья, когда счастья нет, и как много нужно, как только оно появляется.

С тех пор я помногу живал в деревенских избах и полюбил их за тусклый блеск бревенчатых стен, запах золы и за их суровость. Она была сродни таким знакомым вещам, как ключевая вода, лукошко из лыка или невзрачные цветы картошки.

Без чувства своей страны — особенной, очень дорогой и милой в каждой ее мелочи — нет настоящего человеческого характера. Это чувство бескорыстно и наполняет нас великим интересом ко всему. Александр Блок написал в давние тяжелые годы:

Россия, нищая Россия,
Мне избы серые твои,
Твои мне песни ветровые —
Как слезы первые любви!

Блок был прав, конечно. Особенно в своем сравнении. Потому что нет ничего человечнее слез от любви, нет ничего, что бы так сильно и сладко разрывало сердце. И нет ничего омерзительнее, чем равнодушие человека к своей стране, ее прошлому, настоящему и будущему, к ее языку, быту, к ее лесам и полям, к ее селениям и людям, будь они гении или деревенские сапожники.

В те годы, во время службы моей на санитарном поезде, я впервые ощутил себя русским до последней прожилки. Я как бы растворился в народном разливе, среди солдат, рабочих, крестьян, мастеровых. От этого было очень уверенно на душе. Даже война не бросала никакой тревожной тени на эту уверенность. «Велик бог земли русской,— любил говорить Николаша Руднев.— Велик гений русского народа! Никто не сможет согнуть нас в бараний рог. Будущее — за нами!»

Я соглашался с Рудневым. В те годы Россия предстала передо мной только в облике солдат, крестьян, деревень с их скудными достатками и щедрым горем. Впервые я

увидел многие русские города и фабричные посады, и все они слились своими общими чертами в моем сознании и оставили после себя любовь к тому типичному, чем они были наполнены.

Я помню Арзамас с плетеными корзинами румяных крепких яблок и таким обилием похожих на эти яблоки, таких же румяных куполов, что казалось, этот город был вышит в золотошвейной мастерской руками искусных мастериц.

Нижний Новгород ударил в лицо пахнущим рогожами волжским ветром. Это был город русской предприимчивости, оптовых складов, бочек, засола — буйная перевалочная пристань в истории России.

И Казань с памятником Державину, присыпанным снегом. Там в Оперном театре я, усталый, уснул на галерке на спектакле «Снегурочка», вспоминая сквозь сон только что услышанные слова: «Разве для девушек двери затворены, входы заказаны?»

Я проснулся среди ночи. Сторожа схватили меня и отвели в полицейский участок. Там пахло сургучом, и тучный пристав составил протокол «о недозволенном сне в театральном зале».

Я шел к вокзалу. С Волги лепил в лицо снег, и мне было жаль промерзшего насквозь Державина, глядевшего во мрак твердыми бронзовыми глазами.

В Симбирске я тоже был зимней ночью. Весь этот пустынный тогда город был покрыт инеем. Запущенные его сады стояли как бы в оловянной листве.

Со Старого Венца я смотрел на ночную Волгу, но ничего не увидел, кроме тусклой, смерзшейся мглы.

Тогда я еще не знал, что Симбирск — родина Ленина. Сейчас мне, конечно, кажется, что уже тогда я видел тот деревянный дом, где он жил в Симбирске. Мне это кажется, может быть, потому, что там много таких теплых домов, бросающих по вечерам свет из окон на узкие тротуары.

В то время я знал только, что в Симбирске жил Гончаров — медлительный человек, владевший почти сказочным даром русского языка. Этот язык живет в его книгах легко, сердечно и сильно.

Саратов показался мне слишком правильно выстроенным и даже скучным. На городе лежал отпечаток зажиточности и порядка. Такое впечатление осталось от глав-

ных улиц. Но потом я попал в улицы боковые, в проулки, на Бабушкин взвоз, где в вихрях сухого снега слетали с горы на салазках мальчишки.

Я катался вместе с мальчишками. Мне понравилось, лежа на салазках ничком, проноситься мимо домишек, пылавших из-за оконных стекол геранью. И, признаться, я позавидовал обитателям этих домишек. Потому что я был в одном из них.

Мальчишка провел меня к какой-то Софье Тихоновне в один из таких домов — попить горячего молока.

Я увидел застекленные сенцы. На чистом полу квадратами оконных рам лежал слабый солнечный свет. Во вторых теплых сенцах стояла в кадке холодная вода. В ней плавал деревянный ковшик. За дверью открылась горница с бархатными бордовыми занавесками па окнах. Стенные часы с огромными стрелками стучали так громко, что надо было повышать голос, чтобы разговаривать с застенчивой старушкой Софьей Тихоновной. На столике у окна, покрытом кружевной скатеркой, лежала толстая пачка номеров «Нивы» в голубых бумажных обложках и стояли давным-давно засохшие цветы.

На стене среди фотографий и акварельных картинок висела большая, чуть пожелтевшая афиша спектакля «Дети солнца» Максима Горького.

— Сын у меня актер,— сказала мне Софья Тихоновпа.— В петербургском театре. Раз в год летом заезжает он ко мпе на недельку-другую — то на пути в Минеральпые Воды, то с Минеральных Вод.

Я постарался представить себе эту жизнь, наполненную ожиданием сына. Должно быть, это была горькая жизнь, но старушка несла ее легко и безропотно. Каждая вещь мылась, перетиралась, облюбовывалась только потому, что за эти мимолетные семь дней в длинном году она могла понадобиться сыну. Или он просто взглянет на нее, или вдруг спросит: «А куда это, мама, девался медный ночник или тот крымский камень из Симеиза, который я вам привез пять лет назад?»

И медный ночник, протертый зубным порошком, сиял на своем обычном месте. И плоский крымский камень лежал на стопке «Нивы» — тот знакомый половине России морской голыш с надписью: «Привет из Крыма», на котором грубой масляной краской был намалеван кипарис, а за ним — лазоревое море с белой крапинкой паруса.

Много было городов. Пришла весна и обрядила провинциальные пустыри и сточные ручьи своей чуть липнущей к пальцам, пахучей листвой.

Весной мы были в высоком Курске, как бы завешанном до крыш грудами только что распустившихся веток. Знаменитые курские соловьи щелкали, прислушиваясь к самим себе, в сырых рощах. Ленивая и холодная речонка Тускорь текла в мелких берегах, заросших желтыми калужницами.

Странный город Курск. Его любят многие, даже никогда в нем не бывавшие. Потому что Курск — это преддверие юга. Когда из пыльных и тяжелых вагонов скорого поезда Москва — Севастополь открывались на холмах его дома и колокольни, пассажиры знали, что через сутки за окнами вагонов в предутреннем морском тумане розовыми озерами разольется цветущий миндаль и о близости «полуденной земли» можно будет просто догадаться по яркому свечению горизонта.

Весна цвела над Россией. Весна цвела над Владимиром на Клязьме, над Тамбовом, над Тверью, куда мы привозили раненых.

С каждым новым рейсом мы замечали, что раненые становились все молчаливее, жестче. И вся страна примолкла, как бы задумалась о том, как отразить занесенный удар.

Вскоре всю нашу команду перевели с тылового поезда на полевой. Мы вышли в первый рейс на запад, в Брест-Литовск, к местам боев.

ГОРНИСТ И РВАНАЯ БУМАГА

Полевой санитарный поезд состоял из теплушек. В нем было только четыре классных вагона. В одном из них оборудовали операционную.

Меня назначили санитаром при операционном вагоне. С этого времени я очутился в одиночестве. В операционную никому не разрешалось входить, кроме врачей и сестер.

Целые дни напролет я протирал белые стены вагона скипидаром, мыл полы, стерилизовал в автоклаве бинты и марлю и слушал, как за перегородкой, где помещалась поездная аптека, наш «аптекарь», студент Московского

коммерческого института Романин, пел всякие песни, развлекая самого себя в своем аптечном одиночестве.

Репертуар у Романина был обширный. Когда Романин был в дурашливом настроении, он пел:

Я б желала женишка такого,
Чтобы он в манишке щеголял,
Чтобы он в манишке щеголял,
В руках тросточку держал.

Когда же Романина одолевали печальные мысли, он выводил рыдающим голосом:

Ах, зачем ты меня целовала,
Жар безумный в груди затая...

После столкновений со старшим врачом Покровским из-за путаницы с лекарствами Романин впадал в мрачное состояние и пел в таких случаях зловещий гимн анархистов:

Под голос набата, под гром канонады
Вставайте же, братья, на зов Равашоля!

У Романина была скверная привычка сидеть у себя в аптеке целыми часами притаившись и не отвечать, когда я окликал его из-за перегородки. Поэтому каждый раз я вздрагивал и ругался, когда тишина в аптеке взрывалась внезапным отчаянным воплем:

Он был слегка брюхатый,
Брюхатый, брюхатый,
Немножко лысоватый,
Но это ничего!..

Под эти песни поезд тянулся порожняком из Москвы в Брест по раскисшим от весенних дождей равнинам Белоруссии.

На ночь я уходил из операционной ночевать в «команду» — вагон для санитаров. Моими соседями по купе были Романин, Николаша Руднев и молчаливый санитар — поляк Гуго Ляхман. Он занимался лишь тем, что по нескольку раз за день начищал до нестерпимого блеска свои сапоги.

На фронте было затишье, и потому мы долго простояли в Бресте — плоском городе среди грустных равнин. Над этими равнинами проходила такая же грустная, как и они сами, весна. Лишь одуванчики цвели по межам.

Свет солнца казался беловатым,— небо почти все время было покрыто туманом.

Война была рядом, но чувствовалась она только по обилию солдат и прапорщиков на брестском вокзале да по длинным воинским эшелонам, загромождавшим загаженные запасные пути.

Авиации в то время еще не было. Канонада до Бреста не достигала. Бои шли далеко, под Кельцами.

Мы нетерпеливо ждали отправки на фронт. Мы уже устали ждать. Нам казалось, что вагонные колеса заржавели и поезд наглухо прирос к рельсам.

По молодости своей и горячности мы забывали, что наша стоянка в Бресте означает отсутствие раненых, отсутствие искалеченных людей. Только Романин не забывал об этом и говорил:

— Приехали на войну, как в Художественный театр. Запавес долго не открывают, так они топают ногами. Олухи!

После таких слов Романина в «команде» на минуту становилось тихо. Но вскоре опять разгорались споры, типичные студенческие русские споры,— шумные, длинные и всегда вызванные хорошими побуждениями, хотя бы противники и держались совершенно разных взглядов.

Больше всего было разговоров о Германии, о чудовищной тупости и наглости прусской военщины. Подвинченные колючие усы Вильгельма Второго — мечта всех солдафонов и сутенеров — были как бы символом тогдашней Германии. Все это никак не вязалось с тем, что в этой стране жили Шиллер и Гейне, Рихард Вагнер и молодой в то время прекрасный писатель Генрих Манн.

Но, наконец, свершилось! Поезд медленно тронулся. Я выскочил на ходу из «команды» и догнал свой операционный вагон,— во время хода поезда никакой связи между моим вагоном и «командой» не было.

Я открыл трехгранкой дверь, сел на площадку, свесил ноги и так просидел несколько часов, глядя на польские поля и перелески, стараясь увидеть следы близкой войны.

Но их не было. Проходили деревни, где вьюнок обвивал плетни и на них, как и у нас на Украине, сохли перевернутые вверх донышком глиняные кувшины. На крышах хат в огромных гнездах стояли надменные аисты. Воздух был золотист и бледен, как и волосы детей, озабоченно махавших руками вслед проходившему поезду.

Таким же золотистым и бледным показалось мне и лицо польской девушки, что несла на коромысле ведра воды. Она поставила ведра на землю, прикрыла глаза ладонью, долго смотрела на медленно погромыхивающие вагоны, потом отбросила прядь волос, упавшую на лицо, и снова взялась за ведра.

Высокие черные распятья стояли на перекрестках. Около них сидели с вязаньем старухи и паслись на привязи козы. В маленькой часовне-каплице горели свечи, но внутри я никого не заметил. И все так же золотисто и бледно блестели поля, и маленькие реки текли по ним, медленно переливая по песчаному дну золотистую и бледную воду.

«Где же война?» — спрашивал я себя. Поезд прошел мимо крепости Ивангород. Вдалеке за Вислой виднелись ее зеленые верки и высокие пни от срубленных во время осады вековых осокорей.

И вдруг я увидел: от полотна дороги до самого горизонта тянулись рядами через болотистую лощину залитые водой, наспех вырытые окопы. Поезд шел по высокой дамбе. Паровоз засвистел, заскрежетали тормоза, и мы остановились — путь через Вислу был почему-то закрыт.

В наступившей тишине стало слышно, как в крепости поет сигнальный рожок горниста.

Санитары начали выскакивать из вагонов.

— Мы здесь простоим целый час,— крикнул мне Романин.— Пойдемте!

Мы сбежали по крутому откосу, прошли вдоль окопов, и я начал различать в траве, выросшей, очевидно, уже после боя, множество обрывков бумаги и погнутых консервных жестянок. Они были откупорены, видимо, наспех, может быть даже штыками. Зазубренные края жестянок покрылись ржавчиной, похожей на сухую кровь.

Я не понимал, откуда на поле боя так много рваной бумаги. Это были клочки писем, газет, открыток, книг, документов, фотографических карточек, стертых, пропитанных потом. Тут же валялись втоптанные в землю солдатские фуражки. На сгоревшем кусте висело австрийское кепи с оторванным козырьком. На пригнутом к земле проволочном заграждении болтались, как будто нарочно развешанные, лоскутки бязевого солдатского белья.

Колючая проволока была вся в бугорках ржавчины, как в бородавках.

— Оказывается, железо ржавеет,— заметил вскользь Романин,— не только от воды.

— А от чего же?

— Бывает, и от крови,— неохотно ответил Романин.

Валялись солдатские бутсы, пуговицы, патроны, стальные обоймы, поломанные коробки от папирос «Ира», шелковая красная лента, размокшие махорочные этикетки, серые пулеметные ленты, гвозди, иконки, ремни, подковки от сапог, вышитые крестиком кисеты, обертки от индивидуальных пакетов, свитые в веревку грязные бинты, австрийские штыки-кинжалы, раздавленные деревянные ложки, стальные головки снарядов с нанесенными на них деленьями, простреленные фляги, битое стекло.

Это был мусор войны, все, что оставил человек на поле смерти, все, что он так долго берег при жизни и бросил здесь на произвол солнца, ветра и дождя. Я подумал, что здесь дрались и умирали взрослые люди, но к своему солдатскому добру, которое каждый таскал при себе и боялся с ним расстаться, они относились как дети.

Около снарядной воронки лежала, ощерив длинные желтоватые зубы и как бы смеясь, исклеванная вороньем палая лошадь. В воронке было черно от жирных и круглых, как гуттаперчевые пузыри, головастиков.

Было очень тихо. Только ворошились в мусоре полевые мыши. А потом за крепостными валами снова, тоскливо звеня, запела труба горниста.

Этот звук напомнил мне детское мое представление о войне, как о чем-то величественном. В этом звуке трубы была вся впитанная мною — да и не одним мною — нарядная неправда о войне, привитая с малых лет. Шум знамен, пение фанфар, стремительный топот копыт, свист пуль в прохладном воздухе, возбуждающее чувство опасности, блеск сабель, стальная щетина штыков...

Еще со времени моего мальчишеского увлечения Виктором Гюго я помнил на память его пышные стихи:

Знамена Франции, преданья нашей славы,
Свидетели иной эпохи величавой,
Былого дивный дар!
Пробитые в боях, вы реяли высоко.
Под вами пал герой без страха и упрека,
Пал доблестный Баяр...

У отца были три толстых тома «Истории искусства» Гнедича. Я любил рассматривать в них репродукции с

картин художников-баталистов Матейко, Виллевальде, Мейсонье, Гро — все эти бои при Прейсиш-Эйлау и Фэр-Шаменуазе, гусарские атаки, пики улан, круглый пушечный дым и генералов с медными подзорными трубами в руках около развернутых на барабане карт. Конечно, я знал, что война совсем не такая, как на этих картинах. Но влияние нарядности, которой украшали войну, все же застряло у меня в мозгу и держалось там довольно крепко.

Сейчас я видел не самую войну, а только ее послед, ее грязь, зловоние и мусор. Это было неожиданно. Но я смолчал и ничего не сказал Романину.

Паровоз засвистел и выпустил две струи пара по обе стороны полотна. Надо было возвращаться.

Мы молча пошли к поезду. На площадке вагона Романин искоса взглянул на меня и сказал:

— Привыкать надо, интеллигентный мальчик. Привыкать! Не то еще будет.

Я вспылил и ответил Романину грубостью — первой и последней за всю нашу фронтовую дружбу.

ДОЖДИ В ПРЕДГОРЬЯХ КАРПАТ

В тот рейс мы шли из Бреста в Кельцы, но никак не могли дойти до этого отдаленного польского города. Нас все время задерживали в пути. Больше недели мы простояли на узловой станции Скаржиско.

Удивительными были в то время многие узловые станции, построенные в месте пересечения железных дорог, вдалеке от людских поселений. Большой вокзал с буфетом, яркие калильные фонари, десятки путей, дымное депо, деревянные домики железнодорожников в кустах акации и тут же за вокзалом — пустое поле. Там прядают по ветру вороны и, куда ни кинешь взгляд, нет никакого жилья — ни хаты, ни дымка,— только скучный шлях тянется за перевал земли.

Так было и в Скаржиско, где в ста шагах от большой станции звенели жаворонки и узкое шоссе терялось среди волнистых полей.

Невдалеке от станции стояла в полях каменная громада недостроенного костела. Кто затеял строить его в этом безлюдном месте? Кому он был здесь нужен? Никто не мог на это ответить.

В пустых стенах костела носились стрижи. Каменная лестница без перил вела на хоры. На лестнице этой росла, шелестя от ветра, трава.

Прибравшись у себя в операционном вагоне, я брал книгу Рабиндраната Тагора и уходил в костел. Я читал ее, сидя на недостроенной стене над полями. Как это иногда бывает, я подменял мысли Тагора своими мыслями и был вполне доволен этим.

За мной в костел пробирались гуськом дети польских железнодорожников. За детьми увязывались собаки, и вскоре костел стал местом детских игр.

Дети были тихие, даже как будто запуганные, с очень внимательными глазами. В глубине этих глаз всегда готова была появиться доверчивая улыбка.

Я пытался говорить с детьми по-польски, но они в ответ только смущенно переглядывались,— они меня не понимали. Я говорил на том ужасном польско-русско-украинском жаргоне, какой у нас в Киеве считался польским языком.

Потом в костел начали ходить со мной Романин, Николаша Руднев и сестра Елена Петровна Свешникова. Все звали ее попросту Лелей. Это была своенравная девушка с немного тягучим голосом и всегда бледным, как бы от скрытого волнения, лицом. Мы подружились с ней еще в тыловом поезде, когда Леля во время ночного обхода заметила, что я заснул в неурочное время, начала расталкивать меня и при этом закапала мне лицо стеарином от свечки,— с ней она обходила вагоны.

Я вскочил, ослепленный ожогами. Потом Леля перевязывала меня, то плача от испуга и стыда, то тут же смеясь сквозь слезы над своей глупостью и моим жалким видом.

Однажды Леля пришла в костел, подкралась ко мне сзади, вырвала у меня из рук книгу Рабиндраната Тагора и далеко швырнула ее. Книга долго летела, шелестя страницами, и упала в траву. Я оглянулся и встретился с черными от гнева Лелиными глазами.

— Довольно,— сказала она,— накачиваться туманной философией.

Я промолчал. Леля тоже помолчала, потом спросила:

— Что это видно на горизонте? Вон там!

— Отроги Карпат.

— Вы сердитесь? — спросила она.— Тогда я найду вам эту книгу.

— Нет, не надо.

— Ну ладно! Пойдемте лучше к мосту.

Мы пошли к железнодорожному мосту через речушку с заросшими ежевикой берегами.

Мы долго стояли у моста и смотрели на отроги Карпат. Они тяжело лежали вдали, как тучи. К нам подошел часовой, тоже постоял, посмотрел.

— Как ни старайся,— сказал он наконец,— а к чужой земле нету у нашего брата привычки. И дождь тут не тот. И трава будто знакомая, да не своя.

— Разве это плохо? — спросила Леля.

— Да неплохо, сестрица,—ответил с досадой солдат.— Простор, ладно, да все как-то зябко. Будто с дневного сна.

Леля усмехнулась и промолчала. Часовой вздохнул и отошел.

— Стоять здесь не разрешается,— сказал он, отходя, неуверенным голосом.— Хоть вы и свои, а никому нельзя здесь стоять.

Из-за Лели я испытал величайшее унижение в жизни.

Однажды меня послали из Бреста в Москву за медикаментами. Врачи, сестры и санитары надавали мне множество поручений и писем. В то время все старались переправлять письма с оказией, чтобы избежать военной цензуры.

Леля дала мне свои золотые часики и просила передать их в Москве своему дяде, профессору. Золотые эти наручные часики смущали Лелю. Они были, конечно, совсем ни к чему в санитарном поезде.

Леля дала мне, кроме того, письмо к дядюшке. В нем она писала обо мне много хорошего и просила профессора приютить меня, если понадобится.

Я разыскал в Москве квартиру уважаемого профессора и позвонил. Мне долго не открывали. Потом из-за двери недовольный женский голос расспросил меня, кто я и по какому делу. Дверь открыла пожилая горничная с косоглазым лицом. За ней стояла высокая, величественная, как памятник, старая дама в белоснежной крахмальной кофточке с черным галстуком-бабочкой — жена профессора. Седые ее волосы были подняты надменным валиком и блестели так же, как и стекла ее пенсне. Она стояла, за-

гораживая дверь в столовую. Там семья профессора пила, позванивая ложечками, утренний кофе.

Я передал профессорше коробочку с часами и письмо.

— Подождите здесь,— сказала она и вышла в столовую, выразительно взглянув на горничную.

Та тотчас начала вытирать в передней пыль с полированного столика, давно уже к тому времени вытертого и нестерпимо блестевшего.

— Кто там звонил? — спросил из столовой скрипучий старческий голос.— Чего нужно?

— Представь,— ответила профессорша, шурша бумагой (очевидно, она вскрывала пакет),— Леля и на войне осталась такой же сумасбродкой, какой и была. Прислала золотые часы. С каким-то солдатом. Какая все-таки неосторожность. Вся в мать!

— Угу! — промычал профессор. Очевидно, рот у него был набит едой.— Ничего не стоило прикарманить.

— Вообще я Лелю не понимаю,— снова сказала профессорша.— Вот пишет, просит его приютить. К чему это? Где приютить? На кухне у нас спит Паша.

— Только этого не хватало,— промычал профессор.— Дай ему рубль и выпроводи его. Пора Леле знать, что я терпеть не могу посторонних людей.

— Неловко все-таки рубль,— сказала с сомнением профессорша.— Как ты думаешь, Петр Петрович?

— Ну, тогда вышли ему два рубля.

Я распахнул дверь на лестницу, вышел и захлопнул дверь так сильно, что в профессорской квартире что-то упало и разбилось с протяжным звоном. На площадке я остановился.

Тотчас дверь приоткрылась через цепочку. За горничной, придерживавшей дверь, стояла вся профессорская семья — надменная профессорша, студент с лошадиным лицом и старый профессор с измятой салфеткой, засунутой за манишку. На салфетке были пятна от яичного желтка.

— Ты чего безобразничаешь? — прокричала в щелку горничная.— А еще солдат с фронта! Защитник отечества!

— Передай своим господам,— сказал я,— что они скоты.

Тут в передней началась невнятная толкотня. Студент подскочил к двери и схватился за цепочку, но профессорша его оттащила.

— Геня, оставь! — крикнула она.— Он тебя убьет. Они привыкли всех убивать на фронте.

Тогда вперед протолкался старый профессор. Чисто вымытая его бородка тряслась от негодования. Он крикнул в щелку, приложив руки трубочкой ко рту:

— Хулиган! Я в полицию тебя отправлю!

— Эх вы! — сказал я.— Научное светило!

Профессорша оттащила почтенного старичка и захлопнула дверь.

С тех пор у меня на всю жизнь осталось недоверие к так называемым «жрецам науки», к псевдоученым, к тому племени людей, что безмерно кичатся своей ученостью, а в жизни остаются обывателями и пошляками. Есть много видов пошлости, не замечаемых нами. Даже такой безошибочный «уловитель» пошлости, как Чехов, не мог описать всех ее проявлений.

О, эти профессорские семьи с обоготворением вздорных фамильных привычек, с выпячиванием собственной порядочности, с высокомерной вежливостью, с маститыми педантами-отцами, священнодействующими над определением количества волосков у щитовидных червей, с прилизанным по синтаксису языком, с чопорными женами и их чистоплюйством, с тайным подсчетом чужих научных и служебных успехов и неудач!

И эти профессорские квартиры с вышколенной прислугой и невыносимой скукой, выверенной раз навсегда и одинаковой до смерти.

Я не рассказал Леле об этом случае.

Мы долго болтали с ней, спорили и ходили по вечерам в маленькую кофейную — кавярню, где пили кофе с домашними печеньями и смотрели, как старенькая хозяйка вышивала красными цветами скатерть из жирардовского полотна.

И опять не было ощущения войны. Если бы не часовой около моста, то могло бы показаться, что мы стоим на отдыхе в глубоком польском тылу. И совершенно не вязались с обстановкой войны девичья бледность Лели и рассуждения Тагора об очищении человеческого духа от всяческой скверны.

Тихие закаты угасали над полями и отрогами Карпат. В их тлеющей глубине каждый раз умирал еще один день, наполненный многими мыслями и радостями. У юношей и девушек, какими мы были тогда, гораздо больше разду-

мий, чем у зрелых людей, и, конечно, гораздо больше радостей, даже на войне.

Но однажды солнце ушло в свинцовую муть. Ночью забарабанил по крышам вагонов дождь.

Наутро мы ушли из Скаржиско в Кельцы. Предгорья Карпат сразу придвинулись. Из буковых лесов несло в окна вагонов сыростью. Облака цеплялись за вершины холмов, то затягивая, то вновь открывая придорожные кресты.

Внезапно во мгле лениво и веско прокатился одинокий пушечный выстрел. Мне показалось, что поезд замедлил ход. Потом прокатился второй удар, третий — и все стихло.

— Романин! — крикнул я через перегородку.— Слышите?

— Слышу,— ответил Романин.— И удивляюсь.

— Чему?

— Зайдите ко мне. Расскажу.

Я пошел в аптеку. Она мне нравилась своей чистой теснотой. Пахло сушеной малиной. Романин взвешивал порошки на маленьких весах с перламутровыми чашечками.

— Садитесь,— сказал он.— Можете курить, пес с вами! Я тоже закурю. А удивляюсь я, признаться, сам не пойму чему.

— Но все-таки?

— А, пожалуй, и понимать не стоит. Вот, поглядите. Все у меня сверкает, все на своем месте. Каждая склянка в деревянном гнезде. Уютно, правда? Я здесь сижу весь день, когда и не надо. Читаю, смотрю за окно. А то и посплю вот в этом кресле.

Он обвел глазами ряды фаянсовых склянок и вздохнул.

— И все это полетит в тартарары от первого шального снаряда. Вот мне и удивительно: чем ближе опасность, тем больше любишь эти непрочные, прямо воздушные склянки, книги, чистоту, тишину и папиросы.

— Не попадет в нас снаряд! — сказал я.— Не попадет!

За окном помчались, пересекаясь, черные запасные пути. Мы подходили к Кельцам.

В пробитые снарядами крыши станционных пакгаузов сеялся мелкий дождь.

В Кельцах пришлось ждать раненых три дня. Главный врач разрешил Леле, Романину и мне поехать в местечко Хенцины, на передовые позиции.

В Хенцинах стояла артиллерийская часть. В ней служил двоюродный брат Лели.

Мы выехали на санитарной двуколке поздним утром. Все шел, не затихая, дождь. Город был окутан кислым паровозным дымом. На окраинах, в глубоких ямах, откуда брали глину, стояла красная вода. На ней лопались рыжие пузыри.

Мы проехали мимо разрушенного обстрелом кирпичного завода. В грудах битого кирпича рылись, что-то разыскивая, женщины и дети с пустыми кошелками. Потом потянулась разъезженная фронтовая дорога. Она была похожа на мелкую реку из грязи.

По полям вдоль дороги брели, подоткнув полы мокрых шинелей, солдаты. Они тащили на шестах витки колючей проволоки.

В канаве около дороги стояла санитарная фурманка с отлетевшим колесом. Около нее толпились солдаты. Они залезали по очереди в фурманку, чтобы покурить, укрывшись от дождя.

Солдаты безропотно ждали своей очереди, чтобы влезть в фурманку, свернуть мокрыми пальцами махорочную цигарку из сырой газеты, запалить ее и с наслаждением затянуться едким табачком.

Они ждали, сгорбившись, засунув руки в рукава шинелей, и только сплевывали, поглядывая на запад. Оттуда порывами набегал сырой ветер, расхлестывал ветки лозин и подгонял тучи.

— Нашли место для перекурки,— пренебрежительно заметил наш возница, маленький чернявый солдат с поднятым воротником шинели.— Чего только этот табак делает!

— Чем плохое место? — спросил Романин.— От дождя можно укрыться.

— Да этот кусок дороги немец бесперечь простреливает,— ответил солдат.— Раз в час, а то и чаще даст два-три снаряда. Для острастки. Немец по карманным часам воюет. Аккуратно воюет, пес его раздери! А я так подгадываю, чтобы это место проскочить после обстрела.

— И что ж, успеваешь?

— Когда как,— спокойно ответил солдат.— По большинству, успеваю. Только день на день не приходится. Как пофартит.

Солдаты около фурманки вдруг зашевелились. Иные быстро присели на корточки, иные побежали к небольшой балочке около дороги. Но те, которые курили в фурманке, из нее не вылезли, а продолжали торопливо затягиваться, обжигаясь и сплевывая.

— Докурились, стрелки! — насмешливо закричал возница солдатам.— Он вам даст покурить, германец. Мать родную припомните!

Тотчас что-то блеснуло с пронзительным визгом, треснул резкий гром, и невдалеке от фурманки земля взлетела фонтаном желтых комьев и грязи.

— Но-о! — закричал возница на лошадей.— Заразы! На живодерке вам место, а не на действительной службе.

Но лошади не ускорили шаг. Второй снаряд ударил позади нас в край дороги. Впервые я услышал свистящий шорох осколков.

К нашей двуколке подбежал вольноопределяющийся, почти мальчик. Лицо его еще не успело обветриться и загореть. По всему было видно, что мальчик этот из городской интеллигентной семьи.

Он схватился за задок двуколки и прерывающимся голосом, но очень вежливо спросил:

— Скажите, пожалуйста, скоро они перестанут стрелять?

Возница от неожиданного этого вопроса даже крякнул и остановил лошадей.

— А ты их попроси, германцев,— сказал он с ледяной насмешкой.— Поклонись в ножки. Человек ты образованный. Может, они для тебя и сделают уважение. Ну ладно! Видать, это тебе впервой. Садись в фурманку. Да не лезь на сено с грязными сапожищами. Не для того я его наклал, язви тебя в душу!

Вольноопределяющийся торопливо влез в фурманку и виновато взглянул на нас. Голову он поворачивал с трудом, будто она была у него приставная. Третий снаряд ударил снова позади, дальше второго.

— Ну, теперь всё! — сказал возница.— Теперь закуривай. Теперь германец сполнил свое расписание и пошел дуть кофей.

Разбежавшиеся солдаты снова собрались возле фурманки. Но теперь они уже стояли не так безропотно. Слышна была перебранка.

— Ты что ж, конопатый черт! Вторую закуриваешь?! Чем пользуешься? Обстрелом? Вылезай! А не то так тряханем за шкирку!

— А ты не хватай, борода! Мы, брат, не таковских хватали!

— Расселись, как цацы! Германец им, видишь ли, угодил.

— Ну, ну. Вылазим. Чего зря гавкать. Пожалуйте на сухой пятачок!

Мы поехали дальше. Может быть, оттого, что только что миновала опасность, но дождь как будто стал теплее и с полей потянуло запахом сырой травы. На горизонте обозначилась светлая полоса неба.

Дорога пошла между высокими тополями. Мы въехали в предгорья Карпат. Дождь волочился по ним, как космы пакли. По каменным обочинам дороги бежали чистые ручьи дождевой воды. Щебень блестел. От мокрых гнедых лошадей подымался пар.

Вдали на взгорье в синем дыму туч и дождя показался крошечный, будто игрушечный город. Ветер донес оттуда протяжный звон колокола.

— Это и есть Хенцины,— сказал возница.— Вам куда? В прожекторную роту или к артиллеристам?

— К артиллеристам.

Фурманка остановилась около двухэтажного дома. На фронтоне его не было окон. Только узкая дверь и над ней на стене — черное распятие.

Распятый Христос преследовал нас все время, пока мы были в Польше. Иные распятия были сделаны с такой анатомической точностью, вплоть до сгустков крови, застывших на проколотом копьем худом боку Иисуса, что производили отталкивающее впечатление. Романин говорил, что ему надоели все эти покойники, висящие на перепутьях дорог, и хочется к себе, на реку Сакмару, где на сто верст — только лесистые отроги Урала, льющаяся среди них река, полная судаков, и отцовская пасека. Отец Романина — бывший земский доктор — доживал свой век на пенсии в маленькой усадьбе на берегу Сакмары.

Нас встретили офицеры-артиллеристы. Они напоили нас чаем и уступили свои походные койки. Мы вымокли.

От чая и теплоты нас бросало в вязкий сон. Я тотчас уснул.

Проснулся я ночью от рявканья пушек. Поблизости шла артиллерийская перестрелка. В соседней комнате мигала свеча и шепотом спорили за столом офицеры. Они сняли гимнастерки и в одних рубахах резались в карты.

Стекла звенели, и при каждом орудийном ударе звякал вверху под крышей церковный колокол. Лил дождь. За окнами была такая непроглядная тьма, что на нее страшно было смотреть.

Я закурил. Романин заворочался на своей койке.

— Да-а,— сказал он в пространство.— Реки крови по вине негодяев и идиотов.

— Кого? — переспросил я.

— Иди-о-тов! — раздельно повторил Романин.— Всех этих напыженных Вильгельмов и дураковатых Николаев. И хватких деляг. Одни кретины, а другие черные подлецы. Но от этого нам не легче.

— Послушайте,— тихо сказала Леля. Она, оказывается, не спала.— Оставьте эти разговоры. Иначе я разревусь...

Мы замолчали. Все так же лил дождь. Мне хотелось есть, но до утра было еще очень далеко.

Я задремал. Сквозь дремоту я видел, как Леля встала, подошла к окну, долго смотрела в темноту, где изредка что-то вспыхивало, потом вздохнула, поправила на мне сползшую шинель, села на табурет около койки и долго сидела неподвижно, будто мертвая, стиснув руки у себя на коленях.

ЗА МУТНЫМ САНОМ

Раскаленный шар солнца опускался в редкий сосновый лес за рекой Саном.

Среди пней и кустов стояли одиночные сосны — высокие и тонкие, согнувшиеся под тяжестью вершин. Багровый пламень солнца скользил по их стволам, падал на песок у подножия сосен и отражался, качаясь, в быстрой воде Сана.

За опушкой леса начиналась равнина, синеватая от вечернего тумана. С равнины тянуло горьким миндальным запахом болотных цветов.

Это была Галиция.

Наш поезд задержали на пограничном разъезде у деревянного моста через Сан. Навстречу шли эшелоны.

Я впервые переезжал через границу. На том берегу Сана была Австрия. Мне казалось, что за пограничной чертой все будет совершенно другим, не нашим,— не только люди, деревни и города, но даже небо и деревья.

Так я представлял себе заграницу еще мальчиком. Это глупое убеждение в какой-то мере сохранилось у меня до взрослого возраста.

Но пока все было так, как у нас. Тот же сухой цикорий рос по сторонам тропинок. Нога так же, как и в России, тонула в песке, и даже вода в Сане была мутная, тогда как, по моим понятиям, она должна была литься прозрачным звонким потоком.

Ночью мы прошли по мосту через Сан и вошли в Галицию. Утром мы остановились в городе Мелеце.

Я не успел его рассмотреть. Впереди, под Дембицей, шел бой, и нас тотчас отправили туда. Я только успел увидеть из окна веселые зеленые холмы, черепичные крыши, стены, заросшие хмелем, и белые, как мел, дороги, обрамленные тополями.

А потом мы услышали тяжелую неумолчную канонаду и увидели темную пыль, затянувшую на юге весь горизонт. Может быть, это была не пыль, а дым горящих деревень.

Мимо поезда на рысях уходили к северу, к переправе через Сан, беженские обозы. Шли вразброд усталые пехотные части. Земля грохотала все явственнее. В вагонах звенели стекла.

Поезд наконец остановился в широкой лощине. В кудрявых лесах по склонам лощины беспорядочно вспыхивали желтоватые облака шрапнели.

Мимо поезда скакали верховые. Оглушительно била спрятанная в соседних кустах полевая батарея. Главный врач Покровский приказал нам поднять над поездом два больших флага Красного Креста.

После этого нас продвинули немного вперед, к разрушенной железнодорожной будке. Около нее лежали на пыльной траве десятки кое-как перевязанных раненых.

Мы тотчас начали грузить раненых в вагоны. Поезд был уже полон, но раненые не убывали. Мы клали их в

проходах, в тамбурах, в «команде». Весь поезд уже стонал тягучим разноголосым стоном.

Бой, очевидно, приближался, но мы не видели этого. Я только мельком замечал то выбитое стекло в окне вагона, то слышал хлесткие удары шальных пуль по рельсам.

Один из наших санитаров был ранен в плечо. Романина сбило с ног горячим ударом воздуха.

Но это шло мимо сознания. Все были поглощены одной мыслью: «Скорее грузить раненых! Скорее!»

Потный офицер подскакал к поезду и вызвал Покровского. Погоны у офицера были покрыты таким толстым слоем пыли, что даже не было видно звездочек.

— Скорей! — закричал офицер сорванным голосом.— Убирайте к чертовой матери ваш поезд! Через четверть часа будет поздно. У вас двойная тяга! Немедленно!

Офицер тряс нагайкой, зажатой в руке, и показывал на север. Конь под офицером вертелся, как осатанелый.

— Мы еще можем брать раненых на крыши! — прокричал в ответ Покровский.

— Берите на ходу! — крикнул офицер, рванул коня и поскакал к паровозу. Поезд тотчас тронулся. Некоторые раненые успевали уцепиться за поручни, и санитары втаскивали их на площадки.

Только сейчас я заметил, что уже наступили сумерки,— яснее стал виден огонь разрывов, и пыль на горизонте окрасилась в зловещий багряный цвет.

Потом пули начали щелкать в стены вагонов, но это длилось всего несколько минут. Поезд шел с огромной скоростью. Когда наконец он сбавил ход, мы сообразили, что вырвались из «мешка».

Поезд взял несколько сот раненых, перевязанных наспех, с промокшими от крови бинтами, со сползшими повязками, почернелых от жажды. Нужно было перевязать всех заново. Нужно было отобрать тяжелых, требующих немедленной операции.

Работа началась тотчас, и с той же минуты время будто остановилось. Мы перестали его замечать. Каждые четверть часа у себя в операционном вагоне я смывал с полов, покрытых линолеумом, кровь, убирал заскорузлые повязки, потом меня звали к операционному столу, и я, плохо соображая, что делаю, держал ногу раненого, стараясь не смотреть, как Покровский пилит белую сахарную кость стальной цепкой пилкой. Внезапно нога делалась

очень тяжелой, и сквозь какую-то муть в сознании, я соображал, что операция окончена, и относил отрезанную ногу в цинковый ящик, чтобы потом похоронить ее на остановке.

Пахло кровью, валерьянкой и горящим спиртом. На спиртовках непрерывно кипятили инструменты.

С тех пор синеватое спиртовое пламя связано у меня в памяти с невыносимым страданием, покрывающим лица людей серым мертвенным пóтом.

Иные раненые кричали, иные, стиснув зубы, скрипели ими и ругались. Но один раненый своей выносливостью поразил даже невозмутимого Покровского. У раненого была разбита тазовая кость. Боль он испытывал нечеловеческую, но в операционный вагон пришел один, без санитара, хватаясь за стены. Во время перевязки он попросил только разрешения закурить «для легкости». Он ни разу не застонал, не вскрикнул, все время успокаивал Покровского и Лелю, помогавшую Покровскому вынимать осколок снаряда и делать сложную глухую повязку.

— Ничего! — говорил он.— Терпимо. Вполне даже терпимо. Вы не беспокойтесь, сестрица.

Боль выдавали только глаза. С каждой минутой они все сильнее выцветали, подергивались желтоватым налетом.

— Откуда только ты такой взялся? — сердито спросил Покровский.

— Вологодские мы,— ответил раненый.— Меня мать родила, ваше высокородие, во сыром бору. Сама и приняла. И обмыла водицей из лужи. У нас, ваше высокородие, почитай все такие. Раненый зверь, конечно, кричит. А человеку кричать не пристало.

Сейчас я не могу припомнить, сколько времени длились эти непрерывные перевязки и операции. Для особенно сложных операций поезд задерживали на станциях.

Помню только, что я то зажигал яркие электрические лампы (в вагоне был аккумулятор), то гасил их, потому что за окнами, оказывается, уже светило солнце. Но светило оно недолго, как мне казалось, всего какой-нибудь час, и я снова зажигал белые слепящие лампы.

Однажды Покровский взял меня за руку, отвел к окну и заставил выпить стакан бурой и липкой жидкости.

— Держитесь,— сказал он.— Скоро конец. Нельзя ни одного человека сменить.

И я держался, только время от времени менял окровавленный халат.

А раненые все шли и шли. Мы перестали различать их лица. Уже мерещилось, что у всех раненых одно и то же небритое, позеленевшее лицо, одни и те же белые и круглые от боли глаза, одно и то же частое беспомощное дыхание и одни и те же цепкие железные пальцы,— ими они впивались нам в руки, когда мы держали их во время перевязок. Все руки у нас были в ссадинах и кровоподтеках.

Один только раз на неизвестной станции в Польше я вышел на минуту из вагона покурить. Был вечер. Только что прошел дождь. На платформе блестели лужи. В зеленоватом небе висела, как гроздь исполинского винограда, грозовая туча, чуть подернутая розоватым цветом зари.

Около поезда стояла толпа женщин и детей. Женщины вытирали глаза уголками платков. «Почему они плачут?» — подумал я, еще ничего не соображая, и вдруг услышал тихий стон, доносившийся из вагонов.

Весь поезд стонал непрерывно, устало. Ни одно материнское сердце не могло, конечно, выдержать без слез эту невнятную просьбу о помощи, о милосердии. Ведь каждый раненый становился ребенком и недаром среди своих воспаленных ночей и томительной боли звал мать. Но матери не было. И никто ее не мог заменить, даже самые самоотверженные сестры. А у них сострадание как бы исходило даже из теплых и осторожных рук, мягко прикасавшихся к изорванным телам, к гноящимся ранам, к спутанным волосам.

Не помню на рассвете какого дня мы пришли в Люблин. Там нас ждали три пустых санитарных поезда.

Они забрали наших раненых и ушли с ними в Россию, а мы остались в Люблине. Нам дали три дня отдыха.

Я вышел на станционные пути к водокачке и долго мылся под краном под сильной пенистой струей. Я мылся долго потому, что, очевидно, дремал во время мытья. Мимолетный этот сон был полон запаха воды и марсельского мыла.

Потом я переоделся и вышел на станцию. Около вокзала стенами стояла сирень. На клумбах склонялись какие-то цветы в своих лиловых и белых ситцевых платьях.

Я сел на деревянную скамью, прислонился к спинке и, засыпая, смотрел на близкий город. Он стоял на высоком

зеленом холме, окруженный полями, умытый утренним светом.

В чистейшей синеве неба сверкало солнце. Звон серебряных колоколов долетал из города. В тот день была страстная пятница.

Я уснул. Солнечный свет бил мне в глаза, но я не чувствовал этого, мое лицо было в тени от зонтика.

Рядом со мной сел на скамейку маленький старик в крахмальном пожелтевшем воротничке, раскрыл зонтик и держал его так, чтобы защитить меня от света.

Сколько он так просидел, я не знал. Проснулся я, когда солнце стояло уже довольно высоко.

Старичок встал, приподнял котелок, сказал по-польски «пше прашам» — «извините» — и ушел.

Кто это был? Старый учитель или железнодорожный кассир? Или костельный органист? Но кто бы он ни был, я остался благодарен ему за то, что в дни войны он не забыл о простой человеческой услуге. Он появился, как добрый старенький дух из тенистых улиц Люблина. Из тех улиц, где скудно и чисто жил отставной служилый люд, где последней радостью человека осталась грядка настурций у забора и коробка из-под гильз с папиросами, набитыми крымским душистым табаком. Потому что дети уже разлетелись по свету, жена давно умерла, а все старые журналы — и «Нива» и «Тыгодник иллюстрованы» — давно перечитаны по нескольку раз. Все ушло. Осталась только молчаливая мудрость, дымок папиросы да отдаленный колокольный звон из города, одинаковый и на праздниках и на похоронах.

ВЕСНА НАД ВЕПРЖЕМ

В дни войны особенно мила тишина.

Люблин был заполнен этой тишиной. Шумная военная жизнь проходила мимо города, как проходили мимо люблинского вокзала, почти не задерживаясь, воинские поезда.

Вокзал курился махоркой, звенел манерками, гудел от топота сапог и бряканья винтовок. Но стоило подняться по широкой улице в город, как тишина и запах распустившейся сирени вплотную окружали человека. Он снимал фуражку, вытирал лоб с красной полоской, натертой твер-

дым околышем, вздыхал и говорил себе: «Да нет же, что это за горячечный бред! Никакой войны, должно быть, никогда не бывало!»

Человек подымал голову и видел, как над кровлями проносились стрижи. Легкие облака приплывали из синей дали и уплывали в такую же синюю даль, не отнимая у земли ни одного солнечного луча. Лучи эти пробивались сквозь сердцевидные листья сирени, ложились на плиты тротуаров и слабо, по-весеннему нагревали их.

В Саксонском саду духовой оркестр разучивал отрывки из опер. В устоявшейся над городом тишине звуки оркестра разносились далеко. Где-нибудь в улочке, спускавшейся к реке между оградами с узкими калитками, можно было издалека услышать знакомую мелодию:

Он далеко, жених, он в чужой стороне...

Над калитками висели железные кованые фонари. Сирень свешивалась из-за оград. И все звонили и звонили с утра до вечера серебряные колокола.

В Люблине нас застала пасха. Пасхальные дни пришли на смену сутолоки и пыли недавнего боя. Но в чисто прибранном и вымытом поезде мы все еще находили то запекшийся от крови кусочек ваты за рукояткой тормоза, то окурки, завалившиеся за полку в теплушке и изжеванные в клочья от боли.

Мы пошли к ночной пасхальной службе в бернардинский костел. Все было очень театрально: кружевные мальчики-прислужники, горы сирени около наряженного в голубую парчу деревянного младенца Иисуса, седые ксендзы, певшие в нос латинские песнопения, грозовые раскаты органа.

В глазах молящихся женщин было заметно только одно — исступленное ожидание чуда, огромная надежда, что, может быть, этот младенец или эта бледная женщина с густыми ресницами, мать этого грудного бога, сделают так, что в мире исчезнут войны, изнурительный труд и нищета и, наконец, можно будет разогнуть спину над лоханью с грязным бельем и улыбнуться солнышку, заигравшему в мыльной воде.

Религия была для них сладким самообманом. Это был мир бесплодной выдумки для усталых людей. Они не видели иного выхода и потому с такой фанатической яро-

стью верили вопреки здравому смыслу, вопреки всему опыту своей жизни, что справедливость воплощена в образе нищего из Галилеи, в образе бога. Но почему-то этот бог, придуманный людьми, чтобы разобраться в кровавой и тяжелой путанице человеческого существования, все медлил, все молчал и никак не вмешивался в течение жизни.

А ему все-таки верили, хотя бездействие этого бога длилось веками. Жажда счастья была так велика, что поэзию счастья люди старались перенести на религию, вложить в эти рыдающие органы, в дым ладана, в торжественные заклинания.

В первый день пасхи мы с Лелей и Романиным пошли далеко за город на берега Вепржа. Река несла чистую воду среди пшеничных полей. Тростники отражались черными стенами в ее глубине. Над тростниками носились маленькие чайки.

Было хорошо идти по твердой полевой дороге в незнакомой стране и не знать, куда эта дорога нас приведет.

Полевые цветы качались по сторонам. На наших глазах в глубине неба рождались снеговые кручи облаков.

И никто — ни тогда на Вепрже, ни потом на протяжении всей жизни — не мог мне объяснить, откуда берутся иногда внезапные порывы счастья, в то время когда ничего особенного не происходит.

Я был искренне счастлив тогда.

На берегу Вепржа стояла халупа с соломенной кровлей. На плетне висела рыбачья сеть. На ней сидели, выклевывая засохшие водоросли, коричневые камышовки.

Они испугались нас, с треском вспорхнули и разбудили грудного ребенка. Он спал в корзинке-колыске на завалинке около окна.

Ребенок заплакал. Из халупы вышла молодая крестьянка в подоткнутой полосатой юбке. Она увидела нас и остановилась, прижав руки к груди.

Седой пес нехотя вылез из-под разбитого корыта, подошел к завалинке и, зевая, заглянул с недоумением в колыску. Убедившись, что все в порядке, пес сел и, поглядывая на нас старыми желтыми глазами, начал яростно вычесывать блох.

— Прочь, Сивый! — тихонько прикрикнула женщина, взяла ребенка на руки, обернулась к нам, и лицо ее оза-

рилось такой сердечной улыбкой, что мы невольно улыбнулись в ответ, но ничего не могли сказать и так и стояли молча.

Женщина застенчиво предложила нам выпить молока. Мы поблагодарили ее и вошли в халупу.

Все в халупе было деревянное,— не только стены, полы, стол, лавки и кровать, но и тарелки, гребешок на окне, солонка и лампада перед иконой. На окне лежала деревянная вилка. Деревянные эти вещи усиливали впечатление бедности и чистоты.

Леля взяла ребенка, а хозяйка спустилась в подпол и принесла оттуда запотевший кувшин молока.

Она вытерла стол полотенцем, сильно склонившись при этом, и на ее золотые волосы упал отблеск солнца. Я смотрел на эти волосы, волнистые и тонкие. Хозяйка почувствовала мой взгляд и подняла на меня глаза, зеленоватые и смущенные. И по этой примете и еще по другим признакам я понял, что в этой халупе поселилось тихое счастье.

Почему-то я подумал об этом, когда взглянул на потолок. Там висела маленькая люстра с тонкими восковыми свечами. Она была сплетена из сухих цветов. Вместо подсвечников в нее были вставлены большие пунцовые головки татарника, и к этим головкам были прикреплены необожженные свечи.

— Что это? — спросил я хозяйку.— Какая прелестная вещь!

— Это забавка,— ответила, смущаясь, хозяйка.— Ее нельзя зажигать. Мой муж сплел ее, чтобы веселее было в халупе. Он корзинщик. Он плетет из лозы корзины и табуреты, а недавно сплел для паненки Яворской парасолик от солнца.

Романин не знал, что значит «парасолик», и очень удивился, когда ему объяснили, что это обыкновеный зонтик.

В это время отворилась дверь, и на пороге остановился молодой высокий крестьянин.

Кожаная белая безрукавка, вышитая зелеными нитками, была небрежно накинута на его плечи. Он был очень худ и улыбался так же застенчиво, как и хозяйка.

— Вот и Стась, мой муж,— сказала хозяйка.— Он у меня не такой, как все.

Стась молча поклонился, положил в угол связку лыка,

сел к столу и, улыбаясь, внимательно посмотрел на всех нас по очереди.

За открытым окном пели жаворонки. Было видно, как они, трепеща крыльями, подымались прямо вверх из зеленой пшеницы и исчезали в синеве.

Стась посмотрел за окно и усмехнулся.

— Наши помощники,— сказал он.— Жаворонки.

— Почему помощники? — спросила Леля.

— Они веселят людей, когда те работают,— ответил Стась, все так же ласково усмехаясь.— Я сам не видел, но говорят, что есть один жаворонок с золотым клювом. Их предводитель.

— Стась! — с упреком воскликнула хозяйка.— Кто это придумал такое!

— Люди говорят,— ответил Стась.— Может быть, жаворонки нас спасут от войны, как было при короле Янке Лютом.

— Не надо людям рассказывать байки,— предупредила хозяйка.

Стась ничего не ответил. Он только все так же снисходительно улыбнулся, постукивая пальцами по столу.

— Что ж,— сказал он, помолчав,— кто не верит — пусть не верит. А кто поверит — тому, может быть, легче будет жить на свете. Король Янко Лютый пошел войной на соседнее государство, а в том государстве жили одни только холопы, пахали землю и сеяли хлеб. Вышли они против рыцарей Янко со своими вилами, в белых сермягах. А на рыцарях были медные латы, и играли те рыцари в медные трубы, и мечи у них были наточены с обеих сторон и могли с одного удара перерубить вола. Неправедная это была война,— такая неправедная, что земля не хотела принимать людскую кровь. Стекала та кровь по полям, как по стеклу, в реки. Гибли холопы сотнями, горели их халупы, безумными от горя делались жены. И жил среди тех холопов старый горбун-музыкант. Он играл на самодельной скрипке на свадьбах. И сказал тот горбун: «Есть на свете разные птицы, даже райские, но лучше всех наш жаворонок. Потому что это крестьянская птица. Он опевает посевы, и оттого они растут богаче и гуще. Он опевает пахарей, чтобы им было легче пахать, и косарей, чтобы пересвистеть звон их кос и тем повеселить их сердце. Есть у тех жаворонков предводитель — моло-

дой, самый маленький, но с золотым клювом. Надо послать к нему за помощью. Он не даст холопам умереть черной смертью. Он спасет всех нас, братья, и ваших жен, и детей, и зеленые ваши поля». И послали холопы к тому жаворонку гонцов.

— Каких? — спросила вдруг хозяйка.

— Разных. Воробьев, ласточек и даже лысого дятла — того, что продолбил насквозь деревянный крест на костеле в Любартове. И вот,— Стась обвел всех лукавыми глазами,— прилетели в холопское господарство тысячи жаворонков, сели на крыши и говорят женщинам: «Вот вы, матери и жены, сестры и возлюбленные. Что вы дадите за то, чтобы окончилась эта война?» — «Всё отдадим! — закричали женщины.— Берите все, до последней крошечки хлеба». — «А раз так,— говорят жаворонки,— то сегодня же снесите на выгон за селом все вязальные и вышивальные нитки, какие у вас спрятаны по каморам». Женщины так и сделали. Среди почи тысячи жаворонков слетелись на выгон, схватили клубки этих ниток, понеслись с ними к войску Янки Лютого и начали тучами летать вокруг этого войска, разматывать клубки и запутывать рыцарей нитками, как паук путает муху паутиной. Сначала рыцари рвали эти нитки, но жаворонки опутывали рыцарей все крепче, пока не упали те рыцари на землю и уже не могли пошевелить ни рукой, ни ногой, только отплевывались шерстью, что набилась им в рот. Тогда холопы сняли с рыцарей латы, отобрали мечи, навалили рыцарей на телеги, отвезли на границу своей земли и сбросили там за рекой, в овраг, как мусор, что вывозят на свалку. А сам Янко Лютый наглотал столько шерсти, что посинел и задохся, на радость всем добрым людям.

Стась помолчал.

— Вот бы и нам, панове,— сказал он, посмеиваясь,— поискать того жаворонка с золотым клювом.

Мы ушли из халупы Стася к вечеру. Хозяйка пошла проводить нас до большой дороги на Люблин. Стась остался дома. Он стоял в открытых дверях халупы и смотрел нам вслед, пуская дым из трубки.

Хозяйка несла на руках ребенка и говорила, что Стась совсем не такой, как все, и что мы не должны на него обижаться.

На перекрестке мы с ней попрощались.

Солнце опускалось за Вепржем. Над умолкнувшими

рощами и полями на смену солнцу подымался, серебрясь в глубине неба, серп луны.

Женщина протянула мне руку. Не знаю почему, но я паклонился и поцеловал эту шершавую руку, пахнувшую хлебом. Женщина не отняла руки. «Спасибо! — сказала она просто и подняла на меня спокойные глаза.— Приходите к нам непременно. Я напеку вам коржей, а Стась наловит рыбы в Вепрже».

Мы пообещали прийти, но на следующий день наш поезд отправили в Седлец, а оттуда — в Варшаву, и больше я не видел ни Стася, ни молодой женщины с ребенком. Сожаление об этом долго грызло мне сердце, сам не знаю почему. Может быть, потому, что у меня, как и у многих моих современников, не было в то время в жизни даже такого простого счастья, как у этой ласковой польской крестьянки.

ВЕЛИКИЙ АФЕРИСТ

Во время одной из наших стоянок в Бресте к главному врачу поезда Покровскому пришел хромой подтянутый поручик в щегольском пенсне без оправы.

Поручик назвался Соколовским и расказал весьма обыкновенную историю: он был ранен и отпущен из госпиталя на три месяца на поправку. Но так как у него нет родных и ехать ему некуда, то он просил принять его на эти три месяца простым санитаром на поезд. Чувствовал он себя хорошо, только немного прихрамывал.

Все документы у Соколовского были в порядке.

Главный врач согласился принять Соколовского и привел его к нам в «команду».

Мы, студенты, не любили офицеров и потому насторожились. Если бы это был прапорщик, то мы бы еще с ним примирились, но поручик являлся для нас воплощением кадрового офицерства.

С первой же минуты появления Соколовского в «команде» начались чудеса.

— Плохо живете, иноки! — сказал Соколовский громовым голосом.— Паршиво моете полы. Притащите ведро кипятку и ведро холодной воды, и я вас научу, интеллигенты, как надо драконить полы. А ну, живо! Два ведра воды, и никаких разговоров!

Никто не двинулся. Все молча смотрели на Соколовского.

— Гордые? — насмешливо спросил Соколовский.— Я сам гордый. Но вам я все равно покажу чертову бабушку.

Он снял китель с Георгиевским крестом и в одной белоснежной рубашке, перетянутой небесно-голубыми подтяжками, пошел на кухню. Оттуда он вернулся с двумя ведрами воды. Покрикивая на нас, чтобы мы подбирали ноги, он стремительно вымыл полы в вагоне до такой чистоты, что мы должны были скрепя сердце признать его мастерство в этом деле.

А затем начались вещи уже совсем непонятные.

Соколовский снял со стены гитару санитара Ляхмана, взял несколько аккордов и запел заунывную грузинскую песню. Потом он спел армянскую песню, после нее — украинскую, еврейскую, польскую, финскую, латышскую и окончил этот неожиданный концерт виртуозным исполнением «Пары гнедых» с цыганским «подвывом».

Оказалось, что Соколовский свободно говорит на многих языках и знает вдоль и поперек всю Россию.

Должно быть, не было такого города, где бы он не побывал и не знал бы в нем всех более или менее выдающихся местных людей.

Эти странные качества Соколовского заставили нас насторожиться еще сильнее, особенно после того, как он безукоризненно подделал рецепт с подписью доктора Покровского и его врачебной печатью, получил по этому рецепту в брестской аптеке бутылку чистого спирта и выпил ее в течение ночи.

— Берегитесь, друзья,— сказал молчаливый санитар Греков, тоже московский студент.— Судьба подкинула нам темную личность. Следует опасаться всяческих бед. Надо бы узнать, кем он был до войны.

В тот же день Романин прямо спросил об этом Соколовского. Соколовский прищурил красивые, подернутые наглым блеском глаза. Он долго рассматривал в упор Романина и наконец ответил с тихой угрозой в голосе:

— Ах вот как! Интересуетесь, кем я был? Кантором в синагоге. Раз! Глотал в цирке горящие колбасы. Два! Служил придворным фотографом. Три! И был, кстати, владетельным князем Абхазии Михаилом Шервашидзе. До-

вольно с вас этого? Или мало? Тогда не скрою, уважаемые коллеги, что я был еще гинекологом и запевалой в цыганском хоре у «Яра». Больше вопросов нет?

Все молчали. Соколовский простодушно рассмеялся и обнял Романина за плечи:

— Эх ты, рубаха! Да я просто был коммивояжером. Отсюда все мои качества. А мог бы быть таким же студентом, как ты.

Соколовский явно издевался над нами. Он старался казаться веселым, но побледнел от злости до того, что маленький шрам у него на губе стал совершенно прозрачным.

А чудеса между тем продолжались. В какую бы игру ни садился Соколовский играть — в подкидного дурака или польский банчок, он всегда выигрывал. Вскоре он признался, что владеет всеми шулерскими приемами, и прочел нам доклад о шулерстве с историческими ссылками и показом всех передергиваний.

Соколовский снимал двумя пальцами часть карточной колоды и говорил:

— Здесь девятнадцать карт. Прошу покорнейше убедиться!

Мы пересчитывали карты. Их всегда оказывалось столько, сколько говорил Соколовский. Это было непостижимо и, как все, что выходит за пределы нашего опыта, неприятно и утомительно. От общения с Соколовским ломило голову.

Чертовщина дошла до того, что Соколовский клал на койку коробок спичек или портсигар и заставлял нас пристально смотреть на эти вещи, пока они на наших глазах не исчезали, как бы растворяясь в воздухе. А в это время Соколовский сидел, засунув руки в карманы рейтуз. И тут же Соколовский вытаскивал этот коробок спичек или портсигар из кармана у кого-нибудь из санитаров.

— Сущие пустяки! — говорил Соколовский.— Прошу не волноваться! Просто, как апельсин. Дело в том, что грубый человеческий глаз замечает только медленные движения. А есть такая быстрота, которую глаз не может заметить. Я десять лет тренировался, чтобы работать с такой быстротой. Десять лет! Это вам не то, что корпеть над гистологией или римским правом. Да-с! Вот это — водевиль! А прочее все — гиль!

На фронте в то время наступило затишье. Раненых почти не было, но было много больных, особенно эпилептиков.

В то время слово «эпилепсия» произносилось редко. Большей частью эту болезнь называли народным именем — «падучая».

Эпилептиков не разрешалось перевозить вместе с другими ранеными. Поэтому их собирали в полевых госпиталях в партии и отправляли в тыл отдельно.

Это была неприятная и долгая возня. Поэтому полевые госпитали, чтобы поскоре избавиться от эпилептиков, пускались на хитрости. Они делали эпилептикам фальшивые перевязки на руках или ногах, бывало, даже брали руки в лубки и гипс и сплавляли их на санитарные поезда под видом раненых. А в пути с такими солдатами начинались припадки, которые взвинчивали и доводили до повального психоза весь вагон.

Поэтому наши врачи во время погрузки раненых выбивались из сил, чтобы выловить среди раненых эпилептиков и вернуть их в госпитали. Удавалось это редко. У эпилептиков не было никаких внешних признаков болезни.

На помощь врачам пришел Соколовский. Он попросил у Покровского разрешения только один раз присутствовать при врачебном обходе вагонов, пока еще поезд не отошел от станции, где мы брали раненых.

Покровский посмеялся, но согласился,— его тоже занимал этот необыкновенный санитар.

И вот начался этот «исторический» обход.

Соколовский вместе с врачами входил в теплушку, быстро осматривал раненых и говорил какому-нибудь «бородачу» с перевязанной рукой:

— Эй, земляк, пойди-ка сюда!

Солдат вставал с койки и подходил.

— Ну-ка, смотри на меня! — приказывал Соколовский, и тяжелые его глаза прожигали насквозь растерявшегося солдата.— Да не отводи зенки! Все равно не поможет.

Соколовский придвигался вплотную к солдату и тихо, так, чтобы не слышали остальные раненые, очень доверительно и сочувственно спрашивал:

— Падучая?

Солдат вздрагивал и вытягивался.

— Так точно, ваше благородие,— отвечал он умоляющим шепотом.— Не моя вина...

— Тогда катись из теплушки!

Так за одну погрузку Соколовский нашел семерых эпилептиков. Их вернули в госпиталь. С тех пор госпитальное начальство опасалось «подкидывать» нам эпилептиков.

— У вас там,— говорили госпитальные,— завелся не то хиромант, не то аферист, черт его знает кто! Да как он догадывается?

Но Соколовский на расспросы врачей только вежливо улыбался.

— Ничего не могу вам ответить. Поверьте, что сам не понимаю, как это у меня получается.

Большинство санитаров и врачей относились к Соколовскому с добродушным любопытством. Их забавлял этот раздерганный, безусловно талантливый, но пустой человек. Но других, в том числе Романина, да и меня вынужденное общение с Соколовским раздражало. Неутомимое его шутовство, фанфаронство, шум, который он производил, его холодный цинизм вызывали отвращение.

Удивительнее всего было то, что в глубине глаз у этого человека, выросшего на казарменных анекдотах, иногда дрожала какая-то собачья просьба о жалости.

Откуда, из какой среды, в силу каких обстоятельств появлялись такие люди?

Никогда я не видел Соколовского печальным. С тех пор я окончательно убедился, что способность ощущать печаль — одно из свойств настоящего человека. Тот, кто лишен чувства печали, так же жалок, как и человек, не знающий, что такое радость, или потерявший ощущение смешного.

Выпадение хотя бы одного из этих свойств свидетельствует о непоправимой духовной ограниченности.

Соколовскому я не верил, хотя он однажды и сказал мне, что всю жизнь хотел делать людям добро, но для этого у него не хватало глупости.

Нездоровая обстановка на поезде, особенно в «команде», начавшаяся с появлением Соколовского, не могла длиться долго. Конец пришел неожиданно.

Однажды мы пришли в Кельцы. Вечером старший врач отпустил нескольких санитаров в город.

В Кельцах было темно и пусто.

Мы зашли в кавярню. Там горел яркий свет, пахло шоколадом, щебетали две сестры — кельнерши.

Мокрая ночь, отрезанная от нас черным стеклом окна, не казалась здесь такой неприятной, как на улице.

Мы мирно пили кофе. За дальним столиком дремал саперный поручик. Его разморило от кофейного пара, запаха ванили, сладкой кондитерской теплоты и вкрадчивого полушепота белокурых сестер.

Стеклянная дверь с улицы с треском распахнулась. В кавярню вошел Соколовский.

Он был без шинели. На нем была совершенно новая форма гусарского корнета. Серебряные аксельбанты сверкали на плече. Кавалерийская сабля волочилась за ним и брянцала по красному кирпичному полу кавярни.

Мы замолчали и с недоумением уставились на Соколовского.

Он медленно подошел к нам. Лицо его было искажено тяжелой гримасой, белки глаз покраснели.

Он остановился и в упор посмотрел на Романина.

— Я не знал, что ты лейб-гусар, Соколовский,— сказал Романин.— Садись с нами.

— Встать! — диким голосом закричал Соколовский.— Почему не отдаешь чести офицеру? Расхлыстались, мерзавцы!

— Брось валять дурака,— встревоженно сказал Романин.— Ты пьян.

— Молчать! — заревел Соколовский и выхватил из ножен саблю.— Зарублю, как щенят! Интеллигенты! Я вам покажу, кто такой Соколовский!

Он с размаху ударил саблей по нашему столику. Столик раскололся, на пол полетели чашки. Дико закричали девушки. Саперный поручик проснулся и вскочил.

Соколовский исступленно замахнулся саблей на Романина, но санитар Греков ударил его изо всей силы в спину. Соколовский упал на разбитый столик и выронил саблю.

Мы кинулись вон из кавярни и через какой-то двор выбрались на железнодорожные пути и вернулись на поезд.

Мы тотчас прошли к Покровскому и рассказали ему обо всем, что случилось в кавярне.

Покровский приказал запереть на ночь «команду» и в случае, если Соколовский явится, его не пускать, а утром сообщить о случае в кавярне коменданту.

Я пошел на ночь в операционный вагон. Мне нужно было простерилизовать бинты перед завтрашней погрузкой раненых.

Среди ночи кто-то начал возиться у дверей, пытаясь открыть их трехгранкой. Но я запер двери еще и на обык-

новенные замки. Одной трехгранкой открыть их было нельзя.

Человек долго ковырял трехгранкой, потом постучал ко мне в окно. Я подошел и всмотрелся. За окном стоял Соколовский, без фуражки, в накинутой на плечи солдатской шинели.

— Пусти переночевать,— сказал он мне.— Спрячь меня, студиоз.

— Нет! — ответил я.— Не пущу.

— Если бы у меня был наган,— сказал Соколовский и криво усмехнулся,— я бы припаял тебе сейчас хорошенькую блямбу, фрайер! Ты бы у меня отправился к своей покойной праматери. Не пустишь?

— Нет.

Соколовский придвинулся к окну.

— Когда-нибудь, бог даст, встретимся. Запомни меня получше, фрайер. Чтобы сразу меня узнать и успеть помолиться, пока я не выпущу из тебя твою хилую кровь.

— Романин! — позвал я, хотя знал, что Романина в аптеке нет.— Пойдите сюда.

Соколовский с силой плюнул в стекло, отступил и исчез в темноте. Я погасил свет, достал из ящика с лигнином спрятанный там револьвер и долго сидел, дожидаясь нападения.

Соколовский больше не появлялся. Он исчез. Но на пятый или шестой день к поезду, стоявшему тогда на станции Радом, подошел добродушный крестьянский парень, подал дневальному ящик, зашитый в парусину, и тотчас ушел.

На ящике было написано: «Сестрам милосердия военно-полевого санитарного поезда № 217».

Дневальный отнес ящик старшей сестре. Под парусиной лежала записка: «Всем сестрам — по серьгам. На добрую память от поручика Соколовского».

Ящик вскрыли. В нем в черных футлярах, оклеенных внутри лиловым бархатом, лежали бриллиантовые серьги Футляров было ровно столько, сколько на поезде было сестер.

Покровский приказал немедленно сдать серьги коменданту станции.

Через три дня мы прочли в маленькой брестской газете телеграмму о необыкновенно дерзком ограблении ювелирного магазина в городе Вильно.

В тот же день к Покровскому пришел комендант и спросил:

— У вас работал санитаром человек, именовавший себя поручиком Соколовским?

— Да, работал.

— Где он сейчас?

— Не знаю.

— Вам следовало бы этим поинтересоваться.

— Почему?

— Потому что это была крупная дичь.

— Я не охотник,— шутливо ответил Покровский.

— Напрасно! — загадочно промолвил комендант и ушел, так и не объяснив главному врачу, кто такой был Соколовский.

Сначала мы терялись в догадках, но скоро о Соколовском забыли.

Только два года спустя мне случайно удалось об этом узнать. Я работал тогда на Новороссийском заводе в Донецком бассейне, в дымной Юзовке.

В нашем цехе служил чертежником бывший эсер Гринько, бледный чахоточный человек, ходивший в мягкой шляпе и относившийся с нескрываемой иронией ко всему, что происходило вокруг.

Я снимал дешевый номер в гостинице «Великобритания». И вот в этом затхлом номере Гринько рассказал мне о том, как его судили в Екатеринославе за принадлежность к партии эсеров и приговорили к ссылке в Сибирь на пять лет.

По пути в Сибирь, в Харькове, ввели в арестантский вагон молодого человека в кандалах, в пенсне без оправы.

В вагоне было много мелких воров, так называемой «шпаны». Когда человек в кандалах вошел в вагон и сказал только одно слово «ну!», «шпана» тотчас притихла, освободила для него, несмотря на тесноту в вагоне, целое отделение и начала всячески перед ним лебезить.

Чертежник заметил, что и конвойные относились к молодому человеку в кандалах с некоторым почтением и делали ему поблажки.

Человек в кандалах пригласил чертежника к себе в отделение, сказав при этом, что он сам — интеллигент, говорит на нескольких языках и весьма любит музыку.

Чертежник рассказал человеку в кандалах о своих злоключениях. Тот внимательно выслушал его, наклонился и сказал вполголоса:

— Я вас освобожу.

— Как!

— Без шухера! Глупо переться в Сибирь, по такому идиотскому делу, как ваше. В ссылке вы через два года загнетесь.

Человек в кандалах расспросил чертежника про все обстоятельства его дела. Чертежник рассказал, хотя, конечно, не верил в то, что этот уголовный может ему помочь. Все это походило на грубое фанфаронство.

Но где-то в Пензенской губернии на какой-то узловой станции в вагон пришел жандармский офицер с телеграфным предписанием, присланным из Екатеринослава вдогонку поезду, о том, что в связи с направлением дела Гринько к доследованию упомянутый Гринько должен быть снят с поезда и отправлен в тюрьму города Наровчата, где и будет дожидаться дальнейших распоряжений.

Чертежника сняли с поезда, а молодой человек в кандалах только подмигнул ему напоследок и посоветовал быть «осторожнее на поворотах».

В Наровчате, в тамошней захолустной тюрьме, чертежник просидел недолго. Вскоре в тюрьму пришло определение екатеринославского суда о том, что дело Гринько было заочно пересмотрено и за недостатком улик Гринько оправдан.

Начальник тюрьмы поздравил Гринько и отпустил его с миром. Гринько поехал к себе в Екатеринослав, но тут же на екатеринославском вокзале был арестован и его судили за побег. Тогда только Гринько догадался, что вся сложнейшая история с освобождением была подстроена молодым человеком в кандалах.

— Это,— сказал мне чертежник,— знаменитый аферист, главарь могучей организации подделывателей и мошенников. Очевидно, в Курске он передал распоряжение обо мне через подкупленного конвойного одному из «своих». Все было сделано ловко и тонко, а я, дурак, принял все это мошенничество за чистую монету и потому попался во второй раз.

— Скажите,— спросил я,— у этого молодого человека в кандалах не было каких-нибудь особых примет?

— Был шрам на губе. Фамилия его была Соколовский. И он был хромой.

Тогда я рассказал чертежнику о загадочном санитаре Соколовском.

— Это он! — сказал чертежник.— Он просто скрывался у вас в поезде. Очень удобное для этого место.

— Почему же он служил под своей настоящей фамилией?

— Потому, что Соколовских тысячи. А кроме того, у людей такой отчаянной жизни иногда бывает желание поиграть с огнем и попытать судьбу.

На протяжении многих лет я убедился, что ни одна житейская встреча не проходит бесследно, даже встреча с таким человеком, как Соколовский.

По некоторым его намекам можно было догадаться, что еще в детстве он хлебнул много несправедливости. Озлобленный этим, он вложил весь свой талант в то, чтобы любым путем мстить за свою оплеванную жизнь.

ОКЕАНСКИЙ ПАРОХОД «ПОРТУГАЛЬ»

Лето 1915 года выдалось жаркое, засушливое. Из окон поезда были видны бурые завесы пыли над полями Польши. Армия отступала.

Все было покрыто горькой, пахнущей пожарищами пылью отступления: лица солдат, хлебные колосья в полях, орудия, лошади и наш поезд. Красные теплушки стали серыми.

Теперь мы уже нигде не стояли больше трех-четырех часов. Поезд был в непрерывном движении. Раненые всё прибывали.

Однажды мы брали раненых на правом берегу Вислы в предместье Варшавы — Праге. Бой шел в черте города на Мокотовской заставе. Низкие пожары отражались в Висле. Дым и тьма стлались над домами. Трещали за рекой залпы. Будто кто-то судорожно раздирал полотно.

Ветер дул с востока. Он заполнял Прагу свежестью ночи. Но в вагонах еще стояла дневная духота, особенно у меня, в операционной, где окна были наглухо закрыты и потому никогда не выветривался запах перевязок.

В то время мы возили раненых из Польши в Гомель. Как только поезд втягивался в Полесье, тотчас станови-

лось свежо. Сырые леса и неподвижные реки Белоруссии казались нам прохладным раем. Раненые оживали и, свесив головы с коек, смотрели на шумящую гущу осин или на зеленеющее к вечеру небо.

К половине лета поезд так износился, что было приказано срочно увести его на ремонт в Одессу, в тамошние железнодорожные мастерские.

Мы шли в Одессу через Киев — город моего детства. Я снова увидел его на рассвете с запасных путей вокзала. Солнце уже золотило пирамидальные тополя и горело в окнах высоких домов из желтого киевского кирпича.

Я вспомнил его утренние, только что политые улицы, заполненные тенью, вспомнил хозяек, несущих в кошелках теплые булки-франзоли и бутылки холодного молока. Но почему-то меня уже не тянуло в свежесть этих улиц,— Киев уходил в невозвратное прошлое.

В том, что прошлое необратимо, были смысл и целесообразность. Убедился я в этом позже, когда сделал две-три попытки вторично пережить уже пережитое. «Ничто в жизни не возвращается,— любил говорить мой отец,— кроме наших ошибок». И в том, что ничто в жизни действительно не повторялось, была одна из причин глубокой привлекательности существования.

После Киева проплыла за окнами кудрявая, перегретая солнцем Украина. Запах бархатцев, желтевших около каждой путевой будки, проникал даже в вагоны.

Потянулись степи, перерезанные золотыми полосами подсолнухов. В стеклянистой дали воздух весь день мрел и мерцал. Я уверял Романина, что этот блеск на горизонте — отражение в высоких слоях воздуха солнечного света, который падает на море и преломляется в нем.

Романин на этот раз не возражал и не смеялся надо мной. Он декламировал во весь голос у себя в аптеке:

> Так вот оно море! Горит бирюзой,
> Жемчужною пеной сверкает.
> На влажную отмель волна за волной
> Тревожно и тяжко взбегает...

Под Одессой я проснулся. Поезд стоял на полустанке. Я соскочил с площадки на полотно. Морские ракушки затрещали под ногами.

Я увидел низкий дом полустанка с красной черепичной крышей. Около белой стены росла высокая кукуруза.

Ветер шелестел ее длинными листьями. Воздух над черепичной крышей и кукурузой переливался великолепной синевой.

— Вот теперь это действительно похоже на отблеск от моря,— сказал мне из открытого окна Романин.

Пахло полынью. Тогда впервые этот горьковатый запах соединился в моем представлении с близостью Черного моря. А потом это соседство полыни и моря так укрепилось, что даже на севере, услышав запах полыни, я невольно прислушивался, надеясь различить отдаленный морской гул. Иногда я будто слышал его, но шумело, конечно, не море, а сосновый лес.

Я был счастлив тем, что через несколько часов увижу море. С детства его веселый, пенистый простор запал мне в душу.

Нас подали под разгрузку к одесским пакгаузам. Моря не было видно. Только белел вдали одесский вокзал.

Но все вокруг казалось мне наполненным морем, даже лужи мазута на путях. Они отливали морской синевой. Валявшиеся на земле старые буфера были покрыты корабельной ржавчиной. Так, по крайней мере, я думал тогда.

Нам, санитарам, отвели под жилье старый пассажирский вагон третьего класса. Мы быстро переселились в него. Маневровый паровоз начал толкать этот вагон перед собой, затолкал наконец к низкой ограде пустынного сада и там оставил на все время пребывания в Одессе.

Нам очень нравилась наша стоянка. По утрам мы умывались тут же около вагона из водонапорной колонки. Сквозная тень акаций перебегала по окнам.

За садом шумел маленький базар, а дальше начиналась одесская окраина Молдаванка — приют воров, скупщиков краденого — «маравихеров», мелких торговцев и прочих многочисленных личностей с неясными и неуловимыми занятиями.

Врачи и сестры поселились на даче вблизи Одессы, на Малом Фонтане. Мы ездили к ним почти каждый день.

В день приезда я так и не увидел моря. На второй день я встал очень рано, умылся на путях солоноватой водой и пошел на базар выпить молока и поесть.

На базаре сидели на табуретах красные от жары и крика торговки с закатанными рукавами. Весь день они переругивались, перекликались, зазывали покупателей или подымали этих же покупателей на смех. Переругивались

они нарочито визгливыми голосами, зазывали покупателей вкрадчиво, даже кокетливо, насмехались же над ними очень дружно, забывая на это время свои внутренние распри.

— Деточка! — кричали они мне.— Вот молочко топленое! Вот молочко с пенкой! Вам же мамаша ваша дорогая приказала пить молочко с пенкой!

— Семачки жареные! Семачки! — кричали другие мрачными голосами.— За копейку полный карман! За какую-нибудь затертую копейку!

Но интереснее всего было в рыбном ряду. Я долго стоял там около цинковых холодных прилавков, залепленных рыбьей чешуей и посыпанных каменной солью.

Плоские палтусы с сиреневыми костяными наростами на спине смотрели в небо помутившимися глазами. Скумбрия трепетала в мокрых корзинах, как голубая ртуть. Коричневые окуни медленно открывали рты и тихонько чмокали, как бы смакуя утреннюю базарную прохладу. Горами лежали бычки — черные «каменщики», светлые «песчаники» и кирпичного цвета «кнуты».

Около корзин с ничтожной фиринкой сидели особенно ласковые торговки. Их товар хозяйки покупали только для кошек.

— Вот для кошечки, барышня или мадам! Вот для кошечки! — кричали эти торговки льстивыми голосами.

На распряженных возах горами были навалены абрикосы и вишни. Под возами храпели в теплой пыли владельцы этих богатств — немцы-колонисты из Люстдорфа и Либенталя, а на возах сидели нанятые ими зазывалы — еврейские мальчики, ученики из хедера, и, закрыв глаза и покачиваясь, как на молитве, пели жалобными голосами:

— Ай, люди добренькие, господа дорогие! Ай, вишня! Ай, вишня, ай, сладкая абрикоса! Ай, пять копеек за фунт! Ай, пять копеек! Себе в чистый убыток! Ай, люди добренькие, покупайте! Ай, кушайте на здоровье!

Мостовая была засыпана вишневыми косточками с остатками кровавой мякоти и косточками абрикосов.

Я купил серого хлеба с изюмом и прошел в дальний край базара, в обжорку, где на толстых столах бурно кипели, отражая нестерпимое черноморское солнце, кривые самовары и жарилась на сковородах украинская колбаса.

Я сел за стол, покрытый домотканой скатертью. На ней была вышита крестиками надпись: «Раичка, не забывай за родной Овидиополь».

Посреди стола в старом синем тазу с отбитой эмалью плавали в воде пионы.

Я съел сковороду жареной колбасы, начал пить горячий сладкий чай и решил, что жизнь в Одессе прекрасна.

В это время ко мне подсел сухопарый человек в морской каскетке с треснувшим лакированным козырьком. Желтые баки торчали, как у рыси, по сторонам его серого лица.

— Скажите, молодой человек,— спросил он меня приглушенным голосом заговорщика,— вы, извиняюсь, не санитар?

— Да, санитар.

— С того поезда, что пришел вчера на ремонт?

— Да, с того поезда,— ответил я и с удивлением посмотрел на всезнающего незнакомца в каскетке.

— Тогда будем знакомы — сказал незнакомец, приподнял обеими руками над головой каскетку и снова положил ее на лысую голову.— Аристарх Липогон, бывший каботажный шкипер. Врожденный моряк.

— Чего ты подкатываешься до молодого человека! — закричала раскрасневшаяся торговка, поившая меня чаем.— Чего ты дуришь ему голову!

— Тетя Рая,— очень вежливо ответил ей врожденный моряк,— какое ваше собачье дело путаться в чужие проекты. Что вы рвете у меня изо рта кусок хлеба! Вы, видать, сытая, а я голодный, как пустая бочка. Понятно?

Тетя Рая поворчала еще немного и затихла.

— Могу предложить содействие,— сказал Липогон.— Не брезгую никакой услугой, какая спонадобится, может, вам, санитарам, а может, вашим докторам, что живут на роскошной даче Быховского на Малом Фонтане. Сполняю все быстро и дешево.

— Ну, например,— спросил я.— Что значит «все»?

— Могу загнать и купить, что вам желательно, с доставкой в вагон. Безбандерольный константинопольский табак. Это же золотые кудри, а не табак! Французский марафет в порошке. Греческую водку «мастику», мессинские апельсины исключительного аромата и смака. Или свежие консервы, бычки в томате сегодняшнего выпуска, прямо с нашей одесской фабрики. На второй день они уже не-

сколько теряют божественный вкус. Очень рекомендую! Имею в городе и порту обширные знакомства. Спросите каждого про меня, и если он порядочный человек, то вам дословно ответит: «Липогон все может. У Липогона двадцать ног, сорок рук и сто глаз».

— Только язык у тебя один, арестант! — с сердцем сказала тетя Рая.— Язык у тебя один, у голоты, а ты им чешешь за семерых.

Я сказал Липогону, что мне ничего не нужно. Вот, может быть, врачам и сестрам что-нибудь понадобится. Я их об этом спрошу.

— А я, кстати,— сказал Липогон,— наведаюсь сегодня вечерком на дачу Быховского. Рад был познакомиться, молодой человек.

Он снова приподнял двумя руками и положил на лысую голову измятую каскетку и удалился, вихляя фалдами пиджака и небрежно напевая:

Мичман молодой
С русой головой
Покидал красавицу Одессу...

— Вот,— сказала мне тетя Рая,— имеете перед собой пример, юноша, до чего доводит человека фантазия.

— Как фантазия? — удивился я.

— Жил человек хорошо,— скорбно ответила тетя Рая.— Плавал на дубке, возил кавуны с Херсона до Одессы, имел приличный костюм, свободную двадцатку в кармане и имел что кушать на каждый день. Так нет! Не мог человек примириться! Я его знаю идеально, мы с ним знакомые с малых лет, жили в Овидиополе в соседних дворах. Не мог человек существовать, как все люди. «Мне, говорит, Раичка, жмет на сердце серая скука существования. Мне, говорит, Раичка, хочется жить вроде как в романах описано,— в слезах и цветах, с музыкой и роскошной любовью. Мне, говорит, необходимо рисковать, чтобы, как пишется, или пан, или пропал!»

— Что говорить! — вздохнула соседка-торговка, раскладывая на мостовой синие баклажаны.— Вышел пан, да пропал.

— Что же он сделал? — спросил я.

— Женился,— ответила тетя Рая.— Только вы слухайте — как! Был у нас тут в Одессе вроде как румынский оркестр. Румыны не румыны, а так, всякий народ. Кто с

Кавказа, кто с Кишинева, а кто и с нашей Молдаванки. И была в том оркестре цимбалистка Тамара. Женщина, правда, красивая, видная. На ней и женился. Ему абы блеск в очи,— все эти стеклярусы, да бархаты, да цимбалы, да вальсы. «Я, говорит, сделаю ей такую жизнь, что сама Вера Холодная зайдется от зависти».

— Что говорить, сделал он ей ту жизнь! — вздохнула торговка баклажанами.

— Все-таки человек старался для той женщины,— примирительно сказала тетя Рая.— И до сей поры старается. Как женился, так начал гнать копейку из всех возможностей и невозможностей. Контрабанду взялся возить на своем дубке. Засыпался, конечно, отобрали у него патент. От тюрьмы откупился. Вылетел он на улицу, а квартирку все-таки успел ей справить. Ну не квартирка, чисто картонка от торта с розовой ленточкой! Чисто коробка с бумажными кружевцами! Вылетел он с дубка, пошел по мелким делам, по маклачеству. Сник, потерял престиж у людей. А фантазии свои не бросил. Все брешет и брешет! От Тамары нищенство свое прячет. Она женщина ленивая да еще с придурью. Ничем не интересуется. Лежит целый день на подоконнике, книжки растрепанные читает под граммофон. Поставит «Дышала ночь» или там «Вчера вас видела во сне» и читает. Распатланная. Ей все равно, была бы халва. А что человек себя знищил, сделался шантрапой, так она этого не хочет видеть. Она амурные истории читает! Тьфу и тьфу!

Тетя Рая в сердцах сплюнула.

— Заработает он арестантские роты, в этом я вам поклянусь, молодой человек!

Я вернулся к себе в вагон и совсем было собрался идти к морю, но нас послали в железнодорожные мастерские помочь рабочим соскабливать старую краску с вагонов. Мы проработали до вечера.

Потом я умылся и поехал на Малый Фонтан, на дачу. Там с обрыва я наконец увидел море. Мглистый вечер сливался с голубоватым пространством воды. Волны внизу чуть рокотали галькой. Первая звезда зажгла свой огонь под облаком, похожим на крыло серебряной птицы.

Маяки не горели. На горизонте темнела громада корабля. Это был турецкий крейсер «Меджидие», подбитый нашей береговой артиллерией и севший на камни. Его

еще не сняли. Крейсер медленно погружался в сумерки и вскоре совсем в них исчез.

Я сбежал по крутой дорожке к морю. Сухие кусты акации росли на щебенчатой земле. Крупные морские голыши сыпались из-под ног. Жесткий дрок выбрасывал во все стороны темные стрелы с желтыми, видными даже в темноте цветами. Пахло нагретым ракушечным камнем и жареной скумбрией,— сестры готовили ее около дачи на очаге.

Я спустился к морю, разделся и вошел по горло в теплую, но свежую воду. Отражения звезд плавали на воде рядом со мной, как маленькие медузы.

Я старался не шевелиться, чтобы не разбивать их на десятки качающихся осколков. Нужно было много времени, чтобы они опять слились в отражение звезды.

Всем телом я чувствовал осторожное, но мощное дыхание моря. Оно едва заметно колебалось.

Море начиналось чуть пониже моих глаз, на уровне подбородка. У меня забилось сердце от мысли, что между мной и этими морскими бесконечными далями, уходящими отсюда к Босфору, к берегам Греции и Египта, к Адриатике и Атлантике, нет ничего, что у самых моих глаз начинается великий всемирный океан.

С берега потянуло запахом маттиолы. Далеко в стороне Днестровского лимана ударил и раскатился вдоль берега пушечный выстрел. И здесь была война, в местах, как бы нарочно созданных для деятельной и счастливой жизни, созданных для моряков, садоводов, виноделов, художников, детей и любящих, для беспечального детства, плодотворной зрелости и старости, похожей на ясный сентябрь.

Сестры окликнули меня с берега. Я вышел из воды, оделся и поднялся к даче. Там на террасе с полосатым полотнищем вместо крыши стоял, сняв каскетку, Липогон и вкрадчиво беседовал с сестрами. Для начала он продал им полотняный мешочек с греческими маслинами.

В город мы возвращались вместе с Липогоном.

— Я так угадываю,— сказал мне в трамвае Липогон,— что вы большой охотник до моря.

Я согласился.

— Тогда вам не на поезде ездить, в раздолбанных теплушках, а на госпитальном морском корабле. Сейчас у нас в Одессе стоит госпитальный корабль «Португаль». Французский бывший пароход.

— Ну что ж,— ответил я осторожно,— я бы с радостью перешел на этот пароход.

-- Это можно! — небрежно бросил Липогон.— Есть шанс! У меня там младший врач знакомый. Я его ссужаю контрабандным табаком. Приходите завтра до Карантинной гавани в час дня. Я буду вас дожидаться около «Португаля». С вас я ничего не возьму. Угостите меня в ресторане — и квиты!

Он помолчал.

— Будет время,— сказал он, наклоняясь ко мне, чтобы шум трамвая не заглушал его голос,— я вам про себя расскажу. Люди плохое про меня брешут. А у меня жизнь вроде как роман с продолжением. У меня с тайной жизнь. Судьба у меня поганая, конечно. Но я, может, порядочнее всех ваших порядочных. Вот только удачи у меня совсем мало. И потому нету никакого размаха для деятельности.

Темная ночь врывалась в открытое окно неосвещенного трамвая порывистым ветром. В то время во всех портовых городах не зажигали огней.

— Была б моя воля,— сказал Липогон,— плавал бы я по всем морям. И имел бы не жизнь, а картину Айвазовского.

Назавтра я пришел в Карантинную гавань не в час дня, а в десять часов утра. У мола как бы растворялся в сухом солнечном сверкании белый океанский пароход с двумя огромными красными крестами на бортах.

На корме парохода я прочел золотую французскую надпись «Португаль — Марсель».

В белизне парохода, в легкости мачт, снастей и мостиков, в блеске меди и алмазной чистоте иллюминаторов, в свежести палуб было что-то нереальное, будто этот пароход пришел из праздничного мира, будто он был сделан из затвердевшего света.

Это был пассажирский пароход французской компании «Мессажери Маритим». Он ходил до войны из Марселя в Мадагаскар, в Сирию и Аравию, потом пришел зачем-то на Черное море. Тут его застала война с Турцией, и «Португаль» по соглашению с французским правительством был передан нам под госпитальный корабль. Его перекрасили в белый цвет.

По палубе «Португаля» ходили молоденькие сестры в серых летних платьях и моряки в белом. Я боялся, что

меня увидят раньше времени, ушел и болтался в порту до часу дня.

Ровно в час я снова подошел к «Португалю». У трапа стоял Липогон и независимо разговаривал с молодым морским врачом. У врача были черные насмешливые глаза и красная шея, чуть сдавленная белым воротничком кителя. Он быстро пожал мне руку и сказал Липогону:

— Итак, до свидания, шкипер! После этого рейса принесите мне еще табаку.

— Есть! — с наигранной бодростью воскликнул Липогон, поднес руку к козырьку каскетки и отошел.

Врач взял меня за локоть и повел к себе в каюту. Он держал меня за локоть так крепко, будто боялся, что я поскользнусь на этих зеркальных палубах, упаду и еще, упаси бог, сломаю или разобью какой-нибудь сияющий прибор или стеклянные двери.

Мне это не очень понравилось, но я смолчал и не отнял руку.

— В общем,— сказал врач у себя в каюте, наполненной солоноватой свежестью и запахом хорошего табака,— мне нужен один санитар для перевязочной. Вы студент? Превосходно! Вы захватили документы?

— Да.

— Прошу.

Я показал ему документы. Он пробежал их и вернул мне.

— Считайте, что все сделано,— сказал он.— Послезавтра приходите. Мы проведем кое-какие формальности, и вы останетесь на корабле. Возможен скорый рейс.

Я был как в тумане. Не верилось, что я буду плавать на этом океанском корабле. Детские мечты сбылись. Мне было, конечно, жаль поезда, жаль товарищей, но все побеждала жажда морских скитаний.

Врач проводил меня до трапа. Там стоял вертлявый, как мартышка, низенький старик в морской, но не русской форме. По обилию золотых нашивок на рукавах я догадался, что это высокое пароходное начальство.

— Наш капитан господин Баяр,— вполголоса предупредил меня молодой врач.

Он поклонился капитану и сказал ему по-французски:

— Вот, господин капитан, наш новенький санитар. Студент из Москвы.

Я тоже поклонился.

— Это непостижимо, мой бог! — воскликнул по-французски господин Баяр и вскинул обе руки к небу.— Бакалавры, вместо того чтобы учиться, кормят с ложечки русских мужиков манной кашей. Никто не делает своего дела в этой непонятной стране. Никто!

Капитан схватил меня за плечо цепкой коричневой лапкой, повернул к себе и посмотрел в глаза.

— О-о-о! — сказал он.— Да, да! Каждый пережил это! Я вас понимаю. Мечты, мечты! Нет! — вдруг крикнул он.— Море — вот оно где, мой друг!

Он снял кепи с золотым шитьем и показал на седую, стриженную ежиком голову.

— Здесь все волшебные ночи под экватором! Все бенгальские закаты! Запах корицы и вся прочая чепуха. Здесь! У вас болезнь, молодой человек, но я не знаю от нее никаких лекарств. Поэтому рад видеть вас у себя на борту.

Он быстро повернулся и побежал по палубе к капитанскому мостику.

Врач смотрел ему вслед с насмешливой, но учтивой улыбкой.

— Вот такой у нас капитан,— сказал он.— Великолепный гасконец. Итак, до послезавтра.

На следующий день я угощал Липогона обедом в ресторане «Дарданеллы» на Степовой улице.

Собственно говоря, это был не ресторан, а гудевшая от мух харчевня.

Со мной пришли Романин и Николашка Руднев. Оба они были обескуражены моим уходом с поезда и, как это ни казалось странным, совершенно мне не завидовали. Наоборот, они как будто не одобряли мой поступок.

Обед в «Дарданеллах» окончился скандалом. Нам подали рагу из баранины. Мы съели его, но тотчас после этого Липогон подозвал ленивого официанта и сказал ему:

— Позови до нас хозяина.

— Это зачем?

— Не твое дело спрашивать.

Из задней комнаты неохотно вышел заспанный хозяин — тучный человек с зеленоватым лицом.

— В чем дело? — спросил он сиплым голосом.— Если что не нравится, так у меня не ресторан при «Лондонской гостинице». Можете катиться туда, когда вы такие нежные.

— А в том дело,— зловеще ответил Липогон,— что вы, господин Каменюк, подсовываете клиентам тухлую баранину. И тем самым можете отправить их в райские кущи.

— Вы думаете? — иронически спросил господин Каменюк.— Ай-ай-ай! Так-таки и тухлая? У меня баранина — первый сорт.

— А я вам говорю — тухлая!

— Так зачем же вы ее скушали? — с прежней иронией, не предвещавшей ничего хорошего, спросил Каменюк.— Вы же ее скушали до косточки. Да еще и тарелку обчистили корочкой. Не дурите мне голову. Я не цуцык!

— Ах так! Ах, не тухлая у вас баранина? — с каким-то восторгом в голосе воскликнул Липогон.— Тогда покорнейше попрошу вас подать нам еще четыре порции этого прелестного рагу.

Эти слова Каменюку заметно не понравились.

— Вышла уже вся баранина,— сказал он, бледнея.— Нету! Понятно? И ничего я вам больше не подам.

— Придется мне,— с грустью сказал Липогон,— сходить за приставом господином Скульским и дать этому делу законное течение. Так что в случае неприятностей вы на меня не обижайтесь, господин Каменюк.

Каменюк изо всей силы хлопнул по нашему столику ладонью.

— Последнее слово, уходите без скандала. Не нужно мне ваших денег!

Он повернулся к Липогону:

— Чтоб ты подавился теми деньгами, зараза!

Мы так опешили от неожиданного хода событий, что не успели вмешаться. Я все-таки достал деньги и положил их на столик, но я не уверен, что все они попали в карман к господину Каменюку. Потому что господин Каменюк гневно швырнул их в сторону Липогона, а тот подобрал их и с великолепным пренебрежением швырнул обратно господину Каменюку. Но количество бумажек, как я успел заметить, было уже меньшим, чем во время первого броска.

— Зачем вы устроили эту дурацкую историю? — спросил я Липогона, совершенно взбешенный, когда мы вышли на улицу.

— А затем,— ответил Липогон,— что вы студенты. У вас ветер в карманах. А Каменюк жиреет на тухлятине.

— Так баранина была же не тухлая!

— Сегодня нет, а завтра да,— невозмутимо ответил Липогон.— Видали, как он закрутился, когда я стребовал вторую порцию. Потому он, собака, думает,— может, и взаправду она тухлая, эта баранина. Тогда есть вещественное доказательство для полиции. Так лучше от нас отделаться, чем рисковать.

Мы долго обсуждали это событие у себя в вагоне. Вечером поехали на дачу,— мне надо было попрощаться с врачами и сестрами.

На даче все были поражены моим поступком. Иные завидовали мне, иные недоумевали. Только Леля молчала, прикусив губу, и ни разу не взглянула на меня.

Мы сидели на темной террасе. Внизу, засыпая, шумел прибой.

Леля больно сжала мне руку и сказала:

— Пойдемте!

Мы вышли в темный сад и начали спускаться к морю. Леля молчала, но крепко держала меня за руку,— так ведут провинившегося мальчишку, чтобы его наказать.

Внизу, у самого моря, Леля наконец остановилась. Она тяжело дышала.

— Фантазер! — сказала она.— Авантюрист! Мальчишка! Завтра же вы пойдете на этот лощеный дурацкий пароход и откажетесь. Слышите?

— Почему?

— Как почему? Боже мой! Да неужели вы сами не понимаете! Потому что это не по-товарищески. Потому что это черт знает что! Конечно, гораздо приятнее бить баклуши в этом госпитальном плавучем салоне с кисейными занавесками и раздушенными куклами-сестрами, чем работать в грязи, в крови и разбитых теплушках. Даже Романину, Рудневу и всем вашим товарищам неловко за вас. Будто вы не заметили! Никто, конечно, этого вам не скажет. А я говорю. Потому что для меня это не все равно... Потому что я хочу думать о вас хорошо... И вообще, не спрашивайте меня о том, что вы сами знаете.

— Да я ничего и не спрашиваю.

— И прекрасно! Ну что же? Я жду.

Целая буря поднялась у меня в душе. В чем-то Леля была права, конечно. Но как я мог потерять эту сказочную возможность плаванья, потерять то, чего я ждал так давно, с малых лет своей жизни?

— Нет,— сказал я.— Я не могу отказаться от этого.

И все это совсем не так, как вы думаете. Не надо говорить со зла.

— Ну тогда прощайте! — глухо сказала Леля, повернулась и пошла в темноту вдоль белой кромки прибоя.

Я окликнул ее. Она не ответила. Я пошел следом за ней. Она остановилась и сказала холодным и злым голосом:

— Не ходите за мной. Это глупо! И противно. Прощайте. Кланяйтесь вашему новому приятелю, этому... как его... Липогону.

Она засмеялась. Я ждал. Я слышал, как она пошла дальше, потом остановилась, бросила в море несколько камешков, потом, явно издеваясь надо мной, запела:

Я грущу... Если можешь понять
Мою душу доверчиво-нежную,
Приходи ты ко мне попенять
На судьбу мою странно-мятежную...

Я повернулся, поднялся на берег и, не заходя на дачу, пошел пешком в Одессу.

Была очень темная ночь. Ветер шумел в садах. Два раза меня останавливал патруль и проверял документы.

Я вспоминал час за часом все, что случилось, и вдруг со страхом сообразил, что я ведь сам не знаю, хорошо или плохо то, что я делаю. Я сам не знаю этого!

«Что это? — спрашивал я себя.— Духовная нищета? Или болезнь? Или просто нежелание задуматься над собой и своей жизнью? Или трусость?»

То мне казалось, что Леля совершенно права. То, наоборот, я думал, что все, о чем она говорила,— ханжество и притворство. Но почему же тогда Романин и Руднев не смотрят мне в глаза? Что их тяготит? Неужели они решили, что я пустельга? Почему? И кто это выдумал, будто работа на госпитальном корабле — увеселительная прогулка. Нет, я ни за что не откажусь, не сдамся. К черту!

Я заблудился, конечно, и пришел в свой вагон, когда все уже спали. Я был рад этому.

А дальше произошло следующее. Наутро я спустился в Карантинную гавань, но на том месте, где стоял вчера «Португаль», была причалена железная баржа с каменным углем.

Человек, сидевший на борту баржи и чистивший тарань, сказал мне, что «Португаль» снялся ночью и ушел в Трапезунд.

— Как же так? — спросил я растерянно.— Он должен был уйти через несколько дней.

— Бывает,— равнодушно ответил человек с таранью.— Вызвали депешей. Срочно. Дело, приятель, военное. Да он сюда воротится. Ты не беспокойся.

Мне стыдно было возвращаться к себе в вагон, к своим старым товарищам. Но вернуться пришлось.

— Что же вы теперь будете делать? — небрежно спросил меня Романин.

— Ждать, когда «Португаль» вернется.

— Ну что ж, ждите. Дело, конечно, ваше.

С утра я уехал на трамвае в Люстдорф. Мне неприятно было оставаться в вагоне.

В Люстдорфе — скучной немецкой колонии — я провел весь день на берегу моря. Я ничего не ел. Только к вечеру я купил себе десяток абрикосов.

Я решил вернуться в Одессу последним трамваем, но трамвай не пришел. Тогда я пошел пешком. До города было около двадцати километров.

Снова была ночь и ветер. Снова всю дорогу шумели сады и в лицо били семена акаций, вылетавшие из лопнувших стручков.

Мне казалось, что я один во всем мире. Я бы много дал, чтобы сейчас увидеть маму, чтобы она потрепала меня по волосам и сказала: «Ах, какой же ты все-таки неисправимый, Костик!»

Я сел отдохнуть около чугунных кованых ворот какой-то дачи. В каменной ограде была сделана глубокая ниша для статуи, но статуи в ней не было. Я забрался в пустую нишу, сел, обхватив колени руками, и просидел так очень долго. Потом я уснул.

Проснулся я, должно быть, оттого, что около ниши стоял гимназист с велосипедом и с восхищением смотрел на меня.

— С добрым утром! — сказал он.— Вы были похожи на статую Мефистофеля работы скульптора Антокольского.

— Нет такой статуи! — сердито ответил я, хотя хорошо знал, что такая статуя существует, соскочил на землю и пошел к городу.

Дорога шла между каменными оградами. Я вглядывался в эти ограды,— они показались мне знакомыми.

Что это? Неужели Малый Фонтан? Вдали уже был виден железный фонарь над калиткой дачи, где жили врачи

и сестры. Я совсем позабыл, что дорога в Люстдорф проходила невдалеке от Малого Фонтана.

Я остановился около калитки, открыл ее и заглянул в сад. Он уходил вниз к белому и тихому морю.

Утро было пасмурное, без ветра. Несколько капель дождя упало мне на лицо и на серую от высохшей соли морскую гальку на дорожке. На гальке появились темные влажные пятна. Тут же на глазах они высохли.

«Должно быть, все еще спят»,— подумал я. Мне хотелось увидеть Лелю. Опять, как недавно ночью, ко мне вернулось сознание одиночества.

Знают ли здесь, что я не уехал, что «Португаль» ушел без меня? Должно быть, нет. Вчера никто из санитаров не собирался ехать на дачу.

Я осторожно вошел в сад. За высокими подстриженными кустами буксуса стояла знакомая зеленая скамейка. Я сел на нее. Ни с террасы, ни из сада меня не было видно. Я успокаивал себя тем, что немного отдохну и незаметно уйду отсюда.

Снова упало несколько капель дождя. Запищали над морем чайки.

Я поднял голову. Кто-то быстро шел от дачи к калитке. Я заглянул в просвет между ветками буксуса и увидел Лелю.

Она была без шляпы, в дождевом плаще, и лицо ее было таким бледным, каким я его еще никогда не видел. Она шла быстро, почти бежала.

Я встал со скамейки, раздвинул ветки буксуса и вышел к ней навстречу.

Леля увидела меня, вскрикнула, упала на колени и, опираясь на одну руку, начала опускаться на крупный серый гравий. Глаза ее были закрыты.

Я подбежал к ней, схватил за плечи, но не мог поднять ее. Она тихо застонала, потом сказала шепотом:

— Господи! Он жив! Господи!

— Я опоздал на «Португаль»,— бессмысленно сказал я, не зная, чем успокоить Лелю.

— Помогите же мне,— сказала она и подняла заплаканное лицо.— Дайте руку.

Она с трудом встала.

— Да неужели вы ничего не знаете?

— Нет,— ответил я, совершенно растерянный.

— Пойдемте отсюда. Куда-нибудь.

Мы ушли в соседний заброшенный сад, где никто не жил. Там Леля в изнеможении опустилась на скамью.

— Боже мой,— сказала она и посмотрела на меня полными слез глазами.— Глупый вы, глупый! Вот — читайте!

Она вынула из кармана плаща маленький серый листок. Это был экстренный выпуск газеты «Одесские новости». Я развернул его и увидел черный заголовок:

«Новое чудовищное злодеяние немцев. Госпитальный пароход «Португаль» потоплен торпедой с германской подводной лодки на траверзе Севастополя. Из всей команды и персонала не спасся ни один человек».

Я отбросил газету и обнял за плечи Лелю. Она плакала сейчас, как маленькая девочка,— не стыдясь, не сдерживаясь, обильными слезами облегчения.

— Господи! — говорила она сквозь слезы.— Что это, я так плачу! Какая ерунда! Не подумайте, пожалуйста, что я так уж вас полюбила. Просто я испугалась.

— Да я ничего и не думаю,— ответил я и пригладил ее влажные волосы.

— Правда? — спросила Леля, подняла на меня глаза и улыбнулась.— Дайте мне, пожалуйста, сумочку. Там у меня платок. А я бежала в город узнать... может быть, не все погибли.

ПО РАЗБИТЫМ ДОРОГАМ

Еще за месяц до рейса в Одессу мы с Романиным послали в Москву просьбу перевести нас с поезда в полевой санитарный отряд. Нам хотелось быть ближе к войне.

У Романина были для этого еще и свои основания. Он рассказал мне по секрету, что пишет очерки о войне для радикальной вятской газеты, поезд же дает ему мало материала для очерков.

Он показал мне несколько напечатанных очерков. Они понравились мне точностью и простотой языка.

Романин уговаривал меня написать для этой же газеты два-три очерка. Я написал только один. Это был мой первый очерк. Он назывался «Синие шинели» и был напечатан. В нем я писал о том, как был взят в плен весь многотысячный гарнизон австрийской крепости Перемышль. Мы видели этих пленных в Бресте.

В этом очерке я не мог написать об одном странном случае, поразившем не только меня, но и всех санитаров.

Пленных вели через Брест. Тяжело волоча на ногах разбитые бутсы, шли по улицам Бреста тысячи австрийских солдат и офицеров — медленный поток синих тусклых шинелей.

Иногда поток останавливался, и небритые люди понуро ждали, глядя в землю. Потом они снова шагали, сгорбившись под тяжестью неизвестной судьбы.

Вдруг санитар Гуго Ляхман схватил меня за руку.

— Смотрите! — крикнул он.— Вон там! Австрийский солдат! Смотрите!

Я взглянул и почувствовал, как озноб прошел по телу. Навстречу мне шел усталым, неровным шагом я сам, но только я был в форме австрийского солдата. Я много слышал о двойниках, но еще ни разу не сталкивался с ними.

Навстречу мне шел мой двойник. У него все до мелочей было мое, даже родинка на правом виске.

— Чертовщина! — сказал Романин.— Да это прямо страшно.

И тут произошло совсем уже странное обстоятельство. Конвоир взглянул на меня, потом посмотрел на австрийца, бросился к нему, дернул за рукав и показал ему на меня.

Австриец взглянул, как будто споткнулся и остановился. И сразу остановилась вся толпа пленных.

Мы смотрели в упор друг другу в глаза, должно быть, недолго, но мне показалось, что прошел целый час. Взволнованный говор прошел по рядам пленных.

В темных глазах австрийца я увидел удивление. Потом оно сменилось мгновенным страхом. Он быстро пересилил его и вдруг улыбнулся мне застенчиво и печально и приветственно помахал поднятой бледной рукой.

— Марш! — прокричал наконец конвоир.

Синие шинели колыхнулись и двинулись дальше. Австриец несколько раз оборачивался и махал мне рукой. Я отвечал ему. Так мы встретились и разошлись, чтобы никогда больше не увидеть друг друга.

В поезде было много разговоров об этом случае. Все сошлись на том, что этот австрийский солдат был, конечно, украинец. А так как я отчасти был тоже украинцем, то наше поразительное сходство уже не казалось непонятным.

Да, но я сильно отвлекся. Тогда в Одессе, через несколько дней после гибели «Португаля», мы с Романиным получили телеграмму из Москвы о том, что оба мы переводимся в один и тот же полевой санитарный отряд и нам надлежит немедленно выехать в Москву, а оттуда — в расположение отряда.

После недавней передряги с «Португалем» я с радостью остался на поезде, и теперь это новое назначение совсем не осчастливило меня. Но отступать было нельзя. Меня утешало лишь то, что я буду работать вместе с Романиным.

Нас провожали на вокзале в Одессе очень шумно. Кто-то решил пошутить и нанял с помощью Липогона маленький еврейский оркестр. Старые, видавшие виды евреи в пыльных пальто невозмутимо наигрывали на перроне матчиш и кекуок, а после третьего звонка заиграли марш «Тоска по родине».

Сотни пассажиров, так же как и сотни провожающих, шумно выражали свой восторг этими пышными проводами.

Напоследок Леля крепко обняла меня, поцеловала, взяла с меня слово писать и шепнула мне, что она тоже хочет перевестись в полевой отряд или госпиталь и мы, наверное, встретимся где-нибудь в Польше.

Поезд тронулся. Липогон высоко приподнял над головой каскетку и держал ее так, пока поезд не скрылся за поворотом. Скрипки безутешно рыдали, выпевая знакомый мотив.

Я высунулся из окна и долго видел белую косынку Лели, она махала ею вслед поезду.

И как всегда, когда у меня кончалась одна полоса жизни и подходила другая, в сердце начала забираться тоска. Тоска и сожаление о пережитом, о покинутых людях.

Я лег на верхнюю полку и, глядя на потолок, вспоминал день за днем весь этот тревожный и длинный год.

Одно только я знал твердо, что следует жить именно так, как я прожил этот год,— в смене мест и людей. Следует жить именно так, если ты хочешь отдать свою жизнь писательству.

В Москве было все то же — квартира с прочно въевшимся в стены кухонным чадом, вечно о чем-то беспокоящаяся Галя и молчаливая мама со сжатыми губами.

В Москве мне выдали форму, шинель с какими-то

странными — серебряными с одной звездочкой — погонами, и я пошел представляться уполномоченному по полевым санитарным отрядам Чемоданову.

Романин уехал раньше и оставил мне записку. В ней он писал, что Чемоданов — милый человек, знаток музыки, автор многих статей по музыкальным вопросам. Я вспомнил слова капитана Баяра о том, что никто не занимается своим прямым делом в этой непонятной стране. Я подумал, что у этого капитана было довольно странное представление о прямом деле. Сейчас, во время войны, прямым делом каждого была защита России. Это я знал твердо.

Чемоданов — высокий, черноволосый и изысканно вежливый человек во френче — встретил меня мягко, но с некоторым оттенком недоверия.

— Боюсь,— сказал он,— что вам будет трудно в отряде.

— Почему?

— Вы застенчивый человек. А в данной ситуации это недостаток.

Я ничего не мог ему возразить.

Отряд стоял где-то под Люблином. Точно узнать о расположении отряда я мог только в Бресте. Я выехал в Брест.

Я ехал в мягком вагоне, переполненном офицерами. Меня очень стесняла моя форма, погоны с одной звездочкой и шашка с блестящим эфесом.

Прокуренный капитан, мой сосед по купе, заметил это, расспросил, кто я и что я, и дал дельный совет.

— Сынок,— сказал он,— почаще козыряйте и говорите только два слова: «разрешите» по отношению к старшим и «пожалуйста» по отношению к младшим. Это спасет вас от всяких казусов.

Но он оказался неправ, этот ворчливый капитан. На следующий день я пошел пообедать в вагон-ресторан.

Все столики были заняты. Я заметил свободное место только за столиком, где сидел толстый седоусый генерал. Я подошел, слегка поклонился и сказал:

— Разрешите?

Генерал пережевывал ростбиф. Он что-то промычал в ответ. Рот у него был набит мясом, и потому я не мог разобрать, что он сказал. Мне послышалось, что он сказал «пожалуйста».

Я сел. Генерал, дожевав ростбиф, долго смотрел на меня круглыми яростными глазами. Потом он спросил:

— Что это на вас за одеяние, молодой человек? Что за форма?

— Такую выдали, ваше превосходительство,— ответил я.

— Кто выдал? — страшным голосом прокричал генерал.

В вагоне сразу стало тихо.

— Союз городов, ваше превосходительство.

— Мать пресвятая богородица! — прогремел генерал.— Я имею честь состоять при ставке главнокомандующего, но ничего подобного не подозревал. Анархия в русской армии! Анархия, развал и разврат!

Он встал и, шумно фыркая, вышел из вагона. Только тогда я заметил его аксельбанты и императорские вензеля на погонах.

Сразу же ко мне обернулись десятки смеющихся офицерских лиц.

— Ну и подвезло вам! — сказал из-за соседнего столика высокий ротмистр.— Вы знаете, кто это был?

— Нет.

— Генерал Янушкевич, состоящий при главнокомандующем великом князе Николае Николаевиче. Его правая рука. Советую вам идти в вагон и не высовывать носа до самого Бреста. Второй раз это может вам не пройти.

МАЛЕНЬКИЙ РЫЦАРЬ

В Бресте я разыскал так называемую «Базу санитарных отрядов» — маленький дом, увитый диким виноградом.

На базе было пусто. Там томилась одинокая старушка сестра, дожидавшаяся начальника отрядов Гронского.

Оказалось, что мне тоже нужно ждать Гронского,— только он один знает, где сейчас стоит мой отряд.

Сестра была полька, говорила с акцентом и все вздыхала:

— Это такой ветрогон, пан Гронский. Прилетит, нашумит, расцелует рончки и улетит. Не успеешь и пикнуть. Ох, матка боска! Я здесь зачахну без пользы из-за этого вертопраха.

Я уже слышал о Гронском от Чемоданова. Гронский — актер «Комедии польской» из Варшавы — был человек галантный и отважный, со многими достоинствами, но в высшей степени легкомысленный. Звали его за все эти качества и за низенький рост «Маленьким рыцарем».

— Сами увидите,— сказал мне Чемоданов.— Он как будто выскочил из исторических романов Сенкевича.

Я умылся с дороги, напился кофе со старушкой сестрой панной Ядвигой и лег на походную койку. Спать не хотелось. Я нашел на подоконнике растрепанную книгу Сарсэ «Осада Парижа» и начал ее читать. За окном ветер качал листья винограда.

Неожиданно около дома, оглушительно стреляя мотором, с ходу остановилась машина, кто-то промчался, звеня шпорами, по лестнице, дверь распахнулась, и я увидел маленького военного с ликующими серыми глазами, огромным носом, как у Сирано де Бержерака, и пушистыми русыми усами.

— Дитя мое! — крикнул он высоким голосом и бросился к моей походной койке.

Я едва успел вскочить.

— Дитя мое! Я бесконечно рад! Мы вас ждем как манну небесную. Романин совсем стосковался.

Он крепко обнял меня и троекратно поцеловал. От усов Гронского разлетался тончайший запах фиалок.

— Погодите! — крикнул он мне, бросился к окну, высунулся и крикнул вниз: — Панна Ядвига! День добрый! Хорошие новости. Я подобрал наконец для вас самый подходящий отряд. Сплошь из заик и тихонь. Что?! Я вас обманываю?

Гронский поднял руку к небу:

— Как перед паном богом и его единственным пресветлейшим сыном Иисусом! Завтра утром я домчу вас туда на этом колченогом форде! Мы поедем втроем.

Он оторвался от окна и закричал:

— Артеменко! Сюда!

В комнату вскочил, гремя сапогами, санитар, служитель при базе.

— Дай мне посмотреть на твое честное открытое лицо,— сказал Гронский.

Артеменко стыдливо отвел глаза.

— Где пять банок сгущенного молока? Те, что стояли под койкой?

— Не могу знать! — прокричал Артеменко.

— Сукин ты сын! — сказал Гронский.— Чтобы это было в последний раз. Иначе — суд, дисциплинарный батальон, рыдающая жена и навек несчастные дети. Марш с моих глаз!

Артеменко рванулся к двери.

— Постой! — заорал во весь голос Гронский.— Принеси мне из машины ящик. Да не разбей, маруда!

Артеменко выскочил из комнаты.

— Дитя мое, сын мой! — сказал Гронский, взял меня за плечи, встряхнул и проникновенно посмотрел в глаза.— Если бы вы знали, как мне жаль каждого юношу, который попадает в этот сумасшедший дом, в этот бедлам, этот кабак во время пожара, в эту вошебойку, в эту чертову мясорубку, в эту свистопляску, что зовется войной. Надейтесь на меня. Я вас не дам в обиду.

Артеменко втащил в комнату фанерный ящик. Гронский ударил с размаху снизу по крышке ящика носком лакированного сапога. Крышка отлетела, но отлетела и подметка на сапоге.

— Покорнейше прошу! — учтиво, но печально сказал Гронский и показал на ящик. Там под пергаментной бумагой были тесно уложены плитки шоколада.

Гронский сел на койку, стащил сапог и долго, нахмурившись, рассматривал оторванную подметку.

— Удивительно! — сказал он с невыразимой грустью и покачал головой.— И сакраментально! Третий раз за неделю отрываю подметку. Артеменко! Где ты там прячешься?

— Есть! — крикнул Артеменко, стоявший тут же рядом.

— Тащи сапог к этому конопатому жулику, к этому сапожному мастеру Якову Куру. Чтобы через час все было готово. Иначе я приду в одном сапоге и буду рубать его гнилую халупу шашкой. А он будет у меня танцевать и бить в бубен.

Артеменко схватил сапог и выскочил из комнаты.

— Ну как? — спросил Гронский.— Вам еще не прогрызла голову эта старая индюшка, эта панна Ядвига, чтобы бог дал ей сто пинков в зад! Куда я ее дену, если она закатывает глаза и квохчет в обмороке от каждого крепкого слова. Тоже прислали мне цацу! Давайте выпьем чаю с коньяком. А? А вечером пойдем в офицерское

собрание. Там будет концерт. Завтра на рассвете мы выедем. Если, конечно, ясновельможный пан Звонковой, мой шофер, починит мотор.

— А что с ним?

— Прострелили. У Любартова, на железнодорожном переезде. И откуда только взялась эта пуля! А-а-а! Вы читаете Сарсэ? Замечательная книга. Но я предпочитаю «Западню» Золя. Я предпочитаю писателей-аналитиков. Например, Бальзака. Но я люблю и поэзию.

Гронский вытащил из кармана френча маленький томик, потряс им в воздухе и воскликнул с неподдельным пафосом:

— «Евгений Онегин»! Я не расстаюсь с ним! Никогда! Пусть рушатся миры, но эти строфы будут жить в своей бессмертной славе!

У меня от папа Гронского уже кружилась голова. Он внимательно посмотрел мне в лицо и заволновался.

— Сын мой! Ложитесь и поспите до концерта. Я вас разбужу.

Я охотно лег. Гронский умчался вниз. Я слышал, как он умывался над тазом, фыркая и насвистывая «Марсельезу». Потом он сказал кому-то, очевидно Артеменко:

— Ты знаешь, что такое «кузькина мать»? Нет! Могу тебе показать в натуре. Очень интересно.

Панна Ядвига охнула и вспомнила «матку боску», а Гронский сказал:

— Хоть я червяк в сравненье с ним, в сравненье с ним, с лицом таким, но морда у этого адъютанта будет битая. Я дойду до расстрела. Решено и подписано!

Тут я уснул.

Проснулся я от звука, будто в комнате лопнул туго натянутый канат. Стояли уже поздние сумерки, и высокое темно-зеленое небо простиралось за открытым окном.

Я лежал и прислушивался. Громко молилась панна Ядвига, потом опять звонко лопнула перетянутая струна. В небе вспыхнул красноватый блеск, и я услышал спокойный рокот моторов, долетавший из вечерней глубины.

— Вставайте! — крикнул мне Гронский.— Цеппелин над Брестом!

Я вскочил и вышел на балкон. Там уже стояли, глядя в небо, Гронский и Артеменко.

— Вот он! — показал мне Гронский.— Не видите? На ладонь левее Большой Медведицы.

Я всмотрелся и увидел темную длинную тень, легко и быстро скользившую по небу. Вблизи беспорядочно трещали винтовочные выстрелы. Желтым пламенем лопнула над нашим домом шрапнель.

— Недурно! — сказал Гронский.— Если так пойдет дальше, то свои же просверлят нам головы. Немец бросил две бомбы и уходит. Спектакль окончен. Пойдемте. Чай, кстати, готов.

После чая мы пошли с Гронским в офицерское собрание. Это был длинный деревянный сарай. Окна его выходили в сад. Из сада лился свежий воздух.

Мне смертельно хотелось спать. Сквозь дремоту я слышал рокочущий бас:

> В двенадцать часов по ночам
> Из гроба встает барабанщик...

Я открыл глаза. Пел высокий бритый офицер с прямым пробором.

— Это известный певец,— сказал мне Гронский и назвал фамилию, но я опять уснул и не расслышал ее. Так я проспал весь концерт.

Наутро мы выехали. Ясновельможный пан Звонковой оказался курносым и добродушным слесарем из Пензы. Прислушиваясь к разговорам Гронского, он только ухмылялся и крутил от восхищения головой: «Ну и ну!»

Я помню сыпучие пески, разбитые широкие дороги, перепуганных насмерть жителей местечек. Навстречу нам, увязая по ступицы в песках, ползли беженские обозы.

В одном из местечек мы оставили панну Ядвигу.

К вечеру мы добрались наконец до местечка Вышпицы, где стоял отряд Романина. Желто-черный флаг этапного коменданта висел над дощатым домом. Пыль, поднятая обозами и стадами, висела сухим туманом и медленно оседала на землю.

Старые евреи с повязками на рукавах — временная военная милиция — бегали по домам и сгоняли население рыть окопы за околицей. Вдалеке глухо и часто гремело. Там шла артиллерийская дуэль.

Было тревожно, душно, беспорядочно. Десятки костров горели на местечковой площади. Около костров, у рас-

пряженных фурманок, сидели и лежали вповалку беженцы — польские крестьяне. Заходились, синея, на руках у измученных простоволосых женщин грудные дети. Лаяли собаки, ругались обозные, прокладывая путь через эту человеческую мешанину. Они стегали людей плетками, задевали колесами за груды наваленного крестьянского скарба, и за обозными фурами тянулись, зацепившись, шитые рушники, шали, рубахи. Женщины, плача, вырывали их из-под колес и уносили к кострам. Но вещи были уже измазаны дегтем, изорваны и вываляны в пыли.

Из тощих домов еврейки-старухи в рыжих париках вытаскивали зажитую рухлядь — перины, посуду, старые швейные машины, позеленевшие медные тазы,— связывали все это в простыни и одеяла. Но я не заметил ни одной фуры и ни одной телеги, на которых можно было бы увезти этот скарб.

Отряд Романина стоял на выезде из местечка, в старой корчме. Земля вокруг корчмы была вытоптана, и на ней на таганах кипели четыре огромных чугунных котла.

У котлов возились солдаты. Романин стоял тут же и что-то хрипло кричал запыленному до седины офицеру.

— Да черт вас дери! — кричал Романин. Он заметил меня и Гронского, помахал нам рукой и снова обернулся к офицеру.— У вас коровы дохнут каждые полчаса. Вы их бросаете по дорогам. Так чего же вы жметесь!

— Нужен акт,— уныло говорил офицер.— На каждую павшую корову мы акт составляем. С какой это радости я пойду из-за вас под военный суд.

— Ну, пойдем составим акт, пес с вами! — сказал Романин, взял офицера за локоть и повел в корчму. Он оглянулся, улыбнулся мне и крикнул: — Я сейчас. Вот только кончу волынку с этим начальником гурта.

Мы вошли в корчму. В ней было пусто и пахло холодным дымом. Стремительно забегали по стенам, увидев нас, тараканы.

— Покурите,— сказал мне Гронский,— и вам придется сразу же браться за дело. Видите, что творится. А я пойду уламывать этого коровьего полководца.

Я сел на хромую скамью, закурил и прислушался. Плакали за окном женщины, что-то выпрашивали у солдат, истошно мычала скотина, и все чаще гремело вдали.

После каждого удара из щели на потолке сыпалась на стол, на краюху черного хлеба, струйка песка.

Я отодвинул хлеб.

За перегородкой уже кричали в три голоса: гудел Романин, уныло спорил с ним офицер и певучим раздраженным тенором выкрикивал Гронский.

— Давайте мне двух коров, и вот вам акт! — кричал Романин.— И баста! Мне людей нечем кормить. Лю-дей!! Дети мрут, как мухи, а вы развели чистописание. Стыдитесь, господин штабс-капитан!

Потом за перегородкой стало тихо. Вошел Романин.

— Ну, чу́дно,— сказал он охрипшим голосом и поцеловался со мной.— Как раз вовремя. Едва уломал эту тютю. Отобрали у него двух коров. Берите санитаров,— надо одну корову тотчас забить, разделать тушу и пустить в котлы. Ждать, покуда остынет мясо, некогда. Беженцы не ели два дня.

Романин приподнял грязную занавеску на окне и посмотрел на выгон.

— Что делается! — сказал он.— Я, кажется, пятые сутки не сплю. Ну, чепуха. Начинайте работать, а поговорим потом, урвем как-нибудь время.

Хотя Гронский и рассказал мне в дороге, что, с тех пор как Польша тронулась с насиженных мест и начала уходить от войны, некоторым санитарным отрядам, в том числе и нашему, приказано заняться питанием и лечением беженцев, но я еще не представлял себе, как это делается.

— Ни о чем никого не спрашивайте,— сказал мне Романин.— Действуйте так, как находите нужным. Деликатность свою выкиньте к дьяволу! Иначе толку не будет, и вы расплатитесь за эту деликатность лишним десятком человеческих жизней.

Романин дал мне двух санитаров. На дворе корчмы при свете костра санитары забили тощую корову. Сухие ее рога воткнулись в землю. Кровь стояла лужами, не впитываясь в пыль.

Мы втроем разделали тушу. Подвернутые рукава моей новенькой гимнастерки намокли от крови.

Мы разрезали мясо и подвесили его к забору, чтобы оно немного провяло.

Пыль все сгущалась. Огни костров пылали оранжевыми пятнами. Потом зазвенели старые стекла в окнах корчмы и вся она затряслась и заплясала.

Во двор вошел Гронский.

— Прощайте, сын мой,— сказал он, притянул меня за окровавленный рукав и поцеловал.— Я еду в третий отряд: там плохо.

— Что это гремит? — спросил я.— Опять обозы?

— Это не обозы,— ответил Гронский.— Это отходит артиллерия. Ну, прощайте! Дай вам бог удачи. Не тяните с кормежкой. Это опасно, дитя мое.

Он снова поцеловал меня, повернулся и пошел со двора. Голова его была опущена. Казалось, что ему на шею давит ярмо.

Потом мы закладывали мясо в котлы. Грязная серая пена вспухала на вареве. Ее сбрасывали большими шумовками на землю. Худые собаки, рыча друг на друга, лизали эту жирную землю.

Среди ночи похлебка была готова, и мы начали раздавать ее беженцам. Сотни трясущихся рук с кружками, старыми тарелками, чашками и тазами тянулись к санитарам. Женщины, получив еду, пытались целовать санитарам руки.

Плач, который нельзя было отличить от смеха (а может быть, это был действительно смех изголодавшихся людей, вдохнувших запах горячей говядины), стоял над толпой. Пили похлебку тут же, обжигаясь и мыча.

Через десять минут котлы были вычерпаны до дна. Романин приказал тотчас закладывать их снова.

Мы резали вторую корову и свежевали ее, опять пыль ложилась черной пленкой на свежее мясо, и откуда-то тучами налетали ночные мухи. Опять плакали дети и с хриплой руганью громыхали мимо обозы. И опять гремело вдали, но уже не так далеко, как вечером, а значительно ближе.

К рассвету мы накормили вторую партию беженцев. Романин приказал тотчас сниматься.

Часть беженцев ушла, часть задержалась... Заря взошла багровая, туманная, пахнущая гарью. Черные столбы дыма подымались над горизонтом. Санитары говорили, что это жгут хлеба.

Через местечко проскакал казачий разъезд. Казаки спешились на площади около синагоги, зашли в два-три дома и тотчас ускакали. Из домов повалил дым. Пламя широко вырвалось к небу, и закричали люди.

Искры сыпались на спящих детей. Беженское тряпье

начало тлеть. Женщины хватали детей и, бросив всё, бежали к околице. За ними уходили мужчины.

Мы выбирались из местечка сквозь дым и гарь. Лошади храпели и шарахались. Санитары прятали головы в поднятые воротники шинелей.

— Отходите па Пищац и Тересполь,— сказал Романин.— Я поеду вперед добывать помещепие. А вы идпте следом с фурманками. Выбирайте проселки, сторонптесь больших дорог. Там заторы. Если в Пищаце меня не будет, идите прямо на Тересполь. Ну, прощайте!

Мы поцеловались с ним, и Романип сказал:

— Это вам не «Португаль».

Он потрепал меня по плечу, немного поскакал, держась за луку, на одной ноге около верхового коня, тяжело сел в седло и поехал рысью по обочине.

Весь день мы шли по проселкам. Я часто сверялся с картой. Дым пожаров охватывал пас со всех сторон. Он тяжело клубился и склонялся к востоку.

Мне казалось, что единственным мирным звуком, какой я слышал в тот день, был шелест ивовых листьев, когда мы остановились напоить лошадей из обмелевшей речки.

Мы обгоняли беженцев. Нас обгоняли обозы и артиллерия. Все чаще слышалось слово «Макензен». Сзади наступала немецкая армия под командой этого фельдмаршала.

Два раза мы останавливались, чтобы похоронить умерших, валявшихся около дороги.

Один раз это был ребенок. Он лежал на клетчатом головном платке,— очевидно, этот платок сняла с себя мать. На грудь ребенку кто-то положил кустик сурепки, вырванной с корнем.

Другой раз это была молодая крестьянка с открытыми светлыми глазами. Она спокойно смотрела в небо, где светило сквозь дым желтоватое солнце.

Пчела запуталась в волосах женщины и сердито жужжала. Должно быть, запуталась она давно и никак не могла выбраться.

Когда мы уже довольно далеко отъехали от свежих могил, долговязый санитар, кроткий человек по фамилии Сполох, сказал мне:

— Вот мы похоронили жинку, ваше благородие. Так я располагаю, что это мать того самого младенца.

— Почему?

— Без платка она лежала. А платок ее был у младенца. Так мне мерещится, что то его мать.

— Война — она кому мать, а кому и чертова мать! — неожиданно сказал коренастый санитар Гладышев.

Я ехал верхом и очень устал от этого. Песок скрипел на зубах. Я ни о чем не думал тогда. Да, пожалуй, ни о чем, кроме одной настойчивой мысли, что вот я похоронил двух человек и не знаю даже, как их зовут. Я вспоминал покрытые золотистыми, едва заметными волосками руки женщины и чистый выпуклый лоб ребенка.

Кто же это придумал, что как раз в их жизнь, в их деревушку, где еще не успели отцвести барвинки и еще, может быть, пахнет в халупах горячим хлебом, пришла смерть, выгнала из дому в спешке, в слезах и задушила в чужих местах, в сыпучем песке, на дороге, где железные ободья колес скрипели на расстоянии ладони от их навеки уснувших лиц?

— Ваше благородие! — окликнул меня Сполох.

— Что тебе?

— Вы бросьте, это самое, припоминать! Не советую. Вы меня послухайте. Я уже год на войне.

— Откуда ты взял, что я припоминаю?

— Как не знать! Разве не видно.

Трудно было поверить, что вчера еще был мирный Брест, кофе за столиком со старушкой сестрой, болтливый Гронский, мягкая койка и свежий воздух ночи.

В Пищац мы пришли к вечеру,— нас держали пески.

Романина в Пищаце не оказалось.

Горы старых вещей и рваных книг валялись на улице. Я поднял несколько книг, посмотрел их и бросил обратно,— это были книги на непонятном древнееврейском языке.

В местечке было уже безлюдно. Со двора на двор шныряли, приседая, кошки.

Мы остановились передохнуть в доме, где была парикмахерская.

Над застекленной дребезжащей дверью с колокольчиком висела вывеска: черноусый и краснощекий красавец, завернутый в белоснежную простыню, сидел в кресле, вытянув ноги в ботинках с высокими дамскими каблуками. Половина лица у красавца была намылена. Сама по себе,

без помощи человеческих рук, угрожающе висела в воздухе около щеки этого намыленного красавчика огромная бритва. Красавчик беспечно улыбался.

На вывеске было написано: «Венская парикмахерская. Исак Мозес и внук».

В парикмахерской все полы ходили ходуном. При каждом шаге качалось единственное разбитое трюмо, забрызганное засохшей мыльной пеной.

Пахло одеколоном. На трехногом бамбуковом столике лежали изорванные жирные журналы «Огонек», «Всемирная панорама» и «Аргус». Сонные мясные мухи бились о стекла.

Мы приготовили себе кулеш и чай. Спать не хотелось. Хотелось сидеть в парикмахерском кресле, откинув голову на плешивую бархатную подставку, и, закрыв глаза, думать. О чем? О том, как шумит, не затихая, море и трещат в сухих горах цикады. Об осеннем вечере в Алуште, когда слетали с платанов большие желтые листья. О веселой девочке, которая бежит навстречу. О стихах. И еще бог знает о чем, таком же далеком от войны и не совсем ясном.

Но надо было сниматься. Снова запах лошадиного едкого пота, крики: «Но, заразы!» — скрип колес, твердое седло, пески и пески.

Но теперь уже за нами не тянулся длинный дым пожаров, а светили багровые зарева, и в стороне от дороги безмятежно мерцали звезды.

И все такой же железный гром перекатывался по земле — бесплодная гроза войны, голоса крупповских орудий, созданных для того, чтобы рвать в клочья человеческое тело.

Я задремывал в седле. Созвездия шевелились над головой, скоплялись в туманности, в толпы, как будто уходя вместе с людьми от войны.

Я снова засыпал, и мне казалось, что сквозь дремоту я вижу, как то тут, то там прорезают темный небосвод падучие звезды. Как будто небо посылало на землю своих гонцов, чтобы узнать, чем занимаются там потомки Лейбница, Гумбольдта, Гершеля,— потомки этих великих немцев.

Днем мы пришли наконец в Тересполь.

ДВЕ ТЫСЯЧИ ТОМОВ

В Тересполе я отыскал Романина в доме сельского ксендза.

Деревянный темный костельный дом стоял в саду, в гуще чистотела и крапивы. Кое-где сквозь бурьян выглядывали пунцовые мальвы.

Ксендз не ушел из Тересполя с беженцами. Он вместе с Романиным встретил меня на крыльце.

Это был высокий худой человек с живыми глазами. Из-под потертой сутаны виднелись порыжелые сапоги.

Ксендз, по тогдашнему обыкновению, благословил меня и сказал по-русски:

— Мой дом открыт для всех. Как дом божий. Входите, сын мой. Устраивайтесь, как вам будет удобно.

Голос у ксендза был высокий, как у мальчика.

Мы вошли в дом. От наших шагов звякали стекла. Ксендз распахнул дверь в низкую сумрачную комнату. Вдоль ее стен стояли на деревянных полках сотни книг.

— Я не хочу видеть немцев! — неожиданно сказал ксендз, остановившись на пороге. Он поднял над головой большие ладони, как бы отгоняя привидение.— Да избавит меня от них дева Мария! Я не хочу видеть ни одного пруссака. Пусть будет проклята та мерзкая ночь, когда он был зачат на грязном ложе под портретом канцлера Бисмарка.

Романин толкнул меня, но я не понял, о чем он хотел меня предупредить.

— Канцлер смотрел своими выпученными глазами па каждое зачатие,— сказал с отвращением ксендз,— и думал: «Ах, майн готт! Еще один бравый солдатик для фатерланда. Ах, майн готт, как хорошо, что ты посылаешь Германии так много этих рыжих парней».

Ксендз медленно пошел вдоль полок, проводя рукой по переплетам книг. Он как будто пересчитывал их. Потом быстро обернулся.

— Весь свой век,— сказал он по-польски,— я собирал эти книги. Две тысячи томов по истории. Я хотел их спасти, но где взять столько фурманок! И вот, видите, я с

ними остался. Можете брать каждую книгу и смотреть ее. Но я вижу, вы очень устали. Отдыхайте.

Ксендз потрепал меня по плечу сухощавой рукой и вышел, шурша сутаной.

— Хорош? — спросил Романин.— Мы с ним сдружились. Тут у него чего только нет! Вот эта полка — сплошь о Суворове. А эта — о Наполеоне. А сверху — средние века и творения отцов церкви.

Я взял наугад толстую книгу в потрескавшемся черном переплете. Это была «История французской революции» Карлейля.

— Завтра на рассвете двинем на Брест,— сказал Романин.— Все пойдет к чертовой матери! Все эти книги вместе с их чудаковатым хозяином. Идите умойтесь, вы, негр Бамбула! В саду есть маленькая баня. Ее недавно протопили.

Я пошел в баню. Ее покосившийся сруб зарос крапивой по самую крышу.

Котел был полон теплой мутноватой воды. Я подкинул под него куски трухлявых досок от забора и разжег их. В разбитое окно тянуло сыростью,— приближался вечер.

Я разделся и удивился тяжести своей пропыленной одежды и сапог. Потом я долго сидел на скамье, ждал, пока согреется вода, курил и ни о чем не думал. Мне просто было хорошо в этом коротком одиночестве, хорошо от свежего воздуха, лившегося из сада.

В бледных лучах солнца толклась мошкара. За окнами выше подоконника стояли белые зонтичные цветы.

Было так тихо, что я слышал, как фыркают наши лошади, привязанные к деревьям в саду. Потом издалека дошел, прокатился над банькой и затих где-то на западе медленный гул.

Серый кот вскочил на подоконник, посмотрел на меня и удивленно мяукнул. После этого он обошел вдоль стен всю баньку и заглянул в мои сапоги. Там было пусто и темно. Кот снова мяукнул, но теперь уже вопросительно, и начал тереться о мои ноги. Пушистая его шкурка чуть слышно потрескивала.

Я погладил его. Кот заурчал от наслаждения.

— Ты, окопавшийся в тылу! — сказал я коту.— Тебя никто не тронет. За тобой не будут охотиться люди в стальных касках, чтобы неизвестно зачем непременно убить. Давай поменяемся?

Кот сделал вид, что не слышит моих слов. Он неторопливо вышел из баньки и даже не оглянулся.

— Свинья! — сказал я ему вслед.— Свинья и эгоист.

Мне очень хотелось, чтобы он вернулся. Мне нужно было хоть какое-нибудь живое существо, которое не понимает, что такое война, и думает, будто мир так же хорош, каким был месяц или год назад. Все так же летают в саду крапивницы, все так же закатывается прозрачное сельское солнце, все так же можно дремать в потертом кресле и поводить ушами, когда что-то загадочно потрескивает в рассохшихся переплетах.

От усталости путались мысли. Мне хотелось остановить их, чтобы подумать наконец о том, что давно уже саднило на сердце. О ласке, о теплом плече. К нему можно было бы крепко прижаться.

— Мама! — сказал я вполголоса, но тут же вспомнил сухие сжатые мамины губы и ее растерянное лицо. Нет, не она может мне помочь. Но кто же? Никого не было. Может быть, только в будущем, если оно действительно будет, встретится человек с большой нежной душой... И Лелю я тоже потерял и уже не увижу.

Снова над банькой прокатился тягучий гром. С костельных вязов взлетели с беспорядочным криком галки. К окну подошел Романин.

— Вы что, уснули? — спросил он.— У пана ксендза нашлось вишневое варенье.

— Как будто уснул,— сознался я.

— Молодой человек,— сказал Романин,— вы мне не нравитесь. О чем вы тут размышляете? Мойтесь скорей, и пойдемте пить чай.

Старик в грубой свитке — костельный причетник — накрыл чай в комнате с книгами. Он постелил на круглый стол серую скатерть и поставил на нее стаканы и сахарницу из тусклого серого стекла. Только вишневое варенье выделялось гранатовым ярким сиропом.

Мы достали свои запасы: мясные консервы, галеты и клюквенный сок. Больше у нас ничего не было.

Пришел серый кот. Звали его Вельзевул.

Мы пригласили к столу ксендза. Перед тем как сесть, он пробормотал коротенькую молитву. Мы стоя выслушали ее.

— Вежливые молодые люди,— заметил ксендз, усмехнулся и помолчал.

— Да будет благословенье божье над вами,— сказал он, садясь.— Пусть каждый ваш шаг охраняет святая дева. В нее вы, конечно, не верите. Но вшистко едно! Пусть она следит своим взором за вами и отводит руку врага.

Ксендз отодвинул чашку и повернулся к причетнику, пившему чай на краешке стола.

— Янош,— сказал он,— ты откроешь костел, и мы будем служить всю ночь и весь завтрашний день.

— Так, пане ксендз,— вполголоса согласился причетник и привстал.— Всю ночь и весь завтрашний день.

— Мы отслужим великую литанию по убитым.

— Так, пане ксендз,— снова вполголоса ответил причетник.— Литанию по всем убитым.

— А потом мы отслужим мессу пану богу, чтобы он помог Польше воскреснуть, как Феникс из пепла.

— Так, пане ксендз,— глухо согласился причетник.— Як Феникс с попёлу.

— Амен! — сказал ксендз.

— Амен! — пробормотал причетник и опустил седую косматую голову.

Нам с Романиным стало не по себе от этих заклинаний ксендза и бормотаний причетника. Ксендз как будто догадался об этом. Он молча встал и вышел. За ним вышел, прихрамывая, причетник.

Я лег на клеенчатый черный диван, укрылся шинелью и провалился в гудящую темноту.

Проснулся я внезапно, без причины. Очевидно, была уже поздняя ночь.

За открытым окном то начинал тихонько шуметь, то затихал в кромешном мраке сад. Я посмотрел за окно: не было ни луны, ни звезд,— должно быть, небо заволокло облаками.

Глубокая тишина стояла вокруг. Но мне показалось, что я проснулся от какого-то звука. Я лежал и ждал. Я был уверен, что звук повторится. Мне хотелось курить, но я медлил зажечь спичку, чтобы не спугнуть безопасную темноту ночи.

Я ждал. Мне стало страшно от ожидания неизвестного звука.

Так я пролежал несколько минут, но вдруг стремительно рванулся и сел на диване. Шинель с тяжелым шорохом свалилась на пол.

Звук пришел — страшный, протяжный, дребезжащий, томительный, как старческий плач.

Что это было? Звук долго затихал, но тотчас же повторился, и я узнал медленный звон костельного колокола. Это ксендз служил среди ночи свою великую литанию по убитым.

Я протянул руку к коробке папирос на стуле, но в это время нарастающий свист промчался над крышей дома, блеснуло багровое пламя, грохнул взрыв, и потом долго был слышен странный гул, будто сыпались на булыжную мостовую мелкие камни.

Романин вскочил, зажег свечу. Снова свист пронесся над нами. Снова взрыв блеснул за окном и осветил сад.

— Обстреливают! — крикнул Романин.— Одевайтесь. Седлайте лошадей. А я прикажу запрягать фурманки.

Я был одет. Я вышел в сад с электрическим фонариком. Лошади стояли, прижав уши, натянув поводья,— ими они были привязаны к деревьям. Перекрикивались разбуженные санитары. На краю местечка занялось зарево. Оно помогло нам быстро собраться.

Мы торопились. Через местечко уже вразброд отходила пехота.

Когда мы проезжали мимо костела, двери его были отворены настежь. Внутри жарко пылали свечи. Очевидно, причетник зажег все запасы костельных свечей. Я увидел над алтарем большое распятие, окруженное вышитыми полотенцами.

Ксендз стоял на паперти в кружевной пелерине, высоко подняв над головой черный крест. Из-под одеяния в свете зарева были видны порыжелые сапоги. Позади ксендза стоял причетник.

Когда мы поравнялись с костельной папертью, ксендз издали перекрестил нас в воздухе черным крестом и громко сказал:

— Да хранит вас святая дева над девами, лилия небес, мать страждущих!

Зарево падало на кружевное одеяние ксендза и на его лицо. Огонь мигал, и от этого казалось, что ксендз улыбается.

Мы выехали за околицу. Обстрел стих. Пахло пылью, поднятой копытами лошадей, и болотной водой. Позади мы снова услышали надтреснутый звон костельного колокола.

— Похоже, что он немножко свихнулся,— сказал Романин.

Я ничего не ответил, поднял воротник шинели и закурил. Меня тряс озноб. Я думал только о том, чтобы согреться.

МЕСТЕЧКО КОБРИН

Из Бреста мы вышли в местечко Кобрин. С нами ехал на своем помятом и исцарапанном форде пан Гронский.

Брест горел. Взрывали крепостные форты. Небо вздымалось позади нас розовым дымом.

Около Бреста мы подобрали двух детей, потерявших мать. Они стояли на краю дороги, прижавшись друг к другу,— маленький мальчик в рваной гимназической шинели и худенькая девочка лет двенадцати.

Мальчик натягивал на глаза козырек фуражки, чтобы скрыть слезы. Девочка крепко держала мальчика обеими руками за плечи.

Мы посадили их на фурманку и накрыли старыми шинелями. Шел частый колючий дождь.

К вечеру мы вошли в местечко Кобрин. Земля, черная, как каменный уголь, была размешана в жижу отступающей армией. Косые дома с нахлобученными гнилыми крышами уходили в грязь по самые пороги.

Ржали в темноте лошади, мутно светили фонари, лязгали расшатанные колеса, и дождь стекал с крыш шумными ручьями.

В Кобрине мы видели, как увозили из местечка еврейского святого, так называемого «цадика».

Гронский рассказал нам, что в Западном крае и Польше есть несколько таких цадиков. Живут они всегда по маленьким местечкам.

К цадикам приезжают со всей страны сотни людей за всякими житейскими советами. За счет этих приезжих кормится население местечек.

Около деревянного приплюснутого дома вздыхала толпа растрепанных женщин. У дверей стоял закрытый возок, запряженный четверкой тощих лошадей. Я никогда еще не видел таких древних возков. Тут же, спешившись, курили драгуны. Это, оказывается, был конвой для охраны цадика в дороге.

Внезапно толпа закричала, бросилась к дверям. Двери распахнулись, и огромный высокий еврей с заросшим черной щетиной лицом вынес на руках, как младенца, совершенно высохшего белобородого старичка, закутанного в синее ватное одеяло.

За цадиком поспешали старухи в тальмах и бледные юноши в картузиках и длинных сюртуках.

Цадика уложили в возок, туда же сели старухи и юноши, вахмистр скомандовал: «В седло!» — драгуны сели на коней, и возок тронулся по грязи, качаясь и поскрипывая. Толпа женщин побежала за ним.

— Вы знаете,— сказал Гронский,— что цадик всю жизнь не выходит из дома? И его кормят с ложечки. Честное слово! Як бога кохам!

В Кобрине мы заняли под постой старую сырую синагогу. Один только человек сидел в ней в темноте и бормотал не то молитвы, не то проклятия. Мы зажгли фонари и увидели пожилого еврея с печальными насмешливыми глазами.

— Ой-ой-ой! — сказал он нам.— Какое веселье вы с собой привезли для бедных людей, дорогие солдаты.

Мы угрюмо молчали. Санитары притащили со двора железный лист, мы развели на нем огонь и поставили котелок — кипятить чай. Дети молча сидели у огня.

Гронский вошел в синагогу, скрипя походными ремнями, и сказал:

— Друзья мои, распрягайте двуколки. К черту! Я никуда не двинусь до рассвета. Армия прет через местечко. Она нас сотрет в порошок. Накормите чем-нибудь этих детей.

Он долго смотрел на детей, и пламя костра блестело в его светлых зрачках. Потом он заговорил с девочкой попольски. Она отвечала ему чуть слышно, не подымая глаз.

— Когда все это кончится? — неожиданно спросил Гронский.— Когда возьмут за горло тех, кто заварил эту кровавую кашу?

Гронский выругался.

Все молчали. Тогда встал старый еврей. Он подошел к Гронскому, поклонился ему и спросил:

— Пане дорогой, вы, часом, не знаете, кому из нас есть интерес от такого несчастья?

— Не мне и не тебе, старик! — ответил Гронский.— Не этим детям и не этим людям.

Искры летели за окнами, это проходили мимо синагоги походные кухни.

— Идите к котлам,— сказал Гронский.— Идите все! Добывайте похлебку.

Мы пошли к походным котлам. Мальчик пошел с нами. Санитар Сполох крепко держал его за руку.

Голодная толпа беженцев рвалась к котлам. Ее сдерживали солдаты. Факелы метались и освещали, казалось, только одни глаза — выпуклые стеклянные глаза людей, ничего не видевшие, кроме открытых дымящихся котлов. Здесь толпа была еще неистовее, чем в Вышницах.

— Пуска-а-ай! — отчаянно крикнул кто-то.

Толпа рванулась. Она оторвала мальчика от Сполоха. Мальчик споткнулся и упал под ноги сотням людей, бросившихся к котлам. Он не успел даже закричать.

Мужчины рвали миски друг у друга из рук. Женщины торопливо совали в рот грудным посиневшим детям куски серой распаренной свинины.

Мы со Сполохом кинулись к мальчику, но толпа отшвырнула нас. Я не мог кричать. Спазма сжала мне горло. Я выхватил револьвер и разрядил его в воздух. Толпа раздалась. Мальчик лежал в грязи. Слеза еще стекала с его мертвой бледной щеки.

Мы подняли его и понесли в синагогу.

— Ну,— сказал Сполох и тяжело выругался,— ну и отольются те слезы! Дай только нам взять хоть малую силу.

Мы внесли мальчика в синагогу и положили на шинель. Девочка увидела его и встала. Она дрожала так сильно, что было слышно, как стучат ее зубы.

— Мама! — тихо сказала она и попятилась к двери.— Мама моя! — крикнула она и выбежала на улицу.

Гремели обозы.

— Мама! — отчаянно звала она за окнами.

Мы стояли в оцепенении, пока Гронский не крикнул:

— Верните ее! Скорее, черт бы вас всех побрал!

Романин и санитары выбежали на улицу. Я тоже бросился за ними. Девочки нигде не было.

Я отвязал своего коня, вскочил на него и врезался в гущу обозов. Я хлестал нагайкой потных обозных коней, расчищая себе дорогу. Я скакал по тротуарам, возвращался обратно, останавливал солдат и спрашивал их, не ви-

дели ли они девочку в сером пальто, но мне даже не отвечали.

На окраинах горели лачуги. Зарево качалось в лужах и усиливало путаницу двуколок, орудий, лошадей, телег — всю безобразную путаницу ночного отступления.

Я вернулся в синагогу. Девочки не было. Мальчик лежал на шинели, прижавшись бледной щекой к мокрому сукну, и как будто спал.

Никого не было в сырой и темной синагоге. Огонь потухал, и один только пожилой еврей сидел около мальчика и бормотал не то молитвы, не то проклятия.

— Где наши? — спросил я его.

— Я знаю? — ответил он и вздохнул.— Каждому хочется горячей похлебки.

Он помолчал.

— Пане,— сказал он мне тихо и внятно,— я шорник. Меня зовут Иосиф Шифрин. Я не умею рассказывать, что у меня лежит на сердце. Пане! Мы, евреи, знаем от своих пророков, как бог умеет мстить человеку. Где же он, тот бог? Почему он не спалил огнем, не вырвал глаза у тех, кто придумал такое несчастье?

— Что бог, бог! — сказал я грубо.— Вы говорите как глупый человек.

Старик печально усмехнулся.

— Слушайте,— сказал он и тронул меня за рукав шинели.— Слушайте вы, образованный и умный человек.

Он опять помолчал. Зарево неподвижно стояло в пыльных окнах синагоги.

— Вот я сидел здесь и думал. Я не знаю так хорошо, как вы, кто во всем виноват. Я не учился даже в хедере. Но я еще не совсем слепой и кое-что вижу. И я вас спрашиваю, пане: кто будет мстить? Кто заплатит по дорогому счету вот за этого маленького человека? Или вы все такие добрые, что пожалеете и простите тех, кто подарил нам такой хороший подарок — эту войну. Боже ж мой, когда, наконец, соберутся люди и сами будут делать для себя настоящую жизнь!

Он поднял руки к потолку синагоги и пронзительно закричал, закрыв глаза и покачиваясь:

— Я не вижу, кто отомстит за нас! Где человек, что утрет слезы этих нищих и даст матерям молоко, чтобы дети не сосали пустую грудь! Где тот, кто посеет на этой земле хлеб для голодных? Где тот, кто отнимет золото у

богатых и раздаст его беднякам? Да будут прокляты до конца земли все, кто пачкает руки человека кровью, кто обворовывает нищих! Да не будет у них ни детей, ни внуков! Пусть семя их сгниет и собственная слюна убьет их, как яд. Пусть воздух сделается для них серой, а вода — кипящей смолой. Пусть кровь ребенка отравит кусок богатого хлеба, и пусть тем куском подавятся они и умрут в мучениях, как раздавленные собаки.

Старик кричал, подняв руки. Он тряс ими, сжимал их в кулаки. Голос его гремел и наполнял всю синагогу.

Мне стало страшно. Я вышел, прислонился к стене синагоги и закурил. Моросил дождь, и тьма все плотнее прилегала к земле. Она как бы нарочно оставляла меня с глазу на глаз с мыслями о войне. Одно было для меня ясно: надо положить этому конец, чего бы это ни стоило. Надо отдать все силы и всю кровь своего сердца за то, чтобы справедливость и мир восторжествовали наконец над поруганной и нищей землей.

ИЗМЕНА

В Кобрине мы получили приказ идти на север. Мы двигались, почти не останавливаясь, пока не дошли до местечка Пружаны вблизи Беловежской пущи.

По дороге мы проходили мимо бесконечных скудных полей, заросших дикой горчицей.

На юго-западе курился взорванный Брест.

В поле около Пружан мы увидели брошенное орудие с развороченным стволом и остановились.

Около орудия сидели солдаты в заскорузлых шинелях. Иные курили, другие перематывали портянки, третьи сидели без дела, равнодушно поглядывая на нас. Я подъехал к солдатам.

— Что это? — спросил я бородатого солдата и показал на разбитое орудие. Солдат лежал, прислонившись к орудийному колесу, и курил. Он мельком посмотрел на меня и ничего не ответил.

— Что это такое? — спросил я снова.

— Так я тебе и должен все докладывать! — огрызнулся солдат.— Что ты есть за начальник? Не видишь, что ли? Орудия!

— Почему ствол разворочен?

Солдат отвернулся и махнул рукой. За него ответил плачущим голосом молодой солдат без фуражки. Его стриженая белобрысая голова блестела, как стеклянный шар.

— Ну что пристали, молодой человек! — сказал он с досадой.— Покою от вас всех нету. Хоть в омут кидайся.

— Чего он спрашивает? — закричал солдат с зеленым лицом. Он сидел на корточках и соскребывал щепкой грязь с сухаря.— Чего душу тянет? Не соображает, что с орудием? Измена — вот что!

— Измена! — повторил хриплым голосом бородатый солдат, сел и отшвырнул цигарку.

Он сжал черный кулак и потряс им на восток, где ветер гнул тонкие ракиты.

— Измена, язви их в бога, в мать, в душу! Артиллерия вперед обозов отходит. Нет снарядов. А какие есть, так те рвутся в стволах. И патронов, обратно, нету. Что ж мы, дрючками, что ли, будем с германцами биться!

— Измена! — сказало несколько глухих голосов.— Не иначе, как здесь измена.

Наши фурманки тронулись. Я отъехал.

Так я впервые услышал на фронте это черное слово — «измена». Вскоре оно прокатилось по всей армии, по всей стране. Его произносили то шепотом, то во весь простуженный голос. Говорили все — от обозного солдата до генерала. Даже раненые в ответ на расспросы: «Как ранен?» — злобно отвечали: «Измена!»

Все чаще слышалось имя военного министра Сухомлинова. Говорили об огромных взятках, полученных им от крупных промышленников, сбывавших армии негодные снаряды.

Вскоре слухи пошли шире, выше,— уже открыто обвиняли императрицу Алису Гессенскую в том, что она руководит в России шпионажем в пользу немцев.

Гнев нарастал. Снарядов все не было. Армия откатывалась на восток, не в силах сдержать врага.

Мы шли по южной части Гродненской губернии, кормили беженцев, отправляли их в тыл, забирали больных и развозили по лазаретам.

Начались обложные дожди. Желтые пенистые лужи рябили на дорогах. Дожди тоже казались желтыми, как лошадиная моча. Шинели не просыхали. От них воняло

псиной. Ветер непрерывно гнул кусты вдоль дорог и свистел ветвями, как розгами.

Попутные местечки — Пружаны, Ружаны, Слоним — были обглоданы, как кости, отступающими войсками. В лавчонках ничего не осталось, кроме синьки и столярного клея. «Жолнежи вшистко забрали»,— жаловались запуганные лавочники-евреи.

Мы все реже разговаривали с Романиным. Его лицо с постоянно опущенным от ветра на подбородок ремешком фуражки казалось теперь жестким и угловатым.

Пан Гронский носился где-то на своем разболтанном форде и добывал нам продовольствие. Он появлялся редко — измятый, невыспавшийся, с набухшими веками. Пушистые его усы отросли и закрывали рот. От этого Гронский выглядел стариком.

Каждый раз, приезжая, он брал меня за локоть, отводил в сторону и говорил доверительным шепотом:

— Ничего! Не огорчайтесь, дитя мое! Когда кончится эта чертова война, мы пойдем на Петроград и скинем с трона к свиньям собачьим этого олуха со всеми его гессенскими выродками. А Польша воскреснет. Як бога кохам! Не может пропасть страна, где были такие люди, как Мицкевич, Шопен, Словацкий. Не может! Вокруг их славы, как солдаты у костра, соберутся лучшие люди Польши. И они поклянутся: «Нех жие вольна народова Польска. На веки векув! Нех жие!»

Он каждый раз говорил мне одно и то же, даже теми же словами, как одержимый. Я не знал, от усталости это или от болезни. Глаза у Гронского лихорадочно горели, и он так крепко стискивал мой локоть, что я едва сдерживался, чтобы не вскрикнуть от боли. Я вспомнил, что у сумасшедших развивается необычайная сила в руках.

Я рассказал о своих опасениях Романину. Он пронзительно посмотрел на меня и зло сказал:

— А вы что же, знаете разницу между сумасшедшими и нормальными? Нет? Так какого же черта лезете со своими выводами! Мне наплевать на них. Может быть, я сам сумасшедший.

Я никогда еще не видел Романина в такой ярости.

— Заприте-ка своего зверя на замок,— ответил я, стараясь быть спокойным.

Он криво улыбнулся, схватил меня за плечо, притянул к себе, но тотчас оттолкнул и вышел.

Было это в Слониме, в ларьке, где недавно торговали керосином. Пол был обит листами железа. На железе еще стояли керосиновые лужи.

Сесть было негде. Я прислонился к стене, выкурил папиросу и вышел вслед за Романиным.

Отряд уже отходил. Дождь стекал с брезентовых плащей. Низко пролетали растрепанные вороны, садились на коньки гнилых крыш и открывали клювы, чтобы каркнуть, но не каркали,— должно быть, понимали, что это ни к чему. Не накаркаешь же сухую погоду.

В БОЛОТИСТЫХ ЛЕСАХ

За Слонимом потянулись скучные болотистые леса. В них было много молодого осинника. Тонкие серые осинки стояли рядами, и на них такими же тонкими серыми струями падал дождь.

Только во второй половине дня небо расчистилось. Оно было зеленым, холодным. Резкий ветер гнал обрывки грязных туч.

Романин ехал впереди, я сзади. Я видел, как из леса вышел молодой крестьянин-белорус в постолах. Он снял шапку, схватил Романина за стремя, пошел рядом с лошадью и о чем-то начал униженно просить. Слезы блестели у него на глазах.

Романин остановился и подозвал меня.

— Тут в лесу,— сказал он, не глядя на меня,— рожает беженка. Жена этого человека. Все ушли, он остался с ней один. Роды вроде тяжелые.

— Она вельми мучится, пан мой,— певуче сказал крестьянин и вытер шапкой глаза.

Романин помолчал.

— Примите ребенка! — сказал он, все так же не глядя на меня, и поправил уздечку у лошади.— Никто из нас этого не умеет. Так же как и вы. Но все-таки в таком деле лучше интеллигентные руки.

В голосе его мне послышалась насмешка. Я почувствовал, как кровь отливает у меня от лица.

— Хорошо,— сказал я, сдерживаясь.

— Мы будем ждать в Барановичах,— Романин протянул мне мокрую руку.— Дать вам санитара?

— Не нужен мне никакой санитар.

Я взял сумку с медикаментами и самым простым хирургическим инструментом — другого у нас не было — и свернул по просеке в лес.

Крестьянин — его звали Василь,— бежал рядом со мной, придерживаясь за стремя. Грязь из-под копыт летела ему в лицо. Он вытирал его насквозь промокшей шапкой. Лошадь шла крупной рысью.

Я старался не думать о том, что случится через несколько минут в этом лесу, не смотрел на беженца и молчал. Мне было страшно. Никогда в жизни я даже близко не был около рожающей женщины.

Внезапно я услышал глухой воющий крик и придержал коня. Человек кричал где-то рядом.

— Скорее, пане! — сказал с отчаянием Василь.

Я хлестнул коня. Он рванулся сквозь орешник. Василь выпустил стремя и отстал.

Конь вынес меня на маленькую поляну. На ней потухал костер. У костра сидел мальчик лет десяти в черном картузе, нахлобученном на уши. Он качался, обхватив руками колени, и монотонно и тихо говорил: «Ой, Зосю! Ой, Зосю! Ой, Зосю!»

Поляну затянуло дымом от потухающего костра. Дым застрял в низких ветках орешника, и потому плохо было видно вокруг.

Я соскочил с коня. По другую сторону костра стояла фурманка. На ней сидела, вцепившись руками в края повозки, женщина. Я увидел только ее черное искаженное лицо с огромными белыми глазами. Она выла, широко открыв рот, почти раздирая себе губы, то наклоняясь, то изгибаясь назад, выла непрерывно, хрипло, по-звериному.

Косматая собака забилась под фурманку и лязгала зубами.

У меня заледенело сердце. Холод поднялся к голове, и страх сразу прошел.

— Костер! — крикнул я мальчику.— Разом!

Мальчик вскочил, споткнулся, упал и бросился в лес за хворостом. Прибежал Василь.

Я совершенно не знал, что делать. Я только смутно догадывался об этом.

Прежде всего я сбросил шинель и вымыл руки. Василь лил мне воду из кружки. Руки у него тряслись, и он все время лил мимо.

Мальчик притащил хворост и разжег костер. Начинало смеркаться.

— Убери мальчика,— сказал я Василю.— Не надо ему видеть все это.

— То ее брат,— торопливо ответил Василь.— Тут копанка в лесу, хай принесет воды.

— Да, воды, воды! — судорожно повторял я.— И чистый рушник. Или тряпки.

— У Зоси есть две чистые рубахи,— услужливо забормотал Василь.— Ты, Миколайчик, беги за водой, а я достану. Я достану.

Дальше была у меня какая-то внезапная минута колебания как раз в то время, когда я стягивал через голову гимнастерку. Вдруг стало темно, и я остановился. Мне захотелось успокоиться и собрать свои мысли. Какие мысли? О чем? Не было у меня никаких мыслей,— было одно отчаяние.

Я наконец решился, снял гимнастерку, засучил рукава рубахи, достал из кармана электрический фонарик и протянул Василю:

— Свети!

Я подошел к фурманке. Должно быть, я оглох от волнения. Я больше не слышал крика женщины и старался не смотреть на нее.

Я увидел что-то розовое, жалкое, быстро и осторожно продвинул руки, захватил его и сильно потянул к себе. Я не знал, так ли надо делать или нет. Я делал все как сквозь сон. Ни тогда, ни сейчас я не могу припомнить, вышел ли ребенок сразу. Я только помню ощущение маленьких плеч. Должно быть, это были плечи. Я прижимал к ним ладони и снова осторожно и сильно потянул их к себе.

— Пане! — крикнул Василь и схватил меня.— Пане!

Я стоял и шатался. На вытянутых руках лежало что-то очень теплое и мокрое. И вдруг это непонятное существо чихнуло.

Все, что надо было сделать после этого, я делал спокойнее, хотя у меня начала трястись голова. Мы с Василем обмыли ребенка, потом крепко закутали его в рушники и тряпье.

Я держал запеленатого ребенка на руках и боялся его уронить.

Василь вцепился зубами в рукав своей свитки, затряс головой и заплакал.

Я прикрикнул на него, подошел к женщине и осторожно положил ребенка рядом с ней. Она глубоко и легко улыбнулась, глядя на него, и едва-едва потрогала его худой темной рукой. Это был ее первый ребенок.

— Квиточек мой милый,— сказала она едва слышно.— Свет мой, сынку несчастный.

Слезы текли из ее открытых глаз. Неожиданно женщина схватила мою руку и прижалась к ней сухими горячими губами. Я не отнимал руки, чтобы не тревожить ее. Рука у меня стала мокрой от ее слез.

Ребенок заворочался и слабо запищал, как котенок. Тогда я отнял руку, женщина взяла ребенка и застенчиво вынула грудь.

Василь уже не плакал, а только беспрерывно тер рукавом глаза. Мальчик сидел на корточках у костра и весело смотрел на него.

Далеко за лесом ударило несколько пушечных выстрелов.

Я вымыл руки, накинул шинель, сел к костру, дал закурить Василю и закурил сам. Никогда я не испытывал такого наслаждения от папиросы, как в этот угрюмый вечер.

Но спокойствие длилось недолго. Меня тревожила женщина. Я встал и подошел к фурманке. В мигающем свете костра ее лицо показалось мне воспаленным. Она как будто спала, лежа на боку и прижав ребенка к груди. Густая тень от ресниц падала на ее щеки.

Я впервые рассмотрел эту женщину и удивился счастливому и трогательному выражению ее лица. Тогда еще я не знал, что почти у всех только что родивших женщин лицо становится, хотя бы ненадолго, красивым и спокойным. Должно быть, эта красота материнства пленила великих художников Возрождения — Рафаэля, Леонардо и Боттичелли,— когда они писали своих мадонн.

Я осторожно достал сухую руку женщины и пощупал пульс. Он был слабый, но не частил.

Женщина, не открывая глаз, снова взяла мою руку и ласково погладила ее, как бы сквозь сон. Но теперь она не благодарила, как в первый раз. Теперь в этом поглаживании руки было желание успокоить меня. Она как будто говорила: «Не бойся. Со мной все хорошо. Ты отдохни».

Предполагал ли я час назад, когда ехал по размытой дороге с пустым сердцем, что кто-нибудь так нежно обой-

дется со мной в этот же вечер. Дни войны тянулись, как неприютная ночь. И никогда бы я не поверил, что в глухом одиночестве этой ночи так скоро и мимолетно блеснет мне улыбка душевной ласки.

За лесом по темному горизонту снова покатились один за другим короткие громы. Они догоняли и перебивали друг друга.

— Пане,— окликнул меня Василь.— Герман подходит. Куда же мы денемся?

Непонятное спокойствие овладело мной вопреки здравому смыслу.

— Ничего,— пробормотал я.— Побудем здесь еще часа три. Ей вредно сейчас трястись на фурманке.

— А пан нас не кинет?

— Нет, не кину.

Василь успокоился и начал варить с мальчиком кулеш.

Я знал, что оставаться в лесу опасно. Судя по отзвукам боя, немцы были уже недалеко. Может быть, опять случился прорыв, и фронт, как всегда в таких случаях, может стремительно откатиться, исчезнуть, бесследно растаять. Но мне просто не хотелось уходить отсюда.

Я сидел около фурманки и с оцепенением смотрел на костер. Ничто так быстро не скрадывает время, как зрелище ночного огня. Я следил за каждой разгоравшейся веткой, за вихрями искр, вылетавших из сухой хвои, за сизым пламенеющим пеплом.

Женщина дышала спокойно и ровно. «Нет! — сказал я себе.— От войны ты не уйдешь, как бы ты этого ни хотел. Ты не один на свете».

Я посмотрел на часы. Прошло два часа с тех пор, как я, не отрываясь, смотрел на огонь.

— Пора собираться,— сказал я Василю.

Мы поели кулеша. Зося проснулась, и Василь покормил ее. Она ела мало и медленно, все время смотрела на ребенка. Василь мешал ей, приставая со своим кулешом. Она осторожно отстранила его:

— Не надо сейчас!

До рассвета было еще далеко. Василь запряг лошадей. Мы поудобнее уложили Зосю, укрыли ее двумя кожухами, и фурманка осторожно начала выезжать из леса на шоссе. Там было пусто, дул ветер. Заунывно шумели сосны. Орудийный огонь затих.

Я ехал шагом впереди и иногда светил на шоссе фонариком, чтобы Василь объезжал ухабы и лужи.

Я знал от Романина, что в нескольких километрах был старый лагерь для гарнизона Барановичей. Я надеялся, что застану в этом лагере какой-нибудь отступающий полевой госпиталь и пристрою к нему Зосю до тех пор, пока она не оправится.

Нам повезло. В дощатых лагерных бараках действительно стоял полевой госпиталь. Но он уже сворачивался и собирался уходить. Мы пришли вовремя.

Я пошел к главному врачу. Он сидел в пустом бараке и пил чай из жестяной кружки. Это был небритый старик с красными, как у кролика, глазами. Он снял очки и молча слушал меня, выжимая завязку на рукаве своего халата,— она попала в чай и намокла.

— Так вы, значит, приняли ребенка? — спросил он и недовольно взглянул на меня.

— Да, я.

— Так-таки приняли?

— Ничего же не оставалось делать,— ответил я, оправдываясь.

— Выходит, что не оставалось,— согласился врач, намочил в чае кусок сахару и положил в рот.— Ребеночек, очевидно, вышел сам. Так что вы не очень заноситесь, прапорщик.

— Да я и не заношусь.

— Напрасно! Я бы на вашем месте занесся. Хотите чаю? Потом? Потом будет суп с котом. Скоро уходим. Вашу беженку положите пока в театр. Скажите дежурной сестре, что я приказал.

— В какой театр? — спросил я удивленно.

— В императорский оперный театр в Петрограде,— ответил, раздражаясь, врач.— Не валяйте дурака! Здесь, в лагере, есть летний театр. Вернее, был таковой. Для господ офицеров. Туда ее и несите.

Мы отнесли Зосю в гнилой театральный барак. Дежурная сестра куда-то отлучилась. Мы сами уложили Зосю на походную койку.

В глубине барака была сцена. Ее закрывал рваный холщовый занавес с аляповато написанным на нем пейзажем — скалами Дива и Монах в Симеизе. Почему именно здесь были изображены эти скалы, яркое, как синька, море и черные пики кипарисов — невозможно было понять.

— Где роженица? — спросил за стеной женский голос.

Я невольно отступил от койки к темной стене. Я узнал голос Лели.

Она быстро вошла. Из-под косынки, как всегда, выбилась прядь вьющихся ее волос. После дневного света она не сразу рассмотрела в темноватом бараке женщину на койке и нас, мужчин.

— Кто ее доставил? — спросила Леля.

— Вот они, пан прапорщик,— пробормотал Василь и показал на меня шапкой.

Леля повернулась ко мне.

— Вы? — спросила она.

Я вышел из темного угла и подошел к ней.

— Да, я,— ответил я.— Я, Леля.

Она сильно побледнела, отступила на шаг, села на пустую койку и подняла на меня испуганные глаза.

— Господи,— шепотом сказала она.— Здравствуйте! Чего же вы стоите! Как истукан.

Она, не вставая, протянула мне руку. Я нагнулся, чтобы поцеловать ее, но Леля притянула меня за шею к себе и поцеловала в губы.

— Наконец-то,— сказала она.— Мы с вами, должно быть, родились под счастливой звездой.

ПОД СЧАСТЛИВОЙ ЗВЕЗДОЙ

Полевой госпиталь должен был сняться только к вечеру. Я боялся, что не догоню свой отряд, и сказал Леле, что мне нужно уезжать сейчас же.

— Останьтесь,— попросила она.— Ну хоть на час. Ведь это такой пустяк. Подождите, я сию минуту вернусь.

Она ушла из барака. Зося спросила:

— Кто эта паненка? Ваша невеста?

— Да,— ответил я. Что я мог ей сказать?! Простодушным людям нужны понятные ответы.

— Молчи, Зося! — испуганно прикрикнул на нее Василь.— Как же можно так говорить пану прапорщику. Побойся ты бога!

Минут через десять пришел санитар и сказал, что главный врач просит меня к себе.

Знакомый главный врач встретил меня сердито.

— Вы что же это финтите, молодой человек? — спросил он и блеснул на меня выпуклыми стеклами очков.

— То есть как финчу?

— Другого слова, извините, не подберу. По существу, вы так называемый шпак! Ваш отряд принадлежит Союзу городов. Гражданской организации. Вам известно, что на фронте вы подчиняетесь военным властям?

— Как будто так,— сказал я.

— Не «как будто»! — вдруг закричал врач, побагровел и закашлялся.— А действительно так! Прошу вас вести себя надлежащим образом. Иначе я вас арестую. «Как будто», «как будто»! — передразнил он меня, отдуваясь.

— Слушаюсь,— ответил я.— Но не понимаю.

— Сейчас поймете. Предлагаю вам оставаться при госпитале впредь до особого распоряжения. Соответственный письменный приказ будет заготовлен. И будет вам вручен, когда в вас минует надобность. В качестве оправдательного документа для вашего начальства. Кто ваш начальник?

— Уполномоченный Гронский.

— Гронский — Гавронский — Пшипердонский! — передразнил врач.

Я промолчал.

— Эх вы, уже обиделись! — врач укоризненно покачал головой. Побудьте у нас несколько дней. После этого случая с роженицей я бы взял вас к себе совсем. Но, в общем, юноша, не смущайтесь. Я обо всем наслышан. Сам был молод. Сам страдал. И ненавижу стариков, которые забывают свои молодые годы. Уж что-что, а любовь у нас не в чести.

Врач шумно вздохнул. У меня голова пошла кругом от этого разговора. Я догадался, что здесь была замешана Леля.

— В отряде у нас мало людей,— сказал я.— Вы сами понимаете, что не могу же я дезертировать...

— Да,— снова вздохнул врач.— «Дезертировать»! Конечно! Вы громко выражаетесь, но я вас понимаю. Положение корявое. Ну ладно! Вам в Барановичи, и нам в Барановичи. Мы выступаем не вечером, а через два часа. Мы пустые. Последних раненых сдали вчера на санитарный поезд. Вы поедете с нами до Барановичей — и все! И роженицу вашу захватим. Возьмем под наблюдение.

Я согласился. Старик похлопал меня по плечу.

— Разрешите дать вам стариковский совет. Берегите любовь, как драгоценную вещь. Один раз плохо обойдетесь с любовью, так и последующая будет у вас обязательно с изъяном. Да-с! С изъяном! Ну, ступайте. Рад был познакомиться.

Я вышел из барака и увидел Лелю. Она сидела неподалеку на скамье под покосившимся деревянным грибом,— такие грибы делают в лагерях для часовых.

Я подошел к ней, Леля наклонилась и закрыла лицо руками.

— Нет, нет, нет! — быстро сказала она, не отнимая рук, и затрясла головой.— Какая я феноменальная дура! Ненавижу себя! Уйдите, пожалуйста.

— Я остаюсь,— сказал я.— Вместе поедем в Барановичи.

Леля отняла руки от лица и встала. На щеках ее виднелись следы от пальцев.

— Пойдемте! — сказала она, взяла меня за руку, и мы пошли по шоссе.

Мы прошли до первого верстового столба и вернулись. Дул ветер, рябили лужи. Снова с запада неслись тучи, загромождая сырой горизонт.

Мы шли, держась за руки, и молчали. Леля только сказала, что после Одессы она тут же поехала в Москву и добилась, чтобы ее перевели в полевой госпиталь на Западный фронт.

Зачем она это сделала, она не объяснила. Но все было понятно, и ни ей, ни мне не хотелось говорить. Мы знали, что любые слова, даже самые умные и самые нежные, прозвучат неверно и что еще нет тех слов, какие могут выразить то щемящее чувство близости вчера еще чужого человека, какое родилось сейчас у нас обоих.

В два часа дня госпиталь снялся. Потянулись одна за другой санитарные фуры. За ними тащился на своей фурманке Василь. Косматый пес, привязанный к фурманке, старательно бежал сзади.

Я ехал рядом с санитарной повозкой. В ней сидели Леля и пожилая сестра в золотых очках. Иногда я отставал и подъезжал к фурманке Василя, чтобы узнать, что с Зосей. Она приветливо кивала и говорила, что ей хорошо. Но Василь был угрюм,— должно быть, он соображал, что делать дальше. Удастся ли ему догнать земляков или так и придется одному маяться в Белоруссии среди чужих людей.

Верстах в двадцати не доезжая Барановичей, на шоссе стояло несколько вооруженных солдат и около них офицер на забрызганной грязью лошади.

Офицер поднял руку. Обоз остановился.

Офицер подъехал к главному врачу и, отдавая честь, начал о чем-то докладывать. Главный врач хмуро смотрел на него, покусывая усы.

Что-то тревожное было в этом разговоре врача с офицером. Все насторожились.

Но вскоре выяснилось, что в соседней деревне — ее было видно с шоссе — много больных беженцев и офицер просит, по распоряжению начальника штаба корпуса, отправить в деревню часть медицинского персонала, чтобы оказать им первую помощь.

Врач согласился. От обоза отделилось три повозки.

— Вы с нами,— сказала мне Леля.— Ваше прямое дело помогать беженцам. К вечеру догоним лазарет в Барановичах.

— Поедем.

Мы свернули на боковую дорогу. Госпитальный обоз тронулся дальше. Василь долго стоял на шоссе и смотрел нам вслед. Казалось, он раздумывал, не поехать ли с нами. Но потом он дернул вожжи, крикнул на лошадей, и фурманка тронулась по дороге на Барановичи.

В километре от шоссе мы увидели в кустах солдат с винтовками и пулеметом.

— Неужели немцы так близко? — испуганно спросила пожилая сестра в золотых очках.— Спросите их, пожалуйста.

Я подъехал к солдатам.

— Проезжайте! — ответил мне солдат с ефрейторскими нашивками и даже не взглянул на меня.— Вам разрешается. А вообще, не велено ни с кем разговаривать. И останавливаться никому тут не велено.

Мы проехали. Видна была уже околица. Пошел дождь. Нищая деревня была похожа отсюда на расползшуюся кучу навоза.

— Похоже, что ждут немцев,— сказал я Леле.

Я посмотрел на запад, откуда могли появиться немцы, и увидел на пажити, уходившей вниз, к оврагу, сторожевое охранение. Солдаты сидели и лежали длинной цепью, но довольно далеко друг от друга. Ну, так и есть!

— Да то не от немцев,— сказал санитар-возница.— То щось другое. Вон, глядите сюда!

Он показал на восток. Там тоже виднелись солдаты.

— Все село оцеплено! — сказал встревоженно санитар.— Кругом все село. Щось неладное я чую, сестрицы.

— Что неладное?

— Да я сам нияк не пойму. Только зря мы сюда затесались. Вовсе зря!

Санитар оказался прав. Мы въехали в безлюдную деревню. У околицы стояла пустая двуколка Красного Креста из незнакомого летучего отряда. От возницы этой двуколки мы узнали ошеломляющее известие, что мы — в западне.

В деревне была черная оспа. Вокруг шла армия и валили по дорогам, застревая на время около попутных сел, тысячи беженцев. Оспа могла переброситься в армию. Поэтому было приказано направить в деревню летучий санитарный отряд, деревню оцепить и никого из нее не выпускать. По каждому, кто попытается уйти из деревни, было приказано открывать огонь.

Офицер, остановивший нас на шоссе, ничего не сказал о черной оспе.

Первое чувство, которое мы испытали, было возмущение. Не тем, что нас поймали в ловушку, а тем, что заманили в деревню обманом, тогда как никто, конечно, не отказался бы добровольно работать па оспе.

— Непроходимая глупость,— сказала раздраженно Леля.— Если бы нас пе обманывали, мы бы захватили всё, что нужно для оспы. А сейчас у нас ничего нет. Даже вакцины!

— Да еще неизвестно, дурость тут или нет,— заметил возница.

— Ты что это городишь? — рассердилась сестра в золотых очках, Вера Севастьяновна.

— А бис их знает,— пробормотал возница.— У начальства на все есть своя думка. Начальство всегда дуже хитрое.

В хатах останавливаться было нельзя — всюду лежали больные. Только один пустой стодол стоял на выгоне. Там разместилась чужая летучка. Мы перенесли в стодол свои медикаменты и вещи.

В чужой летучке работали врач, сестра и два санитара. Мы застали в стодоле только сестру — безбровое суще-

ство с надутым лицом. Трудно было добиться от нее хотя бы нескольких слов.

— Ну и летучка, матери ее черт! — говорили наши санитары.— Прямо погребальное братство!

Мы распаковали в стодоле медикаменты. Пришел врач из летучки. Это был еще не старый, но обрюзгший, заросший черной щетиной человек с заплывшими глазами.

— Здравствуйте пожалуйста! — сказал он, увидев нас. Казалось, он был неприятно поражен этой встречей.— Вы имеете понятие, куда вы попали?

— На черную оспу,— ответил я.

— Вот именно! А вы знаете, что такое черная оспа, молодой человек? Вы ее видели своими глазами?

— Нет, не видел.

— Честь имею вас поздравить со днем ваших именин! У вас есть вакцина? Нет! Здравствуйте пожалуйста! Что же вы собираетесь здесь делать? Заводить граммофон? Слушать Вяльцеву?

Мы удрученно молчали.

— Что касается меня,— сказал врач,— то хватит! Я не намерен больше валять дурака.

— Как вы можете так говорить! — возмутилась Леля.

— Мадемуазель! — врач сощурил глаза от злости.— Не горячитесь! Это вам очень идет. Вы становитесь в гневе совершенно прелестной,— но и только. Повторяю — и только! Это пуф! Бессмысленные милые звуки. Мы с вами в капкане. Как это у Пушкина сказано: «Ах, попалась, птичка, стой, не уйдешь из сети»? Кажется, так?

— Вы паясничаете, доктор,— сказала брезгливо Леля.— Это просто противно.

— Смейся, паяц! — пропел доктор и рассмеялся.— А что же мне остается делать? Может быть, вы подскажете мне выход из этого дерьмового положения?

— Он пьян! — сказала Вера Севастьяновна.

— Здравствуйте пожалуйста, пьян! — спокойно ответил врач, ничуть не обижаясь.— Морфий у вас есть?

— Очень мало. Но камфары много.

— Если бы был морфий, я бы усыпил всех. И баста!

— Довольно этой дурацкой болтовни! — сказал я грубо.— Давайте нам все, что у вас есть. Мы сами будем работать.

— Пожалуйста! Сделайте одолжение! Милости просим! — театрально воскликнул врач.— Я отдам вам всю

вакцину. Прививайте уже заболевшим. Потому что они все здесь больные. Это будет замечательный медицинский эксперимент.

— Знаете что,— сказал я и подошел к нему.— Замолчите, или я вас выкину отсюда, несмотря на то что вы капитан. Здесь-то уж нет никаких законов.

— Совершенно верно,— согласился врач.— Законов нет. Как в чумном городе. Берите вакцину! Действуйте! А я хочу спать. Я не спал двое суток. Это тоже надо иногда принимать во внимание, господа идеалисты.

Он пошел в угол стодола, повалился на солому и, уже засыпая, натянул на себя шинель.

— Пусть спит, бог с ним,— примирительно сказала Вера Севастьяновна.— Сестра, дайте нам вашу вакцину.

— Напишите расписку,— ответила сестра. Она, казалось, не обратила внимания на наш разговор с врачом.

Я написал расписку, и сестра выдала нам вакцину.

— Ну как? — шепотом спросила меня Леля.

— Что как? — ответил я.— Дело неважное. Вы побудьте здесь, а я сначала обойду с санитаром хаты. Посмотрю, что там.

— Нет! Я вас одного не пущу. И не потому, что я без вас не могу.— Она слегка покраснела.— Нет! Просто вместе нам всем не будет так страшно.

Мы вышли вчетвером — Вера Севастьяновна, Леля, я и санитар.

Серый дождь застилал поля. Как черные переломанные кости, валялась на огородах картофельная ботва. Была уже осень. Ноги расползались в раскисшей глине, смешанной с навозом и прелой соломой.

Ни одного дымка не подымалось над халупами. Но все же сильно пахло чадом, как от паленых перьев.

На задах деревни у околицы тлела куча перегоревшего тряпья. Чад шел от этой кучи.

— То жгут всякие шмутки с больных,— заметил санитар.— Называется дезинфекция! — насмешливо добавил он, помолчав.

В деревне не было ни собак, ни кур. Только в одном из стодолов мычала недоеная корова. Мычала тягуче, захлебываясь слюной.

— Да,— сказала вдруг Вера Севастьяновна.— Вроде как Дантов ад.

Мы вошли в первую же хату. В сенях Леля повязала нам всем на рот марлевые повязки.

Я открыл дверь из сеней в хату. В лицо хлынула теплая вонь.

Окна в избе были завешены. В первую минуту ничего нельзя было разобрать. Был слышен только монотонный детский голос, говоривший без перерыва одни и те же слова: «Ой, диду, развяжить мне руки», «Ой, диду, развяжить мне руки».

— Ни к чему не прикасайтесь! — приказала Вера Севастьяновна.— Посветите, пожалуйста!

Я зажег электрический фонарь. Сначала мы ничего не увидели, кроме поломанной деревянной кровати, заваленной кучей заношенных вещей. С печи свисали чьи-то ноги в постолах. Но самого человека не было видно.

— Кто тут есть живой? — спросил санитар.

— А я и сам не знаю,— ответил с печки старческий голос,— чи я живой, чи мертвый.

Я посвятил на печку. Там сидел старик в коричневой свитке, с клочковатой, будто выщипанной бородой.

— Хоть люди в халупу зашли — и то спасибо,— сказал он.— Поможить мне, солдатики, я то я его сам не вытягну.

— Кого?

— Да вот он лежит коло меня, дочкин муж. Со вчерашнего вечера. То был жаркий, як печка, а сейчас доторкался до него, и то неприятно — захолодал вельми.

— Боже мой! — тихо сказала Леля.— Что же это такое?!

Куча тряпья на кровати зашевелилась, и детский голос опять заныл:

— Ой, диду, я уж не можу больше. Развяжить мне руки.

— Там на печке все кончено,— сказала Вера Севастьяновна.— Светите сюда.

Я осветил кровать, и мы увидели глаза. Огромные, блестящие от жара, черные глаза и пунцовый румянец на щеках.

Под тряпьем лежала девочка лет десяти.

Я осторожно сбросил с нее тряпье. Девочка затрепыхалась, изогнулась и вытянула перед собой руки, связанные рваным полотенцем.

Рубашка на груди у нее спустилась, и я впервые уви-

дел черную оспу — багровые пылающие пятна с черными точками, похожими на присохший деготь. Пятна казались наклеенными на зеленоватую кожу девочки.

Девочка замотала головой. Темные ее волосы рассыпались. Из них торчала красная мятая ленточка.

Санитар принес из сеней холодной воды. Он все сокрушался, что больным связывают руки, чтобы они не расчесывали язвы.

— Ой, яка ж это мука,— говорил он вполголоса.— И за что такое палачество людям!

Леля дала девочке напиться. Я поддерживал девочке голову. Даже сквозь кожаные перчатки чувствовался сухой жар ее худенького затылка.

— Дайте камфару! — сказала Вера Севастьяновна.

В хате запахло эфиром.

После камфары девочке впрыснули морфий. Леля вытерла ей лицо душистым уксусом.

— Ну что ж,— сказал мне санитар,— давайте снесем того мертвого.

Леля взяла меня за руку, но тотчас отпустила. Глаза ее умоляли, чтобы я не прикасался к мертвому, но она сказала:

— Только помните... Ну хорошо, хорошо!

Мертвый лежал на рядне. Мы стащили его, взявшись за концы рядна, стараясь не прикасаться к трупу. Все-таки мы уронили его, но уже на пороге.

— Киньте его в стодол,— посоветовал нам старик.— Там уже двое лежат.

Дверь стодола была подперта вилами. Внутри на земляном полу лежала лицом вниз старуха и рядом с ней девочка лет пяти.

— Ой, война, война! — сказал санитар.— Взять бы цих генералов да политиков да в этот гной — носом! Катюги проклятые.

Мы вернулись в хату. Надо было ее проветрить, но на дворе было уже холодно, как перед первым снегом.

— Печку бы истопить,— предложил санитар,— так и то кругом все пожгли. Немае ни одного полена.

Он ушел во двор, и было слышно, как он отдирает, чертыхаясь, доски от крыльца.

Мы открыли двери, затопили печь.

— Дед,— сказала Вера Севастьяновна.— Слезай. Сделаем тебе прививку.

— А па что,— ответил равнодушно дед.— Да я ж не выживу. Все одно с голодухи помру. Зря только медикаменты на меня стратите.

Но все-таки мы сделали ему прививку, проветрили хату и ушли, пообещав деду прислать хлеба.

Дальше пошло все хуже и хуже. Мы работали, стиснув зубы и не глядя друг на друга. Санитар вполголоса матерился, но никто не обращал на это внимания.

Казалось, что всё вокруг — это черная оспа, принявшая самые разные формы.

— Все это бесполезно,— сказала наконец Вера Севастьяновна.— Никого спасти мы не можем. Здесь никогда не было прививок. И этот балаганщик, врач из летучки, конечно, был прав.

— Но как же так? — спросила Леля.— Что же делать?

— Самим не заразиться. И только.

— Ну, а с больными?

— Морфий,— коротко ответила Вера Севастьяновна.— Чтобы поменьше мучились.

Санитар сплюнул и длинно выругался.

Мы вернулись в стодол, и Вера Севастьяновна сделала всему персоналу прививки.

Потянулось темное, томительное время.

Мы ходили по хатам, впрыскивали морфий, поили умирающих водой и с безмолвным отчаянием следили, как заболевали те немногие, которым болезнь дала отсрочку.

Трупы мы стаскивали в стодолы. Врач из летучки приказал сжигать эти стодолы. Каждый раз он распоряжался этим делом сам и очень при этом оживлялся.

Санитары обкладывали стодолы соломой и поджигали. Загорались они медленно, но горели жарко, распространяя тяжелый дым.

Стодол пропах карболкой. Наши руки были сожжены карболкой до того, что их нельзя было помыть. От воды они невыносимо болели.

По ночам было легче. Мы лежали вповалку на соломе, укрывшись шинелями и кошмами. К половине ночи мы согревались, но спали плохо.

Врач притих и вполголоса рассказывал о своей семье в Бердянске, о жене — бережливой хозяйке — и сыне — самом сообразительном мальчике на свете.

Но никто его не слушал. Каждый думал о своем.

Я лежал между Лелей и молчаливым веснушчатым санитаром — поляком по фамилии Сырокомля. Он часто плакал по ночам. Мы знали, что на фронте плачут только о навсегда потерянных любимых людях. Но все молчали, и никто даже ни разу не попытался утешить его. Это были бесполезные слезы. Они не облегчали горя, а, наоборот, утяжеляли его.

И Леля иногда тоже беззвучно плакала по ночам, крепко держа меня за руку. О том, что она плачет, я догадывался по легкому содроганию ее тела.

Тогда я осторожно гладил ее волосы и мокрые щеки. Она в ответ прижималась горячим лицом к моей ладони и начинала плакать еще сильнее. Вера Севастьяновна говорила:

— Леля, не надо. Не ослабляйте себя.

Эти слова действовали. Леля успокаивалась.

Леля все время натягивала на меня сползавшую шинель. Ни разу мы не говорили с ней ночью. Мы лежали молча и слушали шорох соломы под стрехой.

Изредка до стодола доходил отдаленный орудийный гул. Тогда все подымали головы и прислушивались. Хоть бы скорее подошел фронт!

Не помню, на какую ночь Леля тихо сказала мне:

— Если я умру, не сжигайте меня в стодоле.

Она вздрогнула всем телом.

— Глупости! — ответил я, взял ее руку и почувствовал, что у меня дернулось сердце. Рука у Лели была как ледышка. Я потрогал лоб — он весь горел.

— Да,— горестно сказала Леля.— Да... Я заметила еще вчера. Только не оставляйте меня одну, милый вы мой человек...

Я разбудил Веру Севастьяновну и врача. Проснулись и все санитары.

Зажгли фонари. Леля отвернулась от света.

Все долго молчали. Наконец Вера Севастьяновна сказала:

— Надо вымыть, продезинфицировать и протопить соседнюю хату. Она пустая.

Санитары, переговариваясь и вздыхая, вышли из стодола. Врач отвел меня в сторону и прошептал:

— Я сделаю все, что в моих силах. Понимаете? Все!

Я молча пожал ему руку. Леля позвала меня.

— Прощайте! — сказала она, глядя на меня со стран-

ной тихой улыбкой.— Хоть и недолго, но мне было очень хорошо... Очень. Только сказать об этом было нельзя...

— Я буду с вами,— ответил я.— Я не уйду от вас, Леля.

Она закрыла глаза и, как там, в лагере на скамейке, затрясла головой.

Сколько бы я ни напрягал память, я не могу сейчас связно вспомнить, что было потом. Я помню только урывками.

Помню холодную избу. Леля сидела на койке, Вера Севастьяновна раздевала ее. Я помогал ей.

Леля сидела с закрытыми глазами и тяжело дышала. Я впервые увидел ее обнаженное девичье тело, и оно показалось мне драгоценным и нежным. Дико было подумать, что эти высокие стройные ноги, тонкие руки и трогательные маленькие груди уже тронула смерть.

Все было дорого в этом лихорадочно беспомощном теле — от волоска на затылке до родинки на смуглом бедре.

Мы уложили Лелю. Она открыла глаза и внятно сказала:

— Платье оставьте здесь. Не уносите!

Я и Вера Севастьяновна все время были около нее. К ночи Леля как будто забылась.

Она почти не металась и лежала так тихо, что временами я пугался и наклонялся к ней, чтобы услышать ее дыханье.

Ночь тянулась медленно. Не было вокруг никаких признаков, по которым можно было бы понять, скоро ли утро,— ни петушиных криков, ни стука ходиков, ни звезд на непроглядном небе.

К рассвету Вера Севастьяновна ушла в стодол, чтобы прилечь на часок.

Когда за окнами начало смутно синеть, Леля открыла глаза и позвала меня. Я наклонился над ней. Она слабо оттолкнула меня и долго смотрела мне в лицо с такой нежностью, с такой печалью и заботой, что я не выдержал, у меня сжалось горло, и я заплакал,— впервые за долгие годы после своего полузабытого детства.

— Не надо, братик мой милый,— сказала Леля. Глаза ее были полны слез, но они не проливались.— Поставьте на табурет кружку... с водой. Там... в стодоле... есть клюквенный экстракт. Принесите... Мне хочется пить... Что-нибудь кислое...

Я встал.

— Еще...— сказала Леля.— Еще я хочу... счастье мое единственное... не надо плакать. Я всех забыла... даже маму... Один вы...

Я рванулся к двери, принес Леле воды и быстро вышел из халупы. Когда я вернулся из стодола с клюквенным экстрактом, Леля спокойно спала, и ее лицо с полуоткрытым ртом поразило меня неестественной бледной красотой.

Я опоздал со своим экстрактом. Леля, не дождавшись меня, выпила воду. Она немного расплескала ее на полу около койки.

Я не помню, сколько времени я сидел около Лели и охранял ее сон. В оконце уже вползал мутный свет, когда я заметил, что Леля не дышит. Я схватил ее руку. Она была холодная. Я никак не мог найти пульс.

Я бросился в стодол к Вере Севастьяновне. Врач тоже вскочил и побежал с нами в хату, где лежала Леля.

Леля умерла. Вера Севастьяновна нашла под ее платьем на табурете коробочку от морфия. Она была пустая. Леля услала меня за клюквенным экстрактом, чтобы принять смертельную дозу морфия.

— Ну что ж,— промолвил врач,— она заслужила легкую смерть.

Вера Севастьяновна молчала.

Я сел на пол около койки, спрятал голову в поднятый воротник шинели и просидел так не помню сколько времени. Потом я встал, подошел к Леле, поднял ее голову и поцеловал ее глаза, волосы, холодные губы.

Вера Севастьяновна оттащила меня и приказала сейчас же прополоскать рот какой-то едкой жидкостью и вымыть руки.

Мы выкопали глубокую могилу на бугре за деревней, около старой ветлы. Эту ветлу было видно издалека.

Санитары сколотили гроб из старых черных досок.

Я спял с пальца у Лели простое серебряное колечко и спрятал его в свою полевую сумку.

В гробу Леля была еще прекраснее, чем перед смертью.

Когда мы закапывали могилу, послышались винтовочные выстрелы. Их было немного, и они раздавались через равные промежутки времени.

В тот же день мы узнали, что никакого оцепления нет.

Оно ушло, не предупредив нас. Может быть, эти выстрелы и были предупреждением, но мы не поняли этого.

Мы тотчас же ушли из деревни. Вокруг было пусто.

Когда мы отъехали с полверсты, я остановился и повернул коня. Позади в слабом тумане, в хмуром свете осеннего дня был виден под облетевшей ветлой маленький крест над могилой Лели — все, что осталось от трепещущей девичьей души, от ее голоса, смеха, ее любви и слез.

Вера Севастьяновна окликнула меня.

— Поезжайте,— сказал я.— Я вас догоню.

— Даете честное слово?

— Поезжайте!

Обоз тронулся. Я все стоял, не слезая с коня, и смотрел на деревню. Мне казалось, что если я чуть двинусь, то порвется последняя нить жизни, я упаду с коня, и все будет кончено.

Обоз несколько раз останавливался, поджидал меня, потом скрылся за перелеском.

Тогда я вернулся к могиле. Я соскочил с коня и не привязал его. Он тревожно раздувал ноздри и тихонько ржал.

Я подошел к могиле, опустился на колени и крепко прижался лбом к холодной земле. Под тяжелым слоем этой мокрой земли лежала молодая женщина, родившаяся под счастливой звездой.

Что же делать? Гладить рукой эту глину, что прикасается к ее лицу? Разрыть могилу, чтобы еще раз увидеть ее лицо и поцеловать глаза? Что делать?

Кто-то крепко схватил меня за плечо. Я оглянулся.

За мной стоял санитар Сырокомля. Он держал за повод серого коня. Это был конь врача из летучки.

— Пойдемте! — сказал Сырокомля и смущенно взглянул на меня светлыми глазами.— Не надо так!

Я долго не мог попасть ногой в стремя. Сырокомля поддержал мне его, я сел в седло и поехал шагом прочь от могилы по свинцовым холодным лужам.

БУЛЬДОГ

В Барановичах я отряда не застал. Он уже ушел дальше, на Несвиж. Так мне сказал комендант.

Мне не хотелось даже на короткое время возвращаться в госпиталь. Трудно было встречаться с людьми.

Я переночевал под городом в путевой железнодорожной будке по дороге на Минск, а утром выехал в Несвиж.

Коня я не торопил. Он шел шагом, иногда даже останавливался и о чем-то думал. Или просто отдыхал. Отдохнув, он снова шел дальше, помахивая головой.

Был свежий осенний день без дождя, но с сизыми тучами. Они низко лежали над землей.

Днем я добрался до какого-то местечка. Я не помню его названия. Я решил остаться в нем до завтрашнего утра. Отступление замедлилось, и наш отряд не мог уйти дальше Несвижа. Я был уверен, что завтра его догоню.

Местечко теснилось в котловине на берегу большого пруда. В конце его у старой мельничной плотины шумела вода. Шум ее был хорошо слышен повсюду. Над прудом стояли, наклонившись, темные ивы, и казалось, что они вот-вот потеряют равновесие и упадут в глубокую воду.

Я расспросил старух евреек, где бы мне остановиться на ночь. Мне показали старую корчму — дощатый дом весь в щелях, пропахший керосином и селедкой.

Владелец корчмы, низенький еврей с копной рыжих волос на голове, сказал, что у него есть, конечно, место, где переночевать, в каморке, но там уже остановился артиллерийский офицер и как бы нам не было тесно.

Он провел меня в узкую, как гроб, каморку. Офицера там не было, но стояла его походная койка. Оставалось место как раз для второй койки, но проход между ними был так узок, что сидеть на койках было нельзя.

— Вот тут и ночуйте! — сказал корчмарь.— У нас тихо, клопов нет — ни боже мой! Можно сготовить яичницу или, если пан любит, закипятить молоко.

— А как же офицер? — спросил я.— Согласится?

— Ой, боже ж мой! — закричал корчмарь.— Это же смех! Двойра, ты слышишь, что они спрашивают! Это не офицер. Это божий серафим.

Я поставил коня в сарай, задал ему корму и пошел в местечко.

Мне не хотелось ни говорить самому, ни слушать других. Каждое сказанное или выслушанное слово увеличивало расстояние между Лелей и мной. Я боялся, что боль притупится, постареет. Я берег ее, как последнее, что осталось от недавней любви.

Единственное, что не раздражало и от чего мне не хотелось скрыться, уйти,— это стихи. Они возникали неве-

домо почему и неведомо откуда из глубины памяти, и их утешительный язык не был навязчивым и не причинял боли.

Я пошел к пруду, сел на берегу под ивой и слушал, как шумит в гнилом лотке вода.

К вечеру облака покрылись слабым желтым налетом. Где-то за пределами земли просвечивало скудное солнце. Желтое небо отражалось в воде. Под ивами было темно и сыро.

Неожиданно я вспомнил давно прочитанные стихи:

> Свой дом у черных ив открыл мне старый мельник
> В пути моем ночном...

Ничего особенного не было в этих словах. Но вместе с тем в них было целебное колдовство. Одиночество ночного пути вошло в меня как успокоение.

Но тут же я сжал голову руками,— далекий милый голос сказал знакомые слова откуда-то издалека, из промозглых обветренных пространств. Там сейчас густые сумерки над брошенной могилой. Там осталась девушка, с которой я не должен был бы расставаться ни на один час в жизни. Я хорошо слышал слова: «Нет имени тебе, весна. Нет имени тебе, мой дальний». Это были ее любимые стихи. Я говорил их сейчас сам, но звуки моего голоса доходили до меня, как отдаленный голос Лели. Но его ведь никто и никогда больше не услышит. Ни я и никто другой.

Я встал и пошел в поле за местечко.

Сумерки заполнили весь воздух между небом и порыжелыми полями. Уже плохо было видно дорогу, но я все шел и шел. В стороне Лунинца поднялось тусклое зарево. На севере в полях зажглась над одинокой и темной хатой белая звезда.

«Счастливая звезда! — подумал я.— Она поверила в нее за несколько дней до смерти».

Нет, никогда человек не сможет примириться с исчезновением другого человека!

В корчму я возвратился в темноте. В каморке уже была приготовлена для меня койка. На соседней койке лежал офицер-артиллерист с темным лицом и выгоревшими бровями. Он читал при свече книгу.

Когда я вошел, из-под койки офицера раздалось хриплое ворчанье.

— Тубо, Марс! — крикнул офицер, приподнялся и протянул мне руку.— Поручик Вишняков. Очень рад соседу. Как-нибудь тут проспим до утра?

Он сказал эти слова неуверенным тоном.

— Двойра! — крикнул за стеной корчмарь.— Спытай господ офицеров, чи, может, они хотят покушать.

Я есть не хотел. Я только выпил чаю и тотчас лег. Сосед мой оказался человеком молчаливым. Это меня успокоило.

Из-под его койки вылез большой желтый бульдог, подошел ко мне и долго и внимательно смотрел в лицо.

— Это он просит сахару,— сказал офицер.— Не давайте. Привык попрошайничать. Мученье на фронте с собакой. Но бросить жалко — сторож прекрасный.

Я погладил бульдога. Он взял зубами мою руку, минуту подержал, чтобы напугать меня, потом выпустил. Пес был, видимо, общительный.

Я долго лежал, закрыв глаза. Еще с детства я любил так лежать, прикинувшись спящим, и выдумывать всякие необычайные случаи с собой или путешествовать с закрытыми глазами по всему миру.

Но сейчас мне не хотелось ни выдумывать, ни путешествовать. Я хотел только вспоминать.

И я вспоминал все пережитое вместе с Лелей и досадовал, что так долго мы жили рядом, но были далеки друг от друга. Только в Одессе, на Малом Фонтане, все стало ясным и для меня и для нее. Нет, пожалуй, раньше, когда мы сидели в бедной польской хате над рекой Вепржем и слушали сказку о жаворонке с золотым клювом. Нет, должно быть, еще раньше, в Хенцинах, когда лил дождь и Леля всю ночь сидела на табурете около моей койки.

Потом я вспомнил о Романине. Что случилось с ним? Почему он стал со мной так груб? Должно быть, в этом была моя вина. Я понимал, что мог раздражать его своей уступчивостью,— ее он называл расхлябанностью,— своей склонностью видеть хорошее иногда даже во враждебных друг другу вещах — он называл это бесхребетностью. Для него я был «развинченным интеллигентом», и мне это было тем обиднее, что Романин только по отношению ко мне был так пристрастен и несправедлив. «Честное слово,— говорил я себе,— я совсем не такой». Но как доказать ему это?

Ночью меня разбудил грохот окованных колес. Через местечко проходила артиллерия. Потом я задремал, может быть, даже уснул.

Проснулся я от страшного мутного воя в каморке. В первую секунду я подумал, что это воет бульдог. Соседняя койка трещала и тряслась.

Я зажег свечу. Мычал и выл офицер. Его подбрасывало, и изо рта у него текла желтая пена.

Это был припадок эпилепсии, падучей болезни. Таких припадков я видел много еще в тыловом санитарном поезде и знал, что в таких случаях следует делать.

Надо было засунуть в рот офицеру ложку и прижать язык, чтобы он не откусил его или не подавился им.

Стакан с холодным чаем стоял на подоконнике. В стакане была ложка. Я схватил ее и хотел засунуть офицеру в рот, но было так тесно и он так сильно бился и изгибался, что мне это никак не удавалось.

Я сильно прижал офицера за плечи, но тут же почувствовал резкую боль в затылке. Что-то тяжелое повисло на моей спине. Еще ничего не понимая, я встряхнул головой, чтобы сбросить эту тяжесть, и тогда наконец ясно ощутил острые клыки, впившиеся в мою шею.

Бульдог бесшумно бросился на меня сзади, защищая хозяина. Он, очевидно, думал, что я душу его.

Бульдог сделал глотательное движение сжатыми челюстями. Кожа у меня на шее натянулась, и я понял, что через секунду потеряю сознание.

Тогда последним усилием воли я заставил себя вытащить из-под подушки браунинг и выстрелил назад около своего уха.

Я не слышал выстрела. Я только услышал тяжелый удар упавшего тела и оглянулся. Бульдог лежал на полу. Кровь текла у него из оскаленной морды. Потом он судорожно дернулся и затих.

— Ратуйте! — закричал за стеной корчмарь.— Ратуйте, люди!

— Тихо! — крикнул я ему.— Идите сюда! Мне надо помочь.

Корчмарь пришел в одном белье с толстой свечой в серебряном подсвечнике. Глаза у корчмаря побелели от страха.

— Держите его,— сказал я корчмарю.— Я засуну ему в рот ложку, иначе он может откусить язык. Это падучая.

Корчмарь схватил офицера за плечи и навалился на него. Я засунул ложку в рот и повернул ее ребром. Офицер зажал ложку с такой силой, что у него скрипнули челюсти.

— Пане, у вас кровь на спине,— тихо сказал мне корчмарь.

— Это собака. Она бросилась. Я застрелил ее.

— Ой, что ж это делается на свете! — закричал корчмарь.— До чего довели люди людей!

Офицер как-то сразу обмяк и затих. Припадок кончился.

— Теперь он будет спать несколько часов,— сказал я.— Надо убрать собаку.

Корчмарь унес бульдога и закопал его на огороде. Пришла Двойра — худая женщина с добрым, покорным лицом. Я достал из сумки индивидуальный пакет, и Двойра промыла и перевязала мне ссадины на шее.

Я сказал корчмарю, что не хочу встречаться с офицером и, как только начнет светать, тотчас уеду.

— Таки и верно! — согласился корчмарь.— И ему невесело, и вам неприятно, хоть и нет виноватого в этом деле. Идемте к нам. Двойра, становь самовар. Попейте чайку на дорогу.

Когда я пил жидкий чай на половине у корчмаря, Двойра сказала:

— Подумать только! Еще минута, и он бы вас задушил. Я прямо вся трясусь, как вспомню.

Шея болела. Трудно было повернуть голову.

— Теперь жизнь не жизнь! — сказал корчмарь и вздохнул.— И копейка совсем не копейка, а мусор. Вот бы приехали вы до нас в мирное время. Каждый день имел свой порядок и свое удовольствие. Я открою утречком рано корчму, подъезжают на фурах добрые люди — кто на базар, а кто на мельницу. Я их всех знаю кругом на пятьдесят верст. Заходят до корчмы и кушают и пьют — кто чай, а кто горилку. И весело смотреть, как люди кушают простую пищу: хлеб, или лук, или колбасу и помидоры. И идет хороший разговор. Про цены, про урожай и помол, про картофлю и сено. И я знаю еще про что! Про все на свете. Тихое время для души, а за грошами я никогда не гнался. Абы было прожить да хватило на кербач господину исправнику. У меня была одна думка — дать детям образование. Так они уже получают его, это обра-

зование, солдатами в армии. Все пошло в помол, вся наша жизнь.

Начало светать. Густой туман лежал над землей. Деревья в тумане казались больше, чем они были на самом деле. Туман предвещал ясный день.

Я попрощался с корчмарем. Он попросил, чтобы я оставил записку офицеру. Я написал: «Извините. Я вынужден был застрелить вашу собаку».

Когда я отъехал от местечка несколько верст, взошло солнце. Все блестело от росы. Ржавые рощи были освещены ранним солнцем. Издали казалось, что они тлеют темным жаром. Удивительно свежий воздух стоял над землей, будто он был долго заперт и это утро впервые выпустило его на волю.

Я остановил коня, достал из полевой сумки серебряное колечко и надел его на мизинец. Оно показалось мне очень теплым.

Свой отряд я догнал в селе Замирье под Несвижем.

ГНИЛАЯ ЗИМА

В октябре на фронте наступило затишье. Наш отряд остановился в Замирье, вблизи железной дороги из Барановичей в Минск. В Замирье отряд простоял всю зиму.

Ничего более унылого, чем это село, я не видел в жизни. Низкие обшарпанные хаты, плоские, голые поля, и ни одного дерева вокруг.

Этот угрюмый пейзаж дополняли грязные обозные фуры, косматые худые лошади и обозные солдаты, совершенно потерявшие к тому времени «бравый воинский вид». Их облезлые папахи из искусственной мерлушки были драные, наушники на них торчали в стороны, как перебитые птичьи крылья, ватники блестели от сала, шинели были подпоясаны вервием, и почти у каждого обозного торчала во рту, прилипнув к губе, изжеванная махорочная цигарка.

Поздняя осень пришла черная, без света. Окна в нашей хате все время стояли потные. С них просто лило, и за ними ничего не было видно.

Обозы увязали в грязи. В двери дуло. С улицы наносили сапогами липкую глину. От этого в хате всегда было неуютно. Нам с Романиным все это надоело. Мы вымыли

и прибрали хату и никого в нее не пускали без надобности.

Когда я вернулся в отряд, Романин крепко меня обнял, будто между нами не было никаких недоразумений. Очевидно, все это случилось от усталости.

Он отвернулся, чтобы скрыть слезы, и сказал, что я «форменная скотина» и что из-за меня он просто поседел. При этом он показал седой клок волос. Клок этот у него был всегда, но сейчас он, правда, стал белее и больше.

Я рассказал Романину о смерти Лели. Он сидел за столом, долго сморкался, и глаза у него покраснели. Я старался не смотреть на него. Потом он ушел и вернулся пьяный, но тихий. Этого с ним еще никогда не бывало.

Гронского я уже не застал. Он заболел психическим расстройством, и его эвакуировали в Минск.

Вместо Гронского нам прислали нового уполномоченного, известного деятеля кадетской партии и присяжного поверенного Кедрина. Это был низенький старик с седой эспаньолкой и в строгих очках. В серой бекеше он напоминал большую умную крысу. Его так и прозвали «Многоуважаемая крыса».

Говорил он скучно, вежливо, в военных делах был наивен до безобразия, деревни не знал, подлинной жизни не знал, занимался политическими выкладками и «анализом создавшегося положения» и, в общем, торчал в Замирье среди быстро разлагавшихся армейцев, как белая ворона.

Беженцев осталось мало. Большая часть их осела по окрестным селам. Работы у нас не было, и Романин затеял строить в Замирье баню.

Постепенно в постройку бани втянулось множество народа, томившегося без дела. Постройка превратилась в целую эпопею. Из Минска и даже из Москвы приезжали уполномоченные, техники, военные инженеры, специалисты по баням и печам. Романин со всеми спорил, ссорился, даже кой-кого выгонял.

Вшивый тыл ждал бани, как чуда. На Романина смотрели как на отца и благодетеля. Даже обозные солдаты и те козыряли Романину и повиновались ему.

Кедрин по поводу постройки бани произносил за вечерним чаем обширные речи, очень умело построенные, подымавшиеся даже до обобщений. Банное дело не только философски обосновывалось, но и изображалось как одно из звеньев прогрессивной политики кадетской партии, ко-

торая в конце концов осчастливит измученную «матушку-Русь».

Речи Кедрина пестрели цитатами и именами. Он упоминал Туган-Барановского, Струве, даже Лассаля. Такие речи не стыдно было «закатить», как говорил Романин, даже с трибуны Государственной думы.

Но, в общем, все эти кедринские речи давали нам обильную пищу для шуток над престарелым кадетом. Кедрин шутки принимал всерьез и каждый раз сильно волновался.

Меня Романин все время гонял то в Несвиж, то в Мир, то в Слуцк и Минск за материалами для бани.

Однажды в нашей хате появился рыжебородый человек в шинели внакидку. Папаха его непостижимым образом держалась на самом затылке. Глаза смеялись. Голос у рыжебородого был шумный, но приятный.

Он представился специалистом по баням и вошебойкам. Фамилию его никто не знал. Все звали его «Рыжебородым».

Он ворвался в нашу хату, поселился в ней, и с тех пор банный вопрос приобрел неожиданный характер.

Начались разговоры об устройстве римских бань, воспоминания о Сандуновских банях в Москве, о горячих банях в Тифлисе, о том, как превосходно описал их Пушкин, о пушкинской прозе, о прозе вообще — ее Рыжебородый считал «богом искусства»,— о том, чья проза лучше — Пушкина или Лермонтова, о плане «Войны и мира», якобы вкратце набросанном Лермонтовым и попавшем в руки Льву Толстому, о похоронах Толстого в Ясной Поляне, об «Анне Карениной», об охоте Левина на вальдшнепов, вообще об охоте и о чеховской «Чайке». В конце концов обнаружилось, что Рыжебородый бывал у Чехова в Ялте, ставил чеховские пьесы в провинциальных театрах, свободно говорил по-французски и к постройке бань никогда не имел никакого отношения.

Мы никак не могли выяснить его профессию. На прямые вопросы он отвечал стихами Максимилиана Волошина. Эти стихи, по его словам, хорошо выражали сущность его жизни:

Изгнанники, скитальцы и поэты,
Кто жаждал быть, но стать ничем не смог.
Для птиц — гнездо, для зверя — темный лог,
Но посох нам и нищенства заветы.

Через два дня после появления Рыжебородого мы уже не могли себе представить, как можно было жить в проклятом Замирье без этого человека.

Рыжебородый совершенно не считался с Кедриным. Когда Кедрин пускался в нудные свои речи и мешал общему разговору, Рыжебородый говорил с добродушной улыбкой:

— Старик! Погоди! Тебя вызовут.

Иногда, чаще всего по ночам, разговоры приобретали жгучий характер. Говорили о революции.

Романин был настроен по-эсеровски, Кедрин тянул свою кадетскую профессорскую канитель, а Рыжебородый говорил, что и Романина и Кедрина сметет к чертовой бабушке рабочая революция. Все чаще стали повторяться имя Ленина и слово «интернационал».

Когда Рыжебородый говорил, все замолкали. Казалось, был уже слышен гул народных толп, гул революции, накатывающийся на Россию, как океан, смывающий плотины.

Даже Кедрин не прерывал Рыжебородого. Он только протирал трясущимися пальцами очки, страшно фыркал носом, будто продувал его, и вздергивал плечи. Это было у Кедрина выражением наивысшего возмущения, равно как и слово «па-а-звольте!». Его он произносил надменно и вызывающе. Но на этом запал у Кедрина обыкновенно кончался, и он шел спать, что-то сокрушенно бормоча и аккуратно складывая на табурете свое земгусарское обмундирование.

Но однажды, когда к нам в гости пришла сестра из соседнего отряда по прозвищу «Маслина», Кедрин был изобличен в том, что он отчаянный дамский угодник.

Он вытащил из своего чемодана и подарил сестре флакон парижских духов «Коти». Сестра игриво водила глазками и глупо хохотала от счастья. Кедрин семенил около нее, потирая руки, пока Рыжебородый не прикрикнул на него:

— Старик! Уймись! Тебя вызовут!

После Февральской революции Кедрин был одно время комиссаром Временного правительства на Западном фронте. Легко представить себе, сколько он наговорил беззубых и тошнотворных речей. Если солдаты не убили его за это, то просто Кедрину повезло.

Я много ездил в ту зиму по маленьким городам и местечкам. Ездил то верхом, то на поездах.

Тогда Белоруссия выглядела так, как выглядел бы старинный пейзаж, повешенный в замызганном буфете прифронтовой станции. Следы прошлого были еще видны повсюду, но это была только оболочка, из которой выветрилось содержимое.

Я видел замки польских магнатов — особенно богат был замок князя Радзивилла в Несвиже,— фольварки, еврейские местечки с их живописной теснотой и запущенностью, старые синагоги, готические костелы, похожие здесь, среди чахлых болот, на заезжих иностранцев. Видел полосатые верстовые столбы, оставшиеся от николаевских времен.

Но уже не было ни прежних магнатов, ни пышной и бесшабашной их жизни, ни покорных им «хлопов», ни доморощенных раввинов-философов, ни грозных Судных дней в синагогах, ни истлевших польских знамен времен первого «повстания» в костельных алтарях. Правда, старые евреи в Несвиже могли еще рассказать о потехах Радзивилла, о тысячах «хлопов», стоявших с факелами вдоль дороги от самой русской границы до Несвижа, когда Радзивилл встречал свою любовницу — авантюристку Кингстон, о многошумных охотах, пирах, самодурстве и шляхетском чванстве, глуповатой спеси, считавшейся в те времена паспортом на вельможное «панство». Но рассказывали они об этом уже с чужих слов.

А сейчас, во время войны, устоявшийся быт, так же как и эти тусклые воспоминания, стерла до основания война. Она затоптала его, загнала в последние тихие норы, заглушила хриплой руганью и ленивым громом пушек, стрелявших и зимой, только чтобы прочистить горло.

Но в бестолочи и военной сумятице явно выступали черты нового переломного времени, и у людей на сердце было тревожно, как перед медленно идущей грозой.

Зима стояла гнилая. Снег падал и раскисал. И так стоял, раскисший, неделями. Земля была покрыта грязной снежной кашей. Сырые ветры упорно дули из Польши, вороша перепрелую солому на белорусских халупах.

Я любил свои поездки потому, что оставался один. После того, что случилось осенью, я еще не мог избавиться от отчужденности и воспоминаний. Каждодневная жизнь растрепывала по частям и засоряла память о Леле. Я начинал забывать ее голос, и это меня пугало.

Во время этих поездок я с непонятным упорством подвергал себя всяким лишениям: промокал, промерзал до костей, спал в стодолах, а то и просто на земле, почти ничего не ел и только курил одну за другой отсыревшие кислые папиросы.

Любой пустяк вызывал у меня внутреннюю дрожь, печальные мысли и растерянность.

Так было, например, в Молодечно. Я ночевал в пустом нетопленном вагоне третьего класса на запасных путях. Проснулся я на рассвете. Всем знакомы эти тугие зябкие рассветы, неохотно вытесняющие такую же тугую ночь. Хозяева зимы — это ночи, а дни живут зимой, как нахлебники, стараясь поменьше попадаться на глаза.

Я лежал под шинелью на деревянной лавке и даже немного согрелся. На путях заиграл горнист. Должно быть, на станции стоял эшелон. Звук трубы был плачущий, звенящий. Все задрожало во мне, и я вдруг понял, прислушиваясь к плачу трубы, всю беспомощность той среды, к которой я принадлежал, всю мою разлаженную, неприютную и одинокую жизнь. Я вспомнил о маме, братьях, сражающихся где-то на соседних фронтах, о Леле, о том, что сердце ожесточается без заботы, без человеческой ласки.

Где причина этой заброшенности? Я хотел понять ее. Очевидно, в том, что мы пришли в жизнь от книг, от туманной поэзии, от прекраснодушных мыслей, и народ прошел мимо нас равнодушно и даже нас не заметил,— не такие, должно быть, были ему нужны сыновья и помощники.

Как-то в начале декабря я возвращался верхом в Замирье из очередной поездки. Я сбился с пути и выехал на дорогу вблизи передовых позиций.

Был угрюмый вечер. Дорога обледенела. Конь шел шагом, стараясь не поскользнуться. Вскоре стало так темно, что не было видно даже кустов по сторонам.

Впереди я услышал отдаленный грохот. Конь насторожился и заплясал. Я прислушался и узнал знакомый грохот армейского обоза. Хотя он был еще очень далеко, я все же свернул коня на обочину дороги,— всем нам хорошо было известно, как ездили, ни на что не глядя, обозные солдаты.

Внезапно я услышал тонкий свист. Впереди над дорогой лопнула со слабой вспышкой шрапнель. Потом другая, третья. Немцы били по дороге,— это было ясно.

В перерывах между взрывами отчетливо было слышно, что обоз уже мчится галопом. Там, должно быть, началась обычная паника.

Одна шрапнель лопнула рядом. Я не заметил ее. Но что-то случилось с моей левой ногой. Она стала как ватная.

Я быстро опустил руку к сапогу и попал пальцами во что-то жидкое и теплое. Подымая руку, я ощутил в ноге такую боль, будто ее расщепили, схватился за луку седла, но не удержался и упал на дорогу. Должно быть, я упал на раненую ногу, потому что на мгновение потерял сознание.

Когда я пришел в себя, бешеный грохот обоза был уже рядом. Я схватился за стремя и крикнул на коня. И он, храпя и осторожно перебирая ногами, оттащил меня с дороги в придорожную канаву.

Я лежал, держался за стремя, а в двух шагах от моего лица с воплями, свистом и грохотом мчался обоз — храпели обезумевшие лошади и подскакивали кованые колеса. Мне казалось, что этому не будет конца.

Потом все стихло. Конь обнюхал меня и встревоженно заржал. Пять минут я потерял на то, чтобы достать из кармана электрический фонарик и зажечь его. После этого я уже ничего не помню. Очевидно, я опять потерял сознание, а фонарик лежал рядом со мной и светил.

По его свету меня нашли и подобрали солдаты-телефонисты, ехавшие на двуколке в Несвиж, кое-как перевязали, привезли в местечко и сдали в полевой госпиталь.

В госпитале в Несвиже я пролежал около месяца. Рана была легкая, кость не задело. Лежал я один. Раненых не было.

Романин часто приезжал ко мне. Баня была наконец открыта, и Романин сиял.

Раза два приезжала «Многоуважаемая крыса», Кедрин. Он, озираясь, рассказывал мне о Распутине, о «разложении императорского дома», и седая его эспаньолка тряслась от страха и негодования.

В это время на Западный фронт приезжал Николай Второй. Он «посетил» и Замирье. Ко времени его приезда

было приказано привести село в порядок. Это выразилось в том, что из лесу привезли много елок и замаскировали ими самые дрянные халупы.

В больнице я много читал. В то время все увлекались скандинавскими писателями — Ибсеном, Стриндбергом, Гамсуном, Бангом. Я читал Ибсена — этого великого чернорабочего человеческих душ. Потом мне попалась книга Муратова «Образы Италии», и я погрузился в горьковатый воздух музеев и итальянских соборов. Я мысленно видел высокие холмы Перуджии, тонущие в голубоватом тумане и мягко озаренные солнцем.

Я начал читать «Жизнь человека» Леонида Андреева, но отложил эту книгу ради простой и чистой чеховской «Степи».

Началась тоска по России. Чаще всего я вспоминал Брянские леса, как самый счастливый, самый блаженный уголок земли. Я вспомнил лесные овраги, реки и порубки, заросшие молодыми сосенками и березами, пунцовым иван-чаем, белыми шапками серебрянки. Там — золотой край, легкое дыхание, покой. Я хотел этого покоя до слез. Но кто мог дать мне его?

Вскоре я уже начал бродить с костылями, и мне позволили даже выходить в местечко. Я заходил отдохнуть к знакомому часовщику. Со всех сторон осторожно тикали часы, на окне цвела пеларгония, и часовщик, глядя в черную лупу, рассказывал мне местечковые новости.

Мне давали газеты и журналы, чаще всего «Огонек». Я рассматривал в нем однообразные батальные рисунки художника Сварога и десятки фотографий офицеров, погибших на фронте. Газеты были полны неясных намеков на Николая и Алису, Распутина и Горемыкина; черная тень вороньего крыла упала на Россию.

Романин часто присылал мне небольшие посылки — сыр, колбасу, сахар.

Как-то от нечего делать я начал просматривать старую измятую газету. В нее был завернут сыр, и газета была вся в жирных пятнах.

В отделе погибших на фронте было напечатано: «Убит на Галицийском фронте поручик саперного батальона Борис Георгиевич Паустовский», и немного ниже: «Убит в бою на Рижском направлении прапорщик Навагинского пехотного полка Вадим Георгиевич Паустовский».

Это были два моих брата. Они погибли в один и тот же день.

Главный врач госпиталя, несмотря на то что я был еще слаб, отпустил меня. Мне дали санитарную повозку, и она отвезла меня в Замирье. А вечером я выехал из Замирья в Москву, к маме.

ПЕЧАЛЬНАЯ СУЕТА

Мама совершенно высохла, даже стала ниже ростом. Но на лице у нее оставалось прежнее выражение обиды и замкнутого горя, которого никто не в силах понять.

Когда я приехал, со дня смерти братьев прошло больше месяца. Мама плакала редко. Она вообще не была склонна к слезам.

Сестра Галя, когда говорила о братьях, начинала дрожать, но только в отсутствие мамы. При маме она сдерживалась.

К тому времени я уже насмотрелся на человеческое горе и заметил, что люди почти всегда стараются смягчить его. Легче всего в то время это удавалось старикам, верившим во встречу после смерти, в то, что душа умершего уходит в блаженные края.

Что может смягчить горе? Воспоминания, друзья, природа, сознание, что человек оставил после себя добрую память, заботы об оставшихся близких.

У мамы и Гали горе было сухое, замкнутое.

Надо было жить. Маме надо было жить ради Гали, а Гале — ради того, чтобы мама могла о ней, Гале, заботиться.

Я не знал, чем помочь. Я сам был жестоко подавлен этой двойной одновременной смертью. Между нами, братьями, было мало общего. Все мы были очень разные. Но это еще усиливало жалость к ним, уже не живущим.

Избавление пришло случайно. Я спросил Галю, что они с мамой знают об обстоятельствах гибели братьев. Оказывается, они ничего об этом не знали.

— Так надо узнать.

— Как? — спросила Галя.

— Написать в те части, где они служили. Найти их товарищей, найти тех, кто был с ними в день гибели. По-

просить прислать все их письма, дневники, документы — все, что осталось.

Я не подозревал, какое действие окажут эти слова. Появилась цель жизни. Появилась задача.

Галя рассказала об этом маме, и со следующего же дня началась упорная, лихорадочная, не отступающая ни перед чем деятельность.

Галя с мамой писали письма в действующую армию. Они всюду разыскивали сослуживцев Димы и Бори, даже лежавших по лазаретам или освобожденных из армии. Они узнавали фамилии солдат, бывших в подчинении у братьев. Всюду они посылали запросы.

Мама, кроме того, стала хлопотать о пенсии.

Начали приходить ответы. Почти все время у мамы с Галей уходило теперь на их обсуждение, на сопоставление фактов, чтобы точно выяснить обстоятельства гибели братьев, на повторные запросы по поводу неясных мест в полученных письмах.

Дима, оказывается, вел дневник,— всего несколько страниц оборванных записей. Расшифровка этого дневника тоже занимала целые дни.

В переписку было втянуто много людей. Каждый из них хотя и вскользь, но упоминал об обстоятельствах собственной жизни. Так появились новые заочные знакомства, освященные памятью братьев. Жизнь новых знакомых искренне интересовала маму и Галю. Мама, по своей привычке учить людей, как она говорила, «честным и благоразумным поступкам», писала им длинные письма со своими советами, уговорами и ссылками на опыт своей жизни.

Со стороны это было трогательно и тяжело, когда старая несчастная женщина, очутившаяся у разбитого корыта, учила других правильно жить.

Так горе постепенно растворялось в чужих жизнях, в судорожной деятельности, в горькой этой суете. Я был рад этому, хотя и понимал, что скоро придет отрезвление. Что будет тогда?

У моей киевской тетушки Веры Григорьевны была на реке Припяти маленькая лесная усадьба по названию Копань. Тетя Вера давно уже сокрушалась, что усадьба стоит заброшенная и некому заняться хозяйством. Она несколько раз предлагала маме переехать с Галей в Копань, но мама не соглашалась из-за необходимости жить с Димой и Галей в Москве.

Сейчас тетя Вера снова позвала маму с Галей в Копань. Мама охотно согласилась.

Решено было ехать ранней весной. Мама с этой минуты успокоилась и даже повеселела. Наступил просвет.

Мама уже строила планы, как она приведет в порядок усадьбу и добьется с ничтожными затратами такого ее расцвета, какой «Вере с ее безалаберностью, конечно, никогда и не снился».

Обо мне мама не волновалась. Я как-то услышал разговор Гали с мамой.

— Почему Костик спокойнее нас с тобой? — спросила Галя.

— У него другая жизнь,— ответила мама.— Он много ездил, видел и встречался с разными людьми. И у него, конечно, свои интересы. Вечный бродяга! Вроде отца.

В этом отзыве была, конечно, доля осуждения. Отцовская «охота к перемене мест», по мнению мамы, привела к обнищанию и расстройству нашу семью.

Для мамы же существовал только долг. Один долг и ничего сверх этого. Все радости она находила в исполнении самой себе поставленного долга.

А отец, по выражению мамы, «брал жизнь горстями», на что способен, конечно, только безнадежный эгоист.

Такова была мамина жизненная философия в старости.

Для поправки после ранения я получил в Союзе городов отпуск на два месяца. В марте я должен был вернуться в отряд.

А пока мне предложили в том же Союзе городов заняться отправкой из Москвы на фронт медикаментов и продовольствия. Это давало лишний заработок, и я согласился. Надо было накопить денег для маминой поездки в Копань.

Обязанности мои сводились к тому, чтобы нанимать ломовых извозчиков, ездить с ними на склады, получать медикаменты и другие товары, доставлять на товарные станции и сдавать для отправки в отряды Союза городов.

Каждое утро я приходил на Варварскую площадь. Там была биржа ломовиков.

Законы найма были суровые. Ни с кем из ломовиков в отдельности сговариваться было нельзя. За это могли избить.

Ломовики, огромные бородатые мужики в тулупах,— поверх них они еще носили брезентовые фартуки,— зычные ругатели и остряки, стояли толпой на площади. Каждый из них должен был быть на виду у старосты, чтобы не пытался перехватить нанимателя и обмануть артель.

К ломовикам надо было пробираться через стаи откормленных голубей.

Как только появлялся наниматель, староста срывал с себя шапку, все извозчики бросали в нее свои медные номера, и староста, позванивая шапкой, шел навстречу нанимателю.

Наниматель вытаскивал столько номеров, сколько ему нужно было «полков» — ломовых дрог.

До жеребьевки происходил ожесточенный торг, хотя давно были известны освященные десятилетиями цены за перевозку и погрузку.

За месяц этой работы я изучил почти все товарные станции Москвы и множество ее амбаров и складов.

Это был огромный и мало кому известный мир со своими нравами. Впечатление было такое, что крали все — заведующие складами, сторожа, грузчики, извозчики и особенно весовщики на товарных станциях. Извозчики крали открыто, а когда попадались, то применяли испытанный прием — лезли с ошеломляющей руганью в драку. Мало кому хотелось ввязываться в схватку с ражими этими мужиками, связанными к тому же круговой порукой.

Воровали всё, вплоть до старых гвоздей и старых рогож.

Это делалось внизу. А что происходило вверху, об этом можно было только догадываться.

Все темное, мелкое и алчное было взвинчено до истерии примером Распутина. О нем говорили всюду.

Тобольский конокрад, кулак с блудливыми глазами, властвовал над страной, сидел на российском престоле.

— Чем мы хуже Гришки Распутина,— гоготали ломовые извозчики и свистели вслед проходящим женщинам.— Навались, ребята! Тащи, пока есть что брать! Григорий Ефимович за нас постоит. Небось знаем, как ханжу варят, как коней по ярмаркам воруют.

У всей этой банды воров было одно нерушимое святое правило — делиться. Делиться с каждым, кто замешан в краже, давать ему его «законную» долю.

А склады! Я видел огромные подвалы, набитые вещами для армии: папахами, что расползались в руках, продувными шинелями из сукна, похожего на рядно, фуражками, потерявшими всякую форму, с поломанными козырьками и кокардами, бутсами с подошвами из горелой кожи, бязевым бельем, раздиравшим до крови тело,— столько в этой бязи было каких-то колючих остей.

Все это зашивали в пахучие новые рогожки и отправляли на фронт. Пожалуй, рогожи были единственным добротным товаром в этом навале гнилья и брака.

Я не мог дождаться окончания отпуска, чтобы поскорее вернуться в отряд. Издали он стал мне родным и милым. Казалось, что только там, на фронте, собралось все, что было в России здорового и честного, а здесь — все уже сгнило.

И зима в Москве была под стать этим мыслям — с частыми оттепелями, с грязным снегом, моросящими дождями и гололедицей.

Пруды в Зоологическом саду оттаяли. На одном из них пронзительно кричала, как бы спрашивая: «Что же это? Боже мой, что же это?» — какая-то водяная птица. Крик ее был хорошо слышен в квартире.

Я был занят только первую половину дня, рано возвращался домой, съедал скудный обед и уходил в свою клетушку.

Мама с Галей шили, готовясь к отъезду. До половины ночи торопливо строчила швейная машина. Полы были засыпаны обрезками и нитками.

Я сидел у себя и писал. Писал о войне, о своем поколении. Я был уверен, что это поколение перекроит мир.

В поколении этом было много непокоя и мечтательности. Я простодушно считал, что эти свойства не позволят моему поколению прожить бесславную жизнь и уйти, ничего не свершив, а только, как любил говорить Романин, «начадив на всю вселенную».

Несмотря на эту уверенность, я все яснее видел, что рядом с этим поколением интеллигентов и людей, ставивших себя вне какого бы то ни было класса, считавших себя «солью земли», живет напряженной, но пока еще неизвестной мне жизнью огромный слой народа, миллионы тех людей, что сами называют себя «наш брат рабочий».

У них была подлинная жизненная сила, нетерпимость, трезвая правда, выношенная на своем трудовом горбу. Эту правду нельзя было заглушить никакими самыми прекрасными мелодиями стихов и затемнить никакой туманной философией модного в то время Бергсона. Ее присутствие чувствовалось всюду, как некий упорный и напряженный взгляд. И становилось совершенно понятно, что, не определив своего отношения к рабочему классу, к его борьбе, к его чаяниям, уже нельзя спокойно жить и работать в России.

Я начал писать повесть о молодом человеке моего времени. Я писал ее долго и медленно. Она странствовала со мной все годы революции и гражданской войны и долго вылеживалась. В конце концов я напечатал ее под названием «Романтики», но это было гораздо позже, в тридцатых годах.

Тогда же я написал несколько стихотворений и послал их одному крупному поэту. Я не надеялся, что он мне ответит, но он ответил. Я получил от него открытку. На ней крупным почерком было написано: «Вы живете напетым со стороны».

Эта фраза занимала всю открытку.

В то время я жил двойной жизнью — подлинной и вымышленной. О подлинной жизни я пишу в этой книге. Вымышленная жизнь существовала независимо от подлинной и добавляла к ней все, чего в этой подлинной жизни не было и быть не могло. Все, что казалось мне заманчивым и прекрасным.

Вымышленная жизнь проходила в скитаниях, во встречах с необыкновенными людьми, в удивительных событиях. Она была окутана дымкой любви. Это был, по существу, длинный и связный сон.

Конечно, сейчас можно снисходительно улыбаться над тогдашним моим состоянием. Это легче всего. Мы умудрены опытом и как будто имеем право на такую улыбку. Так, по крайней мере, думают трезвые люди, считающие, что именно они занимаются единственно серьезным делом.

Но по настоящему счету они не имеют права на эту улыбку. Они не имеют права посмеиваться над теми молодыми снами, которые заронили во многие души первые зерна поэзии. В этих снах, в этих выдумках была чистота, было благородство, и отблеск этих качеств лег на всю жизнь людей.

Каждый, кто обладал этим свойством в юности, согласится со мной, что он был владетелем неисчерпаемых богатств.

Он владел миром. Для него не существовало границ ни во времени, ни в пространстве. Сейчас он мог дышать грибным воздухом тайги, а через минуту воздухом парижских бульваров с их догорающими огнями. Он мог беседовать с Гюго и Лермонтовым, с Петром Первым и Гарибальди. Он мог сложить свою любовь к ногам семнадцатилетней гимназистки в коричневом форменном платье, теребящей от волнения косы, так же как и к ногам Изольды. Он мог вместе с Миклухо-Маклаем жить в тропических лесах Новой Гвинеи и скакать с Пушкиным в Эрзрум. Он мог заседать в Конвенте и прорубать первые дороги в лесах Флориды. Он мог сидеть в долговой тюрьме с отцом крошки Доррит и сопровождать в Англию прах Байрона.

Границ не было. Я хотел бы увидеть скептика, который не согласился бы с тем, что этот второй мир обогащает человека и отзывается на его мыслях и поступках в жизни.

Я писал об этом. Писал я на широком подоконнике. Стола у меня не было. Я часто отрывался, смотрел за окно и видел ветки лип в Зоологическом саду, покрытые смерзшимся снегом. И слышал, как на пруду тоскливо и безответно кричала птица: «Что же это? Боже мой, что же это?»

В разгар моих писаний пришло письмо из Союза городов. Меня вызывал к себе главный уполномоченный, известный деятель кадетской партии Щепкин.

Наутро я пошел к Щепкину. Союз городов помещался в большом доме рядом с Художественным театром.

Меня встретил маленький серый старик, довольно добродушного вида, но с брезгливым выражением на лице.

— Вот что, милый юноша,— сказал он.— Должен сообщить вам пренеприятное известие.

Он сказал эти слова из гоголевского «Ревизора», и, очевидно, это ему самому очень понравилось, потому что он закашлялся, замахал в воздухе пухлыми руками и повторил:

— Пренеприятное известие! Во время вашего пребывания в нашем санитарном отряде в Замирье туда приезжал государь.

— Да,— сказал я,— был такой случай.

— Да,— ответил Щепкин,— был и другой случай. А именно — один из работников отряда описал это пребывание государя в Замирье в весьма сатирическом виде. В письме к своему другу, забыв по молодости лет, что существует военная цензура. Был такой случай?

— Был,— ответил я.

Когда я лежал в госпитале в Несвиже, я много наслышался об этой поездке Николая и написал об этом своему школьному товарищу в Киев.

— И был такой случай,— продолжал Щепкин,— что военная цензура вскрыла именно это письмо. Поскольку подпись была неразборчива, а на конверте стояла печать вашего отряда, цензура сочла за благо передать рассмотрение этого дела нам, чтобы найти автора этого письма и, буде он обнаружится, впредь на фронт его не допускать. Это ваше письмо?

Щепкин протянул мне листок.

— Мое.

— Дешево отделались,— сказал Щепкин.— Итак, хотя в вашем лице, судя по отзывам, мы теряем хорошего работника, но ничего не попишешь,— прошу вас немедленно сдать документы и получить расчет.

Я рвался обратно в отряд, и этот удар был для меня оглушительным и жестоким. Что же делать дальше?

Из Союза городов я пошел не домой, а в Третьяковскую галерею. Там было пусто. Дремали в углах сторожихи. Теплый ветер дул из печных отдушин.

Я сел против картины Флавицкого «Княжна Тараканова» и смотрел на нее долго, больше часа. Смотрел потому, что женщина на этой картине была похожа на Лелю.

Мне не хотелось возвращаться домой. Сейчас я окончательно понял, что дома у меня нет.

ПРЕДМЕСТЬЕ ЧЕЧЕЛЕВКА

В феврале мама с Галей уехали в Киев. Я остался в Москве, надеясь устроиться на работу.

Как раз в это время моего дядю, Николая Григорьевича, артиллерийского инженера, перевели из Брянска в Москву и прикомандировали к французской военной мис-

сии. Миссия эта была прислана в Россию, чтобы наладить изготовление французских фугасных гранат.

Вместе с дядей Колей приехала в Москву и тетя Маруся. Дяде Коле дали казенную квартиру в маленьком доме на 1-й Мещанской улице.

Работники миссии — французские артиллеристы — часто обедали у дяди Коли.

Я был на одном из этих обедов и с любопытством смотрел на французов. Голубые их мундиры распространяли запах духов. Почти все офицеры привозили тете Марусе цветы и были очень галантны. Но за этой галантностью и изысканно-вежливым разговором скрывалось нечто от мушкетеров Дюма.

Это «нечто» обнаруживалось обыкновенно после русской водки. Подымался шум, остроты, раскатистый хохот, потом офицеры начинали хором петь песенку о начальнике станции. Это была любимая песенка пассажиров французских поездов, придуманная исключительно для того, чтобы доводить до бешенства начальников станций.

Когда начальник станции выходил на перрон, чтобы проводить поезд, пассажиры выстраивались в вагонах около открытых окон и начинали петь под стук колес — сначала медленно, а потом все быстрей — эту песенку. При этом все сразу, как китайские болванчики, кланялись из окон начальнику станции.

Песенка эта состояла из повторений одной и той же фразы: «Сэ ле кокю, ле шеф де ля гар!», «Сэ ле кокю, ле шеф де ля гар!», что в переводе означало: «Вот он стоит, рогатый муж, начальник станции! Вот он стоит!»

Офицеры разыгрывали эту песенку в лицах. Особенно хорош был пожилой полковник — «колонель» — с желтой бородкой, изображавший разъяренного начальника станции.

Иногда офицеры ссорились, и тогда в низенькой столовой у дяди Коли начинало пахнуть порохом, и казалось, вот-вот сшибутся шпаги. Глаза сверкали, тонкие усики нервно вздергивались, дерзкие выкрики перебивали друг друга, пока «колонель» не подымал руку в круглой манжете.

Тогда все смолкали.

По словам дяди Коли, эти офицеры были знающими инженерами. А «колонель» считался даже выдающимся

французским ученым-металлургом и был автором научных книг.

Дядя Коля был связан со многими металлургическими заводами. Я попросил его устроить меня на один из заводов рабочим. Он нисколько этому не удивился и устроил меня браковщиком снарядов на Брянский завод в Екатеринославе.

Перед этим я должен был обучиться на одном из московских заводов браковке и заодно — работе на гидравлических прессах. В то время стаканы для снарядов делались на этих прессах.

Обучался я на заводе Густава Листа на Софийской набережной.

Обучение началось с чтения чертежей — листов синей бумаги с мутными изображениями частей гидравлического пресса. От этих чертежей можно было ослепнуть.

Кроме того, меня обучали обращению с точными измерительными приборами для приемки снарядных стаканов и дистанционных трубок.

С завода я приходил в совершенно пустую, как стойло, квартиру. Всю скудную обстановку мама продала. Остались только походная кровать и стул.

Мне нравилась эта пустота. Никто не мешал мне читать до поздней ночи, курить и думать. Я все время думал о тех книгах, какие я обязательно напишу. Написал я потом совершенно другие книги, но сейчас это уже не имеет значения.

Вскоре я уехал. По ошибке я сел не на тот поезд, и меня высадили за Курском на станции Ржава. Там я просидел несколько часов, дожидаясь своего поезда,— он шел позади.

Я не возмущался. Хорошо было сидеть в зале третьего класса, читать расписания, слушать звонки и прерывистый стук телеграфного аппарата, выходить на перрон, когда мимо проносились без остановки, сотрясая маленький вокзал, скорые поезда.

Я побродил около станции по полям. Здесь, за Курском, уже начиналась весна. Снег осел и стал ноздреватым, как пемза. Тучами орали галки. И мне захотелось, как много раз хотелось потом, уйти в сырые весенние поля и больше оттуда не возвращаться.

В Екатеринославе я снял угол в предместье Чечелевке, неподалеку от Брянского завода.

Денег у меня было всего двенадцать рублей.

Угол я снял на кухне у вдового рабочего-токаря. С ним жила его единственная дочь Глаша — девушка лет двадцати пяти, больная туберкулезом.

Кроме меня, на кухне жил еще клепальщик с Брянского завода — высокий малый с дикими глазами. Я ни разу не слышал от него ни слова. На вопросы он тоже не отвечал, так как был совершенно глухой.

Каждый вечер, возвращаясь с завода, он приносил с собой бутылку мутной екатеринославской бузы — хмельного напитка из пшена, выпивал ее, валился, не раздеваясь, на рваный тюфяк на полу и засыпал мертвым сном до первого утреннего гудка.

Хозяин был черноусый и тоже молчаливый человек, глубоко равнодушный к нам, своим постояльцам. Но все же один раз он сказал мне:

— Вот ты будто студент. Дал бы почитать какую-нибудь литературу. Для прояснения мозгов.

Литературы у меня не было. Хозяин, помолчав, сказал:

— Была бы Глаша здоровая, выдал бы я ее замуж. За тебя. Будущее все-таки у тебя намечается. Я вижу — пишешь все по ночам. И перестал бы ты тогда валяться на полу под раковиной. Кран течет, каплет, небось спать не дает.

Говорил он это скучным голосом, только «для разговора», сам не веря, что из этого может что-нибудь выйти.

Вечером я слышал, как Глаша выговаривала ему за дверью:

— Что ты лезешь до всех жильцов со своими дурацкими разговорами! Чего ты меня всем суешь! Я же не сижу дармоедкой. По хозяйству все делаю.

— Утка,— ответил отец, но без раздражения, а даже ласково.— Квочка ты, вот кто! Я про счастье твое забочусь. Не век же тебе сидеть в этой каморе, пялиться на обои.

— Счастье мое на том свете осталось,— сказала Глаша и начала плакать.— На что ты меня родил, сам не знаешь. Отчета себе не даешь. Мой век будущей весной кончится.

Отец в сердцах ушел. Глаша, поплакав, вышла на кухню и спросила, нет ли у меня чего-нибудь почитать про любовь, верную до гроба.

Вышла она густо напудренная. От пудры и без того бледное ее лицо стало похоже на дешевую картонную маску. От Глаши тянуло сладким конфетным одеколоном.

Я ответил, что книг о любви, особенно верной до гроба, у меня нет.

— Ну и жильцы! — сказала Глаша.— Совсем я скучила с вами.

Она заперлась у себя в комнате и завела старенький граммофон с лихими песенками клоунов Бима и Бома:

Лукреция в ломбарде
Вареники варила,
А Монна Джиованна
Курей духами мыла.

Часто по ночам Глаша кашляла, долго, захлебываясь, и говорила в пространство:

— Господи, хоть бы человек какой добрый нашелся и пристрелил меня, как собаку.

Мне было жаль ее. Я достал в бесплатной библиотеке на Чечелевке и принес Глаше книгу Гюго «Труженики моря» — повесть о верной до гроба любви матроса Жильята. Глаша прочла ее невероятно быстро, за один вечер.

Я лежал на своем тюфяке и читал. Клепальщик спал, скрипя зубами. Внезапно дверь из Глашиной комнаты распахнулась, и книга Гюго, теряя страницы, пролетела через кухню и шлепнулась на пол около моего тюфяка.

— Возьмите! — крикнула Глаша.— Возьмите эту подлую книгу, эту заразу! Пусть подавится той книгой ваш француз! Брешет все! Брешет, собака! Ничего такого не было и быть не могло. Были б такие люди на свете, так разве я бы так жила, как сейчас. Я бы того человека на руках носила.

— Есть такие люди,— сказал я.— Не кричите!

— Ах, «не кричите»? Скажите пожалуйста, какие новости! Что же мне, спеть вам «Все говорят, я ветрена бываю»? Или станцевать матчиш? Ненавижу! — крикнула она и сбросила со стола граммофон.— Ненавижу, глаза бы мои не глядели, погори все адским огнем!

Она рванула со стены отставшую полосу обоев. Полетела пыль. Клепальщик вскочил и бросился умываться под кран. Должно быть, ему померещилось, что уже был первый гудок.

В это время пришел токарь. Он схватил Глашу за руки, а она, стиснув зубы, вся белая, с горящими глазами, срывала одну полосу обоев за другой, и комната на глазах делалась черной и облезлой, как будто ее выворачивали наизнанку.

За окном уже синела нежная весенняя заря.

Кончилось все это тем, что у Глаши пошла горлом кровь, и наутро ее увезли в заводскую больницу. Токарь запил. А клепальщик продолжал дуть бузу и спать, совершенно не интересуясь разгромом в квартире и судьбой хозяев.

Вскоре после смерти Глаши клепальщик куда-то переехал, и у токаря стало пусто, хоть шаром покати.

Однажды вечером, когда я был в квартире один и, по обыкновению, лежал на своем тюфяке и читал, в дверь тихо, но требовательно постучали.

Я открыл. За дверью стоял рабочий из нашей мастерской Бугаенко, человек спокойный и насмешливый. Но сейчас он был, видно, смущен.

— Я к вам,— сказал он.— Надо бы побалакать.

Он осмотрел черные облезлые стены и вздохнул.

— Не повезло вам. Попали в постояльцы к пустому человеку. Переменить бы квартиру.

— Я долго здесь не задержусь, в Екатеринославе,— ответил я.— Не стоит.

— Пустой человек,— повторил Бугаенко.— Ушел от жизни, от товарищей, кинулся на водку. От таких одно замешательство в пролетарской среде. А народ у нас в общей сложности крепкий.

— Я знаю,— ответил я.— Народ у вас передовой.

— Вот об этом я и хочу побалакать. Мы за вами давно следим. А вы вроде как и не заметили.

— А зачем это? — спросил я, растерявшись.

— Определяли,— ответил Бугаенко и усмехнулся.— Теперь очень осторожно надо смотреть на людей. В смысле доверия.

— Ну и как? — спросил я.

Бугаенко сел, закурил толстую папиросу и исподволь, как бы разговаривая с самим собой, рассказал, что давно присматривался ко мне, пока не убедился, что я, по его мнению, человек хотя и далекий пока что от революционного движения, но надежный. А тут такое дело, что надо выпустить листовку по поводу сплошного про-

извола в стране, но написать ее некому. Хорошо было бы, если бы я, челвек, как видно, литературный, написал листовку, а они, рабочие, проверили бы ее и «пустили в ход».

Я согласился. Я написал листовку и вложил в нее весь пафос, на какой был способен. Тень Виктора Гюго, выражаясь фигурально, реяла надо мной, когда я писал эту листовку. Но Бугаенко начисто ее забраковал.

— Не по той задаче написано,— сказал он.— Слов нет, сделано красиво, отполировано. А красота, она, знаете, другой раз смягчает то, чего нельзя смягчать, и вносит успокоение. Все хорошо, что к месту. В таких вещах нужна доходчивость. Чтобы все было просто и понятно даже самому неграмотному из неграмотных. И чтобы человек прочел, разгневался и был готов к действию. Чтобы кулак у него сам по себе сжимался. Я понимаю, это, может быть, потрудней, чем писать красиво. Попробуйте еще раз.

После этого я бился над листовкой несколько вечеров, пока мне не удалось написать ее просто и понятно.

Листовку размножили на гектографе, расклеили и разбросали по цехам. Я очень гордился этим, но, к сожалению, никому не мог сказать, что я — автор листовки. Я хотел оставить себе на память один экземпляр, но Бугаенко отобрал его и попрекнул меня тем, что я плохой конспиратор. Но листовкой он был доволен, улыбался в свои прокуренные, коротко подстриженные усы и говорил:

— Ось, знайте, яки хлопцы в нашем запорожском курене.

На заводе я был занят проверкой шрапнельных стаканов. Их складывали штабелями на длинные столы из неструганых досок. Я освещал изнутри стаканы маленькой электрической лампой и смотрел, нет ли на стенках раковин или пережога металла. Потом измерял диаметр стаканов калибром.

На забракованных снарядах я ставил мелом крест. Браку было много. Пожилые работницы увозили забракованные снаряды на тележках в переплавку.

Рядом с тем местом, где я работал, стояла круглая пила. Она с невыносимым визгом пилила железо. От этого визга холод подирал по коже и в душе подымалось бешенство. Визг этот ввинчивался в мозги, как сверло.

Я глох, слеп, и если бы мог, то взорвал бы эту пилу. Большего глумленья над человеком, над нервами, мозгом и сердцем нельзя было придумать.

Когда пила замолкала, то было еще хуже: все ждали, нервничая, когда же она снова завизжит. Самое это ожидание вызывало тошноту. Вскоре пила с победным воем вновь врезалась стальными, бешено вращающимися зубьями в железо и разметывала фонтаны горячих искр.

Я был подчинен не заводскому начальству, а представителю артиллерийского управления при Брянском заводе капитану Вельяминову, присланному из Петрограда.

Раз в три-четыре дня я должен был приходить к нему и докладывать о своей работе.

Я долго не мог догадаться, на кого был похож капитан Вельяминов, но потом наконец вспомнил: на декабриста Якубовича. У Вельяминова было такое же сухое лицо, темные свисающие усы и черная повязка на лбу.

Вельяминов жил на Большом проспекте. Из окон его комнаты был виден Днепр и сады. В садах уже набухали почки. Над деревьями, как всегда ранней весной, стояла едва приметная зеленоватая дымка.

Комната Вельяминова была завалена чертежами, книгами и множеством вещей, не имевших отношения к его прямой специальности — артиллерийскому делу.

Вельяминов увлекался фотографией и краеведением. Подоконники были тесно заставлены мензурками, склянками с проявителями, рамками для печатанья снимков. Пахло кислым фиксажем.

На круглом столе под филодендроном, на бархатной вытертой скатерти лежали фотографии. Это были виды провинциальных городов — Порхова, Гдова, Валдая, Лоева, Рославля и многих других. В каждом городе Вельяминов находил что-нибудь любопытное. Дымя зажатой во рту папиросой, он снисходительно, но с видимым удовольствием рассказывал мне об этих находках и показывал их фотографии.

Иногда это были деревянные ворота петровских времен или просто затейливые перильца на балконе, иногда гостиные ряды или гоголевская каланча.

Каждый свой отпуск Вельяминов проводил в местах глухих и далеких от столиц. В разоренных помещичьих усадьбах он фотографировал картины, изразцовые печи, сохранившуюся в комнатах и садах скульптуру, привозил

снимки в Петроград и показывал друзьям — знатокам искусства.

Со сдержанной гордостью он рассказывал мне, как ему удалось найти могилу пушкинской няни Арины Родионовны в селе Суйда под Лугой, а кроме того — бюст работы известного скульптора Козловского и две картины французского художника Пуссена в заколоченном доме около Череповца.

Я подолгу засиживался у Вельяминова, рассматривая фотографии. Он поил меня чаем из термоса и угощал бутербродами с вареной колбасой.

В загроможденной его комнате было очень тепло. Я медлил уходить к себе на Чечелевку, в ободранную кухню, где наперегонки бегали по стенам прозрачные от голода рыжие тараканы.

Однажды Вельяминов сказал мне:

— Довольно вам киснуть на Чечелевке и глохнуть от пилы. Я вас пошлю в Таганрог. Это очень славный город. Но по пути в Таганрог вы заедете в Юзовку на Новороссийский завод и наладите там браковку снарядов. Потратите на это всего две-три недели. Согласны?

Я, конечно, согласился.

Вельяминов выдал мне жалованье и деньги на дорогу, пообещал приехать летом в Таганрог, и мы расстались.

У себя на Чечелевке я провалялся почти всю ночь без сна. Лампу мы никогда не гасили и только этим спасались от тараканов. В темноте они сыпались со стен и шныряли по лицу и рукам.

Я лежал, и сумасшедшая мысль пришла мне в голову — опоздать в Юзовку на пять-шесть дней, а за это время съездить в Севастополь. Вельяминов об этом не узнает.

Я был в Севастополе мальчиком, когда мы всей семьей ехали из Киева в Алушту, но с тех пор не мог забыть этот город. Он часто мне даже снился — залитый отблесками морской воды, маленький, живописный, пахнущий водорослями и пароходным дымом.

Из крана капала вода, тараканы пили на полу из маленькой лужи, на улице пьяный кричал, рыдая: «Стреляй в меня, иуда! Бей в душу!» — но я ничего не замечал. Я уже дышал, засыпая, воздухом цветущих миндалевых садов.

ОДИН ТОЛЬКО ДЕНЬ...

В билетной кассе в Екатеринославе у меня потребовали разрешение на въезд в Севастополь. Разрешения не было, и мне пришлось взять билет до Бахчисарая. Я был уверен, что от Бахчисарая до Севастополя я как-нибудь доберусь.

Старик кассир даже посочувствовал мне.

— Строгости! — вздохнул он.— А все из-за случая с «Императрицей Марией».

Трагическая гибель самого мощного линейного корабля Черноморского флота «Императрица Мария» была загадочной. Об этом тогда говорили во всем мире. Корабль, стоявший на якорях в Северной бухте, без всякой видимой причины взорвался и перевернулся вверх килем.

Незадолго до взрыва корабль осматривали «августейшие посетители». В их числе были приближенные императрицы Александры Федоровны. Наверное, кто-то из них подложил в самые уязвимые места корабля маленькие бомбы, величиной с пробку от шампанского, с часовым механизмом.

Случай с «Императрицей Марией» был не единственным. В Атлантическом океане часто взрывались или загорались от таких почти невидимых бомб военные транспорты, шедшие в Европу с грузом вооружения. Бомбы подбрасывали в угольные ямы транспортов во время погрузки вместе с углем.

В поезде я долго простоял в тамбуре у окна. Спустилась теплая и непроглядная южная ночь. На остановках я открывал наружную дверь и прислушивался. Невнятный шорох доходил из мрака. Должно быть, просыхала земля, еще сырая после стаявшего снега.

Я досадовал на остановки в пути и радовался каждому верстовому столбу, что плавно уносился назад в смутном свете, падающем из вагонных окон.

Тогда в поездах еще не было электричества. Горели свечи. В полумраке вагонов хорошо было представлять себе свое будущее, всегда заманчивое и разнообразное. Тот второй, вымышленный мир, о котором я недавно писал, расцветал с необыкновенной силой. Можно было целиком уйти в него, не испытывая угрызений совести. Все равно, в дороге нельзя ни работать, ни читать и оста-

ется много свободного времени для воображения. Конечно, если нет назойливых попутчиков.

Их, к счастью, не было. В тамбуре, кроме меня, стоял молодой матрос в черной шинели. Он все начинал напевать песенку, но тотчас обрывал ее и начинал снова. У меня в памяти остались только слова:

Был случай раз такой
На станции Джанкой...

Так я и не узнал, что же случилось на станции Джанкой, куда наш поезд пришел на переломе ночи.

После Джанкоя я всматривался в темноту, чтобы увидеть отроги Крымских гор, но увидел только огни Симферополя.

Перрон в Симферополе был пуст. Чуть светало. С гор задувал ветер. Тополя в станционном сквере шевелили листьями.

Окна вокзального буфета были ярко освещены. На длинном столе с серебряными ведрами для шампанского стояли в вазах ветки миндаля. Молодой смуглый моряк сидел за столом и, облокотившись, небрежно курил. Когда поезд тронулся, он не спеша вышел из ресторана и ловко вскочил на ходу в последний вагон.

Проводник погасил свечи. В тихой синеве рассвета открылась передо мной древняя земля: вершины гор, освещенные зарей, шумящие по гальке прозрачные речки, чинары и магическое свечение неба там, вдали, куда мчался поезд, оставляя за собой длинное облако нежнейшего розового пара.

В Бахчисарае я сошел. Проводник сказал мне, что ночью будет местный поезд из Симферополя и на нем легче всего попасть в Севастополь. Нужно только дать жандарму три рубля.

Весь день мне пришлось провести в Бахчисарае.

Городок был тесен, вымощен стертыми плитами. Журчала в фонтанах вода.

Женщины набирали ее в медные кувшины. Вода, наполняя их, быстро меняла звук — от высокого до самого низкого.

Эта музыка медных кувшинов и воды поразила меня. Она как будто появилась здесь из тех вымышленных стран, какие я представлял себе. Я подумал, что, может быть, никаких моих выдумок нет, а просто есть в мире

такие страны, где на самом деле существует все, что якобы выдумано мною.

Все было ново здесь, и прежде всего — фонтаны. Это были совсем не те фонтаны, какие я видел раньше, где струя воды била из клюва бронзовой цапли или пасти дельфина. Это были каменные плиты, вмурованные в глухие стены. Из отверстий в этих плитах ленивой струйкой лилась вода.

Знаменитый «Фонтан слез» в Бахчисарайском дворце тоже не походил на фонтан. Его медленные капли падали как слезы, из одной раковины в другую, чуть звеня.

Я зашел в тесную кофейную. Она была устроена на ветхой застекленной терраске и звенела и тряслась, когда мимо проезжала арба. Голуби ходили, переваливаясь, под расшатанными столиками и глухо ворковали.

За окнами было видно ущелье, желтая карстовая котловина, заросшая колючим кустарником. По ней шла дорога в пещерный город Чуфут-Кале.

«Что за жизнь!» — подумал я, сидя на терраске. Фуксии в вазонах свешивали над скатертью свои черно-красные цветы.

«Что за жизнь! Недаром Романин говорил, что с некоторых пор у нас не жизнь, а «история с географией».

Я жаждал разнообразия. И вот оно сбывалось.

Правда, в этих частых переменах было больше печального, чем радостного. Но над всеми бедами все же стояла, как море стоит вдалеке своей синей стеной, непобедимая молодость. Это смягчало ощущение неудач и потерь.

Я расплатился за кофе и пошел в Чуфут-Кале.

Я не понимал, что это такое — пещерный город, пока не увидел отвесный желтый утес, изъеденный, как сотами, множеством окон.

По крутой тропе я поднялся на этот плоский утес и сразу попал в такую древность, что она казалась неправдоподобной.

В желтых от лишаев известняках были вырублены глубокие дороги. Тяжелые колеса выбили в них колеи. Низкие входы вели в пещерные дома. По алтарю маленькой подземной базилики бегали ящерицы.

Кто вытесал этот город? Никто мне не мог объяснить этого. Вокруг не было ни души.

Ковры крошечных лиловых цветов покрывали все свободные клочки каменистой земли между скалами. Цветы

были очень правильной формы — с пятью лепестками, но как следует рассмотреть их можно было, пожалуй, только в увеличительное стекло.

Тощая гнедая лошадь паслась среди скал. Она часто останавливалась и дремала, подрагивая кожей, когда на нее садились осы.

Я влез на скалу и сел, упершись в нее руками. Камень под ладонями был нагрет.

Передо мной открылся величественный полукруг таких же плоских гор, как Чуфут-Кале.

Я был один в этой воздушной пустыне. Далеко внизу виднелись овцы, похожие на клубки грязной шерсти. Ясно доносилось бренькапье их бубенцов.

Двигаться не хотелось. Я лег на спину и задремал. Небо мерцало синим огнем. В ресницах преломлялись острые лучи разноцветного пламени. Орел парил в вышине, разглядывал меня и примеривался — не сесть ли рядом.

Потом я услышал тоненький стук капель, повернулся и заметил, что из трещины в соседней скале сочится ручеек — не толще нитки — и торопливо роняет маленькие, как бисер, капли. Я уснул.

Когда я проснулся, небо пламенело, но уже не синим огнем, а цветом охры — рудым и диким. По небесному своду перьями, веерами, столбами, мощными горными пиками и островами были разбросаны багровые облака.

Солнце садилось. Его медный диск заливал горы зловещим заревом.

Невиданный этот пожар вечера становился с каждым мгновением резче, грубее. Он разгорался до последнего накала, чтобы потом мгновенно погаснуть.

Так и случилось. Солнце зашло, и тотчас зашумел в терновнике холодноватый ветер.

Я спустился с горы. Бахчисарай позванивал фонтанами сильнее, чем днем.

Я выпил в той же кофейной чашку кофе — денег у меня было в обрез — и голодный, но легкий и возбужденный пошел на вокзал.

Поезд пришел в пять часов утра. Билета я не покупал.

Я остановился в тамбуре вагона. Тотчас за мной в тамбур вошел рослый жандарм. Он, конечно, видел меня,— я был единственным пассажиром, севшим в Бахчисарае.

— Ваше разрешение? — сказал, улыбнувшись, жандарм.

Я протянул ему три рубля. Он взял бумажку, приложил палец к козырьку синей фуражки и ушел. Я остался в тамбуре.

Я не отрывался от окна. Когда же я наконец увижу море? Уже светало. Гремели отвесные каменные выемки. Из них поезд сразу выносило на легкие звенящие мосты над ущельями. Потом вагон швыряло вбок по крутому закруглению. Мелькал откос, покрытый желтыми цветами. Летала мимо кудрявая листва виноградников, и снова врывался глухой гром выемки. Рваные скалы проносились так близко от стенок вагона, что опасно было высунуть руку.

После туннелей сразу, со всего маху ударила в лицо зеленоватая вода и помчалась, изгибаясь и уходя в сухую мглу, обширная Северная бухта.

За окнами все было неподвижно. Но поезд шел, и потому казалось, что звенит, качается и сверкает все, что было снаружи,— черные шхуны, валявшиеся килем вверх на берегу, серые крейсера, длинные миноносцы, бакены, флаги, брандвахты, мачты, черепичные крыши, сети, сваи, акации и вспышки колючего огня на береговой гальке — отражения солнца в консервных жестянках.

А потом в струящемся дыму открылся амфитеатр города, покрытого как бы бронзовым налетом славы.

Поезд, шипя тормозами, смело врезался в путаницу уличек, спусков, дворов, лестниц и подпорных стен и остановился наконец около нарядного вокзала.

Мне пришлось видеть много городов, но лучшего города, чем Севастополь, я не знаю.

Черное море подходило почти к самым подъездам домов. Оно заполняло комнаты своим шумом, ветром и запахами. Маленькие открытые трамваи осторожно сползали по спускам, боясь сорваться в воду. Гудение плавучих бакенов-ревунов доносилось с рейда.

На базаре рядом с рундуками, обитыми цинком, рядом с навалом камбалы и розовой султанки плескались мелкие волны и поскрипывали бортами шаланды.

Прибой, катившийся из открытого моря, бил в круглые крепостные форты. Броневые корабли дымили на рейде.

Выли сирены, звенели склянки, перекликаясь со звонками трамваев и трезвоном церквей. Недовольно гудели пассажирские пароходы, протяжно грохотали якорные цепи. На закате с кораблей, спускавших на ночь кормовые флаги, доходили звуки медных горнов. Они далеко и печально разносились по затихшей воде. Их вскоре сменяли плавные вальсы с Приморского бульвара. Впечатление было такое, что играл не оркестр, а пели сами сумерки, успокаивая последние всплески волн около памятника Погибшим кораблям.

Я ходил по городу до изнеможения и все время открывал живописные уголки.

Особенно мне нравились лестницы — трапы между верхним и нижним городом. Они были сложены из желтого ноздреватого песчаника.

По сторонам этих трапов стояли на уступах дома. С площадок трапов в подъезды домов вели висячие мостки, увитые плющом. Окна и балконные двери были открыты, и с трапов хорошо было слышно все, что происходило в домах: детский смех, голоса женщин, стук посуды, ученические гаммы, пение, лай собак и металлические крики попугаев. Почему-то в Севастополе в ту пору было много попугаев.

По вечерам город был затемнен. Боялись внезапного нападения германского флота.

Затемнение было неполное. В шторах, опущенных на окнах магазинов, были прорезаны надписи, освещенные изнутри. Огненные слова «Кондитерская», «Минеральные воды», «Пиво», «Фрукты» бросали на улицы приглушенный загадочный свет.

Говорливые женщины торговали до позднего вечера на тротуарах фиалками в больших корзинах. Рядом с женщинами стояли на табуретах фонари и свечи. Язычки свечей почти не мигали — к ночи ветер стихал.

Толпы моряков — офицеров и матросов — заполняли вечерние улицы. Если бы не затемнение и не лучи прожекторов, шарившие вдалеке, ничто бы не говорило о войне.

Должно быть, так выглядели морские города во время блокад в начале девятнадцатого века, когда военная опасность была не так уж велика. Дымили у берегов неуклюжие вражеские мониторы и стреляли из бронзовых пушек по заросшим терновником старинным фортам. Войны, по

существу, тогда не было. Но ощущение легкой опасности создавало у людей нервный подъем и рождало беспечное веселье, считавшееся непременным качеством храбрецов.

Все сумерки до вечера я просидел на Историческом бульваре около бастионов 1854 года.

Внизу лежала Южная бухта, а за ней — Корабельная сторона. Вокруг цвел миндаль.

Ни у одного дерева нет более трогательного и чистого цветения, чем у миндаля. Каждая ветка была вся в розовых цветах, как невеста в прозрачном своем уборе.

Огней в городе не зажигали, и сумерки постепенно закутывали его в изменчивую дымку.

Сначала эта дымка отсвечивала золотом угасавшего солнца, потом она начала приобретать чистый серебристый оттенок, пока серебро окончательно не вытеснило золото. Но вскоре и серебро тоже начало понемногу тускнеть, терять прозрачность и покрываться налетом густой, непроницаемой синевы. Когда же и эта синева погасла, наступила ночь.

С Исторического бульвара я пошел на вокзал, чтобы попытаться достать билет и сесть в поезд без пропуска. Поезд отходил ночью.

Первый же носильщик согласился взять мне билет без всякого пропуска.

— До поезда еще три часа,— сказал он,— а вы человек молодой. Чего вам скучать на вокзале. Пойдите еще погуляйте, полюбуйтесь на наш город.

Я пошел к трамваю, раздумывая о доброте и простодушии южан, но около трамвайной остановки ко мне решительно подошел морской патруль — два матроса с винтовками и повязками на рукавах. Они потребовали мои документы. Я показал.

— Где живете? — спросил один из матросов.— На какой улице?

Я признался, что я не севастополец.

— Ясно! — сказал матрос.— Незачем вам быть севастопольцем. Придется отвести вас к мичману. Вы не сомневайтесь, он такой, что видит каждого насквозь с первого взгляда.

Мы пошли. По дороге матрос спросил:

— Сколько дали носильщику?

— Десять рублей.

— Вот ваши деньги,— матрос протянул мне десять рублей.

Я оглянулся, но было темно, и я не увидел носильщика, хотя был уверен, что он со злорадством смотрит мне в спину.

Матросы привели меня в маленький дом где-то около Нахимовского проспекта. В сводчатой комнате сидел на подоконнике поджарый горбоносый мичман, рядом с ним сидела девушка в короткой клетчатой юбке. Две русые косы были переброшены у нее на грудь, и она перебирала их и болтала ногой. С ноги свешивался, зацепившись за большой палец, старенький потертый туфель.

За столом сидел другой мичман в походной форме — в шинели и фуражке, с черным револьвером на лакированном поясе.

Матросы доложили обо мне и вышли в коридор.

Мичман в походной форме взял мои документы, закурил, сощурился от дыма и начал читать их.

— Н-да-а! — промолвил он наконец.— «Ходит птичка весело по тропинке бедствий, не предвидя от сего никаких последствий».

Девушка засмеялась и, болтая ногой, весело посмотрела на меня.

— Вот что! — сказал мичман.— Вы мне задушевно объясните, кто вы, что вы, зачем вы в Севастополе и почему вы хотели смыться от нас незаметно. Документы у вас в порядке. Но, в общем, пес их разберет, эти документы.

Я смутился, но рассказал мичману все, как было.

— Ага! — удовлетворенно сказал он.— Понимаю. Этакая поэтическая богемная натура?

— Саша,— сказал с подоконника горбоносый,— не дури!

Мичман с револьвером не обратил на слова горбоносого никакого внимания.

— Если вам удастся доказать,— сказал он мне,— что по натуре вы поэт и что вас околдовала муза дальних странствий, тогда, может быть, мы до чего-нибудь договоримся.

Я не мог понять, издевается ли он надо мной или говорит серьезно. Но я решил сделать вид, что принял его слова всерьез.

— Если бы адмирал Эбергардт,— опять сказал с по-

доконника горбоносый,— знал твои следовательские таланты, Саша, то не миновать тебе баржи.

«Баржой» в Севастополе в то время называли плавучую тюрьму.

— Поэт,— наставительно сказал мичман с револьвером, снова не обратив никакого внимания на слова горбоносого,— должен знать назубок поэзию. Что вы можете предъявить нам в этом смысле?

Я не понял его.

— Прочтите ему какие-нибудь стихи,— объяснила мне девушка.— Он сам поэт.

— «Вороне где-то бог послал кусочек сыру»,— насмешливо подсказал горбоносый.

— Нет,— сказал я,— уж если на то пошло, я прочту вам стихи Леконта де Лиля.

— Ишь ты!—удивился мичман с револьвером.—Куда загибает! Ловкая штучка! Нет, вы лучше прочтите нам Блока: «Никогда не забуду». Но только без пропусков. Если хотите получить пропуск.

— Пошло шутите, молодой человек,— сказал горбоносый, но мичман с револьвером снова не обратил на него никакого внимания.

Я прочел стихи Блока. Они мне самому нравились. Матросы гремели винтовками в коридоре. Надо думать, они сильно удивлялись.

— Вот петрушка! — сказал с деланным огорчением мичман с револьвером.— У вас нет в Севастополе кого-нибудь, кто бы мог за вас поручиться?

— Нет,— ответил я.

— Я за него ручаюсь, Саша,— сказал горбоносый.— Довольно валять дурака. Сразу же видно, что за человек. Выписывай пропуск. А поручительство я тебе напишу завтра.

Мичман с револьвером усмехнулся и начал тщательно выписывать пропуск. Пока он писал, мы затеяли разговор о поэзии. Горбоносый любил Фофанова, а девушка — Мирру Лохвицкую.

Девушка покраснела и умоляюще сказала, что если бы было время, то она прочла бы свою поэму, но она слишком длинная.

— Вот! — мичман протянул мне мои документы и пропуск и вздохнул.— Жаль, что уезжаете. А то бы встретились на свободе. Есть о чем поговорить.

Я поблагодарил его и сказал, что Севастополь, очевидно, город чудес. Нигде мой арест не мог бы кончиться так необыкновенно, как в Севастополе.

— Дорогой мой и несколько наивный юноша,— ответил мне мичман с револьвером.— Никаких чудес нет. Запомните, что шпионы и прочие подозрительные типы никогда не откровенничают с носильщиками. Не правда ли, получился хороший афоризм?

Я вышел. Девушка и горбоносый вызвались проводить меня до спуска к вокзалу. Мичман с револьвером огорчился. Было видно, что он сам не прочь бы пройтись по ночным севастопольским улицам рядом с русоволосой девушкой.

По дороге девушка сказала мне:

— Приезжайте к нам. Я живу на Зеленой горке, в доме пять. Меня зовут Ритой. Там все меня знают. Ой, как жаль, что вы уезжаете! Нас здесь в Севастополе так мало!

— Кого вас?

— Да поэтов. Вот их двое да я. Да еще один студент из Харькова.

На вокзале ко мне подошел знакомый носильщик. Он широко и радушно улыбался.

— Ну вот,— сказал он.— Отделались? И вам спокойнее, и мне лучше. Давайте пятерку. Я вам сейчас представлю билет.

В открытые окна вагона проникал запах водорослей. Белые реки прожекторов лились в морские темные дали и исчезали там без следа. И мне было очень жаль покидать этот город — короткую и веселую остановку среди последних утомительных месяцев.

ГОСТИНИЦА «ВЕЛИКОБРИТАНИЯ»

В Юзовке я поселился в дешевом номере гостиницы «Великобритания». Это зловонное логово было названо так в честь страны Юза и Балофура — двух британцев, владевших в Донском бассейне огромными заводами и шахтами.

Теперь от прошлой Юзовки не осталось следа. На ее месте вырос благоустроенный город. Тогда же это был беспорядочный и грязный поселок, окруженный лачугами и землянками.

Скопления этих землянок назывались по-разному: Нахаловка, Собачеевка, Кабыздоховка. Мрачный юмор этих названий лучше всего определял их безрадостный вид.

В котловине рядом с поселком дымил тот самый Новороссийский металлургический завод, куда меня прислали налаживать приемку снарядов.

Дым шел не только из заводских труб. Дымили самые здания цехов. Дым был желтый, как лисья шерсть, и зловонный, как пригорелое молоко.

Неправдоподобно багровое пламя качалось над жерлами доменных печей.

С неба сыпалась жирная сажа. Из-за дыма и сажи в Юзовке исчез белый цвет. Все, чему полагалось быть белым, приобретало грязный, серый цвет с желтыми разводами. Серые занавески, наволочки и простыни в гостинице, серые рубахи, наконец, вместо белых серые лошади, кошки и собаки.

В Юзовке почти не бывало дождей, и жаркий ветер днем и ночью завивал мусор, штыб и куриный пух.

Все улицы и дворы были засыпаны шелухой от подсолнухов. Особенно много ее накапливалось после праздников.

Грызть подсолнухи называлось по-местному «лузгать». Лузгало все население. Редко можно было встретить местного жителя без прилипшей к подбородку подсолнечной шелухи.

Лузгали виртуозно, особенно женщины, судачившие около калиток. Они лузгали с невероятной быстротой, не поднося семечки ко рту, а подбрасывая их издали ногтем.

При этом женщины еще успевали злословить так, как умеют злословить только мещанки на юге,— с наивной наглостью, грязно и зло. Каждая из этих женщин была, конечно, «в своем дворе самая первая».

Несмотря на сплетни и лузганье семечек, женщины еще успевали драться. Как только две женщины с звериным визгом вцеплялись друг другу в волосы, тотчас собиралась гогочущая толпа, и драка превращалась в азартную игру — на победительницу ставили по две копейки. Банк держали старожилы-пропойцы. Деньги собирали в рваный картуз.

Женщин нарочно стравливали и дразнили.

Бывало, что в драку постепенно ввязывалась вся улица. Выходили распояской мужчины. Шли в ход свинчатки

и кастеты, трещали хрящи, лилась кровь. Тогда из «Нового Света», где жила «администрация» шахт и заводов, на рысях приходил взвод казаков и разгонял дерущихся нагайками.

Трудно было сразу понять, кто населял Юзовку. Невозмутимый швейцар из гостиницы объяснил мне, что это «подлипалы» — скупщики поношенных вещей, мелкие ростовщики, базарные торговки, кулачье, шинкари и шинкарки, кормившиеся около окрестных рабочих и шахтерских поселков.

Заводы дымили со всех сторон. Шахты стояли по горизонту серыми и пыльными пирамидами своих терриконов.

Гостиница «Великобритания» заслуживает того, чтобы ее описать, как давно вымершее ископаемое.

Стены ее были выкрашены в цвет грязного мяса. Но это владельцу гостиницы показалось скучным. Он приказал покрыть стены модной тогда декадентской росписью — белыми и лиловыми ирисами и кокетливыми головками женщин, выглядывавшими из водяных лилий.

Неистребимый запах дешевой пудры, кухонного чада и лекарств стоял повсюду. Электричество горело тускло, читать при его желтушном свете было нельзя. Все кровати были продавлены, как корыта.

Коридорные девушки в любое время дня и ночи «принимали гостей».

Внизу на штопаном и перештопанном сукне бильярда отщелкивали «пирамидки» испитые юноши с кепками набекрень и в галстуках бабочкой. Каждый вечер кому-нибудь проламывали кием голову.

Играли по-крупному. Деньги клали в лузы, но зорко следили, чтобы их не крали так называемые «подпыхачи» — мелкий бильярдный люд.

Стены между номерами в гостинице были очень тонкие. По ночам я слышал вздохи, стоны, грубый торг, а временами душераздирающий женский вопль. Тогда вызывали швейцара, дверь номера выламывали, оттуда выскакивала с рыданьями растерзанная женщина, чаще всего знакомая коридорная девушка из этой же гостиницы, а за ней выволакивали какого-нибудь мутного парня с мокрой челкой. Он мычал и бил всех наотмашь направо и налево.

Его связывали, уводили, пиная в спину, и приговаривали:

— Опять обсчитал девушку, холера! Который раз! Удавить тебя мало!

К рыдающей девушке сбегались подруги. Она, захлебываясь, показывала им зажатые в кулаке деньги — доказательство, что ее обсчитали.

Девушки сообща пересчитывали деньги, ахали и говорили, что всех мужчин надо облить серной кислотой.

Непременным участником скандалов был низенький седой коммивояжер — представитель фирмы готового платья «Мандель и компания». Он носил просторный вишнево-красный костюм и желтые ботинки с выпуклыми носами.

Он всегда утешал обиженных девушек.

— Ты, Муся,— говорил он,— должна относиться ко всему с философским спокойствием. Бери пример с меня.

— А идите вы знаете куда! — отвечала сквозь слезы Муся.— И подавитесь своими советами. Знаю я ваше философское спокойствие!

Но старик не смущался.

— Древние эллины,— говорил он,— полагали, что спокойствие есть основное условие счастья. Основное условие! Ультима рацио! Понимаешь? И подумаешь, на сколько он тебя обсчитал?

— На рубль, гад! — отвечала девушка, переставая плакать.

— Вот тебе рубль. Утри слезы, умойся, оденься, стань прелестной, как прежде, и принеси мне в номер бутылку вина, боржом и печенье.

— Идите вы знаете куда! — говорила возмущенно девушка.— Это чтоб я за рубль к вам пошла? Старый пацюк [1]!

Но старик не обижался. Он ходил по коридору, засунув руки в карманы, и напевал:

> Под знойным небом Аргентины,
> Где женщины, как на картине,
> Где небо южное так сине,—
> Там Джо влюбился в Кло!

Был в гостинице и всеобщий любимец, так называемый «Дядя Гриша — воды тише».

---

[1] Крыса *(укр.)*.

Это был картавый затертый человек с русой бородкой и синими детскими глазами. Чесучовый пиджак он носил на голом теле, стыдливо запахивал его и всегда дрожал, будто от холода, на самом же деле от перепоя.

Рассказывали, что дядя Гриша — сын сенатора из Петербурга, окончил Лицей, промотал огромное состояние в Париже, потом был тапером в кино (по-тогдашнему «иллюзионе»), а теперь живет за счет человеческой жалости и перехватывает рубль или два на вечеринках в качестве непревзойденного игрока на гитаре и певца жестоких романсов.

Дядя Гриша был так несчастен, что даже владелец гостиницы, тучный господин в котелке, во вздернутых клетчатых брючках, пожалел его и дал ему работу — кипятить в кубе воду для чая. За это дядя Гриша жил бесплатно в комнатке, где стоял этот куб.

Тесная его комнатка была своего рода гостиничным клубом. Там собирались «вечные постояльцы», играли в подкидного дурака, в домино, гадали, обсуждали все происшествия, а девушки штопали чулки, шили и гладили.

Однажды в комнате у дяди Гриши отпраздновали день рождения коридорной девушки с нашего третьего этажа — Любы. На этот праздник пригласили «из уважения» четырех жильцов, в том числе и меня. Была на празднике пожилая женщина — зубной врач Фаина Абрамовна, сотрудник харьковской газеты — высокий человек, ходивший на костылях, и аптекарский ученик Альберт — веснушчатый юноша с нежной кожей. Он все время понимающе и презрительно улыбался.

Старый коммивояжер тоже пытался прорваться на именины, но девушки его не пустили.

Девушки все были нарядные, а Люба, бледная, молчаливая, в черном платье, была похожа, по словам Альберта, на «королеву Марго».

Взволнованная Люба изредка подымала длинные ресницы, внимательно взглядывала на нас, и каждый раз меня поражал чистый блеск ее глаз.

Не верилось, что это та самая Люба, что недавно ночью рыдала, прикрыв рукой на груди разорванную батистовую рубашку и стиснув голые круглые колени, проклинала во весь голос плотного черного постояльца из 34-го номера, охальника, по ее словам, и подлеца.

Дядя Гриша побрился и надел розовую рубаху с чужого плеча, заколотую медной булавкой с изображением гусеницы.

Сели за стол, уставленный несвежими закусками из гостиничного ресторана и бутылками рябиновки. Посреди стола стоял большой букет фиолетовых бумажных роз.

Люба подошла к дяде Грише и пригладила его редкие волосы. Дядя Гриша поймал на лету Любину руку и пожал ее. Тогда Люба на минуту прижала к своей груди его дрожащую голову. Она смотрела при этом за окно поверх головы дяди Гриши, и глаза у нее были спокойные, как всегда.

Раскрасневшиеся, довольные девушки настойчиво нас угощали. Они ласково заглядывали в глаза и говорили:

— Да покушайте же, пожалуйста, шобы Люба была всегда счастливая и здоровая. Да не стесняйтесь, пожалуйста! Это все свежее, только что из кухни, вы не думайте.

Люба сидела между дядей Гришей и мной.

— Хочу вас спросить,— сказала мне Люба,— чего это вы все сочиняете? Каждый раз, когда я в номере у вас прибираю,— всюду листочки валяются. Про что вы пишете? Про сердечную жизнь?

— Да,— ответил я.— Про счастливую жизнь, Люба.

— Была бы я интересная,— вздохнула Люба,— вы, может, и про меня удачно бы написали. Целый роман. А люди бы читали и плакали слезами.

— Пей, Любка! — крикнула Муся.— Пока горе тебя не поломало.

Глаза у Любы потемнели.

— Уймись! — тихо сказала она.— Я с горем заодно жить все равно не буду.

— Да я просто так,— ответила Муся.— Я ж тебе симпатизирую, Любка.

— А песни вы тоже пишете? — снова спросила меня Люба.— На эту дуру Муську вы, между прочим, не обращайте внимания.

— Нет, не пишу. Стихи когда-то писал. И знаю много стихов.

— Чувствительных?

— Да, пожалуй.

— А вы прочитайте.

— Ну что ж,— ответил я. У меня от выпитой рябинов-

ки уже началось легкое «кружение сердца».— Я прочту вам одной. Сегодня — ваш праздник.

— Неужели одной? — спросила Люба и немного подержалась за серебряное колечко у меня на мизинце.— Чье это кольцо?

— Мое.

— Неправда, не ваше.

Все уже сильно шумели. Я на минуту задумался: что бы прочесть понятное и простое?

«Все равно,— подумал я,— поймет она или нет!» И я начал говорить немного нараспев:

Нет, не тебя так пылко я люблю,
Не для меня красы твоей блистанье;
Люблю в тебе я прошлое страданье
И молодость погибшую мою.

Шум за столом стих.

Когда порой я на тебя смотрю,
В твои глаза вникая долгим взором:
Таинственным я занят разговором,
Но не с тобой я сердцем говорю.

Я остановился.

— Ну! — резко сказала Люба.— Раз уж начали читать такое, так рвите сердце.

Я говорю с подругой юных дней,
В твоих чертах ищу черты другие,
В устах живых уста давно немые,
В глазах огонь угаснувших очей.

Одна из девушек с шумом втянула воздух и всхлипнула.

— Стихи поэта Лермонтова,— сказал дядя Гриша, настраивая гитару,— лучше петь, чем читать.

Он взял мягкий аккорд и запел приятным сильным тенором:

Выхожу один я на дорогу;
Сквозь туман кремнистый путь блестит...

— Подхватывайте! — приказал он, и гитара снова печально заговорила у него под пальцами.— Все подхватывайте! «Ночь тиха, пустыня внемлет богу и звезда с звездою говорит».

Все тихо спели окончание строфы. Люба сидела, облокотившись на стол, опираясь подбородком на сложенные руки, и пела, глядя за окно. Глаза ее сияли. Дядя Гриша играл, подняв голову, и на щеке у него блестела слеза.

Дверь внезапно отворилась, и в комнату вошел плотный черный человек со сладкими восточными глазами, постоялец из 34-го номера.

— Любочка-цыпочка,— вкрадчиво сказал он.— Я до вас. Выйдемте на некоторое время. Мне страх как надо с вами поговорить.

— Поговорить? — спросила Люба и обернулась.— Тебе надо со мной поговорить? В твоем номере?

— А хотя бы и так. Номерок подходящий.

Люба встала.

— Сам знаешь, какой у меня день. Так и то лезешь, потерпеть не можешь, подлюга! Вон отсюда!

— Любка! — взвизгнула Муся, но было уже поздно.

Люба схватила бутылку с рябиновкой и изо всей силы швырнула ее в черного человека.

Бутылка ударила его по голове и разбилась. Он схватился за лицо руками, размазал по толстым щекам кровь, смешанную с рябиновкой, попятился в коридор, споткнулся о порог и молча рухнул навзничь.

— Убью! — дико закричала Люба.— Всех поубиваю, как бешеных котов. Всех! Не трогайте меня! Не лезьте! В Сибирь пойду, на каторгу, а с вами, с гадами, рассчитаюсь!

Она упала на стул и положила голову на стол.

— Девушки! — сказала она с тихой тоской.— Подружки мои дорогие! Неужто даже отмыться нам не дадут! Девушки! — закричала она и затряслась.— Я будто светлый сон видела... Спасибо тебе, дядя Гриша, спасибо, родненький мой. Спасибо вам всем.

Она захлебнулась слезами и закашлялась. Дядя Гриша стоял рядом с ней, дрожал и глотал слюну.

Я взял Любу за плечи. Даже сквозь платье я чувствовал, какие они были горячие.

Я понимал, что ей надо сказать то главное, что говорят человеку раз в жизни, чтобы его спасти. Но я не мог сказать этих главных слов о любви, помощи. Я не мог их сказать, как бы ни хотел этого. Может быть, надо было солгать, если бы была уверенность, что от этого Любе станет легче. Мои слова уже были сказаны давно, там, в Бе-

лоруссии, когда Леля, умирая, слегка оттолкнула меня и в глазах ее стояли, не проливаясь, глубокие слезы.

Да и не мои слова были нужны Любе. Слова эти должен был сказать дядя Гриша. Но что он мог, этот спившийся, дрожащий, хлипкий старик, живущий на свете из жалости.

И я ничего не сказал. Я взял руку Любы и пожал ее, а она быстро взглянула на меня сквозь слипшиеся от слез ресницы и погладила меня рукой по щеке.

Как бы ни ухмылялись серьезные люди, что бы они ни говорили о сентиментальности, я пронес этот взгляд через жизнь и никогда его не забуду.

В коридоре послышались быстрые шаги, звон шпор, громкие голоса. Я оглянулся. Весь коридор был заполнен толпой испуганных постояльцев гостиницы.

В комнату вошел тощий пристав с городовыми. Городовые вежливо придерживали шашки.

— Прошу вас, барышня,— сказал пристав сурово и как будто с сожалением.

Люба быстро встала и вышла, ни на кого не глядя. Она даже ни разу не обернулась.

Черного человека унесли. Девушки плакали, обнявшись, а дядя Гриша судорожно пил рябиновку — стакан за стаканом, как воду.

Тогда человек на костылях, молчавший весь вечер, подошел к двери, закрыл ее и сказал:

— Мы — свидетели. На суде следует сказать, что этот человек накинулся на Любу с бранью и побоями и она ударила его бутылкой, защищаясь. И этот старик,— человек с костылем показал на дядю Гришу,— на суде должен быть трезвым, как стеклышко. И показать то же, что все.

Тогда встал дядя Гриша. Он пристально посмотрел на человека на костылях и сказал очень веско:

— Милостивый государь! Не вам учить меня законам благородства по отношению к женщине. Я всосал эти качества с молоком матери. Если судьба довела меня до падения, то это никому не дает права оскорблять мое достоинство. Я вам прощаю только потому, что вы поступили по-рыцарски.

И дядя Гриша крепко пожал руку человеку на костылях.

С этого вечера у меня что-то резко надломилось в сознании. Все, чего я раньше чурался, теперь меня не пу-

гало. Я перестал относиться к людям так мимолетно, как относился раньше.

С тех пор я понял, что надо искать каждый проблеск человечности в окружающих, какими бы они ни казались нам чуждыми и неинтересными.

Есть в каждом сердце струна. Она обязательно отзовется даже на слабый призыв прекрасного.

Вскоре после этого случая с Любой я перебрался из гостиницы «Великобритания» на завод, в чертежную комнату при снарядном цехе.

Помог мне в этом чертежник Гринько — вялый чахоточный человек, бывший эсер. Он зашел однажды ко мне в номер, ужаснулся гостиничной вони и уговорил меня переехать в чертежную, хотя мне оставалось жить в Юзовке уже недолго.

В чертежной работал только один Гринько. Я приходил из цеха поздно и ночевал на деревянном диване.

Жизнь завода была так далека от удушливой жизни в гостинице, что казалось, между заводом и «Великобританией» протянулись сотни верст.

Каждый вечер после работы я ходил в бессемеровский цех. Часами я мог смотреть, как из исполинских вращающихся печей, похожих на стальные груши высотой в три этажа, льется расплавленная сталь.

По ночам я ходил смотреть на каждый выпуск чугуна из доменных печей. Зрелище было зловещее. Чугун лился по канавам в земле, дымясь багровым паром. Все вокруг было густо окрашено только в два цвета — черный и красный. Рабочие в зареве жидкого чугуна были похожи на выходцев из ада.

Иногда я ходил в рельсопрокатный цех. Огромные вальцы, вздрагивая и скрежеща, заглатывали раскаленные добела стальные болванки и мяли их в своей металлической холодной пасти, чтобы выбросить вместо толстой болванки длинный брус. Он быстро шел из одних вальцов в другие, все время вытягиваясь, пока не превращался в темно-багровый рельс.

Готовые рельсы катились около самых ног по железным каткам, мерцая сотнями искр.

Все вокруг гремело, скрежетало, лязгало, свистело паром, дымило, сыпало искрами, ухало и звенело. Сквозь грохот доносились протяжные крики: «Берегись!» Рабочие быстро катили на стальных тачках раскаленные бол-

ванки. Если встречный не успевал вовремя отскочить, на нем начинала тлеть одежда. Кран проносил над головой такую же раскаленную болванку, придерживая ее в воздухе, как краб, двумя стальными клешнями.

Гринько уходил из чертежной поздно. Он был холостяк, и домой его не тянуло.

Когда Гринько уходил, я ложился на деревянный диван и читал. Мне нравилось, что в чертежной был слышен близкий гул завода. Было спокойно на душе от сознания, что рядом бодрствуют всю ночь сотни людей.

Я лежал, читал, смотрел на висевший на стене портрет старика. Это был Бессемер, изобретатель нового способа литья стали. Потом я засыпал, и мне казалось, что я сплю в поезде,— сквозь сон я слышал подрагиванье, гул и звон.

Гринько, сидящий за своим наклонным чертежным столом, длинноносый, с падающими на шею волосами, напоминал карикатуру на Гоголя. Сходство усиливалось еще тем, что Гринько носил черную шляпу и старый черный плащ с застежками в виде львиных голов. Такие плащи носили одно время морские офицеры.

Я однажды рассказал ему о санитарном поезде. Он в ответ рассказал мне о том, как Соколовский освободил его из тюрьмы.

Я старался не говорить с Гринько на политические темы. Меня смущало то обстоятельство, что бывшего эсера приняли на работу в военный цех завода, да еще чертежником.

Гринько обо всем говорил с презрительной усмешкой, явно скучая, и только изредка в глазах его загорался короткий злой блеск.

Я заметил, что рабочие относятся к Гринько с насмешкой. Они звали его за глаза «отставной козы барабанщиком», явно намекая на его уход от революционной работы.

Однажды, когда я просвечивал снарядные стаканы электрической лампочкой, я нашел засунутую в снаряд записку:

«Не доверяйте соседу по чертежной. Записку спалите».

Я сжег записку и начал с тех пор присматриваться к рабочим, подававшим снаряды. Но лица у них были непроницаемые.

За день до моего отъезда из Юзовки я нашел в стакане прокламацию, отпечатанную на гектографе. В правом

ее углу были оттиснуты слова: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»

Это была большевистская прокламация, призывавшая к превращению империалистической войны в войну гражданскую.

Я прочел прокламацию и засунул ее в тот же снарядный стакан. Когда после обеденного перерыва я пришел в цех, прокламации в стакане уже не было. Рабочие поглядывали на меня, улыбаясь, но никто не сказал ни слова.

Поезд на Таганрог уходил вечером. Я попрощался с Гринько.

— А вы меня зря боялись,— сказал он, сидя нахохлившись за своей конторкой и не подымая глаз.— Я, правда, бывший эсер. Но теперь я анархист.

Он помолчал и уныло добавил, как бы совершенно не веря собственным словам:

— Анархия — это единственное разумное устройство человеческого общества.

— Ну что ж,— сказал я,— помогай вам бог!

— Или вы оппортунист,— сказал Гринько так же тихо, но уже злым голосом,— или циник. А я думал, что имею дело с передовым юношей.

— У меня в документах написано: «Мещанин города Василькова, Киевской губернии». Чего же вы от меня хотите! Во всяком случае, я вам благодарен за гостеприимство и потому ни в какие споры лезть не хочу.

— А вы, кажется, далеко пойдете,— уже грубо, не скрываясь, сказал Гринько.

— Ну, так далеко, как вы, я не пойду! За это я ручаюсь. Прощайте.

Я взял свой чемодан. Гринько сидел все так же нахохлившись, смотрел на меня маленькими глазами, сопел и молчал.

Я вышел.

Ночью я дожидался в сумрачном буфете на станции Ясиноватой поезда в Таганрог и думал, что вот пройден еще один небольшой этап жизни и вместе с ним прибавилось горечи. Но, как это ни странно, горечь не только не замутила, а, наоборот, усилила веру в приход прекрасных дней, в приход всенародного освобождения.

Оно придет, говорил я себе. Оно не может не прийти хотя бы потому, что в самом ожидании его уже заключена огромная плодотворная сила.

О ЗАПИСНЫХ КНИЖКАХ И ПАМЯТИ

Писателей часто спрашивают, ведут ли они записные книжки или полагаются только на память.

Большинство писателей ведет записные книжки, но редко пользуется ими для своей работы. Записные книжки существуют в литературе главным образом как самостоятельный жанр. Поэтому их и печатают наряду с романами и рассказами того или иного писателя.

Еще в гимназии учитель «русской словесности» старик Шульгин любил повторять нам, что «культура — это память». Сначала мы не очень соображали, о чем говорит Шульгин, но с возрастом поняли, что это действительно так.

— Мы,— говорил Шульгин,— держим в своей памяти ве́ка. Вся история мира, воображение, человеческая мысль — все это хранится в памяти и заставляет работать наш разум. Если бы не было памяти, мы бы жили, как слепые кроты.

Для писателя память — это почти все. Она не только хранит накопленный материал. Она задерживает, как волшебное сито, все самое ценное. Пыль и труха просыпаются и уносятся ветром, а на поверхности остается золотой песок. Из него и надлежит, по всей видимости, создавать произведения искусства.

Заговорил я о записных книжках не случайно.

Несколько лет назад мне дали прочесть записную книжку одного умершего писателя. Я начал читать ее и убедился, что это были не отдельные короткие записи, как это всегда бывает в записных книжках и дневниках, а довольно связное описание неизвестного приморского города. Ниже я постараюсь воспроизвести это описание с возможной точностью.

Чем дальше я читал эту записную книжку, тем яснее проступали в памяти позабытые краски и запахи, какие-то знакомые места. Но я не мог сразу вспомнить, где я видел эти места и когда это было. Они выступали, как из тумана или из давнего сна, который стараешься восстановить по кускам, как склеивают разбитую статую.

Что же было в этих записях?

Прежде всего, было точное описание деревьев и цветов акации.

«Цветы эти тронуты желтоватым и розовым налетом и кажутся чуть подсохшими.

Тень перистых акациевых листьев падает на белые стены и колеблется даже от незаметного ветра. Достаточно взглянуть на эту живую тень, чтобы понять, что ты — на юге и невдалеке от моря.

Когда акация осыпается, ветер несет вороха цветов по улицам. Они с шумом, подобно сухому прибою, катятся по мостовым и набегают на садовые ограды и стены домов».

В этой книжке была еще запись о портовых спусках. Спуск в гавань, выход к кораблям, к морским просторам — это не такая малость для литературного описания, как может сгоряча показаться.

«Мостовые на портовых спусках отполированы до свинцового блеска подковами битюгов. Между камней прорастают из рассыпанных зерен всходы овса и пшеницы. Крутые подпорные стены заросли дроком. Он свешивается сверху, как остановившийся водопад из непролазного переплетения веток, листьев, колючек и желтых цветов.

Кое-где в этой пыльной зелени вырублены ниши. В них скрыты маленькие кофейни и лавчонки. Там торгуют сельтерской водой и баклавой — слоеным греческим печеньем на меду.

В кофейнях передняя стена всегда застеклена. Сквозь нее видно людей в линялых тельниках, азартно играющих в карты.

Но это не все. Тут же сидят на низких скамеечках старые женщины и продают жареные каштаны. Угли в мангалах наливаются жаром. Слышен непрерывный легкий треск — это лопается скорлупа каштанов.

Крутой поворот — и внизу, как на детской картинке, появляется совершенно игрушечный порт.

Узкие молы заросли травой. Она закрыла рельсовый путь. И это жаль. Иначе мы могли бы увидеть красные от ржавчины рельсы и цветы ромашки, льнувшие к рельсам белыми головками.

В жерле каждой чугунной причальной пушки стоит, как в стакане, солоноватая вода. Нужно нагнуться к ней, и вы услышите запах, от которого у вас забьется серд-

це,— запах океана и полыни, тот запах, что освежает голову и напоминает о плаваниях, целительных для сердца и плодотворных для ума.

Зеленоватые маленькие волны плещутся о сваи.

Мартыны пронзительно вскрикивают и алчно хохочут, увидев с высоты стаю доверчивых мальков.

Звенит от ударов волн о цоколь железная сквозная башня мигалки — маленького сигнального маяка на оконечности мола.

На портовых мачтах висят таинственные знаки — шары и конусы.

Что предсказывают эти черные шары? Может быть, мутный шторм. А может быть, полный штиль. Тогда прозрачность воздуха как бы растворяется в морской воде. И море, впитав эту чистоту, тоже станет прозрачным до дна.

Нет, должно быть, будет шторм. Тревожно шевелятся черные паруса рыбачьих шаланд. Быстро мигают в сумерках бортовые огни.

Мысль о далеком морском путешествии уже запала вам в душу. Но все-таки немного жаль покидать этот уютный город, где ветер похлопывает синими и зелеными ставнями по стенам, а в освещенных комнатах видны на полках толстые книги, вероятно, комплекты «Нивы», «Вокруг света», «Родины».

Но все равно вы не можете уехать, потому что в порту нет пароходов. Они останавливаются далеко на рейде.

Неужели в этом порту нет пароходов? Есть, конечно, портовый буксир. Он добродушно посапывает у причала. Есть старая шхуна «Труженик моря». Есть два разоруженных корвета.

Давным-давно их привели на слом, но пока что они стоят среди порта, опустив в воду, как вытянутые руки, тяжелые якорные цепи. Корветы вспоминают сквозь сон свое прошлое, когда они проходили Магелланов пролив и резали форштевнями маслянистую воду Архипелага. В темноте можно, хотя и с трудом, разглядеть их изогнутые носы-тараны, бугшприты и трубы.

Днем можно подплыть к одному из этих корветов на лодке, дать пачку папирос «Цыганка Ада» сторожу и потом сидеть на палубе в тени от трубы и читать все, что вам будет угодно и сколько будет угодно. Конечно, лучше всего в таком месте читать или стихи, или описания путе-

шествий,— такие, как «Фрегат «Паллада» или дневник капитана Кука.

Но, в общем, выбирайте сами, к какой книге вас больше влечет эта белая от старости палуба и запах железных бортов, заросших по ватерлинии бахромой водорослей.

С палубы этих корветов — свидетелей кругосветной славы — хорошо видно море.

Оно не сверкает лазурью, бирюзой, сапфиром, аквамарином и прочими красотами южных морей.

Оно зеленоватое и тихое. Единственным его украшением являются облака. Море охотно отражает их, понимая, что они оживляют его простор.

Облака медленно подымаются с юга. Они похожи на средневековые города с крепостными башнями, соборами, базиликами, триумфальными арками, блестящими рыцарскими знаменами-орифламмами и дальним планом снежных гор — Монбланов и Монтероз.

Какой-то сумасбродный художник причудливо осветил эти города. И облака сияют, разгораясь к закату, всеми полуцветами вечерней зари — от синего до золотого и от пурпурного до серебряного».

Я читал эту запись, и что-то знакомое мучило меня. Я искал хотя бы какого-нибудь названия, имени, чтобы узнать этот город. Я уже догадывался в глубине души, о каком городе идет речь, но не был еще окончательно уверен в этом.

Ага! Вот! Наконец! «Удивительно, что в книгах одного замечательного нашего писателя — уроженца этого города — не отразилось ничего, о чем сказано выше,— ни моря, ни порта, ни акации, ни черных парусов».

В этих словах заключалась разгадка. Ну, конечно, все это было написано о Таганроге — родине Чехова.

Как только я догадался об этом, все прочитанное ожило, потеряло налет остраненности, какой был во время чтения, и приобрело резкую выпуклость и реальность.

Да, это был Таганрог. Таким я его увидел в 1916 году, когда приехал из Юзовки и прожил в нем до поздней осени.

Таким я увидел его потому, что был молод и романтически настроен, зачитывался стихами и морскими книгами и видел то, что мне хотелось видеть.

Поэтому я долгое время боялся попасть в Таганрог в зрелые годы, чтобы не разочароваться и не застать его совершенно непохожим на тот город, каким он впервые явился передо мной.

Что делать! С возрастом мы теряем спасительную способность преувеличивать.

Но в 1952 году осенью я случайно попал в Таганрог и убедился, что в молодости я был все же прав. Таганрог был так же хорош. Он не потерял свою прелесть, хотя она и приобрела иной характер. Сейчас это был город учащейся молодежи — юношей и девушек, звонких перекличек на улицах, смеха, пачек книг в руках, пения и споров.

А там, где в 1916 году были невзрачные окраины, появились новые маленькие нарядные города — рабочие поселки около новых заводов. Они окружили старый Таганрог шумным кольцом.

Но в самом Таганроге было по-прежнему пустынно, уютно и тихо. Рыбачьи байды на черных парусах отрывались от берега и уходили в море так плавно, что с горы, где стоит бронзовый Петр, казалось, будто ветер разносит по морю черные осенние листья.

В 1916 году я поселился в Таганроге в гостинице Кумбарули — большой, пустой и прохладной. Она была построена еще в те баснословные времена, когда Таганрог был богатейшим городом на Азовском море — столицей греческих и итальянских негоциантов.

Тогда в Таганроге блистала итальянская опера, в нем жили Гарибальди и поэт Щербина, влюбленный в Элладу, в нем жил и умер плешивый щеголь Александр Первый.

Но вскоре Одесса и Мариуполь отняли у Таганрога его богатства, и город затих и опустел.

В гостинице Кумбарули были такие высокие комнаты, что вечером потолки тонули в темноте — свет ламп не доходил до них. Потемневшие фрески на стенах изображали классическую страну с руинами, каскадами и томными пастушками в красных юбках. Пастушки вязали, конечно же, венки.

Первые два месяца я работал на котельном заводе Нев-Вильдэ. Он принадлежал бельгийской акционерной компании.

Завод стоял за городом в знойной степи. В мастерских был слышен треск кузнечиков.

Когда я приехал, на заводе шла сборка единственного гидравлического пресса для выделки снарядных стаканов. По светлым и пустым мастерским ходили инженеры-бельгийцы в панамах и разноцветных подтяжках. Они относились к нам, русским рабочим, высокомерно и недоверчиво. Во всяком случае, с лиц у них не сходила кислая гримаса.

На заводе, по существу, шла непрерывная итальянская забастовка. Работали уныло, вяло и так медленно, что за два месяца мы едва собрали только станину для пресса.

В городе было уже голодно, не всегда хватало хлеба. Цены росли, и питались мы преимущественно сельтерской водой с галетами. Эти соленые морские галеты целыми ящиками добывали из-под полы в интендантских складах и делили поровну между рабочими нашего цеха.

В гостинице жить было дорого, и я вскоре снял комнату у некоего Абраши Флакса — развязного и шумного комиссионера.

Абраша Флакс был уверен, что помимо работы на заводе я пишу еще рассказы о Джеке-Потрошителе и знаменитых американских сыщиках Нике Картере и Нате Пинкертоне.

Другой литературы Абраша не признавал. Его беспорядочная квартира был завалена растрепанными книжонками, отпечатанными на дрянной серой бумаге, но с цветными обложками, изображавшими чудовищные преступления бандитов и не менее чудовищные подвиги сыщиков.

Особенно запомнилась мне одна обложка, где был изображен Нат Пинкертон, попавшийся в лапы убийце-негру. Негр держал Пинкертона на вытянутых руках, схватив его за талию, над бездонной пропастью, а Пинкертон хладнокровно наводил на убийцу два револьвера. Мораль этой картинки была ясна,— если негр разнимет руки и выпустит Пинкертона, то сыщик успеет влепить в негра две пули. Очевидно, убивать друг друга ни сыщику, ни негру не было никакого резона. Абраша Флакс восторгался этой обложкой.

У Абраши была жена — маленькая, плаксивая, вся в черных кудряшках, с жалобным голосом и въедливыми глазами.

— Вы не смотрите, что она маленькая,— говорил мне доверительно Абраша,— а вы смотрите, что она злая, как бешеная кошка. Чем с такой жить, так лучше утопиться в море.

Абраша, правда, не топился, но искал веселых отвлечений на стороне. Однажды я встретил его на лодочной пристани с жеманной волоокой девицей. На ее шляпке качались бархатные красные маки. Девица игриво вертела на плече японский зонтик с изображением купающихся негритянок.

Абраша взял лодку и поехал с девицей кататься по морю. Когда лодка отошла подальше от берега, девица начала подозрительно хохотать и повизгивать.

Лодочник Лагунов, человек суровый и недовольный, сказал, что Абраша Флакс — маклак и бабник и когда-нибудь ему умоют за это его сальную личность. Давать такому человеку лодку для катанья — только поганить море.

Каждый раз, когда мадам Флакс узнавала о новой измене Абраши, в доме подымался неистовый содом.

Прежде всего мадам Флакс выбегала в капоте во двор и кричала трагическим голосом, воздев к небу худые руки:

— Слушайте, честные женщины! Слушайте все! Опять он спутался с этой дрянью, с этой паршивой Люськой! Чтобы мне домой не дойти, если я не убью эту гадюку и сама не отравлюсь кислотой. Дайте мне ее! Дайте!

После этого мадам Флакс бросалась на улицу, очевидно в аптеку за кислотой, а может быть, на поиски Люськи. Сердобольные хозяйки со двора догоняли ее, приводили, рыдающую, домой и наперебой успокаивали:

— Не волнуйтесь так, мадам Флакс, это же разрывает сердце. Пожалейте свои женские нервы! У каждого мужчины есть свои недостатки.

— Приведите мне маму! — рыдала мадам Флакс.— Мою добренькую старенькую маму. С Телеграфного переулка, дом пять! И сестрицу Берту. И тетю Софочку. И моего умненького Боречку. Пусть они судят его страшным судом! И приведите мне его самого, этого негодяя, иначе я не знаю, что я с собой сделаю.

Она начинала кататься по полу, бить ногами и визжать. Женщины охали, метались, поили ее валерьянкой, пока наконец не появлялась суровая тучная старуха с седыми усами — добренькая мама. Она кричала еще из передней громовым хриплым басом:

— Тихо мне! Что это за гармидор и цыганский базар! Вылейте на нее ведро холодной воды!

Мадам Флакс мгновенно затихала и только стонала тоненько, как раненая птица.

— Мне уже обрыдло,— гремела добренькая старенькая мама,— возиться с этой ненормальной дурой! Заткнись, припадочная! На кого ты похожа! На последнюю расхлыстанную Хиврю. Встань, умойся, и чтобы я больше не слышала от тебя ни одного слова, идиотка!

А через час или два во дворе, как раз под окном моей комнаты, собирался семейный суд. Приходили все, в том числе и сестрица Берта с маленьким умненьким Боречкой.

Было необъяснимо и мерзко, что визгливая семейная склока обязательно выносилась на люди, во двор, и обсуждалась при жадном любопытстве соседей.

Во двор вытаскивали круглый стол, покрытый вязаной скатертью, и расшатанные венские стулья. Все рассаживались на стульях вокруг стола. Один только Абраша сидел с убитым видом несколько в стороне, как подсудимый.

Суд начинался не сразу. Ждали раввина. Пока же все молчали, с укором поглядывая на Абрашу.

На суд Абраша всегда являлся в растерзанном виде — в рубашке без воротничка, подтяжках и расшнурованных ботинках. Может быть, он хотел вызвать этим жалость, а может быть, этот вид выражал, по мнению Абраши, раскаяние и заменял древний обычай посыпать голову пеплом.

Потом приходил добродушный старый раввин, сморкался на весь двор, садился в мягкое кресло, долго вытирал клетчатым платком бороду, говорил: «Опять начинаются фигли-мигли»,— и происходило разбирательство. Велось оно по-еврейски, но это обстоятельство нисколько не мешало многочисленным русским зрителям переживать все перипетии семейной драмы.

Все кончалось примирением. Раввина уводили угощать в квартиру, и на некоторое время устанавливалась тишина.

Работы на заводе Нев-Вильдэ было немного. Я рано возвращался домой, много писал и читал.

Я записался в городскую библиотеку. Там в отдельных шкафах стояли книги, подаренные Чеховым. Их на руки не выдавали, но иногда показывали читателям.

Это были книги полузабытых писателей — Потапенки, Щеглова, Эртеля, Измайлова, Баранцевича, Муйжеля, с авторскими автографами или с дарственными надписями Чехова — тонкими, без нажима, похожими на докторские рецепты.

Жизнь шла так спокойно, что я установил в ней даже некоторый твердый порядок. Писал я дома, читать же уходил в порт, на один из разоруженных корветов, чаще всего на «Запорожец».

Я сдружился со сторожем, и он пускал меня на корвет в любое время. Иногда в теплые ночи я даже оставался ночевать на «Запорожце».

Я брал шлюпку у лодочника Лагунова, подплывал к корвету, привязывал шлюпку к отвесному железному трапу и подымался по этому трапу на высокую палубу.

Я привозил с собой немного еды, а чай мы кипятили вместе со сторожем.

Мне казалось, а может быть, это было и действительно так, что я здоровею от солнца и легкого голода,— я его испытывал тогда все время.

Я читал подряд и выучивал наизусть всех поэтов, книги которых брал в библиотеке.

Меня покоряла музыка стихов. Только в стихах раскрывалось до предела певучее богатство русского языка.

В стихах слова звучали как бы наново, как бы только что найденные и сказанные впервые. Я бывал потрясен их точностью, выразительной силой и блеском.

Я мог без конца повторять отдельные любимые строфы. Каждый день они менялись. Одна строфа уступала место другой.

То я вспоминал Лермонтова: «Немая степь синеет, и венцом серебряным Кавказ ее объемлет»; то пушкинские слова о том, что «каждый день уносит частицу бытия», то тютчевский весенний гром, напоминающий о том, как «ветреная Геба, кормя Зевесова орла, громокипящий кубок с неба, смеясь, на землю пролила», то фетовскую весну: «Из царства льдов, из царства вьюг и снега как свеж и чист твой вылетает май».

Я был окружен толпой поэтов. Я беседовал с ними. У меня кружилась голова от множества их мыслей и образов, литых и драгоценных. Откуда все это бралось, из каких глубин ясной и горячей души!

Я чувствовал себя владетелем богатств. Со мной говорили Леконт де Лиль и Гейне, Верхарн и Бернс. И при этом они говорили мне все лучшее, что они могли сказать. Разве это не было счастьем? Меня удивляли тогда еще, в молодости, и удивляют сейчас люди, которые не понимают или не замечают этого.

Я был твердо уверен, что иностранные поэты лучше звучат в русских переводах, чем на своем родном языке.

Особенно мне запомнились тогда стихи Эредиа. Они подходили к Азовскому побережью с его обрывистыми мысами, степями и ощущением древности. Многие стихи Эредиа я знал наизусть.

Мне трудно удержаться, чтобы не повторить их сейчас:

> Разрушен древний храм на мысе под обрывом.
> Перемешала смерть в рудой земле пустынь
> Героев бронзовых и мраморных богинь,
> Покоя славу их в кустарнике дремливом...

И рядом звучал почти забытый Мей. «Феб златокудрый закинул свой щит златокованый в море, и растекалась па мраморе вешним румянцем заря». И тут же пели широкие и светлые, как дыхание утра, строки Александра Блока:

> О, весна без конца и без краю —
> Без конца и без краю мечта!
> Узнаю тебя, жизнь! Принимаю!
> И приветствую звоном щита!

Стихи были для меня такой же реальностью, как хлеб, работа на заводе, как солнце и воздух. Они заставляли меня жить в постоянном напряжении, в неожиданном и разнообразном мире. Они несли меня, как пенистый поток несет оторванную от дерева ветку. Я не мог сопротивляться им.

Все окружающее я видел сквозь прозрачное вещество стихов. Сначала мне казалось, что это окружающее приобретало иной раз от прикосновения поэзии то содержание, какого в нем и не было, приобретало преувеличенный блеск.

Но это было не так. Ни тогда, ни сейчас я ни на минуту не жалею о своей юношеской одержимости поэзией. По-

тому что знаю, что поэзия — это жизнь, доведенная до полного выражения, раскрытие мира во всей его глубине, трудно охватываемой нашим ленивым взглядом.

В Таганроге я впервые жил около моря не как гость. Впечатления не проскальзывали, а откладывались и крепли. И потому особенно я любил стихи, наполненные своеобразием приморской жизни. Я проверял их на всех явлениях, происходивших вокруг.

Я часто выезжал на шлюпке далеко в море, обычно к вечеру, после работы. Садилось солнце. Я останавливал шлюпку. С весел падали капли.

Зрелище заката вызывало в памяти слова: «Солнца диск золотой, уходя из лазурной пустыни, погружается медленно в светлое лоно зыбей...»

Меня удивляла точность этих слов. Действительно, золотой диск солнца уходил из пустыни неба и медленно погружался в легкую морскую зыбь. В этих словах не было ничего выспреннего, нарочитого, но в них вместе с тем заключалась широкая торжественность. Я никак не мог найти то мгновение, когда она возникла в этих стихах и дальше уже лилась свободно и сильно.

Я любил маленькие пароходные конторы в порту, сизые от табачного дыма, с расписаниями по стенам. Служащие этих контор были большей частью греки. Невольно я переносил на них содержание стихов: «Я так часто бросал испытующий взор и так много встречал испытующих взоров, Одиссеев во мгле пароходных контор, Агамемнонов между трактирных маркеров».

Я верил в то, что между этими людьми разыщу своего Одиссея. Так и случилось. Звали его Георгий Сиригос. Это был пароходный агент — сухой человек с коричневым лицом и черными печальными глазами. На худощавой руке он носил янтарные четки.

В любую погоду Сиригос выходил на рейд к пароходам на маленькой шлюпке. Он считался лучшим знатоком Азовского моря. По цвету неба он мог сказать, какой завтра будет ветер и пойдут ли в донские гирла косяки сельди. Он определял направление ветров с точностью до одного градуса. Никакой компас не мог бы определить вернее.

У Сиригоса была красавица дочь. Она часто приходила в пароходную контору к отцу, садилась на подоконник и читала запоем. Когда ее окликали, она отвечала не сразу

и, подняв голову, как будто просыпалась от глубокого сна. Ее синие глаза никогда не улыбались, а от длинных черных кос шел запах лаванды.

На тонкой руке она носила оловянный матросский браслет. Она никогда ни с кем не разговаривала.

Иногда я ее видел в порту. Она сидела на молу, свесив ноги. Волны, разбиваясь, забрызгивали ее черное платье. Как все гречанки, она любила черный цвет. Множество моряков сваталось к ней, но она всем отказывала.

Сиригос и его дочь долго занимали меня, и кто знает, сколько я придумал романтических историй, где главными героями были Сиригос, его дочь и я.

Примерно в миле от Таганрога в открытом море стояла на низких скалах проблесковая мигалка. Ее звали Черепахой.

Я часто ездил к Черепахе. В тихую погоду я привязывал шлюпку к ее железной решетке и удил с борта рыбу. Попадались почти одни черные бычки с сосредоточенным выражением на мордах. Они как будто даже не огорчались неприятному происшествию с собой, а только старались сообразить, как это случилось.

Прозрачная вода переливалась между камнями. Вдали на мысу был виден Таганрог, купола собора, маяк и рыжие откосы берегов.

Однажды я увлекся рыбной ловлей около Черепахи и не заметил, как подошли сумерки. Я сидел спиной к открытому морю и вдруг услышал тихий набегающий гул. Я оглянулся. С моря шел ветер. Серая мгла висела по горизонту. В ней мутно блеснула молния.

Вода вокруг сразу почернела и пошла железной рябью.

Я отчалил от Черепахи и начал грести к Таганрогу. Ветер свежел с такой быстротой, что уже через несколько минут волны начали захлестывать в шлюпку.

Как часто бывает на море, особенно на Азовском, ветер стал поворачивать, задувать от Таганрога, и меня начало сносить в открытое море. С шумом и плеском прошел рядом маленький смерч.

Быстро темнело. Зажегся таганрогский маяк.

У этого маяка фонари были устроены так, что на разных расстояниях от порта они давали огонь разного цвета. Сейчас я не помню уже последовательности этих огней,

но, кажется, у самого порта маяк давал красный огонь, дальше — зеленый и на самом большом отдалении — белый.

Я оглянулся. Маяк горел белым огнем. До порта было еще далеко.

Ветер дул с бессмысленной яростью. Он наскакивал порывами, круто бросался в стороны, кружился и злорадно свистел в веслах.

Волны с размаху били в нос, шлюпка взлетала в темноте, и я слышал, как море тяжелыми бросками швыряет в нее ведра воды.

Ноги у меня были уже по косточку в воде. Надо было ее отлить. Я бросил весла и нащупал черпак. Но волны тотчас повернули лодку бортом, меня закружило, и я понял, что первый же большой вал накроет шлюпку и перевернет ее.

Я схватил весла и снова начал грести из последних сил. Мокрая рубаха прилипла к телу и очень мешала. Руки жгло,— должно быть, я сорвал на них кожу.

Когда я оглянулся, маяк горел зеленым огнем. Порт был уже ближе. «Еще немного,— говорил я себе.— Еще! Сейчас появится красный огонь. Тогда ты спасен».

Я потерял ощущение времени. Было, должно быть, около полуночи. Тяжелая тьма гудела и бесновалась вокруг. Даже не было видно пены от набегавших валов.

Я греб и стонал от напряжения. Мокрые волосы падали на глаза, но я их не откидывал,— все равно вокруг ничего не было видно, а мне нельзя было бросать весла хотя бы на секунду: тотчас ветер отжимал шлюпку далеко назад.

Я оглянулся и выругался: маяк снова горел белым огнем! Меня быстро сносило, и не было, казалось, никакой силы, чтобы продвинуть шлюпку против этого неистового ветра.

Тогда я бросил весла и снова начал отливать воду. Странное безразличие охватило меня. Я отливал воду и почему-то вспомнил вдруг маму и Галю, узкую улочку в Люблине, где я рвал для Лели холодную сирень, сырые тучи над дорогой в Барановичи, теплую женскую ладонь, ласково погладившую меня по щеке, костер в кобринской синагоге.

Воспоминания возникали без всякой связи, путались, вытесняли друг друга. Я на время как будто оглох и ослеп.

Когда я поднял голову, огонь маяка висел на самом горизонте. Он был похож на тонущую звезду.

Я взялся за весла и начал грести медленно, равномерно, в оцепенении. Меня удивляло, что я еще не утонул. Волна замотала меня, и вряд ли в это время я соображал хоть что-нибудь.

Я оглянулся и увидел зеленый огонь. Тогда меня охватила не радость, а непонятная ярость. Я начал грести с такой силой, что трещали весла. Я греб стоя, греб всей тяжестью своего тела. Я ругался сквозь стиснутые зубы, потом начал бессмысленно повторять одни и те же слова: «Черта с два! Я тебе не поддамся!»

Время шло, и я был уверен, что ночь никогда не окончится.

Неожиданно я услышал за спиной новый осатанелый рев, оглянулся и увидел красный огонь маяка. Порт был рядом. Это ревели волны, накатываясь на молы, отливая от них и сшибаясь со встречными волнами. К небу взлетали столбы черной воды и пены. У входа в порт происходило самое опасное — то, что моряки называют «чертовым котлом». Надо было прорваться в ворота порта через заградительную стену кипящей бесноватой воды.

На оконечностях молов горели огни. Я повернул шлюпку к ним. Сразу же вернулось сознание опасности.

Я определил по огням, куда меня отшибают волны, и начал бешено грести. Чтобы было легче, я кричал.

Шлюпку швыряло, как пробку в водопаде. Она взлетала, бросалась носом во все стороны, дно ее трещало от ударов.

Белый яркий свет вспыхнул над головой. Я, конечно, не мог догадаться, что это осветительная ракета и что меня заметили с мола.

Я увидел черные стены молов совсем рядом с собой и вдруг почувствовал, что кипение воды упало. Огни на концах молов медленно поползли назад, и неожиданно меня перестало швырять и бить. Я различил впереди высокие бугшприты знакомых корветов, змеящиеся отражения огней и услышал протяжный крик:

— Эй, на шлюпке! На шлюпке!

На молу махали фонарем. Я подвел шлюпку на свет фонаря, к каменной лестнице и бросил весла.

Из шлюпки меня вытащили портовые сторожа, отвели в караулку, и там при слепящем свете электрической

лампы я увидел себя — изорванного, мокрого насквозь, с окровавленными синими руками.

— Счастлив ваш бог,— сказал мне седой смотритель порта со свирепыми бровями.— Почему вы вышли в море, когда с двух часов дня были подняты штормовые сигналы?

— Я не умею разбираться в сигналах,— сознался я.

— Так вот,— сказал смотритель порта и протянул мне серебряный портсигар,— запомните, что каждому человеку надо понимать штормовые сигналы. И на море, и в собственной жизни. Во избежание непоправимых несчастий.

ИСКУССТВО БЕЛИТЬ ХАТЫ

С завода Нев-Вильдэ я перешел на маслобойный завод Ваксова. Кончалось лето 1916 года.

Владелец завода, молодой и глуповатый толстяк, считался в Таганроге миллионером. Он всегда ходил в грязном и мятом чесучовом костюме, все время чесал пятерней растрепанную рыжеватую бородку и говорил невразумительно, спотыкаясь, через пень колоду.

Желая доказать свой патриотический пыл, Ваксов поставил у себя на маслобойном заводе гидравлический пресс и начал жать снарядные стаканы. Но ничего из этой затеи не вышло. Ваксовский пресс изготовлял только ужасающий брак.

Ваксов заслуживает, конечно, описания, но я не могу, к сожалению, сделать этого, так как уже описал его в прологе к повести «Рождение моря».

Делать на заводе у Ваксова было совершенно нечего. Я послал своему непосредственному начальнику капитану Вельяминову в Екатеринослав заявление с просьбой освободить меня от работы. Через неделю я получил ответ, что просьба моя уважена.

Я так смело отказался от работы на заводе потому, что познакомился на таганрогском базаре со старым рыбаком с Петрушиной косы Мыколой и договорился, что он возьмет меня к себе подручным.

До Петрушиной косы меня довез на волах ленивый «дядько», ехавший дальше на какие-то «бисовы хутора».

Колеса тонули по ступицу в пыли, и «дядько» говорил мне по этому поводу:

— Вот бисова пылюга, чтоб ей пропасть! А есть, между прочим, средствие, чтобы ее не было. Старинное средствие.

— Какое?

— Соленой водой поливать дороги. Соль схватит пыль, як цемент. У нас жинки глиняные полы в хатах поливают солью, и те полы стоят, як каменные. И тока солью поливают, когда молотят хлеб. Для прочности почвы. Так-то, паныч! Соображайте, что к чему на свете. А то ненароком и сделаете глупость.

Он высадил меня около спуска на Петрушину косу и поехал дальше, лениво покрикивая на задумчивых волов:

— Цоб-цобе, бисовы хлопцы! Хай бы холера вас забрала!

С обрыва я увидел внизу маленькую песчаную косу, а на ней несколько ослепительно белых хаток. На берегу сушились на подпорках розоватые тонкие сети. На прозрачной воде покачивались черные шаланды — байды.

Больше вокруг не было ничего, если не считать индигового неба, моря, солнца и желтой травы. Она качалась по ветру.

Когда я спускался с крутого обрыва, я заметил двух белоголовых, босых, совсем еще маленьких мальчиков и такую же белоголовую девочку лет восьми. Они изо всех сил бежали мне навстречу. Девочка бежала впереди, оглядывалась и кричала мальчикам:

— Швидче! Бо спизнымся сховаться! Швидче!

Потом все трое исчезли, будто провалились сквозь землю. Но когда я проходил мимо высоких зарослей чертополоха, из них послышалось легкое хныканье и торопливый шепот:

— Та не плачь! Дядя услышит. Я тебе зараз выйму занозу.

Дети прятались в чертополохе. Когда я прошел, они вышли и пошли следом за мной, но на почтительном расстоянии. Один мальчик хромал: должно быть, накололся на колючку.

Я остановился и окликнул детей. Они подходили ко мне медленно, стесняясь, потупив глаза и шмыгая носами. Впереди шла девочка, а мальчики прятались за ней.

— Здравствуй,— сказал я девочке.— Где тут живет дед Мыкола?

Девочка вся затрепетала, подняла на меня сияющие, глубокие серые глаза и улыбнулась.

В этой улыбке соединилось все, чем сейчас светилось ее маленькое загорелое существо,— приветливость, гордость и смущение. Гордость из-за того, что к ней первой, а не к мальчишкам обратился с вопросом таинственный городской человек.

— Пойдемте, дядя! — смело сказала она, взяла меня за руку и, счастливая и раскрасневшаяся, повела к последней крошечной хате, стоявшей у самой воды.

Тотчас на порогах хат, как по команде, появились женщины — и молодые и старые. Они торопливо поправляли на головах платки, радушно здоровались со мной и нарочито говорили:

— Где ж это ты, Наталка, подхватила такого гарного гостя? Вот цикавая дивчина! А мы думаем, кого ж це она ведет к нам на косу! Не иначе как капитана с «Керчи».

«Керчь» был маленький колесный пароход. Он делал рейсы из Ростова в Мариуполь. Если случались грузы, то «Керчь» изредка заходил и на попутные рыбачьи косы.

Очевидно, у детей «Керчь» считался сказочным кораблем.

Наталка шла гордо, не отвечая на неуместные шутки женщин. Только пунцовые щеки выдавали ее радость. А мальчишки, сознавая свое ничтожество, плелись позади в глубоком и благоговейном молчании.

Так мы дошли до хаты деда Мыколы. Там Наталка сдала меня с рук на руки сухой старушке с пытливыми глазами — жене деда Мыколы бабке Явдохе.

При таких хороших предзнаменованиях началась моя жизнь на Петрушиной косе.

Дед Мыкола взял меня в подручные охотно. Всех молодых рыбаков угнали в армию, на войну, и на косе, по словам деда Мыколы, «баснословно некому было работать». Слово «баснословно» дед Мыкола употреблял в разнообразном смысле. Оно означало и «совершенно», и «безусловно», и «много», и даже просто «да». В ответ на вопросы дед Мыкола часто отвечал: «Баснословно!»

Взял он меня в подручные «на харчах без доли», иными словами, дед Мыкола обязался меня кормить, а я отказался от денежной части при продаже улова. Я так мало ел, что подручным для деда Мыколы оказался вполне подходящим.

То обстоятельство, что я отказался от доли и «мало кушал», хотя и было на руку деду Мыколе, но сильно его смущало. Он часто вместе с бабкой Явдохой обсуждал эти два загадочных факта и, конечно, считал меня немного тронутым — «божевильным».

Я занялся «рыбацкой наукой». Это действительно была своего рода наука, сложное мастерство. Оно «баснословно» требовало большого опыта и особых, нигде не записанных, знаний. Они передавались рыбаками из рода в род.

Дед Мыкола посвящал меня в свою науку неторопливо, поясняя рыбацкое дело примерами и случаями из своей жизни.

Постепенно я узнал все породы рыб, водившихся в Азовском море, их повадки, главные подводные дороги рыбьих косяков. Я узнал множество примет, все ветры (а на Азовском море их было много) — трамонтану, бору, горишняк, гирловой, сгонный, низовку, верховку, керчак, левант и другие, более редкие.

У каждого рыбака было свое «место» в море, где он ставил («высыпал») сети. На это место надо было выходить очень точно.

Прежде всего дед Мыкола научил меня ориентироваться в море по неподвижным предметам на берегу, или, как говорили рыбаки, научил меня «выходить на предмет». По морской терминологии это искусство называлось «пеленгованием».

— Вот,— говорил дед Мыкола,— смотрить, когда вот то сухое дерево на обрыве закроет крест на таганрогском соборе. Вот это и будет наша линия. Мы по ней должны держать, идти баснословно, как по струне, покамест вон там слева тот ближний курган в степу не закроет дальний курган. Вот это пересечение и будет наше «место», где сыпать сеть.

В тихую погоду «выходить на предмет» было легко, но в ветер я долго мучился на веслах, пока мне удавалось вывести неповоротливую байду на нужное место.

Мы высыпали сети вечером, а выбирали на рассвете в любую погоду. Только в сильные штормы рыбаки не выходили в море. Но они никогда не сознавались, что это опасно, а ссылались на то, что волна «переболтала» всю рыбу и все равно ничего не поймаешь.

Я видел много рассветов над морем.

Были рассветы теплые и ласковые. Заря медленно зарождалась в тишине ночи. Небо на востоке нежно синело, меркли звезды (они не погасали сразу, а все дальше и дальше уходили, уменьшаясь и бледнея, в глубь неба), слабый туман курился над прозрачной водой.

Когда мы подплывали к сетям, уже подымалось солнце. Тень от байды ложилась на воду. В этой тени вода приобретала темный малахитовый цвет. Было так тихо, что стук весла о борт разносился по морю далеко и гулко, как в комнате.

Такие рассветы рыбаки называли «ангельскими».

Но были рассветы зябкие, серые, сырые. Тогда ветер гнал красноватые мутные волны, и белесая мгла клубилась на горизонте.

Были рассветы черные, штормовые, с изорванным в клочья небом, и были рассветы мутно-зеленые, швыряющие пеной в лицо.

Рассветы с алым, воспаленным небом и режущим ветром всегда приносили ненастье.

Но плохие рассветы бывали редко,— стоял август, самый тихий и теплый месяц на Азовском море.

Рыбу дед Мыкола продавал скупщицам — разбитным и языкатым бабам, иногда же по воскресеньям сам возил на базар в Таганрог.

Дед Мыкола был старик молчаливый и на вид даже угрюмый, не в пример другим старым рыбакам на косе. Бабка Явдоха — хворая и безответная — при муже тоже помалкивала да вздыхала, а без него любила пожаловаться на деда Мыколу за скупость.

На косе был обычай белить хаты сообща. Белили их часто — и под праздники и после дождей.

Рыбачки собирались с раннего утра и белили подряд все хаты, начиная с крайней хаты деда Мыколы.

Это были веселые дни. Женщины в подоткнутых юбках, с крепкими загорелыми ногами, румяные, белозубые, шумные, перекрикивались, бренчали монистом, шутили, хохотали и лукаво поглядывали из-под опущенных ресниц,— как говорила бабка Явдоха, «привораживали да чаровали».

Лучше всех белила мать Наталки, Христина,— худая, приветливая женщина с коралловым ожерельем на смуглой шее. Ее муж был в армии, и она сама рыбачила вместе с Наталкой на маленькой байде.

Простым грубым квачом из лыка Христина точно и чисто обводила окна голубой или зеленой каймой.

Я вспомнил свой разговор с возчиком относительно соли и посоветовал женщинам подсыпать соль в раствор мела, чтобы стены не мазали и мел крепче держался. Женщинам этот способ понравился. В благодарность за совет Христина разрисовала печку в хате деда Мыколы огромными синими розанами и петушками.

По воскресеньям я брал с собой двух мальчиков и Наталку и выезжал с ними на байде в море. Мы становились на якорь невдалеке от берега и удили бычков. Разговаривали мы всегда шепотом.

Наталка шептала без умолку обо всем, что ей приходило в голову,— обо всех новостях на косе, о том, например, что, говорят, в степи ходит по шляхам старуха с железными глазами, и на кого ни глянет — у того непременно убьют кого-нибудь на войне.

А на кургане-могиле каждую ночь чертополох загорается красным огнем («Я сама не бачила, но так кажуть люди»), и какой-то матрос с Мариуполя пошел на спор на три рубля, что он от того чертополоха прикурит цигарку.

— И прикурил? — спрашивали с испугом мальчики.

— А то как же! — небрежно отвечала Наталка.— Даже не умер. Матрос все может. А вчера всю ночь полыхали зарницы. Так то не зарницы, а души убитых на фронте переговариваются с нами, хотят на нас посмотреть. Мамо кажет, что, может, и отцовская душа трепещет понад морем в темной ночи и дуже плачет. А я ее утешаю и говорю, что никакая пуля нашего батьку не возьмет, потому что я заховала под каменной бабой в степи свой железный крестик, три раза повернулась на одной ноге и три раза сказала: «Святой Мыкола Мирликийский, моряцкий покровитель, отжени от моего батьки смерть».

— Вы, может, думаете,— с тревогой спрашивала меня Наталка,— или, может, вам кажется, что я брешу? Вот писколечко! Накажи меня бог, если я хоть полслова сбрехала.

В доказательство она мелко крестилась и складывала пальцы рогами. Мальчики с испугом косились на нее и тоже незаметно складывали пальцы рогами.

Однажды в октябре дед Мыкола принес мне с почты в Таганроге сразу три письма — от мамы, Романина и

третье письмо, написанное неумелым и незнакомым почерком.

Я долго не решался вскрыть эти письма. Как в Одессе, когда хотел поступить на госпитальный пароход «Португаль», я почувствовал себя изменником. Я выбрал себе легкую долю, тогда как длилась еще война и чувствовалось приближение еще неясной, но недалекой бури.

«Конечно,— говорил я себе,— легче всего жить на косе, рыбалить, загорать, крепнуть, читать хорошие книги, как будто ничего не происходит и на земле царят мир и благоденствие. Нечего оправдывать себя тем, что мне не разрешили вернуться на фронт, и тем, что мне нужно разнообразие жизни для того большого дела, к которому я готовлюсь,— для писательства».

Почему-то пришли на память слова Полонского: «Писатель, если только он волна, а океан — Россия, не может быть не возмущен, когда возмущена стихия».

Полонский был, конечно, прав. Если я хочу быть писателем, то мне надлежит находиться в гуще жизни и ее событий, а не тянуться к этой степной тишине и не успокаивать себя музыкой хотя бы и самых великолепных стихов.

Еще не прочтя писем, я решил возвратиться в Москву.

Я пошел на берег к байде. Она была наполовину вытащена из воды. Я сел на корму, распечатал письма и начал читать их.

Романин писал, что отряд перевели в Молодечно под Минском, работы мало, но уходить из отряда он не собирается, так как предвидит наступление значительных времен (эти слова были в письме подчеркнуты) и, по некоторым соображениям, ему следует быть в армии.

«Что касается вас,— писал Романин,— то, пожалуй, сейчас вас могут опять назначить в отряд. Нажмите в Москве и приезжайте. Гронский выздоровел и опять с нами. Очень притих. Кедрин в Минске, в управлении. Разводит там, по обыкновению, бобы. Как вы там и что вы там? Черт знает, куда вы залезли!»

Мама писала, что они с Галей очень довольны жизнью в Копани, много возятся с землей и хозяйством, и было бы хорошо, если бы я к ним приехал.

Третье письмо было от Любы из Харькова.

«Пишу до вас на счастье в Таганрог до востребования,— может, и достанет вас это мое письмо. Узнала, что вы в Таганроге, от Фаины Абрамовны. Ваши показания читали па суде. Спасибо вам, родненький. Меня оправдали, приговорили только к церковному покаянию на месяц, а какая же я монашка,— вы сами знаете. Дядя Гриша умер от белой горячки. Бедный, так его жаль, просто невыносимо. И заховали его без меня. Я теперь в Харькове, работаю билетершей в синематографе. Если бы знала наверное, где вы теперь, приехала бы хоть на день, чтобы поговорить,— одной мне сумно как-то и некому ничего рассказать. Я все помню и не забуду. Если будете ехать мимо Харькова, напишите. Я прибегу на вокзал хоть днем, хоть ночью. Целую вас и остаюсь ваша *Люба*».

Я решил дождаться «Керчи», уехать в Мариуполь, а оттуда по железной дороге в Москву.

Я оттягивал день отъезда потому, что был уверен, что больше никогда не попаду в эти благословенные места. Кроме того, стояли такие ясные и теплые последние дни октября, что жалко было отрываться от них, жалко терять каждую минуту этой благодатной осени.

Звонкие дни во всей их прозрачности и блеске появлялись не сразу. Они медленно разгорались из утренней дымки, побеждали ее и пылали после этого пышным и чуть холодноватым светом до самого заката.

Все звуки были особенно отчетливо слышны потому, что над морем простирался штиль. Осень была, в отличие от лета, наполнена медленным звучанием. Треск пересохшей ботвы под ногой, отдаленный гудок парохода, женские голоса во дворах — все это затихало не сразу, а давало неясный отзвук, какой дает медленный удар колокола.

Осенний воздух был емкой и отзывчивой средой, старавшейся сохранить звуки каждого часа и минуты.

Будто самой осени было жаль расставаться с этими местами и людьми и она прислушивалась к их жизни.

Два совершенно разных события, случившихся осенью, укрепили меня в решении уехать.

Первое событие произошло в Таганроге. Однажды вернулись из Таганрога рыбачки, возившие рыбу на базар. Они рассказали, что в Таганроге были беспорядки, толпа голодных женщин с детьми разгромила пекарни и

продовольственные магазины, и казаки отказались стрелять по толпе.

Второе событие по сравнению с первым было совсем незначительным.

Как-то я чинил сети деда Мыколы. Ко мне подсел долговязый рыбак Иван Егорович. Мы покурили, потом он сказал:

— Давно я хотел обратиться до вас с одним разговором от нашего общества. Да все не решался. Человек вы образованный,— может, у вас другие понятия, чем у нашего брата рыбака. Тогда извиняюсь.

— А что такое? — спросил я.

— Да как-то несправно получается. Все наши молодые рыбаки в армии. У них тут, понятно, жинки поставались с детьми. Бьются те жинки, как рыба об землю, чтобы якось прожить, прокормиться. Сами рыбалят. Им это не всегда под их женскую силу. А вы, человек молодой, сильный, пошли до деда Мыколы в подручные. Было б вам лучше хоть к Христине, скажем, пойти, на ее байду. Справедливее было бы. Народ, конечно, несколько удивляется. А деду Мыколе ваша подмога нужна, чтобы лишние карбованцы прятать в кубышку.

Я почувствовал, что краснею. Старик был прав. Как я сам не догадался об этом! Я сказал Ивану Егоровичу, что не сообразил про все эти дела, а сейчас уезжаю, и ничего теперь не поделаешь.

— Оно так! — согласился Иван Егорович.— Народ к вам с полным расположением. Останьтесь у нас на косе.

— Нет, никак не могу.

— Ну, тогда извините, что докучаю,— Иван Егорович встал.— Дело, конечно, хозяйское. Бывайте здоровы.

После этого разговора дед Мыкола и бабка Явдоха потеряли для меня всякий интерес, и я решил завтра же уехать в Таганрог, но, на мое счастье, к вечеру пришел пароход «Керчь». Он шел в Мариуполь.

К приходу «Керчи» на берегу собралось все население косы.

Меня провожали ласково, желали и доброго здоровья, и счастья, и удачи. Все целовались со мной, предварительно вытерев губы тыльной стороной ладони.

Отвезли меня на «Керчь» на своей шаланде Христина с Наталкой. Взяли с собой и двух мальчиков. Я ничего

не сказал Христине про разговор с Иваном Егоровичем. Неловко было сознаваться в своей оплошности.

Я поднялся на палубу «Керчи», заваленную прессованным сеном, и подошел к борту. Пароход заревел свирепым басом, совершенно не вязавшимся с его потрепанным видом и ничтожной величиной.

Колеса взбили зеленую пенистую воду. Наталка стояла в байде. Лицо у нее жалко сморщилось, и она закрыла его рукавом. Она плакала, а Христина, наклонившись к ней, тормошила ее и смеялась.

Байда начала отодвигаться вместе с берегом. Оттуда женщины махали белыми платками, и казалось, что над берегом все над одним и тем же местом низко вьется стая чаек и не решается сесть на песок. Заплаканная Наталка тоже махала своим выцветшим зеленым платочком.

Пароход уносил меня от знакомого обрывистого берега. Опять, как при всех переменах в жизни, болезненно билось сердце. И было тем труднее, что жизнь складывалась как-то нелепо. Между отдельными ее частями не было никакой связи. Люди, внезапно появившись в моей жизни, так же внезапно из нее исчезали, может быть навсегда.

Из Мариуполя я послал телеграмму Любе в Харьков. А послав, начал жалеть об этом. Но было уже поздно.

В Харьков поезд пришел ранним зябким утром. На перроне меня ждала Люба. Она была в коротком жакете и легком платочке на голове. Ей было холодно, и даже губы у нее посинели.

Она бросилась ко мне. Мы поцеловались. Потом она внимательно посмотрела мне в глаза, взяла за руку, и мы молча отошли за какой-то заколоченный киоск на платформе.

— Не говорите мне ничего,— сказала Люба.

Она обняла меня за плечи и прижалась головой к моей груди, как будто искала защиты. Я молчал. Она прижималась ко мне все крепче и крепче, и голова ее вздрагивала. Так прошло несколько минут. Ударил третий звонок. Люба подняла голову, быстро перекрестила меня, отвернулась и пошла прочь по перрону, прижав к лицу край своего платка. Я вошел в вагон. Поезд тронулся.

СЫРОЙ ФЕВРАЛЬ

В Москве прямо с вокзала я пошел в Союз городов. Первый человек, которого я там увидел, был Кедрин. Мы обрадовались друг другу и даже расцеловались. Кедрин, оказывается, приехал из Минска в командировку.

Я сказал ему, что хочу вернуться в отряд.

— Это дело тонкое,— ответил он.— Его надо выяснить.

Он ушел выяснять и долго не возвращался. А возвратившись, таинственно сказал, что ничего с отрядом не получится. Настроение в армии неустойчивое, время тревожное, и лучше сейчас не соваться па фронт. Таково мнение руководителей Союза городов.

Я был обескуражен.

Кедрин снял очки, протер их, снова надел и внимательно меня осмотрел. Проделав все это, он сказал:

— Не унывайте. Работа найдется. Вы недурно пишете. Романин показывал мне ваш очерк «Синие шинели». У вас есть перо.

Он написал мне рекомендательное письмо к своему знакомому в редакцию одной из московских газет.

В редакции меня принял лысый человек с лицом старого актера. Он писал в пыльной комнате за столом, заваленным ворохами гранок.

Против него в мягком кресле сидел около стола низенький плотный человек с хитрым веселым глазом, сивыми запорожскими усами, в серой поддевке и мерлушковой папахе. Он был очень похож на Тараса Бульбу.

Лысый прочел письмо Кедрина, сказал: «Жив еще курилка! Погодите минуту»,— засунул письмо под кучу гранок и снова начал писать.

Тарас Бульба вынул из кармана поддевки серебряную табакерку, подмигнул на лысого, щелкнул по табакерке пальцем, открыл ее и протянул мне:

— Угощайтесь! Табакерочку эту подарил мне собственноручно генерал Скобелев после Плевны.

Я поблагодарил и отказался. Тарас Бульба ловко насыпал нюхательного табаку на ноготь большого пальца, втянул табак ноздрей и оглушительно чихнул. Запахло сушеными вишнями. Лысый не обратил на Тараса Бульбу никакого внимания.

Тарас Бульба снова по-заговорщицки подмигнул на лысого, взял со стола подкову — ею пользовались, как

тяжестью, чтобы прижимать гранки,— и легко разогнул ее в прямую полосу.

Тогда лысый поднял глаза.

— Старые штучки! — сказал он.— Меня вы этим не купите. Войпа — никаких авапсов!

— Вас ждут,— Тарас Бульба показал лысому на меня.— Я только хотел папомнить вам таким образом об этом обстоятельстве. И ничего больше.

— Ну что ж,— сказал лениво лысый и взглянул па мепя.— Попробуем. Расскажите пам, что вы из себя представляете. Кстати, меня зовут Михаил Александрович. А это,— он показал на Тараса Бульбу,— король московских репортеров, поэт, бывший борец и актер, знаток московских трущоб, закадычный друг Чехова и Куприна, знаменитый «дядя Гиляй» — Владимир Алексеевич Гиляровский.

Я смутился.

— Ничего, не пугайтесь! — успокоил меня Гиляровский и с такой силой пожал мне руку, что у меня захрустели кости.

Он пошел к дверям. На пороге он обернулся, сказал, кивнув на меня: «Я в него верю» — и вышел, папевая.

Лысый принял меня в газету, сам меня с этим поздравил и сказал:

— Время сейчас острое, чреватое неожиданностями. По-видимому, мы будем свидетелями вторых смутных лет на Руси. Снаружи пока гладко, но внутри все бурлит. Чем туже будет правительство завинчивать крышку котла, тем сильнее рванет взрыв. Нам нужно следить за этим кипением. Нужпо знать, о чем думает и говорит Москва. О чем говорят в театрах и семьях, на базарах и фабриках, в банях и трамваях. Что говорят рабочие, извозчики, сапожники, молочницы, артисты, купцы, инженеры, студенты, профессора, военные и писатели. Вот вы и займитесь этим. Для начала. А там будет видно.

В тот же день я снял маленькую комнату в Гранатном переулке, в том самом переулке, где я родился двадцать три года назад.

Я заметил, что охотнее всего русский человек разговаривает в поездах и трактирах. Поэтому я начал с пригородных поездов — махорочных и шумных. Они не ходили дальше шестидесяти верст от Москвы. Я брал билет до конечной станции и ездил туда и обратно. Так за короткое

время я побывал во многих городках под Москвой. Я убедился, что столичная Москва окружена такой замшелой Русью, что даже многие старые москвичи не имеют о ней понятия.

В пятидесяти верстах от Москвы начиналась глушь — разбойничьи леса, непроезжие дороги, гнилые посады, облупившиеся древние соборы, лошаденки с присохшим к шерсти навозом, пьяные побоища, кладбища с поваленными крестами, овцы в избах, сопливые дети, суровые монастыри, юродивые на паперти, засыпанные трухой базары с поросячьим визгом и матерной бранью, гниль, нищета, воровство.

И по всему этому подмосковному простору, где ветер свистел в голых сучьях берез, был слышен подспудный, скрипучий женский плач. Плакали солдатки — матери и жены, сестры и невесты. Плакали безропотно, беспросветно. Как будто ниоткуда нельзя было ждать радости.

Так и стыла эта земля, темневшая по алым полоскам предзимних закатов частоколами ельника, хрустевшая первым сахаристым ледком, застилавшая поля дымом промерзших деревень. И вещими казались слова Блока:

> Русь моя, жизнь моя, вместе ль нам маяться?
> Царь, да Сибирь, да Ермак, да тюрьма...

Я слушал разговоры — пьяные и трезвые, робкие и отчаянные, полные и покорности и злобы,— всякие разговоры. Было в них только одно общее — надежда на «замирение», на то, что вернутся с войны солдаты и произведут то «облегчение жизни», без которого ничего не оставалось делать, как только помирать голодной смертью.

Как будто весь народный гнев был собран там, на западе, в армии. Деревня ждала, когда же он хлынет оттуда, расколет на черепушки постылую жизнь, сметет убогое существование и мужик и мастеровой, фабричный человек, рабочий, возьмут наконец власть над землей.

Вот тогда-то и начнется жизнь! Тогда-то и зачешутся к работе руки и пойдет по всей стране такой трезвон пил, топоров и молотков, что бей хоть во все колокола — ничем его не заглушишь.

Странное существо человек. Я видел во всех этих подмосковных местах отражение всероссийской беды, но одно

обстоятельство вызвало у меня затаенную радость — приобщение к удивительному по своей образности и простоте народному языку. Я впервые так близко столкнулся с ним.

Слова Тургенева, что такой язык может быть дан только великому народу, звучали не как преувеличение, а как прописная истина.

В Москве было иное. Одни бесплодно спорили в поисках выхода, другие знали этот выход и молча готовились к нему, а третьи — обогащались. Появились дельцы железной хватки и размаха. Среди них, пожалуй, первое место занимал сибирский промышленник Второв — нечто вроде утысячеренного чеховского Лопахина из «Вишневого сада».

Над всей этой растревоженной жизнью стояла тень Распутина.

Никогда еще за всю русскую историю не было такого, чтобы неграмотный пройдоха, конокрад и кулак приехал в Петербург в поисках наживы и через короткое время стал почти самодержцем страны, вершителем ее судеб, правой рукой государя и владетелем гарема придворных красавиц.

Императорский, родовитый и министерский Петербург склонил свою высокомерную голову перед ним и, как побитый пес, ждал, когда он бросит ему со своей тарелки обглоданную кость.

Такого падения и позора еще не знала страна. Роковая година подошла к самому порогу. Все, томясь, ждали развязки.

И она началась. Началась с того, что Распутина убили. Труп его сбросили под лед в Малую Невку. Распутин был отравлен, застрелен и утоплен. И все-таки, по словам врачей, даже под водой в течение нескольких минут у него еще билось сердце. Он был живуч, как классический конокрад.

Все смешалось к тому времени в Москве.

По улицам проходили под конвоем тысячные толпы узбеков в зеленых халатах. Восстание в Средней Азии было подавлено, и узбеков гнали на Мурман — достраивать полярную железную дорогу и умирать. Первый сухой снег сыпался на расшитые серебром черные тюбетейки. Это нашествие обреченных длилось несколько дней.

В коренную Москву влились беженцы из Польши, Прибалтики и Белоруссии. В певучий московский говор все чаще вторгались быстрые и шипящие акценты.

Престарелые евреи, похожие на раввинов, ходили по Москве, прикрываясь от снега зонтиками.

Поэты-символисты, начисто потерявшие представление о реальности, пели о бледных призраках страсти и огне нездешних вожделений. В общей сумятице мыслей и чувств их уже не замечали. Было не до них.

В редакции жизнь не замирала ни на час — ни днем, ни ночью. Все свободное время сотрудники проводили в редакции. Спорили, шумели и ждали событий.

Из Петрограда приходили тревожные слухи. Приезжие рассказывали о грозных очередях за хлебом, о коротких гневных митингах на улицах и площадях, о волнениях на заводах.

Вскоре после убийства Распутина лысый позвал меня к себе.

— Вот что,— сказал он,— ваши очерки нравятся. Вам удается уловить нечто такое... народное. Поэтому возникла идея — послать вас в глухой уезд, чтобы написать, о чем думают сейчас в тургеневской России.

Я согласился. Начали соображать, куда бы поехать, где найти поближе к Москве самый глухой уезд.

При разговоре присутствовал известный театральный критик и знаток Чехова, кротчайший Юрий Соболев. Все и в глаза и за глаза звали его Юрочкой.

— Чехов писал,— сказал Юрочка,— что воплощением российской дичи был для него городок Ефремов, Тульской губернии. Это где-то под Ельцом. Кстати, тургеневские места. Ефремов стоит на реке Красивая Меча. Помните «Касьян с Красивой Мечи». Вот и поезжайте туда.

В Ефремов я приехал ночью. До рассвета я просидел в холодном станционном буфете, выкрашенном в грязный лиловый цвет. Кроме остывшего чая, в буфете ничего не было.

Коптили керосиновые лампы. Станционный бородатый жандарм несколько раз проходил мимо, строго поглядывая на меня и бренча шпорами.

Как только начало светать, я нанял извозчика и поехал в единственную в Ефремове гостиницу.

В седом свете занимавшегося зимнего утра городок оказался до удивления маленьким и облезлым.

Кирпичная тюрьма, винокуренный завод с тонкой и длинной железной трубой, насупленный собор и одинаковые, как близнецы, домишки с каменным низом и деревянным верхом — все это при свете еще не погашенных, заспанных фонарей вызывало уныние. Пожалуй, единственным интересным зданием были торговые ряды на базаре. Какое-то подобие колонн и арок украшало их и говорило о старине.

В промозглом воздухе кружились галки. На улицах пахло едким конским навозом.

— Ну и город! — сказал я извозчику.— Взглянуть не на что.

— А на кой ляд на него глядеть-то! — равнодушно ответил извозчик.— Чтобы глядеть, сюда никто и не приезжает. Небось не Москва.

— А за чем же приезжают?

— За хлебом да за яблоками. У нас тут были богатейшие хлебные ссыпки. Купцы сотнями тысяч ворочали. А яблоки, правда, и сейчас у нас отменные. Антоновка. Ежели интересуетесь, съездите в подгородное сельцо Богово. Я вас туда могу доставить. Там и зимою яблок купишь сколько угодно.

В гостинице было темно и тихо. Номер у меня, хотя и выходил окнами на улицу, был тоже темный, но теплый. Снизу из ресторана пахло кислыми щами и самоварным дымом.

Коридорный, конопатый человек со ртом как бы всегда приоткрытым от удивления, никак не хотел уходить из номера, все стоял и смотрел на меня. Должно быть, он соображал, кто я и за каким таким чертом приехал в Ефремов.

Я выпроводил его. Он не обиделся и, уходя, сказал:

— Вы не думайте, у нас в гостинице полковник намедни стоял. А сейчас стоит гадалка из Москвы. Мадам Тромá! Тощая, как кошка. За день скуривает три пачки папирос «Ира». А пальцы — все в перстнях. Одни бриллианты. У нас тут весело. Сегодня вечером внизу будут танцы. Это все наш хозяин устраивает. Для заработка. Он у нас сокол!

Коридорный ушел. Я не спал в поезде всю ночь и потому с наслаждением разделся и лег в постель.

Впервые за долгое время я почувствовал усталость. Было холодно, тряс озноб, и не хотелось ни двигаться, ни разговаривать.

«Не хватало,— подумал я,— еще заболеть в этой дыре».

Мысль о болезни напомнила мне о том, что я всегда старался не вспоминать,— об одиночестве. Мама и Галя далеко, Романин — на фронте, Леля умерла. Не было никого, кто бы мог помочь мне в беде или в болезни. Никого! Сотни людей прошли за короткое время через жизнь, но никто в ней не задержался. Это обидно и несправедливо.

Так я думал, стараясь хоть утешить себя.

Я уснул. Мне все время снился один и тот же сон: снежная равнина с редким частоколом телеграфных столбов. Я просыпался, но как только закрывал глаза, снова появлялась эта однообразная равнина и снова телеграфные столбы тянулись невесть куда и зачем. Я-то хорошо знал во сне, что им некуда тянуться,— впереди не было ни городов, ни сел, а один только снег и наскучившая зимняя стужа.

Проснулся я окончательно от ощущения, что меня кто-то легонько подкидывает на кровати. Я открыл глаза и, еще ничего не соображая, услышал заливистый медный рев пожарного оркестра.

Стекла в окнах тряслись. Турецкий барабан бухал бодро и настойчиво.

Внизу начались танцы.

Я оделся и сошел вниз. Представился удобный случай посмотреть ефремовских обывателей.

В низком полутемном зале стекали со стен струйки сырости. Бушевал оркестр. Девицы с напряженными лицами сидели на скрипучих стульях и обмахивались платочками.

Посреди совершенно пустого зала плясал испитой человек в поношенном сюртуке. Седоватые волосы торчали щетиной на его длинной, как дыня, голове. Он был явно пьян, но плясал ловко и лихо, пускался вприсядку и выкрикивал: «Эх, Нюрка, не журись, туды-сюды повернись!»

В дверях зала теснились мужчины. Молодых почти не было, если не считать нескольких человек — хилых, с длинными шеями и водянистыми глазами. По-видимому, это были белобилетники.

На видном месте в зале, рядом с худой женщиной, как бы обклеенной черным стеклярусом (я догадался, что это была гадалка), небрежно сидел, закинув ногу на ногу, курносый человек с рыжей эспаньолкой, в широкополой черной шляпе и с длинными волосами, падавшими на воротник клетчатого пальто реглан. На коленях он держал трость с серебряным пабалдашником в виде обнаженной наяды, лежащей на гребне морской волны. Он поигрывал этой тростью и со скучающей улыбкой посматривал по сторонам сквозь маленькое пенсне.

Увидев меня, он заерзал на стуле, встал и, снисходительно сторонясь пляшущего человека, подошел ко мне.

— Тысячу извинений! — сказал он и театральным жестом снял шляпу.— Судя по записи в гостиничной книге, вы — литератор, редкий гость в этих краях. Поэтому я, как коллега по перу, позволяю себе смелость представиться вам: «Принцесса Греза».

Я оторопел. Человек в шляпе удовлетворенно улыбнулся.

— Не ожидали,— спросил он,— встретить меня в таком захолустье? Здесь проживает моя матушка. Я частенько приезжаю сюда из Москвы, чтобы отдохнуть душою и телом.

«Принцесса Греза»! Я часто встречал эту подпись в дешевых журнальчиках для женщин в отделе «Ответы нашим читательницам».

«Принцесса Греза» с полным знанием дела и в весьма парфюмерно-сентиментальном стиле отвечала читательницам на самые щекотливые и интимные вопросы: как влюбить в себя блондина, что делать, если изменяет муж, что такое платоническая любовь и как избавиться от угрей и бледной немочи.

— Мое настоящее имя,— сказал человек в шляпе,— Мигуэль Рачинский. Позвольте вас познакомить с гостьей нашего города, известной гадалкой, госпожой Аделаидой Тарасовной Тромa.

Он познакомил меня с худющей женщиной. Она протянула мне костлявую руку, блестевшую фальшивыми бриллиантами, равнодушно посмотрела в лицо и сказала хрипловатым голосом:

— О, какой необыкновенно счастливый молодой человек! О! Вас ждет прекрасная будущность. Вы родились под хорошей звездой.

Она хотела сказать еще что-то, но удушливо закашляла, прижимая ко рту черный кружевной платочек. Все тело ее содрогалось, и сквозь вырез платья я видел, как тряслись ее острые ключицы и тощие груди.

Мадам Трома никак не могла откашляться и вышла из зала.

Мигуэль Рачинский пригласил меня в буфет выпить бутылку вина.

За этой бутылкой он рассказал мне всю подноготную города.

Прежде всего он рассказал, что пьяный человек, пляшущий в зале,— местный гробовщик, большой артист по танцевальной части. Хозяин гостиницы нанимает его плясать «за угощение», чтобы раззадорить посетителей. Иначе девицы так и просидят, как тумбы, весь вечер. обмахиваясь платочками и туго краснея. А мужчины пожмутся, потопчутся в дверях и смущенно разойдутся. Лишь немногие перекочуют в буфет, где начнется жестокий «выпивон» до утра.

По словам Рачинского, «духовной интеллигенции» в городе не было, если не считать его самого, Рачинского, молодого учителя русской литературы в женской прогимназии Осипенко и акцизного чиновника Бунина, брата известного писателя. Но Бунин — человек необщительный и занят только тем, что изучает знахарство — разные заговоры, наговоры и заклинанья.

После этого первого знакомства я каждый день встречал Рачинского и понял, что главной его бедой была болезненная склонность к пошлости, фанфаронству и дешевой позе.

Он был, конечно, неумный, вернее, наивный человек, но по натуре добрый и доверчивый. Он очень жалел гадалку — брошенную мужем и больную туберкулезом женщину. Гадалка столовалась у матери Рачинского, и он требовал от матери, чтобы она готовила для гадалки отдельно очень жирную пищу, так как где-то вычитал, что при туберкулезе надо «заливать легкие жиром».

Пошлость его была неистребима. Даже в разговорах о политике, о положении России Рачинский любил блеснуть сомнительными выражениями. Однажды по поводу деятельности Распутина он сказал, что это «цинизм, доходящий до грации». Дурные стихи и плоские афоризмы просто лезли из него, как шерсть из линяющей кошки.

Но у себя в доме он был внимательным хозяином. Чем больше я приглядывался к нему, тем чаще мне становилось жаль его, этого свихнувшегося человека.

Мне Рачинский тоже предложил столоваться у его матери и этим меня выручил, так как единственный в городе ресторан при гостинице был зловонной обжоркой.

Я согласился, и когда первый раз пришел к Рачинскому, то был удивлен, увидев очень приятную и умную старушку — его мать, бывшую учительницу. Она относилась к сыну, к своему Мише (дома имя Мигуэль не существовало), как к человеку явно ненормальному, страдала от одного его внешнего вида, но была с ним очень нежна. То была жалостливая нежность матери к уроду сыну.

Каждый день за обеденным столом у Рачинского собирались, как он говорил, его «сотрапезники» — гадалка, Осипенко и я.

Учитель оказался человеком очень горячим, остроумным и деятельным. Он любил спорить, безумно любил литературу и не спускал Рачинскому ни одной его «эстетской выходки». Разоблаченный Рачинский только смущенно улыбался и протирал пенсне. Возражать учителю он не решался.

Гадалка зябко куталась в платок и молчала. Охотно разговаривала она только с матерью Рачинского Варварой Петровной, но и то когда мужчины не могли ее услышать.

Она, видимо, стеснялась своего занятия и часто приходила с заплаканными глазами. Я знал только, что она родом из Петербурга и что бросивший ее муж был адвокатом.

В свободное от гаданий время она работала в госпитале для раненых, помогала сестрам и врачам. Госпиталь был размещен в церковноприходском училище.

Я решил сходить в пригородное село Богово, чтобы узнать, чем живут и чего ждут здешние крестьяне.

Богово стояло на берегу прославленной Тургеневым Красивой Мечи. Река была под снегом, но около водяной мельницы шумела по лотку черная вода. В нее падали со звонким бульканьем оттаявшие сосульки.

Пришла первая февральская оттепель с туманами и капелью, порывистым ветром и запахом дыма.

В Богове произошла у меня встреча с одним человеком. Сначала я отнесся к ней как к курьезу, и только

несколько дней спустя мне открылся почти символический смысл этой встречи.

Боговские крестьяне, так же как и подмосковные, ждали только одного — конца войны. Что будет потом, никто не знал. Но все были уверены, что война даром не пройдет и после нее восстановится наконец справедливость.

— Правды, главное, нету! — сказал мне сельский сапожник — щуплый мужичок со впалой грудью.— Обойди всю Россию, поспрошай всех жителей, и увидишь, что у каждого есть свое соображение о правде. Местное соображение. А ежели все эти местные соображения собрать, то и получится одна-единственная, так сказать, всероссийская правда.

— Ну, а какая же у вас своя местная правда? — спросил я.

— А вон она стоит, наша правда! — ответил сапожник и показал на бугор над рекой. Там в корявом яблоневом саду виднелся полуразрушенный барский дом. Он был небольшой, но сохранял в себе черты того усадебного ампира, который расцвел в России при Александре Первом,— фронтон с облезлыми колоннами, узкие и высокие окна с полукружием наверху, два полуциркульных низких флигеля и поломанная чугунная решетка редкой красоты.

— Вы мне объясните,— попросил я,— какое этот старый дом имеет отношение к вашей местной правде.

— А вы сходите в этот дом, к хозяину, тогда поймете. Сами сделайте выводы, кому этот дом, и сад, и земля при доме — там две десятины земли — должны принадлежать, ежели уж говорить о правде. Только хозяин там чудной. Помещик Шуйский. Рвань немыслимая. Вряд ли он вас к себе и допустит. Дело к нему какое-нибудь надо придумать.

— Какое же дело?

— Ну вроде вы желаете на лето у него поселиться, снять дачу. И пришли этот вопрос определить.

По едва заметной в снегу тропинке я прошел к дому. Окна были заколочены старыми трухлявыми досками. Парадное крыльцо замело снегом.

Я обошел дом, увидел узкую дверь, обитую рваным войлоком, и сильно постучал. Никто не отозвался и не открыл. Я прислушался. В доме было мертвенно тихо.

«Да полно,— подумал я.— Там, должно быть, никто не живет».

В это время дверь внезапно распахнулась. На пороге ее стоял маленький старичок в черном, вытертом до дыр ватном халате, подпоясанном полотенцем. На голове у старика была шелковая шапочка. Все его лицо было завязано грязным бинтом. Из-под бинта торчала клочьями вата, коричневая от йода.

Старичок гневно посмотрел на меня совершенно синими, как у ребенка, глазами и спросил высоким голосом:

— Что вам угодно, милостивый государь?

Я ответил так, как научил меня сапожник.

— А вы не из рода Буниных? — подозрительно спросил старичок.

— Нет, что вы!

— Тогда пойдемте.

Он ввел меня в единственную, должно быть, жилую комнату в доме. Она была завалена тряпьем и хламом. Среди комнаты жарко топилась железная печурка. При каждом порыве ветра из нее струями вылетал дым.

В углу я увидел великолепную круглую кафельную печь с узорными изразцами. Почти половина всех изразцов была из нее вынута, и в маленьких нишах от вынутых изразцов стояли заросшие пылью пузырьки с лекарствами, валялись пожелтевшие бумажные мешочки и лежали усохшие червивые яблоки.

Над топчаном, покрытым облезлой овчиной, висел в тяжелой золотой раме портрет женщины в голубом воздушном платье, с высоко поднятыми напудренными волосами и такими же синими глазами, как у старичка.

Мне казалось, что я попал в начало прошлого века к гоголевскому Плюшкину. До этого я не представлял себе, что на Руси сохранились такие дома и такие люди.

— Вы дворянин? — спросил меня старичок.

На всякий случай я ответил, что да, дворянин.

— Чем вы сейчас занимаетесь,— сказал старичок,— меня не интересует. Теперь народились такие занятия, что сам жандарм ногу сломит. Изволите ли видеть, появились даже какие-то таксаторы! Чушь! Романовская чушь! Дом я вам на лето сдам, но при непременном условии, что вы коз заводить не будете. А то три года назад жил здесь у меня Бунин. Сомнительный господин! Христопродавец! Коз завел, а они и рады — все яблони погрызли.

— Писатель Бунин? — спросил я.

— Нет. Брат его, акцизный чиновник. Приезжал и писатель. Приличнее несколько своего чиновного брата, но тоже, скажу вам, не пойму, чем кичится! Мелкопоместные людишки!

Я решил вступиться за Бунина, применяясь к понятиям старичка.

— Ну что вы,— сказал я,— ведь Бунин — старый дворянский род.

— Старый? — насмешливо спросил старичок, посмотрел на меня, как на безнадежного тупицу, и покачал головой.— Старый! Так я постарше! Я в бархатных книгах записан. Ежели вы как следует учили историю государства Российского, то должны знать древность моего рода.

Тогда только я вспомнил, что сапожник назвал мне фамилию этого старичка — Шуйский. Неужели передо мной стоял последний отпрыск царского рода Шуйских? Что за чертовщина!

— Я с вас возьму,— говорил между тем старичок,— пятьдесят рублей за все лето. Деньги, конечно, немалые. Но у меня и траты немалые. Я с супругой своей в прошлом году разошелся. Она, старая ведьма, живет сейчас в Ефремове, и нет-нет а приходится ей отвалить то пять, а то и десять рублей. Только бесполезно. Она деньги на любовников тратит. Нету хорошей осины, чтобы ее повесить.

— Сколько же ей лет? — спросил я.

— Восьмой десяток пошел негоднице,— ответил, сердясь, Шуйский.— А насчет вашего проживания у меня мы напишем соглашение по пунктам. Иначе никак нельзя.

Я согласился. Я чувствовал себя так, будто передо мной разыгрывался редчайший спектакль.

Шуйский вытащил из рваной папки желтый лист гербовой бумаги с оттиском двуглавого орла, достал перо, поскоблил его сломанным ножичком и обмакнул в банку с йодом.

— Фу ты! — сказал он.— А все почему? Потому что эта дура стоеросовая Василиса никогда ничего на место не ставит.

Из дальнейшего разговора выяснилось, что два раза в неделю к Шуйскому приходит из Богова бывшая просвирня, престарелая Василиса, кое-как прибирает, колет дрова и готовит старику кашу.

Шуйский нашел баночку из-под крема «Метаморфоза» с чернилами и начал писать. При этом он ворчал на новые времена:

— И говорят нынче и пишут как-то по-татарски. Кругом развели какую-то романовскую чушь! Таксаторы, мелиораторы! Говорят, Николашка распутного мужика за стол с собой сажает. А тоже считается — царь! Пащенок он, а не царь!

— Зачем вы лицо закутываете ватой? — спросил я.

— Я его йодом мажу, а потом, понятно, обкладываю ватой.

— Зачем?

— От первов,— коротко ответил Шуйский.— Ну вот, прочитайте и поставьте свой подпис.

Он подал мне бумагу, исписанную четким старинным почерком. Там по пунктам были перечислены все условия жизни в разрушенном доме. Особенно запомнился мне один пункт:

«Я, упомянутый Паустовский, обязуюсь плодами из сада фруктового не пользоваться в рассуждении того, что оный сад сдан на корню ефремовскому однодворцу Гаврюшке Ситникову».

Я подписал эту странную и совершенно ненужную мне бумагу и спросил насчет задатка. Я понимал, что глупо отдавать деньги за дом, где я все равно жить не буду. Но нужно было доиграть роль до конца.

— Какой там задаток! — сердито ответил Шуйский.— Ежели вы действительно дворянин, то как вы о таких вещах упоминаете! Приедете — тогда и сочтемся. Честь имею кланяться. Не провожаю — простужен. Прикройте поплотнее дверь.

В Ефремов я шел пешком, и чем дальше отходил от Богова, тем фантастичнее представлялась мне эта встреча.

В Ефремове Варвара Петровна подтвердила мне, что этот старичок действительно последний князь Шуйский. Правда, у него был сын, но лет сорок назад Шуйский продал его за десять тысяч рублей какому-то бездетному польскому магнату. Тому нужен был наследник, чтобы после его смерти огромные имения — майораты — не распылились среди родни, а остались в одних руках. Ловкие секретари дворянских присутствий нашли магнату мальчика хороших кровей — Шуйского, и магнат купил и усыновил его.

Был тихий снежный вечер. В висячей керосиновой лампе что-то тихонько жужжало.

Я задержался после обеда у Рачинских, зачитался книгой Сергеева-Ценского «Печаль полей».

Рачинский писал за обеденным столом свои советы женщинам. Написав несколько слов, он откидывался на стуле, читал их и ухмылялся,— очевидно, все написанное очень ему нравилось.

Варвара Петровна вязала, а гадалка, забившись в кресло, думала о чем-то, глядя на свои сложенные на коленях руки с бриллиантовыми кольцами.

Вдруг кто-то сильно застучал в окно. Все вздрогнули. По тому, как стучали — быстро и тревожно,— я понял: что-то случилось.

Рачинский пошел открывать дверь. Варвара Петровна перекрестилась. Одна только гадалка не шевельнулась.

В столовую ворвался Осипенко — в пальто и шапке, даже не сняв калош.

— В Петербурге революция! — крикнул он.— Правительство свергнуто!

Голос у него осекся, он упал на стул и заплакал навзрыд.

На мгновение наступила полная тишина. Было только слышно, как, судорожно глотая воздух, совсем по-детски плачет Осипенко.

У меня бешено заколотилось сердце. Я задыхался и почувствовал, что и у меня слезы текут по щекам. Рачинский схватил Осипенко за плечо и крикнул:

— Когда? Как? Говорите!

— Вот... вот...— бормотал Осипенко и вытащил из кармана пальто длинную и узкую телеграфную ленту.— Я только что с телеграфа... Вот здесь все... все...

Я взял у него ленту и начал читать вслух воззвание Временного правительства.

Наконец-то! Руки у меня дрожали. Хотя за последние месяцы вся страна и ждала событий, но удар был слишком внезапный.

Здесь, в сонном и занавоженном Ефремове, было особенно глухо. Московские газеты приходили на третий день, да их и вообще было немного. По вечерам на Слободке выли собаки да неохотно стучали в колотушки сторожа. Казалось, что со времени XVI века ничто в этом городке не изменилось, что нет ни железных дорог, ни

телеграфа, ни войны, ни Москвы, что нет никаких событий.

И вот — революция! Мысли беспорядочно метались в голове, и одно только было ясно — свершилось великое, свершилось то, чего никто и ничто не в силах остановить. Свершилось вот сейчас, в этот как будто самый обыкновенный день, именно то, чего люди ждали больше столетия.

— Что делать? — судорожно спрашивал Осипенко.— Надо что-то делать немедленно.

Тогда Рачинский сказал слова, за которые ему можно было простить все его грехи:

— Надо отпечатать это воззвание. И расклеить по городу. И связаться с Москвой. Идемте!

Мы вышли втроем — Осипенко, Рачинский и я. Дома остались только Варвара Петровна и гадалка. Варвара Петровна стояла около киота, быстро и часто крестилась и шептала: «Господи, дождались! Господи, дождались!» Гадалка все так же неподвижно сидела в кресле.

По пустынной улице бежал навстречу нам человек. При слабом свете уличного фонаря я заметил, что он был без шапки, в одной косоворотке и босиком. В руке он держал сапожную колодку.

Человек бросился к нам.

— Милые! — закричал он и схватил меня за руку.— Слыхали? Нет царя! Осталась одна Россия.

Он крепко расцеловался со всеми и бросился бежать дальше, всхлипывая и что-то бормоча.

— А что же мы,— сказал Осипенко,— не поздравили друг друга?

Мы остановились и тоже крепко расцеловались.

Рачинский пошел на телеграф следить за всеми сообщениями из Петрограда и Москвы, а мы с Осипенко разыскали маленькую захолустную типографию, где печатались афиши, объявления и приказы воинского начальника.

Типография была закрыта. Пока мы пытались сбить замок, появился какой-то суетливый человек с ключом, отпер типографию и зажег свет. Это оказался единственный в Ефремове наборщик и печатник. Почему он очутился возле типографии, мы не спрашивали.

— Становитесь к кассе, набирайте! — сказал я.

Я начал диктовать наборщику текст воззвания. Он

набирал, то и дело отрываясь, чтобы вытереть рукавом слезы, набегавшие на глаза.

Вскоре нам принесли новое известие — приказ министра путей сообщения Временного правительства Некрасова — всем, всем, всем! — о задержке императорского поезда, где бы он ни был обнаружен.

События лавиной обрушивались на Россию.

Я читал первый оттиск воззвания, и буквы прыгали и расплывались у меня в глазах.

Типография уже была полна людьми, неизвестно как узнавшими, что здесь печатается сообщение о революции. Они брали пачки воззваний, выбегали на улицы и расклеивали воззвания на стенах, заборах и фонарных столбах.

Был уже час ночи, когда Ефремов обыкновенно спал непробудным сном.

Вдруг в этот неурочный час раздался гулкий и короткий удар соборного колокола. Потом второй удар, третий. Удары учащались, тугой звон уже плыл над городком, и вскоре к нему присоединились колокола всех окрестных церквей.

Во всех домах зажигались огни. Улицы заполнились людьми. Двери во многих домах стояли брошенные настежь. Незнакомые люди, плача, обнимали друг друга.

Со стороны вокзала летел торжественный и ликующий крик паровозов.

Где-то в глубине улицы раздалось сначала тихое, а потом все нарастающее пенье:

> Отречемся от старого мира,
> Отряхнем его прах с наших ног.

В хор людских голосов ворвались звенящие медные звуки оркестра:

> Мы пойдем к нашим страждущим братьям,
> Мы к голодному люду пойдем...

Осипенко писал на измазанном типографской краской столе первый приказ Временного революционного комитета по городу Ефремову. Никто этого комитета не образовывал. Никто не знал и не мог знать его состава потому, что состава этого не было. Приказ этот был импровизацией Осипенко.

«Впредь до назначения правительством освобожденной России новых властей по городу Ефремову и Ефремовскому уезду,— писал Осипенко,— Временный ефремовский революционный комитет призывает всех граждан к полному спокойствию и приказывает:

Управление городом и уездом возложить на уездную земскую управу и ее председателя гражданина Кушелева.

Гражданин Кушелев, впредь до особых распоряжений, назначается комиссаром правительства.

Полиции и жандармерии немедленно сдать оружие в уездную земскую управу.

Установить на улицах народную милицию.

Работа всех учреждений и торговых предприятий не прекращается.

Расположенный в Ефремове гарнизон (запасную роту) привести к присяге новому правительству по примеру гарнизонов Петрограда, Москвы и других городов России».

На рассвете в типографии появился усталый и бледный, но решительный Рачинский. К пальто его был приколот огромный красный бант.

Он вошел и с грохотом бросил театральным жестом на стол жандармскую шашку и наган в кобуре. Оказалось, что железнодорожники разоружили станционного бородатого жандарма, и Рачинский, бывший при этом, принес оружие, как первый трофей, в революционный комитет.

Потом в типографию пришел высокий седой человек с растерянным добрым лицом — новый комиссар Временного правительства Кушелев. Он даже не спросил, каким образом произошло назначение его на этот высокий пост.

Тотчас же за его подписью был выпущен новый приказ, поздравляющий население городка с освобождением России от векового гнета. В час дня назначалось собрание представителей всех слоев городского населения для обсуждения насущных дел, связанных с последними событиями.

Никогда в жизни я не видел столько счастливых слез, как в те дни. Кушелев, подписывая приказ, плакал.

С ним пришла его дочь — высокая, застенчивая девушка в платке и коротком тулупчике. Отец подписывал приказ, а дочь гладила его по седой голове и говорила дрожащим голосом:

— Не надо так сильно волноваться, папа.

Кушелев в молодости десять лет провел в ссылке на севере. Он был осужден за принадлежность к студенческой революционной группе.

Начались шумные, бестолковые, счастливые дни.

В зале земской управы круглые сутки напролет шло всенародное заседание. Земскую управу прозвали «конвентом». В «конвенте» было дымно от дыхания сотен людей.

Февральский ветер развевал красные флаги.

Деревня хлынула в город за новостями и распоряжениями. «Как бы поскорей насчет землицы...» — говорили крестьяне. Все улицы около управы были заставлены розвальнями и усыпаны сеном. Всюду спорили и кричали о земле, выкупе, мире.

На перекрестках стояли пожилые люди с красными повязками на рукавах и револьверами на поясе — народная милиция.

Ошеломляющие известия не прекращались. Николай отрекся от престола на станции Псков. Пассажирское сообщение в стране было прервано.

В церквах в Ефремове служили молебны в честь нового правительства. Из тюрьмы выпустили почти всех арестантов. Занятия в школах остановились, и гимназистки с упоением бегали по городу и разносили приказы и объявления комиссара.

На пятый или шестой день я встретил в «конвенте» сапожника из Богова. Он рассказал мне, что Шуйский, узнав о революции, собрался уходить в город. Перед этим он приставил к кафельной печке лестницу, полез по ней, вынул из-под самого верхнего кафеля мешочек с золотыми деньгами, оступился, упал и к вечеру умер. Сапожник приехал в город, чтобы сдать деньги Шуйского комиссару Временного правительства.

Город и людей как будто подменили. Россия заговорила. В косноязычном Ефремове неисповедимо откуда появились вдохновенные ораторы. Это были главным образом рабочие железнодорожного депо. Женщины исходили слезами, слушая их.

Пришибленный и хмурый вид, свойственный еще недавно жителям Ефремова, исчез. Помолодели лица, засияли мыслью и добротой глаза.

Обывателей больше не было. Были граждане, а это слово обязывало.

И, как нарочно, стояли солнечные дни с хрустальной

капелью, с теплым ветром, шумевшим флагами и проносившим над городом радостные облака. Дыхание ранней весны чувствовалось во всем — в синих густых тенях, в сырых ночах, заполненных людским гулом.

Я был в чаду, в угаре. Я плохо соображал, что же будет дальше. Я рвался в Москву, но поезда еще не ходили.

— Погодите,— говорил мне Осипенко,— это только пролог великих событий, надвигающихся на Россию. Поэтому старайтесь держать голову в холоде, а сердце в тепле. Берегите силы.

Я уехал в Москву первым же поездом, с пропуском, подписанным комиссаром Временного правительства Кушелевым.

Меня никто не провожал. Было не до проводов.

Поезд шел медленно. Я не спал.

Я вспоминал месяц за месяцем свою жизнь, пытаясь найти то единое стремление, какое руководило мной за последние годы. Но никак не мог определить его.

Одно только я знал твердо, что ни разу за эти годы я не подумал о благополучии, об устройстве жизни. Мною владела одна страсть — к писательству. Сейчас, в поезде, я почувствовал, что свое понимание прекрасного и справедливого, свое ощущение мира и представление о человеческом счастье, достоинстве и свободе я уже могу выразить и передать окружающим, что в этом и заключалось то стремление моей жизни, которое я до сих пор еще неясно понимал.

Что случится дальше, я не знал. Я знал лишь одно — что буду стремиться к писательству всеми силами души. Буду стремиться к нему ради служения своему народу, ради любви к волшебному русскому языку и к удивительной нашей земле. Буду работать, пока у меня пальцы смогут держать перо и пока не остановится сердце, переполненное свыше меры ощущением жизни.

На рассвете туманного мартовского дня я приехал наконец в радостную, взволнованную и грозную Москву.

В начале этой книги я писал: «Я верил, что жизнь готовит мне много очарований, встреч, любви и печали, радости и потрясений, и в этом предчувствии было великое счастье моей юности. Сбылось ли оно — покажет будущее».

Сейчас время показывало, что это счастье сбывалось.

1954

КНИГА ТРЕТЬЯ

Начало неведомого века

ВОДОВОРОТ

За несколько месяцев Россия выговорила все, о чем молчала целые столетия.

С февраля до осени семнадцатого года по всей стране днем и ночью шел сплошной беспорядочный митинг.

Людские сборища шумели на городских площадях, у памятников и пропахших хлором вокзалов, на заводах, в селах, на базарах, в каждом дворе и на каждой лестнице мало-мальски населенного дома.

Клятвы, призывы, обличения, ораторский пыл — все это внезапно тонуло в неистовых криках «долой!» или в восторженном хриплом «ура!». Эти крики перекатывались, как булыжный гром, по всем перекресткам.

Особенно вдохновенно и яростно митинговала Москва.

Кого-то качали, кого-то стаскивали с памятника Пушкину за хлястик шинели, с кем-то целовались, обдирая щетиной щеки, кому-то жали заскорузлые руки, с какого-то интеллигента сбивали шляпу. Но тут же, через минуту, его уже триумфально несли на руках и он, придерживая скачущее пенсне, посылал проклятия неведомо каким губителям русской свободы. То тут, то там кому-то отчаянно хлопали, и грохот жестких ладоней напоминал стук крупного града по мостовой.

Кстати, весна в 1917 году была холодная, и град часто покрывал молодую траву на московских бульварах трескучей крупой.

На митингах слова никто не просил. Его брали сами. Охотно позволяли говорить солдатам-фронтовикам и застрявшему в России французскому офицеру — члену французской социалистической партии, а впоследствии

коммунисту Жаку Садулю. Его голубая шинель все время моталась между двумя самыми митинговыми местами Москвы — памятниками Пушкину и Скобелеву.

Когда солдат называл себя фронтовиком, ему сначала учиняли шумный допрос. «С какого фронта? — кричали из толпы.— Какой дивизии? Какого полка? Кто твой полковой командир?»

Если солдат, растерявшись, не успевал ответить, то под крики: «Он с Ходынского фронта! Долой!» — его сволакивали с трибуны и заталкивали поглубже в толпу. Там он смущенно сморкался, вытирал нос полой шинели и с недоумением качал головой.

Чтобы сразу взять толпу в руки и заставить слушать себя, нужен был сильный прием.

Однажды на пьедестал памятника Пушкину влез бородатый солдат в стоявшей коробом шинели. Толпа зашумела: «Какой дивизии? Какой части?»

Солдат сердито прищурился.

— Чего орете! — закричал он.— Ежели хорошенько поискать, то здесь у каждого третьего найдется в кармане карточка Вильгельма! Из нас добрая половина — шпионы! Факт! По какому праву русскому солдату рот затыкаете?!

Это был сильный прием. Толпа замолчала.

— Ты вшей покорми в окопах,— закричал солдат,— тогда меня и допрашивай! Царские недобитки! Сволочи! Красные банты понацепляли, так думаете, что мы вас насквозь не видим? Мало что буржуям нас продаете, как курей, так еще и ощипать нас хотите до последнего перышка. Из-за вас и на фронте, и в гнилом тылу — одна измена! Товарищи, которые фронтовики! До вас обращаюсь! Покорнейше прошу — оцепите всех этих граждан, сделайте обыск и проверьте у них документы. И ежели что у кого найдется, так мы его сами хлопнем, без приказа комиссара правительства. Ура!

Солдат сорвал папаху и поднял ее над головой. Кое-кто закричал «ура!», но жидко, вразброд. Тотчас в толпе началось зловещее движение,— солдаты, взявшись за руки, начали ее оцеплять.

Неизвестно, чем бы это кончилось, если бы кто-то не догадался позвонить в Совет депутатов. Оттуда приехали на грузовике вооруженные рабочие и восстановили порядок.

Постепенно митинги в разных местах Москвы приобрели свой особый характер. У памятника Скобелеву выступали преимущественно представители разных партий — от кадетов и народных социалистов до большевиков. Здесь речи были яростные, но серьезные. Трепать языком у Скобелева не полагалось. При первой же такой попытке оратору дружно кричали: «На Таганку! К черту!»

На Таганской площади действительно можно было говорить о чем попало,— хотя бы о том, что Керенский — выкрест родом из местечка Шполы или что в Донском монастыре нашли у монахов тысячу золотых десятирублевок, засунутых в сердцевину моченых яблок.

Однажды весной (наступил уже май, но никто, кажется, не заметил тогда ни ледохода по Москве-реке, ни цветущей черемухи) я стоял в толпе у памятника Скобелеву. Шла схватка между эсерами и большевиками.

Неожиданно на пьедестал памятника влез Рачинский. Я даже вздрогнул. До тех пор я Рачинского в Москве не встречал.

Рачинский снял велюровую широкополую шляпу, высоко поднял трость с голой серебряной наядой, взывая к тишине, и закричал с пафосом:

— Черные тучи пытаются затмить лучезарное солнце нашей свободы! Позвольте мне, бедному и скромному поэту, живущему в мансарде, поднять свой негодующий голос...

— На свалку! — ясным и решительным, но несколько грубым голосом сказал кто-то в толпе.

— На Таганку! — охотно подхватила толпа.— Эй, кто там поближе, стащите его с памятника.

— Это узурпация! — закричал отчаянным голосом Рачинский.— Голос бессмысленной черни!

Но ему все равно не дали говорить. Он скорбно возвел глаза к небу, взмахнул руками и, соблюдая достоинство, соскочил с пьедестала и скрылся в толпе.

Митинги у Пушкина хотя и были разнообразны по темам, но держались, как принято сейчас говорить, «на высоком уровне». Чаще всего у Пушкина выступали студенты.

Я работал тогда в газете и по обязанности своей должен был бывать на митингах. Они отмечали мельчайшие колебания в настроении Москвы. Там же, на митингах мы, газетчики, узнавали много новостей.

Газета, где я работал, называлась странно: «Ведомости московского градоначальства». Никакого градоначальства в то время уже не было, как не было и никаких «ведомостей». Возможно, что газета называлась так потому, что редакция ее заняла бывший дом градоначальника на Тверском бульваре.

Это была небольшая газета. Редактировал ее весьма легкомысленный и развязный поэт-фельетонист Дон Аминадо. Настоящей его фамилии никто не знал.

Газета печатала ошеломляющие телеграммы со всех концов страны, хронику московской жизни и изредка два-три приказа комиссара Временного правительства доктора Кишкина. Никому даже не приходило в голову выполнять эти приказы. Поэтому фигура Кишкина имела чисто декоративный характер. Это был суховатый человек с седеющей бородкой и глазами жертвы, обреченной на заклание. Ходил он в элегантном сюртуке с шелковыми отворотами и носил в петлице красную кокарду.

С каждым днем речи ораторов на митингах делались определеннее, и вскоре из сумятицы лозунгов и требований начали вырисовываться два лагеря, на какие уже разделялась страна: лагерь большевиков и рабочих и другой лагерь — на первый взгляд прекраснодушных, но бескостных и растерянных людей, лагерь интеллигенции — сторонников Временного правительства. Конечно, не всей интеллигенции, но очень значительной ее части.

Государство разваливалось, как ком мокрой глины. Провинция, уездная Россия не подчинялась Петрограду, жила неведомо чем и бурлила неведомо как. Армия на фронте стремительно таяла.

Керенский метался по стране, стараясь своим экстатическим красноречием сколотить Россию. Силу идей, убежденность он пытался заменить напыщенной фразой, оперной позой, величественным, но неуместным жестом. В таком виде он выступал перед тысячами солдат на фронте, на брустверах окопов, не замечая, что он просто смешон.

Однажды он сорвал погоны с больного пожилого солдата, отказавшегося идти в окопы, повелительным жестом цезаря указал солдату на восток и закричал:

— Трус! Ступай в тыл! Не мы, а твоя собственная совесть убьет тебя!

Он кричал это трагическим голосом, со слезами на глазах, а солдаты отворачивались и ругались.

Я много раз видел этого человека с лимонного цвета припухшим лицом, багровыми веками и ежиком редких сероватых волос. Он ходил стремительно, заставляя адъютантов бежать за собой. Поворачивался он так же стремительно и неожиданно, пугая спутников. Больная рука на черной перевязи была засунута за борт помятого френча. Френч лежал складками на животе. Коричневые лакированные краги на длинных тонких ногах поскрипывали и поблескивали.

Лающим сорванным голосом он швырял в толпу короткие фразы и задыхался. Он любил гремящие слова и верил в них. Ему казалось, что они летят, как набат, над растревоженной страной и подымают людей на жертвы и подвиги.

Прокричав гремящие слова, Керенский падал в кресло, содрогаясь от слез. Адъютанты отпаивали его. От него тянуло валерьянкой, как от мнительной дамы.

Этот запах, напоминавший затхлый воздух зажитых и старомодных квартир, разоблачал его. Так, по крайней мере, мне казалось тогда. Я был почему-то уверен, что лекарственные запахи несовместимы с высоким званием трибуна.

Вскоре я понял, что Керенский был просто больным человеком с большой долей «достоевщины», актером, поверившим в свое высокое мессианское назначение и несущимся очертя голову в пропасть.

Он был, по-видимому, честен в своих взвинченных убеждениях, в своей приверженности к России,— этот истерик, вынесенный, как легкая стружка, на гребень первой революционной волны.

России везло на юродивых еще с удельных времен. Что-то от этого юродства было и в Керенском.

Мне привелось видеть почти всех тогдашних вождей Февральской революции. Плохо еще разбираясь в запутанной обстановке, я все же был поражен разношерстностью этих людей.

С Керенским, например, совершенно не вязался министр иностранных дел, барственный историк профессор Милюков.

Его седые синеватые волосы представлялись стерильными и ледяными. И весь он был ледяной и стерильный,

вплоть до каждого взвешенного и корректного слова. В то бурное время он казался выходцем с другой — добропорядочной и академической — планеты.

Внезапно появилось множество крикунов. Они росли как грибы. Важнее всего считалось перекричать противника.

Дешевая демагогия расцветала на унавоженных рынках. Крикунов даже привозили из-за границы.

Однажды из Парижа приехал французский министр военного снабжения Альбер Тома́.

Он появился у нас, чтобы уговорить «доблестный русский народ» остаться верным союзникам и не выходить из войны.

Этот коротконогий рыжебородый человек в изящном сюртуке показал в своих речах непревзойденный пример крика и выразительного жеста. Как-то он говорил с балкона теперешнего дома Моссовета (тогда этот дом был резиденцией комиссара Временного правительства).

Тома говорил по-французски. Вряд ли в толпе, слушавшей его, был хоть десяток людей, знавших этот язык. Толпа состояла главным образом из солдат и жителей московских окраин. Но в речи Тома все было понятно и без слов.

Тома, прыгая на согнутых ногах по балкону, наглядно показал, что произойдет, по его мнению, с Россией, если она выйдет из войны. Он подкрутил усы на манер Вильгельма, сделал хищные глаза, высоко подпрыгнул и стремительно схватил в воздухе за горло воображаемую Россию. Он вцепился в нее мертвой хваткой, зашипел, швырнул ее под ноги и начал остервенело топтать лакированными ботинками. При этом он испускал воинственные крики и рычал, как бешеный тигр.

Эта страшная пляска Вильгельма над поверженным телом России длилась несколько минут. Толпа, пораженная цирковым зрелищем, затаила дыхание.

Потом по толпе прошел глухой гул. Тома вытер надушенным платком красное лицо и привычным жестом — несколько набекрень — надел блестящий цилиндр. Он прислушивался к толпе и улыбался. В ее гуле ему чудилось одобрение.

Но гул, разрастаясь, становился все более грозным, пока наконец не послышались крики: «Позор!», «Клоун!», «Долой!» Раздался пронзительный свист.

Кто-то услужливо взял Тома за локоть и увел с балкона. Тогда взамен Тома па балкон вышел бельгийский социалист Вандервельде — человек с нестерпимо постным лицом, в застегнутом на все пуговицы пасторском сюртуке.

Он начал говорить очепь тихо, без интонаций, жуя слова пересохшими тонкими губами. Казалось, он хотел усыпить толпу. Она действительно начала быстро редеть. Вскоре около балкона осталась только небольшая кучка людей, слушавших Вапдервельде, очевидно, только из вежливости.

Вандервельде говорил о том же, что и Тома. Он уныло взывал к верности «священному военному союзу».

Со стороны Страстпого монастыря донеслась музыка. Она все усиливалась, гремела:

Вышли мы все из народа,
Дети семьи трудовой.
«Братский союз и свобода» —
Вот наш девиз боевой!

По Тверской приближались колонны рабочих с Преспи. Кумачовые полотнища плыли мимо Вандервельде: «Мир хижинам, война дворцам», «Вся власть Советам!», «Долой войну!»

Вандервельде еще несколько минут пошевелил губами, потом сложил листки со своими записями и медленно ушел, опираясь вместо трости на туго свернутый зонтик в шелковом чехле.

Из рабочих колонн его не заметили. Колонны пели:

Все, чем их держатся троны,—
Дело рабочей руки...
Сами набьем мы патроны,
К ружьям привинтим штыки!

Сейчас, спустя много лет, возвращаясь памятью к первым месяцам революции, начинаешь отчетливо понимать, что то время было наполпено сознанием непрочности происходившего и ожиданием неумолимых перемен.

Старый строй был разрушен. Но в глубине души почти никто не думал, что повый февральский строй — это завершение революции. Он был, конечно, только перевальным этапом в истории России.

Возможно, что это понимали и тогдашние мимолетные руководители страпы. Это ослабляло их сопротивление тому новому, враждебному для них, но неизбежному, что

впервые прозвучало в словах Ленина с броневика у Финляндского вокзала: «Заря всемирной социалистической революции уже занялась!»

Все без труда достигнутое и наспех сколоченное после февраля было, оказывается, самым ранним началом новых времен.

Это стало ясным для всех значительно позже. Тогда же это только смутно чувствовалось. Слишком было напряженное время, слишком много феерических событий совершалось каждый день. Не хватало ни душевных сил, ни времени, чтобы как следует разобраться в молниеносном полете истории. Грохот обвалов старого времени сливался в сплошной гул.

Идиллическое благодушие первых дней революции меркло. Трещали и рушились миры.

В большинстве своем интеллигенция растерялась — великая, гуманная русская интеллигенция, детище Пушкина и Герцена, Толстого и Чехова. С непреложностью выяснилось, что она умела создавать высокие духовные ценности, но была за редкими исключениями беспомощна в деле создания государственности.

Русская культура выросла главным образом в борьбе за свободу с самодержавным строем. В этой борьбе оттачивалась мысль, воспитывались высокие чувства и гражданское мужество.

Старый строй рухнул. Вместо того чтобы сеять в народе хрестоматийное «разумное, доброе, вечное», надо было немедленно своими руками создать новые формы жизни, надо было умело управлять вконец запущенной и необъятной страной.

Смутное, почти нереальное состояние страны не могло длиться долго. Жизнь народа требовала ясности цели, точного приложения труда. Оказалось, что утверждение справедливости и свободы требует черной работы и даже жестокости. Оказалось, что эти вещи не рождаются сами под звон кимвалов и восхищенные клики сограждан.

Таковы были первые уроки революции. Такова была первая встреча русской интеллигенции лицом к лицу с ее идеалами.

Это была горькая чаша. Она не миновала никого. Сильные духом выпили ее и остались с народом, слабые — или выродились, или погибли.

Так входила страна в грозную и длительную эпоху со-

здания новой гражданственности. Но, повторяю, в то время все эти мысли не были еще до конца понятны всем. Они существовали в зачатке, почти как ощущение. Множество людей плыло по воле событий с одним только желанием прожить подольше, чтобы увидеть, как обернется история и к какому берегу прибьет наконец Россию.

Что касается меня, то я встретил Февральскую революцию с мальчишеским восторгом, хотя мне было уже двадцать пять лет. Мне наивно верилось, что эта революция может внезапно переменить всех людей к лучшему и объединить непримиримых врагов. Мне казалось, что человеку не так уж трудно ради бесспорных ценностей революции отказаться от пережитков прошлого, от всяческой скверны и прежде всего от жажды обогащения, национальной вражды и угнетения себе подобных.

Я был всегда уверен, что в каждом человеке заложены зачатки доброй воли и все дело лишь в том, чтобы вызвать их из глубины его существа.

Но скоро я убедился, что эти прекраснодушные настроения — наполовину дым и тлен. Каждый день швырял мне в лицо жестокие доказательства того, что человек не так просто меняется и революция пока что не уничтожила ни ненависти, ни взаимного недоверия.

Я гнал от себя эту неприятную мысль, но она не уходила и омрачала мою радость. Все чаще вспыхивал гнев. Особенно сильно я начал ненавидеть приглаженных и либеральных интеллигентов, стремительно и явно поглупевших, по моему мнению, от недоброжелательства к своему, недавно еще умилявшему их, народу. Но это еще не значило, что я целиком принимал в то время революцию Октябрьскую. Многое я принимал, иное отвергал, особенно все, что казалось мне пренебрежением к прошлой культуре.

Принять Октябрь целиком мне мешало мое идеалистическое воспитание. Поэтому первые два-три года Октябрьской революции я прожил не как ее участник, а как глубоко заинтересованный свидетель.

Только в 1920 году я понял, что нет другого пути, чем тот, который избран моим народом. Тогда сразу же отлегло от сердца. Началось время веры и больших надежд. Дальнейшая жизнь пошла уже не случайно, а более осмысленно и более или менее твердо по пути служения на-

роду в той области, которая представлялась мне наиболее действенной и соответствующей моим силам,— в литературе.

Неизвестно, какой путь лучше — от сомнения к признанию или путь, лишенный всяческих сомнений.

Во всяком случае, глубокая преданность свободе, справедливости и гуманности, равно как и честность перед самим собой, всегда казались мне непременными качествами человека нашей революционной эпохи.

Холодную весну 1917 года сменило душное лето.

Жаркий ветер гонял по мостовой вороха измятых и рваных газет. Почти каждый день в Москве появлялись новые газеты, иногда самых необыкновенных направлений, вплоть до теософских и анархических с лозунгом: «Анархия — мать порядка». Эти шумные и большей частью безграмотные листки жили всего один-два дня.

Ветер трепал на стенах десятки то обличительных, то призывающих к благоразумию воззваний. Воздух был пропитан керосиновым запахом типографской краски и ржаного хлеба. Этот последний деревенский запах принесла с собой армия. Город заполнялся солдатами, валившими в тыл, несмотря на крикливые приказы Керенского.

Москва превратилась в буйное военное становище. Солдаты плотно оседали вокруг вокзалов. Привокзальные площади курились дымом, как развалины завоеванных городов. Но это был не пороховой дым, а дым махорки. Ветер вертел серые смерчи из подсолнечной шелухи.

Красный флаг, привязанный к воинственно поднятой бронзовой сабле Скобелева, давно выгорел от солнца, но победоносно шумел на ветру.

Над городом висела пелена пыли. В ней и день и ночь горели запасные желтые фонари. Их просто забывали гасить.

Для экономии электричества часы по приказу правительства сильно передвинули назад. Солнце заходило в четыре часа дня.

Весь город был на ногах. Квартиры пустовали. Ночи напролет люди хрипли на митингах, слонялись от бессонницы по улицам, сидели и спорили в скверах или просто на панели. Незнакомые, встречаясь на митингах, в одно мгновение становились друзьями или врагами. Прошло уже четыре месяца с начала революции, но возбуждение не затихало. Тревога все так же томила сердца.

Я решил поехать на осень к матери. Я вымотался в Москве. За все это время я ничего не успел прочесть, кроме множества наспех отпечатанных на газетной бумаге политических брошюр, отражавших непримиримую схватку партий. Я мечтал, как о чем-то несбыточном, о возможности перечитать «Войну и мир» Толстого. Мне казалось тогда, что этот роман написан два века назад.

Мама жила с моей сестрой Галей в Полесье, невдалеке от города Чернобыля. Там у моей киевской тетушки Веры была небольшая усадьба Копань, и мама согласилась жить в Копани и вести скудное тамошнее хозяйство. Мама любила возиться с землей. Одно время она даже мечтала сделать меня агрономом.

Я ехал через Киев. Он, так же как и Москва, ключом кипел на митингах. Только вместо «долой!» и «ура!» здесь кричали «геть!» и «слава!», а вместо марсельезы пели «Заповит» Шевченко и «Ще не вмерла Украина».

До Чернобыля я плыл по Днепру и Припяти на маленьком облупленном пароходе «Володя». Это был очень старательный пароход. Изредка капитан — седоусый украинец с красным бантом на груди — подымался на мостик и говорил, посмеиваясь, в машинное отделение:

— А ну, «Володя»! Жми! Старайся для революции!

И «Володя» старался. Он начинал изо всей силы пыхтеть паром, торопливо бить плицами по воде и заметно прибавлял ход. Но это продолжалось недолго. Вскоре плицы снова лениво плескались за бортом, добродушные пассажиры укладывались отдохнуть на палубе, с берега сладко тянуло болотным багульником и треск кузнечиков сливался в усыпительный перезвон.

Я тоже отсыпался на палубе. Москва казалась отсюда запутанным сном.

Из Чернобыля надо было ехать сорок верст на лошадях через сосновые леса и сыпучие пески. Лошади брели шагом. Поскрипывали колеса, от старой сбруи пахло дегтем. Возница — маленький «дядько» в худой коричневой свитке — все спрашивал:

— Там в Москве, безусловно перед вами извиняюсь, ще не слышно, когда произойдет вселенское разрешение?

— Какое разрешение?

— Чтобы хлеборобам самосильно пановать над землей. А панов и подпанков гнать дрючками под зад к бисовой

матери. Говорят, Керенский тому препятствует, шило ему в бок!

Копань оказалась маленькой усадьбой, вернее, заброшенным хутором. На поляне в лесу стояла большая старая хата под гнилой соломенной крышей и какие-то ветхие сарайчики. Изгороди не было. Лес обступал хату со всех сторон. Гул сосен показался мне, после московской сумятицы, особенно величавым и успокоительным.

Мама, увидев меня, сдержала слезы. Только губы у нее задрожали и осекся голос. Но тут же она обняла меня, прижалась седой головой к моему плечу и долго стояла неподвижно и молча, глотая слезы. Она никогда еще так не обнимала меня, как старшего, как защитника, как единственную опору в ее неудачливой жизни.

А Галя крепко стиснула меня за локоть, и из-под выпуклых стекол ее очков капали слезы. Она их не вытирала.

Я неумело успокаивал маму. Я часто вспоминал ее и думал о ней, но только теперь понял, что жизнь не оставила ей ничего, кроме единственной горькой и спрятанной глубоко на сердце любви к двум оставшимся в живых родным существам — ко мне и к Гале. Это были последние крохи любви, которыми она жила. Ради этой любви она безропотно переносила унижения со стороны богатых родственников, тяжелую работу и полную заброшенность в этих безлюдных лесах.

В сумерки мама виноватым голосом заметила, что сейчас совершенно невозможно достать керосина — его нет даже в Чернобыле,— и потому они с Галей сидят по вечерам при лучине.

До тех пор я никогда не видел лучины. Ее яркий багровый огонь мне даже понравился.

Мама, перебирая сухими, огрубевшими от земли пальцами бахрому на платке, неуверенно сказала:

— Как бы хорошо было, Костик, если бы ты остался здесь с нами совсем. Так опасно теперь разлучаться. Мы бы прожили. Правда, на картошке и сале, но зато все вместе. Как ты думаешь, Костик?

Она не решалась посмотреть мне в лицо и сидела, опустив глаза.

Я промолчал.

Мама начала вставлять в железный зажим новую лучину. Руки у нее дрожали.

— Мы говорили с Галей,— сказала она, не оборачиваясь,— что если ты не бросил свою мысль стать писателем, то тебе все равно где работать. А здесь тихо. И никто тебе не будет мешать.

Молчать больше было нельзя.

— Я подумаю,— ответил я.

Мама подошла и пригладила мне волосы.

— Ну вот и хорошо,— сказала она и грустно улыбнулась.— Вот и хорошо. Правда, подумай, Костик.

Сколько бы ни пришлось жить на свете, никогда не перестанешь удивляться России. У меня это удивление началось в детстве и не прошло до сих пор. Нет в мире страны более неожиданной и противоречивой.

В Копани я убедился в этом на второй же день после своего приезда.

Я рассказывал маме и Гале о революционной Москве и в это время увидел в окно, как из леса плелся к усадьбе сгорбленный дряхлый монашек в пыльной рясе и потертой островерхой скуфейке. Он вошел, покрестился на пустой угол, поклонился нам в пояс и попросил маму обменять для братии сушеные грибы на соль. Монашек появился будто из допетровских времен.

Соль у мамы была. Она отсыпала монашку четверть мешка, но грибы не взяла,— в этом лесном краю и своих грибов некуда было девать.

Мама напоила монашка чаем. Он сидел за столом, не снимая скуфейки, пил чай вприкуску с постным сахаром, и мелкие слезы изредка стекали по его желтым, как церковный воск, щекам. Он тщательно вытирал их рукавом рясы и говорил:

— Сподобил господь еще раз перед кончиной попить чайку с сахарком. Истинно пожалел меня господь, снизошел к моему прозябанию.

Мама вышла за чем-то в соседнюю комнату. Я вышел вслед за ней и спросил, откуда здесь этот монах. Мама рассказала, что в десяти верстах от Копани, в самом глухом углу леса на берегу реки Уж, с давних времен стоит маленький скит. Сейчас, после революции, все мало-мальски здоровые монахи разбежались, и в скиту осталось только несколько немощных старцев.

— Ты бы сходил в этот скит,— посоветовала мне ма-

ма.— Поговорил бы с ними. Для тебя это будет, может быть, интересно.

Через несколько дней я пошел в скит. Лес был темен, завален буреломом. Потом не на поляне, а прямо в лесу, среди деревьев, я наткнулся на высокий тын из почернелых бревен. Такие тыны я видел на картинах Рериха и Нестерова, изображавших старые обители.

Я пошел вдоль тына к воротам. Они были заколочены. Я долго стучал в калитку, пока мне не открыл тот самый монашек, что приходил за солью.

Я вошел в заросший травой дворик, увидел рубленную из сосны косую маленькую церковь и сразу как бы выпал из своего столетия.

Из церкви слышалось старческое пение. Изредка тренькал на звоннице колокол.

— Уж и не знаем,— сказал мне монашек,— звонить или нет. Опасаемся. Как бы обиды не было от этого для предержащих ныне властей. Вот и звоним чуть-чуть. Ворона сидит на звоннице — так и та не слетает. Пожалуйте в храм.

Мы вошли в церковь. Горело всего три-четыре свечи. Старики в черных схимнических рясах с нашитыми на них белыми крестами и черепами не шевельнулись. Коричневой позолотой поблескивали во мраке узкие лица святителей. Горьковато пахло горелыми можжевеловыми ягодами,— ими монахи курили вместо ладана.

Все как-то смешалось в сознании — древний скит, унылые песнопения, гул сосен за стенами церкви, черепа на рясах схимников, Москва, крест над могилой Лели, окопные завшивевшие солдаты, синагога в Кобрине, огонь маяка в Таганроге, митинги, революция, марсельеза, Керенский, «Мир хижинам — война дворцам». Все это казалось пестрым сном,— это почти неправдоподобное течение моей жизни. Ожидание перемен стало в этой жизни уже привычкой.

Как все это осмыслить? Как понять? Как найти в этом хаосе ту ясность, без которой ничего нельзя сделать подлинного и ценного? И как объяснить самому себе то состояние, что делает человека одновременно и приверженцем революции, последователем великих передовых идей, и собеседником Гейне, и современником Древней Руси, поющей здесь, в скиту, дребезжащими голосами о том, что человек заслужил райское блаженство «и ныне и присно

и во веки веков». И почему, когда я слушаю эти слова, мне вспоминаются стихи: «Нижет печаль моя жемчуги скатные, в кованый сыплет ларец». Что-то общее мне чудится в этих стихах и песнопениях монахов.

Я ушел из скита и долго еще не мог привести в порядок свои мысли.

С тех пор я каждый раз, когда ходил на реку Уж ловить рыбу, заходил в скит. Монахи угощали меня старым медом с холодной водой.

Газет не было, за ними надо было ездить на хромой лошади в Чернобыль.

Я успел съездить туда один только раз и привез в Копань известие о корниловском мятеже и о том, что немцы перешли в наступление и заняли Ригу.

Но второй раз мама не отпустила меня в Чернобыль. В лесах появилась какая-то банда — не то беглые пленные австрийцы, не то выпущенные из тюрьмы арестанты. Банду эту никто не видел, но все встревожились.

Время шло. О банде уже долго ничего не было слышно, и все успокоились. Поздней осенью я наконец уехал в Киев, а оттуда в Москву. Мама взяла с меня слово, что я вернусь следующей весной.

Когда я уезжал, Полесье стояло в сухой желтой листве и мягких туманах.

Через неделю после моего отъезда неизвестная банда налетела на скит, перерыла кельи в поисках серебра, расстреляла монахов и подожгла церковь. Но церковь была сложена из окаменелых за века бревен и потому только обуглилась, но не сгорела.

СИНИЕ ФАКЕЛЫ

В Москве я поселился в двухэтажном доме у Никитских ворот. Дом этот выходил на три улицы: Тверской бульвар, Большую Никитскую и Леонтьевский переулок. С четвертой стороны он был вплотную прижат к глухой стене — брандмауэру шестиэтажного дома.

Напротив, на стрелке Тверского бульвара (где сейчас памятник Тимирязеву), стояло в то время скучное и длинное здание. Там помещалась аптека, а в подвалах был склад медикаментов. Окна моей комнаты выходили на эту аптеку.

Приходится так подробно говорить о расположении дома потому, что оно оказалось причиной некоторых не совсем обычных событий, описанных ниже.

Однажды, в седую от морозного дыма осеннюю ночь, я проснулся в своей комнате на втором этаже от странного ощущения, будто кто-то мгновенно выдавил из нее весь воздух. От этого ощущения я на несколько секунд оглох.

Я вскочил. Пол был засыпан осколками оконных стекол. Они блестели в свете высокого и туманного месяца, влачившегося над уснувшей Москвой.

Глубокая тишина стояла вокруг.

Потом раздался короткий гром. Нарастающий резкий вой пронесся на уровне выбитых окон, и тотчас с длинным грохотом обрушился угол дома у Никитских ворот. В комнате у хозяина квартиры заплакали дети.

В первую минуту нельзя было, конечно, догадаться, что это бьет прямой наводкой по Никитским воротам орудие, поставленное у памятника Пушкину. Выяснилось это позже.

После второго выстрела снова вернулась тишина. Месяц все так же внимательно смотрел с туманных ночных небес на разбитые стекла на полу.

Через несколько минут у Никитских ворот длинно забил пулемет.

Так начался в Москве октябрьский бой, или, как тогда говорили, «октябрьский переворот». Он длился несколько дней.

В ответ па пулеметный огонь разгорелась винтовочная пальба. Пуля чмокнула в стену и прострелила портрет Чехова. Потом я нашел этот портрет под обвалившейся штукатуркой. Пуля попала Чехову в грудь и прорвала белый пикейный жилет.

Перестрелка трещала, как горящий валежпик. Пули густо цокали по железным крышам. Мой квартирный хозяин, пожилой вдовец архитектор, крикнул мпе, чтобы я шел к нему в задние компаты. Они выходили окнами во двор.

Там на полу сидели две маленькие девочки и старая няня. Старуха закрыла девочек с головой теплым платком.

— Здесь безопасно,— сказал хозяин.— Пули вряд ли пробьют внутренние стены.

Старшая девочка спросила из-под платка:

— Папа, это немцы напали на Москву?

— Никаких немцев нет.

— А кто же стреляет?

— Замолчи! — прикрикнул отец.

Я вернулся в свою комнату и, прижавшись к простенку, заглянул наискось в окно. Месяц затянуло черными тучами. Громады домов с погашенными огнями едва угадывались во мраке. Беспрестанно вспыхивали огни выстрелов и на разные голоса пели пули. То это был тонкий свист, то визг, то странный клекочущий звук, будто пули кувыркались в воздухе.

Я пытался увидеть людей, но вспышки выстрелов не давали для этого достаточно света. Судя по огню, красногвардейцы, наступавшие от Страстной площади, дошли уже до половины бульвара, где стоял деревянный вычурный павильон летнего ресторана. Юнкера залегли на площади у Никитских ворот.

Внезапно под окнами с тихим гулом загорелся, качаясь на ветру, высокий синий язык огня. Он был похож на факел. В его мертвенном свете стали наконец видны люди, перебегавшие от дерева к дереву.

Вскоре второй синий факел вспыхнул на противоположной стороне бульвара.

Это пули разбили горелки газовых фонарей, и горящий газ начал вырываться прямо из труб.

При его мигающем свете огонь тотчас усилился.

Я вернулся к хозяину.

— Ну как? — спросил он.

— Надо уводить отсюда детей.

— Куда? — спросил хозяин.— Тверской бульвар под огнем.

— На Большую Никитскую. Через магазины.

— По Большой Никитской и по кино «Унион» красногвардейцы бьют из пулеметов с Малой Никитской. В кино — штаб юнкеров.

— Тогда остается Леонтьевский.

— Пойдем узнаем.

Мы спустились по черной лестнице в квадратный двор. Здесь пули пели высоко, и только кое-где обваливались отбитые карнизы. В глубине двора около маленькой дворницкой стояло несколько человек.

Оказалось, что в Леонтьевском переулке огонь был еще

сильнее, чем на Тверском бульваре. С четвертой стороны нашего двора вздымался брандмауэр соседнего дома. В нем не было ни одного окна.

Архитектор посмотрел на брандмауэр и выругался.

— Западня,— сказал он.— Наш дом обложен со всех сторон. Выйти некуда. Мы попали в мертвую полосу.

Уже светало. Люди около дворницкой оказались пекарями из булочной Бартельса, помещавшейся в этом же доме.

Белый от муки бородатый пекарь — бывший портартурский солдат — предложил перевести всех жильцов в дворницкую —самое безопасное место. Жильцов было очень немного,— весь первый этаж дома занимали магазины и склады.

Так началось многодневное сидение в дворницкой.

Один из пекарей, молодой парень, решил перебежать к красногвардейцам. Как только он выскочил, пригнувшись, из подворотни на тротуар, его срезала пулеметная очередь от Никитских ворот.

Сидя в дворницкой, мы перебирали в памяти предыдущие дни и удивлялись своей недогадливости. Бой возник для нас как будто внезапно. А между тем мы знали о восстании в Петрограде, штурме Зимнего дворца, выстреле «Авроры», о том, что в Москве было объявлено военное положение, что на Ходынке накапливались хорошо вооруженные отряды красногвардейцев и солдат и что Алексеевское и Александровское военные училища были приведены в боевую готовность.

Команду над нашим домом принял пекарь-портартурец. Из крана в дворницкой жидкой струйкой текла вода. Пекарь приказал собрать по квартирам все ведра и кувшины и сделать запас воды. Она каждую минуту могла иссякнуть.

Потом мы собрали весь хлеб и продукты. Их оказалось немного.

Мы не знали, что делается вокруг, и были уверены, что бой идет по всей Москве. Мы только понимали, что очутились в осаде и живем как в крепости, охваченной кольцом огня. Но крепость эта была ненадежной. Уже к концу первого дня пули начали залетать во двор.

Всю первую ночь мы просидели на ступеньках дворницкой, стараясь по силе огня догадаться, кто берет верх.

Внезапно среди ночи огонь стих. Все насторожились. Эта тишина казалась опаснее, чем ураганный огонь. Но тянулась она недолго. Вскоре мы услышали в кромешном мраке отдаленные протяжные крики: «Передать командиру! Юнкера накапливаются на крышах!»

Крик становился все торопливее, тревожнее: «Передать командиру! Юнкера накапливаются на крышах!» Сразу сорвался огонь, и свинцовый град снова захлестал по водосточным трубам и вывескам.

К вечеру второго дня загорелся дом «на стрелке», где была аптека. Он горел разноцветным пламенем — то желтым, то зеленым и синим, очевидно, от медикаментов. Глухие взрывы ухали в его подвалах. От этих взрывов дом быстро обрушился. Пламя упало, но едкий разноцветный дым клубился над пожарищем еще несколько дней.

В нашем доме начала коробиться железная крыша и задымились оконные рамы. Но, к счастью, дом не загорелся.

Мы задыхались, плакали от дыма, обвязывали лица мокрыми платками, но это почти не помогало.

На третью ночь перестрелка снова стихла, и стало слышно, как кто-то кричал на бульваре неуверенным надсаженным голосом:

— Викжель (так тогда назывался «Всероссийский союз железнодорожников») настоятельно предлагает сторонам прекратить огонь и выслать парламентеров! Для переговоров о перемирии! Не стрелять! Посредник — представитель Викжеля — будет ждать десять минут. Не стрелять!

Наступила неправдоподобная тишина — такая, что было слышно, как скрежещут от ветра изорванные пулями вывески.

В тусклом зареве догоравшей аптеки я смотрел на часы. Все молча следили за мной. Секундная стрелка бежала по кругу, как будто быстрее, чем всегда. Пять минут! Семь минут! Неужели юнкера не сдадутся? Десять минут!

Прогремел одинокий выстрел, за ним — второй, и сразу, как шквал, нарастая, загрохотала перестрелка.

Потом со стороны Арбатской площади раздалось несколько пушечных ударов, и в соседнем доме за высоким брандмауэром что-то гулко обрушилось. Над крышей дома, медленно завиваясь, поднялся столб огня.

Как выяснилось, юнкера подожгли соседний дом снарядами, чтобы не дать красногвардейцам захватить его. Дом этот, говоря языком военных реляций, господствовал над местностью.

Этот второй пожар был гораздо опаснее, чем пожар аптеки. К нам на двор уже летели, лязгая, искореженные огнем железные листы и горящие головни. Мы заливали их своими жалкими запасами воды.

Старый пекарь уверял, что опасность пройдет, как только в соседнем доме прогорит верхний этаж. Конечно, если не обрушится брандмауэр. Мы соглашались с ним, хотя хорошо сознавали, что наше положение довольно отчаянное.

В эту же ночь во двор, освещенный пожаром с такой силой, что была видна каждая соринка на камнях, через выбитое окно первого этажа каким-то чудом пролез с Тверского бульвара человек в подпоясанном солдатским кушаком сером пиджаке, с маузером на боку, в очках и с русой бородкой. Он был похож на Добролюбова.

— Спокойно! — крикнул он.— Жильцы — ко мне! Мы договорились с юнкерами. Сейчас и мы и они прекратим огонь, чтобы вывести из этого дома детей и женщин. Только детей и женщин! Мужчин выпускать не будут. Ваше положение аховое,— дом с часу на час загорится. Поэтому мужчины, по-моему, могут тоже рискнуть. Но, конечно, только после того, как выйдут дети и женщины. Выходить через Тверской бульвар на Бронную. Идти поодиночке. Соберитесь в подворотне.

Человек этот так же быстро исчез, как и появился.

Все собрались в подворотне. Огонь затих, и первой засеменила через бульвар наша старая нянька с двумя девочками. За ней перебежали остальные женщины.

Пока женщины перебегали бульвар, красногвардейцы начали перекрикиваться с юнкерами.

— Эй вы, темляки-сопляки! — кричали красногвардейцы.— Хватит дурить! Бросай оружие!

— У нас присяга! — кричали в ответ юнкера.

— Кому присягали? Керенскому? Он, сукин кот, удрал к немцам.

— России мы присягали, а не Керенскому!

— А мы и есть Россия! — кричали красногвардейцы.— Соображать надо!

Как только прошли женщины, из подворотни выскочил

старый пекарь. За ним должен был бежать я. Но сразу же со стороны юнкеров ударила пулеметная очередь и отколола угол подворотни. Пекарь бросился назад. Снова загремели выстрелы и полетели на тротуар битый кирпич, стекло и щепки.

Мы вернулись в дворницкую.

Пекарь выругался и сказал мне:

— Эх, кабы мы прорвались! Пошли бы с тобой в красногвардейцы. Тебя бы со мной обязательно взяли, хоть ты и студент. Как ни верти, а Россия остается одна. Наша Россия. А ихняя уже смердит ладаном.

Я вспомнил недавние крики красногвардейцев: «А мы и есть Россия!» — и внезапно с необыкновенной ясностью и новизной представил себе стертое от частого употребления понятие «гуща народа». Да, я принадлежу к этой «гуще народа». Я чувствую себя своим среди этих мастеровых, крестьян, рабочих, солдат, среди того великого простонародья, из которого вышли и Глеб Успенский, и Лесков, и Никитин, и Горький, и тысячи талантливых наших людей.

— Ну что ж,— ответил я пекарю.— Мне без своего народа не жить. Это я знаю.

— То-то! — сказал пекарь и усмехнулся.— Ты одной руки с нами держись, милый. Не отставай.

На пятый день кончились продукты. До вечера мы терпели, глотая слюну. За стеной дворницкой догорал соседний дом.

В нашем доме был маленький гастрономический магазин. Ничего больше не оставалось, как взломать его. Задняя дверь магазина выходила во двор. Пекарь сбил с нее топором замок, и мы по очереди бегали по ночам в этот магазин и набирали сколько могли колбас, консервов и сыра.

Светило зарево, и надо было прятаться за прилавками, чтобы через разбитую витрину нас не заметили юнкера из «Униона». Кто знает, что им могло прийти в голову.

Первая ночь прошла удачно, но на вторую в башне углового дома на Бронной засел стрелок-красногвардеец. С этой башни наш двор был хорошо виден при свете пожара, и стрелок, сидя и покуривая, постреливал по каждому, кто появлялся во дворе.

Как раз выпала моя очередь. В магазин я проскочил удачно,— стрелок или не заметил меня, или не успел выстрелить.

До сих пор я помню этот магазин. На проволоке висели обернутые в серебряную бумагу копченые колбасы. Красные круглые сыры на прилавке были обильно политы хреном из разбитых пулями банок. На полу стояли едкие лужи из уксуса, смешанного с коньяком и ликером. В этих лужах плавали твердые, покрытые рыжеватым налетом маринованные белые грибы. Большая фаянсовая бочка из-под грибов была расколота вдребезги.

Я быстро сорвал несколько длинных колбас и навалил их на руки, как дрова. Сверху я положил круглый, как колесо, толстый швейцарский сыр и несколько банок с консервами.

Когда я бежал обратно через двор, что-то зазвенело у меня под руками, но я не обратил на это внимания.

Я вошел в дворницкую, и единственная женщина, оставшаяся с нами, жена дворника, бледная и болезненная, вдруг дико закричала. Я сбросил на пол продукты и увидел, что руки у меня облиты густой кровью.

Через минуту все в дворницкой повалились от хохота, хотя обстановка никак не располагала к этому. Все хохотали и соскабливали с меня густое томатное пюре.

Когда я бежал обратно, стрелок все же успел выстрелить, пуля пробила банку с консервами, и меня всего залило кроваво-красным томатом.

Хлеба у нас не было ни крошки. Острый сыр, копченые колбасы и консервы с перцем мы ели без хлеба и запивали холодной водопроводной водой.

Мой хозяин вспомнил, что у него на кухне остался мешок черных сухарей. Я вызвался пойти за ними.

Я осторожно поднялся по черной лестнице, заваленной битым кирпичом. В кухне из простреленной водопроводной трубы текла вода, и на полу стояла густая жижа размокшей штукатурки.

Я начал шарить в буфете, разыскивая сухари. В это время с бульвара послышались крики и топот ног. Я пошел в свою комнату, чтобы посмотреть, что случилось. По бульвару цепью бежали с винтовками наперевес красногвардейцы. Юнкера отходили, не отстреливаясь.

Впервые я видел бой так близко, под самым окном своей комнаты. Меня поразили лица людей — зеленые,

с ввалившимися глазами. Мне казалось, что эти люди ничего не видят и не понимают, оглушенные собственным криком.

Я оторвался от окна, когда услышал на парадной лестнице торопливый топот сапог. С треском распахнулась дверь с лестницы в переднюю и с размаху ударилась в стенку. С потолка посыпалась известка. Возбужденный голос крикнул в передней:

— Митюха, тащи сюда пулемет!

Я обернулся. В дверях стоял пожилой человек в ушанке и с пулеметной лентой через плечо. В руках у него была винтовка. Одно мгновение он пристально и дико смотрел на меня, потом быстро вскинул винтовку и крикнул:

— Ни с места! Подыми руки!

Я поднял руки.

— Чего там, папаша? — спросил из коридора молодой голос.

— Попался один,— ответил человек в ушанке.— Стрелял. Из окна по нас стрелял, гад! В спину!

Только сейчас я сообразил, что на мне надета потрепанная студенческая тужурка, и вспомнил, что, по словам пекаря, у Никитских ворот на стороне Временного правительства дралась студенческая дружина.

В комнату вошел молодой рабочий в натянутой на уши кепке. Он вразвалку подошел ко мне, лениво взял мою правую руку и внимательно осмотрел ладонь.

— Видать, не стрелял, папаша,— сказал он добродушно.— Пятна от затвора нету. Рука чистая.

— Дурья твоя башка! — крикнул человек в ушанке.— А ежели он из пистолета стрелял, а не из винтовки. И пистолет выкинул. Веди его во двор!

— Все возможно,— ответил молодой рабочий и хлопнул меня по плечу.— А ну, шагай вперед! Да не дури.

Я все время молчал. Почему — не знаю. Очевидно, вся обстановка была настолько безнадежной, что оправдываться было просто бессмысленно. Меня застали в комнате на втором этаже у выбитого окна, в доме, только что захваченном красногвардейцами. На мне была измазанная известкой и покрытая подозрительными бурыми пятнами от томата студенческая тужурка. Что бы я ни сказал, мне бы все равно не поверили.

Я молчал, сознавая, что мое молчание — еще одна тяжелая улика против меня.

— Упорный, черт! — сказал человек в ушанке.— Сразу видать, что принципиальный.

Меня повели во двор. Молодой красногвардеец подталкивал меня в спину дулом винтовки.

Двор был полон красногвардейцев. Они вытаскивали из разбитого склада ящики и наваливали из них баррикаду поперек Тверского бульвара.

— В чем дело? — зашумели красногвардейцы и окружили меня и обоих моих конвоиров.— Кто такой?

Человек в ушанке сказал, что я стрелял из окна им в спину.

— Разменять его! — закричал веселым голосом парень с хмельными глазами.— В штаб господа бога!

— Командира сюда!

— Нету командира!

— Где командир?

— Был приказ — пленных не трогать!

— Так то пленных. А он в спину бил.

— За это один ответ — расстрел на месте.

— Без командира нельзя, товарищи!

— Какой законник нашелся! Ставь его к стенке!

Меня потащили к стенке. Из дворницкой выбежала простоволосая жена дворника. Она бросилась к красногвардейцам и начала судорожно хватать их за руки.

— Сынки, товарищи! — кричала она.— Да это ж наш жилец. Он в вас не стрелял. Мне жизнь не нужна, я больная. Убейте лучше меня.

— Ты, мать, не смей без разбору никого жалеть,— рассудительно сказал человек в ушанке.— Мы тоже не душегубы. Уйди, не мешайся.

Никогда я не мог понять — ни тогда, ни теперь,— почему, стоя у стены и слушая, как щелкают затворы, я ровно ничего не испытывал. Была ли то внезапная душевная тупость или остановка сознания — не знаю. Я только пристально смотрел на угол подворотни, отбитый пулеметной очередью, и ни о чем не думал. Но почему-то этот угол подворотни я запомнил в мельчайших подробностях.

Я помню семь выбоин от пуль. Сверху выбоины были белые (там, где была штукатурка), а в глубине — красные (где был кирпич). Помню железную, закрашенную белой краской скобку от оборванного звонка к дворнику, кусок электрического провода, привязанного к этой скобке, нари-

сованную на стене углем рожу с огромным носом и торчащими, как редкая проволока, волосами и подпись под нею: «Обманули дурака па четыре кулака!»

Мне казалось, что время остановилось и я погружен в какую-то всемирную немоту. На самом же деле прошло всего несколько секунд, и я услышал незнакомый и вместе с тем будто бы очень знакомый голос:

— Какого дьявола расстреливаете! Забыли приказ? Убрать винтовки!

Я с трудом отвел глаза от угла подворотни,— шея у меня нестерпимо болела,— и увидел человека с маузером, похожего на Добролюбова,— того, что приходил к нам ночью, чтобы вывести детей и женщин. Он был бледен и не смотрел на меня.

— Отставить! — сказал он резко.— Я знаю этого человека. В студенческой дружине он пе был. Юнкера наступают, а вы галиматьей занимаетесь.

Человек в ушанке схватил меня за грудь, сильно встряхнул и сказал со злобой:

— Ну и матери твоей черт! Чуть я совесть не замарал из-за тебя, дурья твоя башка. Ты чего молчал? А еще студент!

А молодой рабочий снова хлопнул меня по плечу и весело подмигнул:

— Катись с богом!

На улице юнкера бросили ручную гранату. Красногвардейцы, прячась за баррикадой, начали выбегать на бульвар. Дом опустел. Опять с раздражающей настойчивостью загремели пулеметы.

Так я и не узнал, кто был тот молодой командир с маузером, что спас детей и женщин из нашего дома и спас меня. Я не встречал его больше никогда. А я узнал бы его среди десятков и сотен людей.

В ночь на шестой день нашей «никитской осады» мы все, небритые и охрипшие от холода, сидели, как всегда, на ступеньках дворницкой и гадали, когда же окончится затяжной бой. Он как бы топтался на месте.

Еще не было того ожесточения, какое пришло после, во время гражданской войны. Красногвардейцы дрались «на выдержку», уверенные в своей победе, зная, что нервы у юнкеров скоро сдадут.

Новое, Советское правительство в Петрограде взяло власть. Страна пластами отваливалась от Временного пра-

вительства. И это, конечно, было известно московским юнкерам. Их дело было проиграно. Пули, свистевшие вокруг дома у Никитских ворот, были их последними пулями.

Мы сидели и говорили об этом. Поздняя ночь пахла дымом пожарищ. Зарева гасли. Только в стороне Киевского вокзала небо еще затягивал мутный багровый дым.

Потом на севере, со стороны Ходынки, послышался воющий звук снаряда. Он прошел над Москвой, и грохот разрыва раздался в стороне Кремля. Тотчас, как по команде, остановился огонь. Очевидно, и красногвардейцы и юнкера прислушивались и ждали второго взрыва, чтобы понять, куда бьет артиллерия.

И вот он пришел наконец, этот второй воющий и бесстрастный звук. Снова взрыв блеснул в стороне Кремля.

— Неужто по Кремлю? — тихо сказал старый пекарь.

Архитектор вскочил.

— Никогда не поверю! — закричал он.— Не может этого быть! Никто не посмеет поднять руку на Кремль.

— Понятно, никто не посмеет,— тихо согласился пекарь.— Это для острастки. Подождите, послушаем.

Мы сидели, оцепенев. Мы ждали следующих выстрелов. Прошел час, но их не было. Прошло два часа. Все молчало вокруг.

Серый свет начал просачиваться с востока, зябкий свет раннего утра. Было необыкновенно тихо в Москве, так тихо, что мы слышали, как шумит на бульварах пламя газовых факелов.

— Похоже, конец,— вполголоса заметил старый пекарь.— Надо бы пойти поглядеть.

Мы осторожно вышли на Тверской бульвар.

В серой изморози и дыму стояли липы с перебитыми ветками. Вдоль бульвара до самого памятника Пушкину пылали траурные факелы разбитых газовых фонарей. Весь бульвар был густо опутан порванными проводами. Они жалобно звенели, качаясь и задевая о камни мостовой. На трамвайных рельсах лежала, ощерив желтые зубы, убитая лошадь.

Около наших ворот длинным ручейком тянулась по камням замерзшая кровь. Дома, изорванные пулеметным огнем, роняли из окон острые осколки стекла, и вокруг все время слышалось его дребезжание.

Во всю ширину бульвара шли к Никитским воротам измученные молчаливые красногвардейцы. Красные повязки

на их рукавах скатались в жгуты. Почти все курили, и огоньки папирос, вспыхивая во мгле, были похожи на беззвучную ружейную перепалку.

У кино «Унион» к фонарному столбу был привязан на древке белый флаг.

Около флага под стеной дома шеренгой стояли юнкера в измятых фуражках и серых от известки шинелях. Многие из них дремали, опираясь на винтовки.

К юнкерам подошел безоружный человек в кожаной куртке. Позади него остановилось несколько красногвардейцев.

Человек в кожаной куртке поднял руку и что-то негромко сказал юнкерам.

От юнкеров отделился высокий офицер. Он снял шапку и револьвер, бросил все это к ногам человека в кожаной куртке, отдал ему честь, повернулся и медленно, пошатываясь, пошел в сторону Арбатской площади.

После него все юнкера начали по очереди подходить к человеку в кожаной куртке и складывать к его ногам винтовки и патроны. Потом они так же медленно и устало, как и офицер, шли по Никитскому бульвару к Арбату. Некоторые на ходу срывали с себя погоны.

Красногвардейцы молча, с суровыми напряженными лицами, смотрели на юнкеров. Не раздалось ни одного возгласа, ни одного слова.

Все было кончено. С Тверской несся в холодной мгле ликующий кимвальный гром нескольких оркестров:

Никто не даст нам избавленья —
Ни бог, ни царь и не герой.
Добьемся мы освобожденья
Своею собственной рукой.

КАФЕ ЖУРНАЛИСТОВ

Восемнадцатый год пришел в оттепелях, в сером снегу и под таким мглистым небом, что дым из заводских труб доходил до облаков, останавливался и расползался под ними во все стороны тяжелыми клубами.

На московских улицах все так же пахло типографской краской, а на стенах висели сырые обрывки газет и плакатов.

Сверху на все эти бумажные клочья клеили декреты Советского правительства. Они были отпечатаны на рыхлой серой бумаге.

День за днем с неумолимой последовательностью эти резкие беспощадные декреты уничтожали пласты устоявшегося обихода, швыряли их прочь и провозглашали основы новой жизни.

Пока что эту жизнь трудно было себе представить. Смена понятий происходила так неожиданно, что простое наше существование теряло по временам реальность и становилось зыбким, как марево. Холодок подкатывал к сердцу. Слабых духом людей просто мотало, как пьяных.

Моя комната у Никитских ворот была разрушена обстрелами. Я перебрался в Гранатный переулок, в скучный кирпичный флигель, рядом с тем домом, где я родился двадцать пять лет назад. Я поселился у мрачной вдовы. Она сдавала комнаты только курсисткам и студентам.

К моей соседке, веснушчатой курсистке Липочке, дочери сельского учителя, часто приезжали из-под Рязани деревенские ее родственники и знакомые. Они привозили с собой запах мороза, яблок и зипунов.

Я расспрашивал их о деревне. Они осторожно вздыхали и вполголоса говорили, что в деревне не поймешь что. Вроде как пошла большая вода, а чего потом будет — неизвестно. Или разлив покроет землю плодородным слоем, или смоет начисто посевы. Вот так, мол, и деревня,— вся в страхе и радости. Главное, мужик взял землю. Теперь ее не оторвешь у него с руками.

Запах яблок был крепкий, от зипунов исходило ощущение прочности и тепла, и почему-то от этого становилось спокойнее на душе.

Еще в сентябре, когда я вернулся из Копани, я поступил репортером в газету «Власть народа». Это была одна из газет с короткой жизнью. Таких газет народилось тогда довольно много. Потом их быстро прикрыли.

Газету издавала партия народных социалистов, так называемых «энесов». Даже некоторые сотрудники газеты плохо представляли себе расплывчатую программу этой партии. Мы знали только, что во главе газеты стояли подчеркнуто интеллигентные люди, полные либеральных порывов, свершить которые им не дано.

Руководила газетой властная и красивая пожилая «энеска» Екатерина Кускова. Она говорила низким цыганским голосом. На нас, репортеров, она смотрела свысока и неодобрительно, особенно после того, как на дверях ее кабинета появилась надпись химическим карандашом:

Ку-ку, ку-ку, кукушечка!
Напрасно не кукуй!
Мадам Кускова, душечка,
О прошлом не тоскуй.

От меня, как и от других репортеров, редакция «Власти народа» не требовала тенденциозности,— то было дело статейщиков и «передовиков». Я напропалую жил бессонной газетной жизнью среди крупных и малых событий, сенсаций, диспутов, массовых революционных действий на площадях, демонстраций и уличных перестрелок.

Острый воздух революционной зимы кружил голову. Туманная романтика бушевала в наших сердцах. Я не мог и не хотел ей противиться. Вера во всенародное счастье горела непотухающей зарей над всклокоченной жизнью. Оно должно было непременно прийти, это всенародное счастье. Нам наивно казалось, что порукой этому было наше желание стать его устроителями и свидетелями.

В стихах и прозе искали всемирности. Во многих явлениях стремились увидеть перекличку эпох. Далекие отсветы французской революции, восстания декабристов, Парижской коммуны и революции 1905 года падали на современность и делали ее более живописной.

Даже в противоречивых стихах Верхарна (я им в ту пору увлекался) горело старое революционное пламя:

Туда, где над площадью нож гильотины,
Где дико по улицам рыщет набат,
Мечты, обезумев, летят!

Вся тогдашняя путаница и лихорадка мысли была оправдана молодостью и жаждой поскорей увидеть новое. Недавние мои размышления, рожденные беспокойной юностью и, в особенности, войной, потускнели. События как бы отбросили меня на десять лет назад, в пору незрелых детских увлечений. Мне казалось, что я поглупел. Почва уходила из-под ног. Невозможность найти устойчивое отношение к тому, что происходило вокруг, смущала меня и даже временами бесила.

А это происходящее то радовало и восхищало, то казалось неверным, то великим, то подменявшим это величие ненужной жестокостью, то светлым, то туманным и грозным, как небо, покрытое свитками багровых туч.

Одно только было ясно — жизнь расквиталась с прошлым и прорывается к новым устоям. А они должны были быть, конечно, свободными и справедливыми, дожны были поднять человека на небывалую высоту и дать расцвет всем его возможностям. Революция, по моему мнению, должна была дать равное право на существование всему, что внутренне обогащало человека.

Я видел величайшее значение революции в том, что она смело извлекала из множества явлений жизни и культуры все ценное для роста нашего духа. Мне говорили, что это — последствие революции, а не ее цель. Но я думал, что цель существует для последствий. Эту истину отрицать было нельзя.

Из всех «энесов», работавших в редакции, мы, газетная молодежь, подружились только с писателем Михаилом Осоргиным. Он вернулся из эмиграции, был растерян и с трудом разбирался в событиях. Эта растерянность отражалась даже в его глазах, болезненных и светлых.

Со всеми он был снисходителен и ласков, всем и всему верил. В его облике, даже в утомленном голосе, сквозила сдержанная грусть. Он тосковал по Италии, где провел много лет. В России он жил как бы спросонок.

Мы иногда уговаривали его возвратиться в Италию, говорили, что ему нечего здесь делать, что там он, по крайней мере, будет писать свои бесхитростные рассказы. Осоргин виновато отвечал:

— Поймите же, что я русский и до спазмы в сердце люблю Россию. Но я ее сейчас не узнаю. Иногда я думаю,— да полно, Россия ли это? Изменилась даже самая тональность русской речи. Сейчас я рвусь в Италию, но там я буду страшно тосковать по России. Очевидно, я человек конченый.

Особенно терялся Осоргин, когда в редакцию врывался, перекрывая всех своим гремящим и хрипловатым голосом и табачным кашлем, «король репортеров», вездесущий старик Гиляровский.

— Молокососы! — кричал он нам, молодым газетчи-

кам.— «Энесы»! Трухлявые либералы! О русском народе вы знаете не больше, чем эта дура мадам Кускова. «Же не вэ па, же не сэ па, же не манж па кэ ля репа!» От газетного листа должно разить таким жаром, чтоб его трудно было в руках удержать. В газете должны быть такие речи, чтобы у читателя спирало дыхание. А вы что делаете? Мямлите! Вам бы писать романы о малокровных девицах. Я знаю русский народ. Он вам еще покажет, где раки зимуют!

Осоргин виновато улыбался, а Кускова в сердцах захлопывала дверь своего кабинета. Гиляровский подмигивал на дверь и говорил внятным шепотом:

— Можно, конечно, делать политику и за дамским бюро на паучьих ножках. И проливать слезы над собственной статьей о русском мужике. Да от одного мужицкого слова всех вас хватит кондрашка! Тоже народники! Прощайте! Другим разом зайду. Сейчас что-то неохота с вами балакать.

Он уходил, но в редакции еще некоторое время стояла настороженная тишина,— боялись, как бы старик не вернулся.

Мы, газетная молодежь, любили Гиляровского за его шумную талантливость, неистощимую выдумку, за стариковскую его отчаянность. И он нас любил по-своему, посмеиваясь над нами.

Из «Власти народа» он шел обычно в какую-нибудь ближайшую редакцию. Там он, смотря по обстоятельствам, или устраивал очередной разгром, или набирался новостей, или предавался воспоминаниям о Чехове, Куприне, Шаляпине и генерале Скобелеве.

Встречаясь со мной, он говорил, глядя на меня круглыми гневными глазами:

— Пора уже переходить, молодой человек, с петита на корпус, а потом и на жирный шрифт. Петит — это газета, корпус — поэзия, жирный шрифт — проза. Привяжите себя к стулу ремнями и работайте.

Этот сивоусый старик в казацком жупане и смушковой шапке олицетворял русский размах, смекалку, лукавство и доброту. Он был не только журналистом, но и поэтом, прозаиком, ценителем живописи и знаменитым московским хлебосолом. Выдумки, экспромты, розыгрыши и шутки переполняли его. Без этого он наверняка бы зачах.

Громогласный этот человек был настоящим ребенком.

Он, например, любил посылать письма по несуществующим адресам в разные заманчивые страны — в Австралию или республику Коста-Рика. Письма, не найдя адресата, возвращались обратно в Москву со множеством цветных наклеек и штемпелей на разных языках.

Старик тщательно рассматривал эти письма и даже нюхал их, будто они могли пахнуть тропическими плодами. Но письма пахли сургучом и кожей.

Кто знает, может быть, эти письма была горестной подменой его мечты о том, чтобы вот так — балагуря, похлопывая по плечу кучеров фиакров в Париже и негритянских королей на берегах Замбези и угощая их нюхательным табачком — совершить поездку вокруг света и набраться таких впечатлений, что от них, конечно, ахнет и окосеет старушка Москва.

Революцию старик Гиляровский встретил как крупнейшую газетную сенсацию и разворот русского бунтарского духа. Он искал ее истоки в разинщине, пугачевщине, в крестьянских бунтах и «красных петухах». «Сарынь на кичку, ядреный лапоть», «Размахнись рука, раззудись плечо!»

Он досконально знал жизнь города, особенно ту потаенную, что старалась быть подальше от глаз Советской власти: цыганские дома в Покровском-Стрешневе, сектантские молельни у Рогожской заставы, игорные притоны на Брестских улицах, завывающие сборища эстетов в доме Перцова у храма Христа Спасителя. Там верховодил некий картавый поэт с длинной детской челкой. Он носил смокинг и монокль и был так хрупок, что с ним было опасно здороваться за руку,— всегда казалось, что его нежная прозрачная ладонь останется в вашей руке, как реликвия.

Время еще не отстоялось. В нем соседствовало много несовместимых и неожиданных людей. Сейчас они были заметнее, чем раньше. Революция вытряхнула их из углов и сильно взболтала, как взбалтывают бочку с застоявшейся водой. Тогда внезапно со дна взлетают песок, листики, отломанные ветки, жуки и личинки. И все это вертится и носится в водовороте, пересекаясь и сталкиваясь, пока не осядет на дно.

В то молодое революционное время много интересных людей собиралось в кафе журналистов на Столешниковом переулке. Под это кафе журналисты сняли в складчину

пустующую квартиру на третьем этаже. Там ночи напролет длилось за крошечными столиками дымное и веселое собрание.

В этом кафе можно было встретить Андрея Белого и меньшевика Мартова, Брюсова и Бальмонта, слепого вождя московских анархистов Черного и писателя Шмелева, артистку Роксанову — первую чеховскую «чайку», Максимилиана Волошина, Потапенко, поэта Агнивцева и многих журналистов и литераторов всех возрастов, взглядов и характеров.

Добродушный Агнивцев пел свои немудрые песенки. Огромный желтый галстук был завязан бантом на длинной шее Агнивцева, а его широченные клетчатые брюки были всегда прожжены папиросами.

В эмалированных кружках дымился горький, как хина, кофе. Его горечь не мог перебить даже сахарин. То тут, то там вспыхивали бешеные споры, а изредка в их шум врезался оглушительный треск пощечины.

Чаще всего получал пощечины благообразный и ядовитый журналист с крашеной бородой. Он шипел, как змея, и обливал все и всех без исключения бешеным ядом.

Эти пощечины были опасны в пожарном отношении, так как журналист с крашеной бородой никогда не выпимал изо рта раскаленную трубку. При каждой пощечине трубка вылетала у него изо рта, проносилась, вертясь, как фейерверк, над головами посетителей и роняла куски горящего табака. Тотчас запах паленой шерсти распространялся вокруг. Все торопливо тушили прогорающие пиджаки, брюки и скатерти. Журналист с крашеной бородой невозмутимо подбирал трубку, набивал ее, раскуривал и уходил, сообщая во всеуслышание, что он передает этот возмутительный случай на рассмотрение товарищеского суда.

— К дьяволу! — кричали посетители кафе.— Хоть в революционный трибунал! Вон! Надоело! Провокатор!

Однажды в кафе зашел поэт Максимилиан Волошин — рыжебородый, плотно сколоченный и близорукий человек. Он пригласил всех нас на свой доклад о поэзии в театр в саду Эрмитажа.

Пошло всего несколько человек. Остальные не могли оторваться от бурных политических схваток за шаткими столиками.

Я тоже пошел в Эрмитаж. Кончался март. В саду было темно, тихо. Деревья роняли оттаявший снег.

Я услышал запах перепрелой листвы, похожий на слабое дыхание вина, запах растительной горечи и оттаявших прошлогодних цветов. Он как бы просачивался сквозь влажную землю, заброшенную, бесприютную, давно не знавшую лопаты.

Человек в то время забыл о природе. Слова гремели над страной, настойчиво призывая к борьбе, негодуя, радуясь, обличая, угрожая врагам. Вокруг этих слов, как вокруг магнитного поля, стягивались миллионы. Их призывали одновременно разрушать и созидать.

Было время внезапных решений и взбаламученности.

Было не до природы. Но все так же смутно шумели покинутые леса, и лед на реках синел и наливался водой. Все тот же сумрачный мохнатый иней покрывал пасмурным утром липы на московских бульварах. Все так же покорно гасли закаты, и звезды боязливо мерцали по ночам, как бы понимая, что людям — даже астрономам и поэтам — сейчас совсем не до них.

Каждый был захвачен и оглушен бурей, шумевшей в его сознании. На природу человек не взглядывал. А если и смотрел иногда, то остановившимися глазами, ничего не видя.

Иные радости и страсти завладели людьми. Даже любовь, простая, как воздух, и безусловная, как солнечный свет, порой уступала место потоку событий и ощущалась как сентиментальная болезнь.

Верность долгу требовала отказа от неуместных, а порой и опасных сердечных порывов. Эти порывы были отодвинуты в отдаленное будущее. Исполинские потрясения брали все силы. Ни одного грамма их нельзя было терять напрасно. Напрасно? Жертва любовью была, конечно, непомерной и героической, особенно если человек сознавал, чем он жертвует.

На чем бы ни останавливалась мысль в то время — на любви, поэзии, смысле происходящего,— я ловил себя на неясности оценок. Я стремился скорей добиться этой ясности. Иначе мне, как и каждому, трудно было жить. Но вскоре я понял, что, очевидно, еще не пришло мое вре-

мя. Слишком еще хаотична была жизнь, и надо было выждать, пока наконец из этого хаоса возникнут черты нового строя.

Доклад Волошина внес еще большее смятение.

Театр был почти пуст. От промозглого холода сводило руки. Несколько пыльных электрических лампочек то гасло, то тускло разгоралось под потолком. В зале висел коричневый туман.

Волошин говорил как бы для себя, забыв о слушателях. Он говорил о войне, о железном времени, завладевшем миром, и спрашивал глухим трагическим голосом, вглядываясь в глубину пустого зала,— да полно, нужны ли этому тяжкому веку поэты и художники?

В Англии повесили лучших ирландских поэтов. Во Франции в первые же дни войны погибло триста поэтов. Один французский генерал, считавший себя любителем и знатоком поэзии, сказал:

— Пускайте этих восторженных юношей в атаку в первых рядах. Пусть они зажигают и ведут за собою солдат.

Верхарн вопреки смыслу всей своей жизни был вынужден ненавидеть. Жюль Леметр, потрясенный нелепостями войны, заболел и разучился читать. Он не различал смысла знаков и начал наново учиться читать по складам.

Страшный список злодеяний войны против искусства все возрастал. Голос Волошина становился все глуше.

Пусть так. Но в чем же выход?

Об этом Волошин не сказал ни слова.

Среди завсегдатаев кафе встречалось много удивительных людей. Каждый из них был скроен на свой лад, а все вместе они составляли насмешливое и беспощадное племя газетчиков.

Несколько особняком держался только молодой писатель, волгарь из города Вольска, Александр Яковлев.

Яковлев был знатоком крестьянской жизни и писал о ней превосходные очерки. Все относились к этому застенчивому и молчаливому человеку со сдержанным уважением. Оно вызывалось не только его умением писать превосходные очерки, но и редкой способностью Яковлева во время тогдашнего полного развала на железных дорогах пробираться в самые глухие углы России и возвращаться оттуда невредимым. Для этого нужны были выносливость

и смелость. Почти каждая поездка была связана со смертельным риском.

Армия демобилизованных валила по железным дорогам, круша все на своем бесшабашном пути. В поездах было разбито и ободрано все, что только можно разбить и ободрать. Даже из крыш выламывали заржавленные железные листы. На Сухаревке шел оживленный торг вагонными умывальниками, зеркалами и кусками красного потертого плюша, вырезанными из вагонных диванов.

Множество бандитов, переодетых солдатами, подбивало демобилизованных на бесчинства. На станциях били окна, разбирали на дрова для паровозов заборы, а иногда и целые дома железнодорожников. О ближайших к полотну кладбищах нечего и говорить,— в первую очередь в паровозные топки летели кресты с могил. Заржавленные кладбищенские венки из жестяных лилий и роз солдаты прикручивали проволокой в виде украшения к вагонам. В этих розах уныло посвистывал поездной ветер.

Станционные служащие разбегались гораздо раньше, чем на входные стрелки с разбойничьим свистом, ревом гармоник и граммофонов и пулеметной пальбой втягивались, прогибая рельсы, эшелоны с демобилизованными. Малейшая задержка эшелона кончалась жестокой расправой над дежурным по станции. Многоголосый вопль: «Крути, Гаврила!» — заставлял бледнеть машинистов.

Всех штатских, «цивильных», «гражданских» и «стрюцких» людей, если они каким-нибудь чудом проникали в эшелон, обыкновенно выбрасывали в пути под откос.

Яковлева выбрасывали три раза, но он уцелел.

Самое удивительное заключалось в том, что Яковлев возвращался из этих смертоносных путешествий посвежевший, возбужденный, навидавшись и наслушавшись необыкновенных вещей, и говорил, что все можно отдать за этот бесценный материал для писателя.

Яковлев пробирался в самые замшелые, наглухо отрезанные от Москвы городки, вроде какого-нибудь Хвалынска, Сарапуля или Сердобска, в те места, что стали почти мифическими. Не верилось даже, что они существуют.

Россия как бы вновь распалась на мелкие удельные земли, отрезанные друг от друга бездорожьем, прерванной почтовой и телеграфной связью, лесами, болотами, разобранными мостами и внезапно удлинившимся пространством.

В этих глухих углах провозглашались доморощенные республики, печатались в уездных типографиях свои деньги (чаще всего вместо денег ходили почтовые марки).

Все это перепуталось с остатками прошлого — с бальзамином на окошках, колокольным перезвоном, молебнами и свадьбами под хмельной салют из обрезов, с равнинами тощих хлебов, ядовито желтевших сурепкой, и с разговорами о кончине мира, когда от России останется только «черная ночь да три столба дыма».

Обо всем этом Яковлев рассказывал со вкусом, неторопливо, с повадкой шорника, умело прошивающего чересседельник цветной суровой дратвой.

С тех пор мы изредка встречались с Яковлевым в разные годы. Он всегда поражал меня необыкновенной незлобивостью и беззаветной любовью к простонародной России. Недаром, умирая, он завещал похоронить себя не в Москве, а над Волгой в своем родном Вольске.

Изредка появлялся в кафе человек в шляпе с отвисшими полями. Кажется, он был некоторое время сотрудником не то тульской, не то орловской газеты.

У этого человека было забавное происшествие с Пришвиным. О нем Пришвин любил рассказывать как о случае, вполне фантастическом.

Пришвин переезжал из Ельца в Москву. В то время на узловых станциях свирепствовали заградительные отряды балтийских матросов.

Все вещи, рукописи и книги Пришвин зашил в тюки и втащил их в вагон. На какой-то узловой станции около Орла матросы из заградительного отряда отобрали у Пришвина, несмотря на уговоры и просьбы, эти тюки.

Пришвин бросился на вокзал к начальнику отряда. То был скуластый матрос с маузером на боку и оловянной серьгой в ухе. Он ел деревянной ложкой, как кашу, соленую камсу и не пожелал разговаривать с Пришвиным.

— Кончено, интеллигент! — сказал он.— А будешь вякать, так арестую за саботаж. И еще неизвестно, по какой статье тебя возьмет за грудки революционный трибунал. Так что ты, приятель, топай отсюда, пока цел.

Вслед за Пришвиным вошел к начальнику человек в шляпе с отвисшими полями. Он остановился в дверях и сказал тихо, но внятно:

— Немедленно верните этому гражданину вещи.

— А это что еще за шпендик в шляпе? — спросил матрос.— Кто ты есть, что можешь мне приказывать?

— Я Магалиф,— так же тихо и внятно ответил человел, не спуская с матроса глаз.

Матрос поперхнулся камсой и встал.

— Извиняюсь,— сказал он вкрадчивым голосом.— Мои братишки, видать, напутали. Запарились. Лобов! — закричал он громоподобно.— Вернуть вещи этому гражданину! Сам уполномоченный Магалифа приказал. Понятно? Снести обратно в вагон. Живо! Хватаете у всех подряд, брашпиль вам в рот!

На платформе Пришвин начал благодарить невзрачного человека, но тот в ответ только посоветовал Пришвину написать на всех тюках химическим карандашом слово «фольклор».

— Русский человек,— объяснил он,— с уважением относится к непонятным, особенно к иностранным словам. После этого никто ваши вещи не тронет. Я за это ручаюсь.

— Извините мое невежество,— спросил Пришвин,— но что это за мощное учреждение — вот этот самый Магалиф,— которое вы собой представляете? Почему одно упоминание о нем так ошеломляюще действует на заградительные отряды?

Человек виновато улыбнулся.

— Это не учреждение,— ответил он.— Это моя фамилия. Она иногда помогает.

Пришвин расхохотался.

Он послушался Магалифа и написал на тюках загадочное слово «фольклор». С тех пор ни один заградительный отряд не решился тронуть эти тюки.

Тогда впервые начали входить в силу нелепые сокращения названий. Через несколько лет их количество приобрело уже характер катастрофы и грозило превратить русскую речь в подобие косноязычного международного языка «волапюк».

Каждый вечер в кафе входил, протирая запотевшие выпуклые очки и натыкаясь сослепу на столики, известный московский книголюб журналист Щелкунов. Он притаскивал с собой тяжеленные пачки пыльных книг, связанные обрывками телефонного провода.

Щелкунов снимал старомодное пальто с вытертым бархатным воротником, осторожно вешал его на гвоздь, и тотчас кафе наполнялось отчаянным кошачьим писком.

Щелкунов подбирал на улицах брошенных котят, рассовывал их по карманам пальто, ходил с ними по городу и только поздним вечером притаскивал голодных котят домой и сдавал с рук на руки своей жене.

Щелкунов был похож на земского доктора. Всегда мокрая его бородка была всклокочена, а пиджак висел мешком под тяжестью карманов, набитых книгами и рукописями.

Тогда еще не было автоматических ручек, и Щелкунов носил в кармане чернильницу «Ванька-встанька» и несколько гусиных перьев. Карандашом он писать не мог, и, кажется, один только я понимал его и не посмеивался над этим его свойством и над гусиными перьями. Все написанное карандашом всегда казалось мне небрежным и недоделанным. Я считал, что четкая мысль требует четкого написания. Если бы можно, то я писал бы только китайской тушью на плотной бумаге.

Щелкунов садился за столик, тщательно очинял гусиное перо лезвием бритвы и начинал, посапывая, писать заметки почерком, похожим на допетровскую вязь.

Писал он о ценных книгах, находках знаменитых картин, выставках, библиографических новостях и о всяческих раритетах.

С раннего утра он выходил на добычу за книгами и новостями, и его можно было встретить в самых неожиданных местах Москвы.

В его памятной книжке было записано множество адресов божьих старушек, бывших приказчиков книжных магазинов, переплетчиков, скупщиков краденого и книгонош. Это были поставщики книг. Жили они преимущественно на окраинах — в Измайлове, Черкизове, Котлах, за Пресней. И Щелкунов объезжал их, где можно, на трамвае, но большей частью обходил пешком.

У него было какое-то шестое чувство книги. Он долго и осторожно петлял по следу за редкой книгой, как охотничья собака за дичью. Он был не единственным книголюбом в Москве. Зная его свойство безошибочно отыскивать редкости, остальные книголюбы и букинисты зорко следили за ним и не раз пытались перехватить его добычу.

Поэтому Щелкунову приходилось постоянно путать следы и сбивать с толку преследователей. Это азартное занятие выработало у него черты конспиратора.

Может быть, поэтому он и говорил обо всем придушенным шепотом, подозрительно поблескивая узкими татарскими глазами.

— Похоже,— вполголоса говорил он за столиком, заставляя собеседника вплотную придвинуться к себе,— что на днях я найду тайник, где спрятана библиотека Ивана Грозного. Только, избави бог, чтобы не узнал Луначарский. Онемейте!

Если кто-нибудь приносил Щелкунову для оценки редкую книгу, он перелистывал ее, даже как будто принюхивался к ней, потом криво усмехался и говорил:

— Широко известное издание. Можете купить в любой день на развале под Китайгородской стеной. Вы просто обмишурились. Мне вас жаль. Но, в общем, могу обменять эту книжицу на первое издание «Пестрых рассказов» Чехонте. Хотите? Как так не хотите?! Через год пожалеете. Ну, ладно! Даю тогда итальянское издание Марко Поло. Завтра получите.

При этом Щелкунов, не дожидаясь согласия наивного владельца, прятал редкую книжицу в пухлый портфель, защелкивал замок и озирался, норовя поскорее удрать. На моей памяти не было случая, чтобы какому-нибудь простаку удалось вырвать обратно книгу, потонувшую в портфеле Щелкунова.

Не помогали даже скандалы. При первых же признаках скандала Щелкунов молча одевался и, тяжело ступая, нагнув голову, как бык, уходил из кафе. Никакая сила не могла остановить его. При этом он упорно молчал, тяжело сопел и был глух даже к самым страшным оскорблениям.

Однажды Щелкунов предложил мне пойти вместе с ним в ночлежный дом у Виндавского вокзала. Там жил опустившийся тульский поэт-самоучка. Щелкунов надеялся выудить у него ценные книги и рукописи.

Мы поехали к Виндавскому вокзалу на трамвае, но сошли из предосторожности за одну остановку до ночлежного дома. По каким-то своим признакам Щелкунов подозревал, что вековечные его враги — торговцы книгами — именно сегодня подкараулят его и перехватят тульского поэта.

Вдруг Щелкунов схватил меня за руку и потащил к афишному столбу. Мы спрятались за столбом, и Щелкунов, задыхаясь, сказал:

— Стоит, маклак! Вон, видите, на тротуаре против ночлежки. Старик в рваной панаме, с козлиной бородой. Я взял вас, чтоб вы мне помогли.

— Чем же я могу помочь?

— Я зайду в аптеку, оттуда из окна хорошо видно ночлежку. А вы уведите его. Я пережду в аптеке. Если он заметит, что я вошел в ночлежку, тогда мне каюк! Я искал этого чертова поэта два месяца.

— Да как же я его уведу?

— Прикиньтесь сыщиком. Он не выдержит. У него рыльце в пуху. Я сам покупал у него книги, украденные из Исторического музея.

Щелкунов не дал мне опомниться и скрылся в аптеке. Ничего не оставалось, как разыграть из себя сыщика. Но как?

Я надвинул на глаза кепку, засунул руки в карманы и расхлябанной походкой подошел к ночлежному дому. Не доходя нескольких шагов до старика в панаме, я остановился, прислонился к забору и начал с неестественным вниманием рассматривать ночлежку — старый четырехэтажный дом с трещиной в стене от крыши до самого подвала. На дверях ночлежки было прибито объявление, написанное вперемежку синим и красным карандашом:

«Предупреждение входящим: по всем этажам тихий ход!»

Старик в панаме покосился на меня. Я стоял с равнодушным и, как мне казалось, даже несколько наглым лицом, потом внимательно, якобы стараясь скрыть это от старика, начал смотреть на свою слегка согнутую ладонь, как будто в ладони у меня была зажата фотография.

Старик быстро отвернулся, потоптался и начал боком отходить. Но в это время он сделал непростительную ошибку — вынул портсигар и закурил.

Я пошел вслед за стариком, глядя ему в спину. По страшному напряжению в этой худосочной спине я понял, что старик изо всех сил сдерживается, чтобы не броситься бежать. Я догнал старика и вежливо окликнул его:

— Позвольте прикурить, гражданин.

И тут произошло нечто непонятное, испугавшее меня самого. Старик в панаме вскрикнул, сделал огромный прыжок в сторону, быстро побежал, как краб, на согнутых ногах и бесследно исчез в соседней подворотне.

Щелкунов довольно потирал пухлые руки.

Ему удалось купить у тульского поэта письмо Льва Толстого и опередить профессионалов-книголюбов. Я же был зол на Щелкунова, на всю эту глупейшую историю и поклялся больше со Щелкуновым не связываться.

Я думал, что Щелкунов, как большинство собирателей книг, сам не успевает читать их, что книги его интересуют только как коллекционера, вне зависимости от их содержания, но вскоре оказалось, что это не так.

Щелкунов прочел в кафе журналистов доклад по истории книги. Этот доклад можно было бы назвать поэмой о книге, восторженным славословием в ее честь.

Книга была, по его словам, единственной хранительницей человеческой мысли и передатчицей ее из века в век, из поколения в поколение. Она проносила мысль сквозь все времена в первозданной ее чистоте и многообразии оттенков, как бы только что рожденную.

Книга, созданная руками человека, стала такой же категорией вечности, как пространство и время. Смертный человек создал бессмертную ценность. Но за сутолокой жизни мы об этом всегда забываем.

Мы вникаем в каденцию медлительных стихов Гомера, и перед нами происходит чудо — тысячелетний окаменелый гомеровский посох распускается цветами живой поэзии.

Первое наше прикосновение к мысли, дошедшей до нас из немыслимой дали, бывает всегда свежим и лишенным одряхления. Мы, люди двадцатого века, воспринимаем ее с такой же новизной и непосредственностью, как воспринимали наши пращуры.

Века ушли в непроницаемый туман. Только человеческая мысль резко сверкает в нем подобно голубой звезде Веге, как бы вобравшей в себя весь свет мирового пространства. Никакие «черные угольные мешки» вселенной не смогут затмить свет этой чистейшей звезды. Точно так же никакие провалы истории и глухие пространства времен не в состоянии уничтожить человеческую мысль, закрепленную в сотнях, тысячах и миллионах рукописей и книг.

Щелкунов был уверен, что на земле, особенно в древних библейских странах, есть еще не найденные манускрипты. Находка их обогатит человечество неведомыми философскими системами и перлами поэзии. Нашли же недавно в горах Синая древний город, построенный Птоломеями. Он был сокрыт в жарких пустынных ущельях. Каждое здание этого мертвого города — шедевр архитектуры. А если находят старые города, то, возможно, найдут и старые свитки и книги.

После доклада Щелкунова, после того, как я узнал о неведомых аравийских городах, у меня началось увлечение Востоком. Я принялся изучать восточную поэзию. Щелкунов охотно доставал мне книги Саади, Омара Хайяма и Гафиза.

Со стороны могло показаться удивительным, что во времена революции, ломки всех привычных понятий и навыков, иные люди, попутно со своей жизнью в революции, увлекались и Востоком, и поэзией, и множеством других вещей. Но, по существу, ничего удивительного в этом не было. Пытливость человеческого разума оказалась более емкой, чем можно было ожидать.

Ощущение суровой свежести, свойственное первым революционным годам, было настолько сильным и волнующим, что накладывало отпечаток на все человеческие мысли. Идея о том, что человек нашего времени, детище революции, должен обладать не только высокими качествами, которыми в прежнее время были наделены только отдельные выдающиеся люди, но и духовными богатствами всех предыдущих эпох и всех стран, казалась мне бесспорной. И я во всем искал этого внутреннего обогащения, в том числе и в восточной поэзии.

Укрепил меня в моем увлечении Востоком журналист Розовский. Это был пожилой ленивый человек с волнистой русой бородой. Всю зиму он ходил в длинной до пят, некогда роскошной, а теперь облезлой архиерейской шубе и вообще был похож, несмотря на свое еврейское происхождение, на православного священника.

Все свободное время Розовский валялся в своей комнате на продавленной тахте, покрытой текинским ковром, и читал книги о Востоке.

Он был хорошим знатоком ислама, особенно разных ма-

гометанских сект. Из всех сект он выделял революционную, по его словам, персидскую секту вождя Эль-Баба, так называемых «бабидов». Он считал, что эта секта разрушит ислам и вызовет духовное возрождение сонных стран Малой Азии.

До революции Розовский ездил в Турцию и Персию, чтобы изучить Восток на месте. Был он человеком вольным, одиноким, и ездить ему было легко.

Почти год он прожил в Малой Азии, в патриархальном турецком городе Бруссе. Он много рассказывал о Турции. Рассказывал по-своему, совсем не так, как это принято делать.

Он никогда не начинал с главного, а всегда с частностей, даже с мелочей. Но постепенно все эти подробности слагались в увлекательный рассказ. Его можно было бы записать и тут же печатать.

Но по своей чудовищной лени Розовский никогда ничего не записывал. Как только он садился к столу, ему делалось смертельно скучно, и он, бросив перо, уходил в редакцию или в кафе журналистов искать себе собеседников.

Я помню рассказы Розовского о старом деревянном доме, где он жил в Бруссе. Он начал этот рассказ не с описания дома, а с целого исследования о запахе деревянных турецких домов.

Дома эти, как утверждал Розовский, пахли теплой древесной трухой и медом. Особенно в жаркие и тихие дни, когда нельзя было притронуться к перилам террасы, чтобы не обжечь ладони.

В запахе древесной трухи всегда чувствуется привкус сухих роз. А медом дома эти пахли оттого, что вокруг в масличных садах с кустами дичающих роз водилось много пчел и они строили соты на чердаках домов, и потому-то дома так сладко пахли медом.

Впервые этот приторный запах высохших роз и меда Розовский услышал в Константинополе, когда ему показали осыпанный грубо отшлифованными драгоценными камнями ларец, где хранилось зеленое знамя Пророка. Оно было завернуто в истлевшие шелковые ткани и пересыпано лепестками роз.

Розовский открыл мне смысл многих неясных арабских образов и восточных стихов Бунина. С тех пор мне всегда кажется, что ислам — это религия дремоты, терпе-

ния и лени, особенно когда вспоминаешь стихи Бунина, навеянные чтением Корана:

И в знойный час, когда мираж зеркальный
Сольет весь мир в один великий сон,
В безбрежный блеск, за грань земли печальной,
В сады Джиннат уносит душу он.

А там течет, там льется за туманом
Река всех рек, лазурная Ковсерь,
И всей земли, всем племенам и странам
Сулит покой. Терпи, молись — и верь.

Я как-то сказал Розовскому о пассивности и лени ислама. Он обозвал эту мысль чепухой. Наоборот, говорил он, ислам — это самая воинственная и фанатическая религия. Стоит объявить священную войну, стоит поднять зеленый стяг Пророка, чтобы ислам обрушился на мир, как черный стремительный самум. И я наглядно представлял себе этот самум, эту мчащуюся низкую мглу, откуда доносится вой всадников, и в руках у них, как сотни маленьких молний, сверкают обнаженные ятаганы.

Я не могу, конечно, рассказать обо всех посетителях кафе журналистов, хотя они и заслуживают этого.

Но нельзя не упомянуть еще об одном осколке старой Москвы, председателе «Общества любителей канареечного пения» репортере Савельеве.

Этот вечно хихикавший старик был главным поставщиком политических сплетен и небылиц. Он не пострадал из-за этого исключительно потому, что был гугнив и говорил неясной скороговоркой. Лишь при очень большом напряжении можно было догадаться, о чем он рассказывает.

Все карманы его неряшливой куртки были набиты липкими леденцами. Он настойчиво угощал ими всех курящих. Он просто заставлял их сосать эти леденцы, облепленные мусором из грязных карманов. Поэтому как только Савельев входил в редакцию, все судорожно гасили папиросы.

Савельева прозвали «мортусом» за то, что единственной его обязанностью в газете было писание некрологов.

Все они начинались одними и теми же словами: «Смерть вырвала из наших рядов» или «Наша общественность понесла тяжелую утрату».

Некрологи эти так всем надоели, что однажды выпускающий решил слегка оживить очередной некролог, а кста-

ти и подшутить над Савельевым и перед словами: «Смерть вырвала из наших рядов», вписал только одно слово: «Наконец-то».

На следующий день в редакции разразился громовой скандал. Выпускающего уволили. У всех было отвратительно на душе, хотя некролог и относился к какому-то неприятному педагогу. Савельев весь день сморкался в редакции у себя за столом.

— Я сотни людей проводил на тот свет,— бормотал он,— но я ни разу не погрешил против их памяти. Я им не судья. А о подлецах я не написал ни одной строчки.

Выплакавшись, Савельев пошел к главному редактору и, заикаясь, сказал ему, что в газете, где возможны такие позорные случаи, он работать не будет. Никакие уговоры не помогли. Савельев ушел из редакции, и тогда только все сотрудники вдруг почувствовали, что им не хватает и скороговорки Савельева, и его хихиканья, и даже леденцов, облепленных мусором и ватой.

Вскоре Савельев умер. Некролог о нем ничем не отличался от всех нудных и равнодушных некрологов: «Смерть вырвала из наших рядов скромного труженика газетного дела». И так далее и тому подобное.

Савельев был одинок. После него в душной комнате остался только старый попугай. Он висел вниз головой на жердочке, хихикал, как и его хозяин, и кричал дурным голосом: «Попка, хочешь липучку?»

Попугая забрал к себе дворник, и все счеты Савельева с жизнью были окончены.

Позднее всех в кафе журналистов врывался вежливый и шумный человек — «король сенсаций» Олег Леонидов. Приходил он позже всех нарочно, как раз в то время, когда сырые от типографской краски газетные листы уже вылетали из печатных машин.

В это время можно было спокойно рассказывать сотрудникам конкурирующих газет обо всех сенсациях, выловленных Леонидовым за день, не боясь, что они успеют втиснуть эти сенсации в свои газеты. Сотрудники белели от зависти, но поделать ничего не могли.

Слежка за Леонидовым ни к чему не приводила. Он был неуловим. Никто не знал, как и когда он проникает в недра новых советских учреждений и ласково, со снисхо-

дительной улыбкой, добывает там ошеломляющие новости.

Обмануть Леонидова и разыграть его было немыслимо. По части розыгрыша он сам считался непревзойденным мастером.

Один только раз, еще во время войны, неосторожный киевский журналист обманул Леонидова и подсунул ему фальшивую сенсацию. Леонидов чуть не вылетел за это из газеты, но так отомстил киевскому журналисту, что с тех пор никто не решался не только разыгрывать Леонидова, но даже шутить с ним.

Внешне месть Леонидова выглядела очень просто. Он послал киевскому журналисту телеграмму: «Харькове Архангельске Минске индюку давайте исключительно овес толокно».

Время было военное. Телеграмма попала в военную цензуру и была признана шифрованной. Журналиста арестовали. Запахло шпионажем.

Неизвестно, сколько времени журналисту пришлось бы просидеть в тюрьме, если бы следователю не пришло случайно в голову прочесть первые буквы всех слов в телеграмме. Они складывались в бранные слова. Журналист был освобожден и отделался только испугом, а Олег Леонидов спокойно ходил по Москве в ореоле остроумного мстителя.

Кафе журналистов закрылось из-за недостатка средств в конце лета 1918 года. О нем искренне жалели не только журналисты из самых разных газет, но и писатели и художники — жалели все, для кого эта квартира с низкими потолками, оклеенная нелепыми розовыми обоями, была свободным и притягательным клубом.

Особенно хорошо в кафе бывало в сумерки. За открытыми окнами позади пожарной каланчи и пьедестала от снятого памятника Скобелеву угасал в позолоченной пыли теплый закат. Шум города, вернее, говор города (в то время было еще очень мало машин и редко ходили трамваи) затихал, и только издалека доносились крылатые звуки «Варшавянки».

В эти часы все чаще ныло сердце при мысли, что там, за Брестским вокзалом, за Ходынкой, куда медленно ушел закат, роса уже ложится на березовые рощи и журчит,

обмывая коряги, вода в прозрачной подмосковной реке. От реки тянет прохладой, тиной, гнилыми сваями. На брошенных дачах темно, и зацветают в одиночестве давно посаженные пионы. Роса стекает с мезонина на крышу заколоченной терраски, и, кроме равномерного звона капель, ничего больше не слышно в густеющем сумраке вечера.

Оставленные на время в покое парки, поля и леса стояли рядом с растревоженной Москвой и прислушивались сквозь сон к ее напряженному гулу.

ЗАЛ С ФОНТАНОМ

Правительство переехало из Петрограда в Москву.

Вскоре после этого редакция «Власти народа» послала меня в Лефортовские казармы. Там среди демобилизованных солдат должен был выступать Ленин.

Был слякотный вечер. Огромный казарменный зал тонул в дыму махорки. В заросшие пылью окна щелкал дождь. Пахло кислятиной, мокрыми шинелями и карболкой. Солдаты с винтовками, в грязных обмотках и разбухших бутсах сидели прямо на мокром полу.

Большей частью это были солдаты-фронтовики, застрявшие в Москве после Брестского мира. Им все было не по душе. Они никому и ничему не верили. То они шумели и требовали, чтобы их немедленно отправили на родину, то наотрез отказывались уезжать из Москвы и кричали, что их обманывают и под видом отправки на родину хотят снова погнать против немцев. Какие-то пронырливые люди и дезертиры мутили солдат. Известно, что простой русский человек, если его задергать и запутать, внезапно разъяряется и начинает бунтовать. В конечном счете от этих солдатских бунтов чаще всего страдают каптеры и кашевары.

В то время по Москве шел упорный слух, что солдаты в Лефортове могут со дня на день взбунтоваться.

Я с трудом втиснулся в казарму и остановился позади. Солдаты недоброжелательно и в упор рассматривали штатского чужака.

Я попросил дать мне пройти поближе к фанерной трибуне. Но никто даже не шевельнулся. Настаивать было опасно. То тут, то там солдаты, как бы играя, пощелкивали затворами винтовок.

Один из солдат протяжно зевнул.

— Тягомотина! — сказал он и поскреб под папахой затылок.— Опять мудровать-уговаривать будут. Сыты мы этими ихними уговорами по самую глотку.

— А что тебе требуется! Махра есть, кое-какой приварок дают — и ладно!

— Поживи в Москве, погуляй с девицами,— добавил со смешком тощий бородатый солдат.— Схватишь «сифон», будет у тебя пожизненная память о первопрестольной. Заместо Георгиевской медали.

— Чего они тянут! — закричали сзади и загремели прикладами по полу.— Давай разговаривай! Раз собрали окопное общество, так вали, не задерживай!

— Сейчас заговорит.

— Кто?

— Вроде Ленин.

— Ле-енин! Буде врать-то! Не видал он твоей ряшки.

— Ему не с кем словом перекинуться, как только с тобой, полковая затычка.

— Ей-бо, он!

— Знаем, что он скажет.

— Разведут всенощное бдение.

— Животы от лозунгов уже подвело. Хватит!

— Слышь, братва, на отправку не поддавайся!

— Сами себя отправим. Шабаш!

Вдруг солдаты зашумели, задвигались и начали вставать. Махорочный дым закачался волнами. И я услышал, ничего не различая в полумраке и слоистом дыму, слегка картавый, необыкновенно спокойный и высокий голос:

— Дайте пройти, товарищи.

Задние начали напирать на передних, чтобы лучше видеть. Им пригрозили винтовками. Поднялась ругань, грозившая перейти в перестрелку.

— Товарищи! — сказал Ленин.

Шум срезало, будто ножом. Был слышен только свистящий хрип в бронхах настороженных людей.

Ленин заговорил. Я плохо слышал. Я был крепко зажат толпой. Чей-то приклад впился мне в бок. Солдат, стоявший позади, положил мне тяжелую руку на плечо и по временам стискивал его, судорожно сжимая пальцы.

Прилипшие к губам цигарки догорали. Дым от них подымался синими струйками прямо к потолку. Никто не затягивался,— о цигарках забыли.

Дождь шумел за стенами, но сквозь его шум я начал понемногу различать спокойные и простые слова. Ленин ни к чему не призывал. Он просто объяснял обозленным, но простодушным людям то, о чем они глухо тосковали и, может быть, уже не раз слышали. Но, должно быть, слышали не те слова, какие им были нужны.

Он неторопливо говорил о значении Брестского мира, предательстве левых эсеров, о союзе рабочих с крестьянами и о хлебе; что надо не митинговать и шуметь по Москве, дожидаясь неизвестно чего, а поскорее обрабатывать свою землю и верить правительству и партии.

Долетали только отдельные слова. Но я догадывался, о чем говорит Ленин, по дыханию толпы, по тому, как сдвигались на затылок папахи, по полуоткрытым ртам солдат и неожиданным, совсем не мужским, а больше похожим на бабьи, протяжным вздохам.

Тяжелая рука лежала теперь на моем плече спокойно, как бы отдыхая. В ее тяжести я чувствовал подобие дружеской ласки. Вот такой рукой этот солдат будет трепать стриженые головы своих ребят, когда вернется в деревню. И вздыхать — вот, мол, дождались земли. Теперь только паши да скороди, да расти этих чертенят для соответственной жизни.

Мне захотелось посмотреть на солдата. Я оглянулся. Это оказался заросший светлой щетиной ополченец с широким и очень бледным, без единой кровинки, лицом. Он растерянно улыбнулся мне и сказал:

— Председатель!

— Что председатель? — спросил я, не понимая.

— Сам Председатель Народных Комиссаров. Обещается насчет мира и земли. Слыхал?

— Слыхал.

— Вот то-то! Руки по земле млеют. И от семейства я начисто отбился.

— Тише вы, разгуделись! — прикрикнул на нас сосед — маленький тщедушный солдат в фуражке, сползавшей ему на глаза.

— Ладно, помалкивай! — огрызнулся шепотом ополченец и начал торопливо расстегивать потерявшую цвет гимнастерку.

— Постой, постой, я тебе желаю представить...— бормотал он и рылся у себя на груди, пока наконец не выта-

щил за тесемку темный от пота холщовый мешочек и не вынул из него поломанную фотографию.

Он подул на нее и протянул мне. Высоко под потолком моргала электрическая лампочка, забранная проволочной сеткой. Я ничего не видел.

Тогда ополченец сложил ладони лодочкой и зажег спичку. Она догорела у него до самых пальцев, но он ее не задул.

Я посмотрел на фотографию только затем, чтобы не обидеть ополченца. Я был уверен, что это обычная крестьянская семейная фотография, каких я много видел в избах около божниц.

Впереди всегда сидела мать — сухая, изрытая морщинами старуха с узловатыми пальцами. Какой бы она ни была в жизни — доброй и безропотной или крикливой и вздорной,— она всегда снималась с каменным лицом и поджатыми губами. На одно мгновение, пока щелкал затвор аппарата, она становилась непреклонной матерью, олицетворением суровой продолжательницы рода. А вокруг сидели и стояли одеревенелые дети и внуки с выпуклыми глазами.

Нужно было долго всматриваться в эти карточки, чтобы в этих напряженных людях увидеть и узнать своих хороших знакомых: чахоточного и молчаливого зятя этой старухи — деревенского сапожника, его жену — грудастую сварливую бабу в кофточке с баской и в башмаках с ушками на лоснящихся голых икрах, чубатого парня с той страшной пустотой в глазах, какая бывает у хулиганов, и другого парня — черного, насмешливого, в котором узнаешь знаменитого на весь уезд кузнеца. И внуков — боязливых детей с глазами маленьких мучеников. То были дети, не знавшие ни ласки, ни привета. Может быть, один только зять-сапожник втихомолку жалел их и дарил для игры старые сапожные колодки.

Но карточка, какую показал мне ополченец, была совсем непохожа на эти семейные паноптикумы. На ней был снят экипаж, запряженный парой черных рысаков. На козлах сидел мой ополченец в бархатной безрукавке. На карточке он был молод и красив. В неестественно вытянутых руках он держал широкие вожжи, а в экипаже бочком примостилась молодая крестьянская женщина необыкновенной прелести.

— Зажги еще спичку! — сказал я ополченцу.

Он торопливо зажег вторую спичку, и я заметил, что

он смотрит на карточку так же, как и я,— пристально и даже с удивлением.

...В экипаже сидела молодая крестьянская женщина в длинном ситцевом платье с оборками и в белом платочке, завязанном низко над бровями, как у монахини.

Она улыбалась, чуть приоткрыв рот. В улыбке этой было столько нежности, что у меня дрогнуло сердце. Глаза у женщины были большие, очевидно, серые, с глубокой поволокой.

— Два года работал у помещика Вельяминова кучером,— торопливо зашептал ополченец.— Тайком меня сняли в бариновом экипаже. С невестой моей. Перед свадьбой.

Он помолчал.

— Ну, что ж ты молчишь? — вдруг вызывающе и грубо спросил он меня.— Аль тыщи таких красавиц видал?

— Нет,— ответил я.— Таких не видал. Никогда.

— Рябинка,— сказал солдат, успокаиваясь.— Умерла перед самой войной. От родов. Зато дочка у меня — вся в нее. Ты ко мне приезжай, товарищ милый, в Орловскую губернию...

Толпа внезапно рванулась вперед и разъединила нас. В воздух полетели папахи и фуражки. Неистовое «ура» взорвалось около трибуны, прокатилось по всему залу и перекинулось на улицу. И я увидел, как Ленин быстро шел, окруженный солдатами. Он прижал к одному уху ладонь, чтобы не оглохнуть от этого «ура», смеялся и что-то говорил маленькому тщедушному солдату в фуражке, все время сползавшей ему на глаза.

Я поискал в бурлящей толпе своего ополченца, не нашел и выбрался на улицу. «Ура» еще гремело за углом. Очевидно, кричали вслед уезжавшему Ленину.

Я пошел в город по длинным темным улицам. Дождь прошел. Среди туч показался мокрый от дождя месяц.

Я думал о Ленине и огромном народном движении, во главе которого стал этот удивительно простой человек, только что прошедший сквозь бушующую восторженную толпу солдат. Думал об ополченце, о молодой крестьянской женщине, в которую я сейчас, на расстоянии многих лет, был уже чуть влюблен, как был влюблен в Россию, и что-то неуловимо общее и захватывающее дух светлым волнением было для меня в этой тройной встрече. Я не мог дать себе отчета в причине этого волнения. Может быть, это было ощущение небывалого времени и предчувствие

хорошего будущего — не знаю. И снова радостная мысль, что Россия — страна необыкновенная и ни на что не похожая — пришла ко мне, как приходила уже несколько раз.

На фасаде гостиницы «Метрополь» под самой крышей была выложена из изразцов картина «Принцесса Греза» по рисунку художника Врубеля. Изразцы были сильно побиты и исцарапаны пулями.

В «Метрополе» заседал Центральный Исполнительный Комитет — ЦИК — парламент того времени.

Заседал он в бывшем зале ресторана, где посередине серел высохший цементный фонтан. Налево от фонтана и в центре (если смотреть с трибуны) сидели большевики и левые эсеры, а направо — немногочисленные, но шумные меньшевики, эсеры и интернационалисты.

Я часто бывал на заседаниях ЦИКа. Я любил приходить задолго до начала заседания, садился в нише невдалеке от трибуны и читал. Мне нравился сумрак зала, его гулкая пустота, две-три лампочки в хрустальных чашечках, одиноко горевшие в разных углах, даже тот гостиничный запах пыльных ковров, что никогда не выветривался из «Метрополя».

Но больше всего мне нравилось ждать того часа, когда этот пока еще пустой зал станет свидетелем жестоких словесных схваток и блестящих речей, сделается ареной бурных исторических событий.

Из знакомых журналистов в ЦИК приходили Розовский и Щелкунов. Розовский безошибочно предсказывал, какой накал будет у предстоящего заседания. «Сегодня держитесь! — предупреждал он.— Ждите взрыва». Или скучно говорил: «В буфете есть чай. Пойдемте выпьем. Сейчас будут прокручивать законодательную вермишель».

Щелкунов же почему-то боялся председателя ЦИКа Свердлова, в особенности его пристальных и невозмутимых глаз. Если Свердлов случайно взглядывал на журналистов, Щелкунов тотчас отводил глаза или прятался за спину соседа.

В каждом слове и жесте Свердлова — невысокого и бледного человека, носившего потертую кожаную куртку,— особенно в его мощном басе, совершенно не вязавшемся с болезненной внешностью, чувствовалась непреклонная воля. Голосу Свердлова подчинялись даже самые

дерзкие и бесстрашные противники — такие, как меньшевики Мартов и Дан.

Мартов сидел ближе всех к журналистам, и мы хорошо его изучили. Высокий, тощий и яростный, с жилистой шеей, замотанной рваным шарфом, он часто вскакивал, перебивал оратора и выкрикивал хриплым сорванным голосом негодующие слова. Он был зачинщиком всех бурь и не успокаивался, пока его не лишали слова или не исключали на несколько заседаний.

Но изредка он был настроен мирно. Тогда он подсаживался к нам, брал у кого-нибудь книгу и читал запоем, как бы забыв о времени и месте и совершенно не отзываясь на события, происходившие в зале с фонтаном.

Однажды он попросил у Розовского книгу «История ислама» и погрузился в чтение. Читая, Мартов ушел по голову в кресло и далеко вытянул тощие ноги.

Шло обсуждение декрета о посылке в деревню рабочих продовольственных отрядов. Ждали бури. Но поведение Мартова и Дана не предвещало никаких неожиданностей, и все понемногу успокоились. Зашелестели газеты, заскрипели карандаши. Свердлов снял руку со звонка и, улыбаясь, слушал своего соседа. Это, пожалуй, больше всего успокоило депутатов,— Свердлов улыбался редко.

Список ораторов подходил к концу. Тогда Мартов очнулся и вялым голосом попросил слова. Зал насторожился. По рядам прошел предостерегающий гул.

Мартов медленно, сутулясь и покачиваясь, поднялся на трибуну, обвел пустыми глазами зал и начал тихо и неохотно говорить, что проект декрета о посылке продовольственных рабочих отрядов нуждается, мол, в более точной юридической и стилистической редакции. Например, пункт такой-то декрета следовало бы выразить более просто, отбросив многие лишние слова, вроде «в целях», и заменив их словом «для», а в пункте таком-то есть повторение того, что уже сказано в предыдущем пункте.

Мартов долго рылся в своих записях, не находил того, что ему было нужно, и с досадой пожимал плечами. Зал убедился, что никакого взрыва не будет. Снова зашелестели газеты. Розовский, предрекавший бурю, недоумевал. «Он просто выдохся, как нашатырный спирт,— прошептал он мне.— Пойдем лучше в буфет».

Вдруг весь зал вздрогнул. Я не сразу понял, что случилось. С трибуны гремел, сотрясая стены, голос Мартова.

В нем клокотала ярость. Изорванные и вышвырнутые им листки со скучными записями опускались, кружась, как снег, на первые ряды кресел.

Мартов потрясал перед собой сжатыми кулаками и кричал, задыхаясь:

— Предательство! Вы придумали этот декрет, чтобы убрать из Москвы и Петрограда всех недовольных рабочих — лучший цвет пролетариата! И тем самым задушить здоровый протест рабочего класса!

После минутного молчания все вскочили с мест. Буря криков понеслась по залу. Его прорезали отдельные выкрики: «Долой с трибуны!», «Предатель!», «Браво, Мартов!», «Как он смеет!», «Правда глаза колет!».

Свердлов неистово звонил, призывая Мартова к порядку. Но Мартов продолжал кричать еще яростнее, чем раньше.

Он усыпил зал своим наигранным равнодушием и теперь отыгрывался.

Свердлов лишил Мартова слова, но тот продолжал говорить. Свердлов исключил его на три заседания, но Мартов только отмахнулся и продолжал бросать обвинения, одно другого злее.

Свердлов вызвал охрану. Только тогда Мартов сошел с трибуны и под свист, топот, аплодисменты и крики нарочито медленно вышел из зала.

Почти на всех заседаниях ЦИКа стены «Метрополя» сотрясались от словесных битв. Часто меньшевики и эсеры вызывали эти бури нарочно, придравшись к пустяковому поводу, к неудачному слову оратора или к его манере говорить. Иногда вместо возмущенных криков они разражались сардоническим хохотом или при первых же словах оратора все, как по команде, вставали и выходили из зала, громко перекликаясь и переговариваясь.

В таком поведении были и беспомощность, и мальчишеская бравада. Протест приобретал характер ссоры.

Жизнь страны была потрясена в тысячелетних основах, времена были грозные, полные неясных предвидений, ожиданий, жестоких страстей и противоречий. Тем более непонятной была эта игра в борьбу, эта бесплодная и шумная возня.

Очевидно, этим людям их партийные догмы были дороже, чем судьба народа, чем счастье простых людей. Нечто химически-умозрительное было в этих догмах, рожденных

в табачных заседаниях вдали от России, вдали от народной жизни. Новую жизнь хотели втиснуть в кабинетные эмигрантские схемы. В этом сказывалось пренебрежение к живой душе человеческой и плохое знание своей страны.

Один раз на заседании ЦИКа стояла глубочайшая тишина. Это было в дни убийства германского посла графа Мирбаха.

Германское правительство предъявило ультиматум, требуя, чтобы в Москву были пропущены якобы для охраны посольства германские воинские части и чтобы весь район Денежного переулка, где помещалось посольство, управлялся бы германскими властями.

Более наглого и циничного ультиматума не было, должно быть, в истории.

Тотчас же после предъявления ультиматума было созвано чрезвычайное заседание ЦИКа.

Я хорошо помню этот душный летний день, клонившийся к закату. Весь город был в бледных отблесках солнца от оконных стекол и в предвечерней желтоватой мгле.

Я вошел в зал с фонтаном, и меня поразила тишина, хотя зал был переполнен. Не было даже слабого гула, возникающего от шепота многих людей.

На стене зала мерно отсчитывал время маятник стенных часов. Но, очевидно, всем, как и мне, казалось, что время остановилось и от него остался только слабый замирающий звук.

Вошел Свердлов, позвонил и глухим голосом сказал, что слово для чрезвычайного сообщения предоставляется Председателю Совета Народных Комиссаров Владимиру Ильичу Ленину.

Зал дрогнул. Все знали, что Ленин был болен и ему нельзя говорить.

Ленин быстро прошел на трибуну. Он был бледен и худ. На горле у него белела марлевая повязка. Он крепко взялся руками за края трибуны и долгим взглядом обвел зал. Было слышно его прерывистое дыхание.

Тихо и медленно, прижимая руку к больному горлу, Ленин сказал, что Совет Народных Комиссаров категорически отклонил наглый ультиматум Германии и постановил тотчас же привести в боевую готовность все вооруженные силы Российской Федерации.

В полном безмолвии поднялись и опустились руки, голосовавшие одобрение правительству.

Мы вышли на Театральную площадь, потрясенные тем, что мы слышали. Над Москвой уже лежали сумерки, и мимо «Метрополя», мерно покачивая щетину штыков, прошел красноармейский отряд.

ЗОНА ТИШИНЫ

Изредка у меня случались свободные дни. Тогда я выходил ранним утром из дому и шел пешком через весь город в Ноевский сад или слонялся по окраинам Москвы, чаще всего за Пресней и Девичьим полем.

Время было голодное. Выдавали в день только восьмушку черного хлеба. Я брал с собой эту восьмушку, два-три яблока (ими снабжала меня соседка Липочка) и какую-нибудь книгу и уходил на весь день до темноты.

Окраины Москвы почти ничем не отличались тогда от так называемых «заштатных» российских городков. Кольцо глухих предместий окружало огромную встревоженную столицу. Но шум Москвы сюда не достигал. Лишь изредка дуновение ветра доносило вместе с тихими вихрями пыли то отдаленные звуки «Интернационала», то такую же отдаленную винтовочную стрельбу. Тогда в городе довольно часто случались короткие перестрелки, но ими мало кто интересовался. Они возникали неожиданно и так же неожиданно гасли.

Окраины города были очень пустынны. Пожалуй, это больше всего и привлекало меня. Было ли это желание короткого отдыха от напряженных дней или, может быть, это были поиски тишины, когда можно глубоко вздохнуть, оглянуться и представить себе происходящее со стороны, чтобы легче в нем разобраться?

Еще одно ощущение всегда возникало у меня, как только я попадал на окраины,— уверенность в том, что впереди меня подстерегает разнообразная, может быть даже слишком пестрая и интересная жизнь. Почему эта уверенность появлялась именно на окраинах, я до сих пор не могу понять.

Я даже загадывал, глядя на какой-нибудь заросший чахлой травой закоулок, где сохло на веревке застиранное белье, что через несколько лет я обязательно вернусь в

этот закоулок, чтобы понять, как я переменился за это время, тогда как он остался таким же заброшенным, каким и был.

Все так же будут мутно поблескивать маковки облупившейся церкви и шуршать пересохшее на ветру белье, а у меня в это время за плечами, может быть, уже будут скитания, свои книги и даже, чего доброго, необыкновенная любовь.

Я как бы брал этот закоулок в свидетели жизни. Мне хотелось по этому невзрачному уголку Москвы отмечать движение времени в самом себе.

Но я, конечно, ошибался. Когда через пять лет я вернулся в Москву, в один из таких закоулков, то увидел белый дом, обсаженный молодыми липами, и вывеску на нем: «Музыкальная школа такого-то района».

В окраинах было свое очарование,— в деревянных косых домах, подпертых темными бревнами, в давно заброшенных маленьких фабриках с валяющимися среди лебеды красными от ржавчины котлами и в дровяных складах, пахнущих березовой корой. Очарование было в блестящих от времени скамейках у ворот, где земля затвердела, как асфальт, от затоптанной подсолнечной шелухи, в мостовых, мягких от гусиной травы, и в бездействующих шлагбаумах через заброшенные железнодорожные ветки. Там стояли черные, навсегда погасшие паровозы, должно быть, еще времен Стефенсона, с горластыми трубами. В будках этих паровозов вили гнезда ласточки.

Очарование было и в темных вязах, настолько немощных от старости, что на них едва успевала распуститься к концу лета только половина листвы, в кучах шлака, покрытых одуванчиками, в скворечнях и заборах из поломанных железных кроватей и церковных решеток. Их обвивала сладковато-горькая повилика. Герань пламенела на окошках в жестянках от консервов, как заморские жар-цветы.

В одном дворе я даже увидел диковинку — собачью будку и в ней карминного петуха с черным хвостом, привязанного цепью за лапу (взамен отсутствующей собаки), очевидно в назидание за нахальный драчливый прав.

Была своя прелесть в тополевом пуху, катавшемся по улицам легкими серебристо-серыми рулонами, в играющих на задворках пискливых облезлых котятах, в старухах, как бы вырезанных из коричневого морщинистого

дерева, в настурции, буйствующей своими круглыми сочными листьями и красными капюшонами цветов, даже в воробьях, пьющих воду из невысыхающих луж около водоразборных колонок, в засиженной мухами олеографии «Поцелуйный обряд» за открытым окном темной комнаты, в клетке с попискивающей от скуки канарейкой, в фикусах и разбитом и криво склеенном рыжем фарфоровом сеттере, в съеденном молью чучеле иволги и, наконец, в самоварном дыму, струившемся среди двора прямо к белесому небу, несмотря на то что самовар был кособокий. Как известно, такое поведение самовара предвещает устойчивую жаркую погоду.

На огромных цементных трубах, валявшихся на пустыре, детской рукой было написано углем «Рай», «Ад», «Остров сокровищ», «Зимний дворец». «Зимний дворец» покрывали свежие красные шрамы от осколков кирпича. Очевидно, «Зимний дворец» совсем недавно обстреливали.

Иногда ветер наполнял улицу запахом гниющей воды и помидоровых листьев. Курчавые огороды расстилались за домами. Среди грядок вертелись на палках, заменяя пугало, детские ветряные мельницы из глянцевитой разноцветной бумаги.

Вдали над пылью, над сероватым маревом мерцали почерпелым золотом купола Москвы и богатырский шлем храма Христа Спасителя. Над соборами стояли облака, похожие на пышно взбитый белок, чуть подрумяненный солнцем.

Это была, конечно, Азия — капище как бы вылепленных из коричневой глины или отлитых из чугуна православных святых, стопудовые кресты, поддерживаемые цепями, и круглые башни Кремля в венках из непрерывно взмывающих над ними голубиных стай.

Особенно хороши были на окраинах илистые пруды. Сквозь их зеленую, как оливковое масло, воду поблескивали затопленные жестянки. Гнилые сваи торчали из воды, и с них тонкими прядями свешивалась тина. От нее пахло аптекой. На берегах стояли, согласно наклонившись к воде, ивы с выжженной молнией сердцевиной. Ивы давали тень.

Я читал в этой тени, сидя на теплой земле и поглядывая, как со дна струятся, никогда не обгоняя друг друга, пузырьки болотного газа. По воде бегали на высоких лапах какие-то жучки. Окраинные мальчишки называли их «водогонами». Стоило бросить спичку, как водогоны нес-

лись к ней со всех сторон, сбивались в кучу и, убедившись, что это всего только несъедобная спичка, стремительно разбегались.

Всегда в такой пруд лилась из заржавленной трубы пенистая вода. У того места, где она впадала в пруд, тучами стояли мальки.

Мальчишки пускали по воде плоские дощечки, изображавшие пароходы. Девочки-подростки, подобрав ситцевые платья, полоскали белье и взвизгивали, когда под ногами у них шныряли невидимые водяные существа. Девочки уверяли, что это пиявки.

На одном из таких прудов я часто встречал хмурого огородника в рваном балахоне. Он удил рыбу, воткнув в берег пять-шесть удочек. Изредка у него брали маленькие, как пятаки, карасики. Сидел старик часами, пожевывая, так же как и я, черный хлеб.

Я разговорился с ним, и он показал мне свой огород. По-моему, этот огород был прекраснее самых пышных розариев. Во влажных его зарослях освежающе пахло укропом и мятой.

— Вот видите, товарищ дорогой,— сказал мне огородник,— можно, оказывается, и так жить. Всячески можно жить — и свободу завоевывать, и людей вроде как переделывать, и помидоры выращивать. Всему своя честь, своя цена и слава.

— Вы это к чему говорите? — спросил я.

— К терпимости и пониманию. В них, по моему разумению, и заключается истинная свобода. Каждый человек должен вольно прикладывать руки к любимому занятию. И никто не должен ему мешать. Тогда ничего нам не будет страшно и никакой враг нас не обратает.

Иногда я выходил через огороды и пустыри, где солнечные искры от битого стекла кололи глаза, к мелкому берегу Москвы-реки. Кудрявые горы зелени сбегали из Ноевского сада до самой воды. В ней радужными узорами, как на цыганской шали, свивались и развивались тонкие пленки нефти.

Мальчишка-перевозчик переправлял меня на другой берег в Ноевский сад. Там было величаво от высоких лип и их зеленеющей тени.

Липы цвели. Их сильный запах казался занесенным сюда из отдаленной южной весны. Я любил представлять себе эту весну. Это представление усиливало мою любовь

к миру. Я не мог поделиться этими своими мечтами ни с кем, кроме бумаги. Кое-что я записывал, но обыкновенно тут же без сожаления терял.

Я стыдился этих записей. Они не вязались с суровым временем.

Ноевский сад с давних времен славился цветоводством. Постепенно оно беднело, глохло, и к началу революции в саду осталась одна небольшая оранжерея. Но в ней все же работали какие-то пожилые женщины и старый садовник. Они скоро привыкли ко мне и даже начали разговаривать со мной о своих делах.

Садовник жаловался, что сейчас цветы нужны только для похорон и торжественных заседаний. Каждый раз, когда он заговаривал об этом, одна из женщин — худая, с бледными светлыми глазами — как бы смущалась за него и говорила мне, что очень скоро они наверняка будут выращивать цветы для городских скверов и для продажи всем гражданам.

— Что бы вы ни говорили,— убеждала меня женщина, хотя я и не возражал ей,— а без цветов человеку обойтись невозможно. Вот, скажем, были, есть и будут влюбленные. А как лучше выразить свою любовь, как не цветами? Наша профессия никогда не умрет.

Иногда садовник срезал мне несколько левкоев или махровых гвоздик. Я стеснялся везти их через голодную и озабоченную Москву и потому всегда заворачивал в бумагу очень тщательно и так хитро, чтобы нельзя было догадаться, что в пакете у меня цветы.

Однажды в трамвае пакет надорвался. Я не заметил этого, пока пожилая женщина в белой косынке не спросила меня:

— И где это вы сейчас достали такую прелесть?

— Осторожнее их держите,— предупредила кондукторша,— а то затолкают вас и все цветы помнут. Знаете, какой у нас народ.

— Кто это затолкает? — вызывающе спросил матрос с патронташем на поясе и тотчас же ощетинился на точильщика, пробиравшегося сквозь толпу пассажиров со своим точильным станком.— Куда лезешь! Видишь — цветы. Растяпа!

— Гляди, какой чувствительный! — огрызнулся точильщик, но, видимо, только для того, чтобы соблюсти достоинство.— А еще флотский!

— Ты на флотских не бросайся! А то недолго и глаза тебе протереть!

— Господи, из-за цветов и то лаются! — вздохнула молодая женщина с грудным ребенком.— Мой муж, уж на что — серьезный, солидный, а принес мне в родильный дом черемуху, когда я родила вот этого, первенького.

Кто-то судорожно дышал у меня за спиной, и я услышал шепот, такой тихий, что не сразу сообразил, откуда он идет. Я оглянулся. Позади меня стояла бледная девочка лет десяти в выцветшем розовом платье и умоляюще смотрела на меня круглыми серыми, как оловянные плошки, глазами.

— Дяденька,— сказала она сипло и таинственно,— дайте цветочек! Ну, пожалуйста, дайте.

Я дал ей махровую гвоздику. Под завистливый и возмущенный говор пассажиров девочка начала отчаянно продираться к задней площадке, выскочила на ходу из вагона и исчезла.

— Совсем ошалела! — сказала кондукторша.— Дура ненормальная! Так каждый бы попросил цветок, если бы совесть ему позволяла.

Я вынул из букета и подал кондукторше вторую гвоздику. Пожилая кондукторша покраснела до слез и опустила на цветок сияющие глаза.

Тотчас несколько рук молча потянулись ко мне. Я роздал весь букет и вдруг увидел в обшарпанном вагоне трамвая столько блеска в глазах, приветливых улыбок, столько восхищения, сколько не встречал, кажется, никогда ни до этого случая, ни после. Как будто в грязный этот вагон ворвалось ослепительное солнце и принесло молодость всем этим утомленным и озабоченным людям. Мне желали счастья, здоровья, самой красивой невесты и еще невесть чего.

Пожилой костлявый человек в поношенной черной куртке низко наклонил стриженую голову, открыл парусиновый портфель, бережно спрятал в него цветок, и мне показалось, что на засаленный портфель упала слеза.

Я не мог этого выдержать и выскочил на ходу из трамвая. Я шел и все думал — какие, должно быть, горькие или счастливые воспоминания вызвал этот цветок у костлявого человека и как долго он скрывал в душе боль своей старости и своего молодого сердца, если не мог сдержаться и заплакал при всех.

У каждого хранится на душе, как тонкий запах лип из Ноевского сада, память о проблеске счастья, заваленном потом житейским мусором.

Во время скитаний по окраинам Москвы и по Ноевскому саду я уходил в ту зону тишины, что так неправдоподобно близко окружала город. Эти уходы среди оглушительных событий были понятны. Ведь события не успевали последовательно сменять друг друга, а накапливались по нескольку за день.

Обыкновенная жизнь существовала рядом, почти в нескольких шагах от величайших исторических дел. В этом тоже была, должно быть, своя закономерность.

МЯТЕЖ

На пустой сцене Большого театра стояла декорация Грановитой палаты из «Бориса Годунова».

Стуча каблуками, к рампе подбежала женщина в черном платье. Алая гвоздика была приколота к ее корсажу.

Издали женщина казалась молодой, но в свете рампы стало видно, что ее желтое лицо иссечено мелкими морщинами, а глаза сверкают слезливым болезненным блеском.

Женщина сжимала в руке маленький стальной браунинг. Она высоко подняла его над головой, застучала каблуками и пронзительно закричала:

— Да здравствует восстание!

Зал ответил ей таким же криком:

— Да здравствует восстание!

Женщина эта была известная эсерка Маруся Спиридонова.

Так мы, журналисты, узнали о начале мятежа левых эсеров в Москве. Этому предшествовали многие события.

Шел съезд Советов. Пожалуй, никто не был в лучшем положении на съезде, чем журналисты. Их посадили в оркестр. Оттуда все было великолепно видно и слышно.

Из всех ораторов я хорошо запомнил только Ленина. И не столько запомнил содержание его речи, сколько его движения и самую манеру говорить.

Ленин сидел у самого края стола, низко наклонившись, быстро писал и, казалось, совершенно не слушал ораторов. Были видны только его нависающий лоб и по временам насмешливый блеск скошенных на оратора глаз. Но из-

редка он поднимал голову от своих записей и бросал по поводу какой-нибудь речи несколько веселых или едких замечаний. Зал разражался смехом и аплодисментами. Ленин, откинувшись на спинку стула, заразительно смеялся вместе со всеми.

Он говорил, а не «выступал», очень легко, будто разговаривал не с огромной аудиторией, а с кем-нибудь из своих друзей. Говорил он без пафоса, без нажима, с простыми житейскими интонациями и слегка грассируя, что придавало его речи оттенок задушевности. Но иногда он на мгновение останавливался и бросал фразу металлическим голосом, не знающим никаких сомнений.

Во время своей речи он ходил вдоль рампы и то засовывал руки в карманы брюк, то непринужденно держался обеими руками за вырезы черного жилета.

В нем не было ни тугой монументальности, ни сознания собственного величия, ни напыщенности, ни желания изрекать священные истины.

Он был прост и естествен в речах и движениях. По его глазам было видно, что, кроме государственных дел, он не прочь поговорить в свободную минуту о всяких интересных житейских делах и занятиях,— быть может, о грибном лете или рыбной ловле или о необходимости научно предсказывать погоду.

На съезде Ленин говорил о необходимости мира и передышки в стране, о продовольствии и хлебе. Слово «хлеб», звучавшее у других ораторов как отвлеченное, чисто экономическое и статистическое понятие, приобретало у него благодаря неуловимым интонациям образность, становилось черным ржаным хлебом, тем хлебом насущным, по которому истосковалась в то время страна. Это впечатление не ослабляло значительности речи и ее государственной важности.

На съезде Советов в боковой ложе сидел германский посол граф Мирбах — высокий, лысеющий и надменный человек с моноклем.

В то время немцы оккупировали Украину, и в разных ее частях вспыхивали, то разгораясь, то затихая, крестьянские восстания.

В первый же день съезда слово взял левый эсер Камков. Он прокричал гневную речь против немцев. Он требовал разрыва с Германией, немедленной войны и поддержки повстанцев. Зал тревожно шумел.

Камков подошел почти вплотную к ложе, где сидел Мирбах, и крикнул ему в лицо:

— Да здравствует восстание на Украине! Долой немецких оккупантов! Долой Мирбаха!

Левые эсеры вскочили с мест. Они кричали, потрясая кулаками. Потрясал кулаками и Камков. Под его распахнувшимся пиджаком был виден висящий на поясе револьвер.

Мирбах сидел невозмутимо, не вынув даже монокля из глаза, и читал газету.

Крик, свист и топот ног достигли неслыханных размеров. Казалось, сейчас обрушится огромная люстра и начнут отваливаться со стены театрального зала лепные украшения.

Даже Свердлов своим мощным голосом не мог справиться с залом. Он непрерывно звонил, но этот звонок слышали только журналисты в оркестре. До зала он не доходил, остановленный волной криков.

Тогда Свердлов закрыл заседание. Мирбах встал и медленно вышел из ложи, оставив газету на барьере.

Через театральные коридоры невозможно было протиснуться. Охрана распахнула настежь все двери, но все же театр пустел очень медленно.

Накал дошел до того, что каждую минуту можно было ждать столкновений и взрывов. Но остаток дня прошел в Москве, сверх ожидания, спокойно.

На следующий день, 6 июля, я пришел в Большой театр рано, но в оркестре застал уже всех журналистов. Все пришли пораньше в ожидании событий. Ждали краткого правительственного сообщения по поводу вчерашней демонстрации левых эсеров.

Зал театра был полон. Заседание было назначено на два часа дня. Но в два часа за столом президиума никто не появился. Прошло еще полчаса. Заседание не начиналось. По залу шел недоуменный говор.

Тогда на сцену вышел секретарь Совета Народных Комиссаров Смидович, сказал, что заседание несколько задержится, и предложил большевикам пройти на партийное совещание в один из соседних с театром домов. Большевики ушли.

Зал опустел. В нем остались одни левые эсеры.

Все понимали, что только необыкновенные обстоятельства могли задержать открытие заседания. Журналисты бросились к телефонам, чтобы позвонить в редакции и узнать, что произошло. Но у каждого телефонного аппарата стояли вооруженные красноармейцы. К телефонам никого не подпускали. Все выходы из театра были закрыты. Около них тоже стояла вооруженная охрана. Ей было приказано никого не выпускать.

Вскоре неизвестно откуда по театру распространился слух, что три часа тому назад был убит в своем посольском особняке граф Мирбах.

Смятение охватило журналистов. Левые эсеры молча переменили места и сели у всех выходов.

Странные звуки начали проникать снаружи в театр — заглушенный треск и глухие удары, будто невдалеке от театра забивали копром деревянные сваи.

Седенький капельдинер поманил меня пальцем и сказал:

— Ежели желаете знать, что происходит в городе, подымитесь по вот этой железной лесенке к колосникам. Только чтобы никто не заметил. Там налево увидите узкое окошечко. Поглядите в него. Очень советую. Ну и дела, спаси господи и помилуй!

Я взобрался по железной отвесной лестнице без перил до пыльного узкого окна, вернее, до глубокой прорези в стене. Я заглянул в нее и увидел край Театральной площади и боковую стену «Метрополя».

Со стороны Городской думы бежали к «Метрополю», пригнувшись, красноармейцы, быстро ложились, почти падали на мостовую, а из винтовок начинали вылетать короткие огоньки. Потом где-то налево, в стороне Лубянской площади, зачастил пулемет и ахнул орудийный выстрел.

Было ясно, что, пока мы сидели в театре, запертые вместе с левыми эсерами, в Москве началось восстание.

Я незаметно вернулся в оркестр. Тотчас к рампе выбежала Спиридонова, и произошла та сцена, о какой я рассказывал в начале главы. Все стало совершенно ясно — восстание начали левые эсеры.

В ответ на крик Спиридоновой все левые эсеры вынули из-под пиджаков и из карманов револьверы. Но в эту же минуту с галерки раздался спокойный и жесткий голос коменданта Кремля:

— Господа левые эсеры! При первой же попытке вый-

ти из театра или применить оружие с верхних ярусов будет открыт по залу огонь. Советую сидеть спокойно и ждать решения вашей участи.

Никому из журналистов пе хотелось погибать из-за оплошности охраны, которая, очевидно, забыла выпустить нас вовремя.

Мы послали во главе с Олегом Леонидовым депутацию к коменданту. Он вежливо, но твердо ответил, что, к сожалению, не получил никаких указаний насчет журналистов. Но в конце концов комендант внял нашим уговорам, приказал всем незаметно собраться в вестибюле театра, откуда охрана, быстро распахнув двери, вытолкала нас на Театральную площадь.

В первое мгновение после полутемного театрального зала я ослеп от закатного солнечного света. Во второе мгновение пуля ударила рядом в колонну театра, взвыла и как бы повернула обратно. За ней, как по команде, пули начали методически щелкать в стену, но, к счастью, выше наших голов.

— В Копьевский переулок! — прокричал Олег Леонидов и, пригибаясь к земле, побежал за угол театра. За ним бросились все остальные.

За углом было спокойно. Пули пролетали хотя и близко, но в стороне. О них мы догадывались только по легкому свисту и по тому, как в доме против театра растрескивались стекла и белыми фонтанами взлетала от стен отбитая штукатурка.

У Щелкунова, когда он бежал, вывалилась из портфеля растрепанная книга. Он несколько раз порывался выскочить из-за угла, чтобы подобрать ее, но мы его держали за руки и не пускали. В конце концов он все же вырвался, ползком добрался до книги и вернулся красный, весь в пыли, но счастливый.

— Вы опасный маньяк с вашими книгами,— закричал ему Олег Леонидов.— Вы сумасшедший!

— Что вы?! — возмутился Щелкунов.— Это же первое издание «Исповеди» Жан-Жака Руссо. Это вы, а не я сумасшедший.

Огонь быстро отодвигался за Лубянскую площадь. Левые эсеры отступали.

В редакции я узнал, что действительно граф Мирбах был утром этого дня убит левым эсером Блюмкиным. Это послужило сигналом к восстанию. Мятежники успели за-

хватить Покровские казармы, телеграф на Мясницкой и дошли почти до Лубянской площади. А левые эсеры, оставшиеся в театре, были вскоре после нашего ухода арестованы.

К вечеру мятежники были выбиты из города, отступили к товарной станции Казанской дороги и Рязанскому шоссе и начали рассеиваться.

Восстание окончилось так же молниеносно, как и началось.

МАТЕРИАЛЫ К ИСТОРИИ МОСКОВСКИХ ОСОБНЯКОВ

История домов бывает подчас интереснее человеческой жизни. Дома долговечнее людей и делаются свидетелями нескольких людских поколений.

Никто не дает себе труда, кроме немногих краеведов, проследить историю какого-нибудь старого дома. К краеведам же принято относиться снисходительно и считать их безвредными чудаками. А между тем они собирают по крупицам нашу историю, традиции и воспитывают любовь к своей стране.

Я уверен, что если бы восстановить во всей полноте историю какого-нибудь дома, проследить жизнь всех его обитателей, узнать их характеры, описать события, какие в этом доме происходили, то получился бы социальный роман, может быть более значительный, чем романы Бальзака.

Кроме того, жизнь каждого дома связана с существованием многих вещей, тоже проживших немалый век, совершивших большие путешествия и кое-что повидавших. К сожалению, написать историю вещей невозможно. Вещи не говорят, а люди забывчивы, не любопытны и с обидной небрежностью относятся к вещам — своим верным помощникам.

Вещи сделаны нашими руками, как носастый Буратино был выстроган из суковатого полена старым плотником Карло. Буратино ожил и тотчас же наворотил вокруг себя столько событий, что дело никак не могло обойтись без вмешательства волшебной феи, без сказки.

Если бы вещи могли ожить, то какой кавардак они бы внесли в наши отношения и как бы могла обогатиться история. Им было бы о чем рассказать.

Сколько в Москве было особняков ко времени Октябрьской революции, никто, конечно, точно сказать не мог. Говорили, что их не меньше трехсот. Это были преимущественно купеческие особняки. Дворянских осталось немного,— большинство из них сгорело еще в 1812 году.

После Октября большую часть купеческих особняков захватили анархисты. Они вольготно и весело жили в них среди старинной пышной мебели, люстр, ковров и, бывало, обращались с этой обстановкой несколько своеобразно. Картины служили мишенями для стрельбы из маузеров. Дорогими коврами накрывали, как брезентом, ящики с патронами, сваленные во дворах. Оконные проемы на всякий случай были забаррикадированы редкими фолиантами. Залы с узорными паркетами превращались в ночлежку. Ночевали там и анархисты, и всякий неясный народ.

Москва была полна слухами о разгульной жизни анархистов в захваченных особняках. Чопорные старушки с ужасом шептали друг другу о потрясающих оргиях. Но то были вовсе не оргии, а обыкновеннейшие пьянки, где вместо шампанского пили ханжу и закусывали ее окаменелой воблой.

Это было сборище подонков, развинченных подростков и экзальтированных девиц — своего рода будущее махновское гнездо в сердце Москвы.

У анархистов был даже свой театр. Назывался он «Изид». В афишах этого театра сообщалось, что это — театр мистики, эротики и анархии духа и что он ставит своей целью «идею, возведенную до фанатизма».

Какая это будет идея — афиша не сообщала. Каждый раз, наталкиваясь на эту афишу, я думал, что существование театра «Изид» не обошлось без Рачинского.

Я часто засиживался в редакции до поздней ночи, а то и до утра, и писал свой первый роман. Я ночевал на редакционном продавленном диване с поломанными пружинами. Случалось, что среди ночи какая-нибудь пружина со злорадным звоном ударяла меня изо всей силы в бок.

Я предпочитал писать в редакции, чем у себя в сонной и затхлой квартире, где в ванной сочилась из крана вода и то и дело шлепала за дверью ночными туфлями хозяйка. Ее беспокоил свет в моей комнате, и она по нескольку раз за ночь проверяла электрический счетчик.

В редакции я захватывал просторный, затянутый ковром кабинет Кусковой и ее письменный стол. Иногда я засыпал за этим столом и минут через десять — пятнадцать просыпался отдохнувший и свежий.

Редакционный кот спал против меня на столе, поджав передние лапы. Изредка он приоткрывал щелочки глаз и добродушно поглядывал на меня, будто говорил: «Работаешь? Ну, работай, работай! А я еще часок подремлю».

Но однажды уши у кота задергались в разные стороны. Он посмотрел на меня зелеными, как ягоды крыжовника, глазами и сипло мяукнул.

Я прислушался. Далекая перестрелка рассыпалась по ночному городу и приближалась к редакции. По настойчивости огня было ясно, что это не случайная уличная перестрелка.

Тотчас же оглушительно зазвонил телефон. Говорил заведующий московским отделом.

— Началось разоружение анархистов! — прокричал он в трубку.— Особняки берут приступом. Хорошо, что вы в редакции. Я сейчас приеду, а вы пока сходите, милый, в особняк Морозова на Воздвиженке и посмотрите, что там творится. Только поосторожней.

Я вышел на улицу. Было темно, пустынно. Со стороны Малой Дмитровки, где анархисты засели в бывшем Купеческом клубе и даже поставили в воротах две горные пушки, слышались беспорядочные выстрелы.

Я прошел переулками на Воздвиженку к особняку Морозова. Все москвичи знают этот причудливый дом, похожий на замок, с морскими раковинами, впаянными в серые стены.

Сейчас особняк был совершенно черен и казался зловещим.

Я поднялся по гранитным ступеням к тяжелой парадной двери, похожей на бронзовые литые двери средневекового собора, и прислушался. Ни один звук не долетал изнутри. Я решил, что анархисты ушли, но все же осторожно постучал.

Дверь неожиданно и легко распахнулась. Кто-то схватил меня за руку, втащил внутрь, и дверь тотчас захлопнулась. Я очутился в полном мраке. Меня крепко держали за руки какие-то люди.

— В чем дело? — спросил я небрежно. Самый этот вопрос показался мне глупым. Никакого дела не было,

а была явная бессмыслица. Она, как я догадывался, могла окончиться для меня большими неприятностями.

— Явно подосланный,— сказал рядом со мной молодой женский голос.— Надо доложить товарищу Огневому.

— Послушайте,— ответил я, решив отшутиться.— Времена графа Монте-Кристо прошли. Зажгите свет, и я вам все объясню. И, пожалуйста, выпустите меня обратно.

И тогда я услышал ответ, поразивший меня путаницей стилей.

— Ну, это маком! — сказал тот же молодой женский голос.— Ишь чего захотел — чтобы его выпустили. Вы, киса, большевистский лазутчик и останетесь здесь. Обещаю, что ни один волос не упадет с вашей головы, если вы не будете трепыхаться и балабонить.

Я рассердился.

— Принцесса анархии,— сказал я невидимой женщине.— Бросьте валять дуру. Вы просто начитались желтых романов. В вашем невинном возрасте это опасно.

— Обыщите его и заприте в левую угловую гостиную,— сказала ледяным голосом женщина, как будто она не слышала моих слов,— а я доложу товарищу Огневому.

— Пожалуйста! — ответил я вызывающе.— Докладывайте хоть Огневому, хоть Тлеющему, хоть Чадящему. Мне наплевать на это!

— Ой, как бы ты не раскаялся в своем нахальстве, киса! — сказала нараспев женщина.

Двое мужчин поволокли меня в темноте по коридору. На одном была холодная кожаная куртка.

Они молча протащили меня по нескольким коротким лестницам то вниз, то вверх, втолкнули в комнату, закрыли ее снаружи на замок, вынули ключ, сказали, что если я попробую стучать, то они будут стрелять в меня просто через филенку двери, и ушли, причем один добавил напоследок довольно мирным тоном:

— Разве так разведчики работают, большевистская зараза! Был бы ты у нас, я бы тебя научил.

У меня оказались с собой спички. Но я не решался зажечь хотя бы одну, чтобы осмотреться во мраке. Мало ли что может прийти в голову анархистам. Они сочтут огонь спички за сигнал и, чего доброго, действительно начнут стрелять через филенку.

Я потрогал филенку. Она была покрыта причудливой резьбой. Потом я нащупал стену, и меня всего передер-

пуло,— я зацепил ногтем за шелковую обивку на стене. В конце концов я наткнулся на мягкое кресло с подлокотниками, сел в него и начал ждать.

Первое время эта история меня веселила. Анархисты явно приняли меня за подосланного разведчика. По-моему, это было совершенно глупо с их стороны, но тут уж я ничего не мог поделать. И что это за девушка? Голос показался мне знакомым. Я начал рыться в своей памяти и вспомнил, что однажды на митинге около памятника Гоголю выступала анархистка с таким же голосом. У нее была длинная черная челка, глаза жадно блестели, как у кокаинистки, и огромные бирюзовые серьги болтались в ушах. Ей не дали говорить. Тогда она вынула папиросу, закурила и прошла через толпу, покачивая бедрами и презрительно усмехаясь. Да, конечно, это была она.

Мне нравилось сидеть в удобном мягком кресле и ждать, что будет дальше. Я был уверен, что меня выпустят, как только я покажу свое удостоверение из «Власти народа».

Прошло больше часа. Издалека доносилась винтовочная стрельба. Один раз я услышал глухой раскатистый взрыв.

Смертельно хотелось курить. В конце концов я не выдержал, достал папиросу, присел на корточки за спинкой кресла и чиркнул спичкой. Она вспыхнула ярко, как магний, и на мгновение осветила полукруглую комнату. Огонь блеснул в зеркалах и хрустальных вазах. Я торопливо закурил, задул спичку и только тут догадался, почему она загорелась так ярко,— это была бракованная спичка с двойной толстой головкой.

И тут произошла вторая неожиданность — внезапный ружейный огонь ударил с улицы по стеклам особняка. Посыпалась штукатурка. Я так и остался сидеть на полу.

Огонь быстро усиливался. Я догадался, что блеск спички в окне послужил как бы сигналом для красноармейцев, незаметно окруживших особняк.

Стреляли главным образом по той комнате, где я сидел на полу. Пули попадали в люстру. Я слышал, как, жалобно звеня, падали на пол ее граненые хрустали.

Я невольно сыграл роль разведчика, какую облыжно приписывали мне анархисты. Я сообразил, что положение мое неважное. Если анархисты заметили свет спички, то они ворвутся в комнату и меня пристрелят.

Но, очевидно, анархисты не видели света от спички, да им было теперь и не до меня. Они отстреливались. Было слышно, как по коридору бегом протащили что-то грохочущее,— должно быть, пулемет. Кто-то, отрывисто ругаясь, выкрикнул команду: «Четверо на первый этаж! Не подпускать к окнам!»

Что-то обрушилось со звоном. Потом мимо моей комнаты с топотом промчались люди, треснула выбитая рама, знакомый женский голос крикнул: «Сюда, товарищи! Через пролом в стене!» — и после некоторой суеты все стихло. Только изредка, как бы проверяя, нет ли в доме засады, выжидательно пощелкивали по окнам пули красноармейцев.

Потом наступила полная тишина. Анархисты, очевидно, бежали.

Но эта тишина длилась недолго. Снова послышались тяжелые шаги, какое-то бряцание, голоса: «Обыскать весь дом! Свет давайте! Свет!», «Видать, богато жили, сволочи!», «Только поаккуратней, а то запустят гранатой из-за угла».

Тяжелые шаги остановились около моей двери. Кто-то сильно дернул за ручку, но дверь не поддалась.

— Заперся, гад,— задумчиво сказал охрипший голос.

Дверь начали трясти. Я молчал. Что я мог сделать? Не мог же я долго и сбивчиво объяснять через запертую дверь, что меня схватили и заперли анархисты. Кто бы мне поверил.

— Открывай, черт косматый! — закричало за дверью уже несколько голосов. Потом кто-то выстрелил в дверь, и она треснула. Посыпались тяжелые удары прикладов. Дверь закачалась.

— На совесть строили,— восхищенно сказал все тот же охрипший голос.

Половинка двери отлетела, и в глаза мне ударил свет электрического фонарика.

— Один остался! — радостно крикнул молодой красногвардеец и навел на меня винтовку.— А ну, вставай, анархист. Пошли в штаб! Пожил в свое удовольствие — и хватит!

В штаб я пошел охотно. Штаб помещался в маленьком особняке на Поварской. Там сидел за столом в передней необыкновенно худой человек во френче, с острой светлой бородкой и насмешливыми глазами.

Он спокойно рассмотрел меня и вдруг улыбнулся. Я улыбнулся ему в ответ.

— Ну, рассказывайте,— сказал худой человек и закурил трубку.— Только покороче. Мне с вами возиться некогда.

Я чистосердечно все рассказал и показал свои документы. Худой человек мельком взглянул на них.

— Следовало бы посадить вас недельки на две за излишнее любопытство. Но нет, к сожалению, такого декрета. Ступайте! Советую вам бросить к черту эту вашу газету «Власть народа». На что она вам сдалась? Вы что ж, недовольны советским строем?

Я ответил, что, наоборот, все мои надежды на счастливую долю русского народа связаны с этим строем.

— Ну что же,— ответил худой человек, морщась от дыма трубки.— Мы, конечно, постараемся оправдать ваше доверие, молодой человек. Поверьте, что это весьма лестно для нас. Весьма лестно. А теперь — выметайтесь!

Я вышел на улицу. Кое-где еще слышалась перестрелка. Я чувствовал, как лицо у меня горело от стыда. Худой человек посмеялся надо мной. Но в глубине души я знал, что он был прав, и сколько бы я ни выдумывал задним числом самых остроумных и едких ответов, ими не опровергнуть его пренебрежительных слов.

К полудню анархисты были выбиты из всех особняков. Часть их бежала из Москвы, часть разбрелась по городу и потеряла свой воинственный пыл.

Жители Москвы, проспавшие это событие, с изумлением рассматривали на следующий день избитые пулями особняки, дворников, сметавших в кучи битое стекло, и брешь от единственного орудийного выстрела в стене Купеческого клуба на Малой Дмитровке.

В то время события происходили так внезапно, что их можно было даже проспать.

НЕСКОЛЬКО ПОЯСНЕНИЙ

Среди лета «Власть народа» закрыли, так же как и все остальные газеты, называвшие себя «независимыми».

Вскоре после этого я получил письмо от сестры Гали из Копани. Письмо это принес домой в мое отсутствие

какой-то кондуктор из Брянска. Он не оставил никаких следов, по которым я мог бы его разыскать.

Письмо было измазано мазутом и протерто на сгибах. Шло оно от Копани до Москвы больше месяца.

Галя писала:

«Ты дал слово маме приехать весной, а все не едешь, и мы уже отчаялись тебя увидеть. Мама сразу и сильно постарела, и ты ее не узнаешь. Целые дни молчит, а по ночам, когда думает, что я сплю, плачет так громко, что слышу даже я. А я, Костик, за этот год почти совсем оглохла.

Неужели ты никак не можешь доставить ей эту последнюю радость. Мы только и говорим что о тебе и не знаем, что с тобой, здоров ли ты. Нам страшно подумать, что с тобой каждый день может что-нибудь случиться. У тебя в жизни много всего, а у мамы никого нет, кроме тебя. Ты это пойми, Костик.

Вчера утром мама сказала, что если тебя не будет до половины августа, то мы с ней пойдем отсюда в Москву. Мама уверена, что мы как-нибудь доберемся. Все здесь бросим — зачем оно нам нужно! — и пойдем с одними котомками. Денег мало, но мама говорит, что свет не без добрых людей и потому она ничего не боится. Надо выходить, пока еще тепло и далеко до зимы. А может быть, где-нибудь удастся проехать и на поезде, хотя говорят, что поезда не ходят.

Костик, милый, хоть как-нибудь отзовись, дай нам знать, что с тобой и ждать ли тебя здесь. Мы сидим одни в этом лесу, как в берлоге, и не понимаем, как это до сих пор нас не убили».

Письмо это, как бритвой, полоснуло по сердцу. Надо было ехать. Но как? Как пробраться на Украину?

В то время Украина, Донбасс и Крым были уже заняты немецкой армией. В Киеве сидел придуманный немцами гетман Павло Скоропадский — длинноногий, лощеный и глуповатый офицер. Украинские газеты ставили ему в заслугу нелюбовь к декольтированным платьям. Больше за Скоропадским никаких примечательных качеств не числилось. Даже немцы грубо подсмеивались над этим липовым гетманом.

Чтобы получить из Комиссариата внутренних дел разрешение на выезд из Советской России, нужно было

потратить не меньше месяца. Кончался июль, и я рассчитал, что получу разрешение только в конце августа. А я знал характер мамы, знал, что в половине августа она, рискуя и своей и Галиной жизнью, все равно пойдет пешком в Москву, и потому мне нельзя было терять ни одного дня. Надо было уезжать немедленно.

Оказалось, что для выезда на Украину нужно еще разрешение украинского консула.

Я пошел в консульство. Оно помещалось во дворе большого дома на Тверской улице. Полинялый желто-голубой флаг вяло свешивался с древка, привязанного к перилам балкона.

На балконе сушилось белье и спал в коляске грудной ребенок консула. Старая нянька сидела на балконе, трясла коляску ногой и сонно пела:

> Прилетели гули,
> Притащили дули
> Для Петрика, Петрика,
> Для малого фендрика...

Выяснилось, что даже подойти к дверям консульства невозможно. Сотни людей сидели и лежали прямо на пыльной земле, дожидаясь очереди. Некоторые ждали уже больше месяца, слушая песенку о Петрике-фендрике, безуспешно заискивая перед консульской нянькой и шалея от полной неизвестности того, что с ними будет.

Надо было пробираться без разрешения.

Я узнал, что на Украину уезжает несколько петроградских журналистов из дешевых, так называемых бульварных, газет. У них документы были в порядке.

Кто-то из журналистов познакомил меня с петроградцами. Они, правда без особого удовольствия, согласились взять меня с собой и помочь на границе, но, как сказал их глава — желчный человек в серых гетрах и золотом пенсне,— «только до мыслимого предела». Что это был за «мыслимый предел», он не объяснил. Да я и сам знал, что если попадусь, то никто защищать меня не будет.

Отъезд был назначен через три дня. За эти три дня ничего не случилось, кроме того, что я узнал о приезде в Москву Романина. Я тотчас поехал на Якиманку в тот дом, где он жил, но какая-то сварливая женщина не пустила меня даже в переднюю и сказала, что Романин ночует здесь всего два-три раза в месяц.

Я оставил ему письмо, ушел и с тех пор потерял его след навсегда. И опять испытал знакомую горечь оттого, что беспрерывно теряю одного за другим тех людей, каких едва успеваю полюбить.

Поток людей катился мимо, и ни один человек не остался со мной хотя бы на несколько лет. Люди мелькали, быстро уходили, и я знал, что вряд ли встречу их еще раз. И, очевидно, в виде утешения мне приходили на память слова Лермонтова про «жар души, растраченный в пустыне».

Перед отъездом я обошел все любимые московские места. Из Ноевского сада я смотрел на Кремль. Над ним быстро опускалась гроза. Купола соборов тлели темным пламенем, предгрозовой ветер раздувал красные флаги, желтый облачный вал озарялся изнутри проблесками молний.

Внезапно, вырвавшись из тесного города, прокатился над головой гром. Ливень зашумел в деревьях.

Я спрятался в пустой оранжерее. На полке стоял единственный вазон цветущей пеларгонии, покрытой болезненным румянцем. Я потрогал этот забытый или нарочно оставленный здесь цветок. Он тянулся всеми листочками и венчиками к озону, к благодатным струям дождя, что лились на другие цветы-счастливцы, выставленные наружу.

Я вынес цветок под дождь. Он затрепетал под ударами дождевых капель. Казалось, он оживал на глазах.

Он был для меня частицей моей любви к России, этот цветок. Воспоминание о нем вязалось с моими последними днями в Москве. Я уезжал в неизвестность, не подозревая, конечно, что вернусь только через пять лет и меня ждет жизнь, настолько похожая на выдумку, что я даже буду побаиваться писать о ней.

В предыдущих главах я рассказал только о том, что сам видел и слышал. Поэтому в них нет многих известных событий тех лет. Но я пишу только свое свидетельство и никоим образом не собираюсь, да и не могу дать в этой книге широкую картину первых революционных времен.

Довольно давно я начал писать эту повесть о своей жизни. Мне много лет, а повесть я довел пока что до того времени, когда был еще юношей.

Не знаю, успею ли я ее написать. Если бы я мог сбро-

сить со счетов еще лет десять, то мне хватило бы времени, чтобы написать еще и вторую повесть, может быть более интересную, чем первая,— вторую книгу о своей жизни. Но не о той жизни, какая на самом деле была, а о той, какой она должна была и могла бы быть, если бы создание собственной жизни зависело только от меня, а не от ряда внешних и зачастую враждебных обстоятельств.

Это была бы повесть о том, что не сбылось, о всем, что властвовало над моим сознанием и сердцем, о той жизни, что собрала в себе все краски, весь свет и все волнение мира.

Я вижу многие главы этой книги так ясно, будто я пережил их несколько раз.

ТЕПЛУШКА РИГО-ОРЛОВСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ

С детства я отличался пристрастием к железным дорогам. Возможно, потому, что мой отец был железнодорожником.

Выражалось это пристрастие, конечно, по-мальчишески. Когда наша семья проводила лето где-нибудь вблизи железной дороги, я часами пропадал на соседней станции и обязательно встречал и провожал вместе с дежурным в красной шапке все поезда.

Все, связанное с железной дорогой, до сих пор овеяно для меня поэзией путешествий, даже запах каменноугольного дыма из паровозных топок.

Я с восхищением смотрел на зеленый маслянистый паровоз, когда он, все медленнее качая блестящие стальные шатуны, останавливался около водокачки и равномерно швырял в небо свистящую струю стремительного пара, как бы отдуваясь после утомительного перегона.

Я представлял себе, как этот паровоз прорывался железной грудью сквозь ветры, ночь и густые леса, сквозь цветущую пустыню земли и его гудок уносился далеко от дороги, может быть, в лесную сторожку. А в этой сторожке такой же мальчик, как я, тоже представлял себе, как сквозь ночь пролетает по пустошам огненный экспресс и лисица, поджав лапу, смотрит издали на него и тявкает от непонятной тоски. А может быть, от восхищения.

Когда отходил пассажирский поезд, на станции делалось тихо и сонно. Вступала в свои права жаркая станционная скука. Из зеленой кадки на платформе капала теплая вода. Куры нахально рылись на путях. Цветы табака в палисаднике закрывались до вечера. Утомительно блестели рельсы, отполированные сотнями вагонных колес. К буфету товарного вагона, стоявшего на запасном пути, была привязана рыжая лошаденка, запряженная в телегу. Она спала, но время от времени сильно подрагивала кожей на спине, чтобы отогнать назойливых мух.

Потом издалека доносился яростный дрожащий гудок. Это шел без остановки товарный поезд. За станцией высокое полотно дороги уходило дугой в сосновый лес. Поезд вырывался из леса всегда неожиданно и несся к станции, накренившись и изгибаясь на закруглении.

Мне казалось, что более красивого зрелища я никогда не видел. Горы плотного пара вылетали из трубы. Паровоз кричал долго и тревожно. Поезд с размаху влетал на станцию и проносился, как головокружение,— с железным лязгом, торопливым перебоем колес и дикими вихрями пыли. Казалось, еще немного — и он подымет на воздух и унесет, как сухие листья, всех людей на станции. И в первую очередь, конечно, дежурного в красной шапке.

Товарные вагоны быстро мелькали. От них рябило в глазах, но я успевал иногда заметить на стенках вагонов белые буквы, обозначавшие разные дороги: РО (Риго-Орловская), МКВ (Московско-Киево-Воронежская), ЮЗ (Юго-Западная), СПБВ (Санкт-Петербургско-Варшавская), РУ (Рязанско-Уральская), ПРИВ (Привислинская), МВР (Московско-Виндаво-Рыбинская), СВ (Сызрано-Вяземская), МХС (Московско-Харьковско-Севастопольская) и еще десятки других. Иногда попадались неизвестные дороги, какая-нибудь УСС или ПРИМ, и я узнавал у отца, что УСС — это Уссурийская дорога на Дальнем Востоке, а ПРИМ — Приморская — маленькая дорога от Петербурга до Сестрорецка, идущая по берегу Финского залива.

Что говорить! Я завидовал неодушевленным товарным вагонам за то, что они сами никогда не знали, куда их отправят: может быть, во Владивосток, а оттуда — в Вятку, из Вятки — в Гродно, из Гродно — в Феодосию, а из Феодосии — на станцию Навля — в самое сердце широкошумных Брянских лесов.

Если бы можно, я поселился бы в уголке любого товарного вагона и странствовал бы с ним. Какие прелестные дни я проводил бы на разъездах, где товарные поезда сплошь и рядом простаивают по нескольку часов. Я бы валялся около насыпи на теплой траве, пил бы чай с кондукторами на товарных площадках, покупал бы землянику у голенастых девчонок, купался бы в соседней речке, где прохладно цветут желтые кувшинки. А потом, в пути, сидел бы, свесив ноги, в открытых дверях вагона, ветер от нагретой за день земли ударял бы в лицо, на поля ложились длинные бегущие тени вагонов, и солнце, как золотой щит, опускалось бы в мглистые дали русской равнины, в тысячеверстные дали и оставляло бы на догорающем небе винно-золотистый свой след.

Я вспомнил свое детское увлечение товарными вагонами, когда разыскивал на запасных путях Брянского вокзала теплушку Риго-Орловской железной дороги за номером 717 802.

В ней я уже застал своих спутников — петроградцев. Они удобно устроились, пили чай на перевернутом ящике и рассказывали изысканные похабные анекдоты.

На меня они не обратили внимания, едва поздоровались и всячески старались показать, что они не хотят меня знать. Зачем же тогда они согласились взять меня с собой?

Я терялся в догадках. Неужели только для того, чтобы в случае опасности со стороны властей спасти себя, выдав меня с головой? Документы у них были в порядке, но мало ли что могло случиться. А вдруг власти к чему-нибудь придерутся. В этом случае такой человек, как я — без пропуска, без разрешения на выезд,— был для них просто находкой.

Я давал им возможность отвести от себя удар, разыграть полную преданность Советской власти и сказать: «Вот, товарищи, вы придираетесь к нам, честным советским людям, а между тем в теплушку затесался какой-то подозрительный тип без документов. Наш долг заявить вам об этом. Проверьте его».

Я гнал от себя эти мысли. Мне было стыдно за них. Пять лет назад я никогда бы так дурно не подумал о незнакомых людях. Но я не мог преодолеть недоверия к этим развязным журналистам. Особенное отвращение вызывал у меня короткий человечек с круглыми маслянистыми

глазами. Звали его Андрей Борелли, но, конечно, это был только его псевдоним для всяких спогсшибательных заметок. Между собой журналисты звали его Додей.

Он все время поддергивал короткие защитные брючки и смеялся, повизгивая и брызгая слюной. Лицо его было обтянуто поздреватой, серой, как каучук, кожей. Он непрерывно и глупо острил и каламбурил и обо всем говорил с липкой усмешечкой. Советскую Россию он называл «Совдепией», Москву — «красным первопрестольным пупом», большевиков — «товарищами переплетчиками».

Даже глава этой растленной шайки — желчный человек в серых гетрах — иногда не выдерживал и говорил, морщась:

— Вы — гений словоблудия, Додя. Перестаньте паясничать. Надоело!

— То, что бело,— вам надоело,— ни на минуту не задумываясь, каламбурил Додя,— а то, что красно,— для вас прекрасно!

Тогда желчный человек обещал немедленно вышвырнуть Додю из теплушки, и тот на минуту успокаивался.

Ночь прошла спокойно. Поезд едва тащился. Я не разговаривал со своими спутниками и придумывал какой-нибудь способ, чтобы перейти в другую теплушку. Но это было невозможно. Всюду ехали вооруженные красноармейцы и балтийские матросы, а в нескольких товарных вагонах везли кавалерийских лошадей.

На следующий день я заметил одно странное обстоятельство. К чемодану Доди был привязан синий эмалированный чайник — весь помятый и с отбитой эмалью.

Странным мне показалось, что мои спутники бегали на станциях за кипятком с большой жестяной кружкой. В чайник кипяток они не брали, хотя кружки им на всех явно не хватало.

Неожиданная развязка с чайником наступила на второй день пути. Поезд, поминутно останавливаясь, нерешительно втянулся на станцию Брянск. В двери к нам заглянул красноармеец из соседней теплушки.

— Братва,— сказал он,— понимаете, какая у нас петрушка случилась. Мы, халявы, чайник в дороге упустили. Казенный. Прямо хоть плачь! У вас нету лишнего чайничка?

— Нету! — отрезал Додя.— Сами из кружки пьем.

— Да вон же у вас эмалированный чайник привязан,— простодушно сказал красноармеец.— Одолжите на денек. Вернем в сохранности.

— Этот чайник нельзя,— злобно блеснув пенсне, ответил человек в гетрах.

Красноармеец обиделся.

— Чего ж это нельзя? — спросил он.— Он у вас золотой, что ли?

— Течет он, понимаешь? Течет! Никуда не годится. Весь дырявый.

Красноармеец понимающе усмехнулся.

— Чудилы! — сказал он все так же простодушно.— Приспичило вам таскать всякую заваль. Скажем, были бы люди бедные. А то ведь нет. Вот и чай с чистым сахаром пьете, а не с сахарином. Извиняюсь за беспокойство.

Красноармеец ушел. Путники мои переглянулись, и один из них сказал Доде свистящим шепотом:

— Кретин! Выставил свой чайник, как кукиш.

Они еще долго препирались вполголоса, потом навалили на чемодан с чайником тюк, а сверху положили пальто.

— В какой теплушке? — неожиданно спросил снаружи недовольный голос.— В этой, что ли?

— Так точно, товарищ комиссар. В Риго-Орловской.

Додя быстро наклонился к чайнику, схватил его, поставил к себе на колено и с натугой, покраснев так, что у него выступили на глазах слезы, отломал жестяной носик от чайника и сунул его в карман.

В теплушку влез, кряхтя, пожилой и недовольный комиссар. За ним влез знакомый красноармеец.

— Что тут у вас за волынка с чайником? — спросил комиссар.— Где тут чайник? Покажите.

Додя вытащил из-под тюка изуродованный чайник.

— А носик-то от чайника — тю-тю! — сказал красноармеец и свистнул.— Был тут намедни, а сейчас улетел, как та певчая птичка. Как та самая воздушная пленница.

Комиссар посмотрел на чайник, подумал, потом сказал красноармейцу:

— Ну-ка, сбегай, приведи двух человек из охраны.

Он повернулся к журналистам:

— Ваши документы.

Журналисты охотно достали документы, но руки у них все же дрожали. Комиссар терпеливо ждал. Он медленно просмотрел все документы и спрятал их к себе в карман куртки.

— У нас документы в полном порядке, товарищ комиссар,— сказал человек в гетрах.— Зачем же вы их отбираете?

— Вижу, что в порядке,— ответил комиссар и выжидательно повернулся ко мне.

— Вот, товарищ комиссар, какая история,— торопливо заговорил человек в гетрах.— В нашей теплушке оказался вот этот гражданин. Сел в Москве, хотя мы и возражали. Насколько мы знаем, у него нет ни пропуска, ни разрешения на переход границы. Его в первую очередь следовало бы проверить. Мы, как лояльные советские граждане, собирались заявить вам об этом. Да вот — не успели.

— А откуда вы заключили, господа лояльные советские граждане,— спросил комиссар,— что у него нет ни пропуска, ни разрешения? Вы его знаете?

— Нет, совершенно не знаем.

— Чтобы клепать — надо знать,— наставительно заметил комиссар.— А этих человечков с бриллиантами в носиках чайников мы уже выудили пять штук за неделю. Фантазия нужна в таких делах! Фантазия!

Комиссар постучал согнутыми пальцами по чайнику.

— Так вот, граждане, пожалуйте. Поговорим. Вещички пока оставим здесь. Сидоров, Ершиков,— сказал он двум вооруженным красноармейцам, стоявшим около теплушки,— взять их ко мне. А этого,— он показал на меня,— пока оставить. И смотрите, чтобы по дороге они ничего не выкинули из карманов. Понятно?

— Понятно! — охотно ответили красноармейцы.— Не первый раз, товарищ комиссар.

Журналистов увели. Комиссар ушел вслед за ними. Я остался в теплушке один. Вскоре красноармейцы вернулись и молча забрали вещи журналистов.

Я ждал. Прошел час. Из стоявшего неподалеку агитвагона вышел голый до пояса, заспанный босой человек с огромной всклокоченной шевелюрой и клочкастой бородой. Он вытащил из вагона лист фанеры, кисти и банки с красками, прислонил фанеру к вагону, поплевал на руки, взял кисть и одним махом нарисовал сажей толстяка в ци-

линдре. Из живота у толстяка, распоротого штыком, сыпались деньги.

Потом клочкастый человек почесал за ухом и написал сбоку на плакате красной краской:

Никогда буржуйское золотое пузо
Не ожидало такого конфуза.

Матросы в соседней теплушке загрохотали. Клочкастый человек не обратил на это никакого внимания, сел на ступеньку вагона и начал скручивать толстую папиросу из махорки.

В это время пришел красноармеец и потребовал меня к комиссару. Все было кончено. Я захватил свой чемодан, и мы пошли.

Комиссар помещался в товарном вагоне на заросшем одуванчиками запасном пути. В дверях вагона стоял чистенький пулемет.

Комиссар сидел за дощатым столом и курил. Он долго и задумчиво смотрел на меня.

— Выкладывайте,— сказал он наконец.— Куда держите путь и по какому случаю? И документы, кстати, покажите.

Я понял, что надо действовать начистоту. Я рассказал комиссару о своих злоключениях с разрешением на выезд.

— А что касается документов, то у меня самый важный документ — вот это письмо,— сказал я и положил на стол перед комиссаром письмо сестры Гали.— Других нет.

Комиссар поморщился и начал медленно читать письмо. Читая, он несколько раз взглянул на меня. Потом сложил письмо, всунул его в конверт и протянул мне.

— Документ подлинный,— сказал он.— Удостоверение какое-нибудь есть?

Я протянул ему удостоверение.

— Садитесь,— сказал он, достал бланк с печатью и начал что-то тщательно в него вписывать, изредка заглядывая в мое удостоверение.

— Вот! — сказал он наконец и протянул мне бланк.— Это вам разрешение на выезд!

— Спасибо,— сказал я растерянно, и голос у меня сорвался.

Комиссар встал и потрепал меня по плечу.

— Ну, ну! — сказал он смущенно.— Волноваться

вредно. Поклонитесь вашей матушке. Скажите, от комиссара Анохина Павла Захаровича. Удивительная старушка, должно быть. Ишь чего надумала — идти пешком в Москву.

Он протянул мне руку. Я крепко пожал ее, не в силах что-либо сказать. Он же поправил ременный пояс с маузером и заметил:

— А того субчика с бриллиантами в чайнике придется разменять. Остальных отпустили. Я распорядился перевести вас в другую теплушку. С ними вам ехать нельзя. Ну, счастливо. Так не забудьте поклониться вашей матушке.

Я ушел оглушенный. С невероятным трудом я сдерживал слезы. Красноармеец, провожавший меня в новую теплушку, это заметил.

— За такого комиссара,— сказал он,— две жизни отдать не жалко. Рабочий с Обуховского завода, петроградский. Ты запомни, как его зовут,— Анохин Павел Захарович. Может, еще где с ним и встретитесь.

Поместили меня в теплушку, где было всего два человека: пожилой певец и худенький болтливый подросток Вадик — нескладный, простодушный и отзывчивый мальчик. Оба они ехали из Петрограда, певец — к единственной дочери, работавшей врачом в Виннице, а Вадик — к маме в Одессу. В зимние каникулы 1917 года Вадик поехал из Одессы в Петроград погостить к деду и там застрял на полтора года. Все это происшествие казалось ему очень интересным.

Мы спокойно доехали до пограничной в то время между Россией и Украиной станции Зерново (Середина Буда).

Около Зернова поезд остановился ночью на полустанке на краю леса. Отсюда тянулись к северу Брянские леса, и здесь рядом находились те милые места, где я так часто бывал в детстве.

Не спалось. Мы с певцом выскочили из теплушки и пошли по проселочной дороге. Она тянулась по опушке леса в неясные ночные поля. Шуршали хлеба, низко над ними загорались и, подрожав розовым огнем, гасли зарницы.

Мы сели на старый, давным-давно поваленный бурей вяз у дороги. Такие одинокие обветренные вязы среди лугов и полей всегда почему-то напоминают крепких стариков в сермягах со спутанными ветром седыми бородами.

Певец, помолчав, сказал:

— Каждый по-своему верит в Россию. У каждого есть свое доказательство этой веры.

— А какое у вас доказательство?

— Я певец. Понятно, какое может быть у меня доказательство.— Он немного помолчал и вдруг запел печально и протяжно:

> Выхожу один я на дорогу;
> Сквозь туман кремнистый путь блестит;
> Ночь тиха. Пустыня внемлет богу,
> И звезда с звездою говорит.

Я давно считал, что нет ничего более гениального в русской поэзии, чем эти лермонтовские стихи. И, несмотря на слова Лермонтова, что он ничего не ждет от жизни и ничуть не жалеет о прошлом, было ясно, что сказал он об этом вопреки себе, именно потому, что жалеет о прошлом и ждет от жизни хотя бы обманчивых, но щемящих сердце мгновений.

Над хлебами пробежал ветер. Они заволновались с каким-то сыплющимся шелестом. Сильнее полыхнула зарница, и забормотал спросонок гром.

Мы пошли обратно к полустанку. Я сорвал в темноте какую-то травинку и только наутро увидел, что это душистая кашка, самый застенчивый и прелестный цветок русской земли.

НЕЙТРАЛЬНАЯ ПОЛОСА

Утром поезд пришел в Зерново. По теплушкам прошел пограничный контроль и проверил разрешения на выезд.

Нашу теплушку вместе с несколькими другими отцепили от поезда, и старый маневровый паровоз потащил нас к границе, к так называемой «нейтральной полосе». Двери в теплушках закрыли и поставили около них красноармейцев с винтовками.

Наконец поезд остановился. Мы вышли. Теплушки стояли в сухом поле возле путевой будки. Ветер нес пыль. Несколько крестьянских подвод было привязано к шлагбауму. Возчики — старики с кнутами — покрикивали: «Кому на ту сторону, на Украину? Пожалуйте!»

— Далеко? — спросил я старика с редкой бородкой.

— Да какое там далеко! Три версты, а там уже и немец. Поехали!

Мы сложили свои вещи на телегу, а сами пошли рядом. За нами потянулись остальные подводы. Позади я увидел своих спутников по теплушке Риго-Орловской дороги. Они шли за подводой и о чем-то возбужденно и радостно говорили. Доди с ними не было. Человек в серых гетрах совершенно дико выглядел здесь, среди полей, на дороге, где ветер крутил столбы пыли и орешник шумел листвой по оврагам.

Когда мы отъехали с километр, человек в гетрах остановился, повернулся к северу, к России, погрозил в ту сторону кулаком и грубо выругался. Возница испуганно взглянул на него и с сожалением покачал головой.

Я, кажется, упоминал где-то, что моя мать верила в закон возмездия. Никакой подлый, бесчеловечный или коварный поступок, говорила она, не остается неотмщенным. Рано или поздно, но возмездие придет. Я посмеивался над этим маминым суеверием, но в этот день почти поверил в закон возмездия.

Мы спустились в лощинку, поросшую орешником. Возчик наш начал нервничать и понукать лошаденку.

Мы миновали дно лощинки и начали подниматься по склону на противоположную сторону. В это время из орешника вышел человек в папахе и фиолетовых пыльных галифе. В опущенной руке он держал маузер. На груди у человека перекрещивались две холщовые ленты с патронами.

Вслед за человеком в галифе из кустов вышли несколько парней, одетых в шинели, бушлаты и вышитые украинские рубахи. Все они были с обрезами и шашками, а кое у кого на поясе висели ручные гранаты «лимонки».

Человек в фиолетовых галифе поднял маузер и выстрелил в воздух. Телеги тотчас остановились.

— Кто пропустил? — закричал человек в фиолетовых галифе плачущим голосом.

— Пограничный отряд,— растерянно ответил журналист в серых гетрах.

Человек в фиолетовых галифе вышел на дорогу как раз около подводы с вещами журналистов.

— В карман себе пропустил! — закричал человек в галифе.— Вещи осматривали?

— Осматривали.

— В карман себе осматривали! Документы смотрели?

— Смотрели.

— В карман себе смотрели. А ну, ребята, берись! Разом!

Парни начали сбрасывать с телег чемоданы. Журналист в гетрах закричал. Человек в фиолетовых галифе ударил его в зубы рукояткой маузера и сказал:

— Заработал? Так помолчи, буржуйское отродье, пока я не влепил тебе в котелок хорошую блямбу.

Человек в гетрах, прижав ко рту окровавленный платок, шарил в пыли на дороге, разыскивая сбитое пенсне.

Парни начали рубить шашками кожаные чемоданы. Они разрубали их очень умело и ловко — крест-накрест. Очевидно, открывать чемоданы или выламывать замки не было времени. Парни заметно торопились и все время посматривали в сторону советской границы.

Наш возчик тихонько тронул лошадь, незаметно проехал несколько шагов и остановился. Парни вытаскивали из чемоданов вещи, смотрели на свет рубахи и простыни и все ненужное швыряли в пыль.

— Шукают,— тихо объяснил нам возница.— Вы идите вперед, только тихонько, вон до того кустика. За ним поворот, и нас уже не будет видно. А я помалу подъеду,— может, они нас и не заметят.

Мы прошли за куст, а возница, то трогая лошадь, то останавливая ее, вскоре заехал за куст и после этого начал нахлестывать лошадь. Мы поднялись на изволок, и лошадь понеслась вскачь. Мы бежали за телегой минут десять. Потом возница остановился.

Мы закурили, и возница рассказал, что в нейтральной полосе бродит шайка атамана Козюбы и грабит всех проезжающих. В вещах ищут главным образом драгоценности и деньги. При этом сильно торопятся, так как хотя советским пограничникам и не полагается заходить в нейтральную полосу, но они время от времени налетают на бандитов и беспощадно их расстреливают.

Мы удрученно молчали. Никакой радости от того, что мы избавились от бандитов, у нас почему-то не было.

Дорога тянулась по обширной порубке среди пней. Садилось солнце. Красноватый его свет падал на вершины редких уцелевших сосен.

Я шел задумавшись. Внезапно я вздрогнул и поднял глаза от резкого металлического окрика:

— Хальт!

Посреди дороги стояли два немецких солдата в темных шинелях и стальных касках. Один из них держал под уздцы хилую, больную кострецом лошадь нашего возницы.

Немцы потребовали пропуск. У меня пропуска не было.

Приземистый немец, очевидно, догадался об этом по моему лицу. Он подошел ко мне, показал в сторону России и крикнул: «Цюрюк!»

— Дайте ему пять карбованцев царскими грошами,— сказал возница,— да и поедем далее до хутора Михайловского. Пусть, собака, не морочит нам голову.

Я протянул немцу десятирублевку. «Но! Но!» — закричал он раздраженно и затряс головой.

— Чего вы ему суете десятку,— рассердился возница.— Я же вам сказал: дайте пятерку. Они только их и берут. Потому что царские пятерки печатаются у них в Германии.

Я дал немцу пятирублевку. Он поднес палец к каске и махнул рукой:

— Фа-ар!

Мы поехали. Я оглянулся. Немцы крепко стояли среди песчаной дороги, расставив ноги в тяжелых сапогах, и, посмеиваясь, закуривали. Солнце поблескивало на их касках.

Острый комок подкатил к горлу. Мне показалось, что России нет и уже никогда не будет, что все потеряно и жить дольше ни к чему. Певец как будто угадал мои мысли и сказал:

— Боже милостивый, что же это такое случилось с Россией! Какой-то дрянной сон.

Вадик тоже остановился, посмотрел на немцев, углы губ у него опустились, задрожали, и он громко, по-детски заплакал.

— Ничего, хлопчик,— пробормотал возница.— Может, и не так скоро, а все одно отольются им наши слезы.

Он дернул за вожжи, и телега заскрипела по глубокому рыжему песку со следами немецких подкованных сапог.

На севере, где осталась Россия, густела над порубка-

ми розоватая вечерняя мгла. На обочине дороги цвела маленькими островками лиловая кашка. И почему-то от этого стало спокойнее на сердце. «Посмотрим, чья возьмет,— подумал я.— Посмотрим!»

«ГЕТМАН НАШ БОСЯЦКИЙ»

До поздней осени я прожил в Копани, потом уехал в Киев, чтобы устроиться там и перевезти в город маму и сестру.

Устроиться мне удалось не сразу. В конце концов я начал работать корректором в единственной более или менее порядочной газете «Киевская мысль». Когда-то эта газета знала лучшие дни. В ней сотрудничали Короленко, Луначарский и многие передовые люди. При немцах же и гетмане «Киевская мысль» тоже пыталась держать себя независимо, но это ей не всегда удавалось. Ее постоянно штрафовали и несколько раз угрожали закрыть.

Я снял две тесные комнаты в небольшом доме около Владимирского собора у чрезмерно чувствительной старой девы — немки Амалии Кностер. Но привезти маму и Галю в Киев мне не удалось,— внезапно город был обложен петлюровцами. Они начали правильную его осаду.

Окна моей комнаты выходили в сторону Ботанического сада. Утром я просыпался от канонады, непрерывно обегавшей по кругу весь Киев.

Я вставал, затапливал печку, смотрел на Ботанический сад, где от орудийных ударов с веток осыпался иней, потом снова ложился, читал или думал. Мохнатое зимнее утро, треск поленьев в печке и гул орудийной стрельбы — все это создавало хотя и не совсем обыкновенное и непрочное, но все же состояние странного покоя.

Голова была свежая, мылся я ледяной водой из крана. Запах кофе из комнаты девицы Кностер почему-то вызывал представление о сочельнике.

В то время я начал много писать. Как это ни странно, мне помогала осада. Город был сжат кольцом, и так же были сжаты мои мысли.

Сознание, что Киев отрезан от мира, что из него никуда нельзя выехать, что осада, очевидно, будет длиться долго, что теперь уже ничего не поделаешь и нужно толь-

ко ждать,— это сознание придавало жизни легкость и беззаботность.

Даже девица Амалия Кностер привыкла к канонаде, как к устойчивому распорядку суток. Когда огонь изредка затихал, она нервничала. Тишина предвещала неожиданности, а это было опасно.

Но вскоре тихий гром снова начинал опоясывать город, и все успокаивались. Опять можно было читать, работать, думать, снова закономерной чредой приходило пробуждение, работа, голод (вернее — впроголодь) и освежающий сон.

У Амалии я был единственным постояльцем. Она сдавала комнаты только одиноким мужчинам, но без всяких лукавых намерений. Просто она терпеть не могла женщин. Она тихо влюблялась по очереди в каждого жильца, но ничем не выражала эту влюбленность, кроме мелких забот или внезапного тяжелого румянца. Он заливал ее длинное желтое лицо при любом слове, которое могло быть истолковано как намек на опасную область любви или брака.

Она восторженно отзывалась обо всех прежних жильцах и искренне огорчалась тем, что все они, будто сговорившись, переженились на злых и жадных женщинах и после этого съехали с квартиры.

В прошлом Амалия была гувернанткой в богатых киевских домах, скопила немного денег и наняла квартиру. Жила она тем, что сдавала комнаты и шила белье.

Но, несмотря на бывшую профессию гувернантки, чопорности у Амалии не было. Вообще, она была доброй, скучной и одинокой женщиной.

В Амалии меня удивляло то обстоятельство, что к немцам, занимавшим Киев, она, сама немка, относилась враждебно и считала их грубиянами.

Ко мне она относилась с несколько застенчивой симпатией, очевидно, за то, что я читаю и пишу по ночам. Она считала меня писателем и даже решалась изредка заводить со мной разговор о литературе и своем любимом писателе Шпильгагене. Она сама прибирала мою комнату. Потом я находил в книгах то засушенные цветы, то открытку с пышной георгиной. Но в своем внимании Амалия не была назойливой, и дружба наша ни разу не нарушалась.

Только по большим праздникам к ней приходили под-

руги — престарелые бонны-немки и швейцарки в тальмах с атласными завязками, с ридикюлями и в гамашах.

Амалия вытаскивала стопки салфеточек с вышитыми котятами, мопсами, анютиными глазками и незабудками, раскладывала все это богатство на столе и подавала знаменитый базельский кофе (она была родом из Базеля).

Бонны ели и пили весьма деликатно и вели беседу, сплошь состоящую из восклицаний удивления и ужаса.

В это избранное общество допускался только один мужчина — комендант дома, он же счетовод Юго-Западной дороги,— человек с пышной фамилией — пан Себастиан Ктуренда-Цикавский.

То был всегда петушащийся, стриженный ежиком человечек с нафабренными усиками сутенера и маленькими, как пуговки, заносчивыми глазами. Он носил кургузый синий пиджак в табачную полоску с пришитым к грудному карману лоскутком лиловой шелковой материи, символически заменявшим засунутый якобы в этот карман франтоватый платок. Кроме того, он носил розовые воротнички из целлулоида и галстук бабочкой. Всегда нечистые, эти воротнички из целлулоида назывались в то время «счастьем холостяка». Мыть их было нельзя. Грязь стирали с них обыкновенной школьной резинкой.

От пана Ктуренды исходил сложный запах усатина, табачного перегара и самогона. Мутный этот самогон он гнал из пшена в своей полутемной комнате.

Ктуренда был холостяком и жил с матерью — робкой старушкой. Она боялась сына, особенно его учености. Пан Ктуренда любил поражать этой ученостью жильцов нашего дома и выражал ее несколько витиевато.

— Имею вам сказать,— говорил он таинственно,— что книга Вейнингера «Пол и характер» есть фиксация сексуального вопроса в его наилучшем аспекте.

В своих беседах у Амалии пан Ктуренда сексуальных вопросов не касался, но приводил в трепет гувернанток рассуждениями о божественном происхождении власти «ясновельможного пана гетмана Скоропадского».

Я видел в жизни много дураков, но такого непробиваемого идиота еще никогда не встречал.

Жизнь в Киеве в то время напоминала пир во время чумы. Открылось множество кофеен и ресторанов, где сладостей и еды хватало не больше чем на тридцать посетителей. Но внешне все производило впечатление потре-

панного богатства. Население города почти удвоилось за счет москвичей и петроградцев. В театрах шли «Ревность» Арцыбашева и венские оперетты. По улицам проезжали патрули немецких улан с пиками и черно-красными флажками.

Газеты скупо писали о событиях в Советской России. Это была беспокойная тема. Ее предпочитали не касаться. Пусть всем кажется, что жизнь течет безоблачно.

На скетинг-ринге катались на роликах волоокие киевские красавицы и гетманские офицеры. Развелось много игорных притонов и домов свиданий. На Бессарабке открыто торговали кокаином и приставали к прохожим проститутки-подростки.

Что делалось на заводах и рабочих окраинах, никто не знал. Немцы чувствовали себя неуверенно. Особенно после убийства генерала Эйхгорна.

Казалось, что Киев надеялся беспечно жить в блокаде. Украина как бы не существовала — она лежала за кольцом петлюровских войск.

По вечерам я иногда ходил в литературно-артистическое общество на Николаевской улице. Там в ресторане выступали с эстрады бежавшие с севера поэты, певцы и танцоры. Пьяные вопли прерывали тягучее скандирование стихов. В ресторане всегда было душно, и потому, несмотря на зиму, иногда приоткрывали окна. Тогда вместе с морозным воздухом в освещенный зал влетал и тут же таял снег. И явственней была слышна ночная канонада.

Однажды в литературно-артистическом обществе пел Вертинский. До тех пор я не слышал его с эстрады. Я помнил его еще гимназистом, молодым поэтом, писавшим изысканные стихи.

В тот вечер в окна летел особенно крупный снег и, кружась, долетал даже до рояля, отражавшего многоцветную люстру. Канонада заметно приблизилась. От нее звенели бокалы на столиках. Этот тревожный плач стекла как бы предупреждал людей об опасности. Но за столиками курили, спорили, чокались и смеялись. Особенно заразительно смеялась молодая женщина в вечернем платье с узкими, как у египтянки, глазами. Снег таял у нее на обнаженной спине, и каждый раз она вздрагивала и оглядывалась, как будто хотела увидеть этот тающий снег.

На эстраду вышел Вертинский в черном фраке. Он был высок, сухощав и непомерно бледен. Все стихло. Офи-

цианты перестали разносить на подносах кофе, вино и закуски и остановились, выстроившись в шеренгу, в глубине зала.

Вертинский сцепил тонкие пальцы, страдальчески вытянул их вниз перед собой и запел. Он пел о юнкерах, убитых незадолго до этого под Киевом в селе Борщаговке, о юношах, посланных на верную смерть против опасной банды.

> Я не знаю, зачем и кому это нужно?
> Кто послал их на смерть беспощадной рукой?

Песня была о похоронах юнкеров. Вертинский закончил ее словами:

> Утомленные зрители молча кутались в шубы,
> И какая-то женщина с исступленным лицом
> Целовала покойника в посиневшие губы
> И швырнула в священника обручальным кольцом.

Он пел о подлинном случае, бывшем на похоронах юнкеров.

Загремели аплодисменты. Вертинский поклонился. Пьяный офицер, сидевший за дальним столиком, тупо крикнул:

— Пой «Боже царя храни»!

Поднялся шум. Худой старик с острой трясущейся бородкой, в пенсне и блестящем от старости пиджаке бросился к офицеру. Человек этот был похож на учителя. Он начал стучать по мраморному столику офицера маленькими худыми кулаками и кричать, брызгая слюной:

— Гвардейская нечисть! Как вы смеете оскорблять людей свободной России! Вам место на фронте против большевиков, а не здесь! Ресторанный шаркун!

Все вскочили. Худой старик рвался в драку с офицером, но его схватили за руки и оттащили. Офицер налился черной кровью, медленно встал, отшвырнул ногой стул и схватил за горлышко бутылку.

Официанты бросились к нему. Женщина в вечернем платье вскрикнула и закрыла ладонями лицо.

Вертинский сильно ударил по клавишам и поднял руку. Сразу все стихло.

— Господа! — произнес ясно и надменно Вертинский.— Это просто бездарно!

Он повернулся и медленно ушел со сцены. Человека в пенсне отпаивали водой. Офицер как ни в чем не бывало сел за столик и сказал в пространство:

— Бил и буду бить жидов до гробовой доски. Я тебе покажу гвардейскую нечисть, Мовшензон из Гомеля-Гомеля.

Снова начинался скандал. В зале появился патруль гетманских гвардейцев-сердюков с желто-голубыми повязками на рукавах.

Я вышел на улицу. Я шел и зло ругал себя. Сколько нечисти в гвардейских погонах, в розовых целлулоидовых воротничках или тяжелых немецких шлемах расплодилось вокруг в моей стране. У меня было, как мне казалось, слабое оправдание,— я много писал и поэтому жил двойной жизнью. Вымышленный мир захлестывал меня, и я не мог ему противиться.

Мои тогдашние писания были больше похожи на живописные и никому не нужные исследования. В них не было цельности, но было много легкости и беспорядочного воображения.

Я мог, например, часами описывать разнообразный блеск, где бы он ни присутствовал,— в осколке бутылки, медном поручне на пароходном трапе, в оконных стеклах, стакане, росе, перламутровой раковине и человеческих зрачках. Все это соединялось в неожиданные для меня самого картины.

Подлинное воображение требовало резкости, четкости, но это удавалось мне редко. Большей частью картины эти были расплывчаты. Я в ту пору мало бился над тем, чтобы придать им ясность реальности, и забывал о грубой жизни.

В конце концов у меня самого создался непреложный канон этих описаний. Но вскоре я открыл, что перечитывать их подряд — скучно и приторно. Я испугался. Сила и строгость, необходимые прозе, превращались в шербет, в рахат-лукум, в лакомство. Они были очень липкие, эти словесные шербеты. От них трудно было отмыться.

Отмывался я от туманной и цветистой прозы с ожесточением, хотя и не всегда удачно.

К счастью, эта полоса быстро прошла, и почти все написанное в то время я уничтожил. Но даже сейчас я иногда ловлю себя на пристрастии к нарядным словам.

Вскоре все мои писания и сомнения были прерваны неожиданным образом.

Петлюра все туже затягивал петлю вокруг Киева. Тогда гетман Скоропадский выпустил приказ о мобили-

зации всех без исключения мужчин от восемнадцати до тридцати пяти лет. За неявку мобилизованных должны были отвечать своей головой коменданты домов. В приказе было просто сказано, что в случае «сокрытия» мужчин этого возраста коменданты домов будут беспощадно расстреливаться.

Приказ был расклеен по городу. Я равнодушно прочел его. Я считал себя гражданином Российской Федеративной Республики и потому никаким гетманским приказам не должен был, да и не хотел подчиняться.

Поздним зимним вечером я возвращался домой из типографии. Дул холодный ветер. Тополя на Бибиковском бульваре заунывно гудели.

В палисаднике около дома стояла женщина, закутанная в теплый платок. Она быстро подошла ко мне и схватила за руку. Я отшатнулся.

— Тише! — сказала женщина, и я узнал прерывающийся от волнения голос Амалии.— Пойдемте отсюда.

Мы пошли к Владимирскому собору. Неуклюжие контрфорсы подпирали его тяжелые стены.

Мы остановились за одним из контрфорсов, где не было ветра, и Амалия сказала быстрым шепотом, хотя вокруг не было ни души:

— Слава богу, что вас не было целый день. Он сидит в передней с десяти часов утра. И никуда не уходит. Это ужасно!

— Кто?

— Пан Ктуренда. Он караулит вас.

— Зачем?

— Ах, господи! — воскликнула Амалия и умоляюще подняла к груди руки, спрятанные в маленькую муфту.— Бегите! Я прошу вас. Не возвращайтесь домой. Я дам вам адрес моей подруги — такой доброй старушки, каких больше уже не будет на свете. Я приготовила ей письмо. Идите к ней. Это далеко, на Глубочице, но там лучше. Она живет одна в своем маленьком доме. Она спрячет вас. А я буду приносить вам каждый день чего-нибудь поесть, пока опасность не пройдет.

— Что случилось? — сказал я.— Я ничего не понимаю.

— Разве вы не читали приказ гетмана?

— Читал.

— Ктуренда пришел за вами. Чтобы сдать вас в армию.

Тут только я все понял.

— Он плачет,— сказала холодным голосом Амалия.— Он весь мокрый от слез и говорит, что если вы сбежите, то его завтра в десять часов утра расстреляют, как последнего бандита.

Она вынула из муфты письмо и засунула его в карман моего пальто.

— Идите!

— Спасибо, Амалия Карловна! Мне ничто не грозит. Я подданный Российской Федерации. На гетманские приказы мне наплевать.

— Господи, как хорошо! — громко сказала Амалия, не заметив или простив мне такое грубое слово, как «наплевать». Она прижала муфту к груди и засмеялась.— Я же не знала этого. Значит, и его теперь не тронут.

— Ничего не будет. Завтра я пойду с Ктурендой на призывной пункт, и меня тут же отпустят.

— Ну, хорошо,— согласилась, успокоившись, Амалия.— Пойдемте домой. Я войду первая, а вы — через две-три минуты после меня, чтобы он не догадался. Ох, как я устала!

Я впервые взял ее под руку, чтобы помочь ей идти. Я чувствовал, как она дрожит.

Я подождал на лестнице несколько минут и после этого вошел в квартиру. В передней сидел на стуле пан Ктуренда. Он бросился ко мне, вцепился в мои руки своими куриными лапами и забормотал дрожащим голосом:

— Во имя Иисуса Христа, не убивайте меня! Я жду вас целый день. Имейте сожаление если не ко мне, то к моей мамусе.

Я сказал, что завтра утром пойду с ним на призывной пункт, но меня, конечно, отпустят, как русского подданного.

Пан Ктуренда всхлипнул, быстро нагнулся и сделал попытку поцеловать мне руку. Я вырвал ее. На пороге стояла Амалия и прищуренными глазами смотрела на пана Ктуренду. Таких глаз я у нее еще не видел. И я вдруг подумал, что если бы я бежал по совету Амалии, то этого жалкого человечка действительно могли бы расстрелять. Я подумал об этом и подивился спокойной жестокости этой чрезмерно чувствительной женщины.

Пан Ктуренда ушел, посылая благословения на мою голову. При этом он выражал живейшую уверенность, что меня, конечно, отпустят, потому что «пану гетману» совсем неинтересно держать в своей армии людей из красной Москвы.

Когда я, умывшись под краном в кухне, шел к себе в комнату, в коридоре меня остановила Амалия.

— Ни слова! — сказала она таинственно, взяла меня за руку и на цыпочках повела через маленькую гостиную в темную переднюю. Там она показала на дверь и слегка нажала мне на плечо, требуя, чтобы я заглянул в замочную скважину.

Я заглянул. На площадке лестницы на ящике из-под яиц сидел пан Ктуренда и беззвучно зевал, прикрыв рот рукой. Он, конечно, не поверил мне и решил сторожить меня до утра.

— Животное! — тихо сказала Амалия, когда мы вышли из передней в гостиную.— А я еще пускала его к себе в дом. Я его возненавидела так, что у меня леденеет голова. Завтрак на утро я оставила вам в кухонном шкафчике.

Утром ровно в восемь часов Ктуренда позвонил у дверей. Я открыл ему. Красные его глаза слезились. Галстук «бабочка» опустил измятые крылышки и приобрел совершенно жалкий вид.

Мы пошли на призывной пункт на Галицком базаре. Пан Ктуренда, сославшись на головокружение, крепко держал меня под руку. Он явно опасался, что я брошусь в первый же проходной двор.

На призывном пункте пришлось стоять в очереди. Коменданты домов с толстыми домовыми книгами суетились около мобилизованных. Вид у комендантов был виноватый и заискивающий. Они усиленно угощали мобилизованных папиросами, просто навязывали им папиросы и поддакивали всем их разговорам, но ни на миг не отходили от своих подопечных.

В глубине комнаты, вонявшей кухней, сидел за столом гетманский офицер с желто-голубыми погонами. Он тряс под столом ногой.

Передо мной стоял небритый хилый юноша в очках. Он ждал понуро и молча. Когда очередь дошла до него, то на вопрос офицера о профессии он ответил:

— Я гидрограф.

— Граф? — переспросил офицер, откинулся на стуле и с нескрываемым удовольствием посмотрел на юношу.— Редкая птица! Были у меня дворяне и даже бароны, но графов еще не было.

— Я не граф, а гидрограф.

— Молчать! — спокойно сказал офицер.— Все мы графы. Знаем мы этих графов и этих гидро-графов. За глупые разговоры вы у меня попотеете в хозяйственной команде.

Юноша только пожал плечами.

— Следующий!

Следующим был я.

Я показал офицеру свои документы и твердо сказал, что я, как гражданин Российской Советской Федерации, призыву в гетманскую армию не подлежу.

— Какой сюрприз! — сказал офицер и, гримасничая, поднял брови.— Я просто очарован вашими словами. Если бы я знал, что вы соблаговолите явиться, то вызвал бы военный оркестр.

— Ваши шуточки не имеют отношения к делу.

— А что имеет? — зловеще спросил офицер и встал.— Может быть, вот это?

Он сложил кукиш и поднес его к моему лицу.

— Дулю! — сказал он.— Дулю с маком стоит ваше советско-еврейское подданство. Мне начхать на него с высокого дерева.

— Вы не смеете так говорить! — сказал я, стараясь быть спокойным.

— Каждый тычет мне в глаза это «не смеете»,— грустно заметил офицер и сел.— Хватит! Из уважения к вашему липовому подданству я назначаю вас в сердюцкий полк. В гвардию самого пана гетмана. Благодарите бога. Документы останутся у меня. Следующий!

Во время этого разговора с гетманским офицером пан Ктуренда исчез. Нас, мобилизованных, повели под конвоем в казармы на Демиевке.

Вся эта комедия, подкрепленная солдатскими штыками, была так нелепа и неправдоподобна, что горечь от нее я впервые ощутил только в холодной казарме. Я сел на пыльный подоконник, закурил и задумался. Я готов был принять любую опасность, тяжесть, но не этот балаган с гетманской армией. Я решил осмотреться и поскорее бежать.

Но балаган оказался кровавым. В тот же вечер были застрелены часовыми два парня из Предмостной слободки за то, что они вышли за ворота и не сразу остановились на окрик.

Голос канонады крепчал. Это обстоятельство успокаивало тех, кто еще не потерял способности волноваться. Канонада предвещала неизвестно какую, но близкую перемену. Лозунг «Хай гирше, та инше» был в то время, пожалуй, самым популярным в Киеве.

Большинство мобилизованных состояло из «моторных хлопцев». Так называли в городе хулиганов и воров с отчаянных окраин — Соломенки и Шулявки.

То были отпетые и оголтелые парни. Они охотно шли в гетманскую армию. Было ясно, что она дотягивает последние дни, и «моторные хлопцы» лучше всех знали, что в предстоящей заварухе можно будет не возвращать оружия, свободно пограбить и погреть руки. Поэтому «моторные хлопцы» старались пока что не вызывать подозрений у начальства и, насколько могли, изображали старательных гетманских солдат.

Полк назывался «Сердюцкий его светлости ясновельможного пана гетмана Павло Скоропадского полк».

Я попал в роту, которой командовал бывший русский летчик — «пан сотник». Он не знал ни слова по-украински, кроме нескольких команд, да и те отдавал неуверенным голосом. Прежде чем скомандовать «праворуч» («направо») или «ливоруч» («налево»), он на несколько мгновений задумывался, припоминая команду, боясь ошибиться и спутать строй. Он с открытой неприязнью относился к гетманской армии. Иногда он, глядя на нас, покачивал головой и говорил:

— Ну и армия ланцепупского шаха! Сброд, шпана и хлюпики!

Несколько дней он небрежно обучал нас строю, обращению с винтовкой и ручными гранатами. Потом нас одели в зелено-табачные шинели и кепи с украинским гербом, в старые бутсы и обмотки и вывели на парад на Крещатик, пообещав на следующий же день после парада отправить на петлюровский фронт.

Мы вместе с другими немногочисленными войсками проходили по Крещатику мимо здания городской думы, где еще мальчишкой я попал под обстрел. Все так же на

шпиле над круглым зданием думы балансировал на одной ноге золоченый архистратиг Михаил.

Около думы верхом на гнедом английском коне стоял гетман в белой черкеске и маленькой мятой папахе. В опущенной руке он держал стек.

Позади гетмана застыли, как монументы, на черных чугунных конях немецкие генералы в касках с золочеными шишаками. Почти у всех немцев поблескивали в глазах монокли. На тротуарах собрались жидкие толпы любопытных киевлян.

Части проходили и нестройно кричали гетману «слава!». В ответ он только подносил стек к папахе и слегка горячил коня.

Наш полк решил поразить гетмана. Как только мы поравнялись с ним, весь полк грянул лихую песню:

Милый наш, милый наш,
Гетман наш босяцкий,
Гетман наш босяцкий —
Павло Скоропадский!

«Моторные хлопцы» пели особенно лихо — с присвистом и безнадежным залихватским возгласом «эх!» в начале каждого куплета:

Эх, милый наш, милый наш
Гетман Скоропадский,
Гетман Скоропадский,
Атаман босяцкий.

«Хлопцы» были обозлены тем, что нас так скоро отправляют на фронт, и вышли из повиновения.

Скоропадский не дрогнул. Он так же спокойно поднял стек к папахе, усмехнулся, как будто услышал милую шутку, и оглянулся на немецких генералов. Их монокли насмешливо блеснули, и только по этому можно было судить, что немцы, пожалуй, кое-что поняли из слов этой песни. А толпы киевлян на тротуарах приглушенно шумели от восхищения.

Нас подняли еще в темноте. На востоке мутно наливалась ненужная заря. В насупленном этом утре, в керосиновом чаду казармы, жидком чае, пахнувшем селедкой, в вылинявших от тихого отчаяния глазах «пана сотника» и мокрых холодных бутсах, никак не налезавших на ноги, была такая непроходимая и бессмысленная тоска, такой

великий и опустошающий сердце неуют, что я решил непременно сегодня же бежать из «Сердюцкого его светлости ясновельможного пана гетмана полка».

На поверке оказалось, что двенадцати человек уже не хватает. Летчик безнадежно махнул рукой и сказал:

— А ну вас всех к чертовой матери! Стройся!

Мы кое-как построились.

— Кроком руш! — скомандовал летчик, и мы, поеживаясь, вышли из сырого и сомнительного тепла казармы в резкий воздух раннего зимнего утра.

— А где же тот самый фронт? — удивленно спросил из задних рядов заспанный голос.— Мы что же, так и попремся на него пешим порядком?

— Про бордель мадам Цимкович ты слышал? На Приорке? Так вот там — самый фронт. Ставка верховного командующего.

— Вы бы помолчали,— просительно сказал «пан сотник».— Ей-богу, слушать противно. И вообще в строю разговаривать не полагается.

— Мы сами знаем, что полагается, а чего не полагается.

«Пан сотник» только вздохнул и отошел немного в сторону подальше от строя. Он явно побаивался «моторных хлопцев».

— Продали Украину за бутылку шнапса,— сказал сердитый бас.— А ты теперь меси этот снег с лошадиным дерьмом. Безобразие!

— Погнать их всех к бисовому батькови — и годи!

— Кого это всех?

— А так — всех! И того Петлюру, и того собачьего гетмана, и скрозь — всех! Дайте людям дыхать спокойно.

— Пан сотник, что ж вы, в самом деле, молчите, как засватанный? Где фронт?

— За Приоркой,— неохотно ответил летчик.— Под Пущей Водицей.

— Тю-ю-ю! Бодай бы тебе добра не было! Так то ж шагать десять верст.

— Ничего,— ответил летчик.— Нас довезут.

По рядам прошел смешок.

— На чем же это, интересно?

— А вот увидите.

— В царских ландо довезут. Такие мы есть беззаветные герои, что иначе и быть не может.

До сих пор я не понимаю, в силу какой тупой инерции мы всё шли и шли, хотя каждый из нас, в том числе и «пан сотник», понимали, что идти на фронт бессмысленно и что мы можем сейчас же спокойно и без всяких последствий разойтись по домам.

Но мы все же шагали и спустились на Подол, на Контрактовую площадь. Там начиналась мирная утренняя жизнь — шли в гимназию мальчики в серых шинелях, звонили к службе в Братском монастыре, бабы в сапогах гнали тощих коров, открывались замызганные парикмахерские, и дворники сметали с тротуаров серую снежную жижу.

На Контрактовой площади стояло два старых открытых вагона трамвая.

— По вагонам! — неожиданно оживившись, крикнул летчик.

Рота в недоумении остановилась.

— Сказано — по вагонам! — рассердился летчик.— Я же говорил, что нас довезут. Это воинские трамваи.

Сердюки весело загалдели.

— Культурно воюем!

— Ну и чудасия отца Гервасия! На фронт в трамвае.

— Вали, хлопцы! Не задерживай.

Мы быстро заняли вагоны трамвая, и они, дребезжа и тоненько позванивая, потащились по булыжному Подолу и унылой Приорке к Пуще Водице.

За Приоркой вагоны остановились. Мы вышли и вразброд пошли вслед за летчиком по улочкам с кривыми лачугами и по заснеженным пустырям, где дымились кучи навоза. Впереди чернел огромный вековой парк. Это была знаменитая дача «Кинь грусть», хорошо знакомая мне еще с детства.

На опушке парка по снежному склону были вырыты окопы с ходами сообщения, блиндажами и «лисьими норами». Окопы неожиданно понравились сердюкам, укрытие было надежное.

Блиндаж занял летчик, а две «лисьих норы» тотчас захватили «моторные хлопцы». Через несколько минут они уже резались там за дощатыми топчанами в «железку».

Я стоял на наблюдательном посту. Впереди за широким полем зеленел отсыревший от теплого ветра сосновый лес в Пущей Водице. Оттуда лениво постреливали петлю-

ровцы (мы называли их «сечевиками»). Пули тихонько и безопасно посвистывали над головой, а иногда чмокали в бруствер.

Летчик приказал не высовываться над бруствером и на огонь петлюровцев не отвечать.

Направо над Днепром висело оловянное небо и уходила в лес рыжая от навоза полевая дорога. Налево со стороны Святошина слышалась сильная артиллерийская стрельба.

Сколько я ни вглядывался в лес, надеясь увидеть хоть одного петлюровца, я никого не заметил. Хотя бы пошевелился какой-нибудь куст. Но и этого тоже не было.

Стоять было скучно. Я закурил. Недавно я достал три пачки одесских папирос «Сальве» и очень этим гордился. Папиросы были толстые, крепкие и душистые.

Я курил и от нечего делать перебирал в памяти свою жизнь за последние годы. Картина получалась пестрая.

Я думал о том, что пора внести в жизнь хотя бы относительный порядок и подчинить ее своему стремлению стать писателем. Мне было двадцать шесть лет, а я ничего еще толком не написал,— все какие-то отрывки, наброски и упражнения. Нужно добиться целеустремленности, отказаться от случайного.

Мне показалось, что нечто неясное, едва заметное движется направо, за полевой дорогой. Там было старое кладбище. На одном из могильных холмов стоял покосившийся крест. И вдруг этот хмурый день и крест, и оттепель, и галки, что кричали за моей спиной в черном парке, и унавоженная, усыпанная гнилой соломой дорога показались мне давно знакомыми. От этого ощущения я даже застонал. В такой же точно день и на таком же бугре за селом три года назад была похоронена Леля. Три года, равных, казалось, трем десяткам лет. Там теперь все те же проклятые немцы, та же слякоть и, может быть, даже следа не осталось от ее могилы. Я ни на мгновение не мог себе представить, что под землей лежат ее кости. Я не верил в это. Мне казалось, что она вечно будет лежать такой же, какой мы положили ее в дощатый гроб,— бледной и невыразимо прекрасной, спокойной и юной, с печальной тенью от опущенных ресниц на щеках.

Никому я не мог рассказать об этом, даже маме. Я был обречен носить в сердце эту саднящую боль. Не было дня,

когда бы я не ощущал ее, ни одного дня, хотя я и не упоминаю об этом на предыдущих страницах книги.

Да, пожалуй, ни к чему было бы и упоминать. Может ли быть уверен писатель, что холодные руки критика или брюзгливый взгляд читателя не прикоснутся грубовато и насмешливо к тому, что дрожит у него на сердце, как единственная слеза, вот-вот готовая упасть на землю. Может ли писатель быть уверен, что никто не стряхнет, походя, эту слезу и она не оставит на душе кровоточащий след.

Я вспомнил о Леле, снова судорожно закурил, потом, чтобы чем-нибудь разрядить внезапную тревогу, охватившую меня, нажал на спуск винтовки. Она лежала в выемке бруствера. Прогрохотал выстрел. Тотчас в ответ затрещали беспорядочные выстрелы с кладбища. Там, очевидно, накапливались петлюровцы, и мой выстрел спугнул их.

Из блиндажа выскочил летчик. Мы открыли по кладбищу частый огонь. Было видно, как летит гнилая щепа от крестов, потом какие-то люди подхватились с земли и бросились бежать от кладбища к лесу. «Хлопцы» стреляли им вслед, свистели в два пальца и матерились. Атака петлюровцев не удалась.

Меня сменил в окопе лохматый студент в толстых очках, должно быть, попович.

Я спустился в «лисью нору». Там коптила керосиновая лампочка. Я вытащил из сумки хлеб и кусок лежалой копченой колбасы и начал есть. Ко мне подошел дневальный — человек с шустрыми глазами, множеством белых шрамов на лице и татуировкой на ладони,— там были изображены сложенные бантиком женские губы. Когда шустрый человек распрямлял ладонь, губы приоткрывались, как бы для поцелуя, когда же он складывал ладонь — губы сжимались. Татуировка эта пользовалась огромным успехом среди «моторных хлопцев».

Шустрый человек налил мне кружку горячего чаю, дал три куска сахару и сказал при этом, хлопнув меня по плечу:

— «Чай Высоцкого, сахар Бродского, а Россия — Троцкого». Верно я говорю?

Не дожидаясь ответа, он отошел от меня, подсел к топчану и тотчас, сквернословя и паясничая, ввязался в карточную игру. Все явственнее бухала артиллерия со

стороны Святошина. После каждого выстрела керосиновая лампочка начинала коптить сильнее.

Я согрелся и уснул, прислонившись к стене.

Проснулся я среди ночи от глухой возни и ругани. Картежники дрались. Шустрого человека прижали грудью к столу и молча и сосредоточенно били по шее.

Шустрый не сопротивлялся и молчал,— очевидно, били его за дело.

Из окопа выкликнули троих человек на смену. «Хлопцы» отпустили шустрого, и мы пошли в окоп втроем — он, я и еще высокий человек в кавалерийской шинели.

В окопе я оказался поблизости от шустрого.

Среди ночи началась оттепель. Снег шуршал, и казалось, что вокруг нас возятся мыши.

Шустрый долго матерился, пока человек в кавалерийской шинели не сказал ему злым шипящим голосом:

— Ты замолчишь, холера, или я тебя изуродую. Как собаку!

Шустрый сплюнул, подошел ко мне, присел на корточки и, помолчав, сказал:

— Меня, брат, не изуродуешь! Я сам себя изуродовал, как картинку! У меня вся морда покарябана, вся в шрамах. Заметил?

— Заметил,— ответил я. Мне не хотелось разговаривать с этим пустяковым человеком.

— То, можно сказать, вовсе и не шрамы,— проговорил с неожиданной грустью шустрый человек.— То история неслыханной любви, написанная на моей поганой шкуре. Именно так это следует понимать.

Шустрый деланно засмеялся. Казалось, что он поперхнулся.

— Работал я в свое время на волжском пароходе общества «Кавказ и Меркурий». Кельнером работал при ресторане. И один раз села к нам на пароход в Костроме гимназистка последнего класса. Ехала она до Симбирска. Я к тому времени много женщин перепробовал, пароходных подруг. У меня подход к ним всегда был легкий. Бывают мужчины, что плачут, головой об стенку бьются, когда женщина их разлюбит. А я не страдал. Я все одно свое взял. Ну, разлюбила — и шабаш! Прибирай со стола! Мне везло на жадных. Что ни женщина, то жадная или до любви, или до монеты. Больше кельнерши да судомойки, которые помоложе... Да... Села эта гимназистка на па-

роход и пришла ужинать в ресторан. Совершенно одна. Бледная, красивая, и видать, что все это ей впове, видать, что смущается. Косы совершенно золотые, тяжелые и узлом уложены на затылке. Я, когда подавал ей, задел эти косы рукой. И весь затрясся — до того они оказались холодные и, как бы сказать, упругие. Я, понятно, извинился, а она только нахмурилась, взглянула на меня, сказала «ничего» и спокойно поправила косы. Видать, была гордая.

«Ну,—думаю,—пропал!» Главное—чистота ее меня убила. Яблоня вот так цветет — вся в благоухании. И сразу тоска у меня началась,— даже застонал я от нее. Хоть бейся головой об стенку и вой от той мысли, что сойдет она в Симбирске, а ты останешься на пароходе со своим поганым расколотым сердцем. Но пока терплю, считаю часы,— до Симбирска все-таки двое суток ходу. Подаю ей что ни на есть самое лучшее, даже повару пообещал косушку, чтобы он пошикарнее делал гарнир. А она, понятно, неопытная и этого не замечает. Совсем молоденькая женщина, ну просто девочка. Пробовал разговор с ней завести, хотя нам, кельнерам, это, безусловно, запрещалось. Закон был такой — подавай молча, быстро, а в разговоры с господами пассажирами, кувшинное твое рыло, не ввязывайся, не смей об этом и мыслить. Ты есть лакей и держи себя в соответствии: «слушаюсь», «сию минуту-с», «прикажете подать», «покорнейше благодарю» (это когда сунут на чай).

Все никак не выберу времени с ней заговорить,— второй кельнер Никодим вокруг носится. Наконец мне пофартило,— Никодим ушел на кухню. Я ее тотчас спрашиваю: «Куда изволите ехать?» Она подняла на меня глаза — темные, серые, а ресницы как бархатная ночь, и отвечает: «В Симбирск. А что?» Вот этим «а что?» она меня окончательно смутила. «Да ничего,— говорю.— Только хочу вас упредить, что вы, видать, едете одна, а на пароходе разный народ бывает. Можно сказать, грязный народ, бессовестный, особенно касается беззащитных молодых женщин». Она посмотрела на меня, сказала «я знаю» и улыбнулась. И тут я понял, что за каждую ее улыбку я всю кровь по каплям отдам и никто даже стона моего не услышит.

Больше не пришлось мне с ней поговорить. Я, конечно, цветы с двух-трех столиков на ее столик нарочно пере-

ставляю,— хоть этой малостью, думаю, дам ей понять, что мила она мне больше всех на свете. А она вроде как тоже не замечает.

Перед самым Симбирском Никодим вдруг заскандалил. Да еще при ней. «Ты чего это, говорит, мои цветы к себе таскаешь! Какой тюльпан отыскался!» Она, конечно, догадалась, покраснела, но глаз не подняла.

Ты мне верь. Я тебе одному это рассказываю первый раз в жизни. Шпане не расскажешь. Она враз все опоганит, а у меня ничего лучшего в жизни не было, матерью-старухой клянусь. И какой я ни есть заблатованный и, можно сказать, вполне честный вор, но я до такой подлости, чтобы про это шпане рассказать, не дойду. Веришь?

— Верю,— ответил я.— Рассказывай до конца.

— Конца еще не было,— сказал шустрый и повторил с неожиданной угрозой в голосе.— Не было конца! А я так думаю, что он будет. И ты не вправе меня в сомнение вводить. Ты меня не сбивай. Да... Наутро пароход наш должен подвалить к Симбирску, а у меня в голове — не поймешь что! Одно только знаю — не расстанусь я с ней теперь. Хоть издали, хоть тишком, а буду ходить следом до самой своей подлой смерти. Немного мне было надо. Только один воздух с ней вдыхать. Потому что другой воздух для меня будет отравой. Ты это можешь понять? Ты всякие книги про любовь читал,— там это сказано. Да! К утру у меня уже верный план был в голове, чего мне делать. Ночью я выкрал выручку из кассы у ресторатора, а как подвалили к Симбирску — в чем был, в одном своем лакейском фрачишке — сбежал на берег, будто купить на базаре редиски. Так и остался.

Деньги на первое время были, а одежда, конечно, на мне подозрительная. Купил я пиджачок. Выследил ее, конечно. И на мое счастье, наискосок от дома, где она жила у своей бабушки,— старый такой дом с садом и крыжовником,— так вот чуть наискосок стоял трактир. Небогатый такой трактир, маленький, даже без канареечного пения. Засел я в этом трактире крепко. Придумал историю, что договорился с товарищем гусей в Симбирске покупать, а товарищ запоздал, не едет. Вот и сижу, скучаю здесь, дожидаюсь. Того не сообразил, что гусей скупают по осени, а не летом.

— Ну и что ж, видел ее? — спросил я.

— Видел. Два раза. Прошла она сквозь душу и все начисто с собой унесла. Ничего я тогда не соображал. Одно только и знал, что радовался. Она, конечно, ничего не подозревала, да и забыла, должно быть, про меня,— человек я на вид неприятный, сам знаю — зубы как у хорька, а глаза мышиные. И всё бегают, проклятые. Вырвал бы я их к чертям! Красоту не наживешь и не уворуешь, как ни старайся.

Петлюровский пулемет дал с опушки леса короткую скучную очередь и заглох.

— Чепуха это все,— сказал шустрый.— И гетман и петлюровцы. И вся эта заваруха, это трепыхание. На кой черт все это делается, не пойму. Да и охоты нет понимать.

Он замолчал.

— Ну что ж ты,— сказал я.— Начал рассказывать и бросил.

— Нет, я не бросил. Прожил я в Симбирске всего десять дней, а потом хозяин трактира — больной был человек, хороший — подозвал меня как-то и говорит шепотком: «Тут сыщики, в общем лягаши, об тебе спрашивали. Смотри, парень, как бы не схватили тебя сегодня. Ты вор?» — «Нет, говорю, я не вор и никогда им не был, кабы не любовь к женщине».— «Суд любовь к женщине в расчет не берет. Не юридическая величина. Ты сюда больше не ходи. Остерегайся». А я решил — нет, в тюрьму я не сяду. Мне нужна сейчас вольная воля, чтобы ее не потерять, эту женщину. Надо завертеться, запутать свои следы.

Уехал я в тот же день в Сызрань, чтобы отсидеться, а там меня на третий день и взяли, как сопливого урку. Судить повезли на пароходе в Самару. Двое конвойных при мне. Подходим к Симбирску. Я глянул из окошка, а с реки видно тот дом и сад, где она живет. Прошу конвойных: «Сведите меня в буфет в третьем классе, я второй день не евши». Ну, сжалились, конечно, повели. Я тихо заказал буфетчице стакан водки. Она мне налила. Я разом выпил, а потом раздавил стакан вот в этой руке и осколками начал все лицо себе резать, драть. Будто умылся теми кровавыми стеклами. От невыносимой тоски. Кровью всю стойку залил. С тех пор и шрамы остались на морде, прибавилось красоты.

— Ну, а потом? — спросил я.

Шустрый посмотрел на меня, длинно сплюнул и ответил:

— Будто не знаешь. Потом — борщ с дерьмом. Давай пачку «Сальве», а то возьму тебя за шейную жилу — у меня хватка верная — не успеешь и дернуться. Я тебе наврал, фрайер. А ты враз и рассопливился.

Я дал ему пачку папирос «Сальве».

— Ну все! — сказал он, встал и медленно пошел вдоль окопа.— А проговоришься шпане хоть сейчас, хоть через тридцать лет — пришью беспощадно. Стихи небось соображаешь: «Ах, любовь, это сон упоительный».

Я не мог понять этой внезапной злобы и смотрел ему в спину.

В рассветной мути со стороны Киева возник воющий свист снаряда. Мне показалось, что снаряд идет прямо на нас. И я не ошибся.

Снаряд ударил в бруствер, взорвался с таким звуком, будто воздух вокруг лопнул, как пустой чугунный шар. Осколки просвистели стаей стрижей. Шустрый удивленно повернулся, ткнулся лицом в стенку окопа, выплюнул с кровью последнюю матерщину и сполз в глинистую лужу, перемешанную со снегом. По снегу начало расплываться багровое пятно.

Второй снаряд ударил около «лисьей норы». Из блиндажа выскочил «пан сотник». Третий снаряд снова попал в бруствер.

— Свои! — закричал рыдающим голосом «пан сотник» и погрозил в сторону Киева.— Свои обстреливают! Идиоты! Рвань! В кого стреляете? В своих стреляете, халявы!

«Пан сотник» повернулся к нам:

— Отходить на Приорку. Живо! Без паники! К чертовой матери вашего гетмана.

Перебежками, ложась каждый раз, когда нарастал свист снаряда, мы спустились на Приорку. Первыми, конечно, бежали «моторные хлопцы».

Оказалось, что гетманская артиллерия решила, будто наши окопы уже заняты петлюровцами, и открыла по ним сосредоточенный огонь.

Выходя из окопа, «пан сотник» переступил через шустрого и, не оборачиваясь, сказал мне:

— Документы на всякий случай возьмите. Может, найдутся родные. Все-таки был человек, не собака.

Шустрый лежал вниз лицом. Я перевернул его на спину. Он был еще теплый и, несмотря на худобу, тяжелый. Осколок попал ему в шею. Вытатуированные на ладони синие женские губы, сложенные бантиком, были измазаны кровью.

Я расстегнул на шустром голубую австрийскую шинель и вытащил из кармана гимнастерки потертое, очевидно, фальшивое удостоверение и пустой конверт с адресом: «Симбирск, Садовая улица, 13. Елизавете Тенишевой».

Потрепанные и поредевшие гетманские части начали стягиваться на засыпанную трухой от соломы площадь среди Приорки.

Жители Приорки высыпали на улицы и с нескрываемым злорадством обсуждали отход сердюков.

Но, несмотря ни на что, по городу спокойно разъезжали на сытых гнедых лошадях отряды немецких кавалеристов. Гетман или Петлюра — немцам было все равно. Прежде всего должен соблюдаться порядок.

На Приорской площади мы по приказу «пана сотника» свалили в кучу винтовки и патроны. Немцы тотчас подъехали к этому оружию и начали его невозмутимо охранять. На нас они даже не посмотрели.

— А теперь — по домам! — сказал «пан сотник», отцепил и бросил на мостовую свои желто-голубые погоны.— Кто как может. По способностям. В городе кавардак. По одним улицам валят петлюровцы, по соседним отступают гетманцы. Поэтому, переходя перекресток, посмотрите сначала налево, а потом направо. Желаю здравствовать.

Он натянуто улыбнулся своей неудачной шутке, помахал нам по-штатски рукой и торопливо ушел, не оглядываясь.

Некоторые сердюки тут же на площади сбрасывали с себя шинели, продавали их за гроши приорским жителям или отдавали даром и уходили в одних гимнастерках без погон.

Мне было холодно, и я шинели не снял, только оторвал с мясом погоны. Вата вылезала из дыр от оторванных погон, и по этому одному признаку можно было легко догадаться, кто я такой.

Я дошел до Кирилловской больницы, где был когда-то давным-давно с отцом и Врубелем. В то время все эти

места около больницы, глубокие овраги, заросшие боярышником, и узловатые вязы казались мне таинственными и зловещими. Сейчас я медленно и тяжело поднимался по крутому и пыльному шоссе на Лукьяновку, и у меня не было ощущения не только необыкновенности этих мест, но даже самого времени. Должно быть, от усталости.

Я сознавал, конечно, что время легендарное, почти фантастическое, иной раз похожее на бред или чрезмерный гротеск, но не видел этого сейчас,— тусклое небо висело над обшарпанными окраинными уличками и хибарками, как висело тридцать лет назад. Серые мысли мелькали у меня в голове, и я вяло думал: «Когда же кончится этот бестолковый любительский спектакль с гетманами, атаманами, Петлюрой, с выкрикиванием трескучих лозунгов, неразберихой мыслей, полной путаницей понятий и злобой, гораздо большей, чем это оправдывалось обстоятельствами. Когда же задернется занавес на этой наспех сколоченной эстраде, где, к сожалению, лился не клюквенный экстракт, а настоящая горячая кровь».

В городе на перекрестках я не смотрел ни налево, ни направо. Мне очертел этот военный и политический балаган, и гнев лишил меня чувства опасности. Я проходил через строй петлюровцев в своей шинели с вырванными погонами, и только два раза меня сильно ударили прикладом в спину.

Толпы щирых украинцев, стоявшие редкими рядами на тротуарах, кричали петлюровцам «слава!», а на меня смотрели с бешеной злобой.

Но все же я дошел домой, позвонил, услышал радостный возглас Амалии, схватился за ручку дверей, опустился на стул в передней, и легкие веселые мысли закружились у меня в голове, хотя шинель очень сильно давила грудь,— с каждой минутой все сильнее, будто она была живым существом и хотела меня задушить. Потом я понял, что это не шинель, а длинные узловатые пальцы шустрого сжимают мне горло из-за пачки одесских папирос «Сальве». И вместе с шустрым меня душат вытатуированные у него на ладони синие женские губы, сложенные бантиком. Я застонал и все забыл.

В молодости у меня изредка бывали такие короткие обмороки. Случались они от усталости.

ФИОЛЕТОВЫЙ ЛУЧ

Кричать во весь голос «слава!» несравненно труднее, чем «ура!». Как ни кричи, а не добьешся могучих раскатов. Издали всегда будет казаться, что кричат не «слава», а «ава», «ава», «ава». В общем, слово это оказалось неудобным для парадов и проявления народных восторгов. Особенно когда проявляли их пожилые громадяне в смушковых шапках и вытащенных из сундуков помятых жупанах.

Поэтому, когда наутро я услышал из своей комнаты возгласы «ава, ава», я догадался, что в Киев въезжает на белом коне сам «атаман украинского войска и гайдамацкого коша» пан Петлюра.

Накануне по городу были расклеены объявления от коменданта. В них с эпическим спокойствием и полным отсутствием юмора сообщалось, что Петлюра въедет в Киев во главе правительства — Директории — на белом коне, подаренном ему жмеринскими железнодорожниками.

Почему жмеринские железнодорожники подарили Петлюре именно коня, а не дрезину или хотя бы маневровый паровоз, было непонятно.

Петлюра не обманул ожиданий киевских горничных, торговок, гувернанток и лавочников. Он действительно въехал в завоеванный город на довольно смирном белом коне.

Коня покрывала голубая попона, обшитая желтой каймой. На Петлюре же был защитный жупан на вате. Единственное украшение — кривая запорожская сабля, взятая, очевидно, из музея,— била его по ляжкам. Щирые украинцы с благоговением взирали на эту казацкую «шаблюку», на бледного припухлого Петлюру и на гайдамаков, что гарцевали позади Петлюры на косматых конях.

Гайдамаки с длинными синевато-черными чубами — оселедцами — на бритых головах (чубы эти свешивались из-под папах) напоминали мне детство и украинский театр. Там такие же гайдамаки с подведенными синькой глазами залихватски откалывали гопак. «Гоп, куме, не журысь, туды-сюды повернысь!»

У каждого народа есть свои особенности, свои достойные черты. Но люди, захлебывающиеся слюной от умиления перед своим народом и лишенные чувства меры,

всегда доводят эти национальные черты до смехотворных размеров, до патоки, до отвращения. Поэтому нет злейших врагов у своего народа, чем квасные патриоты.

Петлюра пытался возродить слащавую Украину. Но ничего из этого, конечно, не вышло.

Вслед за Петлюрой ехала Директория — расхлябанный неврастеник писатель Винниченко, а за ним — какие-то замшелые и никому не ведомые министры.

Так началась в Киеве короткая легкомысленная власть Директории.

Киевляне, склонные, как все южные люди, к иронии, сделали из нового «самостийного» правительства мишень для неслыханного количества анекдотов. Особенно веселило киевлян то обстоятельство, что в первые дни петлюровской власти опереточные гайдамаки ходили по Крещатику со стремянками, влезали на них, снимали все русские вывески и вешали вместо них украинские.

Петлюра привез с собой так называемый галицийский язык — довольно тяжеловесный и полный заимствований из соседних языков. И блестящий, действительно жемчужный, как зубы задорных молодиц, острый, поющий, народный язык Украины отступил перед новым пришельцем в далекие шевченковские хаты и в тихие деревенские левады. Там он и прожил «тишком» все тяжелые годы, но сохранил свою поэтичность и не позволил сломать себе хребет.

При Петлюре все казалось нарочитым — и гайдамаки, и язык, и вся его политика, и сивоусые громадяне-шовинисты, что выползли в огромном количестве из пыльных нор, и деньги,— все, вплоть до анекдотических отчетов Директории перед народом. Но об этом речь будет впереди.

При встрече с гайдамаками все ошалело оглядывались и спрашивали себя — гайдамаки это или нарочно. При вымученных звуках нового языка невольно приходил в голову тот же вопрос — украинский это язык или нарочно. А когда давали сдачу в магазине, вы с недоверием рассматривали серые бумажки, где едва-едва проступали тусклые пятна желтой и голубой краски, и соображали — деньги это или нарочно. В такие замусоленные бумажки, воображая их деньгами, любят играть дети.

Фальшивых денег было так много, а настоящих так мало, что население молчаливо согласилось не делать

между ними никакой разницы. Фальшивые деньги ходили свободно и по тому же курсу, что и настоящие.

Не было ни одной типографии, где наборщики и литографы не выпускали бы, веселясь, поддельные петлюровские ассигнации — карбованцы и шаги. Шаг был самой мелкой монетой. Оп стоил полкопейки.

Многие предприимчивые граждане делали фальшивые депьги у себя на дому при помощи туши и дешевых акварельных красок. И даже не прятали их, когда кто-нибудь посторонний входил в компату.

Особенно бурное изготовление фальшивых денег и самогона из пшена происходило в компате у пана Ктуренды.

После того как этот велеречивый пан втиснул меня в гетманскую армию, он проникся ко мне расположением, какое часто бывает у палача к своей жертве. Он был изысканно любезен и все время зазывал меня к себе.

Меня интересовал этот последний обмылок мелкой шляхты, дожившей до нашей (по выражению самого пана Ктуренды) «спогсшибательной» эпохи.

Однажды я зашел к нему в тесную комнату, уставленную бутылями с мутной «пшенкой». Кисло попахивало краской и тем особым специфическим лекарством,— я забыл сейчас его название,— каким залечивали в то время триппер.

Я застал пана Ктуренду за приготовлением петлюровских сторублевок. На них были изображепы две волоокие дивчипы в шитых рубахах, с крепкими голыми ногами. Дивчины эти почему-то стояли в грациозных позах балерин на затейливых фестонах и завитках, которые пан Ктуренда в это время как раз наводил тушью.

Мать пана Ктуренды — худенькая старушка с дрожащим лицом — сидела за ширмой и читала вполголоса польский молитвенник.

— Фестон есть альфа и омега петлюровских ассигнаций,— сказал мне пан Ктуренда наставительным тоном.— Вместо этих двух украинских паненок вы можете без всякого риска нарисовать телеса двух полных женщин, таких, как мадам Гомоляка. Это не важпо. Важно, чтобы вот этот фестон был похож на правительственный. Тогда

никто даже не подмигнет этим пышным пикантным дамам и охотно разменяет вам ваши сто карбованцев.

— Сколько же вы их делаете?

— Я рисую в день,— ответил пан Ктуренда и важно выпятил губы с подстриженными усиками,— до трех билетов. А также и пять. Зависимо от моего вдохновения.

— Бася! — сказала из-за ширмы старушка.— Сынку мой. Я боюсь.

— Ничего не будет, мамуся. Никто не посмеет посягнуть на особу пана Ктуренды.

— Я не тюрьмы боюсь,— вдруг неожиданно ответила старушка.— Я тебя боюсь, Бася.

— Водянистость мозга,— сказал пан Ктуренда и подмигнул на старушку.— Извините, мамуся, но не можете ли вы помолчать?

— Нет! — сказала старушка.— Нет, не могу. Бог накажет меня, если я не скажу всем людям, что мой сын,— старушка заплакала,— мой сын, как тот Иуда Искариот...

— Тихо! — закричал бешеным голосом Ктуренда, вскочил со стула и изо всей силы начал трясти ширму, за которой сидела старушка. Ширма затрещала, застучала ножками по полу, и из нее полетела желтая пыль.

— Тихо, сумасшедшая дура, или я завяжу вам рот керосиновой тряпкой.

Старушка плакала и сморкалась.

— Что это значит? — спросил я пана Ктуренду.

— Это есть мое личное дело,— вызывающе ответил Ктуренда. Его искаженное лицо было иссечено красными жилками, и казалось, вот-вот из этих жилок брызнет кровь.— Советую не совать нос в мои обстоятельства, если вы не желаете спать в общей могиле с большевиками.

— Негодяй! — сказал я спокойно.— Вы такой мелкий негодяй, что не стоите даже этих ста паршивых карбованцев.

— Под лед! — вдруг истерически закричал пан Ктуренда и затопал ногами.— Пан Петлюра таких, как вы, спускает в Днепр... под лед!

Я рассказал об этом случае Амалии. Она ответила, что, по ее догадкам, пан Ктуренда служил сыщиком у всех властей, раздиравших в то время в клочья Украину,— у Центральной рады, немцев, гетмана, а теперь у Петлюры.

Амалия была уверена, что пан Ктуренда начнет мне мстить и обязательно донесет на меня. Поэтому, как женщина заботливая и практичная, она в тот же день установила свое собственное наблюдение за паном Ктурендой.

Но к вечеру все хитрые меры Амалии, предпринятые, чтобы обезвредить пана Ктуренду, оказались уже ненужными. Пан Ктуренда погиб на глазах у меня и Амалии, и его смерть была так же невыносимо глупа, как и вся его паскудная жизнь.

В сумерки на улице захлопали пистолетные выстрелы. В таких случаях я выходил на балкон, чтобы узнать, что происходит.

Я вышел на балкон, и увидел, что по пустынной площади Владимирского собора бегут к нашему дому два человека в штатском, а за ними гонятся, явно боясь догнать их, несколько петлюровских офицеров и солдат. Офицеры на ходу стреляли в бегущих и неистово кричали: «Стой!»

В это время я заметил пана Ктуренду. Он выскочил из своей комнаты во флигеле, подбежал к тяжелой калитке, выходившей на улицу, и выхватил из замка огромный ключ, похожий на древний ключ от средневекового города.

С ключом в руках пан Ктуренда притаился за калиткой. Когда люди в штатском пробегали мимо, пан Ктуренда распахнул калитку, высунул из нее руку с ключом (он держал его, как пистолет, и издали это действительно выглядело так, будто пан Ктуренда целился из старинного пистолета) и закричал пронзительным голосом:

— Стой! Большевистская падаль! Убью!

Пан Ктуренда хотел помочь петлюровцам и хотя бы на несколько секунд задержать беглецов. Эти секунды, конечно, решили бы их участь.

Я хорошо видел с балкона все, что случилось потом. Человек, бежавший сзади, поднял пистолет и, не целясь и даже не взглянув на Ктуренду, выстрелил на бегу в его сторону. Пан Ктуренда, визжа и захлебываясь кровью, покатился по булыжному двору, забил ногами по камням, затрепыхался, захрипел и умер с зажатым ключом в руке. Кровь стекала на его целлулоидовые розовые манжеты, а в открытых глазах застыло выражение страха и злобы.

Только через час приехала облезлая карета «Скорой помощи» и увезла пана Ктурепду в морг.

Старушка мать проспала смерть сына и узнала о ней к ночи.

Через несколько дней старушку отправили в старинную Сулимовскую богадельню. Я довольно часто встречал сулимовских богаделок. Они гуляли парами, как институтки, в одинаковых темных туальденоровых платьях. Их прогулка напоминала торжественную процессию сухих жужелиц.

Я рассказал об этом незначительном случае с паном Ктурендой лишь потому, что он очень вязался со всем характером жизни при Директории. Все было мелко, нелепо и напоминало плохой безалаберный, но временами трагический водевиль.

Однажды по Киеву были расклеены огромные афиши. Они извещали население, что в зале кинематографа «Арс» Директория будет отчитываться перед народом.

Весь город пытался прорваться на этот отчет, предчувствуя неожиданный аттракцион. Так оно и случилось.

Узкий и длинный зал кинематографа был погружен в таинственный мрак. Огней не зажигали. В темноте весело шумела толпа.

Потом за сценой ударили в гулкий гонг, вспыхнули разноцветные огни рампы, и перед зрителями, на фоне театрального задника, в довольно крикливых красках изображавшего, как «чуден Днепр при тихой погоде», предстал пожилой, но стройный человек в черном костюме, с изящной бородкой — премьер Винниченко.

Недовольно и явно стесняясь, все время поправляя глазастый галстук, он проговорил сухую и короткую речь о международном положении Украины. Ему похлопали.

После этого на сцену вышла невиданно худая и совершенно запудренная девица в черном платье и, сцепив перед собой в явном отчаянии руки, начала под задумчивые аккорды рояля испуганно декламировать стихи поэтессы Галиной:

Рубають ліс зелений, молодый...

Ей тоже похлопали.

Речи министров перемежались интермедиями. После министра путей сообщения девчата и парубки сплясали гопака.

Зрители искренне веселились, но настороженно затихли, когда на сцену тяжело вышел пожилой «министр державных балянсов», иначе говоря министр финансов.

У этого министра был взъерошенный и бранчливый вид. Он явно сердился и громко сопел. Его стриженная ежиком круглая голова блестела от пота. Сивые запорожские усы свисали до подбородка.

Министр был одет в широченные серые брюки в полоску, такой же широченный чесучовый пиджак с оттянутыми карманами и в шитую рубаху, завязанную у горла тесемкой с красными помпончиками.

Никакого доклада он делать не собирался. Он подошел к рампе и начал прислушиваться к гулу в зрительном зале. Для этого министр даже поднес ладонь, сложенную чашечкой, к своему мохнатому уху. Послышался смех.

Министр удовлетворенно усмехнулся, кивнул каким-то своим мыслям и спросил:

— Москали?

Действительно, в зале сидели почти одни русские. Ничего не подозревавшие зрители простодушно ответили, что да, в зале сидят преимущественно москали.

— Т-а-ак! — зловеще сказал министр и высморкался в широченный клетчатый платок.— Очень даже понятно. Хотя и не дуже приятно.

Зал затих, предчувствуя недоброе.

— Якого ж биса,— вдруг закричал министр по-украински и покраснел как бурак,— вы приперлись сюда из вашей поганой Москвы. Як мухи на мед. Чего вы тут не бачили? Бодай бы вас громом разбило! У вас там, в Москве, доперло до того, что не то что покушать немае чего, а и...... немае чем.

Зал возмущенно загудел. Послышался свист. Какой-то человечек выскочил на сцену и осторожно взял «министра балянсов» за локоть, пытаясь его увести. Но старик распалился и так оттолкнул человечка, что тот едва не упал. Старика уже несло по течению. Он не мог остановиться.

— Що ж вы мовчите? — спросил он вкрадчиво.— Га? Придуриваетесь. Так я за вас отвечу. На Украине вам и хлиб, и сахар, и сало, и гречка, и квитки. А в Москве дулю сосали с лампадным маслом. Ось як!

Уже два человека осторожно тащили министра за полы чесучового пиджака, но он яростно отбивался и кричал:

— Голопупы! Паразиты! Геть до вашей Москвы! Там маете свое жидивске правительство! Геть!

За кулисами появился Винниченко. Он гневно махнул рукой, и красного от негодования старика наконец уволокли за кулисы. И тотчас, чтобы смягчить неприятное впечатление, на сцену выскочил хор парубков в лихо заломленных смушковых шапках, ударили бандуристы, и парубки, кинувшись вприсядку, запели:

Ой, що там лежит за покойник,
То не князь, то не пан, не полковник —
То старой бабы-мухи полюбовник!

На этом отчет Директории перед народом закончился. С насмешливыми криками: «Геть до Москвы! Там маете свое жидивске правительство!» — публика из кино «Арс» повалила на улицу.

Власть украинской Директории и Петлюры выглядела провинциально.

Некогда блестящий Киев превратился в увеличенную Шполу или Миргород с их казенными присутствиями и заседавшими в них Довгочхунами.

Все в городе было устроено под старосветскую Украину, вплоть до ларька с пряниками под вывеской «О це Тарас с Полтавщины». Длинноусый Тарас был так важен и на нем топорщилась и пылала яркой вышивкой такая белоснежная рубаха, что не каждый отваживался покупать у этого оперного персонажа жамки и мед.

Было непонятно, происходит ли нечто серьезное, или разыгрывается пьеса с действующими лицами из «Гайдамаков».

Сообразить, что происходит, не было возможности. Время было судорожное, порывистое, перевороты шли наплывами. В первые же дни появления каждой новой власти возникали ясные и грозные признаки ее скорого и жалкого падения.

Каждая власть спешила объявить побольше деклараций и декретов, надеясь, что хоть что-нибудь из этих деклараций просочится в жизнь и в ней застрянет.

От правления Петлюры, равно как и от правления гетмана, осталось ощущение полной неуверенности в завтрашнем дне и неясности мысли.

Петлюра больше всего надеялся на французов, занимавших в то время Одессу. С севера неумолимо нависали советские войска.

Петлюровцы распускали слухи, будто французы уже идут на выручку Киеву, будто они уже в Виннице, в Фастове и завтра могут появиться даже в Боярке под самым городом бравые французские зуавы в красных штанах и защитных фесках. В этом клялся Петлюре его закадычный друг — французский консул Энно.

Газеты, ошалевшие от противоречивых слухов, охотно печатали всю эту чепуху, тогда как почти всем было известно, что французы сиднем сидят в Одессе, в своей французской оккупационной зоне и что «зоны влияний» в городе (французская, греческая и украинская) просто отгорожены друг от друга расшатанными венскими стульями.

Слухи при Петлюре приобрели характер стихийного, почти космического явления, похожего на моровое поветрие. Это был повальный гипноз.

Слухи эти потеряли свое прямое назначение — сообщать вымышленные факты. Слухи приобрели новую сущность, как бы иную субстанцию. Они превратились в средство самоуспокоения, в сильнейшее наркотическое лекарство. Люди обретали надежду на будущее только в слухах.

Даже внешне киевляне стали похожи на морфинистов. При каждом новом слухе у них загорались обычно мутные глаза, исчезала обычная вялость, речь из косноязычной превращалась в оживленную и даже остроумную.

Были слухи мимолетные и слухи долго действующие. Они держали людей в обманчивом возбуждении по два-три дня.

Даже самые матерые скептики верили всему, вплоть до того, что Украина будет объявлена одним из департаментов Франции и для торжественного провозглашения этого государственного акта в Киев едет сам президент Пуанкаре или что киноактриса Вера Холодная собрала свою армию и, как Жанна Д'Арк, вошла на белом коне во главе своего бесшабашного войска в город Прилуки, где и объявила себя украинской императрицей.

Одно время я записывал все эти слухи, но потом бросил. От этого занятия или смертельно разбаливалась голова, или наступало тихое бешенство. Тогда хотелось уни-

чтожить всех, начиная с Пуанкаре и президента Вильсона и кончая Махно и знаменитым атаманом Зеленым, державшим свою резиденцию в селе Триполье около Киева.

Эти записи я, к сожалению, уничтожил. По существу, это был чудовищный апокриф лжи и неудержимой фантазии беспомощных растерявшихся людей.

Чтобы немного прийти в себя, я перечитывал прозрачные, прогретые немеркнущим светом любимые книги: «Вешние воды» Тургенева, «Голубую звезду» Бориса Зайцева, «Тристана и Изольду», «Манон Леско». Книги эти действительно сияли в сумраке смутных киевских вечеров, как нетленные звезды.

Я жил один. Мама с сестрой все еще были наглухо отрезаны от Киева. Я ничего о них не знал.

Я решил весной пробираться в Копань пешком, хотя меня и предупреждали, что по пути лежит буйная «Дымерская» республика и что живым я через эту республику не пройду. Но тут накатили новые события, и о путешествии пешком в Копань нечего было и думать.

Я был один со своими книгами. Я пытался кое-что писать, но все выходило бесформенно и напоминало бред.

Одиночество со мной разделяли только ночи, когда тишина завладевала всем кварталом и нашим домом и не спали только редкие патрули, облака и звезды.

Шаги патрулей доносились издалека. Я каждый раз гасил коптилку, чтобы не наводить патрульных на наш дом. Изредка я слышал по ночам, как плакала Амалия, и думал о том, что ее одиночество гораздо тяжелее моего.

Каждый раз после ночных слез она несколько дней разговаривала со мной надменно и даже враждебно, но потом вдруг застенчиво и виновато улыбалась и снова начинала так же преданно заботиться обо мне, как заботилась о всех своих постояльцах.

В Германии началась революция. Немецкие части, стоявшие в Киеве, аккуратно и вежливо выбрали свой Совет солдатских депутатов и стали готовиться к возвращению на родину. Петлюра решил воспользоваться слабостью немцев и разоружить их. Немцы узнали об этом.

Утром, в день, назначенный для разоружения немцев, я проснулся от ощущения, будто стены нашего дома мерно качаются. Грохотали барабаны.

Я вышел на балкон. Там уже стояла Амалия. По Фундуклеевской улице молча шли тяжелым шагом немецкие полки. От марша кованых сапог позвякивали стекла. Предостерегающе били барабаны. За пехотой так же угрюмо, дробно цокая подковами, прошла кавалерия, а за ней, гремя и подскакивая по брусчатой мостовой,— десятки орудий.

Без единого слова, только под бой барабанов, немцы обошли по кругу весь город и вернулись в казармы.

Петлюра тотчас отменил свой секретный приказ о разоружении немцев.

Вскоре после этой молчаливой демонстрации немцев с левого берега Днепра начала долетать отдаленная артиллерийская стрельба. Немцы быстро очищали Киев. Стрельба делалась все слышнее, и город узнал, что от Нежина быстро подходят с боями советские полки.

Когда бой начался под самым Киевом, у Броваров и Дарницы, и всем стало ясно, что дело Петлюры пропало, в городе был объявлен приказ петлюровского коменданта.

В приказе этом было сказано, что в ночь на завтра командованием петлюровской армии будут пущены против большевиков смертоносные фиолетовые лучи, предоставленные Петлюре французскими военными властями при посредстве «друга свободной Украины» французского консула Энно.

В связи с пуском фиолетовых лучей населению города предписывалось во избежание лишних жертв в ночь на завтра спуститься в подвалы и не выходить до утра.

Киевляне привычно полезли в подвалы, где они отсиживались во время переворотов. Кроме подвалов, довольно надежным местом и своего рода цитаделью для скудных чаепитий и бесконечных разговоров стали кухни. Они большей частью были расположены в глубине квартир, куда реже залетали пули. Нечто успокоительное чувствовалось в запахе скудной еды, еще сохранившемся в кухне. Там иногда даже капала из крана вода. За какой-нибудь час можно было набрать полный чайник, вскипятить его и заварить крепкий чай из сушеных листьев брусники.

Каждый, кто пил по ночам этот чай, согласится с тем, что он был тогда единственной нашей поддержкой, своего рода эликсиром жизни и панацеей от бед и скорбей.

Мне казалось тогда, что страна несется в космически непроницаемые туманы. Не верилось, что под свист ветра

в простреленных крышах, над непробудными этими ночами, замешанными на саже и отчаянии, просочится когда-нибудь стылый рассвет, просочится только для того, чтобы снова можно было увидеть пустынные улицы и бегущих по ним неизвестно куда, позеленевших от холода и недоедания людей в заскорузлых обмотках, с винтовками всех марок и калибров.

Пальцы сводило от стальных затворов. Все человеческое тепло было выдуто без остатка из-под жидких шинелей и колючих бязевых рубах.

В ночь «фиолетового луча» в городе было мертвенно тихо. Даже артиллерийский огонь замолк, и единственное, что было слышно,— это отдаленный грохот колес. По этому характерному звуку опытные киевские жители поняли, что из города в неизвестном направлении поспешно удаляются армейские обозы.

Так оно и случилось. Утром город был свободен от петлюровцев, выметен до последней соринки. Слухи о фиолетовых лучах для того и были пущены, чтобы ночью уйти без помехи.

Киев, как это с ним бывало довольно часто, оказался без власти. Но атаманы и окраинная «шпана» не успели захватить город. В полдень по Цепному мосту в пару от лошадиных крупов, громе колес, криках, песнях и веселых переливах гармошек вошли в город Богунский и Таращанский полки Красной Армии, и снова вся жизнь в городе переломилась в самой основе.

Произошла, как говорят театральные рабочие, «чистая перемена декораций», но никто не мог угадать, что она сулит изголодавшимся гражданам. Это могло показать только время.

«МОЙ МУЖ БОЛЬШЕВИК, А Я ГАЙДАМАЧКА»

На стенах появились размокшие листки с грозными приказами Военно-революционного комитета.

Приказы были короткие и веские. Они беспощадно и без всяких оговорок разделили все население Киева на людей стоящих и на человеческий мусор.

Мусор начали вычищать, но его оказалось не так уж много. Он сам распылился по малодоступным местам, где и осел в ожидании лучших времен.

Снова пришло то, что было пережито мною в Москве, но в ином качестве. На всем лежал еще некоторый добавочный налет вольницы и бесшабашности.

Богунский полк (так он назывался в память смелого сподвижника Богдана Хмельницкого полковника Богуна) расквартировали по частным киевским домам.

К нам на квартиру поставили четырех богунцев. Они принесли аэропланную бомбу, осторожно поставили ее в передней под гнутой венской вешалкой и сказали Амалии:

— Вы, цыпочка, не зачепите как-нибудь неаккуратно этот предмет. А то он как бахнет, так от вашего дома со всей обстановкой останется один сон. Понятно?

— Понятно,— ответила, сжав губы, Амалия и тотчас же открыла давно заколоченную дверь на черный ход.

С тех пор через парадное никто не ходил.

Трудно было понять, как богунцы могли передвигаться по земле, столько на них было оружия. Тут было все: пулеметы, ружья, гранаты, винтовки, обрезы, штыки, маузеры, финки, сабли, кинжалы и, кроме того, как воспоминание о сентиментальной мирной жизни, лиловые и красные граммофонные трубы.

Как только богунцы заняли город, из всех окон понеслись рулады давно позабытых жестоких романсов. Снова угрюмый баритон жаловался, срываясь с голоса, что ему некуда больше спешить и некого больше любить, а шепелявый тенор сетовал, что не для него придет весна, не для него Буг разольется и сердце радостно забьется, не для него, не для него.

Снова Вяльцева, вскрикивая, скакала на «гай-да-тройке», и умирала на озере, где румянятся воды, прелестная чайка.

Все перепуталось,— Варя Панина и гранаты, запах йодоформа и украинская певучая «мова», красные ленты на папахах и симфонические концерты, мечты богунцев о тихих прудах среди веселых левад и истерические визгливые облавы на базарах.

В квартире под нами жил с женой дряхлый и незлобивый старик инженер Белелюбский. В свое время он прославился на весь мир как строитель знаменитого Сызранского моста через Волгу.

У Белелюбских служила прислуга — краснощекая и веселая девушка Мотря.

Старшина богунцев влюбился в нее и настаивал на женитьбе. Мотря колебалась. У нее были несколько устарелые представления о браке. Она боялась, что богунец — летучий человек, отпетая башка — поживет с ней несколько дней, а потом обязательно бросит.

Однажды Мотря пришла ко мне и с беззастенчивостью деревенской девушки рассказала, что чуть не сошлась со старшиной, но убежала и теперь согласится на близость только в том случае, если богунец женится на ней «по правилам» и любовь их будет навек.

Она продиктовала мне письмо к богунцу. Оно состояло всего из трех слов: «Согласна, если навек». Я написал его большими печатными буквами.

Примерно через час, получив это письмо, богунец начал, грохоча сапогами, матерясь и угрожая оружием, метаться по всем квартирам в поисках ротной печати.

— Куда заховали печать, бандитские морды? — кричал он на своих подчиненных.— Всех постреляю, как щиков. Чтобы моментально была мне печать!

Дом сотрясался от топота сапог. Старшина выворачивал у бойцов вещевые мешки.

Наконец печать была найдена. Старшина написал на записке: «Клянусь, что навек»,— прихлопнул к записке для верности ротную печать и прислал Мотре. И Мотря сдалась.

Через день сыграли буйную свадьбу. К дому подали несколько тачанок. В гривы бешеных лошадей были вплетены разноцветные ленты. И хотя до Владимирского собора, где происходило венчание, от нашего дома было не больше двухсот метров, свадебный кортеж рванулся на тачанках к собору и несколько раз обскакал вокруг него под звон бубенцов, гиканье, свист и залихватское пение:

Я на бочке сижу,
А под бочкой — качка,
Мой муж большевик,
А я гайдамачка!

Эх, яблочко, куды котишься,
К Богуну попадешь — не воротишься!

Наш Богун — командир
Был отчаянный,
Весь из ран да из дыр
Перепаянный!

Когда пели припев: «Эх, яблочко, куды котишься»,— ездовые с ходу останавливали лошадей, и лошади, горячась и тряся бубенцами, пятились и приплясывали в такт песне. Это было виртуозно, и огромная толпа любопытных, сбежавшихся к Владимирскому собору, приветствовала богунцев восторженными криками.

На третий день после свадьбы (всегда почему-то все неприятности случаются на третий день) богунцев подняли по тревоге среди ночи.

Собирались они неохотно, молча и на расспросы отвечали односложно:

— В Житомир гонят. На усмирение. Там попы взбунтовались.

Мотря рыдала. Худшие ее страхи оправдывались — старшина, конечно, бросит ее и никогда не вернется.

Тогда старшина рассвирепел.

— Сгоняй всех квартирантов во двор! — закричал он бойцам и для подтверждения этого приказа выстрелил на лестнице в потолок.— Давай их во двор, паразитов! Душа с них вон!

Испуганных жильцов согнали во двор. Была поздняя зимняя ночь. Колкая изморозь сыпалась с мутного неба. Женщины плакали и прижимали к себе дрожащих заспанных детей.

— Да не лякайтесь,— говорили бойцы.— Ничего вам не будет. То наш командир психует из-за этой чертовой Мотри.

Старшина построил свой взвод против толпы испуганных жильцов и вышел вперед. Он вывел за руку голосящую Мотрю.

Среди обледенелого двора он остановился, выхватил из ножен гусарскую саблю, прочертил клинком на льду большой крест и закричал:

— Бойцы и свободные граждане свободной России! Будьте свидетелями, крест перед вами кладу на эту родную землю, что не кину мою кралю и до нее обязательно ворочусь. И заживем мы с ней своим домком в селе Мошны под знаменитым городом Каневом, в чем и расписываюсь и даю присягу.

Он обнял плачущую Мотрю, потом легонько оттолкнул ее и крикнул:

— По тачанкам! Трогай!

Бойцы бросились к тачанкам. Под свист и пение «Яб-

лочка» тачанки вылетели со двора и, грохоча окованными колесами, помчались вниз по Бибиковскому бульвару к Житомирскому шоссе.

Все было кончено. Мотря вытерла слезы, сказала: «А чтоб он сказился, басурман проклятый!» — и вернулась в квартиру Белелюбского, где лаяли растревоженные мопсы. Жизнь снова пошла своим привычным путем.

Все как-то сразу потускнело. А через некоторое время киевляне начали вспоминать о богунцах с явным сожалением. То были простодушные и веселые, но отчаянно смелые парни. Они принесли с собой запах пороха, красные знамена, простреленные в боях, удалые песни и беззаветную свою преданность революции. Они пришли и исчезли, но долго над городом шумел, не затихая, ветер революционной романтики и заставлял радостно улыбаться привыкших ко всему киевлян.

В то время богунцами командовал Щорс. Имя его вскоре стало почти легендарным.

Я впервые услашал о Щорсе от бойцов-богунцев. Услышал восторженные рассказы об этом непреклонном, неслыханно смелом и талантливом командире.

Помню, что больше всего меня в то время поразила преданная, почти детская любовь к Щорсу. В глазах бойцов в нем воплотились все лучшие качества полководца — твердость, находчивость, справедливость, любовь к простому человеку и никогда не иссякавший в нем, если можно так выразиться, трезвый романтизм.

Богунцы были народ молодой. Щорс тоже был молод. Их общая молодость и вера в победу революции превращала воинскую часть в некое братство, скрепленное общим порывом и общей пролитой кровью.

Никакие внешние события не могли замедлить движение древесных соков. Поэтому в свое время вернулась весна, вольно разлился Днепр, на пустырях бурьян вымахал выше человеческого роста, а простреленные каштаны покрылись сочной листвой и расцвели почему-то особенно пышно.

Временами казалось, что единственное, оставшееся нетронутым в этом мире,— это листва каштанов. Она все так же шевелилась над тротуарами, бросая густую тень. И так же нежно и незаметно начали распускаться на де-

ревьях стройные свечи розоватых и чуть сбрызнутых желтизною крапчатых цветов. Но в тени каштанов не встречались уже знакомые гимназистки с влажными сияющими глазами. Рядом с опавшими сухими цветами валялись теперь на тротуарах позеленевшие медные гильзы от винтовок и клочья заскорузлых грязных бинтов.

Весна разгоралась над Киевом, погружая город в свою синеву, пока наконец в садах не зацвели липы. Их запах проник в запущенные за зиму, закупоренные дома и заставил горожан распахнуть окна и балконы.

Тогда лето ворвалось в комнату вместе с легкими сквозняками и теплотой. И в этой летней безмятежности растворились все страхи и беды.

Правда, хлеба не было, и вместо него мы ели старую мерзлую картошку.

Я поступил в какое-то странное учреждение. Выговорить сокращенное название этого учреждения было почти невозможно. Помню только начало: «Обгубснабчупрод...», а дальше шло нечто настолько сложное, что даже начальник этого учреждения — толстый армянин с черной эспаньолкой и маузером, висевшим у него на шее (как вешают фотографические аппараты), каждый раз, подписывая бумагу, фыркал и возмущался.

Чем занималось это учреждение, трудно сказать. Преимущественно бязью. Все комнаты и коридоры были завалены тюками с бязью. Ее никому не выдавали ни под каким видом, но все время то привозили, то увозили на склады, то снова перетаскивали в учреждение и наваливали в коридорах. От этого непонятного круговращения все одних и тех же тюков с бязью сотрудники учреждения впадали в столбняк.

Свободного времени у меня было много. Я пытался разыскать своих гимназических товарищей, но почти никого из них не осталось в городе, кроме Эммы Шмуклера. Но и его я видел редко. Он стал молчалив и печален, может быть оттого, что ему пришлось пожертвовать любимой живописью ради родных. Отец Эммы болел, и вся тяжесть защиты семьи легла на Эмму. Защиты от голода, реквизиций, уплотнений, выселений, от погромщиков-петлюровцев и от постоев.

По вечерам я опять, как в гимназические годы, ходил на концерты в сад бывшего Купеческого собрания. Розы

и канны уже не цвели в этом саду. Их заменили мята и полынь.

Довольно часто в ткань музыкального произведения врывались посторонние звуки — отдаленные взрывы или ружейная стрельба. Но на это никто не обращал внимания.

В те дни в Киеве я начал зачитываться книгами великого мистификатора в литературе и великого француза Стендаля. Но я не задумывался над сущностью его мистификаций.

Я считал их вполне законными, как считаю и посейчас. Законными потому, что они свидетельствовали о неисчерпаемом запасе настолько разнообразных идей и образов, что объединить их под одним именем было немыслимо. Никто бы не поверил, что один и тот же человек способен с такой точностью углубляться в противоположные области человеческой жизни — в живопись, способы торговли железом, в быт французской провинции, сумятицу боя под Ватерлоо, в науку обольщения женщин, в отрицание своего буржуазного века, интендантские дела, музыку Чимарозо и Гайдна.

Когда же я узнал, что обширные, полные живых событий и мыслей дневники Стендаля были во многом вымышлены, но так, что к ним не мог придраться даже самый великолепный знаток современной Стендалю эпохи, я почувствовал невольное преклонение перед гениальностью и литературной отвагой этого загадочного и одинокого человека.

С тех пор он стал моим тайным другом. Трудно сказать, сколько я совершил прогулок по Риму и Ватикану, сколько поездок по старинным городам Франции, сколько видел спектаклей в театре Ла Скала и сколько выслушал бесед с умнейшими людьми девятнадцатого века вместе с этим неуклюжим человеком.

Вскоре мне повезло. В Киев приехали из Москвы писатели Михаил Кольцов и Ефим Зозуля. Они начали издавать журнал по искусству, и я попал в него литературным секретарем. Работы было мало. Журнал выходил тощий, как школьная тетрадь с наполовину вырванными страницами.

Уверенный в себе, насмешливый и остроумный Кольцов почти не бывал в редакции. Все дни напролет я просиживал в одной комнате с Ефимом Зозулей,— настолько

близоруким, добродушным и снисходительным человеком, что он никак не был похож на железного посланца Москвы.

Я показал Зозуле начало своей первой и еще не дописанной повести «Романтики». Он искренне похвалил ее, хотя и сказал, что я чрезмерно увлекаюсь самоанализом и, кроме того, пишу несколько длинно.

Зозуля писал в то время цикл рассказов по пять-шесть строчек в каждом. Сам он говорил, что они «короче воробьиного носа». Рассказы эти были похожи на басни. Каждый заключал в себе безошибочную мораль.

Зозуля думал, что литература — это учительство, проповедь. Я же считал, что она гораздо выше этого утилитарного назначения, и потому постоянно спорил с Зозулей.

Тогда я уже был уверен, что неподдельная литература — это самое чистое выражение вольного человеческого ума и сердца, что только в литературе человек открывается во всем богатстве и сложности духа и своей внутренней силы и тем как бы искупает множество грехов своей обыденности. Я думал, что литература — это подарок, брошенный нам из далекого и драгоценного будущего, что в ней переливается из столетия в столетие мечта о совершенстве мира, его гармонии, о бессмертии любви, несмотря на то что каждый день она рождается и умирает. Так тихий гул морской раковины вызывает желание увидеть голубеющие в рассветной мгле необъятные и тихие воды, рождает тоску по серебряному дыму взлетающих к зениту облаков, по океанам озона, рожденного в сырых лесах и освежающего наши глаза, по вечному лету, звонкому голосу ребенка, по глубокой мировой тишине — спутнице размышлений.

Так и литература. Каким-то подводным, вторым, отдаленным и вместе с тем очень близким звучанием она приближает нас ко времени золотого века наших мыслей, поступков и чувств.

Пока мы спорили с Зозулей о литературе, наглые атаманы Зеленый и Струк рыскали вокруг Киева и то тут, то там нападали на окраины города. Однажды Струк захватил даже весь Подол, и его не без труда удалось оттуда выбить.

С юга надвигались деникинцы. В степях за Кременчугом бесчинствовал Нестор Махно.

Об этом в городе говорили мало и как будто не придавали этим событиям особого значения. Ходило столько лживых слухов, что даже действительным фактам никто уже не верил.

МАЛИНОВЫЕ ГАЛИФЕ С ЛАМПАСАМИ

Прекраснодушные споры с Зозулей об искусстве были неожиданно прерваны моим призывом в армию. Из-за сильной своей близорукости я всегда освобождался от военной службы и был так называемым «белобилетником». Но сейчас неожиданно призвали в армию и всех ранее освобожденных.

Меня вместе с несколькими болезненными юношами наскоро освидетельствовали и отправили в караульный полк.

Это был, очевидно, самый фантастический из всех полков, какие когда-либо существовали на свете.

В одной из стычек с махновцами был взят в плен помощник Махно — не то Антощенко, не то Антонюк. Я забыл его фамилию. Будем называть его Антощенко.

По совокупности преступлений этого Антощенко надлежало расстрелять. Но пока он сидел в Лукьяновской тюрьме, дожидаясь расстрела, в его шалую голову неведомо как просочилась мысль о возможности спасения.

Антощенко вызвал следователя и продиктовал ему письмо на имя председателя Чрезвычайной Комиссии. Антощенко писал, что Советская власть не знает, что делать с пленными бандитами. Их слишком много. Всех не расстреляешь, а держать в заключении этих дармоедов, особенно в то голодное время, было накладно. Поэтому бандитов, отобрав у них оружие, часто отпускали на все четыре стороны. Большинство из них тотчас же возвращалось под «прапоры-знамена» своих атаманов, и снова начиналась кровавая гульба и гонка по Украине.

Антощенко предлагал выход: не расстреливать его, Антощенко, а наоборот, освободить из тюрьмы, а он, в благодарность за это берется сформировать из пленных бандитов всех мастей совершенно образцовый караульный полк.

Антощенко ссылался на свой авторитет среди бандитов и писал, что никому, кроме него, эта задача не будет по силам.

Правительство пошло на риск и освободило Антощенко. И он действительно за короткое время сформировал караульный полк, где все пленные бандиты были распределены по ротам: махновцы, струковцы, зеленовцы, червоноангеловцы, красножупанники, григорьевцы и еще одна рота из представителей более мелких и не столь знаменитых банд, из так называемых «затрушенных хлопцев».

Вот в этот-то полк и назначили всех нас, бывших «белобилетников».

Началось с того, что конвоиры забрали нас на призывном пункте и повезли в штаб полка на Печерск. По дороге на наши расспросы конвоиры ничего не отвечали, но все же время от времени бросали зловещие фразы: «Сами побачите, яка гадюка» или «На глаза ему не совайся, а то враз кокнет». Речь шла, очевидно, о командире Антощенко.

А потом пошло! Нас выстроили против старого маленького дома, где в палисаднике выше крыши росла сирень. Ничто как будто не грозило бедой, хотя бледные и напряженные лица конвоиров и не предвещали ничего хорошего.

Из дома вышел враскачку на кривых крабьих ногах низкий человек с черными бакенбардами. На нем была красная шерстяная гимнастерка и малиновые галифе с серебряными лампасами. Огромные шпоры лязгали на его сапогах из красной кожи. Красные кожаные перчатки морщились на его толстых пальцах. На лоб была надвинута кубанка с алым верхом.

Это был именно тот карикатурный «красный командир», каким представляли его себе оголтелые махновцы.

Никто из призванных даже не усмехнулся. Наоборот, многие вздрогнули, увидев светлые, почти белые от злобы глаза этого человека. Мы догадались, что это и есть Антощенко.

На поясе у него висел маузер с большой деревянной кобурой, а на боку — кривая шашка в ножнах, украшенных серебром.

Он вынул из кармана галифе белоснежный платок, деликатно встряхнул им в воздухе и вытер губы. Потом спросил сиплым голосом:

— Кого ж это вы до меня привели, хлопцы? Из дряни дрянь?

Конвоиры молчали.

Антощенко медленно обошел наши ряды, осматривая каждого с головы до ног. За ним шли два длинных командира. Должно быть, это были батальонные начальники.

Неожиданно Антощенко выхватил кривую шашку и закричал высоким плачущим голосом:

— Я научу вас, как за революцию служить, так и так вашу мать! Цуцыки! Вам известно, кто я такой? Я этой самой шашкой генерала Каледина зарубил, так, думаете, я с вами буду цацкаться? Я что ни день, то выхаркиваю двенадцать стаканов крови. Я кругом простреленный за мое отечество, и по этому случаю Москва присылает мне каждый месяц тридцать тысяч рублей золотом на мелкие расходы. Вам это известно или нет? А может, вам известно, что у меня разговор с такими субчиками, как вы, получается даже очень короткий,— пломбу в затылок и в яму!

Голос его поднялся до визга. В углах рта лопались пузырьки слюны. Было ясно, что перед нами или сумасшедший, или эпилептик.

Он подошел вплотную к высокому юноше в очках, должно быть, студенту, и ткнул его в подбородок эфесом шашки.

— Ты что? — спросил он, пьяно присматриваясь к высокому юноше.— Очки надел? Я вот этими руками свою жену убил за измену,— он растопырил и показал нам короткие пальцы в сморщенных и явно больших на него багровых перчатках.— Так ты думаешь, я на тебя посмотрю, что ты в очках. Я с тебя шкуру сдеру, и никто мне слова не скажет.

Мы молчали, пораженные, не понимая, что происходит и где мы находимся. Конвоиры напряженно и зло смотрели на Антощенко. Только батальонные стояли совершенно безучастно и поглядывали на нас скучными глазами. Очевидно, они уже привыкли к таким зрелищам.

Антощенко отскочил и закричал наигранно веселым голосом:

— А ну, кто с вас грамотный? Будьте такие добрые, выйдите на три шага вперед!

И он сделал приглашающий жест обнаженной шашкой.

Я хотел было выйти вперед, но конвоир, стоявший рядом, едва слышно сказал:

— Стой! Не выходи!

Я остался. Все мы были, конечно, грамотные, но многие заподозрили неладное в голосе Антощенко, и потому вышло только десять — пятнадцать человек. Это обстоятельство нисколько не удивило Антощенко.

— Кто с вас музыкант? — снова спросил он веселым голосом, и снова конвоир одним дыханием сказал мне:

— Не выходи!

Потом Антощенко выкликал, шутя и посмеиваясь, сапожников, песенников и портных. Люди успокоились, и вышло много народу. А нас, неграмотных и никудышных, осталось всего человек двенадцать,— очевидно, только тех, кого успели предупредить конвоиры.

Тогда Антощенко повернулся к одному из батальонных и сказал ему усталым голосом:

— Батальонный! Ты видишь этих шкурников, что хотели заховаться писарями в штаб или латать бойцам штаны, вместо того чтобы пасть геройской смертью за мировое крестьянство? Ты видишь этих интеллигентных гадов, что хотят примоститься к жизни, не имея на то никакого определенного права?

— Вижу, товарищ командир,— унылым голосом ответил батальонный.

— Сегодня же отправить их против Зеленого под Триполье. И если хоть один из них воротится в полк живой, ты своей головой ответишь, батальонный. Клянусь матерью!

— Слушаюсь, товарищ командир,— так же уныло сказал батальонный.

Антощенко мельком посмотрел на нас, неграмотных, ловко вбросил шашку в ножны и сказал:

— А эту шваль я и смотреть не желаю. В хозяйственную команду! К чертовой матери шагом марш!

Нас отделили от остальных и повели в Никольский форт, где был расквартирован караульный полк.

Полукруглый этот форт, окруженный рвами с заросшими бузиной откосами, стоял на обрыве над самым Днепром вблизи Мариинского парка. В юности я много времени, особенно весной, проводил в этом тенистом и пустынном парке. В нем я встретил гардемарина и впервые

ощутил жгучую тоску по дальним плаваниям. В нем под звон пчел в кустах жасмина я читал стихи разных поэтов и без конца, почти до одури, повторял поразившие меня строчки. Поэтому Никольский форт, сложенный из серого кирпича, с его амбразурами, сводами, обветшалым подъемным мостом на ржавых петлях, с его бронзовыми мордами львов на чугунных воротах, казался мне одним из самых романтических мест на свете.

Он был пуст, заброшен. Высокая трава росла на плацу, предназначенном для учений и смотров. Под крышей форта гнездились ласточки. Запах теплой и вялой летней листвы проникал в разбитые окна.

Этот форт никогда никто не осаждал. Он жил много лет как совершенно мирное архитектурное сооружение.

Это впечатление от Никольского форта так издавна вошло в мое сознание, что сейчас я даже был рад, что буду служить в его стенах. Но с первой же минуты это наивное представление разлетелось, как пыль. Форт внутри был угрюм и грязен. Заплесневелые стены были исписаны похабщиной и сотрясались от топота сапог, криков, разнообразного мата, божбы и песен. Внутри форта так густо пахло казармой, что одежда мгновенно и навсегда пропитывалась этим запахом.

В пыльном коридоре с дощатыми нестругаными полами нас снова выстроили. К нам вышел бледный женственный командир хозяйственной роты, очевидно, бывший офицер. Он с сочувствием посмотрел на нас, похлопал стеком по сапогу и сказал:

— Ну что? Видели бешеную собаку? Убить мало такого командира.

Говорил он искренне или провоцировал нас, так мы и не поняли. На всякий случай мы промолчали.

— Эх вы! — сказал командир роты.— Слякоть. Марш в подвал чистить картошку.

До вечера мы чистили гнилую мокрую картошку в холодном подземном каземате. Со стен стекала сырость. В темных углах повизгивали крысы.

Свет едва сочился в узкую амбразуру. Пальцы сводило от холодной и скользкой картошки.

Мы вполголоса разговаривали друг с другом. Тогда я узнал, что моего соседа — маленького и безропотного человека в очках с печальными покрасневшими глазами —

зовут Иосифом Моргенштерном и что он был до войны рабочим бритвенной фабрики в Лодзи.

Вечером мы вернулись в казарму. Я лег на голые нары и тотчас уснул.

Среди ночи я проснулся от гулкого топота копыт. Я открыл глаза. Подслеповатая электрическая лампочка свешивалась на длинном шнуре с потолка. Разноголосый храп слышался отовсюду. Ходики на стене показывали три часа.

В желтом свете лампочки я увидел Антощенко. Он ехал верхом на гнедом коне по сводчатому коридору, и каменные плиты звенели под копытами его дебелого коня. Провод полевого телефона был протянут поперек коридора и мешал Антощенке проехать. Он остановился, выхватил шашку и перерубил провод.

Антощенко въехал из коридора в нашу казарму, остановил коня и крикнул:

— Хозяйственная рота! Стройся!

Испуганные заспанные люди вскакивали с коек и торопливо строились. Почти все были разутые, стояли на каменном полу босиком и вздрагивали спросонок.

— Вот сейчас,— спокойно сказал Антощенко,— вызову я сюда пулеметчика и прикажу вас всех пострелять, как перепелов. Думаете, я не знаю, что вы своего командира убить задумали, бешеной собакой обзывали.

В голосе у него задребезжали истерические нотки.

— Пулеметчика сюда! — крикнул он, обернувшись, и только тут мы заметили, что позади Антощенко, в дверях казармы, стоят два его ординарца.— Куда он девался, вражий сын?

— Товарищ командир,— осторожно сказал один из ординарцев.— Поедемте, ей-богу, домой.

— Убью! — дико закричал Антощенко и зашатался в седле.— На ремни изрежу, жидочки очкастые. Попилю всех циркулярной пилой, как баранов.

Антощенко захрипел. Пена потекла у него изо рта, и он начал медленно валиться с седла.

Мы стояли неподвижно. Потом оказалось, что у каждого в то время появилась одна и та же мысль,— если Антощенко действительно вызовет пулеметчика, броситься к стойке, где стояли винтовки, разобрать их и открыть огонь.

Ординарцы подхватили Антощенко и поволокли в ко-

ридор, а оттуда во двор на воздух. Дебелый конь безучастно, как заводной, пошел за ними следом.

Никто из нас, солдат хозяйственной роты, людей, попавших в этот полк случайно, не мог понять, как это в Киеве, рядом с Крещатиком, рядом с театрами и университетом, с библиотеками и симфоническими концертами, наконец, рядом с обыкновенными хорошими людьми, может существовать это черное гнездо бандитов во главе с полубезумным больным командиром.

Существование этого полка казалось бредом. Каждую минуту Антощенко мог застрелить любого из нас. Жизнь каждого зависела от того, что взбредет ему в голову.

Каждый день мы ждали его новых выходок, и он никогда нас в этом не обманывал.

Мы безвыходно сидели в Никольском форте. Отлучек в город не было. Но даже если бы нас и пускали в город, то нам некому было рассказать обо всем, что творилось в полку. Да и бесполезно было бы рассказывать,— просто нам не поверили бы.

Мы решили написать об Антощенко правительству и комиссару по военным делам Подвойскому, но события опередили нас.

Несколько дней прошло сравнительно спокойно. Часть полка отправили под Триполье против Зеленого, а оставшиеся роты несли в Киеве караульную службу — охраняли склады и товарную станцию, участвовали в облавах на спекулянтов на Бессарабке и около знаменитого кафе Семадени на Крещатике.

Но вскоре поздней ночью полк был поднят по тревоге и построен широким каре па плацу перед фортом. Никто не знал, что случилось. Передавали, что со стороны Святошина подходит какая-то неизвестная банда и мы должны отбросить ее от города.

Легкое возбуждение бойцов передалось даже и в нашу хозяйственную роту, вооруженную японскими винтовками, но без единого патрона.

Мы стояли на плацу и ждали. За Днепром пробивался дождливый рассвет. Листья каштанов обвяли, опустив свои широкие зеленые пальцы. Пахло пыльной травой, и было слышно, как на колокольне в Печерской лавре пробило четыре никому не нужных часа.

— Полк, смирно! — прокричали на разные голоса командиры. Бойцы вытянулись и замерли.

В середину каре быстро въехало черное лакированное ландо. Два орловских рысака — белые в серых яблоках — остановились и начали рыть копытами землю.

В ландо стоял Антощенко, а рядом с ним сидели три девицы в шляпках. Девицы толкали друг друга локтями, повизгивали от восторга и похохатывали.

— Полк, слушай! — протяжно прокричал пьяным голосом Антощенко и поднял над головой шашку.— Вокруг моего экипажа... повзводно... с моей любимой песней... торжественным маршем... шагом... марш!

Он опустил шашку. Полк стоял неподвижно. Только первая рота махновцев нерешительно, путая шаг, двинулась вокруг экипажа. Песенники запели «Ты не плачь, Маруся, будешь ты моя», но тотчас замолчали, и рота в растерянности остановилась.

— Марш! — диким голосом закричал Антощенко.

Полк все так же стоял неподвижно и молчал. Девицы перестали хохотать. Наступила такая тишина, что было слышно прерывистое гневное дыхание Антощенко.

— Ах, вот вы как, сучьи дети,— прохрипел Антощенко и потащил из кобуры маузер.

В ту же минуту из задних рядов звонко крикнули:

— Марух своих забавляешь, гад! Бей его, хлопцы, в душу, в гробовую доску!

Прогремел винтовочный выстрел. Кучер Антощенко резко повернул рысаков, они даже взвились на дыбы — и ландо помчалось с плаца по улице вдоль ограды Мариинского парка.

Вслед ему раздалось несколько винтовочных выстрелов. Потом ряды смешались, послышались нестройные крики и отчаянная ругань. Роту махновцев оттеснили к стене. Она начала отбиваться прикладами. Покрывая все над плацем и фортом, как будто над всем Киевом, раздался пронзительный разбойничий свист в два пальца.

— По казармам! Спокойно! — кричали командиры, но их уже никто не слушал.

Начался бунт.

Били махновцев, очевидно, за то, что это была любимая рота Антощенко. Махновцы засели в первом этаже форта и начали отстреливаться. Били заодно кашеваров и каптеров.

Трудно было понять, что происходит. Бешеный вой перекатывался по плацу, по лестницам и казематам. На

нашу хозяйственную роту, к счастью, пока не обращали внимания, и мы без потерь отошли в свою казарму и забаррикадировались в ней.

Бунт стих через два часа, когда Никольский форт оцепил соседний Интернациональный полк, сформированный из пленных венгров и австрийцев. Убитых, как это ни удивительно, не было. Было только несколько раненых.

Утром в одиннадцать часов полк снова был вызван по тревоге на плац. Люди переругивались и хмуро и неохотно строились.

Полку объявили, что сейчас приедут члены правительства поговорить с бойцами и разобраться во всем, что случилось. Вздох облегчения прошел по рядам.

В центре каре поставили дощатую трибуну. Вскоре на машинах приехали члены правительства во главе с Раковским.

Полк взял «на караул». Оркестр заиграл «Интернационал», и, глядя на неподвижные ряды бойцов, никто бы не мог и подумать, что несколько часов тому назад в этом полку бушевал бунт. Только у некоторых из бойцов головы были забинтованы свежей марлей после ночных ранений и ушибов.

Антощенко незаметно прошел на трибуну. Он не поздоровался с полком. На трибуне он стоял рядом с членами правительства и даже пытался, заискивая, заговаривать с ними, но ему не отвечали.

Первым начал говорить Раковский. Говорил он мягко и ласково, успокаивал бойцов и сказал, что особая правительственная комиссия в течение трех дней разберет все жалобы на командира полка и в случае, если они подтвердятся, будут приняты самые решительные меры.

Антощенко стоял позади Раковского. Лицо его налилось кровью, от нервного тика передергивалась щека с багровым шрамом. Он все время судорожно то сжимал, то разжимал эфес шашки. В конце концов Антощенко не выдержал, отстранил Раковского и закричал:

— Разве мыслимо, товарищ Раковский, так деликатно разговаривать с этими кровогонами! Правительство снисходит до вас, а я снисходить не желаю. Из-за чего это я буду цацкаться с каждым дерьмом. Я поговорю с вами по-своему. Первое,— что же это вы, сукины дети, приду-

мали жалиться на своего отца-командира нашему многоуважаемому правительству! Как вам влезло такое в башку! Вы должны не жалиться, а руки мне целовать. Кто из вас, бандитские морды, сделал людей? Я, Антощенко! Кто вас обул, одел? Опять же я, Антощенко! Кто вас кормит ячной кашей с постным маслом и полностью выдает табачное довольствие? Все тот же командир, товарищ Антощенко. Не будь меня, вас бы всех перестреляли, как миленьких, клянусь своим батькой-сапожником из Христиновки. А вы жалиться! А вы бунтовать! Заразы! Вот ты, с рыжей ряшкой,— три шага вперед! Да не ты, а вон тот в австрийской шинельке. Кто тебе выдал шинельку, приятель? Отвечай!

Боец в австрийской шинели вышел из рядов на три шага, стоял навытяжку, но молчал.

— Я тебе все выдал. Я, курносая твоя башка! А кто тебе выдал обмотки из синей шерсти, из чистой английской диагонали? Не знаешь, мигалки твои закройся! Я тебе их выдал незаконно, командир Антощенко, потому что то командирские обмотки. Пожалел, гада. Что ж ты лупишь глаза и молчишь, как засватанный? Теперь — второе! На командира жалиться вы смелые, а сами монахам в Лавру казенный хлеб продаете. Думаете, я не знаю! А шинелями кто на Житном базаре торгует? А девиц легкого поведения кто раздел на Владимирской горке и пустил нагишом по матери городов русских? Я все знаю. У меня вы все вот тут, в жмене,— Антощенко сжал и разжал свой красный кулак.— Я каждого могу немедленно подвести под расстрел.

Адъютант пытался остановить Антощенко, но он даже не оглянулся на него.

— Самогон варите по всем помещениям, с противогазов понаделали себе змеевиков. Патроны тратите на забаву да злодеянство, когда их недостает на фронте для борьбы против вольных украинских атаманов! Ну да годи! Ладно! Перед правительством я вас прощаю. Хрен с вами, у меня в сердце на вас ненависти нету. Что с вас возьмешь, с голоты. По этому случаю — полк, слушай!

Антощенко выхватил кривую шашку. Клинок жидко блеснул в сыром утреннем воздухе.

— С песней перед трибуной правительства церемониальным маршем повзводно с правого фланга шагом... марш!

Оркестр ударил разухабистый скачущий мотив, и полк неуклюже двинулся церемониальным маршем мимо трибун. В первой роте грянули песню:

Цыпленок дутый,
В лаптях обутый,
Пошел в купальню погулять.
Его поймали,
Арестовали,
Велели паспорт показать.

Члены правительства, не дожидаясь окончания марша, быстро спустились с трибуны и уехали.

Полк недоумевал, чем все это окончится. Все были уверены, что Антощенко снимут с командования и разжалуют. Но дни шли, и ничто не менялось. Очевидно, правительству было не до Антощенко. Деникин взял Одессу. Положение было тревожное.

Антощенко ходил гоголем и начал ерничать в полку еще сильнее, чем до пресловутого бунта.

Прекратил все это тяжелое и буйное существование караульного полка солдат нашей роты — тот самый низенький и тихий Иосиф Моргенштерн, о котором я упоминал в начале этой главы.

Этот кроткий безответный человек ненавидел Антощенко люто, с холодным бешенством. Особенно после того, как Антощенко пообещал «расщелкать» всех евреев в полку и очистить полк от «иерусалимских дворян».

Однажды нашу роту, вопреки правилам, послали нести караулы около складов за Байковым кладбищем и даже выдали по два боевых патрона на винтовку.

Была теплая ночь. Откуда-то пахло цветущей маттиолой. Среди ночи взошел над темным Киевом серп умирающего месяца и поплыл над беззвучной украинской ночью.

Чтобы не уснуть, я напевал про себя всякие песни. Когда я дошел до старинной песни:

Не слышно шуму городского,
За Невской башней тишина,
И на штыке у часового
Горит полночная луна,—

послышался топот копыт. Кто-то подъехал к складу и, матерясь, соскочил с седла. Я узнал голос Антощенко. Иногда по ночам он проверял караулы.

Антощенко пошел к складу. У дверей склада стоял на карауле Моргенштерн.

— Кто идет? — крикнул он своим тонким голосом.

— Что у тебя, повылазило, свинячье ухо! — закричал Антощенко.— Не видишь, кто идет?

Тогда Моргенштерн, тотчас же, конечно, узнавший командира, якобы соблюдая устав, три раза без перерыва быстро прокричал: «Кто идет? Кто идет? Кто идет?» — и, не дожидаясь ответа Антощенки, выстрелил в него в упор и убил наповал.

Все это кончилось тем, что Моргенштерна арестовали, но через день выпустили, а полк был немедленно расформирован. Нашу хозяйственную роту отпустили по домам.

Я возвращался домой в поздние сумерки по Институтской улице мимо здания государственного банка, построенного по капризу архитектора под «Дворец дожей» в Венеции.

Было душно, подходила гроза, и в черных полированных колоннах банка отражались зарницы. Свежий ветер прошумел в каштанах и стих.

За открытым окном в полной темноте кто-то подбирал на рояле мотив и пел баритоном: «Он далеко, он не узнает, не оценит тоски твоей». Из палисадника пахло травой.

И я вдруг вспомнил ту ночь после прощального гимназического бала, когда я провожал по Институтской улице под этими же каштанами гимназистку Олю Богушевич. Ее платье казалось мне слишком нарядным даже для этой праздничной ночи, и вся она была красота и радость.

Я вспомнил эту ночь, холодные от волнения пальцы девушки, когда мы прощались у ее дома, и в свете фонаря нестерпимо сверкнувшие ее глаза. И все, что было тогда, показалось мне невозможным сном столетней давности.

Не верилось, что рядом со всем этим миром зарниц и каштанов, свежей травы и спокойных людских голосов, девичьего трепета и нежности, книг, стихов и таинственных надежд — миром ясным и простым — здесь же мог жить изувер с оголтелым бешенством в глазах, заскорузлый от крови Антощенко, «исчадие ада», как говорил о нем Моргенштерн. И невольно думалось,— как слаба еще пленка культуры и какие лежат под ней глухие и бездон-

ные воды дикости и темноты. Но свет человеческой мысли просветит эти воды до дна. В этом была великая задача нашего будущего, нашей работы, нашей пока еще не устроенной жизни.

Спустя двадцать с лишним лет мне пришлось как-то выступать среди читателей в библиотеке города Алма-Ата.

Поздняя осень гремела твердыми и сухими листьями тополей. Арыки несли с гор ледяную воду, пахнувшую морем. Над вершинами Ала-Тау сверкало густое небо, и за этими вершинами чудилась Индия.

После выступления ко мне подошел низенький, совершенно седой человек с печальными глазами.

— Вы меня не узнаете? — спросил он.

— Нет. Не припоминаю.

— Я Моргенштерн. Мы были вместе с вами в караульном полку в Киеве.

— Что вы сейчас делаете? — спросил я.

— Это не важно,— ответил он и усмехнулся.— Но я рад за вас. Вам неизбежно придется отдуваться в литературе за всех людей, каких вы встречали в жизни. В том числе и за вашего однополчанина Моргенштерна.

СЛОЕНЫЙ ПИРОГ

Было летнее утро с порывистым ветром. Беспорядочно шумели за окнами каштаны, и далеко со стороны Фастова бухали пушки. Там шел бой с подходившими с юга деникинцами.

В темноватой квартире у Амалии пахло свежеразмолотым кофе. Амалия домалывала последние зерна. Мельница жалобно поскрипывала, а временами даже взвизгивала, как бы предчувствуя конец своего существования.

Как всегда, от запаха кофе казалось, что в квартире было уютнее, хотя висевший на стене «подарок моря» — испорченный термометр, украшенный ракушками,— и зиму и лето показывал одно и то же: три градуса холода. От этих вечных трех градусов иногда казалось, что в квартире холоднее, чем было на самом деле.

Кто-то постучал в кухонную дверь. Я слышал, как Амалия пошла отворять. После недолгой тишины она вдруг крикнула, задыхаясь:

— Да! Он здесь! Здесь! Конечно!

Голос Амалии оборвался. Я бросился в кухню. Там стояли две запыленные нищенки. Головы у них были повязаны платками так низко, что почти не было видно глаз.

Женщина пониже крикнула: «Костик!» — опустилась на табурет и упала головой на кухонный стол. Из рук у нее выпал и загремел по полу самодельный, вырезанный из лещины, посох.

Я узнал голос мамы, стал перед ней на колени и пытался заглянуть в лицо. Она, не глядя на меня, крепко сжала мои щеки сухими и холодными ладонями и заплакала почти без слез. Только судорожное дыхание выдавало ее.

А Галя стояла, боясь двинуться,— она, должно быть, совсем уже ничего не видела. Я заметил, что ноги ее обмотаны полосками, вырезанными из пикейного одеяла, и обвязаны бечевкой. До сих пор я помню эти полоски одеяла с зеленым узором. Очков у Гали не было. Она напряженно, вытянув шею, смотрела в угол кухни, где темнела гнутая венская вешалка, и спрашивала маму: «Ну что? Он здесь, Костик? Что же ты не отвечаешь? Где он?»

Мама с Галей пришли из Копани в Киев пешком. Дольше оставаться в Копани было немыслимо. Почти каждый день на усадьбу налетали мелкие банды, но не трогали ни маму, ни Галю, очевидно, потому, что взять у них было нечего.

Иные бандиты даже жалели маму и оставляли ей, уходя, то горсть сухарей, то макуху, а один бандит даже подарил удивительной красоты, но совершенно дырявую испанскую шаль. По его словам, он захватил ее в житомирском театре.

Доконал маму последний бандит с кличкой «Ангел мщения». Мама, перевидавшая десятки атаманов, была поражена тем, что «Ангел мщения» оказался бородатым выкрестом в очках. В прошлом он держал аптеку в Радомысле и считал себя идейным анархистом.

Он говорил маме «мадам» и забрал все, до последней иголки, но оставил подробную опись всех взятых вещей

с правом получить по этой описи возмещение, но не раньше чем «анархия завладеет всем миром».

Мама с Галей шли до Киева больше двух недель. Шли они под видом нищенок, да и на самом деле они ничем не отличались от них. Галя была без очков и шла, держась за мамино плечо, как слепая. Никто бы не поверил в их нищенство, если бы Галя была в очках. В то буйное время к людям в очках относились подозрительно. Почти всех «очкастых» считали хитрыми врагами и люто ненавидели. Удивительно, что это недоверие к людям в очках сохранилось до сих пор и породило пренебрежительную кличку «очкарик».

Несколько дней мама и Галя отдыхали, отсыпались, и выражение покоя и счастья не сходило с их лиц. Потом мама решила, как всегда, действовать, начала помогать Амалии шить. Они сейчас же сдружились, в квартире уже стучали две швейные машинки, а Галя засела за искусственные цветы.

Она делала их долго и тщательно из разноцветных клочков материи. Я с удивлением рассматривал Галин набор стальных инструментов и штампов. Ими она высекала из накрахмаленного коленкора венчики ромашек, лепестки роз и разнообразные листья. Особенно много возни было с тычинками и бутонами. Цветы были хороши, но пахли краской, клеем и очень скоро пылились.

В глубине души я был уверен, что это Галино занятие совершенно бессмысленно, особенно во время революции, голода и гражданской войны. Кто будет покупать эти цветы, когда люди совершают смертельные и головоломные экспедиции за фунтом ячной крупы или стаканом подсолнечного масла. Но оказалось, что я был неправ.

Матерчатые цветы буйно раскупались в лавчонках около Байкова кладбища, где шла торговля дешевыми венками, решетками для могил (их делали преимущественно из старых кроватей), сахаристыми мраморными памятниками и витиеватыми железными крестами.

Каждую неделю к Гале приходила старая перекупщица, забирала цветы и советовала Гале не очень корпеть над ними,— все равно их раскупают, потому что других цветов нет.

Галя возмущалась этими ее словами и продолжала возиться над одной какой-нибудь чайной розой целый день. Она была добросовестна до полного самоистязания.

У старой перекупщицы, неизменно философически настроенной, была довольно мрачная теория человеческих профессий. Она любила излагать ее своим монотонным голосом.

— Когда приходит такое время, как наше,— говорила она,— так заработать можно только с таких вещей, что всегда были, есть и будут на земле, несмотря на все наши революции и войны. Первое — у человека никогда не перестанут расти волосы, пока, как говорится, крутится в небе наша земля. Крутится без остановки и день и ночь, заметьте этого. С этого вы, я думаю, можете сделать вывод, что самая выгодная профессия — быть парикмахером. И второе — человек никогда не перестанет умирать. Какая бы ни была власть, а человека хоронить надо. Он же сам не выкопает себе могилу, не положит на нее венок и не напишет на памятнике «Спи спокойно, любезный супруг Яша» или «Ты пал пламенной смертью на страх врагам». Значит, на этом деле тоже можно безостановочно зарабатывать гроши. Вот так оно и получается. Одним горе, а мне хлеб. Одним слезы, а мне кружка молока.

Все в доме боялись этой зловещей кладбищенской старухи, кроме Гали. Одна только Галя мужественно вступала с ней в бесполезные споры.

Канонада на юге усиливалась. Советские части уже вели бои с деникинцами за подступы к городу.

В том бязевом учреждении, куда я снова вернулся из караульного полка, началась эвакуация. Тюки с бязью вывозили на товарную станцию и отправляли на север.

Однажды утром я пришел в учреждение и увидел на дверях приколотую кнопками записку. Она была напечатана на знакомой мне картавой машинке, без буквы «р»: «учеждение эвакуиовано спавки по телефону такому-то».

Я постоял на темноватой лестнице, засыпанной обрывками рогож, надеясь, что придет еще кто-нибудь из сотрудников. Но никто не пришел.

В недоумении я вышел на улицу и увидел человек двадцать раненых красноармейцев. Пыльные и измученные, они тяжело шли по мостовой. У иных на руках, а у иных на лице сверкали снежной белизной только что наложенные перевязки.

Я пошел вслед за ними. Было ясно, что эти люди только что вышли из боя и добрели до города пешком.

Они прошли по Васильковской улице, потом по Крещатику и начали спускаться на Подол к Днепру. Они шли, и сначала торговая и шумная Васильковская, а потом не менее шумный и нарядный Крещатик медленно замолкали. Прохожие останавливались и долго смотрели красноармейцам в спину. Тревога шла вслед за ранеными по Крещатику и вскоре перебросилась на все соседние улицы.

Я догнал одного из красноармейцев и спросил, где сейчас бой.

— Под Красным Трактиром,— ответил красноармеец, не взглянув на меня.— Там теперь жарко, товарищ.

Деникинцы наступали с юго-востока, от Дарницы, а Красный Трактир лежал к юго-западу от Киева.

— Неужели деникинцы уже окружают город? Много их там, деникинцев? — спросили из толпы.

— Да какие там деникинцы! — с досадой ответил красноармеец.— Там их сроду и не было.

— А с кем же вы дрались?

— Понятно, с противником,— ответил красноармеец, усмехнулся и ушел вслед за своими.

Все это было непонятно. Когда же через час над городом со знакомым воем стали перелетать снаряды и разрываться на Подоле и пристанях, полное смятение охватило киевлян. Снова началось переселение в подвалы. Снова начались дежурства во дворах, коптилки, гаснущие от взрывов, собирание воды во всяческие сосуды, слухи и бессонные ночи.

Пожалуй, ночные дежурства были самым спокойным занятием в то бурное время. Я даже полюбил эти дежурства в нашем маленьком дворике около глухой железной калитки и таких же глухих чугунных ворот.

Почему-то в этом тесном дворике, где рос единственный развесистый каштан, я чувствовал себя по ночам в безопасности, как в неприступной крепости.

Никакого оружия у дежурных не было и быть не могло. За хранение даже детского ружья монтекристо просто расстреливали. Единственное, что требовалось от дежурного,— это при малейшей тревоге будить жильцов, чтобы опасность не захватила их врасплох. Для этого во дворе висели медный таз и молоток.

Должно быть, я полюбил эти ночные дежурства за странное, совершенно ложное чувство безопасности, живущей рядом с опасностью. Она таилась, эта опасность, тут же, за железным листом калитки толщиной всего в два миллиметра.

Стоило открыть калитку и перешагнуть порог, чтобы очутиться с глазу на глаз с чем-то неведомым и страшным, что завладевало по черным ночам мертвыми улицами Киева, чтобы услышать, как кто-то крадется вдоль палисадника, и ощутить всеми нервами свинцовую пулю, раздирающую воздух и пущенную именно в тебя.

Во дворе этот страх исчезал. Нужно было только прислушиваться и сидеть очень тихо, чтобы ничем себя не выдать. Звериный инстинкт подсказывал, что единственное спасение — в полной тишине и темноте, в том, чтобы остаться незамеченным.

Со мной иногда дежурил пожилой учитель истории из бывшей женской гимназии Левандовской Авель Исидорович Стаковер.

Несмотря на то что Стаковер преподавал в женской гимназии, он был ярым женоненавистником. Низенький, с длинной растрепанной бородой и красными веками, неопрятный и вечно разгневанный, он не уставал посылать, как пророк Иеремия, проклятия на голову всех без исключения женщин.

Спокойно он мог говорить только о средних веках. Он утверждал, что это было самое милое время в жизни человечества. Для этого у Стаковера были свои основания, если исключить, конечно, из истории средних веков культ прекрасной дамы и мадонны. Все же остальное вполне устраивало Стаковера.

Достоинства средних веков он перечислял по пальцам. Во-первых, на земле было просторнее. Во-вторых, дремучие леса и воды подходили к самым порогам жилищ. Человек дышал живительным воздухом чащ и питался чистыми соками земли, а не керосиновым чадом и консервами. В-третьих, в те времена уже процветала великолепная поэзия и человеческая мысль была не менее острой, чем теперь. В-четвертых, сам человек был проще, яснее и привлекательнее, чем во времена расцвета цивилизации.

Стаковер пользовался всяким случаем, чтобы доказать мне красоту средних веков. Как будто он мог легко пере-

селить меня в те отдаленные времена и как будто у меня была возможность свободно выбирать для существования любую эпоху. Он выступал как вербовщик, как вдохновенный приверженец, как представитель средних веков и говорил о них так, что казалось, он только что возвратился оттуда.

Даже гражданскую войну на Украине и наши ночные дежурства Стаковер использовал для прославления средних веков.

В ту ночь, когда красные части оставляли Киев и через город перекидным огнем била неведомо чья артиллерия, Стаковер сказал мне:

— Не знаю, как вы, мой юный друг, но я хотел бы жить только в средневековом замке. Только там в те опасные времена человек испытывал блаженный покой и безопасность. Из лесов, где на каждом шагу его поджидала возможность быть повешенным на первом же дубовом суку, он входил под вековую сень зубчатых стен. Подъемный мост подтягивали за ним к закрытым крепостным воротам, и человек вдруг ощущал не только радость спасения, но всю полноту жизни. Ею сверкала солнечная тишина огромных дворов, вымощенных каменными плитами, ею был полон воздух, она звенела в песне рожка, созывавшего жителей замка на трапезу. Она была заключена в толстых фолиантах библиотеки, где ветер шуршал твердыми страницами. Человек был спокоен за свою жизнь. А только в этом состоянии он и может создавать бессмертные ценности, мой юный друг.

А днем Стаковер показывал мне планы и рисунки старых замков, с их мощными главными башнями — донжонами, с их бойницами, сторожевыми башенками, переходами, лабиринтом сумрачных комнат, стенами толщиною в два метра, каминами, внутренними садами и колодцами. Все замки стояли на вершинах гор, на неприступных скалах. Их со всех сторон обдували ветры Бургундии и Иль-де-Франса, Лотарингии и Савойи, Богемии и Апеннин. Высокое солнце, как пылающая корона, струило свой свет на башни, знамена и черепицу, покрытую мхом.

Особенно любила слушать Стаковера мама. Когда я дежурил, она вставала ночью и, накинув теплый платок, выходила во двор. Мы садились за выступом дома и раз-

говаривали шепотом, часто замолкая, чтобы прислушаться к какому-нибудь непонятному звуку.

Мама, считавшая, как все матери, и Галю и меня совсем еще малыми детьми, простодушно советовала мне почаще беседовать со Стаковером.

— Это кладезь всяких познаний,— говорила мама.— Ходячий университет. Тебе очень полезно почаще встречаться с ним, Костик. Ты не пренебрегай такими людьми.

Нет, я никогда не пренебрегал такими людьми. Наоборот, я мог слушать их часами. Я был благодарен им за их обширные познания и ту щедрость, с какой они делились ими со мной.

Меня удивляло, что они, в свою очередь, были благодарны мне за то, что я внимательно их слушаю. Они, очевидно, не были избалованы вниманием, и я объяснял это только тем обстоятельством, что, по точному выражению Пушкина, мы, русские, «ленивы и не любопытны». Ни гимназия, ни университет не дали мне таких познаний — глубоких и захватывающе интересных, как книги и встречи с людьми. И я, человек чрезмерно стеснительный, всегда завидовал тем людям, что легко сходились со всеми окружающими и тотчас же заводили с ними оживленные разговоры. Мне же для этого нужно было долгое время.

Снаряды всю ночь свистели над городом. Они взрывались на Подоле с таким звуком, будто кто-то с размаху сбрасывал на землю связки листового железа.

К рассвету советские части отошли вверх по Днепру, и стало тихо.

Рано утром мама, отличавшаяся необыкновенной любознательностью и полным пренебрежением к опасности, ушла в город, как она говорила, «на разведку». Вскоре она вернулась и рассказала, что город пуст, что деникинцы еще не вошли, но кое-где на домах предусмотрительные горожане уже вывесили бело-сине-красные царские флаги.

Когда мы пили на кухне морковный чай, на Фундуклеевской улице раздались знакомые крики «слава!». Мы вышли на балкон. По улице шли не деникинцы, а петлюровцы, с желто-голубыми знаменами. Шли уверенно и спокойно, рисуясь своим австрийским обмундированием.

И те же, недавно еще намозолившие нам глаза «щи-

рые украинцы» в вышитых рубахах кричали им «слава!» и снова бросали в воздух свои смушковые, траченные молью шапки.

Город недоумевал. Вместо деникинцев вошли петлюровцы.

Они дошли до Крещатика, заняли его, расположились на нем бивуаком и вывесили на балконе Городской думы свой флаг. Флаг на этом балконе был своего рода заявочным столбом. Его вывешивала каждая новая власть в знак того, что она не сдастся без боя.

Тотчас же поползли слухи, что Деникин уступил Киев Петлюре, а белые части, подходившие к городу с юга, перебрасываются па Орловское направление.

Замотанному до дурноты неожиданными переменами и «переворотами» населению было уже почти все равно, кто будет владеть городом, лишь бы новые пришельцы не расстреливали, не грабили и не выбрасывали из домов. Поэтому приход петлюровцев был встречен с полным равнодушием.

Но в час дня с Печерска, со стороны Лавры, в город вошли первые кавалерийские отряды Деникина, а за ними — полк донских казаков.

Деникинцы дошли до занятого петлюровцами Крещатика, очень удивились этому обстоятельству — не меньше, чем горожане — и начали выяснять, в чем же, в сущности, дело.

Оказалось, что к западу от города долго скрывалась по деревням и ждала своего часа петлюровская дивизия. Никто об этом не знал. Воспользовавшись отходом советских частей, петлюровская дивизия решила опередить деникинцев, рванулась на Киев и после двухдневного боя заняла город.

Деникинцам это, естественно, не понравилось. Между ними и петлюровцами начались какие-то таинственные и сложные переговоры. После них на балконе Городской думы, рядом с петлюровским, появился бело-сине-красный флаг, свидетельствовавший о двоевластии.

Киевляне окончательно запутались. Трудно было понять, кто же будет владеть городом.

Но все эти сомнения окончились к вечеру, когда к деникинцам подошли подкрепления. Два казачьих полка вдруг обрушились лавой с крутых Печерских гор на ничего не подозревавших петлюровцев.

Казачьи полки неслись карьером с опущенными пиками, гикая, стреляя в воздух и сверкая обнаженными шашками. Никакие нервы не могли выдержать этой дикой и внезапной атаки.

Петлюровцы бежали без единого выстрела, бросив пушки и оружие. И те же «щирые» старики, что утром умильно возглашали «слава!», сейчас кричали с балконов и тротуаров, потрясая от бешенства кулаками, «ганьба!», что означает «позор». Но петлюровцы не обращали на эти крики внимания и бежали, озираясь и что-то торопливо рассовывая на бегу по карманам.

Опомнились они только за городом, когда добежали до Святошина. Там они остановились передохнуть. И единственная уцелевшая у них батарея выпустила наугад по Киеву десяток снарядов.

Потерь не было, если не считать, что на Владимирской горке был разбит киоск, где торговали мороженым, а осколок снаряда отбил ухо на гипсовом памятнике у одного из просветителей России — не то у Кирилла, не то у Мефодия.

Наутро по городу был расклеен приказ генерала Бредова о том, что отныне и навеки Киев возвращается в состав единой и неделимой России.

КРИК СРЕДИ НОЧИ

Был, должно быть, тот поздний час, когда все вокруг мертвеет от вязкого мрака и тишины. Даже вода в ржавых трубах иссякала среди ночи и переставала равномерно капать из крана в чугунную кухонную раковину.

В такие онемелые ночи часто снятся запутанные сны. От них потом долго саднит на сердце.

Кто-то долго будил меня, но я никак не мог проснуться. Вернее, я не хотел просыпаться и мучительно ловил в вязкой путанице сознания угасающую полоску зари.

Внезапно сквозь эту тугую борьбу со сном прорвалось рыдание. Я открыл глаза, быстро поднялся на кровати и увидел маму.

Она сидела у меня в ногах. Волосы ее седыми прядями падали на лицо. Она держалась за спинку кровати и плакала глухо и судорожно.

— Что? — спросил я шепотом.— Что случилось?

— Тише,— сказала мама, глотая слезы.— Ты разбудишь Галю.

— Но что же случилось? Говори.

— Я не знаю,— растерянно ответила мама, и у нее задрожала голова. Мне показалось, что мама сходит с ума.— Я не знаю, что случилось, но, должно быть, что-нибудь ужасное. Встань и послушай. Выйди на балкон.

Я ощупью добрался до балкона. Дверь его была распахнута настежь. Я вышел, прислушался и похолодел,— издалека, со стороны Васильковской улицы, катился по ночному городу, приближаясь к нашему дому, многоголосый вопль ужаса, вопль смерти великого множества людей. Отдельных голосов нельзя было разобрать.

— Что это? — спросил я в темноту, ни к кому не обращаясь.

— Погром,— неожиданно ответила за моей спиной Амалия.

Зубы ее стучали. Она, видимо, не могла больше сдерживаться, и у нее вот-вот мог начаться истерический припадок.

Я снова прислушался. Слышен был один только крик, но никаких других признаков погрома больше не было — ни выстрелов, ни звона разбитых стекол, ни зарева над домами,— ничего, что сопутствовало погрому.

После страшных гайдамацких погромов некоторое время было тихо. Тихо было вначале и при деникинцах. Евреев они пока что не трогали. Изредка, но и то подальше от людных улиц, юнкера с накокаиненными глазами, гарцуя на конях, пели свою любимую песенку:

Черные гусары!
Спасай Россию, бей жидов,—
Они же комиссары!

Но после того как советские войска отжали деникинцев от Орла и начали гнать на юг, настроение у белых изменилось. По уездным городкам и местечкам начались погромы.

Кольцо погромов сжималось вокруг Киева, и наконец в ту ночь, о которой я рассказываю, начался первый ночной погром на Васильковской улице.

Громилы оцепили один из больших домов, но не успели ворваться в него. В притаившемся темном доме, разрывая зловещую тишину ночи, пронзительно, в ужасе и отчая-

нии, закричала женщина. Ничем другим она не могла защитить своих детей,— только этим непрерывным, ни на мгновенье не затихающим воплем страха и беспомощности.

На одинокий крик женщины внезапно ответил таким же криком весь дом от первого до последнего этажа. Громилы не выдержали этого крика и бросились бежать. Но им некуда было скрыться,— опережая их, уже кричали все дома по Васильковской улице и по всем окрестным переулкам.

Крик разрастался, как ветер, захватывая всё новые кварталы. Страшнее всего было то, что крик несся из темных и, казалось, безлюдных домов, что улицы были совершенно пустынны, мертвы и только редкие и тусклые фонари как бы освещали дорогу этому крику, чуть вздрагивая и мигая.

Об этом я узнал потом. Сейчас же, не зная, что происходит, я начал поспешно одеваться, чтобы идти туда, где, раздирая сердце, слышался этот крик. Мама тоже начала одеваться. Она решила идти со мной.

Зачем я иду, я толком не знал. Но я не мог оставаться дома. Я понимал, что не успокоюсь, пока не узнаю причины этого крика. Неизвестность была хуже самой злой опасности, подстерегавшей каждого на ночных проклятых улицах города.

Но уйти нам не пришлось. Пока мы одевались, начала кричать соседняя Фундуклеевская улица и трехэтажный дом рядом с нами. Там не было в окнах ни одного огня.

Я снова вышел на балкон и увидел, как по Фундуклеевской пробежало несколько человек, шарахаясь от кричащих домов. Это, должно быть, были громилы.

Меня била нервная лихорадка. Рядом сидела на полу, покачивалась и, зажав лицо ладонями, тихо стонала Амалия. Мама увела ее и начала отпаивать валерьянкой.

Я слушал. Кричали Подол, Новое строение, Бессарабка, кричал весь огромный город. Этот крик был, должно быть, слышен далеко за его пределами. Он ударялся в низкое черное небо и возвращался обратно, этот вопль о пощаде и милосердии.

Погром не разгорелся. Деникинское командование, не ожидавшее такого оборота дела, было смущено. В город были высланы вооруженные отряды. Зажглись уличные фонари. Ранним утром на стенах был расклеен успокои-

тельный приказ командующего деникинскими частями. А в газете «Киевлянин» на следующий же день известный консерватор Шульгин напечатал статью под заголовком «Пытка страхом», где неожиданно осудил деникинское командование за потворство погромам.

Я слышал, как кричат от ужаса отдельные люди, толпы людей, но я никогда не слышал, чтобы кричали целые города. Это было невыносимо, страшно потому, что из сознания вдруг исчезало привычное и, должно быть, наивное представление о какой-то обязательной для всех человечности. Это был вопль, обращенный к остаткам человеческой совести.

Да, путь человека к справедливости, свободе и счастью был временами поистине страшен. И только глубокая вера в победу света и ума над черной тупостью не позволяла отчаянию полностью завладеть сознанием.

Сила человеческой совести все же так велика, что никогда нельзя окончательно терять в нее веру.

Недавно знакомый писатель рассказал мне об этом удивительную историю.

Писатель этот вырос в Латвии и хорошо говорит по-латышски. Вскоре после войны он ехал из Риги на Взморье на электричке. Против него в вагоне сидел старый, спокойный и мрачный латыш. Не знаю, с чего начался их разговор, во время которого старик рассказал одну историю.

— Вот слушайте,— сказал старик.— Я живу на окраине Риги. Перед войной рядом с моим домом поселился какой-то человек. Он был очень плохой человек. Я бы даже сказал, он был бесчестный и злой человек. Он занимался спекуляцией. Вы сами знаете, что у таких людей нет ни сердца, ни чести. Некоторые говорят, что спекуляция — это просто обогащение. Но на чем? На — человеческом горе, на слезах детей и реже всего — на нашей жадности. Он спекулировал вместе со своей женой. Да... И вот немцы заняли Ригу и согнали всех евреев в гетто, с тем чтобы часть убить, а часть просто уморить с голоду. Все гетто было оцеплено, и выйти оттуда не могла даже кошка. Кто приближался на пятьдесят шагов к часовым, того убивали на месте. Евреи, особенно дети, умирали сотнями каждый день, и вот тогда у моего соседа появилась удачная мысль — нагрузить фуру картошкой, «дать в руку» немецкому часовому, проехать в гетто и там обменять

картошку на драгоценности. Их, говорили, много еще осталось на руках у запертых в гетто евреев. Так он и сделал. Перед отъездом он встретил меня на улице, и вы только послушайте, что он сказал. «Я буду,— сказал он,— менять картошку только тем женщинам, у которых есть дети».

— Почему? — спросил я.

— А потому, что они ради детей готовы на все и я на этом заработаю втрое больше.

Я промолчал, но мне это тоже недешево обошлось. Видите?

Латыш вынул изо рта потухшую трубку и показал на свои зубы. Нескольких зубов не хватало.

— Я промолчал, но так сжал зубами свою трубку, что сломал и ее и два своих зуба. Говорят, что кровь бросается в голову. Не знаю. Мне кровь бросилась не в голову, а в руки, в кулаки. Они стали такие тяжелые, будто их налили железом. И если бы он тотчас же не ушел, то я, может быть, убил бы его одним ударом. Он, кажется, догадался об этом, потому что отскочил от меня и оскалился, как хорек... Но это не важно. Ночью он нагрузил свою фуру мешками с картошкой и поехал в Ригу в гетто. Часовой остановил его, но, вы знаете, дурные люди понимают друг друга с одного взгляда. Он дал часовому взятку, и тот сказал ему: «Ты глупец. Проезжай, но у них ничего не осталось, кроме пустых животов. И ты уедешь обратно со своей гнилой картошкой. Могу идти на пари».

В гетто он заехал во двор большого дома. Женщины и дети окружили его фуру с картошкой. Они молча смотрели, как он развязывает первый мешок. Одна женщина стояла с мертвым мальчиком на руках и протягивала на ладони разбитые золотые часы. «Сумасшедшая! — вдруг закричал этот человек.— Зачем тебе картошка, когда он у тебя уже мертвый. Отойди!» Он сам рассказывал потом, что не знает — как это с ним тогда случилось. Он стиснул зубы, начал рвать завязки у мешков и высыпать картошку на землю. «Скорей! — закричал он женщинам.— Давайте детей. Я вывезу их. Но только пусть не шевелятся и молчат. Скорей!» Матери, торопясь, начали прятать испуганных детей в мешки, а он крепко завязывал их. Вы понимаете, у женщин не было времени, чтобы даже поцеловать детей. А они ведь знали, что больше их не увидят. Он нагрузил полную фуру мешками с детьми, по сторонам

оставил несколько мешков с картошкой и поехал. Женщины целовали грязные колеса его фуры, а он ехал, не оглядываясь. Он во весь голос понукал лошадей, боялся, что кто-нибудь из детей заплачет и выдаст всех. Но дети молчали.

Знакомый часовой заметил его издали и крикнул: «Ну что? Я же тебе говорил, что ты глупец. Выкатывайся со своей вонючей картошкой, пока не пришел лейтенант».

Он проехал мимо часового, ругая последними словами этих нищих евреев и их проклятых детей. Он не заезжал домой, а прямо поехал по глухим проселочным дорогам в леса за Тукумсом, где стояли наши партизаны, сдал им детей, и партизаны спрятали их в безопасное место. Жене он сказал, что немцы отобрали у него картошку и продержали под арестом двое суток. Когда окончилась война, он развелся с женой и уехал из Риги.

Старый латыш помолчал.

— Теперь я думаю,— сказал он и впервые улыбнулся,— что было бы плохо, если бы я не сдержался и убил бы его кулаком.

СВАДЕБНЫЙ ПОДАРОК

Поезд тащился от Киева до Одессы восемнадцать суток. Я не подсчитывал, сколько это составляет часов, но хорошо помню, что каждый час этого утомительного пути казался нам, пассажирам, вдвое длиннее обычного. Должно быть потому, что любой час скрывал в себе угрозу смерти.

Правда, шальными пулями было убито в теплушках всего три человека и несколько ранено, но все пассажиры, в особенности молодые ксендзы — воспитанники Житомирской католической семинарии, считали, что такой исход нашего путешествия — счастливое произволение.

Ксендзы надеялись пробраться в Польшу головоломным путем — через Стамбул, Салоники, Белград и Будапешт. Никто из нас, конечно, не верил, что хотя бы один из ксендзов доберется до Польши живым.

Осенью, когда белые были еще где-то между Орлом и Курском и чувствовали себя спокойно, на одном осеннем теплом рассвете Киев внезапно проснулся от грохота ожесточенной пулеметной пальбы.

Как всегда, без разведки ничего нельзя было понять. Разведку эту произвела мама. Пока все мы, проснувшись от стрельбы, торопливо одевались, она вышла на улицу и вскоре вернулась веселая и возбужденная.

Меня всегда удивляло мужество мамы. Объяснялось оно тем, что она была убежденной фаталисткой и считала, что жизнь каждого находится в руках непреклонной судьбы. От судьбы не уйдешь. Что на роду написано — то и будет.

Мама принесла удивительное известие. С запада в Киев ворвались советские войска и захватили всю часть города до Галицкого базара.

От Киева до ближайшего советского фронта было не близко. Нельзя было представить себе, что советские войска могли незаметно сделать этот переход по земле, занятой белыми. Поэтому появление советских войск было похоже на чудо. Но чудо это было вполне ощутимым,— об этом свидетельствовали пули, все чаще цокавшие в кирпичные стены нашего многострадального дома.

Оказалось, что советские части, отходившие с юга еще в самом начале деникинского наступления, остановились в обширных и трудно проходимых Ирпенских болотах, вблизи Киева, засели в них и оставались там все лето до осени. Не только деникинцы, но никто в Киеве не подозревал об этом. Крестьяне деревень, окружавших Ирпенские болота, ни словом не проговорились о присутствии советских частей.

И вот сейчас эти части внезапно ворвались в Киев, заняли с боем половину города, захватили много продовольствия и оружия, потом — тоже с боем — отошли на север и пробились к своим.

Бой был жестокий. Он возникал очагами, то в одном, то в другом месте города, и стих только к вечеру.

На следующий день стало известно, что командующий деникинскими войсками генерал Бредов решил объявить мобилизацию всех мужчин до сорокалетнего возраста. Я решил бежать от этой мобилизации в Одессу.

Мама уже успокоилась, в Киеве у нее была комната, а я, уезжая, оставил ей почти все свои деньги. Галя к тому времени начала хорошо зарабатывать искусственными цветами. Кроме того, мама и Галя сдружились с Амалией, и я знал, что она не оставит их в беде.

Мы условились, что, как только все утрясется, я вернусь в Киев. Поэтому я уехал в Одессу со спокойной душой.

Первая ночь прошла благополучно, хотя по горизонту моталось под ветром несколько зарев. Поезд шел крадучись, без огней. Он часто останавливался и долго стоял, будто прислушивался к неясным звукам ночи, не решаясь двинуться дальше. Иногда он давал даже задний ход и отходил немного назад, как бы прячась в тень от света какого-нибудь слишком яркого зарева. И всякий раз мне казалось, что далеко впереди через железнодорожную насыпь переходят на рысях, не замечая нас, черные всадники.

В нашей теплушке ехали пять ксендзов, сотрудник «Русского слова» Назаров и вертлявый худой одессит с ленточкой Почетного легиона в петлице. Звали его Виктор Хват. Во время первой мировой войны он служил во французской армии и даже участвовал в знаменитом сражении на Марне.

Хват всю дорогу острил, больше всего над своим еврейским происхождением. Острил он, должно быть, чтобы заглушить тревогу. Мы все понимали, что в случае встречи с любой бандой — ими тогда кипела Украина — Хвата расстреляют в первую очередь.

В то время появилось много выражений для понятия «расстрел» — «поставить к стене», «разменять», «ликвидировать», «отправить в штаб Духонина», «пустить в расход». Почти в каждой области страны были для этого свои выражения.

Остроумие Хвата было в то время ценным качеством. Удачная острота могла спасти от неминуемой смерти.

У Назарова были тоже свои хорошие свойства, несколько раз выручавшие его из беды,— простодушие и близорукость. Простодушие располагало к нему даже самых неукротимых бандитов, а подслеповатость считалась у них верным признаком полной беспомощности и безвредности.

Ксендзы были бледные, тихие и приторно вежливые юноши. В минуты опасности они незаметно и мелко крестились и испуганно поглядывали на нас.

Но уже на третий день пути ксендзы обросли щетиной и потеряли свой элегантный вид. Так же как и все мы, они не мылись по нескольку суток. Сутаны у них были по-

рваны во время частых погрузок дров,— ксендзы очень рьяно ломали на топливо для паровоза станционные заборы и путевые будки и считались первыми специалистами в этом деле. Командовал бригадой ксендзов Виктор Хват.

В Фастове в теплушку влезла полная веселая женщина с бешеными молодыми глазами. Звали ее Люсьеной.

Прежде всего она швырнула в открытую дверь теплушки пыльный тюк, сшитый из рваной цыганской шали. Ксендзы в это время чинно сидели на дощатых нарах около двери и жевали окаменелые ржаные коржи. Об этих коржах Виктор Хват говорил, что они называются ржаными исключительно потому, что при виде их лошади ржут от удовольствия, столько в этих коржах соломы.

— Эй вы, пентюхи! — крикнула Люсьена ксендзам.— Подайте же руку женщине. Вы же видите, что я сама не влезу.

Ксендзы вскочили и, толкаясь, устремились к двери. Они были смущены своей оплошностью и общими силами втащили Люсьену в вагон.

— Фу-у,— вздохнула она и осмотрела теплушку.— У вас тут, оказывается, не очень стильная обстановка.

Ксендзы смущенно молчали.

— Ладно, аббаты! — сказала Люсьена, кончив осмотр теплушки, и подтянула сплошь заштопанный шелковый чулок.— Беру тот темный угол на нарах. Чтобы вы не думали, будто я покушаюсь на вашу девственность. Кстати, она нужна вам, как мертвому припарки.

Один из ксендзов неуместно хихикнул, а Виктор Хват развязно сказал:

— Я убежден, что при вашем содействии, дорогая, мы пропадем. Но зато с весельем и треском.

— Заткнитесь, пискун,— ответила наигранным басом Люсьена.— Или я не одесситка и не видела фрайеров почище, чем вы? Я не танцую канкан, хотя и работала певицей в харьковском кафешантане «Тиволи». Я пою такие песни, что у вас закипит ваша малокровная кровь, мой милый. А вообще не вредно было бы угостить молодую женщину коржами, когда она два дня не шамала. Кроме шуток!

Мы угостили ее коржами, и с этой минуты у нас в теплушке началась, как говорил Хват, «новая светлая жизнь».

Бурный темперамент Люсьены и ее жизнерадостность

не считались ни с чем. Все, даже нависшую над полуразбитым нашим поездом постоянную угрозу обстрела и захвата его бандитами, Люсьена превращала в повод для смеха и розыгрыша совершенно ошалевших от ее присутствия ксендзов. Она соревновалась в острословии с Хватом, пела каскадные песенки и била ксендзов наповал соблазнительными анекдотами.

Ксендзы только охали, но в глазах у них все чаще загоралось искреннее восхищение этой «великой блудницей панной Люсьеной». Она явно нравилась им. Они искали для нее оправдания в догматах католической церкви, в Новом и Старом завете и чуть ли не в папских энцикликах.

В конце концов они объявили ее Марией Магдалиной нашего времени. Всем известно, что эта рыжеволосая красавица блудница, грешившая напролет дни и ночи, причислена к лику святых за ее чистую любовь к Христу, за то, что она бросилась на выжженной Голгофе к распятому, обвила своими распущенными густыми волосами его ноги, и от прикосновения этих волос утихла боль в его размозженных ступнях и ладонях.

Сколько женщин прошли тот же путь греха, а потом стали святыми, и, как свидетельство этого, слабый золотой нимб вспыхнул над их головами на картинах великих мастеров Возрождения. И цветы белых лилий склонились к их легким подолам, распространяя аромат целомудрия.

Ксендзы говорили об этом вполголоса. Я понимал польский язык и, слушая их, все больше склонялся к мысли, что католичество с его культом Мадонны — лишь одно из проявлений хотя и тонкой, но явной и вечной чувственности.

Окончательно я убедился в этом гораздо позже, через много лет, когда в разноцветном сумраке соборов Неаполя и Рима увидел бледных мадонн с опущенными ресницами и загадочными зовущими улыбками Джиоконды на карминных, маленьких, как будто вздрагивающих губах.

Сейчас, на расстоянии многих лет, мне кажутся неправдоподобными эти разговоры и мысли в разбитой теплушке, где в дырах от пуль посвистывал осенний ветер и дружно и весело сосуществовали совершенно разные люди — впавшая в нищету певица и куртизанка Люсьена,

ксендзы, кавалер Почетного легиона, подслеповатый философ Назаров, не расстававшийся с томиком Гейне, и я — тогда тоже человек без явной профессии, склонный к полетам воображения.

Поезд часто останавливался, и паровоз начинал давать умоляющие гудки. Это значило, что топливо кончается и пассажиры, если хотят ехать дальше, а не ждать, пока их прихлопнет ближайшая банда, должны выскакивать из вагонов и ломать на топливо ближайшие заборы или рундуки на станционных базарах.

Тогда Хват с грохотом отодвигал тяжелую дверь теплушки и кричал ксендзам:

— Эй, преподобные! В топоры!

У нас в теплушке были лом и два топора. Ксендзы, захватив топоры, выскакивали из теплушки. При этом они подбирали сутаны, и под ними обнаруживались тяжелые солдатские бутсы и обмотки.

Мы тоже выскакивали и бежали к ближайшему забору. Не всегда эти налеты кончались удачно. Бывали случаи, когда хозяева заборов открывали по нас огонь из обрезов. Тогда машинист трогал поезд без гудка, Хват кричал: «Христолюбивое воинство! По коням!» — и нам приходилось вскакивать в теплушку уже на ходу.

За Белой Церковью поезд начали часто обстреливать. Стреляли обыкновенно из придорожных рощ и зарослей. Пока что стреляющих мы не видели.

Во время обстрела мы ложились на пары или, по словам все того же Хвата, «сжимали мишень». Хват уверял, что лежащий человек в шестнадцать раз менее уязвим, чем стоящий.

Это нас не очень радовало, особенно после того, как шальная пуля пробила стенку вагона над самой головой у Люсьены и вырвала из ее пышных волос высокий испанский гребень — наследство бабушки, торговки бубликами в городе Рыбнице на Днестре.

Ударившись о гребень, пуля взвыла, и несколько мгновений нам казалось, что она, обезумев, мечется по вагону и ищет выхода. Но пуля ударилась о стенку и упала на спину одного из ксендзов.

Он подобрал ее, спрятал в кошелек и поклялся повесить на серебряной цепочке перед иконой Ченстоховской божьей матери в благодарность за избавление от смерти.

Люсьена поправила волосы, села на нары и запела нарочито визгливым и разухабистым голосом:

Здравствуй, моя Любка, здравствуй, дорогая,
Здравствуй, дорогая, и прощай!
Ты зашухерила всю нашу малину —
Так теперь маслины получай.

Ксендзы дружно подхватили эту песню. Потом Люсьена подумала и сказала:

— Вот убьют, так похороните меня в цыганской шали. А что ксендзы меня отпоют по первому разряду, так в этом я не сомневаюсь.

Среди ксендзов, лежавших ничком (выстрелы были реже, но еще не затихли), началось какое-то странное шевеление. Было похоже, что ксендзы изо всех сил сдерживаются, чтобы не расхохотаться.

— А в рай меня пустят,— уверенно сказала Люсьена.— Даже очень свободно. Потому что я спою Петру такую шансонетку, что он будет у меня рыдать от смеха и сморкаться и скажет: «Мадемуазель Люсьена, я прямо жалею, что встретил вас в этом нудном раю, а не на грешной земле. Мы бы с вами пожили так, что люди только бы крутили головами и говорили: «Вот это — да!»

Самый сдержанный из ксендзов заметил:

— То есть кощунство, панна Люсьена! Да простит вас святая дева. А мы вас давно простили.

— Вот за это спасибо,— ответила Люсьена. И вдруг добавила очень тихо: — Мужички вы мои дорогие! Если бы вы знали, как мне легко на сердце. Никто не пристает, не пускает слюни, не подкатывается ко мне, как к легкой женщине. Да никто и не знает, что у меня грудь прострелена. Стрелялась я в Луганске. Есть такой проклятый город. Там у меня умер мальчик. Мой мальчик...

Она легла ничком на нары и затихла. Мы молчали.

— И зачем я еду в эту чертову Одессу, что мне там нужно! — вдруг сказала Люсьена, не поднимая головы.

Я встал и осторожно открыл дверь. Какая-то синяя маленькая река петляла в сухих степях. Белое осеннее солнце сверкало в небе. Его нежное увядающее тепло прикоснулось к лицу. К югу, к далекому морю, куда тащился, кряхтя и качаясь, наш поезд, тянули в туманной высоте журавлиные стаи.

В Корсуни в поезд села конопатая рыжая баба. Она ехала в Знаменку справлять свадьбу своей дочери и везла ей в подарок тяжелый комод, набитый приданым.

Баба была крикливая, остервенелая. Из-под юбки у нее висели грязные желтые кружева и трепались о смазные подкованные сапоги.

Баба командовала серыми от голода железнодорожниками, как атаман. Она покрикивала на них и требовала, чтобы комод втащили в теплушку.

Но в теплушку бабу с комодом не пустили. Весь поезд разъярился на нее за ее комод, за кровяное лоснящееся лицо и визгливый голос.

Впервые, пожалуй, я видел такую классическую кулачку — алчную, злую, наглую от сознания своего довольства и сытости среди всеобщего разорения и нищеты. В то время на Украине было еще много жестокого и спесивого кулачья. За свой достаток такие бабы могли придушить родного отца, а их «сыночки» шли в банды к атаманам, к Махно и Зеленому, и хладнокровно закапывали людей живыми в землю, разбивали прикладами головы детям и вырезали ремни из спин у евреев и красноармейцев.

Баба металась около комода и то развязывала на шее теплый платок, то снова туго завязывала его и кричала надсаженным голосом:

— Насажали полон поезд голодранцев, а нам, хозяевам, нету места! Да у них за душой одна дыра от штанов, у тех городских с ихними дамочками! Их давить надо, как червяков, а не катать с Киева до Одессы.

Около бунтующей бабы стоял сутулый дежурный по станции и уныло молчал.

— А ты чего стоишь, как баран! За что я тебе сало да хлеб давала? Чтобы всякая голота надо мной здесь насмешки делала? Обещался сажать — так сажай! А то стребую с тебя и хлеб и сало обратно.

Дежурный махнул рукой и пошел вдоль поезда. Он заглядывал в двери и, заискивая, вполголоса, чтобы не слышала баба, просил пассажиров:

— Пустите ее, эту скаженную, сделайте такую милость. У нее муж староста, бандит. Он меня забьет до смерти. Опять же и хлеба нету ни крошки, а она дала мне буханку.

Но теплушки были неумолимы. Тогда дежурный договорился с машинистом, и тот согласился за обещанное

сало и хлеб поставить комод на переднюю площадку паровоза между фонарями.

Комод с трудом втащили на паровоз и крепко прикрутили толстой проволокой. Баба села на него, как наседка, прикрыла его своими грязными юбками, закуталась в теплый платок, и поезд тронулся.

Так мы и ехали с комодом на паровозе и разъяренной бабой на нем под свист и улюлюканье мальчишек, встречавшихся нам на пути.

На всех остановках баба развязывала кошелку и ела жадно и много. Может быть, ей и не всегда хотелось есть, но она делала это нарочно, со злорадством, с вызовом, чтобы отомстить голодным пассажирам и покуражиться над ними.

Она резала огромными кусками нежное розовое сало, раздирала цепкими пальцами жареную курицу и запихивала в рот мягкий пшеничный хлеб. Щеки ее сверкали от жира. Поев, она намеренно громко рыгала и отдувалась.

Баба редко сходила со своего комода и даже по нужде не отходила от паровоза дальше чем на два-три шага. В этом было не только бесстыдство, но и полное презрение ко всем.

Машинист крякал и отворачивался, но молчал. Он еще не получил ни крошки хлеба и ни одного «шматка» сала. Все это было обещано ему только в Знаменке, когда он довезет бабу до места.

Весь поезд ненавидел бабу на комоде люто и страшно. Ненависть эта заглушала у пассажиров даже страх смерти. Иные дошли до того, что с нетерпением ждали, когда же какая-нибудь «хорошая банда» по-настоящему обстреляет наш поезд. Все были уверены, что бабу убьют в первую очередь,— она со своим комодом представляла идеальную мишень.

Где-то за станцией Бобринской наши мечты о мести сбылись, но только отчасти. Под вечер поезд обстреляли махновцы. Несколько пуль попало в комод. Баба уцелела, но часть приданого пули побили и продырявили.

С тех пор баба сидела окаменелая, сжав синие губы, и в глазах ее было столько черной ненависти, что мимо паровоза без особой надобности пассажиры предпочитали не проходить.

Мы ждали мщения. Я снова вспомнил о пресловутом мамином законе возмездия. Услышав о нем, ксендзы оживились и дружно подтвердили, что такой закон безусловно существует и даже в дни гражданской войны не потерял свою силу, а Люсьена сказала, что никакого закона возмездия нет, а есть тюти мужчины, которые не решаются выкинуть бабу с ее комодом с первого же моста в реку.

Наконец возмездие наступило. День возмездия, как и надо было ожидать, заполняли рваные черные тучи. Они с невероятной быстротой мчались над голыми полями. Полосы тяжелого, как град, дождя били по облезлым стенам вокзала в Знаменке.

Казалось, сама богиня мщения выпустила на землю злые эти тучи, дожди и мокрый ветер.

Началось с того, что баба вместо обещанных пяти фунтов сала и двух буханок хлеба дала машинисту только фунт сала и одну буханку. Машинист не сказал ни слова. Он даже поблагодарил бабу и начал с помощью кочегара сгружать комод с паровоза.

Комод весил пудов пятнадцать, не меньше. Его с трудом стащили с паровозной площадки и поставили на рельсы.

— Два здоровых бугая,— сказала баба,— а один комод сдужить не имеете силы. Тащите его дальше.

— Попробуй сама двинуть его, черта,— ответил машинист.— Без лома не обойдешься. Сейчас возьму лом.

Он полез в паровозную будку за ломом, но лома не взял, а пустил в обе стороны от паровоза две струи горячего свистящего пара. Баба вскрикнула и отскочила.

Машинист тронул паровоз, ударил в комод, тот с сухим треском разлетелся на части, и из него вывалилось все богатое приданое — ватное одеяло, рубашки, платья, полотенца, мельхиоровые ножи, вилки, ложки, отрезы материи и даже никелированный самовар.

Паровоз с ликующим гудком, пуская пар, прошел по этому приданому к водокачке, сплющив в лепешку самовар. Но этого было мало. Машинист дал задний ход, остановил паровоз над приданым, и из паровоза неожиданно полилась на это приданое горячая вода, смешанная с машинным маслом.

Баба сорвала с себя платок, вцепилась в собственные волосы, рванула их, упала ничком на землю и завыла истошным голосом. Руки ее с вырванным клоком волос су-

дорожно дергались в луже около рельсов, как будто баба собиралась переплыть эту лужу.

Потом она вскочила и бросилась на машиниста.

— Глаза вырву! — закричала она и начала засучивать рукава.

Ее схватили.

Через толпу протискался маленький человек. Он состоял из огромной клетчатой кепки, новых калош и острого носа, торчавшего из-под кепки. Это был зять бабы. Он приехал ее встречать и опоздал.

Зять посмотрел на груды рваного приданого, вытащил сплющенный самовар, швырнул его под ноги бабе и сказал высоким скрипучим голосом:

— Вот, мамочка дорогая, спасибо вам нижайшее за то, что в такой справности доставили наше последнее добро.

Баба повернулась к зятю, схватила его за грудь и плюнула в лицо. Толпа хохотала.

На станции Бобринская мы простояли несколько дней. Впереди чинили полотно, разрушенное махновцами.

К югу от Бобринской бушевала, гикала, грохотала на бешеных тачанках, открывая с ходу пулеметный огонь, свистела, грабила, насиловала женщин и драпала при первой же встрече с сильным противником украинская черная вольница.

Из недавно еще патриархальных городков, розовых от зарослей мальвы, вынырнули атаманы-изуверы. Воскресли кровавые времена «уманской резни», засвистели шашки, срубая головки чертополоха и человеческие головы. Черные знамена с мертвой головой зашумели по мирным степям Херсонщины. И средние века померкли перед жестокостью, разгулом и внезапным невежеством двадцатого века.

Где все это скрывалось, зрело, копило силы и ждало своего часа? Никто этого не мог сказать. История стремительно пошла вспять. Все в мире смешалось, и человек, впервые после многих лет покоя, вновь почувствовал свою беспомощность перед злой волей другого человека.

Больше всех говорил об этом Назаров. Ксендзы помалкивали, Люсьена по целым дням спала, а Хват не любил таких разговоров,— они давали мало пищи для зубоскальства.

В четырех километрах от Бобринской был городок Смела — тот городок, куда я еще мальчишкой ездил с тетей Надей и видел бородатого молодого художника, влюбленного в тетю Надю.

На второй день стоянки я пошел пешком в Смелу. Посещение старых, давно покинутых мест — занятие большей частью печальное. Печаль усугубляется тем, что то тут, то там наталкиваешься на совершенно позабытые вещи, будь то постаревшее крылечко, разросшийся тополь или заржавленный почтовый ящик, куда я когда-то бросил письмо с первым признанием в любви синеглазой киевской гимназистке.

В Смеле было тихо и пусто. Жители без надобности не ходили по улицам, чтобы не нарваться на пьяных деникинских солдат. Река Тясмин, так же как и в моем детстве, была затянута толстым ковром ярко-зеленой ряски и потому похожа на свежий весенний луг. Из-за заборов пахло бархатцами.

Все эти места — и Смела, и соседний город Черкассы — были связаны с жизнью моей семьи. Я бродил по тихим улицам Смелы, и моя жизнь, казавшаяся до тех пор короткой, вдруг предстала передо мной, как ряд длинных лет, наполненных множеством больших и малых событий.

Люди любят вспоминать, очевидно, потому, что на отдалении яснее становится содержание прожитых лет. У меня страсть к воспоминаниям появилась слишком рано, еще в юношеском возрасте, и приобрела даже как бы характер игры.

Я вспоминал не последовательное течение жизни, а отдельные, если можно так выразиться, ее рубрики. То я начинал вспоминать все гостиницы (конечно, самые дешевые, так называемые «меблирашки»), где я останавливался, то все реки, какие видел за свою жизнь, все морские пароходы, на которых мне приходилось плавать, или всех девушек, которых я мог бы, как мне думалось, полюбить.

Пристрастие к этим воспоминаниям оказалось не таким бессмысленным, как мне сначала казалось. Когда я вспоминал, например, гостиницы, я вызывал у себя в памяти все мелочи, связанные с ними,— цвет затертых дорожек в коридорах, рисунок обоев, гостиничные запахи и олеографии, лица гостиничных девушек и их манеру говорить, затасканную гнутую мебель,— все, вплоть до чернильницы из похожего по цвету на мокрый сахар ураль-

ского камня, где никогда не было чернил и лежали совершенно высохшие мушиные трупы.

Вспоминая, я старался все это увидеть как бы вновь. И только потом, когда я начал писать, я понял, что такого рода воспоминания очень мне помогли в работе. Они приучили память к конкретности, полной зримости, ко вторичному переживанию и накопили большой запас отдельных частностей. Из него я потом мог выбирать то, что мне нужно.

Обратно на станцию Бобринскую я возвращался в сумерки. Я шел по железнодорожной насыпи. Насыпь вошла в глубокую выемку. Высоко в небе висел месяц. Со стороны Бобринской долетали ружейные выстрелы.

Внезапно у меня замерло, а потом заколотилось сердце от мысли, что мне привелось жить в такое интересное время, полное противоречий и событий, полное великих надежд. «Тебе просто повезло,— говорил я себе.— Ты родился под счастливой звездой».

На станцию Помошную наш поезд пришел ранним утром. Его тотчас загнали на отдаленный запасный путь, где на кучах старого шлака чернели заросли засохшей лебеды.

Утром мы выскочили из теплушки и удивились,— наш паровоз был отцеплен и куда-то исчез. На всем протяжении путей со множеством стрелок и на вокзале не было видно ни одного человека. Станция будто вымерла.

Я пошел на разведку. В холодном вокзале стоял серый воздух. Все двери были открыты, но ни в зале для пассажиров, ни в буфете, ни в вестибюле не было ни души. Вокзал был брошен.

Я побродил по его гулким каменным полам, вышел на площадь, обошел вокзал сзади и увидел расшатанную дверь. Я открыл ее. В узкой и высокой комнате сидел сгорбленный человек в красной фуражке — очевидно, дежурный по станции. Он сидел за столом нахохлившись, засунув руки в обтрепанные рукава шинели, и не пошевелился. Только повел на меня воспаленными маленькими глазами. Из-под красной его фуражки торчали космы жирных волос.

— Что случилось? — спросил я его.— На станции нет ни души.

Дежурный выпул руки из рукавов и таинственно поманил меня к своему столу. Я подошел. Он схватил меня за руку сырыми холодными пальцами и забормотал шепотом:

— Все подались на степь. Я один тут остался. Правда, не моя очередь была дежурить, а Бондарчука. Так у него, как назло, жена и дети. А я одинокий. Вот так и вышло. Он меня не просил, я сам вызвался за него отдежурить.

Дежурный все сильнее стискивал мою руку. Мне стало страшно. «Помешанный»,— подумал я и вырвал руку. Дежурный с недоумением посмотрел на меня и усмехнулся.

— Боитесь? — спросил он.— Да я и сам боюсь.

— Чего вы боитесь?

— Пули,— ответил дежурный, встал и начал застегивать шинель.— Кто его знает, где сейчас та пуля, что пробьет мне голову. Вот и сиди, дожидайся.

Он посмотрел на часы.

— Полчаса осталось.

— До чего?

— Махно идет,— сказал вдруг дежурный громким ясным голосом.— Соображаете? Через полчаса будет здесь.

— Откуда это известно?

— А вот отсюда,— дежурный показал на телеграфный аппарат на столе.— От Эдисона. Пока не было того Эдисона, люди жили спокойно, знать ничего не знали. А теперь все наперед известно, и от этого одна смута на сердце. Махно разбили под Голтой. Он тикает к себе на Гуляй-Поле. Прислал телеграмму — будет проходить на трех эшелонах со своими хлопцами без остановки через нашу Помошную. На Златополь. Приказ — поставить на прямую все стрелки, открыть семафоры и ждать. В случае неповиновения — расстрел всех, кто попадется, на месте. Вот смотрите, так и сказано: «вселенский расстрел».

Дежурный показал на спутанную ленту телеграммы, валявшуюся на столе, и вздохнул:

— Хоть бы швыдче его мимо нас пронесло, собачьего сына. Вы с пассажирского поезда?

Я ответил, что да, с пассажирского поезда, и улыбнулся,—какой там к черту пассажирский поезд! Вереница разбитых, припадающих то на одно, то на другое колесо грязных теплушек.

— Так идите на поезд и скажите, чтобы заперлись в теплушках и носа не высовывали. Заметят махновцы — так всех геть с вагонов в канаву — и под пулемет.

Я вернулся с этим ошеломляющим известием на поезд. Тотчас все двери теплушек были закрыты, а все чугунные печки погашены, чтобы не выдать себя дымом из жестяных труб. Все мы радовались, что между нашим поездом и главным путем, по которому пройдут эшелоны махновцев, стоит длинный товарный состав и хорошо нас закрывает.

Но Хвата и меня этот товарный состав не устраивал. Нам хотелось посмотреть на махновцев. Прячась за вагонами и будками, мы пробрались на вокзал. Дежурный обрадовался,— все-таки легче при людях.

— Идите в буфет, там из окна все хорошо увидите,— сказал он.

— А вы?

— Я выйду на перрон пропускать поезда. С зеленым флагом.

Хват с сомнением посмотрел на дежурного:

— А может быть, лучше не выходить?

— Как так не выходить! Я же дежурный. Не выйдешь, машинист остановит эшелон, и тогда — прощай, моя Дуся, пиши письма в рай.

Мы с Хватом пошли в буфет. Там стоял деревянный щит с доисторическим расписанием поездов. Мы придвинули щит к окну, чтобы смотреть из-за него. Тогда нас наверняка не заметят. В случае опасности из буфета легко было выскочить на кухню, а оттуда шел спуск в темный подвал.

Из подвала вышел серый кот с рыжими подпалинами. Он мельком взглянул на нас, прошел по всем столам и пустой стойке, перепрыгнул на подоконник, сел к нам спиной и тоже начал смотреть на пустые пути. Он, очевидно, был недоволен беспорядком на станции. Кончик его хвоста вздрагивал от раздражения.

Он нам мешал, но мы не решались его прогнать. Мы понимали, что это кот-железнодорожник, что он сидит здесь по праву, тогда как мы — бесправные пассажиры — должны знать свое место. Время от времени кот недовольно оглядывался на нас.

Потом он насторожил уши, и мы услышали требовательный гудок паровоза, яростно мчавшегося к вокзалу. Я прижался к стеклу и увидел дежурного. Он торопливо вышел на перрон, одернул шинель и поднял свернутый зеленый флажок.

Швыряя в небо клубы пара, промчался паровоз, волоча открытые платформы вперемежку с теплушками. То, что пронеслось мимо нас на платформах, показалось мне горячечным бредом.

Я видел хохочущие рожи парней, увешанных оружием — кривыми шашками, морскими палашами, кинжалами с серебряным набором, кольтами, винтовками и парусиновыми патронташами.

На папахах, кубанках, кепках, котелках и ушанках мотались от ветра огромные черно-красные банты. Самый большой бант я заметил на измятом цилиндре. Владелец его в обрезанной для удобства дохе стрелял в воздух,— очевидно, салютовал затаившей дыхание от ужаса станции Помошной.

У одного из махновцев ветром снесло соломенное канотье. Канотье долго каталось кругами по перрону и наконец легло почти у самых ног дежурного. У этого канотье был легкомысленный вид, несмотря на зловещий черный бант. Должно быть, эта шляпа — мечта провинциальных ловеласов — еще недавно прикрывала напомаженный пробор какого-нибудь парикмахера. Возможно, владелец ее поплатился жизнью за свою страсть к франтовству.

Потом пронесся худой горбоносый матрос с длинной, как у жирафа, шеей, в разорванном до пупа тельнике. Очевидно, тельник был разорван нарочно, чтобы всем была видна пышная и устрашающая татуировка на груди матроса. Я не успел ее рассмотреть. Помню только путаницу женских ног, сердец, кинжалов и змей. Сизый пороховой рисунок татуировки был сдобрен розовой, как земляничный сок, краской. Если у татуировок бывает стиль, то это был стиль «рококо».

Потом пролетел толстый грузин, в зеленых бархатных галифе, с дамским боа на шее. Он стоял, балансируя, на тачанке, и мы увидели рядом с ним два пулеметных дула, направленных прямо на нас.

Кот пристально смотрел на всю эту карусель, вздрагивая от восхищения, и то выпускал, то прятал когти.

После пьяного белобрысого парня в эпитрахили, державшего в руках жареного гуся, торжественно пронесся убеленный маститой сединой старец в гимназической фуражке с выломанным гербом. Он держал в руке казацкую пику с привязанной к ней распоротой черной юбкой. На юбке белой краской было нарисовано восходящее солнце.

Каждая платформа бросала на перрон рывками, на ходу, разные звуки — то рыдающий крик гармоники, то залихватский свист, то слова песни. Песни обгоняли и перебивали друг друга.

«Вставайте же, хлопцы»,— гремела одна платформа. «На зов Паташона»,— подхватывала другая, а третья орала: «Со святыми упокой, упокой, упокой Рабиновича с женой — да!» А за ней возникал горестный конец первой песни: «Да кто ж там лежит под могилой зеленой?» И соседняя платформа скорбно отвечала: «Махновец геройский, покрытый попоной».

Первый эшелон прошел, и тотчас за ним ворвался второй. Лес оглобель от тачанок, поднятых кверху, подпрыгивал и качался от хода вагонов. Косматые кони стояли в профиль в теплушках, мотая головами. Лошади были покрыты вместо попон еврейскими молитвенными покрывалами — талесами.

Свесив ноги, сидели ездовые. Мелькали желтые сапоги, бурки, валенки, зашнурованные до колен ботинки, серебряные шпоры, гусарские сапожки с офицерской кокардой на голенище, болотные бахилы, оранжевые туфли с пузырями на носках, красные и заскорузлые босые ноги, обмотки, вырезанные из красного плюша и зеленого бильярдного сукна.

Неожиданно поезд замедлил ход. Дежурный беспомощно оглянулся, но вдруг подобрался и замер. Мы отшатнулись от окна и приготовились бежать.

Но поезд не остановился. Он плавно и медленно шел мимо вокзала, и мы увидели открытую платформу. На ней ничего не было, кроме роскошного лакированного ландо с золочеными княжескими гербами на дверцах. Одна из оглобель у ландо была поднята вверх, и на ней развевался черный флаг с надписью: «Анархия — мать порядка!» По всем четырем углам платформы сидели около пулеметов махновцы в английских табачных шинелях.

На заднем сиденье из красной сафьяновой кожи полулежал в ландо щуплый маленький человек в черной шляпе и расстегнутом казакине, с зеленым землистым лицом.

Он положил ноги на козлы, и вся его поза выражала лень и томный сытый покой. В опущенной руке человек этот держал маузер и поигрывал им, слегка подбрасывая его и ловя на лету.

Я увидел лицо этого человека, и тошнота отвращения подкатила к горлу. Мокрая челка свисала на узкий сморщенный лоб. В глазах его — злых и одновременно пустых, глазах хорька и параноика — поблескивала яростная злоба. Визгливое бешенство, очевидно, не затихало в этом человеке никогда, даже и теперь, несмотря на его вальяжную и спокойную позу.

Это был Нестор Махно.

Дежурный неестественно вытянулся, выставил далеко вперед правую руку с зеленым флажком, а левую руку поднес к козырьку фуражки, отдавая Махно честь. При этом дежурный заискивающе улыбался. Страшнее этой улыбки ничего нельзя было придумать. Это была не улыбка. Это была униженная мольба о пощаде, страх за свою нищую жизнь, беспомощная попытка разжалобить.

Махно лениво вскинул маузер и, даже не взглянув на дежурного и не целясь, выстрелил. Почему — неизвестно. Разве можно догадаться, что придет в голову осатанелому изуверу.

Дежурный нелепо взмахнул руками, попятился, упал на бок и начал биться на перроне, хватая себя за шею и размазывая кровь.

Махно махнул рукой. Тотчас пулеметная очередь хлестнула по асфальту перрона и ударила по дежурному. Он несколько раз дернулся и затих.

Мы бросились через вестибюль на перрон. Мимо нас проходила последняя теплушка. Стриженая, вся в кудряшках, курносая девушка в каракулевом жакете и галифе, радостно улыбаясь, прицелилась в нас из маузера. Заросший черной щетиной махновец во французской железной каске оттолкнул ее. Пуля ударила позади нас в стену.

Мы подбежали к дежурному. Он был мертв. На лице его застыла заискивающая улыбка.

Мы подняли его, стараясь не наступать в лужу крови, внесли в буфет и положили на длинный стол с засохшей пальмой в зеленой кадке. Земля в кадке была утыкана пожелтевшими окурками.

Только на следующее утро наш поезд отправили дальше, на станцию Голта.

Ксендзы притихли и весь день шепотом читали молитвы.

Люсьена лежала на нарах и молчала, глядя на водянистое небо за дверью, Хват досадливо морщился, и один только Назаров пытался разговаривать с нами, но ему отвечали неохотно, и он тоже замолкал.

В Голту мы пришли через несколько часов после еврейского погрома. Говорили, что на улицах валяется много убитых. Нам не удалось узнать, кто громил. Пойти в город никто не решился.

Среди ночи Люсьена начала плакать, сначала тихо, потом все громче, потом плач перешел в судорожные рыдания и тяжелый припадок.

К рассвету припадок прошел, а утром, когда мы проснулись на каком-то полустанке, Люсьены в теплушке не было. Мы обошли весь поезд, но ее не нашли. Никто ее не видел. Она исчезла и оставила в теплушке свой тюк из цыганской шали,— очевидно, он был уже ей не нужен.

О ФИРИНКЕ, ВОДОПРОВОДЕ И МЕЛКИХ ОПАСНОСТЯХ

Фиринка — маленькая, с английскую булавку, черноморская рыбка — продавалась всегда свежей по той причине, что никакой другой рыбы не было и вся Одесса ела (или, говоря деликатно, по-южному, «кушала») эту ничтожную рыбку. Но иногда даже фиринки не хватало.

Ели ее или сырую, чуть присоленную, или мелко рубили и жарили из нее котлеты. Котлеты эти можно было есть только в состоянии отчаяния или, как говорили одесситы, «с гарниром из слез».

У меня и Назарова (мы поселились рядом) денег почти не осталось. Поэтому мы питались только фиринкой и мокрым кукурузным хлебом. По виду он походил на зернистый кекс, по вкусу — на анисовые капли. После еды приходилось полоскать рот, чтобы уничтожить пронзительный запах этого хлеба.

Изредка я покупал жареные каштаны. Торговали ими вздыхающие старухи, закутанные в тяжелые бахромчатые шали. Они сидели вдоль тротуаров на низеньких скамейках и помешивали в жаровнях каштаны. Каштаны трещали, лопались и распространяли запах чуть пригорелой коры, но с душистым и сладким привкусом.

Света в Одессе было мало, фонари зажигали поздно, а то и совсем не зажигали, и, бывало, по тихим осенним

вечерам один только багровый жар жаровен освещал тротуары. Этот свет снизу придавал улицам несколько феерический вид.

Старые женщины кутались в шали, а город кутали частые туманы. Вся осень прошла в этих приморских туманах. Признаться, с тех пор я полюбил туманные дни, особенно осенью, когда они подсвечены вялым лимонным цветом палой листвы.

Найти жилье в Одессе было очень трудно, но нам повезло. На Ланжероне, на маленькой и пустынной Черноморской улице, тянувшейся по обрыву над морем, был частный санаторий для нервнобольных доктора Ландесмана. Неустойчивая и пестрая жизнь тех лет вызывала бурный рост нервных болезней, но ни у кого не было денег, чтобы лечиться, особенно в таком дорогом санатории, как у Ландесмана. Поэтому санаторий был закрыт.

Назаров встретил в Одессе знакомую женщину — невропатолога из Москвы,— и она устроила нас в этот пустой санаторий. Ландесман — весьма величественный и учтивый человек — отвел нам две небольшие белые палаты с условием, что мы будем охранять санаторий. Мы должны были следить, чтобы не рубили на дрова небольшой сад около санатория и не растаскивали по частям самый дом.

Отопление в санатории не работало, комната у меня была очень высокая, с широкими окнами, и потому маленькая железная «буржуйка», как ни старалась, никогда не могла нагреть эту комнату. Дров почти не было. Изредка я покупал акациевые дрова. Продавали их на фунты. Я мог осилить не больше трех-четырех фунтов,— не было денег.

Было очень холодно, особенно во время северных ветров. К тому же ощущение холода усиливалось от белизны скользких кафельных стен.

Я опять работал корректором в газете (название ее я позабыл). Издавал эту газету академик Овсянико-Куликовский. Работал я через два дня на третий и получал очень мало «колоколов» — так назывались тогда деникинские деньги с изображением Царь-колокола в Кремле.

Мне нравилась жизнь в гулком особняке над морем, нравилось полное одиночество и даже как будто зернистый, пахнущий морской солью холодный воздух в его стенах.

Я много читал, понемногу писал, и от нечего делать занялся изучением морского тумана. По утрам я выходил в сад к обрыву над морем.

В тумане медленно рокотал по гальке невидимый прибой. На Воронцовском маяке уныло ухала туманная сирена и равномерно бил колокол. Седые маленькие капли поблескивали на давно высохшей траве и ветках акаций.

С тех пор туман связался в моем представлении с одиночеством, со спокойной и сосредоточенной жизнью. Он ограничивал землю и замыкал ее в небольшой видимый круг. Он оставлял для наблюдения немного вещей — несколько деревьев, куст дрока, колонну из дикого камня, чугунную калитку и якорную цепь, неизвестно для чего валявшуюся в углу сада.

Он заставлял смотреть на эти вещи пристальнее и дольше, чем мы это делаем обычно, и открывать в них много не замеченных ранее качеств. Так, в ноздреватом желтом камне было много накрепко впаянных в него маленьких морских ракушек, на кустах дрока оставалось еще несколько цветов, они сидели на прямых твердых стеблях, как промокшие и сморщенные золотые бабочки, и терпеливо дожидались солнца. Но оно очень редко проступало в тумане размытым белым пятном и не давало ни теплоты, ни тени. Под единственным старым платаном с лимонными пятнами на стволе валялись листья, как бы вырезанные из тусклого зеленого бархата. По чугунной калитке вереницей бежали муравьи, сносили в свои подземные житницы последние запасы на зиму, а под якорной цепью жила маленькая робкая жаба.

У тумана были свои звуки. Появлялись они перед тем, как туман начинал редеть. Тогда слышался неясный шорох. Это водяная пыль собиралась в капли, они стекали по черным ветвям деревьев и с шорохом падали на землю. Потом в этот мягкий звук входил чистый и протяжный звон. Это значило, что первая капля тумана упала с крыши и ударила в перевернутый вверх дном пустой цинковый бак.

Я полюбил запах тумана,— слабый запах каменноугольного дыма и пара. То был запах вокзалов, пристаней, палуб — всего, что связано со странствиями, со сменой обширных сухопутных и морских пространств, с шествием в светоносной фиолетовой синеве архипелага далеких розовеющих островов, откуда ветер доносит слабый

запах лимона, с сырым ветром и беспокойными огнями плавучих маяков Ла-Манша, с плавным ходом поезда сквозь наши дремлющие лесные края, со всем, что берет в пожизненный плен наше слабое человеческое сердце.

Тогда в Одессе мной завладела мысль о том, чтобы провести всю жизнь в странствиях, чтобы сколько бы мне ни было отпущено жизни — много или мало,— но прожить ее с ощущением постоянной новизны, чтобы написать об этом много книг со всей силой, на какую я способен, и подарить эти книги, подарить всю землю со всеми ее заманчивыми уголками — юной, но еще не встреченной женщине, чье присутствие превратит мои дни и годы в сплошной поток радости и боли, в счастье сдержанных слез перед красотой мира — того мира, каким он должен быть всегда, но каким редко бывает в действительности.

В то время я был уверен, что моя жизнь сложится именно так.

Все, что пишущий дарит любимому, он дарит всему человечеству. Я был уверен в этом неясном законе щедрости и полной отдачи себя. Отдавать и ничего не ждать и не просить взамен, разве только сущий пустяк — какую-нибудь песчинку, попавшую на милую теплую ладонь,— не больше.

Все, что написано выше, теоретики литературы называют лирическим отступлением и не советуют писателям терять власть над собой и путать построение вещи. Но мне кажется, что можно вот так — свободно и без всякого напряжения — написать целую книгу, повинуясь только безостановочному бегу воображения и мысли. Только так, может быть, можно достигнуть полноты выражения.

Но придется все-таки вернуться к фиринке и кукурузному хлебу, к осенним дням в Одессе.

Скудная эта пища нисколько не огорчала меня, особенно после того, как я достал у кока стоявшего в порту французского парохода «Дюмон Дюрвиль» две банки голландского сгущенного кофе. Я обменял на этот кофе коробку табака фабрики Стамболи. Табак этот, оставшийся от отца и непонятно как сохранившийся, подарила мне мама.

«Дюмон Дюрвиль» стоял у мола в Карантинной гавани рядом с английским истребителем. Матросы с истребителя весь день играли на молу в литой мяч.

Из Триеста и Венеции в Одессу регулярно приходили черно-желтые пароходы компания «Ллойд Триестино». Греческие моряки патрулировали по улицам. Их синяя форма, белые гетры на круглых пуговках и широкие тесаки были старомодны и театральны.

Одесса была удивительна в тот год певообразимым смешением людей.

Одесские мелкие биржевые игроки и спекулянты, так называемые «лапетутники», стушевались перед нашествием наглых и жестоких спекулянтов, бежавших, как они сами злобно говорили, из «Совдепии». Лапетутники только горько вздыхали,— кончилась патриархальпая жизпь, когда в кафе у Фанкони целый месяц переходила из рук в руки, то падая, то подымаясь в цене и давая людям заработать «на разнице», одна и та же затертая железнодорожная накладпая на вагон лимонной кислоты в Архангельске.

Архангельск был недостижим, дальше чем Марс, и лимонная кислота давпо уже стала мифом. Но это не смущало лапетутников. Их запятие походило на шумную игру маньяков. Они до хрипоты торговались, били по рукам, обижались, а ипой раз из-за этого вагона лимонной кислоты или такого же мифического груза губок (франко-порт Патрас в Греции) разгорались визгливые затяжные скандалы.

Но у лапетутников были иногда и настоящие сделки,— па пачку сахарипа, партию лежалых подтяжек или на подозрительпый пашатырь в порошке. Нашатырь в то время был в цене. Он заменял дрожжи.

Спекулянты, бежавшие с севера, ошеломляли мирных философов-лапетутников дерзкими и бесшабашными сделками. Сверкали бриллианты, обязательпо из царской короны, потрескивали новенькие фунты стерлингов и франки, редчайшие душистые меха с плеч знаменитых петроградских красавиц переходили в трясущиеся руки сизых от бритья греческих негоциантов. Особенно широко торговали русские спекулянты барскими имениями во всех губерниях «многострадальной России».

На Дерибасовской улице каждый вечер можно было встретить около цветочниц многих знаменитых людей, правда, несколько обносившихся и раздраженных лихорадкой смехотворных слухов. По этой части Одесса опередила все города юга.

Но слухи были не только смехотворные, но и грозные. Они врывались в город вместе с буйным северным ветром из Херсонских степей. Советские войска рвались к югу, сбивая заслоны, тесня белых, перерезая дороги. Жидкая цепочка белого фронта обрывалась, как гнилая нитка, то тут, то там.

После каждого прорыва на фронте Одесса заполнялась дезертирами. Кабаки гремели до утра. Там визжали женщины, звенела разбитая посуда и гремели выстрелы,— побежденные сводили счеты между собой, стараясь выяснить, кто из них предал и погубил Россию. Белые черепа на рукавах у офицеров из «батальонов смерти» пожелтели от грязи и жира и в таком виде уже никого не пугали.

Город жил на авось. Запасы продуктов и угля, по подсчетам, должны были уже кончиться. Но каким-то чудом они не иссякали. Электричество горело только в центре, да и то тускло и боязливо. Белым властям никто не повиновался, даже сами белые.

Три тысячи бандитов с Молдаванки во главе с Мишей Япончиком грабили лениво, вразвалку, неохотно. Бандиты были пресыщены прошлыми баснословными грабежами. Им хотелось отдохнуть от своего хлопотливого дела. Они больше острили, чем грабили, кутили по ресторанам, пели, плача, душераздирающую песенку о смерти Веры Холодной:

> Бедный Рунич горько плачет —
> Вера лежит в гробу.

Рунич был партнером Веры Холодной. По тексту песни, Вера лежала в гробу и просила Рунича:

> Голубыми васильками
> Грудь мою обвей
> И горючими слезами
> Грудь мою облей.

Однажды я шел вечером из типографии к себе на Черноморскую с петроградским журналистом Яковом Лифшицем. Бездомный Лифшиц стал третьим жильцом санатория Ландесмана.

У маленького, неспокойного и взъерошенного Лифшица была кличка «Яша на колесах». Объяснялась эта кличка необыкновенной походкой Лифшица: он на ходу делал каждой ступней такое же качательное движение, какое,

например, совершает пресс-папье, промокая чернила на бумаге. Поэтому казалось, что Яша не идет, а быстро катится. И ботинки у него походили па пресс-папье или на часть колеса,— подметки у них были согнуты выпуклой дугой.

Мы шли с «Яшей на колесах» на Черноморскую, выбирая тихие переулки, чтобы поменьше встречаться с патрулями. В одном из переулков из подъезда вышли два молодых человека в одинаковых жокейских кепках. Они остановились на тротуаре и закурили. Мы шли им навстречу, но молодые люди не двигались. Казалось, они поджидали нас.

— Бандиты,— сказал я тихо Яше, но он только недоверчиво фыркнул и пробормотал:

— Глупости! Бандиты не работают в таких безлюдных переулках. Надо их проверить.

— Как?

— Подойти и заговорить с ними. И все будет ясно.

У Яши была житейская теория — всегда идти напролом, в лоб опасности. Он уверял, что благодаря этой теории счастливо избежал многих неприятностей.

— О чем же говорить? — спросил я с недоумением.

— Все равно. Это не имеет значения.

Яша быстро подошел к молодым людям и совершенно неожиданно спросил:

— Скажите, пожалуйста, как нам пройти на Черноморскую улицу?

Молодые люди очень вежливо начали объяснять Яше, как пройти на Черноморскую. Путь был сложный, и объясняли они долго, тем более что Яша все время их переспрашивал.

Яша поблагодарил молодых людей, и мы пошли дальше.

— Вот видите,— сказал с торжеством Яша.— Мой метод действует безошибочно.

Я согласился с этим, но в ту же минуту молодые люди окликнули нас. Мы остановились. Они подошли, и один из них сказал:

— Вы, конечно, знаете, что по пути на Черноморскую около Александровского парка со всех прохожих снимают пальто.

— Ну, уж и со всех! — весело ответил Яша.

— Почти со всех,— поправился молодой человек и

улыбнулся.— С вас пальто снимут. Это безусловно. Поэтому лучше снимите его сами здесь. Вам же совершенно все равно, где вас разденут — в Александровском парке или в Канатном переулке. Как вы думает?

— Да, пожалуй...— растерянно ответил Яша.

— Так вот, будьте настолько любезны.

Молодой человек вынул из рукава финку. Я еще не видел таких длинных, красивых и, очевидно, острых, как бритва, финок. Клинок финки висел в воздухе на уровне Яшиного живота.

— Если вас это не затруднит,— сказал молодой человек с финкой,— то выньте из кармана пальто все, что вам нужно, кроме денег. Так! Благодарю вас! Спокойной ночи. Нет, нет, не беспокойтесь,— обернулся он ко мне,— нам хватит и одного пальто. Жадность — мать всех пороков. Идите спокойно, но не оглядывайтесь. С оглядкой, знаете, ничего серьезного не добьешься в жизни.

Мы ушли, даже не очень обескураженные этим случаем. Яша всю дорогу ждал, когда же и с меня снимут пальто, но этого не случилось. И Яша вдруг помрачнел и надулся на меня, будто я мог знать, почему сняли пальто только с него, или был наводчиком и работал «в доле» с бандитами.

Вообще Яше сильно не везло. Назаров уверял, что Яша принадлежит к тому редкому типу людей, которые приносят неудачу. В доказательство он приводил два случая. Я, к сожалению, не мог опровергнуть их потому, что произошли эти случаи у меня на глазах. Один случай был с бутылью для воды, а второй — с термометром.

В то время в Одессе было очень плохо с водой. Ее качали из Днестра за шестьдесят километров. Водокачка на Днестре едва дышала. Ее много раз обстреливали разные банды. Город все время висел на волоске,— ничего не стоило оставить его совсем без воды.

Вода в трубах бывала, да и то не всегда, только в самых низких по отношению к морю кварталах города. В эти счастливые кварталы тянулись с рассвета до позднего вечера вереницы людей со всей Одессы с ведрами, кувшинами и чайниками.

Лишь немногие счастливцы — владельцы тележек — приезжали за водой с бочонками. Им завидовали и заодно

их ненавидели, несмотря на то что они сами впрягались в тележки и на них жалко было смотреть, когда они, задыхаясь, втаскивали свои тележки на подъемы или мчались, испуганные, за этими же тележками на крутых спусках, расплескивая половину воды.

Мы ходили за водой по очереди километра за два на Успенскую улицу. На этой улице я знал все подвалы, где были краны, и мог их найти с завязанными глазами.

В очередях за водой мы узнавали все последние новости и слухи и встречались с завсегдатаями этих очередей как со старыми и добрыми друзьями.

Поэтесса Вера Инбер жила недалеко от нас, в тенистом Обсерваторном переулке. Она ходила за водой с большой стеклянной вазой для цветов. Ваза была сделана из матового разноцветного стекла, и на ней были выпуклые изображения лиловых ирисов.

Однажды хрупкая и маленькая Инбер поскользнулась и разбила вазу. Но на следующий день она пришла с такой же точно вазой. Я просто из сострадания донес ей эту вазу с водой до дому. Инбер так боялась, что я уроню и разобью эту последнюю вазу, что я устал от ее боязни и у меня начали дрожать ноги.

Таская воду, я, конечно, смотрел себе под ноги и потому изучил все тротуары и мостовые между Черноморской улицей и Успенской.

Я убедился, что это — заманчивое и даже в некотором отношении полезное занятие. На тротуарах и мостовых можно было заметить много мелких примет. Они давали повод для размышлений и выводов. Были приметы приятные, безразличные и неприятные.

Особенно неприятными, почти зловещими и чаще всего попадавшимися приметами были капли, а то и целые лужицы крови и гильзы от маузеров. Они кисло пахли порохом. Неприятны били также пустые кошельки и порванные документы. Но они попадались редко.

Приятных примет было меньше, но они были разнообразнее. Чаще всего это были вещи совершенно неожиданные — засохшие цветы из букета, осколки хрусталя, сухие клешни крабов, обертки от египетских сигарет, банты, потерянные маленькими девочками, заржавленные рыболовные крючки. Все это говорило о мирной жизни. К приятным приметам относилась, конечно, и трава, проросшая кое-где между плитами тротуара. И не-

взрачные цветы, правда, уже высохшие, так же как и перемытые дождем морские голыши в цементных водостоках.

Больше всего было безразличных примет — пуговиц, медных денег, булавок и окурков. На них никто не обращал внимания.

Мы таскали воду и сливали ее в большую стеклянную бутыль в коридоре.

Однажды Яша Лифшиц вышел в коридор и дико закричал. Я выскочил из своей комнаты и увидел необъяснимое зрелище. Огромная бутыль на глазах у меня и Яши начала медленно наклоняться, несколько мгновений постояла в позе Пизанской башни, потом рухнула на пол и разлетелась на тысячи осколков. Драгоценная вода с журчанием полилась по лестнице.

Мы успели бы, конечно, подхватить бутыль, но вместо этого мы стояли и смотрели на нее как завороженные.

Второй случай с термометром был еще поразительнее. Я заболел испанкой. Термометр в Одессе было достать не легче, чем ананас. Их было в городе считанное число. Над термометрами тряслись, как над последней спичкой на шлюпке у потерпевших кораблекрушение.

Назаров выпросил термометр на два дня у редактора газеты, прославленного академика Овсянико-Куликовского. Академик — знаменитый гуманист и хранитель традиций либерального русского общества — не мог, конечно, отказать Назарову в его просьбе. Жуя губами и кряхтя, что выражало сильное недовольство, он дал термометр, но со строгим приказом класть его в вату, в ящик стола и беречь пуще зеницы ока.

Назаров померил мне температуру, но пренебрег приказом академика. Он положил термометр на стол и ушел в город. Я уснул.

Разбудил меня Яша. Он осторожно открыл дверь. Она скрипнула, и я проснулся.

Я взглянул на стол и почувствовал, как волосы сами по себе зашевелились у меня на голове,— термометр вдруг начал медленно катиться к краю стола.

Я хотел крикнуть, но у меня перехватило дыхание. Я увидел страшные глаза Яши. Он тоже смотрел на термометр и не двигался.

Термометр медленно докатился до края стола, упал на пол и разбился. У меня, должно быть от ужаса, упала температура. Я сразу выздоровел.

Мы долго ломали голову, где взять термометр. Назаров два дня, сказавшись больным, не ходил в редакцию, чтобы не попадаться на глаза академику. В конце концов пришлось пойти на преступление. Мы подобрали ключ к кабинету Ландесмана и в его письменном столе нашли термометр. Выражаясь уклончивым языком воров, мы «взяли» его (воры не любят слова «украл») и вернули Овсянико-Куликовскому.

После этих двух случаев Назаров начал убеждать меня в том, что Яша — человек опасный, и уговаривал меня не ходить с ним вместе по улицам. Я только посмеялся над Назаровым, за что вскоре и был жестоко наказан.

Чтобы точно представить себе то, что случилось, надо сказать несколько слов о Стурдзовском переулке. Путь на Черноморскую шел по этому переулку. Его никак нельзя было обойти.

Этот переулок, названный именем известного во времена Пушкина иезуита Стурдзы, всегда вызывал у нас ощущение скрытой опасности. Может быть потому, что на него выходили только каменные стены обширных садов. С другой стороны сады обрывались к морю. Эти глухие стены не давали никакой защиты, никакого укрытия. В то время у всех выработалась привычка, идя по улице, заранее намечать себе ближайшее укрытие на случай стрельбы или встречи с пьяным патрулем.

В Стурдзовском переулке не было ни одного укрытия, если не считать единственного двухэтажного дома с узкой темной подворотней. В доме никто не жил. За выломанными оконными рамами разрастался бурьян.

Я не внял предостережению Назарова и однажды поздним осенним вечером опять возвращался домой с Яшей.

Ходить вечером по улицам можно было, только строго соблюдая ряд неписаных законов. Нельзя было курить, разговаривать, кашлять и стучать каблуками по тротуару. Идти, вернее, пробираться надо было под стенами или в тени от деревьев. Каждые сорок или пятьдесят шагов следовало останавливаться, прислушиваться и вглядываться в темноту. На перекрестках полагалось осмотреть пересекающую улицу и переходить перекресток очень быстро.

Мы благополучно дошли до Стурдзовского переулка, остановились, выглянув из-за угла, и долго прислушивались и всматривались в его кромешную темноту. С одной

стороны, темнота была спасительной: она скрывала нас. Но, с другой стороны, она была опасна тем, что мы могли наткнуться на засаду.

Все было тихо, так тихо, что мы слышали в глубине переулка слабый шум прибоя.

Мы крадучись пошли по переулку. Я сказал, что надо идти по той стороне, где подворотня, не доходя до нее остановиться, хорошо прислушаться, а затем быстро и беззвучно проскочить мимо подворотни. Расчет, по-моему, был математически точен. Если в подворотне есть люди, то они могут нас и не заметить. Если же мы будем идти по противоположной от подворотни стороне, то нас могут заметить еще издали. Я высчитал, что в последнем случае мы будем идти против опасной подворотни, или, вернее, будем на виду у людей, спрятавшихся в подворотне, в пять раз дольше. И, следовательно, будет в пять раз больше шансов, что нас заметят.

Но Яша опять начал шепотом разводить свою теорию, что всегда надо идти в лоб опасности. Я не спорил с ним, чтобы не подымать лишнего шума, и мы пошли по противоположной стороне от подворотни.

Яша считал про себя секунды. Мы знали, что от Стурдзовского переулка до санатория Ландесмана было семь минут ходьбы. В санатории за высокой оградой и железными воротами мы всегда чувствовали себя в полной безопасности. Особенно если не зажигали коптилок.

Когда мы проходили около подворотни, Яша споткнулся. Потом, когда мы вспоминали о происшествии в Стурдзовском переулке, Яша утверждал, что всегда, если хочешь сделать что-нибудь наилучшим образом, то обязательно сорвешься на пустяковине. Я же про себя думал, что всему виной была Яшина невыносимая походка. Но я молчал, чтобы не огорчать Яшу.

Как бы там ни было, но Яша споткнулся и от неожиданности, вместо того чтобы выругаться про себя, сказал внятным и растерянным голосом:

— Извиняюсь!

— Стой! — закричал из подворотни сиплый голос, и на нас упал режущий свет электрического фонарика.— Вынуть руки из карманов! Немедленно, матери вашей черт!

К нам подошли несколько вооруженных. Это был казачий патруль.

— Документы! — сказал тот же сиплый голос.

Я протянул свое удостоверение. Казак посветил на него, потом на меня.

— Пиндос,— определил он.— Скумбрия с лимончиком! Бери свою липу обратно.

Он отдал мне удостоверение и посветил на Яшу.

— А ты можешь не показывать,— сказал он,— сразу видать, что иерусалимский генерал. Ну ладно. Проходите!

Мы сделали несколько шагов.

— Стой! — вдруг истерически закричал тот же казак.— Ни с места!

Мы остановились.

— Чего стали! Сказано вам — проходи!

Мы снова пошли, но очень медленно, чтобы не выдавать свое волнение. Нервы были напряжены с такой силой, что спиной, всем телом я чувствовал, как казаки взводят затворы. Щелканья затворов я не слышал. Я понимал, что это — предсмертная игра кошки с мышью, что нас все равно убьют и что каждое мгновение может быть последним.

— Стой! Так вашу мать! — снова закричал казак. Остальные сдержанно засмеялись.

Мы снова остановились около стены. Я ее не видел в темноте, но я знал, что она сложена из грубого камня и на ней есть выступы и выбоины.

— Лезьте через стену,— сказал я шепотом Яше.— Одним рывком! Все равно конец!

Я был худой. Мне легко было быстро влезть на стену. Но Яша со своими ботинками-колесами чуть не сорвался. Я схватил его за руку и рванул. Мы перекинули ноги через стену и спрыгнули. Позади загрохотали частые выстрелы. С верхушки стены полетел битый камень.

Мы бросились через темный сад. Стволы деревьев, вымазанные известкой, белели в темноте, и это нам помогло.

Казаки лезли через стену вслед за нами. Пуля свистнула где-то рядом. Мы добежали до противоположной стены сада. В ней был пролом.

Казаки уже бежали по саду, но они теряли время на то, чтобы прикладываться к винтовкам, и мы успели выскочить в пролом. В трех шагах от него был крутой обрыв к морю.

Мы скатились с обрыва и бросились вдоль берега. Казаки стреляли сверху, но они уже потеряли нас в темноте, и пули шли в сторону.

Мы долго пробирались по берегу, изрытому оврагами и пещерами. Прибой все так же равнодушно и сонно рокотал по гальке. Трудно было поверить, что человек может бессмысленно убить такого же, как он, человека перед лицом этой осенней, теплой, пахнущей чебрецом ночи, перед лицом шумящего спокойными волнами моря. По наивности своей я думал тогда, что зло всегда отступает перед красотой и что нельзя убить человека на глазах у Сикстинской мадонны или в Акрополе.

Смертельно хотелось курить. Выстрелы стихли. Мы залезли в первую же пещеру и закурили. Пожалуй, никогда в жизни я не испытывал такого наслаждения от папиросы.

Часа три мы просидели в пещере, потом вышли и крадучись пошли по берегу к санаторию Ландесмана. Все вокруг было тихо.

Против санатория мы, цепляясь за кусты и камни, влезли по отвесному обрыву к высокой крепостной ограде санатория. В цоколе ограды было пробито круглое отверстие для стока дождевой воды. Мы пролезли в него, потом завалили его камнями, хотя это было совершенно ненужно, и вошли в дом.

Назаров не спал. Он оторопел от нашего рассказа. В ванной, где не было окон, мы зажгли коптилку и впервые увидели себя. Платье было порвано, руки изодраны в кровь. Но, в общем, мы легко отделались от смерти.

Мы жадно напились чаю и опьянели. Конечно, не от чая, а от удивительного, ни с чем не сравнимого, какого-то невесомого чувства безопасности. Если есть полное счастье, то оно было в ту ночь с нами.

Мне хотелось насколько возможно продлить это чувство. Я оделся, взял одеяло и пошел в лоджию — глубокую нишу на втором этаже с выступающим балконом. В лоджии было темно. Ветер не проникал в нее, и меня никто не мог заметить с улицы.

Я сел в плетеный шезлонг, закутался в одеяло и так просидел до рассвета, прислушиваясь к звукам ночи.

Беспредельный морской шум не прекращался ни на минуту. Он набегал длинными волнами, то усиливаясь, то затихая. И ветер то начинал шуметь в голых деревьях, то замолкал, так же как и я прислушиваясь к течению ночи. Но он не уходил, он был здесь. Я это знал по запаху мокрой гальки и по едва внятному трепету одинокого платанового листа.

Я заметил еще днем этот упрямый сизый лист, но сейчас, ночью, он казался мне маленьким живым существом, моим единственным бодрствующим другом.

Изредка из тьмы, из города, доносились ружейные выстрелы. После каждого выстрела долго лаяли собаки. Потом далеко в море мелькнул тусклый огонь и погас.

Все спало вокруг. Я часто засыпал на несколько минут, но сон этот был непрочен. То был полусон, когда с той ясностью, какая бывает только наяву, можно увидеть большие белые цветы, плывущие по ночному морю, или услышать, как поет скрипка, легкая, как детская ладонь.

В этом полусне я ощущал себя совсем иным, чем всегда,— очень спокойным, доверчивым, принимающим мир. И я слышал стихи, приходящие из морской темноты и похожие на женский шепот:

Что в имени тебе моем?
Оно умрет, как шум печальный
Волны, плеснувшей в берег дальный,
Как звук ночной в лесу глухом.

ПОСЛЕДНЯЯ ШРАПНЕЛЬ

С каждым днем жизнь в Одессе становилась тревожнее. Бои с советскими частями шли уже под Вознесенском.

В Константинополь отходили пароходы, переполненные беглецами. Почти все эти пароходы — грязные, с облезлой черной краской на бортах — выползали из порта с большим креном, были нагружены выше ватерлинии и так густо дымили, что этим дымом заволакивало весь Ланжерон и нашу Черноморскую улицу.

Но газеты еще выходили. Белое командование знало, что конец приближается буквально по часам, но всеми силами скрывало это от населения, особенно от беглецов с севера. В газетах печатались телеграммы о том, что наступление большевиков приостановлено и в Одессу отправлены из Салоник крупные французские воинские части с артиллерией и газами.

Все эти слухи распространялись для того, чтобы беглецы с севера не ринулись в панике дальше на юг в Константинополь, и не помешали бы бегству белой армии. Пароходов в порту было мало, и деникинцы берегли их для себя.

Газеты еще выходили, и в кафе «Желтая канарейка» еще докучивали махнувшие на все рукой офицеры. Газеты пытались внушить населению затасканную историю о том, что «Москва сгорела, но Россия от этого не погибла».

Газета, где я работал корректором, тоже занималась бесконечным перемыванием этой темы в статьях, фельетонах и стихах.

Однажды к пам в редакцию пришел Бунин. Он был обеспокоен и хотел узнать, что происходит на фронте. Стоя в дверях, он долго стаскивал с правой руки перчатку. На улице шел холодный дождь, кожаная перчатка промокла и прилипла к руке.

Наконец он стянул перчатку, мельком осмотрел серыми спокойными глазами дымную компату, где мы сидели, и сказал:

— Да, у вас небогато.

Мы почему-то смутились, а Назаров ответил:

— Какое уж тут богатство, Иван Алексеевич. На ладан дышим.

Бунин взял стул и подсел к столику Назарова.

— Кстати,— сказал он,— вы не знаете, откуда взялось это выражение «дышать на ладан»?

— Нет, не знаю.

— В общем — конец! — сказал Бунин и помолчал.— Дождь, холод, мрак, а на душе спокойно. Вернее, пусто. Похоже на смерть.

— Вы загрустили, Иван Алексеевич,— осторожно сказал Назаров.

— Да нет,— ответил Бунин.— Просто неуютно стало на этом свете. Даже море пахнет ржавым железом.

Он встал и ушел в кабинет редактора.

С юпых лет я любил Бунина за его беспощадную точность и печаль, за его любовь к России и удивительное знание народа, за его мудрое восхищение миром со всей его разнообразной красотой, за зоркость, за ясное бунинское ощущение, что счастье находится всюду и дано только знающим. Уже в то время Бунин был для меня классиком. Я знал наизусть многие его стихи и даже отдельные отрывки из прозы. Но выше всего по горечи, по страданию и безошибочному языку я считал маленький рассказ — всего в две-три страницы — под названием «Илья-пророк».

Поэтому сейчас я боялся сказать при нем хотя бы слово. Мне было просто страшно. Я опустил голову, слушая его

глухой голос, и только изредка взглядывал на него, боясь встретиться с ним глазами.

Много лет спустя я прочел «Жизнь Арсеньева». Некоторые главы этой книги стали для меня чем-то более высоким, чем самая совершенная поэзия и проза. Особенно то место, где Бунин говорит о костях своей матери, зарытых в глинистой и холодной елецкой земле, о неизбежной потере единственно любимых людей, об отчаянии этой любви и бедном сердце, тяжело бьющемся в пустоте жизни. Он знал простые слова, разрывающие наше сердце:

> Плакала ночью вдова:
> Нежно любила ребенка, но умер ребенок.
> Плакал и старец-сосед, прижимая к глазам рукава,
> Звезды слезами текут с небосклона ночного,
>
> Плакала мать по ночам.
> Плачущий ночью к слезам побуждает другого;
> Звезды светили, и плакал в закуте козленок,
> Плачет господь, рукава прижимая к глазам.

Бунин вскоре ушел. Я не мог больше работать, править высосанные из пальца и безграмотные заметки одесских репортеров и ушел к себе на Черноморскую.

Черный ветер задувал с оловянного моря. Угрюмые занавеси дождей висели над ним. Листья акаций уже не плавали по чистым лужам, а давно утонули в них. Теперь они лежали под водой на плитах тротуаров желтыми гниющими пластами. Только мокрый плющ поблескивал на огородах и говорил о жизни.

Я пошел к морю, к Аркадии. Пустыня воды мерно колебалась и бесшумно набегала на размытые пески. Вся угрюмость, весь неуют осеннего моря вошли в сознание сложной и холодной тоской. Я не сопротивлялся ей.

В который раз я представил себе свою жизнь. Я перебирал ее год за годом и вдруг понял, что всему моему раздерганному противоречиями прошлому может дать смысл и силу, значение и оправдание только будущее.

Может быть, будущее отберет из этой жизни, из множества пережитого все, что освещено и согрето подлинной человечностью и поэзией, и поможет мне соединить эти отрывочные звенья моей жизни в цельный рассказ. Кто знает, может быть, этот рассказ будет нужен людям, а не только мне самому, и поможет им пробиваться через цеп-

кое ненастье к далекой и слепительной полосе чистого пеба.

Кто знает? К той полосе, что сейчас уже медленно разрасталась над морем на юге, обещая выпустить из облачного студенистого плена солнце приморской осени.

За ночь полоса ясного неба разошлась, и утром я увидел из окна своей комнаты неправдоподобно синее море.

Дул слабый, но жгучий норд-ост. Он, как всегда, принес холод, чистоту неба и воздуха. Сухая трава покрылась инеем и качалась под ветром, поблескивая и звеня. Прибой тяжело и лениво облизывал прибрежные скалы и оставлял на них белую корку льда. Ветер срывал с морских валов густую, как сбитый белок, соленую пену. Клочья ее дрожали и шевелились на берегу, и легко было поверить древним эллинам, что из этой пены родилась прекрасная богиня Афродита.

Мои праздные мысли об этом прервал тяжелый пушечный гром. Он как бы прихлопнул город железной лапой. От этого выстрела весь санаторий зазвенел, как рассохшийся шкаф со стеклом. С крыши упала со звоном и рассыпалась черепица.

Потом послышался второй удар, третий, четвертый...

Стрелял французский крейсер, стоявший на рейде. Стрелял в степь. Снаряды проходили над городом и рвались так далеко, что звук разрывов не доходил до Одессы.

В окно я увидел, как с улицы ворвался во двор «Яша на колесах». Он открыл дверь на лестницу и крикнул снизу, наполняя гулом своего голоса пустой санаторий:

— Большевики прорвались у Тилигульского лимана! Подходят к Куяльнику. Конец!

Куяльник был в нескольких километрах к востоку от Одессы.

Яша вбежал ко мне в комнату. Пришел Назаров. Яша кричал, что белые бегут без единого выстрела, что в порту — паника, что французский крейсер бьет в степь наугад и что нужно немедленно захватить самое необходимое, сложить маленький чемодан и идти в порт. Там уже началась посадка на пароходы.

— Ну и что же,— сказал я ему.— Идите. Это — дело вашей совести. Но я считаю, что никогда и ни при каких обстоятельствах нельзя бросать свою страну. И свой народ.

— Да,— добавил Назаров.— Жизнь вне России не имеет никакой цены и никакого смысла. А если ваша жизнь, Яша, уж так драгоценна,— не знаю для кого,— так бегите, черт с вами.

— Глупости! — пробормотал Яша и покраснел до того, что на глазах у него выступили слезы.— Все бегут. Это меня засосало. Ну, конечно же, я никуда не уеду.

Решения в то время требовали быстроты. Одна минута колебания могла исковеркать всю жизнь или спасти ее.

Яша остался. Он бурно радовался тому, что ни о чем уже не надо думать и не надо колебаться. Он даже вскипятил чай, мы наспех выпили его и пошли в Александровский сад.

В этом саду стояла над обрывом старинная аркада. Оттуда сверху хорошо был виден весь порт и все, что в нем творилось.

Я долго потом не мог отделаться от гнетущего ощущения, будто я уже видел на картине какого-то беспощадного художника это гомерическое бегство, эти рты, разорванные криками о помощи, вылезающие из орбит глаза, зеленые от ужаса лица, глубокие морщины близкой смерти, слепоту страха, когда люди видят только одно — шаткие сходни парохода со сломанными от напора человеческих тел перилами, приклады солдат над головами, детей, поднятых на вытянутых материнских руках над обезумевшим человеческим стадом, их отчаянный плач, затоптанную женщину, еще извивающуюся с визгом на мостовой...

Люди губили друг друга, не давая спастись даже тем, кто дорвался до сходней и схватился за поручни. Несколько рук тотчас вцеплялись в такого счастливца, повисали на нем. Он рвался вперед, тащил за собой по сходне беглецов, но тут же срывался, падал вместе с ними в море и тонул, не в силах освободиться от своего живого и страшного груза.

Все портовые спуски были забиты людьми. Казалось, что ограды и дома трещат от их напора и вот-вот поддадутся и рухнут. Это было бы спасением, конечно, но дома из шершавого камня не поддавались. Только беспрерывный звон стекол и треск дерева говорили о том, что людей вдавливают в окна и двери.

Растоптанные чемоданы, узлы и корзины ползли под ногами людей по спуску, как уродливые живые существа. Вещи вываливались из них, цеплялись за ноги, и люди та-

щили за собою женские сорочки и кружева, детские платья и ленты. Мирные эти вещи еще усугубляли трагический вид бегства.

Над всеми портовыми спусками висела мелкая морозная пыль.

Офицеров и солдат толпа затерла, разъединила, и только бурки кавказцев метались в гуще людей черными колоколами, мешая их владельцам бежать. Они сбрасывали их, и бурки, как черные ковры, как бы сами по себе колыхались и плыли к порту.

Над мостиком одного из пароходов вырвалась к серому небу струя пара, и раздался дрожащий густой гудок. Тотчас, подхватив этот гудок, закричали на разные голоса все остальные пароходы. То были прощальные отходные гудки.

Они прозвучали как отходная людям, покидавшим отечество, отказавшимся от своего народа, от русских полей и лесов, весен и зим, от народных страданий и радостей, отрекшихся от прошлого и настоящего, от светлого гения Пушкина и Толстого, от великой сыновней любви к каждой травинке, к каждой капле воды из колодца простой и прекрасной нашей земли.

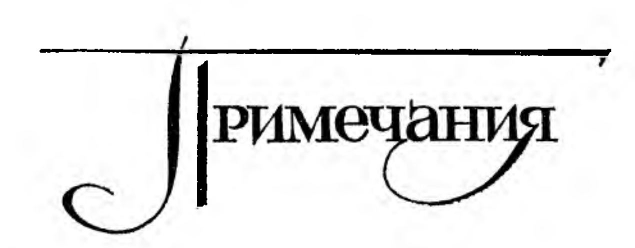
Кавалеристы на конце мола стояли всё так же неподвижно.

Конвоировавший пароходы миноносец дал два выстрела. Две бесполезные шрапнели разорвались над городом жидким дребезжащим звоном. Это было последнее прости родной земле.

Советская артиллерия не ответила. Люди стояли на молах, на бульварах, на обрывах над морем и смотрели, как в дыму и мгле тускнели, уходя, тяжелые туши пароходов. В этом молчании победителей был тяжкий укор.

Пароходы исчезали в тумане. Северный ветер норд-ост как бы перевернул чистую страницу. На ней должна была начаться героическая история России — многострадальной, необыкновенной и любимой нами до предсмертного вздоха.

1956


Примечания

Цикл повестей, входящих в четвертый и в пятый том, существенно отличается от произведений предшествующих томов. Если в первых трех томах собраны произведения разнообразные по темам, сюжетам, материалу, если они соседствуют друг с другом под одной обложкой по причинам достаточно внешним, несмотря на органическую связь между ними, то совсем иначе обстоит дело с настоящим и следующим за ним томами. При всей законченности и даже «суверенности» каждой из входящих в них вещей, все вместе они образуют единое и целостное повествование. Эти единство и целостность были подчеркнуты самим автором, объединившим шесть книг общим названием — «Повесть о жизни».

Писатель лирического склада, каким еще в начальную пору литературного становления почувствовал себя Паустовский, всегда ощущает настоятельную потребность обращаться к собственной биографии. Повинуясь этой потребности, Паустовский уже в первом большом своем повествовании — в «Романтиках» — широко распахнул двери перед автобиографическим материалом. И если книга эта не вполне удовлетворила ее автора, то именно потому, что этот материал, прикрытый сюжетными наслоениями, не стал цементирующей основой повествования.

Шли годы. Паустовский писал повести, романы, пьесы, рассказы, посвященные самым разным сторонам действительности — современной и исторической. В них он лишь вскользь и мимоходом касался обстоятельств своей жизни. Едва ли не самая главная его художническая потребность оставалась неутоленной. Еще до того, как появились первые главы «Далеких годов», не надо было быть провидцем, чтобы предсказать, что рано или поздно писатель обратится к материалу своей жизни и сделает его основой самых выношенных своих произведений.

В 1959 году я поехал в Тарусу брать интервью у Константина Георгиевича. Сидели мы в беседке и говорили о текущей литерату-

ре. Незадолго перед этим в «Новом мире» была напечатана глава из «Дневных звезд» Ольги Берггольц. Паустовскому она пришлась по душе, и он сказал, что в ней содержится глубоко верное наблюдение о том, что у каждого настоящего писателя есть книга, которая в наибольшей мере выражает его,— Главная книга. Когда я спросил его, какую из своих книг он считает главной, Константин Георгиевич ответил:

— «Повесть о жизни», конечно. Все, что я писал до этого, было подступом к этой книге, над которой продолжаю работать и сейчас. Мечтаю довести ее до наших дней, но опасаюсь, что не успею сделать этого. Теперь-то я понимаю, что слишком поздно взялся за нее.

Едва ли Паустовский был прав, думая, что он мог начать писать «Повесть о жизни» раньше, чем он приступил к работе над ней. Такая книга вряд ли могла бы возникнуть, не обладай ее автор чувством историзма.

Писателю вовсе не обязательно отходить на расстояние для того, чтобы верно описать тот или иной факт, явление и процесс, хотя — что и говорить — смысл событий открывается во всем объеме, когда они закончились. Время — те же вершины. С их высоты туманное становится отчетливым, вещи видятся в их строго очерченных границах. Время, если история протекала на твоих глазах, устраняет обман зрения, от которого далеко не всегда бывают свободны современники событий.

Но тот факт, что литература испокон веку умела правдиво выражать современность, убедительно доказывает, что «дистанция» ни в коей мере не является непременным условием возникновения подлинного искусства. Художник, видимо, тем и отличается от большинства «простых смертных», что его воображение проникает в скрытую глубину действительности, позволяя ему раньше обнаружить то, что его сверстникам откроется лишь тогда, когда закончатся события. Воображение — практическая дистанция художника.

Паустовскому нужно было время, чтобы осмыслить увиденное и пережитое. Об этом со всей определенностью сказал сам автор в «Повести о жизни»: «Люди любят вспоминать, очевидно, потому, что на расстоянии яснее становится содержание прожитых лет».

Только что окончившаяся война (именно в это время Паустовский написал первые страницы «Далеких годов»), как бы отодвинувшая события полувековой давности в далекое прошлое, и возраст (писателю шел шестой десяток) обострили восприятие протяженности этого расстояния. Годы, недавно еще казавшиеся обозримыми, стали ощущаться ушедшими за горизонт, *далекими* годами.

Приступив к автобиографическому рассказу, Паустовский поначалу не замышлял большого многотомного повествования. Он намеревался ограничиться описанием детства и отрочества, то есть не выходить за пределы временных рамок «Далеких годов». Не в этом ли кроется одна из причин того, что вторая автобиографическая повесть («Беспокойная юность») появилась на свет лишь десять лет спустя после первой. Кстати, именно тогда обе вещи получили название «Повесть о жизни». Именно после этого следующие автобиографические части стали выходить одна за другой без перерывов

«Повесть о жизни» охватывает сорокалетний путь ее создателя — от младенчества до годов литературного самоутверждения, в которые Паустовский безраздельно отдался писательству. Он рассказывает о семье, в которой родился и вырос, о гимназии, где учился, о бесчисленных занятиях, за какие ему приходилось браться, о людях, безвестных и прославленных, встретившихся ему на жизненных дорогах, о местах, в которых обитал и странствовал, о социальных потрясениях, вовлекавших его в свой водоворот или обрекавших на роль очевидца. Обо всем этом автор говорит открыто и прямо, не прибегая к сюжетным ухищрениям и литературной маскировке.

Однако едва ли правомочно было бы видеть в автобиографическом цикле протокольный отчет о делах и днях ее создателя Автор не стремился излагать в нем историю своего жизненного пути от «а» до «я». К работе над «Повестью о жизни» он приступил в годы зрелости, когда им был накоплен основательный творческий опыт Ничем не объяснимой странностью было бы отринуть этот опыт и отказаться от коренных его слагаемых — тщательного отбора материала и художественного его обобщения. Путь, которым шел Паустовский, не составляет исключения в литературе. Воспоминания, созданные мастерами слова, редко бывают педантически точным воспроизведением их биографий.

«Повесть о жизни», при всем ее обнаженном автобиографизме,— не документальное, а художественное произведение, целостная структура и каждая подробность которого продиктованы его замыслом.

В трех повестях, составляющих настоящий том и представляющих собой, по сути дела, законченную трилогию, внимание писателя приковано прежде всего к тем обстоятельствам, которые формировали героя как художника. Развитие сюжета в них связано с ростом в герое художественных интересов. В трех этих книгах повествуется о том, как человек неуклонно идет к осуществлению

заветной цели и становится художником. Становится потому, что страстно этого хочет. Потому, что не может иначе.

Герой повестей был еще почти ребенком, когда он «заболел» всепоглощающей страстью: мысли о литературе вытеснили все другие помыслы и побуждения. Окружающее казалось ему пресным и докучливым. И жизнь была бы для него лишена смысла, если бы рядом не простирался другой мир, маняще прекрасный и совсем не похожий на будничное прозябание. Этот мир притягивал сильнее магнита. Еще на гимназической скамье юный герой решил, что как бы ни повернулась его судьба, он не отступится от своей мечты о писательстве. Все, что происходило вокруг него, имело для него цену лишь в той мере, в какой оно могло послужить литературному призванию...

И в дальнейшем, став взрослым человеком, герой неотступно думал об искусстве и жил им. На крутых поворотах судьбы, в минуты горя и отчаяния, когда обстоятельства ставили его перед выбором решения, он обращался к этому неизменному источнику. Страсть к искусству была для него чем-то большим, чем подготовкой к писательской работе. В литературе он черпал мотивы поведения и критерии оценок. Поэтому искусство занимает такое заметное место в мироощущении героя, в его духовном развитии. Поэтому искусством наполнены все повести. Литературная ассоциация, стихотворный образ, поэтическая цитата органически входят в их ткань.

«Повесть о жизни», хотя и развертывается как непрерывное повествование, в котором последующее тесно связано с предыдущим, построена по новеллистическому принципу. Она состоит из глав, каждая из которых представляет собой более или менее самостоятельный рассказ. Показательно, что до того, как повести были полностью опубликованы, многие составляющие их главы печатались в периодике — в качестве не отрывков, а самостоятельных произведений, каковыми они и воспринимались читателями. Иван Бунин, читатель достаточно искушенный, далеко не случайно принял отдельно напечатанную главу «Далеких годов» за рассказ.

Отчасти новеллистический принцип построения автобиографического цикла коренится в том, что повествование развертывается в нем как цепь воспоминаний, идущих не сплошным потоком, а отдельными звеньями. Писатель отправляется не от событий в их хронологической последовательности, а от своей памяти, то есть от того, как эти события запечатлелись в сознании. В еще большей мере подобная структура объясняется литературными склонностями и художественным опытом автора. Паустовский, насколько это представлялось возможным, стремился избежать строго фабульного

развития повествования. Ему было тесно в сюжетных рамках, которые сковывали его лирические «порывы». Строго вычерченный сюжет не оставлял простора для лирического разговора. Паустовский лучше всего чувствовал себя там, где эпический элемент непринужденно соседствует с лирическим. Такой формой является новеллистическая повесть, состоящая из самостоятельных глав-рассказов, которые сквозной герой объединяет в единое целое. Такая форма позволила автору создать широкое полотно действительности. Детство героя, гимназические перипетии, служба на трамвайной линии, фронтовой быт, первые послереволюционные годы, гражданская война — за этими эпизодами и сценами стоят подлинность и драматизм самой жизни, увиденной художником зорким и тонким.

Подлинность самой жизни ощутима в мастерских пейзажах, щедро рассыпанных в автобиографическом цикле. Природа играла особую роль в мироощущении героя. В его отношении к ней не было ничего от бесцельного любования или молитвенного экстаза. Природа, по словам автора, была его естественной средой. Поэтому пейзаж занимает такое значительное место в ощущениях героя и в структуре книги.

Замысел автобиографического цикла состоял в раскрытии характера одного героя, героя главного. Он, этот герой, постоянно на переднем плане. Мир раскрывается в нем и через него. Сначала, как это и положено в первые годы жизни, мир ограничен детскими впечатлениями. Затем, по мере того как герой растет и мужает, в его поле зрения вовлекаются все новые и новые пласты действительности. Но он живет не в безвоздушном пространстве, а в мире, населенном разнообразными людьми. Природа автобиографического рассказа не оставляла места для обстоятельного развертывания характеров и углубления в биографии этих людей. Автор ограничивается несколькими беглыми штрихами, рисунком карандаша. Одна-две линии—и набросаны контуры портрета. Тем отраднее, что большинство персонажей автобиографических повестей, несмотря на то, что им отпущено не так уж много места, живут самостоятельной жизнью. Не как безликие тени главного героя, а как резко обозначенные характеры.

Все, что Паустовский передумал и перечувствовал как писатель и человек, он вложил в свои автобиографические книги. Оттого они так богаты содержанием.

Текст «Повести о жизни» публикуется по изданию: К. Паустовский. Повесть о жизни, в 2-х томах, М., «Советская Россия», 1966,— последнему изданию, в которое автор внес существенные изменения и поправки.

КНИГА ПЕРВАЯ
ДАЛЕКИЕ ГОДЫ

Впервые — отдельной книгой в Детгизе, М., 1946 (первая часть повести, до главы «Классическая гимназия», была напечатана в журнале «Новый мир», 1945, № 10).

В примечаниях к третьему тому шеститомного Собрания сочинений, материал для которого давал сам автор, написано:

«Одна из глав повести — «Корчма на Брагинке» — еще до выхода в свет всей книги была напечатана в журнале «Вокруг света». Журнал с этой главой попал к Ив. Бунину, жившему в то время в Париже. Бунин, не знавший до того времени Паустовского, прислал ему короткое письмо, текст которого мы здесь приводим полностью.

«Дорогой собрат, я прочел Ваш рассказ «Корчма на Брагинке» и хочу Вам сказать о той редкой радости, которую испытал я: если исключить последнюю фразу этого рассказа («под занавес»), он принадлежит к наилучшим рассказам русской литературы.

Привет, всего доброго. *Ив. Бунин.* 15.IX.47». (Письмо Бунина хранится в литературном архиве Паустовского.)

В письмах к Н. Д. Телешову (письмо хранится в литературном архиве Телешова), к Н. Я. Рощину (письмо опубликовано в альманахе «Литературный Смоленск», 1956, № 15, с. 326) Бунин также высоко оценивал прозу Паустовского.

Все лица, выведенные в повести, названы своими подлинными именами. Лишь в двух-трех случаях Паустовскому пришлось изменить фамилии.

Повесть переведена на европейские языки и вышла отдельными изданиями в Париже, Вене, Берлине, Праге и Варшаве».

В примечаниях к третьему тому шеститомника Паустовский рассказал, что из первого издания «Далеких годов» были исключены две главы: «Плеврит» и «Браво, Уточкин!». Он писал: «Глава «Плеврит» сейчас восстановлена, глава же «Браво, Уточкин!» была потеряна и восстановить ее не удалось».

Уже после кончины Константина Георгиевича в архиве писателя отыскались две черные клеенчатые тетради, в которых Паустовский своим летящим почерком написал самый первый, черновой вариант «Далеких годов». В ней, помимо главы «Браво, Уточкин!» (первая часть ее через месяц после смерти Паустовского была напечатана в «Литературной газете»), нашлась еще одна глава, о которой автор нигде никогда не упоминал. Это — «Последняя глава». Знакомство с этой главой убеждает в том, что ей предназнача-

лась роль заключения, своеобразного лирического эпилога. Можно только гадать, почему автор потом не вернулся к этой главе. То ли он впоследствии забыл о ней; то ли он предназначал ее для последней части автобиографического повествования, которое он так и не успел закончить; то ли его не вполне устраивало ее содержание. Сознание своей вины перед всеми, кто сопутствовал ему на жизненном пути, с такой силой и обнаженностью проявившееся в этой главе, не означает, что Паустовский «растратил свой талант на бесплодных выдумках». Эти слова писателя свидетельствуют не о его падении, а о высоте нравственных требований, которые он предъявлял и себе и литературе. Покаянное признание автора в «Последней главе» сродни чувству, продиктовавшему Пушкину строки: «И, с отвращением читая жизнь мою, я трепещу и проклинаю, и горько жалуюсь, и горько слезы лью, но строк печальных не смываю». В благородном порыве самоочищения художник может читать свою жизнь «с отвращением», но мы, читатели его, читаем эту жизнь с чувством восхищенной признательности...

ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА

На дне каждых суток остается небольшой осадок золота. Я старался на протяжении этой книги собрать его. Но золота оказалось не много, и жизнь представляется теперь, когда удалось кое-как вспомнить ее, цепью грубых и утомительных ошибок. В них виноват один только я. Я не умел жить, любить, даже работать. Я растратил свой талант на бесплодных выдумках, пытался втиснуть их в жизнь, но из этого ничего не получилось, кроме мучений и обмана. Этим я оттолкнул от себя прекрасных людей, которые могли бы дать мне много счастья.

Сознание вины перед другими легло на меня всей своей страшной тяжестью.

На примере моей жизни можно проверить тот простой закон, что выходить из границ реального опасно и нелепо.

Если бы можно было, я назвал бы свою книгу «Предостережение». Предостережением для всех, кто живет в своем вымышленном мире и не считается с суровой действительностью.

Что говорить о сожалении? Оно разрывает сердце, но оно бесплодно, и ничего уже нельзя исправить — жизнь идет к своему концу. Поэтому я кончаю эту книгу небольшой просьбой к тем, кого я любил и кому причинил столько зла,— если время действительно очищает наше нечистое прошлое, снимает грязь и страдание, то пусть оно вызовет в их памяти и меня, пусть выберет то нужное, хорошее, что было во мне.

Пусть положат эти крупицы на одну чашу весов. На другой будет лежать горький груз заблуждений. И, может быть, случится маленькое чудо, крупицы добра и правды перетянут, и можно будет сказать: простим ему, потому что не он один не смог справиться с жизнью, не он один не ведал, что творит.

Мне хочется хотя бы маленькой, но светлой памяти о себе. Такой же слабой, как мимолетная улыбка.

Улыбнитесь же мне напоследок. Я приму эту улыбку как величайший и незаслуженный дар и унесу ее с собой в тот непонятный мир, где нет «ни болезней, ни печали, ни воздыхания, но жизнь бесконечная».

1945 г.

«Последняя глава» была напечатана в газете «Литературная Россия», 1968, 20 сент., № 38 (298).

«Далекие годы» вызвали много откликов в печати. В рецензиях и статьях, посвященных повести, отмечалось мастерство писателя и выражалось сожаление, что ее герой слишком слабо включен в ход событий и недостаточно резок в своих оценках. Эти упреки трудно признать справедливыми по той очевидной причине, что автор не «сочинял» героя, а описывал его таким, каким он был. То, что можно требовать от романа, едва ли уместно ждать от автобиографического повествования.

Л. Левицкий

Стр. 7. *«...Жизнь моя, иль ты приснилась мне?»* — Из стихотворения С. Есенина без названия («Не жалею, не зову, не плачу...»).

Стр. 9. *«Киевская мысль»* — ежедневная политическая и литературная газета буржуазно-демократического направления. Издавалась в Киеве с 1906 по 1918 г.

«Нива» — русский еженедельный иллюстрированный литературно-художественный и научно-популярный журнал, издававшийся в Петербурге в 1870—1918 гг.

«Русский инвалид» — военная газета, издававшаяся в Петербурге в 1813—1917 гг.

Стр. 9. *Кантонисты.*— В России в 1805—1865 гг. так назывались сыновья солдат, числившиеся со дня рождения за военным ведомством.

Стр. 15. *Сагайдачный* Петр Кононович (?—1622) — гетман украинских казаков, участник и руководитель походов против Крымского ханства и Турции, сторонник сближения с Россией.

Запорожская Сечь — организация украинских казаков в XVI—XVIII вв. за Днепровскими порогами. Ликвидирована в 1775 г. после подавления крестьянской войны под руководством Е. И. Пугачева.

Стр. 28. *...после разгрома польского восстания в 1863 году.*— Имеется в виду январское восстание 1863 г. против царизма в Королевстве Польском, Литве, части Белоруссии и Украины.

Стр. 29. *Троице-Сергиевская* (Троице-Сергиева) *лавра* — древнерусский монастырь, основан в середине XIV в. (с 1744 г. Лавра — крупный мужской православный монастырь, подчинявшийся непосредственно Синоду), в 71 км к северу от Москвы.

Почаев.— Имеется в виду Почаевско-Успенская лавра, мужской монастырь в г. Почаеве на Украине.

Цадик — духовное звание у евреев-хасидов.

Каплица Острая Брама — часовня в Вильнюсе над воротами с иконой Остробрамской богоматери.

Сенкевич Генрих (Генрик; 1846—1916) — польский писатель, автор исторических романов.

Коперник Николай (1473—1543) — польский астроном, создатель гелиоцентрической системы мира.

Стр. 32. *Нунций* — постоянный дипломатический представитель римского папы в иностранных государствах.

Стр. 39. *Каменка* — имение Давыдовых. Во время пребывания в ней А. С. Пушкина (конец 1820 — начало 1821 гг.) принадлежала декабристу Василию Львовичу Давыдову. Он был братом по матери генерала Николая Николаевича Раевского, с семьей которого Пушкин путешествовал по югу во время своей ссылки.

«Играй, Адель..» — Из стихотворения А. С. Пушкина «Адели».

Стр. 40. *Врубель* Михаил Александрович (1856—1910) — русский живописец.

Стр. 41. *«Русское слово»* — ежедневная газета буржуазно-либерального направления. Выходила в Петербурге с 1895 по 1917 г.

Верещагин Василий Васильевич (1842—1904) — русский живописец, был близок передвижникам.

Стр. 42. *«...Первые встречи, последние встречи...»* — Из романса «Утро туманное, утро седое...» композитора В. Абаза на слова И. Тургенева.

Стр. 44. *Англо-бурская война* — захватническая война 1899—1902 гг. Великобритании против бурских республик Южной Африки — Оранжевого Свободного государства и Трансвааля, которые в результате этой войны были превращены в английские колонии.

«Трансваль, Трансваль, страна моя...» — популярная песня начала XX в., явившаяся откликом на англо-бурскую войну.

Стр. 45. *Стенли* (Стэнли) Генри Мортон (наст. имя Генри Роулендс; 1841—1904) — журналист, исследователь Африки.

Ливингстон Давид (1813—1873) — английский исследователь Африки.

Южный Крест — созвездие Южного полушария, по форме напоминающее крест, по нему определяют направление на Южный полюс.

Крааль — кольцеобразное поселение у некоторых пародов Южной и Восточной Африки.

Зулусы — народ, основное население провинции Наталь в Южной Африке.

Стр. 47. *Грум-Гржимайло* — советские ученые, братья: Владимир Ефимович (1864—1928) — металлург; Григорий Ефимович (1860—1936) — географ и зоолог.

Стр. 48. *Менелик II* (Мынилик; 1844—1913) — император (негус) Эфиопии.

...во время китайского восстания.— Имеется в виду Ихэтуаньское антиимпериалистическое восстание в Северном Китае в 1899—1901 гг., известное под названием «боксерского».

Хунхузы (от китайск. хунхуцзы — краснобородый) — название участников вооруженных банд, действовавших в Маньчжурии с середины XIX в. до 1917 г.

...в постройке Восточно-Китайской дороги.— Китайско-Восточная ж. д. (КВЖД), ныне Китайско-Чаньчуньская ж. д. была построена Россией в 1897—1903 гг. по русско-китайскому договору 1869 г.

Добровольный флот был основан в 1878 г. по подписке и состоял из океанских кораблей, осуществлявших рейсы между Одессой и Владивостоком, позднее также между Одессой и Петербургом.

Стр. 49. *Во время японской войны.*— Имеется в виду русско-японская война 1904—1905 гг. за господство в Северо-Восточном Китае и Корее.

Стр. 50. *Святославская улица* — ныне ул. Чкалова. Как отмечает исследователь мест, связанных с именем Паустовского в Киеве, Л. Хинкулов, Паустовский в «Повести о жизни» очень точен в указании мест, названных им в книге. В своей статье «В начале неведомого века. Константин Паустовский в Киеве» (журнал «Радуга», Киев, 1968, № 8) Л. Хинкулов определяет «географию» повествования Паустовского, приводит современные адреса и отмечает, сохранился ли названный дом, а также уточняет

факты, приводит документы, касающиеся биографии Паустовского.

Стр. 60. *Ростан* Эдмон (1868—1918) — французский поэт и драматург.

...*драматический Соловцовский театр* — русский театр в Киеве, созданный Н. Н. Соловцовым и др в 1891 г. как «Товарищество драматических артистов». В 1919 г. национализирован и переименован во Второй Государственный драматический театр УССР им. Ленина.

Рубинштейн Антон Григорьевич (1829—1894) — пианист, композитор, дирижер, музыкальный и общественный деятель, основатель первой русской консерватории в Петербурге.

Стр. 61. *«Наталка-Полтавка», «Запорожец за Дунаем»* и *«Шельменко-денщик»* — оперы украинского композитора и драматурга Гулак-Артемовского Семена Степановича (1813—1873).

Люмьер Луи-Жан (1864—1948) — французский изобретатель, создатель кинематографа (старое название — синематограф).

Стр. 62. *Стефенсон* Джордж (1781—1848) — английский изобретатель, положивший начало паровому железнодорожному транспорту, строитель первой железной дороги.

Стр. 65. *Надсон* Семен Яковлевич (1862—1887) — русский поэт.

Стивенсон Роберт Льюис (1850—1894) — английский писатель, мастер приключенческого романа.

Стр. 66. *«Паллада»* — фрегат русского военно-морского флота. В 1852—1855 гг. под командованием капитана Н. С. Унковского совершил с дипломатической миссией вице-адмирала Е. В. Путятина плавание к берегам Японии. В рейсе принимал участие писатель И. А. Гончаров, описавший это путешествие в книге «Фрегат «Паллада».

Стр. 83. *Пирогов* Николай Иванович (1810—1881) — русский хирург, педагог, общественный деятель, основатель военно-полевой хирургии, участник Севастопольской обороны (1854—1855 гг.), франко-прусской (1870—1871 гг.) и русско-турецкой (1877—1878 гг.) войн.

Стр. 85. *«Однажды лебедь, рак да щука...»*—Из басни И. А. Крылова «Лебедь, щука и рак».

Стр. 87. *Столыпин* Петр Аркадьевич (1862—1911) — русский государственный деятель, министр внутренних дел и председатель Совета Министров, организатор аграрной реформы, названной «столыпинской». Убит агентом охранки.

Стр. 90. *Миклухо-Маклай* Николай Николаевич (1846—1888) — русский этнограф, изучал коренное население Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании.

Стр. 97. *Саваоф* — в иудаизме одно из имен бога Яхве (Иеговы)

Стр. 99. *...служил в Варшаве панихиду над сердцем Шопена.*— Умер Ф. Шопен в 1849 г. в Париже. Сердце его похоронено в Варшаве в церкви св. Креста.

Стр. 102. *...телеграммы об уходе Толстого* — Речь идет об уходе Толстого Л. Н. из Ясной Поляны 28 октября 1910 г.

Стр. 110. *Остров Валаам.*— На о. Валааме в Ладожском озере был расположен Валаамский Спасо-Преображенский монастырь, основанный новгородцами в XIV в.

...на поле Куликовской битвы — на месте битвы русских полков в верховьях Дона во главе с Дмитрием Донским (1350—1389) и монголо-татарских войск Мамая 8 сентября 1380 г.

Стр. 111. *Чехов умер* — 2(15) июля 1904 г.

Стр. 113. *«Вы жертвою пали в борьбе роковой...»* — популярная с начала 1880-х гг. песня неизвестного автора и А. Архангельского (Амосова Антона Александровича; ?—1893).

Стр. 114. *«Отречемся от старого мира»* — «Новая песня» П. Л. Лаврова (1823—1900), исполнялась на мелодию «Марсельезы». В период от Февральской до Октябрьской революции 1917 г. была официальным государственным гимном.

Стр. 117. *«Поздняя осень. Грачи улетели...»* — Из стихотворения Некрасова «Несжатая полоса».

«Герой Мукдена!» — Имеется в виду Мукденское сражение в Северо-Восточном Китае во время русско-японской войны 1905 г., во время которого из-за бездарности царских генералов три русские армии были разбиты.

Стр. 118. *Куропаткин* Алексей Николаевич (1849—1925) — русский генерал от инфантерии, военный министр, главнокомандующий в русско-японскую войну.

Стессель Анатолий Михайлович (1848—1915) — русский генерал-лейтенант. В русско-японскую войну был начальником укрепленного района в Порт-Артуре, проявил бездарность и трусость, сдал противнику крепость Порт-Артур, героически оборонявшуюся русскими войсками.

...гибель русского флота под Цусимой.— В Цусимском сражении 14—15(27—28) мая 1905 г. во время русско-японской войны японский флот разгромил русские тихоокеанские эскадры вице-адмирала З. П. Рожественского у о. Цусима в Корейском проливе, после чего Россия была вынуждена начать мирные переговоры.

Стр. 126. *«Как в ночь звезды падучей пламень, не нужен в мире я».*— Из стихотворения М. Ю. Лермонтова без названия (первые строки).

«Из-под куста мне ландыш серебристый приветливо кивает головой».— Из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Когда волнуется желтеющая нива...».

Стр. 127. *«Варшавянка»* — одна из наиболее популярных революционных песен. Вольный перевод Г. М. Кржижановского стихотворения польского поэта Вацлава Свенцицкого. В музыке использован «Марш зуавов» Вольского — песня июльского восстания 1863 г.

Стр. 128. *Андреевский флаг* — кормовой флаг русского военно-морского флота — на белом фоне синий крест по диагонали. Учрежден Петром I, существовал до Великой Октябрьской революции.

Стр. 129. *...город, где умер Нахимов.*— Нахимов Павел Степанович (1802—1855) — русский флотоводец, адмирал. В 1854—1855 гг. руководил героической обороной Севастополя, был смертельно ранен в бою.

Стр. 133. *«Тристан и Изольда»* — легенда о любви жены корнуоллского короля Изольды и племянника ее мужа Тристана возникла в VIII—IX вв. и стала источником многих литературных произведений средних веков и нового времени.

Стр. 146. *«Штафирка»* — так называли учащихся младшего класса.

Стр. 150. *«Мальбрук в поход собрался...»* — позднейшая переделка популярной в начале XIX в. песни, подражание французской песне «Malbrough s'en va-t'en guerre».

Мальбрук — Джон Черчилль Мальборо (1650—1722), английский полководец.

Стр. 152. *Кин* Эдмунд (1787—1833) — известный английский актер, прославившийся игрой в драмах У. Шекспира.

Орленев Павел Николаевич (1869—1932) — русский актер, гастролировавший по многим городам России и прославившийся исполнением трагедийных ролей.

Стр. 161. *Патон* Евгений Оскарович (1870—1953) — советский ученый в области мостостроения и сварки.

Стр. 167. *Булгаков* Михаил Афанасьевич (1891—1940) — русский советский писатель.

Стр. 168. *..поглотит медленная Лета.*— Слова из «Евгения Онегина» А. С. Пушкина.

Лета — в древнегреческой мифологии река забвения в подземном царстве.

Ибсен Генрик (1828—1906) — норвежский драматург.

Андреев Леонид Николаевич (1871—1919) — русский писатель.

Стр. 171. *Флобер* Гюстав (1821—1880) — французский писатель.

Бальзак Опоре де (1799—1850) — французский писатель, автор эпопеи «Человеческая комедия», состоящей из 90 романов.

Дюма Александр (1802—1870) — французский писатель (Дюма-отец), автор остросюжетных исторических романов.

Стр. 174. *Альтенберг* Петер (псевд. Рихарда Энглендера; 1859—1919) — австрийский писатель.

Стр. 177. *Серов* Валентин Александрович (1865—1911) — русский живописец и график.

Левитан Исаак Ильич (1860—1900) — русский живописец.

Скрябин Александр Николаевич (1871 или 1872—1915) — русский композитор и пианист.

Комиссаржевская Вера Федоровна (1864—1910) — русская актриса, игравшая в провинции и в Александринском театре. Создала свой театр, боролась за современный прогрессивный репертуар.

Плеханов Георгий Валентинович (1856—1918) — русский теоретик и пропагандист марксизма, деятель российского и международного рабочего движения.

Чернышевский Николай Гаврилович (1828—1889) — русский революционер и мыслитель, писатель, экономист, философ.

Кропоткин Петр Алексеевич (1842—1921) — русский революционер, теоретик анархизма, социолог, географ и геолог.

«Коммунистический манифест» — «Манифест Коммунистической партии», первый программный документ научного коммунизма, в котором изложены основные идеи марксизма, написан К. Марксом и Ф. Энгельсом в 1847 г.

Кравчинский — Степняк-Кравчинский Сергей Михайлович (1851—1895) — революционный народник, писатель.

Мериме Проспер (1803—1870) — французский писатель.

Стр. 178. *«Монт-Ориоль»* — роман Ги де Мопассана.

«Евгения Гранде» — роман О. Бальзака.

«Дикая утка» — драма Г. Ибсена.

«Пармский монастырь» — роман Стендаля.

Верлен Поль (1844—1896) — французский поэт-символист.

Готье Теофиль (1811—1872) — французский писатель и критик, один из основателей «Парнаса», пропагандировал теорию «искусства для искусства».

«Роняет лес багряный свой убор...» — Из стихотворения А. С. Пушкина «19 октября».

Стр. 179. *Ге* Николай Николаевич (1831—1894) — русский живописец, один из основателей Товарищества передвижников.

Эсперанто — наиболее широко распространенный искусственный международный язык, название — от псевдонима создателя проекта Л. Заменгофа — Doktoro Ecperanto (надеющийся).

Стр. 182. *Петр Карагеоргий* был королем Сербии в 1903—1921 гг.

«Боже правды...» — искаж. сербск.: «Боже правде, ти, што спасе од напасти до сад нас» — Бог справедливости, ты, что до сих пор спасал нас от бед.

Стр. 186. *«Новое время»* — газета, издававшаяся в 1868—1917 гг. С переходом издания к А. С. Суворину (1876) — консервативная. С 1905 г.— орган черносотенцев.

Стр. 189. *Что за штуковина, создатель, быть взрослой дочери отцом!* — переиначенные слова Фамусова из комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума». У Грибоедова: «Что за комиссия, создатель...»

Стр. 190. *«Медлительной чредой нисходит день осенний, медлительный кружится лист..»* — Из стихотворения А. Блока «Осенняя элегия». В оригинале: «Медлительно крутится желтый лист».

Стр. 195. *Постолы* — обувь, шитая из сырой кожи или из шкуры с шерстью.

Стр. 197. *Данилевский* Григорий Петрович (1829—1890) — русский и украинский писатель, автор исторических романов.

Стр. 208. *Крашевский* Юзеф Игнацы (1812—1887) — польский писатель.

Ожешко Элиза (1841—1910) — польская писательница.

Эльсинор — замок в Дании, в котором развертывается действие трагедии У. Шекспира «Гамлет», цитата из которой приводится дальше.

Стр. 211. *Шпильгаген* Фридрих (1829—1911) — немецкий писатель, социально-политические романы которого, написанные в традициях «Молодой Германии», были популярны в России среди народников.

Прус Болеслав (наст. имя Александр Гловацкий; 1847—1912) — польский писатель, критик.

Стр. 213. *«И раздавались жалкие стенанья...»* — Из драмы А. С. Пушкина «Пир во время чумы».

Стр. 214. *Венявский* Генрик (1835—1880) — польский скрипач и композитор.

Стр. 217. *Цицерон* Марк Туллий (106—43 гг. до н. э.) — римский политический деятель, оратор и писатель.

Овидий (Публий Овидий Назон; 43 г. до н э. — ок. 18 г. н. э.) — римский поэт, автор элегий, посланий, мифологического эпоса «Метаморфозы».

Гораций (Квинт Гораций Флакк; 65 г. до н. э.—8 г. до н. э.) — римский поэт, автор сатирических и лирических од, посланий, написанных в духе эпикуреизма и стоицизма.

Ливий Тит (59 г. до н. э —17 г. н. э.) — римский историк.

Лукреций (Тит Лукреций Кар) — римский поэт и философ материалист I в. до н. э.

Аврелий Марк (121—180) — римский император (с 161 г.) из династии Антонинов, автор философского сочинения «Наедине с тобой».

Цезарь Гай Юлий (102 или 100—44 гг. до н. э.) — римский диктатор, полководец, автор «Записок о галльской войне» и «Записок о гражданских войнах».

Стр. 223. *«Кукушки нежный плач в глуши лесной...»* — Из стихотворения К. Бальмонта «Зарождающаяся жизнь».

По Эдгар Аллан (1809—1849) — американский поэт, писатель-романтик, критик.

Стр. 224. *Дантон* Жорж-Жак (1759—1794) — деятель Великой французской революции, один из вождей якобинцев.

Бабеф Гракх (наст. имя — Франсуа-Ноэль; 1760—1797) — французский коммунист-утопист.

Марат Жан-Поль (1743—1793) — в период Великой французской революции один из вождей якобинцев.

Бонапарт — Наполеон Бонапарт (1769—1821) — французский император в марте 1804—1814 гг. и в марте — июне 1815 г.

Луи-Филипп (1773—1850) — французский король в 1830—1848 гг.

Гамбетта Леон (1838—1882) — премьер-министр и министр иностранных дел Франции в 1881—1882 гг.

Тьер Адольф (1797—1877)—французский государственный деятель, историк, в 1871—1873 гг.— президент Франции, с исключительной жестокостью подавил Парижскую коммуну.

Монтаньяры (Гора) — в период Великой французской революции революционно-демократическое крыло Конвента, представлявшее якобинцев; занимало на заседаниях верхние скамьи (отсюда название).

Стр. 226. *«Вещий Олег»* — «Песнь о вещем Олеге» А. С. Пушкина.

Стр. 227. *Ольга* (христ. имя Елена) (ок. 890—969) — великая княгиня киевская, жена Игоря, правившая после его смерти. При ней было принято христианство.

Кирилл и Мефодий — братья, славянские просветители, создатели славянской азбуки, проповедники христианства. Кирилл (ок. 827—869 гг.; до принятия монашества — Константин), Мефодий (ок. 815—885 гг.).

Стр. 232. *«Шапку кто, гордец, не снимет у Кремля святых ворот...»* — Из стихотворения Ф. Глинки «Москва». В оригинале: «Шляпы кто, гордец, не снимет у святых в Кремле ворот?!»

Стр. 234. *«Живой труп»* — драма Л. Н. Толстого.

«Три сестры» — пьеса А. П. Чехова.

Театральная площадь — ныне площадь Свердлова.

Камергерский переулок—ныне проезд Художественного театра.

Стр. 237. *Нестеров* Михаил Васильевич (1862—1942) — русский советский живописец.

Стр. 241. *«Вот три богини спорить стали...»* — ария Париса из оперетты Ж. Оффенбаха «Прекрасная Елена».

Стр. 248. *«Заводь спит, молчит вода зеркальная...»* — Стихотворение К. Бальмонта «Лебедь».

Стр. 256. *«Gaudeamus igitur, juvenes dum sumus!»* («Будем радоваться, пока молоды!» *(лат.)* — начало старинной студенческой латинской песни.

Стр. 259. *Слышу умолкнувший звук божественной Сашиной речи* — парафраза строки А. Пушкина: «Слышу умолкнувший звук божественной эллинской речи» («На перевод Илиады»).

Стр. 265. *Сократ* (470 или 469—399 гг. до н. э.) — древнегреческий философ, один из родоначальников диалектики как метода отыскания истины путем наводящих вопросов — так наз. сократического метода.

Цикута (вех) — род многолетних водных и болотных трав семейства зонтичных.

КНИГА ВТОРАЯ

БЕСПОКОЙНАЯ ЮНОСТЬ

Впервые — в журнале «Новый мир», 1955, № 3—6.

В статьях и в рецензиях, посвященных повести, автора упрекали в том, что его герой наделен слишком пассивным и созерцательным характером, что он предается мечтам там, где нужно активно действовать. В этих критических отзывах не учитывались ни своеобразие дарования писателя, ни своеобразие пройденного им пути.

Стр. 271. *«Если б нынче свой путь...»* — Из стихотворения французского поэта П.-Ж. Беранже «Безумцы» в переводе В. Курочкина. В оригинале: «Если б только земли нашей путь...»

Стр. 273. *Ганзейские города.*— Ганза — торговый и политический союз северных немецких городов в XIV—XVI вв. во главе с Любеком.

Стр. 286. *Шаляпин* Федор Иванович (1873—1938) — русский певец, режиссер, художник. С 1922 г.— за рубежом.

Мамонтов Савва Иванович (1841—1918) — русский капиталист и меценат.

Стр. 288. *Северянин* Игорь (наст. имя и фамилия Игорь Васильевич Лотарев; 1887—1941) — русский поэт, «эгофутурист». После 1917 г. эмигрировал.

«Шампанское — в лилию, в шампанское — лилию!..» — Из стихотворения И. Северянина «Шампанский полонез». В оригинале: «Шампанского в лилию, шампанского в лилию...»

Стр. 289. *«Какою нежностью неизъяснимою...»* — Из стихотворения И. Северянина «К черте черта».

Стр. 291. *Телешов* Николай Дмитриевич (1867—1957) — русский советский писатель. В 1899 г. организовал литературный кружок «Среда», сыгравший заметную роль в развитии русской литературы начала XX в.

Стр. 293. *«...меж людей ничтожных мира».*— Из стихотворения А. С. Пушкина «Поэт».

Толстой Алексей Николаевич (1882 или 1883—1945) — русский советский писатель, общественный деятель.

Шмелев Иван Сергеевич (1873—1950) — русский писатель. В 1922 г. эмигрировал.

Сытин Иван Дмитриевич (1851—1934) — русский издатель-просветитель.

Стр. 294. *Румянцевка* — Румянцевский музей — собрание книг и рукописей, созданное графом Н. П. Румянцевым, русским государственным деятелем, дипломатом.

Саврасов Алексей Кондратьевич (1830—1897) — русский живописец, передвижник.

Коровин Константин Алексеевич (1861—1939) — русский живописец.

Стр. 305. *Франц-Иосиф I* (1830—1916) — император Австрии и король Венгрии.

Стр. 307. *Союз городов* всероссийский — организация городской буржуазии, созданная в 1914 г. для оказания помощи царскому правительству в ведении войны.

Стр. 313. *«Страна, которая молчит, как новобрачная, одетая в покров».*— Из стихотворения К. Бальмонта «Страна, которая молчит».

Стр. 315. *«Россия, нищая Россия...»* — Из стихотворения А. Блока «Россия».

Стр. 320. *Генрих Манн* (1871—1950) — немецкий писатель и общественный деятель.

Стр. 321. *Верки* — название отдельных крепостных построек, подготовленных для самостоятельной обороны.

Стр. 323. *Матейко* Ян (1838—1893) — польский живописец.

Виллевальде Богдан Павлович (1818—1903) — русский живописец, представитель официального академического искусства.

Мейсонье (Месонье) Эрнест (1815—1891) — французский живописец.

Гро Антуан (1771—1835) — французский живописец, официальный живописец Наполеона I.

Прейсиш-Эйлау (ныне г. Багратионовск Калининградской обл.) — город, близ которого во время русско-прусско-французской войны 26—27 января (7—8 февраля) 1807 г. произошло сражение между русской армией Беннигсена и французскими войсками Наполеона.

Фер-Шаменуаз (Фер Шампенуаз) — селение во Франции, около которого 13(25) марта 1814 г. во время наступления союзных войск к Парижу происходили бои с французскими войсками.

Стр. 327. *Жирардовское полотно* — полотно, изготовленное на фабрике в г. Жирардов (Жирардув) в Польше.

Стр. 373. *Сирано де Бержерак* — герой одноименной пьесы Ростана.

Стр. 375. *Хоть я червяк в сравненьи с ним...* — Из стихотворения П.-Ж. Беранже (1780—1857) «Знатный приятель» в переводе В. Курочкина.

Стр. 376. *«В двенадцать часов по ночам ..»* — Из стихотворения В. А. Жуковского «Ночной смотр» (перевод стихотворения австрийского поэта И.-К. фон Цедлица (1790—1862).

Стр. 382. *Лейбниц* Готфрид Вильгельм (1646—1716) — немецкий философ-идеалист, математик, физик, языковед.

Гумбольдт Александр (1769—1859) — немецкий естествоиспытатель, географ и путешественник.

Гершель — английские астрономы, отец и сын: Уильям (Фридрих Вильгельм; 1738—1822); Джон Фредерик Уильям (1792—1871). Иностранные почетные члены Петербургской Академии.

Стр. 383. *Бисмарк* Отто фон Шенхаузен (1815—1898) — князь, первый рейхсканцлер Германской империи.

Стр. 384. *Карлейль* Томас (1795—1881) — английский публицист, историк и философ.

Стр. 386. *Феникс* — священная птица древних египтян, возрождавшаяся юной из пепла. Символ вечного возрождения.

Стр. 394. *Словацкий* Юлиуш (1809—1849)—польский поэт, представитель революционного романтизма.

Стр. 406. *«Ах, попалась, птичка, стой, не уйдешь из сети..»* — Из стихотворения «Пойманная птичка» (1864) А. У. Порецкого, писавшего для детей под псевдонимом Пчельникова.

Смейся, паяц! — Слова из арии Канио из оперы Р. Леонкавалло (1857—1919) «Паяцы».

Стр. 416. *«Нет имени тебе, весна Нет имени тебе, мой дальний».*— Из стихотворения А. Блока без названия «Нет имени тебе, мой дальний».

Стр. 422 *Туган-Барановский* Михаил Иванович (1865—1919) — русский экономист, историк, один из представителей «легального марксизма», впоследствии открытый защитник капитализма.

Струве Петр Бернгардович (1870—1944) — русский экономист, философ, историк, публицист. Теоретик «легального марксизма», лидер кадетов. Белоэмигрант.

Лассаль Фердинанд (1825—1864) — немецкий мелкобуржуазный социалист, родоначальник одной из разновидностей оппортунизма — лассальянства. Деятельность организованного им Всеобщего германского рабочего союза стремился приспособить к режиму Бисмарка.

«Изгнанники, скитальцы и поэты...» — Из стихотворения Максимилиана Волошина из цикла «Corona astralis», сонет № 8. У Волошина: «У птиц — гнездо, у зверя — темный лог, а посох — нам и нищенства заветы».

Стр. 424. *Радзивиллы* — литовский княжеский род.

Стр. 426. *Распутин* (Новых) Григорий Ефимович (1872—1916) — фаворит царя Николая II и его жены Александры Федоровны.

Стр. 427. *Стриндберг* Август Юхан (1849—1912) — шведский писатель, драматург.

Гамсун (наст. фамилия Педерсен) Кнут (1859—1952) — норвежский писатель, драматург.

Банг Герман (1857—1912) — датский писатель.

Сварог Василий Семенович (1883—1946) — русский советский живописец.

Алиса.— Имеется в виду жена Николая II императрица Александра Федоровна.

Стр. 430. *...«охота к перемене мест».*— Строка из «Евгения Онегина» А. С. Пушкина.

Варварская площадь — ныне площадь Ногина.

Стр. 433. *...одному крупному поэту* — И. А. Бунину.

Стр 434. *...с отцом крошки Доррит...*— Имеются в виду персонажи романа Ч. Диккенса «Крошка Доррит».

Стр. 442. *Якубович* Александр Иванович (1792—1845) — декабрист, капитан.

Стр. 451. *«Ходит птичка весело по тропинке бедствий...»* — Из стихотворения неизвестного автора второй половины XIX в. (Н. С. Ашукин, М. Г. Ашукина. Крылатые слова. М., 1960).

Стр. 452. *«Вороне где-то бог послал кусочек сыру...»* — Строка из басни И. А. Крылова «Ворона и Лисица».

«Никогда не забуду».— Начало стихотворения А. Блока «В ресторане».

Фофанов Константин Михайлович (1862—1911) — русский поэт-декадент.

Лохвицкая Мирра Александровна (1869—1905) — русская поэтесса.

Стр. 459. *«Нет, не тебя так пылко я люблю...»* — Стихотворение М. Ю. Лермонтова без названия, приведено полностью.

«Выхожу один я на дорогу...» — Первая строфа стихотворения М. Ю. Лермонтова без названия.

Стр. 463. *Бессемер* Генри (1813—1898) — английский изобретатель, создал конверторный способ передела чугуна в сталь, так наз. бессемеровский процесс.

Стр. 469. *Щербина* Николай Федорович (1821—1869) — русский поэт.

Стр. 473. *Потапенко* Игнатий Николаевич (1856—1929) — русский писатель.

Щеглов (наст. фамилия Леонтьев) Иван Леонтьевич (1856—1911) — русский писатель, драматург.

Эртель Александр Иванович (1855—1908) — русский писатель.

Измайлов Александр Ефимович (1779—1831) — русский писатель.

Баранцевич Казимир Станиславович (1851—1927) — русский писатель.

Муйжель Виктор Васильевич (1880—1924) — русский писатель.

Стр. 473. *«Немая степь синеет, и венцом серебряным Кавказ ее объемлет».*— Из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Памяти А. И. Одоевского».

...*«каждый день уносит частицу бытия...»* — Из стихотворения А. С. Пушкина «Пора, мой друг,— пора! покоя сердце просит...». В оригинале: «и каждый час уносит...»

...*«ветреная Геба, кормя Зевесова орла...»* — Из стихотворения Ф. И. Тютчева «Весенняя гроза».

Стр. 474. *«Феб златокудрый закинул свой щит златокованый...»* — Из стихотворения Л. А. Мея «Галатея». У Мея: «Феб утомленный закинул свой щит златокованый в море, и разливалась на мраморе вешним румянцем заря...»

Феб — второе имя бога Аполлона.

«О, весна без конца и без краю...» — Стихотворение А. Блока без названия (первые строки) из цикла «Заклятие огнем и мечом».

Стр. 485. *«Писатель, если только он — волна...»* — Из стихотворения Я. Полонского «В альбом к Ш...».

Стр. 491. *«Русь моя, жизнь моя, вместе ль нам маяться?..»* — Из стихотворения А. Блока без названия (первые строки).

Стр. 492. *Слова Тургенева, что такой язык может быть дан только великому народу.*— Имеется в виду стихотворение в прозе И. С. Тургенева «Русский язык».

Стр. 503. *Сергеев-Ценский* Сергей Николаевич (1875—1958) — русский советский писатель, автор исторических романов.

КНИГА ТРЕТЬЯ
НАЧАЛО НЕВЕДОМОГО ВЕКА

Впервые — в третьем томе шеститомного Собрания сочинений. Повесть в критике прошла незамеченной. Скорее всего из-за того, что она первоначально не публиковалась в периодическом издании.

Стр. 511. *Жак Садуль* (1881—1956) — деятель французского рабочего движения, интернационалист. В 1917 г., назначенный атташе при французской военной миссии в Петрограде, отказался служить французскому реакционному правительству, в 1919 г. вступил в Красную Армию, участник движения Сопротивления.

Скобелев Михаил Дмитриевич (1843—1882) — русский генерал от инфантерии. Участвовал в завоевании Средней Азии, в русско-турецкой войне 1877—1878 гг.

Стр. 513. *Керенский* Александр Федорович (1881—1970) — русский политический деятель, член и руководитель Временного правительства. После Октябрьской революции — организатор антисоветского мятежа. Белоэмигрант.

Стр. 514. *Милюков* Павел Николаевич (1859—1943) — русский политический деятель, историк, публицист. Один из организаторов партии кадетов. Белоэмигрант.

Стр. 516. *Вандервельде* Эмиль (1866—1938) — бельгийский социалист, реформист.

«Вышли мы все из народа...» — Из песни «Смело, товарищи, в ногу!..» Л. П. Радина (1860—1901).

Стр. 522. *Скуфейка*, скуфья — бархатная круглая шапочка, обычно черного цвета, повседневный головной убор православного духовенства.

Стр. 538 *«Туда, где над площадью нож гильотины...»* — Из стихотворения Эмиля Верхарна «Мятеж».

Стр. 539. *Осоргин* (наст. фамилия Ильин) Михаил Андреевич (1878—1942) — русский писатель. С 1922 г.— в эмиграции.

Стр. 542. *Андрей Белый* — псевдоним, настоящее имя Борис Николаевич Бугаев (1880—1934) — русский поэт, прозаик, критик, теоретик символизма.

Шмелев Иван Сергеевич (1873—1950) — русский писатель. В 1922 г. эмигрировал

Роксанова Мария Людомировна (настоящая фамилия Петровская; 1874—1958) — русская актриса.

Агнивцев Николай Яковлевич (1888—1932) — русский советский поэт.

Стр 544. *Леметр Жюль* (1853—1914) — французский театральный и литературный критик, писатель, драматург.

Яковлев (настоящая фамилия Трифонов-Яковлев) Александр Степанович (1886—1953) — русский советский писатель.

Стр. 549. *Иван Грозный* — Иван IV Васильевич (1530—1584) — великий князь московский, с 1547 г.— первый русский царь.

Марко Поло (ок. 1254—1324) — итальянский путешественник и писатель

Виндавский вокзал — ныне Рижский вокзал. Виндавой до 1917 г. назывался г. Вентспилс.

Стр. 551. *Каденция* — гармонический или мелодический оборот, завершающий музыкальное построение и сообщающий ему законченность.

Стр. 552. *Птоломеи* — царская династия в эллинистическом Египте в 305—30 гг. до н. э.

Саади (между 1203 и 1210—1290 гг.) — персидский писатель и мыслитель

Омар Хайям (ок. 1048 — ок. 1123 гг.) — персидский и таджикский поэт, математик и философ

Гафиз (Хафиз Ширази) Шамседдин (ок. 1325—1389 гг.) — персидский поэт.

Стр. 553. *...персидскую секту вождя Эль-Баба, так называемых «бабидов».*— Речь идет о бабизме — религиозном учении, созданном Бабом (Сейидом Али Мохаммедом; 1819—1850) в 40-х гг. XIX в. в Иране. Вместо законов, основанных на Коране и Шариате, бабиды провозглашали равенство всех людей, защиту прав личности, установление священного царства бабидов. Демократические элементы бабизма были развиты во время бабидских восстаний 1848—1852 гг.

Стр 554. *«И в знойный час, когда мираж зеркальный...»* — Из стихотворения И. А. Бунина «Ковсерь».

Стр. 566. *Ноевский сад.*— Имеется в виду Ноевская дача в районе Воробьевых гор, Нескучного сада — коммерческое предприятие с большим фруктовым садом, цветоводческим хозяйством.

Стр. 572. *Спиридонова* Мария Александровна (1884—1941) — русская политическая деятельница, эсер, идейный руководитель левоэсеровского мятежа 6—7 июля 1918 г. в Москве.

Шел съезд Советов — с 4 по 10 июля 1918 г. работал V Всероссийский съезд Советов рабочих, крестьянских, солдатских и красноармейских депутатов.

Стр. 573. *Мирбах* Вильгельм (1871—1918) — германский дипломат, граф. С апреля 1918 г.— посол в Москве. Убит левым эсером Я. Г. Блюмкиным, что послужило сигналом к левоэсеровскому мятежу в Москве.

Стр. 575. *...со стороны Городской думы.*— В здании бывшей Городской думы сеичас Музей В. И. Ленина.

Стр. 576. *Руссо* Жан-Жак (1712—1778) — французский писатель и философ

Лубянская пл.— ныне пл. Дзержинского.

Стр. 579. *...в бывшем Купеческом клубе* — ныне здесь театр имени Ленинского комсомола.

Стр 584 *Скоропадский* Павел Петрович (1873—1945) — один из организаторов контрреволюции на Украине в гражданскую войну, генерал-лейтенант, гетман «Украинской державы» (1918). В эмиграции сотрудничал с фашистами.

Стр. 586 *...«жар души, растраченный в пустыне».*— Из стихотворения М Ю. Лермонтова «Благодарность».

Стр. 599. *Короленко* Владимир Галактионович (1853—1921) — русский писатель и публицист.

Луначарский Анатолий Васильевич (1875—1933) — советский государственный деятель, писатель, критик, искусствовед.

Стр. 602. *Арцыбашев* Михаил Петрович (1878—1927) — русский писатель, проповедовавший в натуралистических романах аморализм. После 1917 г. эмигрировал.

Вертинский Александр Николаевич (1889—1957) — русский артист эстрады, поэт и композитор.

Стр. 623. *Винниченко* Владимир Кириллович (1880—1951) — украинский писатель, один из руководителей националистической контрреволюции на Украине, глава украинской Директории (1918—1919 гг.), эмигрант

Стр 625 *Иуда Искариот* — в Новом завете один из апостолов, предавший своего учителя (Христа) за 30 сребреников.

Стр. 627. *...в туальденоровых платьях.*— Туаль де нор — хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения из суровых, некрашеных, и крашеных нитей.

«Чуден Днепр при тихой погоде...» — Из повести Н. В. Гоголя «Страшная месть».

Стр. 630. *Жанна Д'Арк* (ок. 1412—1431) — героиня французского народа, возглавившая освободительную борьбу французского народа во время Столетней войны (1337—1453 гг.).

Стр. 631. *Пуанкаре* Раймон (1860—1934) — французский политический и государственный деятель.

Вильсон (Уилсон) Томас Вудро (1856—1924) — государственный деятель, в 1912—1921 гг.— президент США.

«Манон Леско» — роман Прево д'Экзиль Антуана (1697—1763) «История кавалера Де Грие и Манон Леско».

Стр. 634. *Богун* Иван (?—1664) — герой освободительной войны украинского народа, сподвижник Богдана Хмельницкого, полковник.

Стр. 637. *Щорс* Николай Александрович (1895—1919) — герой гражданской войны, командовал Богунским полком и другими воинскими частями в боях с петлюровцами и польскими войсками.

Стр. 639. *Чимарозо* (Чимароза) Доменико (1749—1801) — итальянский композитор, клавесинист, скрипач, певец, автор оперы «Тайный брак».

Гайдн Франц Йозеф (1732—1809) — австрийский композитор.

Кольцов Михаил Ефимович (1898—1942) — русский советский писатель.

Зозуля Ефим Давидович (1891—1941) — русский советский писатель.

Стр. 647. *Подвойский* Николай Ильич (1880—1948) — советский партийный, военный деятель.

Стр. 651. *«Не слышно шуму городского...»* — Из стихотворения Ф. Н. Глинки «Песнь узника». У Глинки вторая строка: «За Невской башней тишина...»; в приведенной редакции песня вошла в поэму А. Блока «Двенадцать».

Стр. 652. *«Дворец дожей» в Венеции.*— Бывшая резиденция дожей, прославленный памятник архитектуры в Италии. Построен в XIV—XV вв , позже перестраивался.

«Он далеко, он не узнает, не оценит тоски твоей».— Строка из поэмы М. Ю. Лермонтова «Демон». Здесь имеется в виду ария Демона в опере Рубинштейна «Демон».

Стр. 660. *«...ленивы и нелюбопытны».*— Из «Путешествия в Арзрум» А. С. Пушкина. Рассказывая о смерти А. С. Грибоедова, Пушкин замечает: «Написать его биографию было бы делом его друзей;

но замечательные люди исчезают у нас, не оставляя по себе следов. Мы ленивы и нелюбопытны...»

Стр. 680. *Эдисон* Томас Алва (1847—1931) — американский изобретатель и предприниматель, автор более тысячи изобретений, в основном по электротехнике.

Стр. 686. *Овсянико-Куликовский* Дмитрий Николаевич (1853—1920) — русский литературовед, лингвист, историк культуры. С 1907 г.— почетный академик.

Стр. 688. *Дюмон-Дюрвиль* Жюль-Себастьен-Сезар (1790—1842) — французский мореплаватель и океанограф.

Стр. 689. *Франко-порт* (порто-франко) — порт, в котором ввоз и вывоз товаров производятся без оплаты пошлины.

Стр. 693. *Инбер* Вера Михайловна (1890—1972) — русская советская писательница.

Стр. 694. *Пизанская башня* — «Падающая башня» XII—XIV вв. в г. Пиза в Центральной Италии.

Стр. 698. *Сикстинская мадонна* — картина Рафаэля Санти (1483—1520), итальянского живописца и архитектора эпохи Возрождения.

Акрополь — возвышенная и укрепленная часть древнегреческого города, так называемый верхний город, крепость. Наиболее известен акрополь в Афинах.

Стр. 699. *«Что в имени тебе моем?»* — Из стихотворения А. С. Пушкина без названия (первые строки).

Стр. 701. *«Плакала ночью вдова...»* — Из стихотворения И. А. Бунина без названия (две первые строфы). У Бунина последняя строка второй строфы: «Плачет господь, рукава прижимая к очам...»

Л. Полосина

СОДЕРЖАНИЕ

КНИГА ВТОРАЯ
БЕСПОКОЙНАЯ ЮНОСТЬ

КНИГА ТРЕТЬЯ

НАЧАЛО НЕВЕДОМОГО ВЕКА

Паустовский К. Г.

П 21 Собрание сочинений. В 9-ти т.—М.:Худож. лит., 1981.—

Т. 4. Повесть о жизни. Кн. первая—третья. Примеч. Л. Левицкого и Л. Полосиной. 1982. 734 с.

В том вошли три первые книги автобиографической «Повести о жизни»: «Далекие годы», «Беспокойная юность», «Начало неведомого века».

П $\frac{4702010200\text{-}208}{028\ (01)\text{-}82}$ подписное Р2

Константин Георгиевич
ПАУСТОВСКИЙ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
ТОМ 4

Редактор Л. Полосина
Художественный редактор
Е. Еденко
Технический редактор
С. Ефимова
Корректор
Г. Володина

ИБ № 2435

Сдано в набор 19.10.81. Подписано в печать 08.06.82 Формат $84 \times 108^1/_{32}$. Бумага типогр. № 2. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая Усл. печ. л.38,64. Усл. кр.-отт. 38,64. Уч.-изд. л. 40,63 Тираж 125 000 экз. Заказ № 3475. Изд. № III-140. Цена 2 р. 80 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени Первая Образцовая типография имени А. А. Жданова Союзполиграфпрома Государственного комитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, М-54, Валовая, 28

